

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт русского языка имени В. В. Виноградова

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
V.V. Vinogradov Russian Language Institute

**Труды
Института русского языка
им. В. В. Виноградова**

IX

**История русского языка и культуры
Памяти Виктора Марковича Живова**

Главный редактор А. М. Молдован

МОСКВА
2016

Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 9. История русского языка и культуры. Памяти В. М. Живова.— М., 2016. 536 с.
ISSN 2311-150X

Издание основано в 2013 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ю. Д. Апресян, академик РАН, профессор (Москва, Россия);
Бьёрн Вимер, доктор филологии, профессор (Майнц, Германия);
А. А. Гиппиус, член-корреспондент РАН, профессор (Москва, Россия);
М. Л. Каленчук, доктор филол. наук, профессор (Москва, Россия);
Туре Нессет, доктор филологии, профессор (Тромсё, Норвегия);
В. А. Плунгян, академик РАН, профессор (Москва, Россия);
Вацлав Чермак, доктор филологии (Прага, Чехия);
А. Д. Шмелев, доктор филол. наук, профессор (Москва, Россия);
Ж. Ж. Варбот, доктор филол. наук, профессор (Москва, Россия).

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА

А. А. Пичхадзе, д. филол. наук (Москва, Россия);
Ю. В. Кагарлицкий, к. филол. наук (Москва, Россия).

Адрес редакции:
119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2

Издательство зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-57258

©Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
©Авторы

**Proceedings
of the V.V. Vinogradov
Russian Language Institute**

IX

**History of the Russian language and culture
In memoriam Viktor M. Zhivov**

Editor-in-Chief Alexander M. Moldovan

MOSCOW
2016

Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute, 2016, No. 9, History of the Russian language and culture. In memoriam Viktor M. Zhivov. 536 p.
ISSN 2311-150X

The Journal was founded in 2013

РЕДАКЦИОННЫЙ СОБЕТ

Yury D. Apresyan, D.Sc., Professor, Full Member of the RAS (Moscow, Russia);
Václav Čermák, Ph.D. (Prague, Czech Republic);
Alexey A. Gippius, D.Sc., Professor, Corresponding Member of the RAS (Moscow, Russia);
Maria L. Kalenchuk, D.Sc., Professor (Moscow, Russia);
Tore Nettet, D.Sc., Professor (Tromsø, Norway);
Vladimir A. Plungian, D.Sc., Professor, Full Member of the RAS (Moscow, Russia);
Bjoern Wiemer, D.Sc., Professor (Mainz, Germany);
Alexey D. Shmelev, D.Sc., Professor (Moscow, Russia);
Zhanna Zh. Varbot, D.Sc., Professor (Moscow, Russia).

CHIEF EDITOR OF THE ISSUE

Anna A. Pichkhadze, D.Sc. (Moscow, Russia);
Yury V. Kagarlitskiy, Ph.D. (Moscow, Russia).

Address:

18/2, Volkhonka street, Moscow, 119019
E-mail: ruslang@ruslang.ru

The journal is registered by the The Federal service
for supervision of communications, information technology, and mass-media.
Registration certificate *ПИ № ФС 77-57258*.

СОДЕРЖАНИЕ

I

- Д. Г. Полонский.* Занятия В. М. Живова в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки: материалы к научной биографии 11
- Л. И. Сазонова.* Вклад В. М. Живова в изучение русской риторической традиции XVIII в. 23

II

- С. А. Иванов.* «Не согрешишь — не покаешься»: о парадоксах спасения души на Руси и в Византии. 36
- В. М. Лурье.* Логика иконопочитателей в период второго иконоборчества 42
- М. С. Флайер.* Образ Крещения Христова на Руси: традиция и инновация 59

III

- А. М. Молдован.* Восточнославянская лексика в переводе толкований Никиты Ираклийского на Слова Григория Богослова 70
- А. А. Пичхадзе.* Славянский перевод Эклоги 86
- Т. В. Пентковская.* Житие Василия Нового на фоне лингвистической группировки домонгольских переводов с греческого 98
- Т. И. Афанасьева.* Русские переводы конца XIV в. 109
- Р. Н. Кривко.* Орфография рукописи как свидетель текстологической преемственности 124
- А. А. Гиппиус.* Химипетъ Мстиславова евангелия и падение редуцированных 149
- Т. В. Рождественская.* Граффити в церкви Спаса на Нередице в Новгороде (материалы к Своду древнерусских надписей-граффити Новгорода Великого) . . 158
- С. М. Михеев.* Вълкoшa и Никoлaoсь: о двух трудночитаемых надписях из Софии Новгородской. 171
- П. В. Петрухин.* Конструкция ‘*быти* с причастием настоящего времени’: древнерусский узус и библейская традиция. 179
- М. Н. Шевелева.* Восточнославянские имперфективы на *-ыва-/-ива-* и книжная традиция. 208
- А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский.* «...и в Киеве мя посадиль и отцемь мя назваль а я его сыном». Отцы и дети в династии Рюриковичей XII в. 224

IV

<i>Саймон Франклин</i> . Рост графосферы в публичном пространстве (ок. 1450–1850 гг.)	240
<i>Николетта Марчалис</i> . Странная парочка: Антонио Поссевино и архиепископ Давид Ростовский	255
<i>Роланд Марти</i> . Серболужицкий просветитель Михаил Френцель-старший и его письмо Петру I	261
<i>Helmut Keipert</i> . V. M. Živov und die „Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache“ von Johann Werner Paus	276
<i>Ю. В. Казарлицкий</i> . Судьба Стефана Писарева и значение его переводческого наследия для развития русской духовной литературы XVIII в.	290
<i>А. Г. Кравецкий</i> . Комиссии по исправлению богослужебных книг и синодальные типографии.	313

V

<i>Виктория Фреде</i> . Верность, измена и предательство в дружеской среде: 1790-е гг.	323
<i>Марина А. Бобрик, Д. Я. Калугин</i> . «Бодрый наш народ»: Семантика бодрости в контексте русской национальной идеи	340
<i>Б. П. Маслов</i> . «Любя вселенныя покой»: замечания к исторической семантике состояния покоя.	358
<i>С. М. Толстая</i> . <i>Вера и правда</i> : к истории понятий	377

VI

<i>Алан Тимберлейк</i> . Разговоры с Виктором Марковичем и понятие диспозиции в языке.	390
<i>Е. В. Падучева</i> . К аспектуальной характеристике глагола <i>быть</i>	400
<i>А. А. Зализняк</i> . Из русской морфонологии: <i>закалять</i> и <i>закаливать</i>	417
<i>Е. Э. Бабаева</i> . Об одном лексикографическом мифе: случай <i>coqueluche</i>	433
<i>Е. В. Рахилина, Л. О. Наний</i> . О системности в лексике: «прямые» и «кривые» семантические сдвиги.	448

VII

<i>А. А. Плетнева</i> . Лубочные источники пушкинской «Сказки о царе Салтане».	470
<i>Т. М. Николаева</i> . Об одном «балканизме» у Пушкина	484
<i>Ольга Матич</i> . Замечания о памяти и темпоральности у Достоевского	504
<i>М. И. Леконцева</i> . Поэма Блока «Двенадцать»: семантика грамматики.	516

VIII

<i>Ю. Л. Слёзкин</i> . Особый путь и советская власть	525
Список иллюстраций, размещенных на компакт-диске	532

CONTENTS

I

- Dmitri Polonski*. V. M. Zhivov's works in the Department of manuscripts
of the Russian State Library: notes for the scientific biography 11
- Lydia I. Sazonova*. V. M. Zhivov's contribution to the study
of the Russian 18th century rhetorical tradition 23

II

- Sergey A. Ivanov*. "There can be no repentance without sin":
on the paradoxes of salvation in Rus' and Byzantium 35
- Basil Lourié*. The Logic of Icon Veneration in the Period of Second Iconoclasm. 41
- Michael S. Flier*. The Representation of the Baptism of Christ
in Muscovite Iconography: Tradition and Innovation. 59

III

- Alexandr M. Moldovan*. East Slavic lexemes in the Slavic translation
of *Scholia in orationes Gregorii Nazianzeni* by Nicetas of Heracleia 70
- Anna A. Pichkhadze*. Slavonic translation of the *Ecloga* 86
- Tatiana V. Pentkovskaya*. Life of Basil the Younger in comparison with the linguistic
division of the pre-Mongol translations from Greek. 98
- Tatiana I. Afanasyeva*. The Russian translations of the late XIV century 109
- Roman N. Krivko*. Orthography of a Written Source
as a Witness of Textual Transmission. 124
- Alexey A. Gippius*. *Khimipetъ* of the Mstislav Gospels and the jer-shift 149
- Tatiana Vs. Rozhdestvenskaia*. Graffiti in the Church of the Transfiguration of the Savior
on Nereditsa in Novgorod 158
- Savva M. Mikheev*. *Вѣькоша* and *Nikolaosъ*: Two Hard-to-Interpret Inscriptions
from the St. Sophia Cathedral in Novgorod 171
- Pavel V. Petrukhin*. The construction 'byti with the present participle':
the Old Russian usage and the biblical tradition. 179
- Maria N. Sheveleva*. East Slavic imperfective verbs with the suffix *-yva-/-iva-*
and the literary tradition 208
- Anna. F. Litvina, Fedor B. Uspenskij*. Fathers and sons in Rurikid dynasty (12th century) . . . 224

IV

<i>Simon Franklin</i> . The development of the graphosphere in public spaces (ca. 1450–1850) . . .	240
<i>Nicoletta Marcialis</i> . The strange two: Antonio Possevino and the Archbishop of Rostov David	255
<i>Roland Marti</i> . The Sorbian Enlightener Michael Frenzel the Elder and His Letter of Dedication to Peter the Great	261
<i>Helmut Keipert</i> . V.M. Zhivov and the Instruction of the Slavonic-Russian Language by Johann Werner Paus	276
<i>Yury V. Kagarlitskiy</i> . Stephan Pisarev’s fate and the importance of the translator’s heritage for the development of the Russian spiritual literature	290
<i>Alexandr G. Kravetsky</i> . Commissions for correction of liturgical books and Synodal printing houses	313

V

<i>Victoria Frede</i> . Allegiance and treason in a friendly circle: the 1790s	323
<i>Marina A. Bobrik, Dmitry Ja. Kalugin</i> . “Bodryi nash narod”: Semantics of <i>bodrost’</i> in the context of the Russian national idea	340
<i>Boris P. Maslov</i> . “Enamored of the universal quiet”: notes on the historical semantics of the state of rest	358
<i>Svetlana M. Tolstaya</i> . <i>Faith and Truth</i> : on the history of concepts	377

VI

<i>Alan Timberlake</i> . Conversations with Viktor Markovich and the notion of disposition in language	390
<i>Elena V. Paducheva</i> . Towards the aspectual characteristic of the verb <i>byt’</i>	400
<i>Andrey A. Zaliznyak</i> . From Russian morphonology: <i>закалять</i> and <i>закаливать</i>	417
<i>Elizaveta E. Babaeva</i> . Concerning a certain lexicographic myth: the case of <i>coqueluche</i> . . .	433
<i>Ekaterina V. Rakhilina, Lyudmila O. Nanij</i> . STRAIGHT and CURVED: semantic shifts.	448

VII

<i>Alexandra A. Pletneva</i> . Cheap popular sources of Pushkin’s <i>Tale of Tsar Saltan</i>	470
<i>Tatiana M. Nikolaeva</i> . On a certain “balkanism” in Pushkin’s writings	484
<i>Olga Matich</i> . Notes on Memory and Temporality in Dostoevsky	504
<i>Margarita I. Lekomceva</i> . “The Twelve” poem of Alexander Block: the Semantics of Grammar	516

VIII

<i>Yuri Slezkine</i> . Russia’s “special path” and Soviet Power	525
List of illustrations placed on the CD-ROM.	532

I

Д. Г. Полонский
Архив Российской академии наук
(Москва, Россия)

ЗАНЯТИЯ В. М. ЖИВОВА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ: МАТЕРИАЛЫ К НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ

В статье рассматриваются особенности научных занятий В. М. Живова с рукописными источниками XII–XVIII веков по истории славянских языков и литературы, а также по истории Русской Православной Церкви. Анализ документов, сохранившихся в служебном архиве отдела рукописей Российской государственной библиотеки, в сопоставлении с библиографией В. М. Живова позволяет отчасти приблизиться к пониманию эволюции его научных интересов и творческих замыслов. Благодаря изучению этих архивных документов удастся узнать, что непосредственная работа с рукописными источниками отразилась в большинстве основных научных работ В. М. Живова. Исходя из этого, можно утверждать, что источниковедение для его научного творчества было не менее существенной областью, чем лингвистика и история культуры.

Ключевые слова: Виктор Маркович Живов, Российская государственная библиотека, рукописные источники, источниковедение, библиография, славянские языки и литературы, русская церковная история.

Каждый выдающийся исследователь вольно или невольно создает путеводитель по своей научной биографии, поскольку перечень публикаций ученого является для истории науки схемой, позволяющей проследить эволюцию его интересов и достижений. Особую ценность для изучения интеллектуальной истории исследователя-гуманитария с такими разнообразными научными интересами, как у Виктора Марковича Живова, представляет понимание особенностей его работы с уникальными рукописными источниками. Вместе с тем очевидно, что линейный путь приближения к такому пониманию, состоящий в обзорной характеристике кодексов, которые исследователь упоминал в своих печатных трудах, вряд ли позволяет привести к ответам на закономерные вопросы о времени формирования

творческих замыслов и масштабах предшествующей публикациям «черновой» работы с рукописями.

Однако возможен и иной подход, заключающийся в непосредственном изучении документов, сохранивших сведения о последовательности и сроках работы исследователя с рукописями. В служебном архиве читательских формуляров, находящемся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), сохранились три подписанные В. М. Живовым анкеты-заявления за 1981, 1989 и 2002 гг., обращенные к руководству отдела и содержащие просьбы о допуске к занятиям с рукописными источниками¹. Каждое из этих заявлений помещено на первой странице отдельного картонного формуляра, куда сотрудниками библиотеки вкладывались листы с отмеченными в хронологическом порядке шифрами и краткими названиями кодексов, к которым последовательно обращался исследователь. Поскольку в иных хранилищах рукописных источников, где в разное время работал Виктор Маркович (Государственный исторический музей, Российский государственный архив древних актов, Российская национальная библиотека и другие), информация о запросах читателей либо учитывается и хранится иначе, либо практически недоступна для изучения, формуляры из НИОР РГБ образуют редкий по целостности и упорядоченности комплекс сведений, позволяющий лучше понять обширный фрагмент индивидуальной интеллектуальной истории.

Уже первое заявление в НИОР РГБ (тогда еще Библиотеки им. В. И. Ленина), написанное от лица младшего научного сотрудника кафедры русского языка филологического факультета МГУ и датированное 23 декабря 1981 г., отражает радикальный перелом в характере исследовательских интересов В. М. Живова, произошедший вскоре после публикации его первой монографии, посвященной синтагматической фонологии [Живов 1980]. Тема занятий в этом заявлении, заполненном синей шариковой ручкой, указана Виктором Марковичем так: «Лингвистические вопросы в культурных конфликтах XVI–XVIII вв. и История языка права в России», а в качестве цели работы (еще один обязательный для заполнения читателем НИОР пункт анкеты) обозначено «написание статей, доклад». Позднее — неясно, когда именно, так как дата не обозначена, — название этой темы было вычеркнуто рукой В. М. Живова, а сверху черными чернилами он вписал новое название: «История русского литературного языка XII–XVIII вв.». Этот формуляр продлевался 5 января 1982 г., 4 сентября 1985 г. и 27 мая 1988 г., и благодаря обозначению последней из дат удастся понять, что формулировка новой темы, характеризующей значительное расширение спектра исследовательских интересов Виктора Марковича, появилась по крайней мере до мая 1988 г.

Вторая в хронологическом отношении анкета-заявление вместе с формуляром была заведена 31 октября 1989 г. (формуляр продлевался 2 ноября 1989 г., 24 сентября 1990 г. и 5 июня 1991 г.): этот документ Виктор Маркович заполнил

¹ Выражаю глубокую признательность сотрудникам НИОР РГБ за возможность познакомиться с этими документами.

как сотрудник Института русского языка, повторив вторую, более широкую тему; только нижняя граница хронологического диапазона смещена им на столетие раньше: «История русского литературного языка XI–XVIII вв.».

Последняя по времени из хранящихся в НИОР РГБ анкет-заявлений датирована 2 июля 2002 г. (формуляр продлевался 8 сентября 2003 г.); ее В. М. Живов заполнял, будучи уже доктором филологических наук и заместителем директора Института русского языка, а название темы исследований, в отличие от предыдущих, обозначено конкретно и узко, причем здесь даже указан шифр рукописи, что не вполне обычно: «Язык книги “Статир” (Рум., 411)».

Таким образом, сохранившиеся в НИОР РГБ сведения о кодексах, с которыми работал Виктор Маркович, несмотря на значительные перерывы, охватывают более чем двадцатилетний период.

Разумеется, название темы, указанной в анкете-заявлении 23 декабря 1981 г., позволяет думать, что замысел второй монографии Виктора Марковича [Живов 1990а] формировался уже спустя непродолжительное время после выхода в свет его первой книги, а рукописные источники, к которым поначалу обращался Виктор Маркович, были связаны с его работой над знаменитой ныне статьей «История русского права как лингвосемиотическая проблема», завершённой, как писал сам автор, в 1982 г., но впервые опубликованной шестью годами позднее ([Живов 1988а], см. также *Postscriptum* к републикации статьи в [Живов 2002: 291]).

Действительно, первые два кодекса, заказанные Виктором Марковичем в НИОР РГБ в самом начале его занятий в отделе, были выданы ему 5 января 1982 г., как только читальный зал открылся после новогодних праздников. Эти рукописи обозначены в формуляре как «сборник» № 9427 из Музейного собрания рукописей (ф. 178) и «Житие» № 218 из собрания Московской духовной академии (МДА, ф. 173. III). Оба кодекса содержат «Возражение или разорение смиреннаго Никона, Божию милостию патриарха противо вопросов боярина Симеона Стрешнева...» относительно Уложения 1649 г.² Первый из них был привлечен В. М. Живовым в отмеченной статье для сверки «Возражения...», опубликованного в XIX в. с купюрами, а также для сопоставления текста этого трактата с посланиями Никона, направленными в 1666 г. восточным патриархам [Живов 2002: 244–246]. Наряду с рукописью РГБ, Муз. 9427 В. М. Живов использовал для сверки кодекс РГАДА, ф. 27 (Разряд XXVII — Приказ тайных дел), № 140.

Однако ссылки на рукопись РГБ, Муз. 9427 и цитаты из нее присутствуют также и в других работах Виктора Марковича, впервые опубликованных спустя почти полтора десятилетия после первого знакомства исследователя с кодексом. Помещенный в этой рукописи трактат Виктор Маркович использовал для характеристики авторского стиля и речевого поведения Никона в статье «Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII века» [Живов 2002: 328–329],

² Можно предполагать, что обращение В. М. Живова именно к этим рукописям было обусловлено упоминанием обеих как содержащих «Возражение...» Никона в монографии о русской публицистике XVII в. [Елеонская 1978: 45].

первая публикация которой на русском языке датирована 1996, а на английском — 1997 г. (см. библиографическую справку в [Там же: 731]). В другой работе Виктора Марковича — «Культурные реформы в системе преобразований Петра I» (впервые опубликована также в 1996 г.) — цитата из никоновского «Возражения...» по рукописи Муз. 9427 приводится для объяснения враждебного отношения царя Петра к ритуалу хождения на осляти, который, согласно Никону, был установлен Константином Великим.

В числе других рукописей, просмотренных В. М. Живовым в феврале–апреле 1982 г., были две Кормчие из Румянцевского собрания (ф. 256), на которые еще в 1820-е гг. обратил внимание Г. А. Розенкампф. Это кодексы № 232, XVI в. (описание: [Востоков 1842: 289–297]) и № 238 1620 г., второй из которых содержит запись о вкладе книги в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь патриархом Никоном ([Там же: 319–330], ср. [Правда I: 238–239]). В статье «История русского права как лингвосемиотическая проблема» вторая из этих рукописей использовалась Виктором Марковичем при сопоставлении русской юридической терминологии с текстом печатной Кормчей 1653 г. [Живов 2002: 216]. Вероятно, с той же проблематикой был связан заказ рукописи из собрания Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ, ф. 304.1) № 14, содержащей 36 слов из «Пандектов» Никона Черногорца, с которой Виктор Маркович работал тогда же, в апреле 1982 г.

В начале октября 1982 г. В. М. Живов вновь пришел в читальный зал НИОР РГБ для занятий с рукописью Кондакаря из собрания ОИДР № 107 (в описании П. М. Строева рукопись отнесена к концу XIV в. [Строев 1845: 41]; теперь же известно, что она датируется концом XII в. и составляла одно целое с РНБ, Погод. 43 [СК № 124–125]). Очевидно, что интерес к Кондакарю был связан уже не с анализом языка правовых памятников, а, вероятнее всего, с осмыслением научного наследия Н. Н. Дурново в области славянского исторического языкознания. Результатом этого осмысления, как известно, стало издание сборника статей [Дурново 2000], снабженного предисловием Виктора Марковича, а также цикла его собственных исследований по истории восточнославянского правописания домонгольского времени [Живов 2006]. Так, в статье о реконструкции профессиональных навыков древнерусских писцов в связи с влиянием разговорного произношения на книжное письмо, посвященной памяти Н. Н. Дурново [Живов 1984], где на протяжении всей работы В. М. Живов соотносит собственные наблюдения с характеристиками и выводами Н. Н. Дурново, исследователь хотя и не цитирует напрямую рукопись РГБ, ОИДР № 107, однако анализирует примеры из другой рукописи Кондакаря XII в. — РНБ, Q.п.1.32 [Живов 2006: 85].

После первого года работы В. М. Живова в НИОР РГБ, судя по записям в формуляре, возник почти шестилетний перерыв. Следующий кодекс, выданный Виктору Марковичу для исследований 27 мая 1988 г., представляет собой сборник слов и житий второй четверти XVI в. из Собрания Отдела рукописей (СОР, ф. 218) № 1132 (описание Н. Б. Тихомирова: [ЗаОР 1963: 292–299]). Еще десять дней спустя Виктор Маркович получил на руки Хронографы 1494 г. из Румянцевского собрания № 453 (описание: [Востоков 1842: 725–755]) и 1517 г. из собрания

В. М. Ундольского (ф. 310) № 719 (упом.: [Викторов 1870: 12]), каждый из которых включает, в частности, псковскую Палею.

Логика обращения к этим кодексам выясняется из статьи «Slavia Christiana и историко-культурный контекст Сказания о русской грамоте», завершенной в 1989 г. и опубликованной впервые в 1992 г. [Живов 2002: 119, 158, 730]. Здесь Виктор Маркович, описывая выделенные им редакции Сказания, одновременно указывает, какими списками они представлены: две последние из упомянутых рукописей отнесены исследователем к первой, «Палейной» редакции, а кодекс СОР № 1132 — к третьей³.

Можно думать, что интерес и к этим источникам, и к теме в целом возник у исследователя в качестве естественного продолжения изучения истории влияния византийской монашеской культуры на русское духовное развитие, замечательный очерк которой был представлен В. М. Живовым в феврале 1988 г. на круглом столе, посвященном 1000-летию Крещения Руси [Живов 1988б]. Однако нужно заметить, что июнь и отчасти июль 1988 г. стали, судя по данным формуляра, самым интенсивным временем занятий В. М. Живова с рукописями библиотеки, причем именно в связи с изучением различных фрагментов жития «учителя словенску языку» св. Константина-Кирилла, входящих в состав редакций Сказания о русской грамоте. Из одного только собрания О. М. Бодянского (ф. 36, папка II) Виктор Маркович изучил более 15 списков жития первоучителя славян, которые в XIX в. были переписаны для О. М. Бодянского А. Е. Викторовым и другими лицами с рукописей из собраний Типографской библиотеки; Кирилло-Белозерского и Чудова монастырей; Архангельской, Казанской, Санкт-Петербургской духовных академий, а также иных хранилищ (описания: [Бумаги Бодянского 1905, № 1, 2, 5–11, 14–15, 17, 22, 28–30, 36–37, 43, 47, 58]). Кроме того, тогда же Виктор Маркович привлек для сопоставления редакций списки из собраний МДА № 19 (посл. четв. XV в.), ТСЛ № 647 (нач. XVI в.), И. Я. Лукашевича (ф. 152) № 8 (посл. четв. XVI в.).

Примечательно, что в том июне, когда Виктор Маркович регулярно ходил в Отдел рукописей и делал свое дело — изучал, как складывалась и распространялась соединившая древнюю церковную и политическую историю легенда, согласно которой «русский народ получил веру и грамоту непосредственно от Бога», а креститель Руси князь Владимир «был научен Св. Духом принять крещение от греков» [Живов 2002: 118], существенно менялся фон культурных и политических событий, снова соединивших религию и государственную политику. В те дни совмещалось прежде несовместимое, а в официально-деловой лексикон во всеуслышание внедрялись новые понятия: как раз тогда проходили основные торжества, связанные с празднованием тысячелетия крещения Руси, отмеченным трехдневным Поместным Собором РПЦ, торжественным концертом в Большом театре, награждением действовавшего и будущего патриархов Московских и Всея Руси (Пимена

³ Это соответствует наблюдению Н. Б. Тихомирова, указавшего, что в сборнике СОР № 1132, где Сказание содержит разночтения с текстом по списку РГБ, Рум. 453, изданным в XIX в. [Добровский 1825: 108–120], оно входит в «комплекс статей, помещаемых обычно в конце Толковой палеи второй редакции (= палеи, слитой с хронографом)» [ЗаОР 1963: 297–298]. Ср. «Addenda et corrigenda» к статье Виктора Марковича [Живов 2002: 158–169].

и Алексия) орденами Трудового Красного Знамени и активностью освещавшего события телевидения⁴.

Изучение рукописной традиции Сказания о русской грамоте, судя по данным формуляра, В. М. Живов продолжил осенью 1988 — зимой 1989 г.: в ноябре–январе он работал с Евангелием учительным из собрания Троице-Сергиевой лавры № 103 (XVI в.), где в дополнение к основному тексту содержится приписываемая св. Константину-Кириллу азбучная молитва (лл. 533–534; впервые опубликована по списку РГБ, Рум. 453 [Добровский 1825: 109]); в собрании Иосифо-Волоколамского монастыря (ф. 113) Виктор Маркович просматривал кодекс Палеи № 551 и четьего сборника № 573 (оба XVI в.), в последний из которых входят «Азбуки толковые» св. Константина-Кирилла (лл. 290–293; описание: [Иосиф 1882: 221–228]). Тогда же в НИОР РГБ Виктор Маркович заказал для повторного просмотра сборник СОР № 1132, а для первичного — Палею XVI в. из собрания Е. Е. Егорова (ф. 98) № 13 и некалендарный четий сборник XVII в. из собрания П. А. Овчинникова (ф. 209) № 119⁵, в последний из которых включены «Книги Константина Философа, первого наставника словенску языку» (лл. 31–37 об.).

Далеко не все рукописи, к которым обращался Виктор Маркович с июня 1988 по январь следующего года, в итоге пригодились ему для публикации статьи «Slavia Christiana и историко-культурный контекст...», однако перечни шифров в формуляре из НИОР РГБ показывают, насколько обстоятельным было изучение различных вариантов Сказания о русской грамоте, проанализированных в этом исследовании. Помимо изданий памятника по разным спискам и манускриптов из собраний РГБ, В. М. Живов, работая и в других хранилищах рукописей, использовал, в частности, рукопись ГИМ, Син. 210 [Живов 2002: 119]. Позднее сам Виктор Маркович отмечал, что при подготовке статьи к печати он «существенно сократил из-за превышения предусмотренного объема ее первую часть, посвященную текстологии Сказания» [Живов 2002: 158]. Дополнения к статье, опубликованные автором при ее переиздании 2002 г., включают наблюдения над текстом Сказания в рукописи РГБ, Егор. 13, а также в нескольких кодексах из собраний ГИМ и РГАДА [Там же: 159–166]. После 1989 г. Виктор Маркович больше не занимался (во всяком случае, в НИОР РГБ) рукописями, содержание которых связано с легендарным Сказанием, ставшим, согласно заключению исследователя, «русской реализацией... схемы дискредитации славянского христианского единства» [Там же: 141]. Можно думать, что все необходимые выписки из источников, послуживших материалами для опубликованного в 2002 г. раздела «Addenda et corrigenda» к статье «Slavia Christiana и историко-культурный контекст...», были сделаны им еще в 1988–1989 гг.

В начале апреля 1989 г. В. М. Живов заказал для работы в НИОР РГБ Хронограф из собрания Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1) № 728 и написанную в 1683–1684 гг.

⁴ В конце того же июня открылась XIX конференция КПСС, по завершении которой 1 июля были приняты резолюции «О демократизации советского общества и реформе политической системы» и «О гласности».

⁵ Согласно выходной записи на л. 296, сборник РГБ, Овчин. 119 написан в 1618 г. диаконом Казанского Благовещенского собора Иваном Никоновым.

книгу проповедей «Статир» из Румянцевского собрания (ф. 256) № 411, имеющую, как принято считать, важное значение для истории русской ораторской прозы (описание: [Востоков 1842: 629–633], обзор и библиография: [Буланина 1998: 268–272; Буланин 2004: 782–783]). Результатом исследования языка сборника «Статир», как известно, стала публикация специальной статьи [Живов 1990б]. Помимо этого, ряд замечаний о языке и авторской позиции составителя кодекса⁶ вошли в переработанный и расширенный вариант монографии 1990 г., где Виктор Маркович, основываясь на тексте рукописи, заключал, что в России еще в конце XVII в. «сама идея проповедовать, а не читать Пролог воспринимается как новизна, вступающая в конфликт с традиционным благочестием», проповедник «может выступать только как реформатор, вступающий в конфликт с “невежественной” толпой», а гомилетика «остаётся ученым новаторством» [Живов 1996: 56, 378–380].

Следующая рукопись, с которой работал В. М. Живов, придя в читальный зал НИОР РГБ 7 июня 1991 г., упомянута в формуляре как «Сборник Иоанна Дамаскина» из собрания МДА (ф. 173.1) № 35. В описании она значится как «Св. Иоанна Дамаскина Богословие или так наз. книга Небеса в переводе Иоанна Екзарха, с прибавлениями» (XVI в.), причем «прибавления» следуют с л. 76 об., а начиная с л. 80, где помещено «Толкование неудобь познаваемым речем, иже обретаются во св. писании Русскаго языка» (Азбуковник), датируются уже следующим столетием [Леонид 1887: 111–117]. Именно вторая часть рукописи, содержащая «Буковницу», предположительно атрибутируемую Герасиму Ворбозомскому (лл. 134–234; об авторстве Герасима: [Успенский 2002: 303]), была интересна В. М. Живову. Это выясняется из работы, представленной Виктором Марковичем на XI Международном съезде славистов [Живов 1993]. В этом докладе «Буковница» служит показательным примером стимулированного «вторым южнославянским влиянием» процесса, когда «словарный состав книжного языка расширяется... за счет слов, заново создаваемых по специфически книжным словообразовательным моделям» [Там же: 108–109]. Третья часть «Буковницы» интерпретируется В. М. Живовым как своеобразный справочник «для построения и употребления маркированно книжных элементов», причем, как полагал исследователь, «в словообразовательном творчестве Герасима отразилась грамматическая регулярность греческого формообразования» [Там же: 118] (см. также о «Буковнице»: [Живов 1995]).

В последующем в занятиях Виктора Марковича в НИОР РГБ возник более чем десятилетний перерыв. Вновь Виктор Маркович пришел в читальный зал летом 2002 г., чтобы снова работать с книгой «Статир». По-видимому, это было связано с подготовкой монографии об исторической морфологии русского языка, где труд пермского священника XVII в. многократно привлекается В. М. Живовым для разбора целого

⁶ Вслед за А. Х. Востоковым [Востоков 1842: 629] Виктор Маркович осторожно называет автора сборника «Статир» «неизвестным священником из Пермской епархии» [Живов 1996: 56]. Некоторые исследователи предполагали, что этим человеком был священник церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке Потап Прокофьев Игольнишников, см. обзор мнений по этому вопросу: [Буланина 1998: 268–272]. В последнее время появились аргументы против авторства Игольнишникова и за передатировку рукописи 1691–1692 гг. [Мангилев, Соболева 2014].

ряда вопросов (случаи цитирования и анализа примеров из сборника «Статир» сведены в указателе к книге: [Живов 2004а: 651]). Один из ключевых выводов Виктора Марковича относительно текста этой рукописи состоит в том, что пермский автор, чьи книжные навыки возникли исключительно в результате читательского опыта, несмотря на стремление соблюдать простоту языка, чтобы быть понятым необразованной аудиторией, «в своей языковой практике... ориентируется на изданные в Москве книги, стараясь выдерживать тот стандарт, который он из них усваивает. В целом это ему удается, и в большинстве случаев его узус соответствует норме и на орфографическом, и на морфологическом, и на синтаксическом уровне, однако вполне последовательно провести эти нормы он все же не в состоянии» [Там же: 415].

Последний по времени этап работы Виктора Марковича с рукописями библиотеки относится к сентябрю–октябрю 2003 г. Тогда В. М. Живов изучал сборник-конволют XV–XVI вв. из Волоколамского собрания (ф. 113) № 571, содержащий как поучения отцов церкви с августа по ноябрь, так и два списка «устава, како достоин избирати епископа», второй из которых неполный (лл. 145–159, 170–177 об.; описание: [Иосиф 1882: 217–219]), а также сборники XVII в., тоже содержащие чины избрания и рукоположения епископов (ТСЛ, № 740 и № 741). Две из этих рукописей, наряду с содержащими аналогичные тексты кодексами из собраний ГИМ и РНБ, были привлечены Виктором Марковичем при написании книги о русской церковной истории, вторая часть которой носит название «Чин поставления архиерея и его изменения в Петровскую эпоху» [Живов 2004б: 131–229]. Рукопись РГБ, Волок. 571 использована при выявлении и анализе редакций архиерейского обещания в разделе 1 «Предыстория» [Там же: 138–141], а троицкий кодекс № 741 — в разделе 2 «Чин избрания и поставления, составленный после Большого Московского собора 1666–1667 гг.» [Там же: 155]. Эти рукописи составляют лишь небольшую часть источников, на которые опирался В. М. Живов, при том, что в целом раздел книги о чине поставления архиерея, как нельзя не заметить, относится к образцовым источниковедческим исследованиям.

Тогда же, в сентябре 2003 г., Виктор Маркович взял на просмотр две рукописи XVIII в. из фондов НИОР РГБ, к которым ранее не обращался. Первый кодекс — из Вологодского собрания рукописей (ф. 354) № 182 представляет собой полемический сборник объемом 348 листов, в основном антилатинской направленности, составленный не ранее 1740 г. Здесь помимо сочинений Евфимия Чудовского, братьев Лихудов, Лазаря Барановича и других полемических трактатов, написанных в XVII в., содержится послание теологов Сорбонны к иерархам русской церкви, датированное 15 июня 1717 г.⁷ и в переводе названное «О примирении церкви великороссийския с церковью римскою» (лл. 319–329). Далее в этой рукописи следует «Ответ на рукописание учителей богословов парижских дому сорбонского о примирении церкви великороссийской с церковью французскою», датированный сентябрем 1718 г. (лл. 331–337). Второй кодекс — из Смоленского собрания рукописей (ф. 733), № 6, вдесятеро меньшего объема, 34 лл., датируемый второй четвертью

⁷ Этим днем датируется латинский оригинал, но не перевод послания: [Успенский, Шишкин 2008: 329, 390].

XVIII в. Эта рукопись не содержит сочинений XVII в., но включает то же послание парижских теологов русским иерархам вместе с ответным посланием, составленным Стефаном Яворским, причем здесь же добавлен особый ответ, написанный Феофаном Прокоповичем. Таким образом, исходя из пересечений в составе кодексов можно думать, что Виктор Маркович решил сверить именно разночтения в списках переводов корреспонденции между французскими янсенистами и епископами русской церкви. Заметим, что по составу эти списки не являются уникальными, а история вопроса и источники в деталях уже были изучены в работе, которую В. М. Живов хорошо знал [Успенский, Шишкин 1990: 113–119, 185–198] (в дополненном переиздании: [Успенский, Шишкин 2008: 327–332, 386–400]). Тем не менее можно объяснить, для чего Виктору Марковичу потребовались эти рукописи. Первая часть его книги о церковной истории первой четверти XVIII в. включает раздел о протесте Стефана Яворского против учреждения Синода как высшей духовной инстанции в управлении русской церковью, содержащий подробное исследование «церковно-политических позиций» Стефана [Живов 2004б: 71–130]. В приложении к этой монографии опубликован выявленный Виктором Марковичем трактат Яворского «Апология или словесная оборона», где обосновывается «чиноначалие» восточных патриархов [Там же: 245–265]. А в подготовленном Стефаном ответе на предложение сорбонских богословов о соединении церковью Яворский особо оговаривал, что в условиях отсутствия на Руси патриарха вопрос не может быть разрешен без участия первоиерархов Христианского Востока, являющихся для русской церкви верховной канонической инстанцией [Там же: 88–91]. Рукопись Вологодского собрания № 182, как показывает в своей книге В. М. Живов, содержит более полный, чем опубликованный ранее, текст послания Стефана, причем в рукописном варианте ответа Яворский говорил о необходимости «созвать собор российских епископов и от его имени обратиться к восточным патриархам» [Там же: 90] (ср. [Успенский, Шишкин 2008: 330–331]).

Последним кодексом, с которым работал В. М. Живов в НИОР РГБ — также в связи с исследованиями церковной истории, стал составленный в XIX в. список со сборника документов патриаршего архива 1700 г., содержащий переписку патриархов Иоакима и Адриана с иерархами Христианского Востока, епископами Киевской митрополии, Молдавии и Сербии и другими лицами, и носящий название «Икона, или изображение дел патриаршья престола» из собрания В. М. Ундольского (ф. 310) № 210, о котором бывший владелец замечал, что это «книга весьма любопытная, приготовленная к печати, но доселе неизданная» [Ундольский 1870: 177]⁸. В частности, в этой рукописи содержится послание Иерусалимского патриарха Досифея патриарху Московскому Иоакиму, где, по наблюдению В. М. Живова, адресант обращается к адресату «анекдотическим образом» и за счет использования в обращении «беспрецедентной титулатуры» создает «пародийное величие» для «своего варварского северного собрата, которого он не любил» [Живов 2004б: 179–180].

⁸ Другие списки «Иконы...»: РНБ, собр. Погодина, № 1115; РГИА, ф. 834, оп. 2, д. 1734; БАН, № 34.6.66; РГБ, собр. Беляева (ф. 29), № 1625. Часть материалов сборника опубликована: [АИ 1842: № 50, № 94–97; АЮЗР 1873].

На фоне обширной научной эрудиции Виктора Марковича, масштаб которой виден уже из списков опубликованных источников и литературы, приведенных в его трудах, может возникнуть неверное впечатление, что рукописные источники занимали второстепенное положение в сфере его исследовательских интересов. Однако непосредственная работа с рукописями отразилась в большинстве основных книг и статей В. М. Живова. Судя по срокам и характеру его занятий с кодексами, он, как правило, приходил в НИОР РГБ не для фронтального просмотра каталогов рукописных собраний в поисковых целях, а уже имея сформировавшиеся замыслы исследований и зная конкретные шифры. К некоторым рукописям Виктор Маркович возвращался более чем через десятилетие после первого знакомства с ними. В основном же от момента первичного изучения того или иного кодекса до публикации, где рукопись анализировалась либо упоминалась, проходило примерно полтора-два года. Некоторые из рукописных источников, изучавшихся Виктором Марковичем, не нашли отражения в его книгах и статьях. В целом характер работы В. М. Живова с рукописями XII–XVIII вв., широкий исследовательский диапазон и обстоятельность этих трудов показывают, что источниковедение наряду с лингвистикой и историей культуры было никак не периферийной, а по-настоящему значимой частью его научной биографии.

Литература

АИ 1842 — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. V: 1676–1700. СПб., 1842.

АЮЗР 1873 — Архив Юго-Западной России. Ч. I. Т. V: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620–1694 г.). Киев, 1873.

Буланин 2004 — Библиографические дополнения к статьям, помещенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» (Вып. 3, части 1–3) / Сост. Д. М. Буланин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в). Часть 4. СПб., 2004. С. 650–804.

Буланина 1998 — *Т. В. Буланина*. Потап Прокофьев Игольнишников // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в). Ч. 3. СПб., 1998. С. 268–272.

Бумаги Бодянского 1905 — Бумаги О. М. Бодянского // Е. И. Соколов. Библиотека Императорского Общества истории и древностей российских. Вып. 2. Описание рукописей и бумаг, поступивших с 1846 г. по 1902 г. вкл. М., 1905. С. 597–653.

Викторов 1870 — *А. Е. Викторов*. Собрание славяно-русских рукописей В. М. Ундольского. Библиографический очерк. М., 1870.

Востоков 1842 — *А. Х. Востоков*. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.

Добровский 1825 — *И. Добровский*. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-критическое исследование / Перев. с нем. [М. П. Погодина]. М., 1825.

Дурново 2000 — *Н. Н. Дурново*. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000.

Елеонская 1978 — *А. С. Елеонская*. Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978.

Живов 1980 — *В. М. Живов*. Очерки по синтагматической фонологии (признак звонкости). М., 1980.

Живов 1984 — *В. М. Живов*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII века // *Russian Linguistics*. Vol. 8. № 3. 1984. С. 251–293.

Живов 1988а — *В. М. Живов*. История русского права как лингвосемиотическая проблема // *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman*. Columbus (Ohio), 1988. С. 46–128.

Живов 1988б — *В. М. Живов*. [Выступление в ходе круглого стола, посвященного 1000-летию Крещения Руси] // *Советское славяноведение*. № 6. 1988. С. 36–39.

Живов 1990а — *В. М. Живов*. Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1990.

Живов 1990б — *В. М. Живов*. «Простота» языка и ее реализации: о языке книги «Статир» (1683–1684 гг.) // *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, XXXIII (1990): Посвећено професору др. Александру Младеновићу поводом 60-годишњице живота. Нови Сад, 1990. С. 141–154.

Живов 1993 — *В. М. Живов*. Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XVI–XVII вв. // *Славянское языкознание: XI Междунар. съезд славистов*. Братислава, сентябрь 1993 г.: Докл. рос. делегации. М., 1993. С. 106–121.

Живов 1995 — *В. М. Живов*. Буковница 1592 г. и ее место в истории русской грамматической мысли // *The Language and Verse of Russia*. In Honor of D. S. Worth / Ed. by H. Birnbaum and M. Flier (UCLA Slavic Stud. N. S.; Vol. 2). М., 1995. С. 291–303.

Живов 1996 — *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Живов 2002 — *В. М. Живов*. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.

Живов 2004а — *В. М. Живов*. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.

Живов 2004б — *В. М. Живов*. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004.

Живов 2006 — *В. М. Живов*. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006.

ЗаОР 1963 — Рукописи, поступившие в 1961–1962 гг. // *Записки отдела рукописей / Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина*. Вып. 26. М., 1963. С. 292–299.

Иосиф 1882 — *Иосиф, иером.* Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку Московской духовной академии. М., 1882.

Леонид 1887 — *Леонид [Кавелин], архим.* Сведение о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища Св. Троицкой Сергиевой Лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году, ныне находящихся в библиотеке Московской духовной академии. Вып. 2. М., 1887.

Мангилев, Соболева 2014 — *П. Мангилев, прот., Л. С. Соболева*. Исторический контекст создания сборника проповедей «Статир» и личность автора // Церковь. Богословие. История: материалы II Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатеринбург, 2014. С. 134–144.

Правда I — Правда Русская. Т. I. Тексты / Под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1940.

СК — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI–XIII вв. М., 1984.

Строев 1845 — *П. М. Строев*. Библиотека Императорского Общества истории и древностей российских. М., 1845.

Ундольский 1870 — Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания, с № 1 по № 579. М., 1870.

Успенский 2002 — *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 2002.

Успенский, Шишкин 1990 — *Б. А. Успенский, А. Б. Шишкин*. Третьяковские и янсенисты // Символ. № 23. Париж, 1990. С. 105–264.

Успенский, Шишкин 2008 — *Б. А. Успенский, А. Б. Шишкин*. Третьяковские и янсенисты // Б. А. Успенский. Вокруг Третьяковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008. С. 319–456.

Dmitri Polonski

Archive of the Russian Academy of Sciences

(Moscow, Russia)

**V. M. ZHIVOV'S WORKS IN THE DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS
OF THE RUSSIAN STATE LIBRARY:
NOTES FOR THE SCIENTIFIC BIOGRAPHY**

The present article aims at describing the peculiarities of Victor M. Zhivov's scholarly works based on handwritten sources of 12th — 18th centuries on the history of the Slavic languages and literatures, as well as on the history of the Russian Orthodox Church. The analysis of the documents stored in the auxiliary archive at the Department of manuscripts of the Russian State Library in juxtaposition with V. M. Zhivov's bibliography provides a key to understanding the evolution of his scientific interests and creative concepts. Through the archival documents study one can see what real work on the manuscript sources is reflected in most of V. M. Zhivov's major scholarly works. This points to the fact that the source studies were no less important for V. M. Zhivov's scientific creativity than linguistics and cultural history.

Keywords: Viktor Markovich Zhivov; Russian State Library; manuscript sources; source study; bibliography; Slavic languages and literatures; Russian church history.

Л. И. Сазонова

*Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН
(Москва, Россия)*

**ВКЛАД В. М. ЖИВОВА
В ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ РИТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ XVIII в.**

В. М. Живов разрабатывал вопросы теории и истории риторики на материале русской риторической традиции XVIII в. В своих рецензиях на научно-критические издания «De Arte Rhetorica» Феофана Прокоповича и «Clavis Poetica» Федора Кветницкого ученый указал на важное значение изучения школьных литературных теорий для понимания русского литературного процесса XVIII в. во всей его полноте и значимых литературных связях. Основное содержание статьи посвящено работе В. М. Живова в качестве ответственного редактора новейшего переиздания филологических трудов М. В. Ломоносова в VII томе Полного собрания сочинений, приуроченного к его 300-летию со дня рождения (2011). Работа В. М. Живова связана не только с общим редактированием всего тома, но и с разработкой методологических принципов комментирования филологических трудов Ломоносова, в частности, двух его Риторик — краткой (1744) и пространной (1748), с тем чтобы представить более объективную научную картину, чем это имело место во втором академическом издании 1952 г. Приведены материалы переписки ученого с автором данной статьи, в которой обсуждались проблемы источников трудов Ломоносова по риторике и их комментирования.

Ключевые слова: В. М. Живов, литературный процесс XVIII в., культурный контекст, школьные литературные теории, Риторика М. В. Ломоносова, источники, комментарии.

Изучение риторики в XX в. не только положило начало процессу ее переосмысления и вывело за пределы узкого понимания как «искусства убеждения» или «науки слагания речей», но и привлекло к ней внимание как к части литературной традиции, участвующей в формировании русской литературы раннего Нового времени и XVIII в.

С осмыслением впервые появившейся в России в XVII в. кодифицированной риторики как важного фактора историко-культурного развития связано появление в 1980-е гг. ряда научно-критических изданий, среди них — «De Arte Rhetorica»

(1706) Феофана Прокоповича [Prokovič 1706/1982] и «Clavis Poetica» (1732) Федора Кветницкого, преподавателя поэтики в Славяно-греко-латинской академии [Kvetnickij 1732/1985]. В. М. Живов написал на эти труды развернутые рецензии, подчеркнув значение изучения школьных литературных теорий для понимания русского литературного процесса первой половины XVIII в. во всей его полноте и значимых литературных связях [Живов 1985; 1988]. Тезис о разрыве между Кантемиром, Третьяковским, Ломоносовым и предшествующей литературной традицией, «утвердившись как необсуждаемая предпосылка истории русской литературы XVIII в. <...> нуждается в пересмотре, ведь новаторство и преемственность — это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие начала. И Кантемир, и Третьяковский, и Ломоносов обучались словесным наукам в Славяно-греко-латинской академии: с какими-то элементами школьного наследия они расстались, но какие-то, видимо, сохранили. Уже одно это делает весьма актуальным изучение школьных литературных теорий и поэтического творчества первой половины XVIII в. Без этого картина литературного процесса в данную эпоху неизбежно остается фрагментарной, а значимые литературные связи — невыявленными» [Живов 1988: 94].

К проблемам изучения риторической традиции В. М. Живов обратился и в связи с подготовкой новейшего переиздания филологических трудов М. В. Ломоносова в VII томе Полного собрания сочинений, приуроченного к его 300-летию со дня рождения. Роль В. М. Живова обозначена здесь понятием «ответственный редактор» [Ломоносов VII: 4]. За предельно краткой формулировкой стоит серьезная работа, связанная не только с общим редактированием всего тома, но и с разработкой методологических принципов комментирования филологических работ Ломоносова с тем, чтобы представить более объективную научную картину, чем во втором академическом издании 1952 г.

В. М. Живов сформулировал общие принципы: «За те шестьдесят лет, которые прошли со времени публикации переиздаваемого сейчас тома, филологические труды М. В. Ломоносова были предметом многочисленных исследований. Некоторые из этих исследований позволили по-новому взглянуть на достижения Ломоносова и на те традиции, которым он следовал. В некоторых работах содержались сведения о новообнаруженных материалах, важных для реконструкции контекста, в котором работал Ломоносов, и дающих возможность глубже понять смысл его высказываний <...> Переиздавая VII том Полного собрания сочинений, редакция стремилась учесть эти новые обстоятельства. Комментарии были существенно дополнены и в отдельных случаях исправлены. Мы стремились указать ту новую литературу, которая появилась за последние десятилетия, и кратко обозначить те выводы, которые позволяют сделать цитируемые исследования. Мы старались не упустить ничего принципиально важного, хотя задача исчерпывающего обзора литературы нами не ставилась. Вместе с тем отдельные пассажи переиздаваемых комментариев были опущены, а именно те, которые содержат явно неверные утверждения (их неправомерность была раскрыта позднейшими работами), или бессмысленно тенденциозные высказывания, отражающие конъюнктуру позднесталинской эпохи» [Ломоносов VII: 627–628]. Под «тенденциозными

высказываниями» имеются в виду, в частности, публицистические восторги по поводу материалистической основы мировоззрения Ломоносова и соотнесения его филологических работ с гениальным сочинением товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».

Вопросы редакторской стратегии при подготовке переиздания VII тома Полного собрания сочинений Ломоносова обсуждались в электронной переписке Виктора Марковича с научными редакторами VII тома¹, ставшей теперь уже фактом истории науки. В одном из писем он предложил решение относительно конъюнктурных высказываний, непреложно требуемых временем, когда велась работа над академическим изданием 1952 г.: «Маркса и Энгельса просто убираем, даже этого не оговаривая. Такие же проблемы есть и с грамматикой, и мы <...> решили, что воспроизводить весь этот “защитный слой” не к чему. Убираем всю эту чушь по своему разумению» (3 мая 2011 г.).

Предметом обсуждения в переписке стал также вопрос о принципах комментирования источников трудов Ломоносова по риторике. Они принадлежат многовековой культурной традиции. Риторика — нормативная литературно-теоретическая наука, одна из древних и наиболее разработанных дисциплин науки о словесности, ведущая начало от Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана, укоренена в глубокой традиции и предполагает определенную систематику, классификационные схемы, понятийный аппарат, формулировку правил. К такому жанру, как руководство по риторике, требование оригинальности предъявляется не в первую очередь. Риторика — это прежде всего традиция, хотя оригинальность не исключалась и риторики не оставались неизменными — содержание жанра трансформировалось. Авторы создавали риторики, сообразуясь с задачами искусства своего времени. Составляя руководство по риторике, автор каждой историко-культурной эпохи, включая и XVIII в., не мог не ориентироваться на сочинения, имевшиеся в данной области знания. На протяжении многих веков система литературно-теоретического мышления носила общеевропейский характер.

Какими источниками пользовался Ломоносов, создавая свою Риторику, — сложный и до сих пор не решенный вопрос. Через какое средство получил он определение того или иного риторического понятия или пример, установить трудно, поскольку «именно в области риторической теории приверженность традициям была особенно глубокой» [Граудина, Миськевич 1989: 31]. Не только учение, но также цитаты передаются из поколения в поколение и могут встречаться в разных компендиумах, которые не всегда прямо зависят друг от друга, но принадлежат к общей традиции. Мы имеем дело с пересекающимися источниками, и в таком случае точное установление источника цитирования становится проблематичным.

Ломоносову при создании собственного риторического учения весьма пригодился приобретенный им теоретический опыт в области риторики. Еще в московской

¹ Е.Э. Бабаева подготовила к переизданию «Российскую грамматику» М.В. Ломоносова и другие его лингвистические сочинения, автор настоящей работы, Л.И. Сазонова, — Риторика 1744 и 1748 г., а также остальные филологические труды [Ломоносов VII].

Славяно-греко-латинской академии он слушал курсы по риторике украинского монаха Порфирия Крайского (в 1733/1734 учебном году) и поэтике Федора Кветницкого. Будучи в Германии, штудировал трактаты по риторике Псевдо-Лонгина «О возвышенном» (в переводе Буало²) и французских иезуитов XVII в. — Николя Коссена (1580/1583–1651), с трудом которого познакомился еще в курсе лекций Порфирия Крайского, а также Франсуа-Антуана Помея (1619–1673), книга которого неоднократно переиздавалась начиная с 1659 г. Ломоносов конспектировал руководство по риторике немецкого автора Иоганна Кристофа Готтшеда (1700–1766) «Ausführliche Redekunst».

Краткий рукописный вариант Риторики Ломоносова появился в 1744 г., за ним, в 1748 г., последовал пространный печатный текст. Влияние западноевропейских риторик XVII–XVIII вв. на обе Риторик Ломоносова несомненно. Его и не могло не быть, поскольку, подчеркнем еще раз, риторика — учение нормативное.

Трудность определения источников ломоносовских трудов по риторике объясняется самой природой жанра, предполагающего наследование традиции: сходные формулировки правил и одинаковые иллюстрации могут повторяться в десятках различных руководств по риторике. Приведем пример. Обсуждая приемы, которые помогают оратору взволновать слушателей, Ломоносов пишет, что «разумный ритор при возбуждении страстей должен поступать, как искусный боец: уметь в то место, где не прикрыто, а особливо того наблюдать, чтобы тем приводить в страсти, кому что больше нужно, пристойно и полезно» (Риторика 1748 г., § 98 [Ломоносов VII: 132]). Сравнение ритора с воином известно риторикам предшествующей поры, это место сохранилось в средневековых рукописях; оно восходит к трактатам Цицерона «Оратор» (XXXVII, 128–129) и Квинтилиана «Наставление оратору» (XII, 9, 20–21), где этот образ входит в «портрет идеального оратора», являющийся частью учения о пафосе. Та же метафора присутствует и у святого Августина, опиравшегося на учение Цицерона (*De doctrina Christiana*, IV, XX, 42; см. [Евдокимова 2005: 181–182]).

Поясняя правила, Ломоносов цитирует античных авторов (Гомер, Геродот, Аристотель, Демосфен, Деметрий Фалерский, Теренций, Цицерон, Овидий, Вергилий, Курций Руф, Ювеналий и др.), раннехристианских латинских писателей (Тертуллиан и Лактанций и др.), Отцов Церкви (Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин). Они отмечены во втором академическом издании Полного собрания сочинений (1952). Из чтения комментариев у читателя может, однако, сложиться впечатление, что Ломоносов цитирует непосредственно из первоисточников, проработавшая собрание речей Цицерона, всего Овидия, Вергилия, Курциуса Руфа, Теренция и т. д., хотя весьма вероятно, что наибольшая часть правил и примеров восходит к текстам-посредникам. Отсылая

² Ломоносов читал и конспектировал перевод трактата Псевдо-Лонгина на французский язык, выполненный Н. Буало: «*Traité du sublime, ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec, de Longin par Nicolas Boileau Despreaux*». Конспект трактата, сделанный Ломоносовым, опубликован И. З. Серманом [Серман 2002].

к первоисточникам, издание 1952 г. изымает тем самым обе Риторики Ломоносова из многовековой традиции составления такого рода сочинений и, следовательно, из европейского культурного контекста XVIII в., что, впрочем, понятно и отражает дух времени.

При сравнении с первым академическим изданием, подготовленным академиком М. И. Сухомлиновым [Ломоносов 1895], это становится еще более очевидно. Пытаясь поставить труд Ломоносова в риторическую традицию, М. И. Сухомлинов привел на 300 страницах своего комментария множество параллелей из западноевропейских трудов по риторике XVII–XVIII вв., о которых известно, что Ломоносов штудировал их еще на студенческой скамье либо они имелись у него во время учебы в Германии.

Однако между цитируемыми М. И. Сухомлиновым пассажами и текстом Ломоносова часто можно наблюдать значительные расхождения, а вместе с тем полные или частичные совпадения между сопоставляемыми фрагментами не обязательно свидетельствуют об их прямой генетической связи, но могут объясняться принадлежностью к общей риторической традиции.

По наблюдениям Х. Кайперта, когда Ломоносов использует (в § 223) те же фрагменты из Цицерона, которые приведены Коссеном и Помеем, то это не обязательно свидетельствует о том, что у них он заимствовал данный пример, но только о том, что в риторическом обучении такие *exempla* были известны. Особенности цитирования Ломоносовым греческих авторов, как отметил Х. Кайперт, указывают на то, что он пользовался латинским промежуточным переводом. Анализируя приведенную Ломоносовым (в § 283) цитату из Лукиана («Разговоры в царстве мертвых», разговор 12), Х. Кайперт пришел к выводу, что Ломоносов использовал здесь также, конечно, не греческий оригинал или полный латинский перевод, но переработанное, сокращенное и парафразированное изложение, какое было общепринято в учебниках по риторике [Keipert 1967].

Ломоносов работает в весьма устойчивой традиции, которую и воспроизводит, она включает использование готовых определений риторических понятий, правил, цитат, примеров. Как изучать эту традицию? Здесь, как полагает В. М. Живов, можно указать на Х. Лаусберга («Handbuch der literarischen Rhetorik»), хотя в то же время ученый замечает, что ссылки на него не слишком помогают делу, поскольку Лаусберг описывает все же классическую традицию, а Ломоносов стоит от нее далеко и в большинстве случаев посредствующие звенья важнее, чем истоки. Тем не менее Виктор Маркович обратился к упомянутому труду: «Лаусберг лежит у меня на столе³. Я посмотрю, что нам (немногое) из него нужно, добавлю и пришлю Вам на просмотр» (11 мая 2011 г.). Он полагал, что можно даже говорить, «не об одной традиции, а различать несколько “подтрадиций”, и здесь, как уже было определено, Ломоносов следует за Коссеном и Помеем» (22 апреля 2011 г.). Размышляя о том, что в перспективе следовало бы проследить и риторические традиции от античности до тех источников, которыми пользовался Ломоносов, Виктор

³ Речь идет об издании [Lausberg 1990].

Маркович отметил, что все же в некоторых случаях об истоках риторической традиции в новом издании сказано, что создает некоторые европейские ориентиры, отсутствовавшие в комментарии академического издания 1952 г., — ориентиры, пусть даже только символические.

По словам В. М. Живова, «если же всерьез проследить традиции от античности до тех источников, которыми пользовался Ломоносов, то работа растянулась бы на несколько лет» (19 мая 2011 г.). Ученый признает: «Мы, конечно, не в состоянии справиться с источниками ломоносовской “Риторики”, это отдельная большая работа. Сказать о проблеме источников надо. Думаю, что в комментарии, прямо в первом разделе комментария, где говорится о тексте в целом. Сухомлинов дает не столько источники, сколько параллели, но и они полезны и информативны. Почему эти материалы не были включены во второе академическое собрание, мне неясно; возможно, чтобы не лишать Ломоносова роли творца (все же борьба с космополитизмом в это время еще не совсем кончилась). Как бы то ни было, целесообразно это исправить и сухомлиновские находки отметить (может быть, с некоторыми сокращениями). То, что есть у профессора Кайперта, тоже стоит взять. Ясно, что многое идет от Готтшеда (ведь есть и выписки), и где есть совпадения с Готтшедом и воспроизведение его цитат, надо отметить, хотя, Вы правы, у него могли быть в руках и другие риторики (он, например, знал Лами и из него тоже делал выписки⁴ — кстати, теперь есть русский перевод Лами⁵). То, что нашел Грассхофф, конечно, берем» (18 апреля 2011 г.). В другом письме Виктор Маркович вновь вернулся к этой теме: «Из более конкретных источников меня волнует Готтшед, “Ausführliche Redekunst”. Все ли там просмотрел Сухомлинов? Нельзя ли что-то взять у Грассхоффа?» (22 апреля 2011 г.).

Г. Грассхофф, изучая проблему источников второй Риторике Ломоносова, сопоставил ее текст с трактатом Готтшеда «Ausführliche Redekunst», выдержавшим в период с 1728 по 1759 г. несколько изданий. По его наблюдениям, Ломоносов дословно перевел из немецкого автора на русский язык цитаты из Цицерона, Демосфена, Флешье, Мосхайма [Grasshoff 1961]. Отдельные приведенные исследователем примеры представляются очень убедительными, хотя это не обязательно означает, что та или иная отмеченная цитата восходит непременно к Готтшеду. В распоряжении Ломоносова могли находиться и другие руководства по риторике.

Важная роль в передаче риторической традиции принадлежит *loci rhetorici*. Как велика эта зависимость, еще предстоит исследовать. Совпадения с авторами риторик XVII–XVIII вв. наблюдаются у Ломоносова главным образом в определении риторических понятий (предмет риторики, три вида красноречия, риторические периоды, имя, причины, подобию, тропы, риторические фигуры и др.). Так,

⁴ Бернар Лами (Lamy) — французский теоретик XVII в., автор труда «Риторика, или Искусство речи».

⁵ Исследование и комментированный перевод «Риторики» Б. Лами см. [Пастернак 2002].

конспектируя, к примеру, труд Готтшеда «Ausführliche Redekunst», Ломоносов выписал приведенное в нем определение риторики, данное французским теоретиком XVII в. Бернардом Лами (Lamy): «M. Lami hat die Rhetorik also defnirt: L'idée de la Rhetorique comprend l'art de persuader, aussi bien, que celle de parler». С этим понятием соотносится по существу сформулированное Ломоносовым определение в первом параграфе Вступления к Риторике 1748 г.: «Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению».

В. М. Живов не упустил из виду и ближайшую к Ломоносову восточнославянскую риторическую традицию: «Можно было бы еще взглянуть на “Поэтику” Кветницкого, у которого Ломоносов учился в Славяно-греко-латинской академии. Ведь ломоносовская “Риторика” в некоторой степени инкорпорирует поэтику. И я бы взглянул на то, что Рената Лахманн⁶ пишет о Прокоповиче: давно не читал, но где-то там Ломоносов, кажется, упоминается» (18 апреля 2011 г.).

Совместно с В. М. Живовым было принято решение учесть в новейшем переиздании комментарии академика М. И. Сухомлинова (не воспроизводя их, естественно, целиком) как широкий сравнительный материал.

В комментариях новейшего переиздания приведены соотносимые с текстом Риторик 1744 и 1748 г. цитаты и параллельные места из западноевропейских риторик XVII–XVIII вв., составляющих контекстуальное поле работы Ломоносова. В тех случаях, когда близость текстов очевидна, цитируются соответствующие места из трудов Порфирия Крайского, Коссена, Помея, Готтшеда, Кветницкого, Вольфа. Когда же совпадения ограничиваются ключевыми словами или выдержки из трактатов по риторике далеко отстоят от текста Ломоносова, представляя собой вариации на одни и те же темы, либо когда цитаты слишком обширны (занимают несколько страниц у М. И. Сухомлинова; надо сказать, он брал материал широко), то сделаны соответствующие отсылки к параллельным местам, приводимым М. И. Сухомлиновым, чтобы обратить внимание читателя на все же имеющую место общность.

Виктор Маркович признал такой подход наиболее соответствующим задаче комментирования трудов Ломоносова по риторике: «Мне кажется, именно так и нужно. Воспроизводить все, что приводил Сухомлинов, неразумно. У них в это время была чрезвычайная свобода, и они приводили параллели без отбора. Мы теперь так не делаем <...> Можно сказать, что проблемы определения точных источников до конца не решены и нуждаются в дальнейшем исследовании» (22 апреля 2011 г.).

В новейшем переиздании, в отличие от академического издания 1952 г., нашли также отражение пометы В. К. Тредиаковского, оставленные им в принадлежавшем ему экземпляре ломоносовской Риторики 1748 г. (экз. хранится в РНБ; см. [Сводный каталог 2: 168]). В. М. Живов положительно оценил данную позицию

⁶ Рената Лахманн — профессор университета в г. Констанц (ФРГ), ею опубликовано сочинение Феофана Прокоповича «De arte rhetorica» [Prokopovič 1706/1982].

в комментарии: «Маргиналии Тредиаковского, по-моему, более чем уместны» (3 мая 2011 г.).

Исключительно большим спросом на Риторику Ломоносова объясняется то, что в XVIII в. она выдержала семь изданий. Наряду с несколькими печатными публикациями XVIII в. труд имел хождение также в рукописном виде. Уже после выхода в свет академического издания Полного собрания сочинений Ломоносова (1952) было установлено, что в Венгрии, в библиотеке Паннонхальма, хранится список со второго издания Риторике 1759 г. (шифр: №118 F 47); статья венгерского исследователя об этой находке напечатана в издании «*Studia Slavica*» [Danci 1962], и Виктор Маркович прислал ее ксерокопию («Посылаю статью Данци, чтобы не надо было ездить в Химки», 11 мая 2011 г.), а вскоре сопроводил ее своим комментарием: «Данци вообще-то довольно бессмысленный. Единственный вывод, что кто-то читал и даже переписывал. Это немного, но сослаться можно» (19 мая 2011 г.). Действительно, из приписки в новонайденном списке следует, что книга переписана «иеромонахом Софронием Богословским в общежительном монастыре Бешенове лета Господня 1775»; примечания, помещенные в конце рукописи, и разного рода пометы свидетельствуют о значительном интересе, с каким читалась Риторика.

В 1974 г. появилась диссертация американского исследователя Аманды Мартин, посвященная анализу риторического учения Ломоносова, — «*Lomonosov's Rhetoric*», написанная под руководством Р. О. Якобсона⁷. Виктор Маркович живо откликнулся на просьбу прислать эту работу: «Колумбийскую диссертацию попытаюсь достать, хотя не уверен, что там есть что-то оригинальное» (17 февраля 2011 г.); «А нет ли у Вас более точных данных о том, в каком университете защищалась диссертация Аманды Мартин, потому что Нью-Йоркский университет — это такое многозначное понятие: New-York University (NYU), University of New York (их четыре штуки в разных городах — Stony Brook, Buffalo, etc.), Columbia University, Barnard College. Знакомые есть всюду, так что я могу попросить сделать ксерокс или отсканировать, но надо знать, кого» (6 марта 2011 г.); «Нью-Йоркскую диссертацию, думаю, раздобуду» (30 марта 2011 г.).хлопоты Виктора Марковича увенчались успехом: «Вот диссертация Аманды Мартин в пяти файлах. Я посмотрел, она, конечно, не слишком полезная, много структуралистской болтовни и мало собственно филологической работы. Но все-таки кое-что есть даже в отношении источников, и сослаться на нее, я думаю, надо (и, возможно, не раз)» (29 апреля 2011 г.).

Автор первой русской Риторике Ломоносов выступает как представитель русской и европейской учености. Именно в том же году, когда завершилась работа над трудом, «ориентация русской риторики на западную модель была официально узаконена затем “Регламентом Академии наук и художеств” 1747 г., где говорится (в § 48): “Реторики русской или элоквенции особливо не обучать [в Академическом университете], ибо кто знает, в чем элоквенция на латинском языке

⁷ Благодарю профессора Х. Кайперга за указание на этот труд.

состоит, тот знать может и на всех языках оные правила...”; таким образом, правила русской и латинской риторики должны были в принципе совпадать» [Успенский 1985: 147, примеч. 146].

Ломоносов предстает как автор *оригинальной* Риторики, хотя, опирающаяся на многовековую традицию теоретико-литературного знания, она неизбежно использует материалы предшествующих трудов в данной области, принадлежащих к западноевропейской риторической традиции XVII–XVIII вв.

Ломоносов стал также автором первой в России Риторики, написанной на русском языке. Для того чтобы в полной мере оценить исключительно важное значение данного историко-культурного факта, следует отметить, что до Ломоносова в восточнославянской среде имели хождение западноевропейские риторики и поэтики постренессансной поры на латинском, греческом и церковнославянском языках⁸.

В. М. Живов существенно переработал комментарий ломоносовского «Письма о правилах российского стихотворства», представленный в издании 1952 г. Направленность своей редакторской правки ученый определил следующим образом: «Письмом о правилах сейчас занимаюсь <...> Там дурацкая псевдо-патриотическая апологетика Ломоносовского “Письма”, опускающая ряд важных моментов (то, что указывает на связь с немцами) и тенденциозно обругивающая как силлабику, так и Третьяковского. После работ Гаспарова такое даже читать стыдно. Так что я <...> пришлю, инкорпорируя Гаспарова и замечательную статью Иоахима⁹ о стихотворной реформе Третьяковского» (19 мая 2011 г.).

Внимание и самый подход В. М. Живова к изучению русской риторической традиции XVIII в. отражают свершившуюся еще в 1990-е гг. эволюцию его научных интересов, которую он сам назвал «поворотом к истории». В «Предисловии» к «Разысканиям в области истории и предистории русской культуры» Виктор Маркович пишет о том, что утратил «интерес к структурным моделям и синхронным описаниям»: «Мне хотелось узнать, как получилось, что мы (в различных составах этого мы) думаем, чувствуем и говорим именно так, как мы это делаем, или, другими словами, как возникли наши смыслы, как образовались наши культурные практики и навыки речи. Обращение к этой проблеме отсылает к чистой историчности, что предполагает историческое деконструирование смыслов, а отнюдь не их структуралистское конструирование. Обратившись к истории, расстаешься со структурализмом, хотя это, конечно, не единственный способ с ним расстаться» [Живов 2002: 10]; «Историчность смысла была в структурализме безнадежно утеряна» [Там же].

Значение работ В. М. Живова о риторической традиции в русской литературе следует особо подчеркнуть, учитывая, что в советский период нашей науки ее изучение, можно сказать, фактически отсутствовало. Продолжало свое существование сложившееся еще в эпоху романтизма представление, согласно которому

⁸ См. подробнее [Сазонова 2013: 20–23].

⁹ Иоахим Кляйн — известный исследователь русской литературы XVIII в.

понятие «риторика» отождествляется с формально-логическим, нетворческим подходом к литературе. Господствовала установка на оригинальность, узко понимаемую как самобытность.

Возведение понятия самобытности в некий обязательный методологический критерий отражало во многом сиюминутные идеологические интересы [Сазонова, Робинсон 1997]. В результате возобладала тенденция описывать русскую культуру как замкнутую для общеевропейского процесса развития, как некую обособленную, независимую область на карте культуры и литературы.

Реабилитация риторики началась в нашей науке в 1980-е гг. вместе с трудами С. С. Аверинцева [Аверинцев 1981; 1986] (переизд. см. [Аверинцев 1996]), М. Л. Гаспарова [Гаспаров 1986], А. В. Михайлова¹⁰. Ими разрабатывались вопросы теории и истории риторики на античном и западноевропейском материале. В ряд этих славных имен следует вписать и имя В. М. Живова как исследователя русской риторической традиции XVIII в.

Литература

Аверинцев 1981 — С. С. Аверинцев. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 15–46.

Аверинцев 1986 — С. С. Аверинцев. Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1986. С. 19–90.

Аверинцев 1996 — С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.

Гаспаров 1986 — М. Л. Гаспаров. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1986. С. 91–169.

Граудина, Миськевич 1989 — Л. К. Граудина, Г. И. Миськевич. Теория и практика русского красноречия. М., 1989.

Евдокимова 2005 — Л. В. Евдокимова. Риторика и поэзия в «Искусстве сочинять» Эстаха Дешана // Кентавр. Centaurus. Studia classica et mediaevalia. № 2. 2005. С. 178–190.

Живов 1985 — В. М. Живов. Feofan Prokopovič. De arte rhetorica libri X / Hrsg. von R. Lachmann. Köln; Wien, 1982 // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 44. № 3. 1985. С. 274–278.

Живов 1988 — В. М. Живов. Актуальные проблемы истории русской риторической традиции (По поводу издания поэтики Ф. Кветницкого) // Советское славяноведение. № 2. 1988. С. 94–99.

¹⁰ В начале 1980-х гг. А. В. Михайлов написал книгу о месте слова в культуре и риторической словесности «Методы и стили литературы», она была опубликована только четверть века спустя [Михайлов 2008].

Живов 2002 — В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.

Ломоносов 1895 — [М. В. Ломоносов.] Сочинения М. В. Ломоносова с объяснит. примеч. М. И. Сухомлинова. Т. 3. СПб., 1895.

Ломоносов I–X — М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений: В 10 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1–10. М.; СПб., 2011.

Михайлов 2008 — А. В. Михайлов. Методы и стили литературы / Редактор-составитель, автор послесловия и комментариев Л. И. Сазонова. М., 2008.

Пастернак 2002 — Е. Л. Пастернак. «Риторика» Лами в истории французской филологии. М., 2002.

Сазонова 2013 — Л. И. Сазонова. Риторика Ломоносова: актуальные проблемы риторической традиции XVIII века // Чтения отдела русской литературы XVIII века. Вып. 7. М. В. Ломоносов и словесность его времени. Перевод и подражание в русской литературе XVIII века / Отв. ред. А. А. Костин, А. О. Дёмин. М.; СПб., 2013. С. 20–40.

Сазонова, Робинсон 1997 — Л. И. Сазонова, М. А. Робинсон. Изучение литературы русского средневековья и идеологизированная методология // Освобождение от догм. История русской литературы и пути изучения. Т. 1. М., 1997. С. 159–178.

Сводный каталог 1–5 — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800. Т. 1–5, доп. том. М., 1962–1975.

Серман 2002 — И. З. Серман. Неизданный конспект М. В. Ломоносова «Трактата о возвышенном» Псевдо-Лонгина в переводе Н. Буало // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 333–346.

Успенский 1985 — Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Danci 1962 — J. Danci. О списке «Риторика» М. В. Ломоносова, найденном в Венгрии // *Studia Slavica*. 1962. Т. VIII/1–2. С. 141–147.

Grasshoff 1961 — H. Grasshoff. Lomonosov und Gottsched. Gottscheds *Ausführliche Redekunst* und Lomonosovs *Ritorika* // *Zeitschrift für Slawistik*. 6. 1961. S. 498–507.

Keipert 1967 — H. Keipert. Zur Quellenfrage von Lomonosovs zweiter „Rhetorik“ // *Festschrift für M. Woltner zum 70. Geburtstag*. Heidelberg, 1967. S. 134–143.

Kvetnickij 1732/1985 — F. Kvetnickij. *Clavis Poetica*: Eine Handschrift der Lenbibliothek Moskau aus dem Jahre 1732 mit einer Einleitung / Hrsg. B. Uhlenbruch (=Slavistische Forschungen. Bd. 27; *Rhetorica Slavica*. Bd. 3). Köln; Wien, 1985.

Lausberg 1990 — H. Lausberg. *Handbuch der literarischen Rhetorik*. 3. Aufl. Stuttgart, 1990.

Prokopovič 1706/1982 — F. Prokopovič. *De arte rhetorica libri X. Kijoviae 1706* / Hrsg. nach zwei Handschriften aus den Beständen der Kiever Zentralen Akademie-Bibliothek von R. Lachmann (=Slavistische Forschungen. Bd. 27/II; *Rhetorica Slavica*. Bd. 2). Köln; Wien, 1982.

Lydia I. Sazonova

*A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

**V. M. ZHIVOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY
OF THE RUSSIAN 18TH CENTURY RHETORICAL TRADITION**

V. M. Zhivov worked at the questions of the theory and history of rhetoric on the material of Russian rhetorical tradition of the XVIII century. In his reviews on the scientific and critical editions of *De Arte Rhetorica* by Feofan Prokopovich and *Clavis Poetica* by Fyodor Kvetnitskij the scholar pointed out the importance of studying of the literary theory for the understanding of Russian literature of the XVIII century in its entirety and significant literary connections. The main content of this article is devoted to the work of V. M. Zhivov as a managing editor of the recent reissue of philological works by M. V. Lomonosov in the VII volume of his Complete Works, dedicated to the 300th anniversary of his birth (2011). The work of V. M. Zhivov is connected not only with his general editing of the entire volume, but also with the development of methodological principles of commenting Lomonosov's work on philology, in particular, two of his Rhetorics, a short one (1744) and a long one (1748), — in order to provide a more objective scientific picture than it took place in the second academic edition of the 1952. There are presented materials of Zhivov's correspondence with the author of this article, this correspondence reflects the discussion on the problems of the sources used by Lomonosov in his works on rhetoric and their commenting.

Keywords: V. M. Zhivov, the literary process of the 18th c., the cultural context, school literary theory, Lomonosov's Rhetorics, sources, comments.

II

С. А. Иванов

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)*

«НЕ СОГРЕШИШЬ — НЕ ПОКАЕШЬСЯ»: О ПАРАДОКСАХ СПАСЕНИЯ ДУШИ НА РУСИ И В ВИЗАНТИИ

Идея В. М. Живова, что в православной культуре существовала концепция спасения как результата случайности, везения или обмана. Крайним примером подобного отношения служит русский парадокс «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься, следовательно: не согрешишь — не спасешься». Хотя этот софизм возник уже на русской почве, среди византийских «душеполезных историй» встречаются такие, что могут служить для него яркой иллюстрацией.

Ключевые слова: православная сотериология, Византия, «душеполезные истории».

В последние годы жизни Виктор Маркович был охвачен идеей написать книгу о русском грехе и русском спасении, но успел издать лишь несколько статей [Живов 2006; 2008а; 2008б; 2010]. В своей публичной лекции в 2009 г. В. М. Живов говорит: В «Повести душеполезной старца Никодима о некоем иноке» «грехи не преграждают герою путь к спасению. Напротив, они как бы способствуют изливаюнию Божественного милосердия. И автор цитирует апостола Павла для подтверждения этой идеи, приписывая своеобразное, хотя, может быть, нередкое в России значение стиху из послания Римлянам: “Идеже умножися грех, ту преизбыточествова благодать” (Рим. 5: 20): где было много греха, там было еще больше благодати. Это говорится у апостола Павла о том, как Израиль грешил, грешил — а потом Господь послал своего Сына для искупления грехов. Но здесь это понимается в обратном смысле: чем больше нагрешил, тем больше Господь явит своего милосердия. Т. е. “не согрешишь — не покаешься” и другие народные мудрости этого периода» [Живов 2009].

Полностью тот софизм, на который походя ссылается В. М. Живов, выглядит так: «Не согрешишь — не покаешься; не покаешься — не спасешься». Логический вывод, следующий из этого силлогизма, никогда не произносится в силу его

полной очевидности: «Не согрешишь — не спасешься». Разумеется, основу лукавого парадокса составляет банальная христианская максима, что без покаяния не может быть спасения, и подобными сентенциями полнится вся византийская богословская литература (Григорий Нисский, Афанасий Александрийский, Василий Кесарийский, Иоанн Дамаскин и т. д.), но вот насколько глубоко в историю уходит первый член силлогизма, сказать трудно. Поверхностное впечатление состоит в том, что софизм приобрел особую популярность в конце XIX — начале XX в. Кто-то из современников считал, что это было придумано в петербургском обществе в качестве шутки по поводу Григория Распутина, другие, напротив, находили эту «мудрость» старинной. А. Ремизов во «Взвихренной России» пишет: «И прошлое мое обернулось, как сказали бы деда, “не грех, токмо падение”», а кто-нибудь еще прибавлял, конечно, по-своему, что звучит *по старине*: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься» [НКРЯ s. v. **грех**]. Парадокс этот цитируется у А. М. Горького («Жизнь Клима Самгина», «В людях», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», «Жизнь Матвея Кожемякина»), А. И. Куприна («Яма»), А. В. Амфитеатрова («Княжна»), Д. Н. Мамина-Сибиряка («Три конца»), А. И. Эргеля («Гарденины, их дворня, приверженцы и враги»). Самое раннее художественное произведение, в котором мне встретился этот силлогизм, — рассказ В. Г. Короленко «Убивец» (1882 г.), однако сам Короленко возводил его к каким-то загадочным сектам: «“Без покаяния нет спасения, а без греха нет покаяния”». Значит, грех нужен для спасения. Не могу сказать ничего более точного об этом странном учении. Я изобразил это сочетание, как умел, в рассказе об “Убивце”. Но сколько ни старался узнать более подробно о странной секте “покаянников”, ничего более точного узнать не мог. Попадались мне лишь поговорки, вроде “Грех и спасение в шабрах живут”. Но сколько-нибудь систематического учения, где бы оно было приведено в стройную систему, я не встречал» (В. Г. Короленко. История моего современника [НКРЯ s. v. **грех**]). Впрочем, В. В. Верещагин приписывал принцип «Не согрешишь, так и не покаешься, а не покаешься — не получишь св. Духа и не спасешься» закавказским молоканам, которых он встречал во время путешествия в 1865 г. [Верещагин 1900: 32], а Н. С. Лесков — старообрядцам-федосеевцам (Н. С. Лесков. С людьми древлего благочестия [НКРЯ s. v. **грех**]). Восходит ли этот силлогизм к каким-то древним временам, является ли он вышедшей за свои скромные пределы бурсацкой шуткой — оставляем судить другим. Наша задача в том, чтобы поискать в византийской культуре признаки того восприятия греха, которое отражено в вышеназванном софизме.

Мы встречаем в Византии много примеров скандального поведения праведников и даже святых. Здесь, конечно, приходят на память юродивые или мистик Симеон Новый Богослов [Иванов 2005]. Однако подобные случаи никоим образом для нашей задачи не подходят, ибо ни в житиях «похабов», ни у Симеона никто ни в чем не кается: ведь юродственные поступки лишь по прискорбной душевной слепоте наблюдателей кажутся последним греховными. И все же есть один жанр византийской словесности, в котором можно встретить именно мотив «не согрешишь — не покаешься»: это так называемые душеполезные истории, короткие

занимательные рассказы, имевшие массовое распространение в империи. Поскольку жанр этот плохо опубликован и мало исследован, позволим себе привести в переводе целиком три подобные истории.

Вот первый рассказ, его действие происходит в египетском монастыре Монидии и относится к ранневизантийскому времени:

«В Монидиях жил брат, который постоянно впадал в блуд... Он... молился Богу: “Господи, спаси меня, желаю я того или нет! <...> Я страстно жажду греха, но Ты... всемогущ, огради меня! Если Ты спасешь чистого, что здесь удивительного?” Однажды ночью он согрешил по своему обыкновению, однако тотчас, как поднялся, стал читать канон. Бес изумился его упованию и его доброму бесстыдству перед Богом, он явился ему и говорит: “Вот ты поешь псалом! Как же ты, не краснея вообще, стоишь перед Богом или называешь Его имя?” Монах ответил: “Эта келья — как наковальня: чем сильнее бьешь молотом, тем сильнее получаешь отдачу. ...Посмотрим, кто победит, ты или Бог”. Услыхав такое, дьявол ответил: “Ну что ж <...> я не буду больше тебя искушать”» [Wortley 2014: 390].

В вышеприведенной истории грех выступает еще как сопутствующее спасению обстоятельство. Вторая «душеполезная история» демонстрирует уже прямую полезность греха для спасения.

«Некий старец сидел в месте отшельническом семьдесят лет. Подвизаясь в строжайшей аскезе, величайшем воздержании и бдении, он (тем не менее) не сподобился во всем этом никакого божьего знака, так что начал рассуждать сам с собой: “Быть может, все мое делание неприемлемо и не нравится Богу, а по какой причине — не знаю”. Начал он со слезами еще настойчивее молиться и звать к Богу, говоря: “Господи, Господи, приемлемо ли для Тебя многолетнее мое делание? Не чуждой ли я среди Твоих рабов? Сподоблюсь ли и я капли Твоих милостей, дабы в радости своей отринул я от себя подозрительное малодушие и проводил остаток своей жизни в воодушевлении?”

Когда великий старец просил об этом, был ему от Бога ниспослан глас, рекший: “Если желаешь узреть славу Мою, ступай во внутреннюю пустыню — там ты услышишь Божье возвещение”. Когда он отправился и был уже далеко от своей кельи, встретился ему разбойник и тотчас кинулся на старца, собираясь убить его. Схватив его, он заявил: “Разве не замечательно, старикашка, что я тебя схватил? Есть такой закон: кто сможет совершить сто убийств, беспрепятственно снищет рай. Много я старался, но доньше смог убить (только) девяносто девять человек; одного не хватало для выполнения моей задачи. Я очень тебе признателен, что сегодня благодаря тебе выполняю обещание и войду в рай!”

Пока разбойник говорил все это старцу, тот стоял, напрочь лишившись дара речи, в растерянности от такого удивительного и неожиданного испытания. Возведя очи своего разума к Богу, он так рассуждал с самим собой: “Так вот, Господи, какова слава, которую Ты обещал Своему рабу? Так-то Ты произволил просветить меня, недостойного! Такими-то дарами оплачиваешь Ты за мои аскетические труды? Воистину, осознал я, что все труды мои тщетны и все молитвы мои суть

мерзость для Тебя. Благодарен я несказанному Твоему человеколюбию, что Ты наказываешь меня, недостойного, как Сам знаешь, и за бесчисленные мои грехи выдал меня на смерть человекоубийце!”

Пока старец болтал подобные слова по презыбтыку отчаяния, его охватила сильнейшая жажда. Говорит он разбойнику: “Коль скоро, дитя, будучи повинен в бесчисленных прегрешениях, я выдан тебе на смерть, твое желание исполнится, и я как злодей буду вычеркнут из числа живых. Но прошу тебя, выполни и ты мое желание: дай мне напиться воды, а уж потом убей меня”.

Тот охотно взялся исполнить просьбу старца. Он вложил в ножны тот меч, который обнажил для его убийства, и, схватив фляжку, которую носил у себя на груди, пошел к близлежащей речке. Дойдя до нее и склонившись на берегу в попытке набрать (воды), он был похищен из числа живых и умер. В течение трех часов он лежал, не вставая. Старца начали мучить такие сомнения: “Быть может, он потерял сознание и, упав, заснул? Брошусь-ка я наутек к своей келье! Но будучи стариком, я не горазд бегать и слаб — он меня быстро схватит, и я безжалостно и жестоко буду им изрублен на куски. Подойду-ка я к разбойнику и взгляну, какова (причина) его неподвижности!”

Подойдя, он обнаружил того преставившимся. Потрясенный, он простер руки к небу, вопия к Богу такими словами: “Господи человеколюбче, если Ты не разъяснишь мне, рабу Твоему, этой тайны, я не опущу рук моих, (простертых) к небу, и не сойду с этого места, но здесь же и умру!”

И вот явился ему ангел Господень и, посвящая старца в тайну, изрек: “Тот, кого ты видишь лежащим без дыхания у твоих ног, был вырван из числа живущих ради тебя, дабы ты не скончался насильственной смертью. Погребви его как одного из спасенных! То послушание, которое он явил по отношению к тебе, и то, как он отложил свой убийственный меч, торопясь унять твою палящую жажду, разжалобило Бога, и признание в убийствах было засчитано ему за исповедь. Погребви же его как одного из своих послушников и познай через это, что благоутробие Божие (бесконечнее, чем) море; а затем ступай радостно в свою келью! Будь бодр и не печалься оттого, что не сподобился чудотворений: ведь нет такого труда, принятого во имя Бога, который до Него не дошел бы!”» [Possinus 1684: 272–276].

Как видим, в данном случае серийный убийца оказывается ничем не хуже святого пустытника.

Наконец, третья «душеполезная история» доводит этот процесс до логического, хоть и весьма парадоксального завершения. Оригинал этой поздневизантийской легенды был опубликован недавно [Гетов 2014: 208–209].

«В одной деревне жил священник, и была у него жена, оба они были молодые. В великую субботу, когда наступил вечер, священник приготовил все необходимое для литургии, а ночью, когда он возлег со своей женою на ложе, бес блуда наслал на него искушение, и захотел он совокупиться с женою своею, но она не позволила, и тогда он встал, пошел и совокупился с ослом, притом что его жена не узнала об этом.

Когда пришло святое пасхальное воскресенье, священник сотворил утреннюю литургию, и все люди были с ним. По воздвижении божественного хлеба и после причащения на церковь налетело облако различных кровожадных птиц. Они бились о церковные двери, словно какие-нибудь нападающие воины, которым оказывают сопротивление и которые наносят удары мечами. Люди крепко заперли двери и стояли внутри, как мужчины, так и женщины.

Когда причащение закончилось, священник увидел и услышал, что происходит, и сказал: “Это мое прегрешение, моя беда, эта стая птиц прилетела за мной!” И он исповедался перед всем народом, тогда как все восклицали: “Господи, помилуй!” Затем священник первым открыл двери и вышел — и не претерпел никакого ущерба от птиц. Затем все остальные стали выходить. Последней выходила жена священника. Как только она появилась в дверях, птицы набросились на нее, растерзали ее плоть и кости на мелкие клочки и улетели с этими ошметками в клювах. Эту удивительную историю поведал нам сам священник, с тем чтобы мы записали ее для нашей пользы».

Как видим, мораль истории не сводится к тому, что грех, даже столь ужасный, как тот, который совершил священник, искупается покаянием. Главный сюрприз заготовлен автором под самый конец рассказа, который поэтому вполне напоминает О. Генри: не нарушение канонов, но чрезмерная щепетильность в следовании им — вот истинный грех.

Литература

Верещагин 1900 — В. В. Верещагин. Духоборцы и молокане в Закавказье. М., 1900.

Гетов 2014 — Д. Гетов. Гръцкият оригинал на душеполезния разказ Птиците // Старобългарска литература. 49–50. 2014. С. 207–214.

Живов 2006 — В. М. Живов. Из истории слов: *грѣховодник* // *Iter philologicum: Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag*. Hg. D. Bunčić und N. Trunte (=Die Welt der Slaven, Sammelbände. Bd. 28). München, 2006. С. 165–180

Живов 2008а — В. М. Живов. Покаянная дисциплина и индивидуальное благочестие в истории русского православия // *Дружба: ее формы, испытания и дары: Успенские чтения*. Киев, 2008. С. 303–343.

Живов 2008б — В. М. Живов. Император Траян, девица Фальконилла и прово- нявший монах: их приключения в России XVIII века // *Факты и знаки: Исследования по семиотике истории*. Вып. 1. М., 2008. С. 245–268.

Живов 2009 — В. М. Живов. Русский грех и русское спасение / Публичная лекция. 2009. URL: <http://polit.ru/article/2009/08/13/pokojanije/>.

Живов 2010 — В. М. Живов. Между раем и адом: кто и зачем оказывался там в Московской Руси XVI века // *Факты и знаки: Исследования по семиотике истории*. Вып. 2. М., 2010. С. 80–110.

Иванов 2005 — С. А. Иванов. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М., 2005.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. URL: <http://ruscorpora.ru>.

Possinus 1684 — *Possinus P. Thesaurus Asceticus sive Syntagma opusculorum octodecim...* Tuluse, 1684.

Wortley 2014 — *J. Wortley. The Anonymous Sayings of the Desert Fathers / Ed. J. Wortley. Cambridge, 2014.*

Sergey A. Ivanov

*National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

**“THERE CAN BE NO REPENTANCE WITHOUT SIN”:
ON THE PARADOXES OF SALVATION IN RUS’ AND BYZANTIUM**

Viktor Zhivov developed the idea that there existed in Orthodox Christian culture a perception of Salvation as a result of pure chance, luck or a trick. The extreme example of such attitude is the following paradox: “If you don't sin — you cannot repent, if you do not repent — you are not saved, consequently, if you do not sin, you cannot be saved”. Although such sophistry is a Russian invention, we can trace some vivid illustrations thereof among Byzantine “spiritually beneficial tales”.

Keywords: Orthodox Christian soteriology, Byzantium, “spiritually beneficial tales”.

В. М. Лурье

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербург, Россия)*

ЛОГИКА ИКОНОПОЧИТАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ВТОРОГО ИКОНОБОРЧЕСТВА*

Патрологические исследования В. М. Живова были сосредоточены вокруг одной темы: богословия иконопочитателей периода второго иконоборчества. В частности, ему удалось дополнительно акцентировать логическую парадоксальность этого богословия. В статье предлагается логическая интерпретация этой парадоксальности, основанная на паранепротиворечивой логике.

Ключевые слова: В. М. Живов, патрология, иконопочитание, иконоборчество, Феодор Студит, Никифор Константинопольский, Евлогий Александрийский, христорология, паранепротиворечивые логики.

Введение

Патрологические интересы Виктора Марковича Живова были естественным продолжением его интересов общекультурных. Его привлекало иконопочитание и богословское обоснование иконопочитания¹. В годы его молодости, когда, как он мне рассказывал, начиналось его увлечение патрологией, — в 1960-е — как раз в этой области были сделаны новые и, как тогда уже стало ясно, достоверные выводы. А именно, получило всеобщее признание заключение Георгия Острогорского (еще от 1929 г.) о том, что с точки зрения своего богословского смысла полемика об иконах была христорологической [Ostrogorsky 1929]. В 1960-е гг. эта мысль многих исследователей вдохновляла, но и обескураживала. Дело в том, что суть христорологических построений как защитников, так и противников иконопочитания не была понятна никому. Понятность не заходила глубже самых общих деклараций и отнюдь не распространялась на логические построения тех и других.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда №16-18-10202, «История логико-философских идей в византийской философии и богословии».

¹ Приводимые здесь сведения о генезисе патрологических интересов Виктора Марковича были почерпнуты мною во время наших регулярных с ним бесед у него дома, продолжавшихся с 1984 г. до начала 1990-х гг.

Сегодня мы можем сказать, что для понимания богословских споров VIII–IX вв. в 1960-е гг. не было никаких шансов, так как обе спорящие стороны говорили на совершенно незнакомом ученым богословском языке, да еще и между собой разделялись на партии. Серьезные сдвиги в сторону понимания этих проблем произойдут в начале 1970-х, когда в научный оборот будут введены новые источники, сохранившиеся на разных языках христианского Востока². Достаточно полной картины «догматической истории иконоборчества» нет до сих пор, и я лишь утешаюсь надеждой, что мы хотя бы отчасти представляем масштаб нашего нынешнего незнания³...

В 1960-е гг. появляется ощущение, целиком разделявшееся Виктором Марковичем и, очевидно, его вдохновлявшее: «расшифровка» богословских дискуссий периода иконоборчества возможна!

Тогда, в 1970-е гг., Виктор Маркович определил для себя ту конкретную составляющую этой большой проблемы, которой будет заниматься лично он: богословие патриарха Никифора Константинопольского, низложенного при начале второго иконоборчества в 815 г., но до своей кончины в 829 г. продолжавшего защищать иконопочитание.

«Парадокс Никифора» заключался в том, что его иконопочитательская христология перестала быть формально отличима от несторианской — если только не считать контекста, который, разумеется, продолжал быть не совместимым с несторианством. Одно из направлений патрологической «моды» 1970-х гг. за это ухватилось как за еще один повод «реабилитировать» несторианство и даже Нестория (идея Мильтона Анастоса, влиятельного греческого патролога, высказанная еще в 1950-е гг.)⁴. Виктор Маркович относился к той части исследователей, которые не разделяли эту моду, не закрывали глаза на имеющийся у Никифора

² Настоящим прорывом тут стала серия исследований Стефена Герё (его венгерская фамилия Gerő в публикациях на немецком и английском чаще пишется Gero, отсюда и «Геро» в публикациях В. М. Живова), за которыми В. М. Живов следил крайне внимательно: [Gero 1973; 1977]. Эти две взаимосвязанные монографии были дополнены значительным количеством статей. Полная библиография Герё опубликована в его Festschrift [Toepel 2011].

³ В. М. Живов, насколько мне известно, уже не успел учесть в своих представлениях о генезисе иконоборчества армянские документы, впервые введенные в научный оборот М. ван Эсбруком [van Esbrogck 1995]. Более подробное обсуждение и более полную библиографию см. [Лурье 2006].

⁴ См. особо статью-манифест М. Анастоса [Anastos 1962]; репринт в [Anastos 1979], раздел VI. Наиболее подробная «криптонесторианская» интерпретация богословия иконопочитания у Никифора была предложена Кристофом фон Шёнборном [von Schönborn 1976]; множество переизданий и переводов, включая русский перевод с авторизованного немецкого перевода, на который я здесь и ссылаюсь [Шёнборн 1999: 204–206]; здесь фон Шёнборн возражает на упреки в адрес христологии Никифора со стороны И. Ф. Мейендорфа, чьи труды подробнейшим образом изучались Виктором Марковичем и оказали на него большое влияние. См. [Meuendorff 1969]; я ссылаюсь здесь на русский перевод, где к Никифору отнесено даже такое резкое выражение, как «воскрешение несторианской христологии» [Мейендорф 2000: 208–209]; Никифор тут постоянно противопоставляется своему современнику и соратнику по защите иконопочитания Феодору Студиту.

богословский контекст и поэтому делали вывод о том, что стандартные для IX в. логические категории приобрели у Никифора какой-то особый смысл. В конце 1970-х гг. (хронологию я восстанавливаю приблизительно) В. М. задумал монографию о богословии Никифора⁵.

Как известно, проект остался неосуществленным. В. М. начал с того, что «пошел по следу» — от Никифора в глубь веков — и сразу же, уже в относительно близком к Никифору VII веке, наткнулся на Максима Исповедника, с именем которого теперь для нас и связываются основные патрологические достижения Виктора Марковича⁶.

Сейчас мы можем сказать, что богословие Максима Исповедника — это была попытка нового старта для философского оформления того богословия, которое традиция «максимитов»⁷ считает православным. Для этого нужно было признать полное, к началу VII в., фиаско уже опробованных в этой традиции стратегий систематического изложения догматики, которые не давали ей никаких шансов на выживание рядом с традициями монофизитов-севириан⁸. В начале IX в. защитники иконопочитания, столкнувшись с новым кризисом христологии, припали к Максиму как к источнику вдохновения. Суть их обращения к Максиму — его причины и результаты — это как раз и есть то, что удалось выяснить Виктору Марковичу в его исследованиях по патрологии. И это очень значимо и отнюдь не мало⁹.

Но, надо сказать, результаты обращения к Максиму более заметны в трудах великого современника и соратника Никифора в борьбе с иконоборчеством, Феодора Студита, а в трудах Никифора они видны не особо. У Никифора гораздо более

⁵ Сохранились лишь краткие тезисы, которые можно рассматривать как пролегомены к этой ненаписанной монографии. Они стали и первой патрологической публикацией В. М. [Живов 1982a]. К сожалению, эта краткая работа больше не переиздавалась. Сам автор, насколько я его понял, считал ее скорее программой исследования, нежели исследованием.

⁶ До сих пор сохраняет фундаментальное значение его статья «“Мистагогия” Максима Исповедника и развитие византийской теории образа» [Живов 1982b]; издание расширенного варианта [Живов 2002a]. Статью сразу же заметил и оценил о. Иоанн Мейендорф, по инициативе которого перевод ее расширенного варианта вышел в журнале возглавлявшейся им тогда Свято-Владимирской богословской семинарии под Нью-Йорком [Zhivov 1987].

⁷ Так называли монофелиты своих противников из лагеря халкидонитов, независимо от реальной степени влияния Максима Исповедника на последних.

⁸ См. подробно [Лурье, ИВФ] (где этот кризис VI–VII вв. является основной сюжетной линией).

⁹ Кроме того, Виктор Маркович успел подготовить, в основных чертах, следующую после Максима главу своей несостоявшейся монографии о Никифоре. Он представил ее в виде доклада «Богословие иконы в первый период иконоборческих споров» на XVIII Международном конгрессе византинистов в Москве в августе 1991 г. Доклад был опубликован сокращенно в киевском журнале «Православие и культура» в 1993 г. [Живов 1993] и полностью в сборнике 2002 г. [Живов 2002b]. Сказанное в этой статье относительно «апологии обожженного вещества» как важнейшем мотиве раннего богословия иконопочитания (особенно у Иоанна Дамаскина) сохраняет и сегодня полную значимость, хотя теперь мы знаем о том, что уже и в тот период концептуализация как иконоборчества, так и иконопочитания была существенно более сложной; см. выше, примеч. 3, а также [Baranov, Lourié 2009].

заметно другое: непригодность аппарата тогдашнего «школьного богословия» к выражению православных догматических истин, откуда и попытка введения ad hoc «неконвенционального» использования — но все-таки именно того же самого аппарата. Максим, напротив, предложил совсем другой логический аппарат (применявшийся скорее Феодором Студитом, нежели Никифором), просто отказавшись от использования всерьез старого «школьного».

Целью настоящего сообщения будет кратко набросать очерк того направления мысли, к которому принадлежал Никифор и которое ставило вопросы, не обсуждавшиеся у Максима (во всяком случае, в тех его сочинениях, которые уже введены в научный оборот¹⁰).

1. Богословие патриарха Никифора

Приведем один из наиболее ярких примеров «шокирующих» высказываний патриарха Никифора — где он возвращается к той позиции категорического отрицания «феопасхизма» (идеи о том, что во Христе претерпел страдания Бог), которая была осуждена на Пятом Вселенском соборе в 553 г.¹¹ При этом будем иметь в виду, что Никифор нигде не пытался исправлять отцов прошлого и совершал богослужения, за которыми пелся «феопасхитский» «символ веры», гимн «Единородный Сыне», — поэтому нельзя абсолютизировать значение подобных высказываний: они расставляли некоторые акценты и не более того. Однако подобные акценты звучали в IX в. как-то уж слишком непривычно:

...никто из обладающих разумом не признает ни того, что Логос понес страдания, ни того, что плоть предпринимала чудеса¹².

В этом пассаже имеется буквальное противоречие с текстом гимна [CPG 6891], который пелся во времена Никифора за каждой литургией в качестве песнопения

¹⁰ Помимо них, сохранилось довольно много произведений Максима в неопубликованной грузинской версии. Наши нынешние представления о сочинениях Максима пока что соответствуют лишь греческому корпусу, который удалось собрать в Византии в конце XI в., после нескольких веков полузабвения. О богословском контексте XI в. см. [Louigié 2008].

¹¹ Различие между халкидонитским «феопасхизмом» Пятого Вселенского собора и «монофизитским» (Севира Антиохийского и других умеренных противников Халкидона) формально заключалось в том, что последние приписывали страдания божественной природе, а халкидониты считали это ересью, но приписывали страдания ипостаси Логоса. Таким образом, вопрос упирался в сложную философскую и логическую проблему различения между «единой природой Бога Логоса воплощенной» (выражение Кирилла Александрийского, признававшееся обеими сторонами) и ипостасью того же Логоса. В VI в. на стороне «монофизитов» выступил ярчайший и едва ли не главный по историческому значению философ всего византийского Средневековья Иоанн Филопон, а на стороне халкидонитов в течение столетия его было нечем уравновесить — пока не появился Максим Исповедник. В качестве введения в эту проблематику см. [Лурье, ИВФ].

¹² Никифор Константинопольский, Антирритика I, 22: οὐδεὶς γὰρ τῶν νοῦν ἔχόντων ἀποφανεῖται, οὔτε τὸν Λόγον παθήματα φέρειν, οὔτε τῆς σαρκὸς τὰ θαύματα ὑπολήψεται [PG 100: 252 B]. Перевод здесь и далее мой.

малого входа (а впоследствии был смещен на второй антифон, где и сохраняется до сих пор): «Едиnorodный Сыне и Слове (Логос) Божий... распныйся же, Христе Боже...». Оно появилось в чине литургии при Юстиниане Великом (по преданию халкидонитов, даже было им самим написано, хотя, по преданию антихалкидонитов, его автором был Севир Антиохийский¹³) именно как еще один, «малый» Символ веры.

Можно попытаться пояснить, в чем проблематичность процитированного выше высказывания Никифора, с помощью следующей грубой аналогии. Согласно халкидонитскому «феопасхизму» Юстиниана и Пятого Вселенского собора, на вопрос о том, «кто» пострадал — Бог или человек, следует отвечать «Бог», но можно задать и другой вопрос, «чем» он пострадал, — и на него уже следует отвечать «человечеством» («плотию»). Второй вопрос и показывает отличие халкидонитского «феопасхизма» от «монофизитского», так как противники Халкидонского собора должны были бы ответить, что Бог пострадал божеством (божественной природой, природой Логоса; тут были бы возможны разные варианты ответов, но ответить «человечеством» им было бы крайне затруднительно). Однако ответы на первый вопрос в стиле того, что пострадал человек или хотя бы даже «человечество» (человеческая природа), Пятым Вселенским собором осуждены как несторианство. Если дать тот ответ, что во Христе был какой-то особый, отдельный от Логоса человек Иисус, который и пострадал, то это было бы аутентичное учение несториан. Если же такого человека не было, но все же человечество (человеческая природа) выступает во Христе в качестве отдельного субъекта, который и претерпевал страдания, то это было бы криптонесторианство, осужденное Пятым Вселенским собором. Богословие Никифора — по крайней мере, на вербальном уровне — как раз и повторяет христологию криптонесторианства.

Контекст полемики с иконоборчеством заставлял патриарха Никифора утверждать, с одной стороны, обычные человеческие свойства Христа, а с другой стороны, не допускать атрибуции этих свойств божественной природе. Но он пошел дальше: он стал избегать атрибутировать их не только божественной природе, но и самой ипостаси Логоса. Выражения типа «Логос пострадал плотию» (а не просто «плоть пострадала») становятся для него нетипичными. Можно сказать, что св. Никифор переносит акцент на полноту человеческой жизни в Иисусе, не подчеркивая, что этой жизнью все равно живет Логос Божий. Впрочем, и тут необходимы оговорки.

Святитель Никифор все-таки недвусмысленно утверждает единство Христа, которому принадлежат сразу и божественные, и человеческие свойства, и только за счет этого, изображая Христа по плоти, иконописец изображает Логос. Такое богословское оправдание иконопочитания логически противоречит криптонесторианству и, как показывает история различных направлений иконоборчества и иконопочитания, с ним несовместимо в действительности. Ведь если плоть пострадала, а Логос не страдал, то, изображая плоть, мы вовсе не изображаем Логос,

¹³ См. [Puyade 1912; Grumel 1923].

а изображаем лишь субъект страданий, который, по Никифору, от Логоса отличен. Налицо логическая неувязка, которая в богословии Никифора так и останется неувязанной.

Это не бросало никакой тени на православное исповедание Никифора, которому в этом плане доверяли даже весьма критически настроенные по отношению к нему последователи Феодора Студита. И это понятно: не от всех, от кого нужно требовать исповедания православной веры, можно требовать ее внятной логической артикуляции. Логическая артикуляция Никифора была невнятной, и единоверцы ему это прощали. Но защите иконопочитания такое положение дел не способствовало.

И всё же, что произошло с Никифором? Зачем этот откат от «феопасхитского» языка, узаконенного еще Пятым Вселенским собором в 553 г.?

2. Богословие второго иконоборчества

Тут надо понимать, с каким оппонентом пришлось иметь дело патриарху Никифору. Богословие второго иконоборчества строилось на аргументации, общей для всех, кто принял Пятый Вселенский собор (553 г.). Вкратце и без деталей в начале IX в. она была такова¹⁴.

Человека Иисуса изобразить можно, никто и не спорит. Вот только зачем? Ведь мы все согласны, что в Иисусе нет человеческого индивидуума, а есть только Логос, принявший на себя человеческую природу, общую для всех людей. Но природа, как вообще всякое общее понятие, неопишима (неизобразима). То, что мы изображаем на «портретах Иисуса», — это случайные человеческие черты. Бог в них не воплощался. Но вы, иконопочитатели, будете нам возражать, что, мол, на «портретах Иисуса» не только случайные черты (такие, которые менялись в течение Его земной жизни, например с возрастом), но и те, которые характеризуют Его как индивидуального человека и которые инвариантны для данного человека. Но это и означает, что вы постулируете, будто в Иисусе были не только случайные человеческие черты, но и присущая Ему человеческая индивидуальность и что именно в нее воплотился Бог.

Получается, что вы несториане, хотя не хотите в этом сознаться, т. е. прямо сказать, что для вас Иисус — это отдельная от Логоса человеческая ипостась.

Теперь те же самые тезисы чуть более формально, на языке «школьного богословия», которому одинаково следовали и иконоборцы, и Никифор, и Феодор Студит.

Согласно классическому, но техническому определению понятия «ипостась», уже у Каппадокийцев, οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἢ ὑπόστασις κατὰ τοὺς θεοφόρους πατέρας ἢ οὐσία μετὰ τῶν ἰδιωμάτων¹⁵. О каких «идиомах» (особенностях) тут речь?

¹⁴ См. подробно [Louigié 2000], а также более популярное изложение в [Лурье, ИВФ].

¹⁵ «Ведь ипостась — это, согласно богоносным отцам, не иное что, как сущность вместе с идиомами (особенностями)» [Diekamp 1981: 72]. Цитирую весьма авторитетное учебное

Существуют отличительные особенности, которые отличают людей друг от друга, например Петю от Вани. Часть этих особенностей (например, одежда и даже рост) меняются в течение жизни, но есть и такие, которые не меняются и определяют идентичность этих людей. Очевидно, такие особенности есть и у человека Иисуса. Иконоборцы с этим не спорили. Но вопрос в том, воплощался ли в них, в эти особенности, Бог? Случайны они или нет не по отношению к Иисусу, а по отношению к Богу воплотившемуся? Вот сущность человеческая, «человечество», в воплощении не случайна: это некая реальность (хотя в каком смысле эта реальность реальна — отдельный сложный вопрос). Но она неизобразима, так как изображать мы можем только частное, а не общее.

Если мы, изображая частное в случае Иисуса, утверждаем, что изображаем Логос, то это значит, что мы веруем, будто Логос принял на себя индивидуальные особенности человека Иисуса. Но, как мы знаем из школьного богословия, которое никто ни для кого не отменял, «сущность плюс ипостасные особенности равняется ипостаси». Получаем, что в воплощенном Логосе есть человеческая сущность (это бесспорно для обеих сторон), но также есть ипостасные особенности человеческого индивидуума Иисуса (как учат иконопочитатели), но тогда Иисус — это человеческая ипостась. Диагноз (от иконоборцев) — несторианство.

Ответ Никифора: молчит Никифор, не дает прямого ответа. Но просто говорит, что, мол, не хочу в несториане.

3. Богословие Феодора Студита

Ответ дал Феодор Студит. Вкратце: человеческой ипостаси в Иисусе нет, а индивидуальные особенности человека Иисуса — есть. Но они восприняты непосредственно Логосом. Логос, оставаясь одним из Троицы, стал теперь еще и «одним из нас», т. е. одним из людей, но при этом не будучи человеческой ипостасью.

Итак, не только нарицательным, но и собственным именем нарекся Христос, отделяющим Его ипостасными идиомами от прочих людей, и поэтому Он описуемый. <...>

Следовательно, Он — один из нас (εἷς ἐστὶ καθ' ἡμᾶς), хотя Он и Бог, един от Троицы: как там Он отличается идиомой сыновства от Отца и Духа, так Он и тут отделяется от всех людей ипостасными идиомами. И поэтому Он описуемый¹⁶.

Переведем это рассуждение из области божественного в область чего-нибудь земного. Используем, например, столь любимые Отцами античные примеры с человеком (ипостасью), человечностью (т. е. общей человеческой природой), лошады и лошадностью.

пособие, составленное анонимным автором около 700 г.

¹⁶ Феодор Студит, Антирритика III, 18–19 [PG 99: 397 D–400 A].

Тут рассуждение Феодора выглядит так: некий индивидуум (ипостась) имеет особенности человека Пети и жеребца Пегаса, но не так, как кентавр, а всецело: он всецело Петя и всецело Пегас. А проблема появляется потому, что при этом заявляется, что он все равно человек, и именно человек Петя, хотя среди лошадей он лошадь и там его кличка Пегас.

Чтобы проблемы для классической логики не было, нужно было бы заявить что-то другое: либо то, что он — некий гибрид Пети и Пегаса, уже не тождественный Пете, либо то, что он — сочетание Пети и Пегаса. Последний вариант, если теперь вернуться от этого примера в христологию, — несторианство: во Христе соединены два разных индивидуума, два разных субъекта — Логос и человек Иисус. Первый вариант («гибрид») — это подход «монофизитов» и тех халкидонитов VI в., которые шли на поводу у их философии или сразу философии и богословия.

Пример помогает почувствовать, насколько далеко логика Феодора Студита отошла не только от классической логики Аристотеля, но и от всех систем консистентной логики как таковых (т. е. таких логических систем, где запрещено противоречие).

В такой логике использование классических «школьных» определений (в которых для «ипостаси» используется аристотелевское определение «первой сущности») служит формулировке далеко не классического смысла. Это тот принцип, на котором еще у Каппадокийцев основано использование логики Аристотеля и который впоследствии применяли к христологии те богословы, на которых ориентировался Феодор Студит.

4. Богословие Евлогия Александрийского

Среди создателей той богословской традиции, на которую ориентировался Феодор Студит, особое значение имел Евлогий, патриарх Александрийский (580–607). В «Библиотеке» Фотия содержится реферат целого собрания его сочинений (codex 230: «Иже во святых Евлогия книга, содержащая слов [то есть трактатов]¹⁷ 11»), и это основное из сохранившейся части его наследия. Шестое из этих «слов» — возражение «тем, кто пустословит ипостась быти только идиомой (ιδίωμα μόνον)» [Henry 1967: 8–64, особ. 39–48].

Судя по наличию этого текста в «Библиотеке» Фотия, для IX в. он был библиографической редкостью. Возможно, он оказался доступен Фотию в составе книжного собрания патриарха Мефодия, и тогда совсем маловероятно, чтобы Евлогий мог быть прочитан Феодором Студитом. Но Евлогий нас будет интересовать не как конкретный автор, который мог быть или не быть прочитан Феодором Студитом, а просто как самый яркий представитель той богословско-философской традиции, которая была известна Феодору и помимо Евлогия. Евлогий будет нам так важен лишь потому, что он наиболее понятен для нас, а не для Феодора Студита.

¹⁷ Здесь и далее в квадратных скобках даны мои пояснения к цитируемым текстам.

Евлогий считает нужным¹⁸ дать некоторые разъяснения, предостерегающие от прочтения Василия Великого в рамках Аристотелевой логики:

...Некоторые говорят, что ипостась есть сложение (συνπλοκὴν) сущности и идиомы (ιδίωματος), чем очевидно вводится сложность (σύνθεσις). Но где же тогда окажется простота и несложность божественности в Троице? А они и Василия Великого учителя слова выставляют вперед, не желая понять, что премудрый оный муж не использовал слова [буквально: имени] «сложение» (τὸ τῆς... συνπλοκῆς ὄνομα) ни для того, чтобы дать определение (ὄρον), ни обозначение [буквально: подписание — ὑπογραφήν] ипостаси <...>. [Но в полемике против Евномия было необходимо объяснить различие между «нерожденностью» и сущностью; поэтому Василий, понимая, что] особенное делает сложным общее, приводит нас к незаблудному и своеобразному постижению истины. Ведь человеческий ум не в состоянии простым и единым актом познания постигнуть одновременно единство и простоту вместе с троичностью ипостасей. Поэтому прибавлением, как сказал учитель, идиом, он отделяет индивидуализирующее понятие ипостасей. Но это всего лишь способ помочь немощи [нашего ума] и содействовать постижению непостижимого, а не [способ] сделать сложной простоту божественности или полностью описать какую-либо из ее ипостасей. Поэтому он и поясняет, что невозможно помыслить отдельно понятие Отца или Сына, если не расчленять своего разума прибавлением идиом. <...> Ибо способы, указывающие на Его [Бога] сложность, говорит он [Евлогий], не нарушают понятия Его простоты. Ибо в противном случае и все, что говорится о Боге, будет нам доказывать, что Бог сложен [Henry 1967: 44–45].

Кратко мысль этого отрывка можно передать следующим образом: говоря о троичности Бога, мы допускаем в своих мыслях сложность, но при этом мы должны понимать, что сложности в Боге нет. Определение ипостаси как сущности с ипостасной идиомой предполагает сложность, но эта сложность остается в пределах нашего разума, а в реальности никакой сложности нет. Ипостасные особенности разделяют ипостаси божества друг от друга, но так, что они остаются нераздельными.

Налицо противоречие между прямым смыслом наших слов и тем смыслом, который мы подразумеваем: по прямому смыслу наших слов, сложность в Боге есть, но при этом мы знаем, что сложности в Боге нет. А зачем тогда говорить, что она есть, если ее нет? — Затем, что за утверждением сложности — при условии, что мы ее отрицаем, — мы можем понять и объяснить такие идеи, которые никакому другому объяснению не поддаются.

Это не что иное, как эксплицитное утверждение того, что логика Василия Великого и вообще православных богословов является параконсистентной (паранепротиворечивой). Таким термином в 1970-е гг. стали называть большое семейство

¹⁸ Подробно о полемическом контексте Евлогия Александрийского см. [Лурье, ИВФ: 230–234 et passim].

логик, в которых нарушается не только принцип исключенного третьего (этот принцип нарушается во всех вообще неклассических логиках), но и принцип непротиворечия. Напротив, подобные логики как раз и основываются на противоречиях. Если это противоречия вида «А и не-А» ($A \wedge \neg A$), т. е. противоречия контрадикторные, а не контрарные¹⁹, то такие логики называют также диалетическими²⁰. Именно с диалетической логикой мы имеем дело в только что процитированном разъяснении Евлогия Александрийского, когда он утверждает, что в Боге сложности нет, но при этом наши высказывания о Боге, подразумевающие наличие в нем сложности, все-таки бывают истинными.

5. Христология Феодора Студита: параконсистентная логика

Переведем язык Феодора Студита и его предшественников на язык современной логики²¹. Такая постановка задачи вполне корректна, поскольку язык Феодора Студита — тоже строго логический, и нам предстоит лишь эксплицировать, какая именно логика им используется — из бесконечного числа теоретически возможных логик.

В Средние века и в античности не существовало *de jure* представления об одинаковой априорной легитимности бесконечного числа разных логик, но существовало вполне эквивалентное представление. А именно, хотя логика считалась единственной, так как законы «правильного» мышления должны были обладать единственностью, богословское содержание легко объявлялось выходящим за пределы мышления как такового и, в разных смыслах этого слова, «немыслимым». Но это вовсе не означало тотального богословского агностицизма. Вся история христианской богословской мысли переполнена спорами о том, как именно нужно мыслить то, что нельзя помыслить. Таким образом, соглашаясь, что в догматике мы принуждены, в тот или иной момент, выйти за пределы законов «правильного» мышления, — а поэтому и мышления вообще, — никто не соглашался, что из этого требуется сделать вывод о прекращении дальнейших богословских дискуссий. Как раз тут-то и начиналось все самое интересное. Начинался дискурс того, как именно нельзя помыслить то, что невозможно помыслить.

¹⁹ Контрарными называются противоречия вида «А и В» ($A \wedge B$), например: «Петя — человек и конь» или «Христос — Бог и человек». В классической логике оба таких утверждения не могут быть истинными одновременно, но в параконсистентных логиках, основанных на слабом (контрарном) противоречии, — могут. Однако отрицание обоих утверждений сразу ($\neg A \wedge \neg B$) — «Фунтик — не человек и не конь», «Мурка — не Бог и не человек» — возможно также и в классической логике. Контрадикторными (сильными) называются противоречия вида «А и не-А» ($A \wedge \neg A$); конъюнкция отрицаний обеих частей этого выражения (т. е. «не-А и А») будет точно так же невозможна в классической логике. Основанные на таких противоречиях параконсистентные логики называются диалетическими.

²⁰ В качестве современного введения в параконсистентные логики и особенно в логики диалетические см. [Priest 2006].

²¹ В качестве некоторого предварительного введения в параконсистентную логику, используемую в патристике, см. [Louigié 2014]; русский перевод см. [Лурье 2014].

И здесь, пусть и с черного хода, прорывались разнообразными вариантами неклассических логик.

Боевым рубежом, где не стихали бои в течение всего «византийского тысячелетия», был вопрос о параконсистентности: допустимо ли формулировать догматику в такой логике, которая не только не избегает противоречий, но опирается на них? Параконсистентный подход формулировали Каппадокийцы, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник. Последовательно консистентный подход формулировал Иоанн Филопон, подчинявший своему философскому влиянию даже тех, кто расходился с ним в догматике... Богословие второго иконоборчества и его лидера, патриарха Иоанна Грамматика, было также консистентным. Поэтому неудивительно, что богословие его оппонентов было либо логически бессвязным (как у Никифора), либо сформулированным в понятиях параконсистентной логики (как у Феодора Студита).

Если очень коротко, то Феодор Студит сделал следующее. Ему предстояло эксплицировать в христологии то, что до него оставалось неэксплицированным, но интуитивно для многих ясным. Для этого он воспользовался хорошо ему известным учением Максима Исповедника относительно, во-первых, воплощения Логоса и, во-вторых, обожения человека. У Максима оба этих учения были связаны принципом, который современные богословы часто называют *tantum — quantum* (или, словами впервые его сформулировавшего Григория Богослова, *τοσοῦτον — ὅσον* «насколько — настолько»): насколько Логос стал человеком, настолько же человек становится Богом; разумеется, то и другое — в совершенной степени, хотя в том и другом случае — без подмены личности: Логос даже под именем Иисус не образует отдельного от Троицы человека, а обоженные Петя или Маша не образуют четвертых и так далее ипостасей Троицы²². То, что в этом учении Максима говорилось про обоженного человека, можно было развернуть симметрично, чтобы сказать о вочеловечившемся Логосе. Поэтому, согласно Феодору Студиту, как обоженный человек не образует новой ипостаси божественной природы (Троицы), так и вочеловечившийся Бог не образует новой ипостаси человеческой природы.

6. Параконсистентная логика Феодора Студита и его предшественников

Теперь рассмотрим эти идеи Феодора Студита чуть более формально. Воспользуемся «наивной» теорией множеств, даже самой «наивной» из возможных, т. е. теорией множеств в ее первоизданном величии, не освобожденной от парадоксов, и в которой поэтому понятие множества еще неотлично от понятия класса²³. В этом разделе мы обойдемся почти без формул, делая упор на словесные формулировки (но вынесем основные формулы в Приложение).

Тогда понятие ипостасной особенности (идиомы) будет соответствовать понятию «быть таким-то (конкретным) элементом такого-то (конкретного) множества».

²² Лучшее, хотя не исчерпывающее исследование этих аспектов богословия Максима Исповедника см. [Larchet 1996]; см. также [Лурье, ИВФ: 355–405].

²³ Более подробно о соответствующей теории множеств и ее аксиомах см. [Лурье, в печати].

Например, для некоего x — быть элементом множества A , $x \in A$. Это еще вполне в рамках классической логики.

Логос принимает ипостасные идиомы Иисуса, т. е. «вочеловечивается» — становится элементом множества людей, причем вполне конкретным элементом, «человеком Иисусом Христом» (выражение апостола Павла: 1 Тим 2: 5). Но при этом Иисус не становится человеческой ипостасью, хотя имеет все (важно сделать акцент на том, что именно все) ее признаки, которые можно перечислить в рамках классической логики. Поэтому Иисус не является элементом множества людей — несмотря на то, что Он им является: выражение $x \notin B$ (где B — множество людей) тоже справедливо.

Получаем параконсистентную конъюнкцию:

$$x \in B \wedge x \notin B$$

Смысл этого выражения: Иисус принадлежит множеству людей, при этом не будучи человеческим индивидуумом (ипостасью), т. е. не принадлежа множеству людей.

Но с принадлежностью к ипостасям Троицы ничего параконсистентного не возникает. Если обозначить множество ипостасей Троицы A , то имеем $x \in A$, а для картины в целом имеем для «логики боговоплощения»:

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in B \wedge x \notin B \\ x \in A \end{array} \right.$$

Здесь фигурная скобка заменяет еще один знак конъюнкции: оба выражения справедливы одновременно. Первое из них, $x \in B \wedge x \notin B$, представляет собой диалектическую конъюнкцию (основанную на контрадикторном противоречии), а сочетание $x \in B \wedge x \in A$ — параконсистентную конъюнкцию, основанную на контрадном противоречии. Одновременная принадлежность к разным множествам A и B — это тоже параконсистентность, хотя более слабая.

Христос обладает свойствами ипостаси человека и при этом не является ипостасью человека.

Суть этой логики уже изложена Евлогием Александрийским применительно к триадологии Василия Великого. Евлогий говорит об ипостасных идиомах в Троице, которые Василий Великий приписывает ипостасям, чтобы различить их для нашего ума, но при этом понимая, что, на самом деле, той картины, которая формируется в нашем уме, в Троице нет. Но то, что есть, имеет некое соответствие с тем, что есть в божественной реальности, — и именно в этом смысл правильного богословия²⁴. Поэтому нельзя сказать об ипостасных идиомах в Троице, что их

²⁴ Термин «соответствие» здесь можно использовать ровно в том же смысле, в котором он используется Нильсом Бором в так называемой Копенгагенской интерпретации квантовой теории, согласно которой сама реальность параконсистентна: понятия классической физики применяются для описания специфических квантовых явлений неклассическим образом, но, тем не менее, это те же самые понятия (как, например, в соотношении неопределенностей Гейзенберга — координаты

просто-напросто нет; но столь же неверно будет сказать, что «их просто-напросто есть» — в каком-либо смысле классической логики. Мы имеем дело с процедурой параконсистентной логики, которая позволяет мыслить о том, что невозможно помыслить непосредственно.

У Феодора Студита — то же самое, но применительно к христологии. Конкретно логическая схема христологии Феодора Студита — это зеркальное отражение логической схемы учения Максима Исповедника о обоении. А последняя схема, в свою очередь, восходит к онтологии Дионисия Ареопагита²⁵. Именно Дионисий дал византийскому богословию логический метаязык, построенный на параконсистентной логике. Чуть более подробное обсуждение соответствующих логических схем мы приводим в Приложении.

Заключение

Споры об иконопочитании оставались христологическими по своей сути на протяжении всей их истории — не только в VIII–IX вв. и не только в Византии²⁶. На каждом этапе подобных споров защитникам икон было необходимо сказать о христологии нечто новое — но такое новое, которое не воспринималось бы их богословской интуицией как нововведение, а, напротив, вызывало бы радость узнавания, которая бывает тогда, когда кто-нибудь высказывает твои собственные мысли гораздо лучше тебя. Для периода второго иконоборчества это пытались сделать и патриарх Никифор, и Феодор Студит. Это не получилось у первого, но получилось у второго.

Феодору Студиту пришлось объяснить, почему обычное правило сложения аристотелевых категорий (сущность + ипостасная идиома = ипостась) не работает для боговоплощения: не потому, что оно неправильное, а как раз потому, что оно правильное, — но своей неработающей правильностью оно и должно возносить ум верующего к той точке, в которой *побеждаются естества уставы*.

Приложение

Обозначения:

A — класс божественных ипостасей (которых всего три).

B — класс людей.

X — любой класс.

a — некий выбранный (*a* не вообще любой) элемент множества *A* (аналогично *b*, *x*).

и импульс). Об аналогичном способе применения категорий аристотелевской логики к божественной реальности см. [Louricé 2014].

²⁵ См. подробнее [Louricé 2013]; русский перевод находится в печати в журнале «Εἶσα. Проблемы Философии и Теологии» (2015). Ниже в Приложении я эксплицирую чуть подробнее тот аспект учения Ареопагита, о котором в этой статье сказано довольно кратко.

²⁶ См. более подробно: [Louricé 2006; Лурье, ИВФ: *passim*].

\wedge — конъюнкция (логическое «и»).

\emptyset — пустое множество (класс), т. е. небытие.

\in — принадлежность к классу.

\notin — непринадлежность к классу.

\neg — отрицание.

$\left\{ \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array} \right.$ — обозначение конъюнкции для нескольких выражений.

$(3a) \wedge (3b)$

Общий принцип (в рамках классической логики, т. е. такой логики, которая не только не допускает противоречий, т. е. консистентной, но даже подчиняется принципу исключенного третьего):

$$x \in X \wedge x \notin \neg X$$

«каждый элемент принадлежит только своему классу и никакому другому» (= «каждая ипостась является ипостасью только своей природы», т. е. лошадь принадлежит только классу лошадей, Петя — только классу людей, Логос Божий — только классу ипостасей Св. Троицы).

Логическая интерпретация понятия «ипостасная особенность (идиома)»: $x \in X$, т. е. ипостасная идиома определяет индивидуум (ипостась) x как вполне конкретный (а не вообще любой) элемент (ипостась $\upsilon\lambda\omicron\sigma\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$ = индивидуум $\acute{\alpha}\tau\omicron\mu\omicron\nu$) класса («множества» = сущности $\omicron\upsilon\beta\iota\acute{\alpha}$ / природы $\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$) X .

Феодор Студит, христология

$$\left\{ \begin{array}{l} a \in A \\ x \in X \wedge x \notin \neg X \\ a \in B \wedge a \notin B \end{array} \right.$$

(1) Логос является ипостасью Троицы, поэтому (2) он не может становиться ипостасью какой-то другой природы (человеческой, например), но (3a) Он все-таки ей становится, — но, поскольку не может ведь, то (3b) не становясь.

Все эти формулы взяты готовыми из учения Максима Исповедника о обожении (= спасении) человека и применены к боговоплощению на основании принципа *tantum — quantum* (τοσοῦτον — ὅσον, выражение из Григория Богослова): «насколько Бог воплощается, настолько человек обоживается».

Максим Исповедник, учение о обожении человека

$$\left\{ \begin{array}{l} b \in B \\ x \in X \wedge x \notin \neg X \\ b \in A \wedge b \notin A \end{array} \right.$$

(1) человек Петя является ипостасью человеческой природы, поэтому (2) он не может становиться ипостасью какой-то другой природы (божественной,

например), но (3а) он все-таки становится Сыном, получая τρόπος ὑπάρξεως Сына (Логоса), т. е. его сыновство — не какое-то второсортное или метафорическое, а «то самое», которое имеет только Сын (Логос), и при этом (3б) Петя все-таки не становится ипостасью Троицы — ни какой-то четвертой, ни ипостасью Логоса.

Дионисий Ареопагит, учение о вечной гибели (отчасти имплицитное)

$$\begin{cases} b \in \emptyset \\ x \in X \wedge x \in \neg X \\ b \in B \wedge b \notin B \end{cases}$$

(1) человек Петя, избирая зло, избрал небытие, так как зло не имеет бытия ни в каком смысле (оказываясь вне иерархий бытия, согласно онтологии Ареопагита, основанной на модальной логике, предусматривающей несколько уровней бытия), (2) поэтому он не может оставаться внутри человеческой природы, т. е. сохранять свою принадлежность к человеческому роду (при этом род человеческий все равно не убывает: в этом еще одно параконсистентное свойство понятия «природа» в патристике, начиная с Григория Нисского; аналогичный объект, привычный современным ученым, — бесконечные множества и трансфинитные числа: они тоже не убывают, если от них отнять что-то конечное), поэтому (3а) Петя и перестает принадлежать к человеческому роду, но при этом (3б) индивидуальность Пети все равно сохраняется, — как улыбка Чеширского кота, — причем эта индивидуальность все равно человеческая. Вот и гадай теперь, человек еще Петя или уже нет... (оба ответа правильные, если их правильно сформулировать, т. е. прибавить к каждому из них противоположное утверждение).

Такое представление о вечной гибели обладает полной симметрией по отношению к концепции обожения *tantum — quantum*. В том и другом случае сохраняется индивидуальность: старая не исчезает, новая не приобретается. Но противоположность обоих случаев в том, что при обожении приобретается вторая природа в дополнение к первой, а при вечной гибели теряется и первая и единственная природа (человеческая). Но потерять человеческую природу можно только параконсистентно, т. е. одновременно и не теряя, так как консистентная потеря человеческой природы — это переход в абсолютное небытие, при котором не сохранится даже индивидуума.

Литература

Живов 1982а — В. М. Живов. Влияние и система культуры: Проблема традиций в иконоборческих спорах // *Finitis duodecim lustris*: Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана / Ред. С. Г. Исаков. Таллин, 1982. С. 66–69.

Живов 1982б — В. М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // *Художественный язык Средневековья* / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1982. С. 108–127.

Живов 1993 — В. М. Живов. Богословие иконы в первый период иконоборческих споров // Православие и культура. №2. 1993. С. 20–27.

Живов 2002а — В. М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 15–39.

Живов 2002б — В. М. Живов. Богословие иконы в первый период иконоборческих споров // В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 40–69.

Лурье 2006 — В. М. Лурье. Лев III и иконоборчество армянских монофизитов // В. М. Лурье. История византийской философии. Формативный период. Приложение III. СПб., 2006. С. 526–529.

Лурье, ИВФ — В. М. Лурье. История византийской философии. Формативный период. СПб., 2006.

Лурье 2014 — В. М. Лурье. Философия Дионисия Ареопагита: теория значения // *Εἶνα*. Проблемы Философии и Теологии. 3(1/2). 2014. С. 377–428.

Лурье, в печати — В. М. Лурье. Числа в триадологии. 20 тезисов о патристической «теории множеств» (в печати).

Мейендорф 2000 — И. Мейендорф. Иисус Христос в восточном православном богословии / Пер. А. Юрченко. М., 2000.

Шёнборн 1999 — К. Шёнборн. Икона Христа. Богословские основы / Пер. с нем. Е. Верещагина. Милан — Москва, 1999.

Anastos 1962 — М. А. Anastos. Nestorius was Orthodox // *Dumbarton Oaks Papers*. 16. 1962. P. 119–140.

Anastos 1979 — М. А. Anastos. *Studies in Byzantine Intellectual History*. (=Variorum. Collected studies series, CS88). London, 1979.

Baranov, Lourié 2009 — V. Baranov, B. Lourié. The Role of Christ's Soul-Mediator in the Iconoclastic Christology // G. Heidl, R. Somos in collaboration with C. Németh (eds.). *Origeniana Nona. Origen and the Religious Practice of His Time. Papers of the 9th International Origen Congress. Pécs, Hungary, 29 August — 2 September 2005* (=Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 228). Leuven — Paris — Walpole, MA, 2009. P. 403–411.

CPG — M. Geerard. *Clavis Patrum Graecorum: qua optima quaeque scriptorum patrum graecorum recensione a primaevis saeculis usque ad octavum commode recluduntur*. Vol. 1–3, [3A], 4, 5, Supplementum. Turnhout, 1974–2003.

Diekamp 1981 — F. Diekamp. *Doctrina Patrum de incarnatione Verbi. Ein griechisches Florilegium aus der Wende des 7. und 8. Jh. 2. Aufl. mit Korr. und Nachträgen von B. Phanurgakis, hrsg. von E. Chrysos*. Münster, 1981.

van Esbroeck 1995 — M. van Esbroeck. Le discours du Catholicos Sahak III en 691 et quelques documents arméniens annexes au Quinisixte // G. Nedungatt, M. Featherstone (eds.). *The Council of Trullo Revisited* (=Κατοικά 6). Rome, 1995. P. 323–454.

Henry 1967 — R. Henry. Photius, *Bibliothèque*. Tome V («Codices» 230–241) (=Collection byzantine). Paris, 1967.

Gero 1973 — *S. Gero*. Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III, with Particular Attention to the Oriental Sources (=Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Vol. 346; Subsidia. T. 41). Louvain, 1973.

Gero 1977 — *S. Gero*. Byzantine Iconoclasm during the Reign of Constantine V, with Particular Attention to the Oriental Sources (=Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Vol. 384; Subsidia. T. 52). Louvain, 1977.

Grumel 1923 — *V. Grumel*. L'auteur et la date de composition du tropaire 'Ο μονογενής // *Échos d'Orient*. 22. 1923. P. 398–418.

Larchet 1996 — *J.-Cl. Larchet*. La divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur. Paris, 1996.

Lourié 2000 — *B. Lourié*. Le second iconoclasme en recherche de la vraie doctrine // *Studia Patristica*. 34. 2000. P. 145–169.

Lourié 2006 — *B. Lourié*. Une dispute sans justes: Léon de Chalcédoine, Eustrate de Nicée et la troisième querelle sur les images sacrées // *Studia Patristica*. 42. 2006. P. 321–339.

Lourié 2008 — *B. Lourié*. Michel Psellos contre Maxime le Confesseur: l'origine de l'«hérésie des physéthésites» // *Scrinium*. 4. 2008. P. 201–227.

Lourié 2013 — *B. Lourié*. Philosophy of Dionysius the Areopagite: Modal Ontology // A. Schumann (ed.). *Logic in Orthodox-Christian Thought*. Heusenstamm bei Frankfurt, 2013. P. 230–257.

Lourié 2014 — *B. Lourié*. The Philosophy of Dionysius the Areopagite: An Approach to Intensional Semantics // T. Nutsubidze, C. B. Horn, B. Lourié, with the Collaboration of A. Ostrovsky (eds.). *Georgian Christian Thought and Its Cultural Context. Memorial Volume for the 125th Anniversary of Shalva Nutsubidze (1888–1969)* (=Texts and Studies in Eastern Christianity. 2). Leiden — Boston, 2014. P. 81–127.

Meyendorff 1969 — *J. Meyendorff*. Le Christ dans la théologie byzantine. Paris, 1969.

Ostrogorsky 1929 — *G. Ostrogorsky*. Studien zur Geschichte des byzantinischen Bildstreites. Breslau, 1929 (репринт: Amsterdam, 1974).

PG 1–161 — *Patrologiae cursus completus. Series graeca*. Accurante J.P. Migne. T. 1–161. Paris, 1857–1866.

Priest 2006 — *G. Priest*. In Contradiction. A Study of Transconsistent. Expanded Edition. Oxford, 2006.

Puyade 1912 — *J. Puyade*. Le tropaire 'Ο Μονογενής // *Revue de l'Orient Chrétien*. 7 (17). 1912. P. 253–267.

von Schönborn 1976 — *Chr. von Schönborn*. L'icône du Christ. Fondements théologiques élaborés entre le 1^{er} et le 2^e Concile de Nicée (325–787). Fribourg/Suisse, 1976.

Toepel 2011 — [*A. Toepel*.] Bibliographie von Stephen Gerö // D. Bumazhnov, E. Grypeou, T.B. Sailors und A. Toepel (hrsg.). *Bibel, Byzanz und Christlicher Orient. Festschrift für Stephen Gerö zum 65. Geburtstag* (=Orientalia Lovaniensia Analecta. 187). Leuven — Paris — Walpole, MA, 2011. S. XI–XVIII.

Zhivov 1987 — *V.M. Zhivov*. The *Mystagogia* of Maximus the Confessor and the Development of the Byzantine Theory of Image // *St. Vladimir's Theological Quarterly*. 31. 1987. №4. P. 349–376.

Basil Lourié

*National Research University Higher School of Economics
(Saint Petersburg, Russia)*

**THE LOGIC OF ICON VENERATION
IN THE PERIOD OF SECOND ICONOCLASM**

Victor M. Zhivov's patrological studies were focused on their major topic, the theology of the defenders of holy icons during the second iconoclastic crisis. In particular, a significant progress was achieved by him in understanding of the logical paradox on which this theology was founded. In the present paper this paradox is treated within a framework of paraconsistent logics.

Keywords: V. M. Zhivov, patrology, icon veneration, iconoclasm, Theodore the Studite, Nicephorus of Constantinople, Eulogius of Alexandria, Christology, paraconsistent logics.

М. С. Флайер
Гарвардский университет
(Кембридж, Массачусетс, США)

ОБРАЗ КРЕЩЕНИЯ ХРИСТОВА НА РУСИ: ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ

В статье исследуются изображения Христа в иконографии Крещения в восточной и западной традициях. В византийских подлинниках Христос традиционно представлен обнаженным: нагота воплощает его человеческую природу и смирение перед Иоанном Крестителем. Начиная с VI в., Христос, как правило, изображается обнаженным в воде реки Иордан, где вода доходит ему до пояса и либо рука, либо элемент ландшафта прикрывают лоно, таким образом скрывая наготу. В более поздних изображениях используется набедренная повязка (*перизома*). Изображения опоясанного и неопоясанного Христа встречаются в новгородской иконографии конца XIV в., а также в московских источниках конца XV в., более поздние изображения соотносятся с Москвой и областями, находившимися в сфере ее влияния. Цель статьи — установить время и причины возникновения образа Христа опоясанного в православной иконографии, проследить продвижение этой традиции в Московию и попытаться объяснить, почему этот образ закрепился именно там.

Ключевые слова: иконография, крещение, нагота, эсхатология.

В *Ерминии* Дионисия из Фурны, греческом руководстве для иконописцев начала XVIII в., мы находим православные иконографические описания, восходящие к источникам вплоть до IX в. [Dionysius of Fourna 1981: III].

Как правило, подобные наставления по композиции отличаются лаконичностью текста: они дают общее представление об изображении, достаточное для продолжения традиции, но при этом оставляют возможность для художественного выбора, а значит, и небольших вариаций. Опираясь на пример новгородской иконы конца XV в. (ил. 1)¹, рассмотрим иконографию образа Крещения Господня — центрального события Богоявления, которое отмечается Православной церковью 6 января (по старому стилю):

«Христос стоит среди Иордана не одетый. На берегу этой реки, одесную Христа, Предтеча смотрит в небо, подняв кверху левую руку, а правую держит над

¹ Иллюстрации к настоящей статье размещены на прилагающемся к сборнику компакт-диске.

главою Христа. Над ними видно небо, и оттуда сходит Дух Святой; в луче написано: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих. С левой стороны ангелы стоят благоговейно, простерши руки, скрытые под одеждами. Поодаль от Иоанна среди Иордана в воде лежит старик, обратясь лицом назад, и со страхом смотрит на Христа, а сам льет воду из кувшина. Подле Христа плавают рыбы» [Dionysius of Fourna 1981: 33].

Тот факт, что Христос стоит в воде без одежды, непосредственно указывает на то, в чем, без сомнения, состоял наиболее ранний ритуал крещения — полное погружение обнаженного тела в воду. В конечном итоге этот ритуал восходит к древнееврейским традициям, требовавшим очищения после таких телесных функций, как роды или менструация, после заболеваний кожных покровов и половых органов, после соприкосновения с мертвым телом. Во всех этих случаях омоложение в воде воспринималось как абсолютное средство для перехода от нечистого к чистому, от запятнанного к очищенному, от профанного к освященному [Vermes 2012: 90].

В описании из *Ермини* мы не находим подробных ассоциативных деталей, связанных с Крещением Христа. Однако их можно встретить в праздничном богослужбном чине². Теологические темы Крещения Христа прослеживаются в чтениях и молитвах вечерней службы накануне Богоявления 5 января, праздничной Богоявленческой службы 6 января и Собора Иоанна Предтечи 7 января. Крещение Христа представлено в качестве примера для потомков Адама, которые отринут свое греховное состояние, погрузятся целиком в христианскую веру и тем самым родятся заново, преобразившись на пути к окончательному спасению.

С этой точки зрения крещение в воде метафорически воплощает смерть, погребение и воскрешение самого Иисуса Христа³. Византийская иллюстрация XIV в., изображающая Крещение поверх погребения Христа, подтверждает эти ассоциации (ил. 2).

Погружение Христа в воды реки Иордан вселяет страх в реку — река обращается вспять, очистившись присутствием Святого Духа. Этот образ, безусловно, является параллелью к разделению вод Красного моря во время Исхода израильтян

² Недавние исследования указывают на то, что в период до прямых письменных подтверждений соответствующих литургических материалов (VIII в.) церковные празднования 6 января в Иерусалиме и в других центрах были посвящены Рождеству Христа. Начиная с IV в. имеются указания на ритуальный сбор и хранение воды 6 января в Антиохии и в Египте. К V в. церемония, указывающая на освящение вод, связана с покаянием и освящением в Иерусалиме, тогда как празднования 6 января посвящены Крещению Христа. К VI в. указания на подобные церемонии зафиксированы в Малой Азии и в Сирии. Можно выделить два важнейших этапа в развитии византийского обряда Освящения Вод: первый этап — с VIII по X в. и второй этап — с XI по XIII в. Основные славянские обряды соответствуют второму этапу византийского монастырского обряда. См. [Denysenko 2012: 17–66], особенно важен обзор материала на с. 65–66.

³ См. [Pomazansky 1983: 265–268; Vermes 2012: 90]. Праздник Крещения/Геофании и праздник Пасхи могут быть оба рассмотрены с точки зрения общности космологического, экклезиологического и эсхатологического значений как Таинства Нового творения, таинства Церкви и таинства Царства Вечного (см. [Schmemmann 1974: 37–40]).

из Египта на пути в Землю Обетованную (Пс 113: 3 [114.3])⁴. На иконе перед нами река изображена разделенной, Христос стоит между двух течений, метафорически воплощая связь между двумя состояниями бытия.

Описание тела Христа в трех литургических службах особенно важно для нашей дискуссии.

Служба навечерия Богоявления

- **Первый часть, кондакъ, гласъ д̄**
 - Во стрѣлахъ днесь іорданскихъ бывъ гдѣ, іоаннѣ вопіетъ: не оубойся крестити мѧ, спсѣти бо прїдохъ аѧма первозданнаго.
- **Девятый часть, гласъ з̄**
 - Ужасъ бѣ видѣти, нбсе и земли творца на рѣцѣхъ внажшагосѧ, и крщеніе ѿ раба за наше спсєніе прїемлющаго, такъ раба, и лицы аггльстїи дивлахъсѧ, страхомъ и радостію.

Служба Богоявления

- **Великое повечеріе, гласъ д̄**
 - Одѣваѧйсѧ свѣтомъ яко ризою, насъ ради по намъ быти сподобилсѧ есть, во стрѣхъ одѣвается днесь іорданскїѧ: не самъ сихъ ко шчищенію требѧ, но намъ собою оустроѧи порожденіе.
- **На оутрени, гласъ д̄**
 - Иордане рѣко, что оудивилсѧ еси, зрѧ невидимаго нага; видѣхъ и вострепетахъ, рече, и какъ во сегѡ не хотѣхъ оустрашитисѧ и зайти.

Собор св. Иоанна Крестителя

- **Великаѧ Вечернѧ, гласъ а̄**
 - [Христосъ] Гдвнхъсѧ весь человекъ, пристѣпенъ тебе выхъ, естествомъ непристѣпный: волею внищахъ богатъ сый, такъ да внищавшее вбогашъ нетлѣнїемъ и избавленїемъ...
- **Великаѧ Вечернѧ, гласъ д̄**
 - Кто ѿ земнородныхъ видѣ, іоаннѣ противорече, и одѣвающаго нбо облаки внажаема всего, и источники и рѣки содѣвающаго въ воды входѧща.

Как вполне ясно следует из приведенных фрагментов Богоявленского чина, нагота Христа — центральный символ его кенозиса, его предельного раскрытия, смирения перед Иоанном Предтечей. Она является наглядным образом нового

⁴ См. [Johnson 2007: 11–12]. Цитаты из псалмов приводятся в согласии с нумерацией в Септуагинте, используемой в Православной церкви. Мазоретская нумерация, используемая в католической Новой Вульгате, приводится в квадратных скобках.

Адама — Адама, освобожденного от грехов и страдания, Адама, которого ждет вечная жизнь в грядущем царстве.

Тем не менее, вопреки провозглашаемому церковью тезису о вочеловечивании Христа, внимательный наблюдатель, созерцающий нашу новгородскую икону, не может не заметить, что обнаженному Христу на ней не достает не только одежды. На иконе у Христа отсутствуют гениталии — этот первичный физиологический признак, питающий стремление человечества классифицировать каждого своего представителя либо как мужчину, либо как женщину.

Обнаженный образ Христа никоим образом не является русским нововведением. Это всего лишь один из многих способов, которые использует христианское искусство — как восточное, так и западное, — для того, чтобы примирить изображение воплощенного Бога в полном физическом проявлении его человечности с контекстом морально-этических представлений о приемлемом.

Некоторые из наиболее древних изображений Крещения Господня не обременены целомудрием фигового листа. Рассмотрим в качестве примера раннехристианские купольные мозаики двух находящихся в Равенне памятников: баптистерия Неона (около 460 г., ил. 3) и Арианского баптистерия (начало VI в., ил. 4). На этих мозаиках Христос не просто стоит обнаженным в водах Иордана, но и тело его изображено анфас с непокрытыми гениталиями: в первом случае перед нами предстает зрелый мужчина с бородой, во втором — изящный, безбородый юноша. В этих образах тело Христа представляется в полностью человеческом облике. Как гласит Литургия, Христос во плоти **«насъ ради, по намъ быти сподобилса естъ»**.

Лео Штейнберг, автор весомого исследования о сексуальности образа Христа в искусстве эпохи Возрождения [Steinberg 1996], охарактеризовал этот тип изображений полностью обнаженного тела как «бесстыдный». Не будем забывать, однако, что речь идет о весьма ранних христианских представлениях и что оба рассмотренных примера находятся не где бы то ни было, а в именно баптистериях, где и совершался обряд крещального погружения.

По мере консолидации церкви к середине VI в. мы можем засвидетельствовать нарастающее влияние церковных властей в вопросах сексуальности вообще, что явилось составной частью более широкого размежевания с языческим прошлым (см. [Brown 1988: 428–447]). В контексте византийской культуры нагота становится предосудительной, «если только она не служит явно христианской цели, например, свидетельствуя о человеческой природе Иисуса Христа при его Крещении и Распятии, в изображении невинности Адама и Евы или для иллюстрации самоотречения святых-аскетов» [Eu. D. Maguire, H. Maguire 2007: 97].

Можно отметить несколько вариантов художественных ухищрений при изображении гениталий в сценах Крещения Господня. Иконописец может использовать доходящую до пояса воду как своеобразную ширму, наиболее ранний пример чему обнаруживается в Римских катакомбах VI в. (см. ил. 5) [Schiller 1971: fig. 354]. Л. Штейнберг называет такой тип «стыдливым», при этом вода может изображаться мутной, чтобы сохранить благочестивость образа Христа, или же, наоборот,

прозрачной, но тогда гениталии не изображаются вовсе, а на их месте оказывается пустой треугольник плоти [Steinberg 1996: 140]. Примеры средневизантийских изображений включают кафоликон монастыря Хосиос Лукас (ранн. XI в.) и святылище Капелла Палатина в Палермо (1140–1170 гг., см. илл. 6 и 7). Подобным же образом для утверждения благопристойности художник может использовать стратегически продуманное расположение рук или деталей ландшафта, как, например, в диптихе с евангельскими сюжетами, вырезанном из слоновой кости в середине X–XI в. (предположительно Константинополь, см. илл. 8).

Конец латинского правления в Константинополе в 1261 г. положил начало эре Палеологов в сильно уменьшившейся по размеру Византийской империи и вместе с тем привел к впечатляющему периоду расцвета искусств, продолжавшемуся до падения имперской столицы в 1453 г. В течение этого времени в изображении Крещения Господня преобладал тип, описанный столетия спустя Дионисием из Фурны: обнаженный Христос стоит посреди реки Иордан, стилизованной под пещеру, принимая благословение Иоанна Предтечи под пристальным вниманием от одного до четырех ангелов. Такого рода изображения можно видеть, например, на архитраве третьей четверти XIII в. и на фреске из Церкви Периблептос в Мистре, третьей четверти XIV в. (см. илл. 9, 10).

Схожий тип иконографии преобладал и на Руси, как на северо-западе, в Новгороде и Пскове, так и на северо-востоке, в Суздале и Костроме, свидетельством чему служат следующие примеры, начиная с XIV в.: Псков, сер. XIV в. (илл. 11); Новгород, фреска из церкви Рождения Христова на Красном поле, 1390-е гг. (илл. 12); Новгород, Софийский собор, кон. XI в. (илл. 13); Кострома, XV–XVI вв. (илл. 14); Суздаль, Рождественский собор, 2-я пол. XVI в. (илл. 15).

В христианской изобразительной традиции возник еще один вариант «стыдливого» образа. В большинстве деталей он совпадает с византийским типом обнаженного Христа, за исключением завязанной узлом набедренной повязки (*перизомы*), которая закрывает тело от талии до колена. В большинстве случаев Христос изображен в движении вперед, анфас, а не в три четверти, но с таким же разворотом тела. Для этого типа изображения я использую термин «Христос опоясанный» (см. илл. 16).

Перевязь Христа не упоминается ни в литургических текстах, ни в Священном Писании, ни в каком бы то ни было экфрасисе, имеющем отношение к сюжету Крещения. Этот достаточно редкий поначалу тип изображения впервые появляется на некоторых Каролингских резных изделиях из слоновой кости IX и X вв. (см. илл. 17)⁵. Он получает широкое распространение в Армении и на Балканах в Греции (кон. XIII в., илл. 18), Сербии и Македонии (кон. XIII–XIV в., илл. 19, 20).

Основываясь на первом впечатлении, можно сказать, что наиболее ранние изображения Христа опоясанного на Руси обнаруживаются на рельефе Крещения на западной закомаре южного фасада собора св. Дмитрия во Владимире

⁵ [Schiller 1971: 137]. К сожалению, Г. Шиллер не приводит конкретных примеров.

(1194–1197 гг., см. ил. 21). Поскольку считается, что в постройке собора принимали участие западноевропейские зодчие (либо зодчие, испытавшие влияние западноевропейских, возможно галицийских, традиций), подобное изображение может быть непосредственно связано с достаточно редким для Запада образом Христа опоясанного. Однако этот рельеф нельзя рассматривать в качестве убедительного доказательства подобной связи, поскольку он является результатом работ по реставрации собора в середине XIX в., а отнюдь не исконным произведением XII столетия. Изображение Крещения Христа — результат реконструкции пятого уровня; рельеф был создан без опоры на исконное изображение, с целью заменить разрушенные ниши западного и северного фасадов собора [Гладкая 1997: 78].

Итак, на Руси образ Христа опоясанного, очевидно, появляется в церкви Спаса на Нередице около Новгорода в 1199 г. (см. ил. 22). Изучив все имеющиеся свидетельства, я пришел к убеждению, что российские историки искусства не были достаточно точны в своих датировках. На мой взгляд, принимая во внимание географию восточного христианства того времени, надо признать чрезвычайно маловероятным, чтобы новый тип изображения Крещения возник на Руси на целый век раньше, чем где бы то ни было в православном мире. Более правдоподобным является мое предположение, что перевязь на изображении в церкви Спаса на Нередице — это более поздняя фреска по сухому, написанная по более ранней фреске с изображением обнаженного Христа⁶. Однако если иконописец Олисей Гречин на самом деле был греком и руководил убранством этой церкви, то можно предположить, что он был знаком с новыми тенденциями византийской иконографии⁷. Но в пользу альтернативной гипотезы, предложенной выше, говорят как более яркие цвета перевязи по контрасту с окружающим изображением, так и тот факт, что перевязь намного короче, чем на самых ранних балканских и армянских изображениях подобного рода.

Следовательно, можно думать, что на самом деле первое изображение Христа опоясанного на Руси относится к концу XIV в. — это изображение на фресках в церкви Успения на Волотовом поле около Новгорода (1363 г., см. ил. 23). Некоторые из иконографических групп, изображенных в этом соборе, как, например, служба святых отцов, несомненно восходят к иностранным источникам (греческим, сербским и болгарским), возникшим на Балканах в XII в. и получившим широкое распространение в XIII–XV вв. [Вздорнов 1989: 99]. Именно по этой причине принято считать, что многие новгородские фрески были созданы либо греческими и сербскими мастерами, либо русскими иконописцами, испытавшими их влияние. Их работы отличаются от оригинальной новгородской традиции

⁶ См. [Щербатова-Шевякова 2004: 52]. Как отмечает автор, в оформлении церкви Спаса на Нередице использовались как традиционные фрески, так и роспись по сухому, что явно указывает на возможность более поздней росписи поверх существующих образов.

⁷ [Колчин, Хорошев, Янин 1981: 136–167]. Альтернативная гипотеза, связанная, по предположению В.Л. Янина, с исконно русским (а не греческим) происхождением и указывающая на сильные покровительственные связи, представлена в [Гиппиус 2005: 101 и сл.].

иконописи, сформировавшейся в течение XIV–XV вв. [Там же: 106]. Таким образом, мы можем утверждать, что возникновение образа Христа опоясанного на Руси связано с балканской традицией, описанной выше⁸.

Что особенно интересно, в начале XV в. образ Христа опоясанного достаточно часто встречается в Москве и окрестностях, а также в Твери и в Кирилло-Белозерском монастыре (см. илл. 24–27). Беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в существовании общего источника этого иконографического нововведения. Вероятно, Андрей Рублев или иконописцы его мастерской создали ныне утраченный оригинал, который породил множество подражаний. В той же мере интересно, что иконография нового типа, кроме уже упомянутых новгородских фресок, возникших в результате балканского влияния, редко встречается на северо-западе (в Новгороде и Пскове) и на северо-востоке (в Суздале, Владимире, Ростове и Ярославле). Таким образом, необходимо решить два главных вопроса: 1) почему возникает новый тип иконографии и 2) почему его распространение в значительной степени ограничено Москвой?

Говоря о причинах, следует иметь в виду, что образ Христа опоясанного исключительно редок в искусстве Каролингов; сохранились лишь единичные примеры. Среди многих томов работ Адольфа Гольдшмидта, посвященных каролингской и саксонской резьбе по слоновой кости, находим лишь один пример, датируемый X в. (см. ил. 17) [Goldschmidt 1914: plates 27a–b]. Наиболее распространенными являются изображения Иисуса Христа обнаженного типа со стратегически расположенными деталями композиции, а также изображения обнаженного типа, где тело погружено в воду (илл. 28, 29) [Ibid.: plates 74, 96a]. Именно по этой причине представляется более логичным говорить о параллельном, но при этом независимом развитии событий на Востоке и на Западе, принимая во внимание как три века, разделяющие их по времени, так и редкость этих образов на Западе наряду с их повсеместным распространением на Востоке.

Наиболее ранний зафиксированный пример образа опоясанного Христа на Востоке относится к XIII в. в Греции, а именно на Афоне (ил. 18). Благодаря большому числу странствующих православных иконописцев и книжников новые идеи могли быстро распространяться из этого центра. Датировка также указывает на возможную связь с изгнанием латинян из Константинополя в 1261 г., с взятием города и оккупацией, которая началась в 1204 г. в результате Четвертого крестового похода. Освобождение города и эпоха правления Палеологов привели к возрождению искусств, в том числе к возросшему интересу к классике и к развитию нового, более экспрессивного стиля. Как же стоит интерпретировать появление перевязи? Этот вопрос отсылает нас к типологии «стыдливого» и «бесстыдного» в терминах Л. Штейнберга. Почему византийцы, веками до этого в том или ином виде

⁸ Отдавая должное возможному внешнему влиянию со стороны Греции, Малой Азии и Святой Земли, О. Е. Этингоф также подчеркивает прогрессивные тенденции в новгородских фресках, что противоречит представлению о независимых новгородских художественных нововведениях (см. [Этингоф 2005: 120–121, 125–131, 137]).

изображавшие обнаженного Христа, вдруг застыдились наготы Иисуса и решили скрыть ее под перевязью — учитывая в особенности, что и на изображениях обнаженного типа гениталии так или иначе скрывались?

Аргументы Л. Штейнберга об использовании перевязи как знака скрытых гениталий в большой степени резонируют с эпохой Возрождения и ее возросшим гуманистическим интересом к чувственным проявлениям человеческой природы как в светском, так и в духовном смысле. Но эти аргументы значительно менее созвучны византийской культурной традиции.

Даже на многих ранних изображениях Христа, покрытого прозрачной водой по пояс, художники изображали область паха без гениталий (ил. 30). Даже некоторые художники эпохи Возрождения, например Пьеро делла Франческа, изображали достаточно прозрачную повязку без узла в центре, что функционально сходно с изображением Христа без гениталий (ил. 31). Однако если внимательно вчитаться в Послание Павла к Галатам 3: 26–28, мы можем обнаружить более глубокое, духовное обоснование ухода от изображения гениталий в образе обнаженного Христа: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».

Если Христос во время Крещения предстает в истинно человеческом облике и все же являет собой возможность спасения человечества и возрождения в вечной жизни, тогда его изображение без гениталий может быть связано с Адамом до грехопадения, Адамом цельным и единым с Христом. Как отмечает Вейн Микс в своем исследовании андрогинных образов в раннем христианстве, «Формула единства во Крещении... предполагает интерпретацию истории творения, в которой божественный первообраз, по образу и подобию которого был создан Адам, обладал муже-женственной природой» [Meeks 1974: 185].

Эта идея усовершенствованного человека становится стандартом для византийской художественной традиции в представлении человеческой наготы, будь то в Крещении Христа, в образах новорожденных младенцев, в иллюстрациях медицинских трактатов, иными словами, как в священных, так и в мирских контекстах (илл. 32, 33) [Zeitler 1999: 188–189]. Наблюдая усовершенствованный образ человеческого тела в таких различных контекстах, византийские верующие могли воспринимать наготу без сопутствующего стыда [Ibid.: 199].

Почему же возникает изображение набедренной повязки? Историки искусства сходятся во мнении, что это изображение возникло под влиянием образов Распятия. Наиболее ранние образы Распятия представляют Христа в *колобиуме* — длинном одеянии, сходном с туникой (ил. 34). С появлением апокрифических *Деяний Пилата* в Евангелии от Никодима, где упоминается набедренная повязка, ее изображение становится повсеместным, представляя более открытый образ телесных страданий Христа и акцентируя его человеческую природу (ил. 35) [Corrigan 1995: 47–48].

Возвращаясь к исходной характеристике Крещения Христа как модели смерти, погребения и воскресения Иисуса в ожидании вечной жизни, я предлагаю рассмотреть появление Христа опоясанного в византийском искусстве после повторного завоевания Константинополя как утверждение возрождения Нового Рима, перед которым мог склониться весь православный мир, — как явное выражение соотношения *Urzeit* — *Endzeit*. Потребуется значительные дальнейшие исследования, чтобы определить, можно ли соотнести эти эсхатологические ассоциации с византийским представлением о том, что Страшный суд и Второе пришествие грянут с началом VIII тысячелетия, что по западному календарю совпадает с 1492 г. Однако важно отметить, что начиная с постиконоборческого периода (после 787 г.) колонна с крестом часто изображается в воде, указывая место в реке Иордан, к которому сходились верующие [Schiller 1971: 135].

То, что образ опоясанного Христа, очевидно, впервые появляется в Новгороде, а именно в Вологоте, особенно важно, поскольку творчество авторов фресок, вероятнее всего, знал Феофан Грек, работавший там в последние десятилетия XIV в. Феофан родился в Константинополе и в результате своих многочисленных путешествий был осведомлен в новейших тенденциях развития православного искусства. К сожалению, изображение Крещения на фресках, созданных Феофаном в 1378 г. в церкви Спаса на Ильине, дошло до нас лишь во фрагментах — видны только стопы Христа. Однако нам известно, что он выполнял важные заказы в соборах Московского Кремля вместе с Андреем Рублевым в первом десятилетии XV в. и, вероятно, мог привнести эти иконографические нововведения в растущий центр Московской державы. В связи с этим важно также вспомнить, что Феофан был создателем наиболее раннего изображения Апокалипсиса на стеной росписи Благовещенского собора именно в этот период, что свидетельствует о его осведомленности в сфере современных тенденций православной иконографии. В обществе, перенесшем эпидемию чумы в середине XIV в., одержавшем победу над монголами в Куликовской битве в 1380 г., но все более обеспокоенном грядущим Апокалипсисом, иконографический символ, указывающий на связь начала и конца, был бы востребован растущим политическим центром с претензиями на величие.

Таким образом, не удивительно, что чем дальше от Москвы, тем больше вероятность обнаружить образ обнаженного Христа в качестве превалирующего. У провинций свой взгляд на традиции перед лицом исходящих из центра инноваций.

Литература

Вздорнов 1989 — Г.И. Вздорнов. Вологоте. Фрески церкви Успения на Вологоте поле близ Новгорода. М., 1989.

Гиппиус 2005 — А.А. Гиппиус. К биографии Олисея Гречина // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Ред. О.Е. Этингф и др. М., 2005. С. 99–114.

Гладкая 1997 — М. С. Гладкая. Реставрация фасадной резьбы Дмитриевского собора в 1838–1839 гг. // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания / Ред. Э. С. Смирнова. М., 1997. С. 60–81.

Колчин, Хорошев, Янин 1981 — Б. А. Колчин, А. С. Хорошев, В. Л. Янин. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981.

Щербатова-Шевякова 2004 — Т. С. Щербатова-Шевякова. Нередица. Мону-ментальные росписи церкви Спаса на Нередице. М., 2004.

Этингоф 2005 — О. Е. Этингоф. Заметки о греко-русской иконописной мастерской в Новгороде и росписях в Спасо-Преображенской церкви на Нередице // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Ред. О. Е. Этингоф и др. М., 2005. С. 115–143.

Brown 1988 — P. Brown. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988.

Corrigan 1995 — K. Corrigan. Text and Image on an Icon of the Crucifixion at Mount Sinai // The Sacred Image East and West / Ed. R. Ousterhout and L. Brubaker. (=Illinois Byzantine Studies. №4). Urbana and Chicago, 1995. P. 46–62.

Denysenko 2012 — N. Denysenko. The Blessing of Waters and Epiphany: The Eastern Liturgical Tradition. Farnham, U.K. and Burlington, Vt., 2012.

Dionysius of Fourna 1981 — The ‘Painter’s Manual’ of Dionysius of Fourna / Trans. P. Heatherington. Rev. ed. London, 1981.

Goldschmidt 1914 — A. Goldschmidt. Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sachsichen Kaiser VIII.–XI. Jahrhundert. V. 1. Berlin, 1914.

Johnson 2007 — M. E. Johnson. The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation. Rev. exp. ed. Collegeville, Minn., 2007.

E. D. Maguire, H. Maguire 2007 — E. D. Maguire, H. Maguire. Other Icons: Art and Power in Byzantine Secular Culture. Princeton and Oxford, 2007.

Meeks 1974 — W. A. Meeks. The Image of the Androgyne: Some Uses of a Symbol in Earliest Christianity // History of Religions 13. №3. 1974. P. 165–208.

Pomazansky 1983 — M. Pomazansky. Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition / Trans. S. Rose. Platina, Calif., 1983.

Schiller 1971 — G. Schiller. Iconography of Christian Art. 2 vols. V. 1: Christ’s Incarnation, Childhood, Baptism, Temptation, Transfiguration, Works and Miracles / Trans. J. Seligman. Greenwich, Conn., 1971.

Schmemmann 1974 — A. Schmemmann. Of Water and the Spirit: A Liturgical Study of Baptism. [Jordanville, NY]: St. Vladimir’s Seminary Press, 1974.

Steinberg 1996 — L. Steinberg. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion. 2nd ed., rev. and exp. Chicago, 1996.

Vermes 2012 — G. Vermes. Christian Beginnings from Nazareth to Nicaea. New Haven and London, 2012.

Zeitler 1999 — B. Zeitler. Ostentatio genitalium: Displays of Nudity in Byzantium // Denial and Desire in Byzantium. Papers from the Thirty-first Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton, March 1997 / Ed. L. James. Aldershot, U.K. and Brookfield, Vermont, 1999. P. 185–201.

Michael S. Flier
Harvard University
(Cambridge, Massachusetts, USA)

**THE REPRESENTATION OF THE BAPTISM OF CHRIST
IN MUSCOVITE ICONOGRAPHY: TRADITION AND INNOVATION**

This paper addresses the representation of Christ in images of the baptism in Eastern and Western iconography. In Byzantine icon pattern books, Christ is traditionally depicted without covering, his nakedness demonstrating his complete humanity and his humility before John the Forerunner. From the 6th century on, Christ is shown standing naked in the Jordan River with water above his waist or with a deftly placed hand or element of landscape obscuring his groin, thereby providing a screen for his nakedness. Later images show the introduction of a loincloth; the ungirded and girded exemplars of Christ are found in Novgorod in the late 14th c. and in Moscow from the late 15th c., but concentrated thereafter in Moscow and regions under its immediate influence. This study seeks to understand when and why the girded iconography emerged in Orthodox iconography, how it made its way to Muscovy, and why it is geographically constrained in Muscovy.

Keywords: iconography, baptism, nakedness, eschatology.

Ш

А. М. Молдован

*Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)*

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА В ПЕРЕВОДЕ ТОЛКОВАНИЙ НИКИТЫ ИРАКЛИЙСКОГО НА СЛОВА ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Древнейший славянский перевод толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова (ТНИ), выполненный в конце XI — начале XII в., относится к тому типу переводных памятников, в которых восточнославянские языковые черты соседствуют с южнославянскими. Язык ТНИ существенно отличается как от языка первого славянского перевода Слов, так и его древнейшей редакции, проведенной после перевода ТНИ. Несмотря на то, что славянский перевод ТНИ очень рано был объединен с самими Словами Григория и в таком виде памятник существовал на протяжении столетий, писцы не ставили перед собой задачу унификации языка этих двух сочинений, так что даже ключевые для толкований корреспондирующие словоформы в Словах и ТНИ сохраняют исходное различие. Это позволяет с высокой степенью уверенности относить к архетипу перевода другие не варьирующиеся в списках ТНИ лексические особенности, в том числе значительное количество разнообразных восточнославянизмов. Их присутствие указывает на связь письменной традиции, в которой работал переводчик ТНИ, с древнерусским письменным узусом. Для характеристики этой традиции особенно интересны представленные в тексте южнославянизмы, не получившие значительного распространения в южнославянских памятниках и обычно не использовавшиеся в текстах древнерусского происхождения.

Ключевые слова: церковнославянский язык, древнерусский язык, история русского языка, древнеславянские переводы с греческого.

Никита Ираклийский, автор толкований к сборнику 16 Слов Григория Богослова, жил во второй половине XI в. Славянский перевод его толкований был выполнен, по-видимому, вскоре после их написания — в начале XII в., так как он отразился в Послании киевского митрополита Никифора († 1121) Владимиру Мономаху о посте и воздержании чувств [Горский, Невоструев 1859: 86; Молдован

2013: 213]. Дополнительным свидетельством того, что этот перевод существовал в Древней Руси не позднее середины XII в., являются ссылка на толкования Никиты Ираклийского в «Послании» Климента Смолятича [Никольский 1892: 125; Буланин 1984: 34] и использование славянского перевода толкований Никиты Ираклийского в «Слове на Фомину неделю» Кирилла Туровского [Виноградов 1915: 114–115].

Первоначально славянский перевод толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова (далее — ТНИ) существовал в виде сплошного текста, изредка включавшегося в рукописи 16 Слов Григория в качестве приложения к ним. Для удобства поиска толкований к соответствующим местам Слов они разбивались на более мелкие части (отделения), которые размечались буквенной цифирью. В дальнейшем отделения Слов и толкования к ним были соединены, образовав своеобразный «слоеный пирог».

Перевод всех толкований был выполнен одним переводчиком или группой переводчиков, относящихся к единой книжной традиции. Об этом свидетельствует гомогенность языковых особенностей ТНИ, равномерно представленных на всем протяжении сборника. Перевод делался с учетом уже существовавшей славянской версии 16 Слов — и, несомненно, для облегчения их понимания. Тем не менее при цитировании толкуемых пассажей из Слов переводчик ТНИ часто отвлекался от текста Слов и переводил цитаты из Григория своими словами, из-за чего словесный облик цитаты в толковании утрачивал формальное тождество с цитируемой исходной фразой Слова. Это приводило к таким, например, расхождениям:¹

Слова Григория Богослова	Цитирование данного фрагмента в толковании
Мню оубо всѣ(м̄) исповѣдати имущимъ оумъ. оученье вѣдущи(м̄) блгоутамъ оу на(с) старѣк бывающе. не се точью блгородное наше Син. 954,146а	Пыню же рече. тако вси оумъ имуще исповѣда(т̄). наказанье ксть преже ч(с)тнѣе. кже ѿ на(с) блгымъ. не токмо наше кже ѿ добротѣ тѣшатиса реченьи Син. 954, 146б
нѣкокого же кентавра Син. 954, 146г	нѣ ѿ кокого коня китовраса именуема Син. 954, 147б
Кто баше такъ оубо старъ смысленьемъ. и преже старости. елма же и солломонъ се нариче(т̄) старость Син. 954, 152б	Кто оубо вѣ такъ сѣдъ разумомъ пре(жѣ) старости. зане и солломонъ. старость цѣломудрне именуек(т̄) Син. 954, 152в
конь... пѹто прѣрвавъ переть по полю 241в59	конь... оузы истързавъ и (и)граеть по полю 241г
надѣятиса. англ̄ равночестья. славы видѣник. н(ы)нѣ въ зърчалѣхъ и гаданиихъ. тогда свършенѣк и чистѣк снѹ быти бжню 296б	надѣятиса видимъ бо нынѣ вѣща. въ зърчалѣ и въ мьчтѣ. тогда же лицемъ къ лицу. и быти сномъ бжнемъ 297б

¹ В тех случаях, когда это специально не оговорено, цитаты из 16 Слов с толкованиями Никиты Ираклийского приводятся по списку конца XIV в. ГИМ, Син. 43 (в том числе по изъятой из него части — ГПНТБ СО РАН, Тих. 8 [Молдован 2015]), в котором текст толкований наиболее близок к архетипу перевода.

То, что толкования некоторое время существовали и переписывались отдельно от Слов, способствовало их дальнейшему расхождению. Это расхождение усилилось особенно после того, как древнейший перевод Слов Григория был подвергнут редактированию с целью сделать его более понятным. Перевод ТНИ в это время уже существовал, однако редактирование Слов было проведено автономно и с ТНИ никак не согласовывалось [Молдован 2013]. Интересно, что даже после соединения этой редакции Слов и ТНИ в «слоеный пирог», когда части Слов (отделения) и относящиеся к ним толкования оказались в непосредственном соседстве, ставшие заметными отличия цитат от исходного текста Григория не вызвали у редакторов желания устранить расхождения — хотя бы при истолковании соотносительных слов и словосочетаний, таких как *точнѡлѣтници* ‘современники’ Тих. 8, 30г — в ТНИ *кдинолѣтти* Тих. 8, 31б, *мьчтанниа* 44в — в ТНИ *оумълокновениа* 45а1, *животъ* 154в — в ТНИ *дхъ* 155а, *запалениа* 96г — в ТНИ *горѣниа* 98а, *запаленикмь* 160в — в ТНИ *попалении* 161б, *травники попаракъть* 240б — в ТНИ *ограды шбалѣтакъть* 241а и др.

Древнерусские списки 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского устойчиво сохраняют и другие существенные отличия языка перевода Слов Григория Богослова от перевода ТНИ. В тексте Слов Григория Богослова в большом количестве представлены такие специфические южнославянские слова, отсутствующие в ТНИ, как *чисма* (9 раз; в толкованиях только *число*), предлог *цѣща* ‘ради’ (8 раз), *вѣхма* ‘совершенно, πάντως’, *свѣне* ‘вне, помимо’, част. *оуто* ‘итак, следовательно, стало быть, οὐκοῦν’ и многие другие. Отчетливое противопоставление языка перевода Слов и ТНИ сохраняется в употреблении тождественных по значению лексем *навѣдѣти* и *съхранити*: «преславский» глагол *навѣдѣти* в Словах употреблен 39 раз, а характерный для кирилло-мефодиевской традиции синоним *съхранити* — 7 раз. А в ТНИ наоборот: *навѣдѣти* употреблено всего 2 раза, а *съхранити* — 28 раз. Не подвергались унификации с ТНИ и характерные для Слов словообразовательные варианты. Например, в Словах Григория 22 раза употреблено прилагательное *супротивьныи*, которое встречается в ТНИ только единожды — при цитировании толкуемого фрагмента (л. 249а). С другой стороны, прилагательное *противьныи* в ТНИ встречается 48 раз, а в Словах оно употреблено только 13 раз. В Словах используются только приставочные формы глагола *покоушати(сѧ)* (8 примеров). А в толкованиях нет ни одного примера употребления этих форм и используются исключительно бесприставочные образования от глагола *коушати(сѧ)* (5 примеров). В ТНИ 14 примерами представлена редкая форма наречия *доньдаже* и, кроме того, имеется сочетание *доньда во* (1 раз), наряду с *доньдеже* (15 раз²). А в Словах Григория регулярно используется наречие *доньдеже* (38 раз) и нет ни одного случая использования наречия *доньдаже*.

Отсутствие гармонизирующей правки языка Слов и толкований к ним особенно заметно в употреблении частотных слов. Например, и в Словах, и в ТНИ

² Большая часть этих примеров содержится в той части ТНИ, которая утрачена в более близком к архетипу ТНИ списке Син. 43, так что есть основания усматривать в них результат замены крайне редкой формы *доньдаже* на стандартное *доньдеже*.

преобладает предлог-послелог **ради**. Но в Словах, наряду с **ради**, очень часто используется **дѣла** — 150 раз (и 8 раз — предлог **цѣща**). А в ТНИ **дѣла** встретилось всего 14 раз (**цѣща** — ни разу). Союз **акы** встречается в Словах Григория 206 раз, а в ТНИ — всего 10 раз. Наречие **кольма** ‘насколько’ использовано в ТНИ 10 раз (чаще всего в сочетании **кольма паче** — 7 раз), а в Словах оно отсутствует (так же как и **кольми**³); в этом значении в Словах регулярно выступает наречие **колико**.

Устойчивость текста ТНИ в дошедших до нас списках⁴ позволяет с высокой степенью определенности относить наблюдаемые в них лексические особенности к архетипу перевода. Это важно подчеркнуть, поскольку в языке перевода ТНИ заметное место занимают разнообразные восточнославянизмы, в том числе лексические, которые, как показывает текстологический анализ списков, почти не подвержены варьированию, а следовательно, принадлежат архетипу перевода.

На восточнославянские элементы в переводе ТНИ впервые обратили внимание А. В. Горский и К. И. Невоструев в обзоре содержания и особенностей славянских списков 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского. Исследователи указали их в числе «древних слов», встречающихся в ТНИ, отметив в качестве «народных» слова **ваютъ**, **ладна** и **погогочѣте** [Горский, Невоструев 1859: 86].

А. И. Соболевский, посвятивший разысканиям древнерусских переводов отдельную работу, на основе материалов А. В. Горского и К. И. Невоструева и собственных наблюдений указал в ТНИ 21 слово, характерное, по его мнению, только для древнерусских памятников: «*лимень* (пристань), *лохань*, *пѣра* (парус), *обезьяна*, *сабля*, *телѣга*, *волоть*, *гобино*, *закупъ* (ср. Русскую Правду), *кузнецъ* (ср. Ипатский список летописи, по изд. 1871 г., с. 558), *ладень* (равен), *льгота*, *моранинь* (мореход), *огородник*, *погоничъ* (погонщик), *поручитися*, *потъснути-ся*, *пороча* (праща), *сватѣба*, *стягъ* (знамя), *улица*» [Соболевский 1980: 140–141]. На этом основании А. И. Соболевский отнес ТНИ к числу текстов, переведенных, по его мнению, в Древней Руси. Указанные А. В. Горским и К. И. Невоструевым как «народные» слова **ваютъ** и **погогочѣте** А. И. Соболевский в этот список не включил. Действительно, слово **ваати** встречается не только в древнерусских, но и в древнейших южнославянских переводах: Шестодневе Иоанна Екзарха, Изборнике 1073 г. и др. [Mikl.: 12; Срз. 1: 46]; а просторечное **погоготати** ‘прокукарекать’, хотя и встретилось только в ТНИ⁵, едва ли может считаться регионально ограниченным, так как звукоподражательные слова **gogotati* [ЭССЯ 6: 194–195] и **kokotati* [ЭССЯ 10: 117] известны во всех славянских языках [Фасмер 1: 425; ЕСУМ 1: 544].

³ **Кольми** употреблено один раз в списке 13 Слов Григория Богослова — в сочетании **кольми паче** 149б. При редактировании 16 Слов это сочетание было заменено на **колико паче** 7в.

⁴ Высокая степень стабильности текста ТНИ, гораздо лучше сохранившегося от «повреждений переписчиков и исправителей», чем собственно Слова, отмечалась еще А. В. Горским и К. И. Невоструевым [Горский, Невоструев 1859: 85].

⁵ и **женьскы възъпните** и **курьскы како о долѣвъше погогочѣте пастьма по бокама оударяюще** (перікококѣте) Тих. 8, 25б, то же Син. 954, 132б [СДРЯ 6: 597]. Слово **гоготати** фиксируется только в одной цитате из Задонщины [СРЯ XI–XVII, 4: 54].

Современное состояние исторической лексикографии, опирающейся на новые издания памятников, позволяет пересмотреть и существенно уточнить список А. И. Соболевского. Следующие слова из этого списка нужно исключить, так как они представлены не только в древнерусских, но и в южнославянских источниках:

1. **ГОВИНО** и **ГОВИНА** ‘урожай, изобилие земных плодов’, действительно, широко используются в древнерусских текстах (помимо ТНИ, они есть в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, в Варсонофьевской кормчей, Житии Феодосия Печерского, Лобковском прологе и др.). Но эти слова встречаются также и в Супрасльской рукописи [Meuer 1935: 56], Пандектах Антиоха, гомилиарии Михановича и других южнославянских источниках [Mikl.: 133; SJS 1: 410]; кроме того, производные от этих слов **ГОВИНЫИ** и **ГОВИНЫСТВО** представлены в Толковой Палее, Словах Иоанна Златоуста, Паренесисе Ефрема Сирина и других южнославянских текстах [СРЯ XI–XVII, 4: 50]. Праслав. **gobino* сохраняется в серб. и хорв. *gobino* и в других славянских языках [ЭССЯ 6: 185];

2. **КОУЗНЬЦЬ** встречается не только в Ипатьевской летописи (на что справедливо указал А. И. Соболевский), но и во множестве других древнерусских источников [СРЯ XI–XVII, 8: 109; СДРЯ 4: 326–327]. Однако это слово есть и в Пандектах Антиоха, в паремийниках, Восьмикнижии Михановича и других южнославянских памятниках [Mikl.: 321; SJS 2: 81]. Праслав. **kuzньсь* отражено во многих славянских языках [ЭССЯ 13: 145];

3. **ЛЪГОТА**: **ТАГОТА** и **ЛГОТА** и **МЪРИЛО ЗАКОНУ** и **ПРОТИВЛЕННИКЪ КЪ НАШЕМУ ЖИТИЮ** 139г; **ВСА СДЕ МЪНИНА ЗЛОБЫ РАДИ БЫВАЮТЬ. ЛЪГОТА ЖЕ ДОБРОДЪТЕЛИ** 306б; **ВЪ ЛЪГОТЪ ЖЕ СЪБЛЮДАЕМЪ Ѡ БА ТАКО НЕМОЩНЪ И НИЩЪ МЫСЛЮ** 320г. Слово **ЛЪГОТА** широко распространено в древнерусских источниках в значении ‘облегчение, освобождение’ [СДРЯ 4: 445; СРЯ XI–XVII, 8: 319–320]. В южнославянских текстах оно чаще фиксируется в значениях ‘удобство, довольство’ и ‘легкость; легкомыслие, легковерие’ (Похвальное Слово Григория Богослова Афанасию Александрийскому, Христинопольский, Слепченский и Шишатовачкий апостолы [SJS II: 146], Лествица, Пандекты Антиоха и др. [Mikl.: 347; СРЯ XI–XVII, 8: 319]). Однако четких семантических различий и региональных особенностей в употреблении этого слова не наблюдается. Праслав. **lygota* известно многим славянским языкам [ЭССЯ 17: 69];

4. **МОРАНИНЪ** ‘моряк’ в Словаре древнерусского языка иллюстрируется единственной цитатой из ТНИ: **НЕ ЕДИНА ЛАСТОВНИЦА ВЕСНЫ ТВОРИТЪ. НИ ЧЕРТА ЕДИНА ЗЕМЛЕМЪРЬЯ НИ ПЛУТЬЕ КДИНО МОРАНИНА** (εις τον θαλάττιον) Син. 954, 21в [СДРЯ 5: 25]. Здесь же выделена статья **МОРАНИКЪ** с определением: «То же, что **МОРАНИНЪ**» и также единственной цитатой из 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского по списку Син. 954 (л. 21б): **НИ ЕДИНА ЛАСТОВНИЦА ВЕСНЫ ТВОРИТЪ. НИ ЧЕРТА ЕДИНА ЗЕМЛЕМЪРИЦА. НИ ПЛУТЪЕ КДИНО МОРАНИКА** (εις τον θαλάττιον). Однако эта цитата содержится не в ТНИ, а в Слове Григория Богослова на Крещение по списку Син. 954, где написание **МОРАНИКА** является ошибочным: во всех

остальных списках, включая рукопись «13 Слов Григория Богослова» (XI в.), ему соответствует написание **моранина**. Следовательно, слово **моранинь** принадлежит древнейшему южнославянскому переводу Слов Григория Богослова. В древних письменных источниках это слово отражено слабо⁶, но праслав. **mor'aninъ* / *morëninъ* известно во многих славянских языках [ЭССЯ 19: 226];

5. Полногласные формы **огородьникъ** ‘садовник’ и **пороча** ‘праща’ трудно считать достаточно показательными для характеристики перевода, поскольку, как известно, древнерусские писцы в каких-то случаях могли заменять неполногласные написания на полногласные и наоборот. В частности, в 13 Словах Григория Богослова можно встретить написание **воротиттѣса** (246а), несомненно, принадлежащее древнерусскому переписчику; более поздние списки содержат в тексте Слов Григория Богослова написания **норова** 101г; **посередниихъ** 17а и т. п.;

6. **погоничъ** употребляется в ТНИ не в значении ‘возница’, как сказано у А. И. Соболевского, а в значении ‘преследователь, ловец’: **и погоничемъ нашихъ дѹшь вѣсомъ та мнитса тажъши ѣзва кгда тако въ ноци сѣтью съмысла побюютса ѿ насъ грѣха первѣньци тоѹс дѣоктаѹс** 177в–г (то же в Син. 954, л. 64а [СДРЯ 6: 598]). В знач. ‘возница’ это слово встречается только в Александрии [СРЯ XI–XVII, 15: 193]. В южнославянских источниках слово **погоничъ** используется в значении ‘погонщик, надсмотрщик; сборщик налогов и податей’. В частности, оно дважды встречается в рукописи «13 Слов Григория Богослова»: **погоничи свиракми прѣкторес калаѹѹмеѹи** ‘обираемые сборщиками податей’ 199а; **и фараана (!) невидимаго (!) мжчителя. и лютьныхъ погоничъ** тоѹс лѣкродѹс ѣруодѹс 340б⁷. Значение ‘преследователь’ сохраняется у существительного **погоничъ** от исходного **погонити** ‘следить, разбирать’, ср. **да погонитъ чтѣи** ‘чтобы разбирал (написанное) читающий’ [SJS 3: 82];

7. **пороча** — см. выше sub **огородникъ**;

8. **поручитиса** есть в Пандектах Антиоха, в Премудрости Иисуса сына Сирахова и других текстах южнославянского происхождения [СРЯ XI–XVII, 17: 141], **поручатиса** — в Житии Иоанна Златоустого, в Премудрости Иисуса сына Сирахова и др. [Там же: 139];

9. **савла** широко представлено не только в древнерусских, но и в южнославянских текстах [СРЯ XI–XVII, 23: 10];

10. **сватѣва** — в таком написании слово представлено в Син. 954, а в Син. 43 ему соответствует **сватѣва**. Оба слова используются не только древнерусскими, но и южнославянскими источниками [Mikl.: 824; SJS 4: 24; СДРЯ 10: 601–602; СРЯ XI–XVII, 23: 93, 218];

11. **оулица** есть в Шестодневе Иоанна Екзарха, Златоуструе и других текстах южнославянского происхождения [Молдован 2000: 78].

⁶ Статья **моранинь** в СРЯ XI–XVII, помимо цитаты из 13 Слов Григория Богослова, содержит еще только одну иллюстрацию из приходо-расходной книги Онежского Крестного монастыря, датируемую 1703 г. [СРЯ XI–XVII, 9: 270].

⁷ Ср. в Син. 954: **и фараана невидимаго мччгл. и лютьнхъ погоничъ** 63в [СДРЯ 6: 598].

Для следующих семи слов из списка А. И. Соболевского их восточнославянское происхождение и/или связь с древнерусской книжной традицией устанавливается достаточно надежно:

1. **волотъ** ‘великан’: **баю(т) бо тако кодмосъ въ афинѣ(х) живын змнквы з҃҃бы насѣа. ѿ нн҃же выша волотове гиганти.** Син. 954, 155а. Кроме ТНИ, слово **волотъ** зафиксировано в Толковой Палее 1406 г. (2 раза) [СДРЯ 1: 470; СРЯ XI–XVII, 3: 9]. Это слово, безусловно, играет важную роль для определения региональных особенностей языка ТНИ, учитывая множество разнообразных связей, которое оно имеет в восточнославянской и отчасти западнославянской топонимике (*Волот, Волотово, Волотовка; Волотова могила*); с другой огласовкой *велет* это слово широко распространено в украинском и белорусском языках. Этимология слова остается неясной [РЭС 6: 210–211; 8: 173–174];

2. **закүпѣ** ‘наемный работник, о҃рабатывающий ссуду’: **закүпѣ корин (Тр. 8: геѢргин). преже о҃҃ прода свои зако нанмитѣ бы** Син. 954, 183б (Тр.8, 296б). Этот термин часто встречается в Русской Правде, есть в Мериле Праведном (во второй главе статьи «О послуѣхъ и о числе ихъ» 70 об.–80 об., составленной на Руси) [СДРЯ 3: 321–322]. В одном из поздних древнерусских списков Жития Саввы Освященного (XV в.) слово **закүпѣ** встречается в ином значении: ‘залог’ [СРЯ XI–XVII, 5: 227]. Ф. Миклошич приводит в своем словаре пример из ТНИ с ремаркой «наёмный слуга или подёнщик, из русского» [Mikl.: 212];

3. **лохана: тринногы о҃҃ мѣданы лоханѣ великы** 45б. Слово употребляется только в древнерусских оригинальных и переводных текстах [Срз. 2: 47; СРЯ XI–XVII, 8: 288; СДРЯ 4: 428]. Вероятно, является заимствованием из греч. *λεκάνη* [Фасмер 2: 524; Пичхадзе 2011: 94];

4. **овозьяна** в такой форме зафиксировано только в ТНИ⁸, где оно употреблено при объяснении слов Григория Богослова **не взирають опичьскы лѣдѣкелю** ‘по-обезьяны’. В толковании слово *лѣдѣкелю* передано сравнением **тако опыни**, а далее *лѣдѣко҃с* переведено множественным числом **овозьяны: любать же ввозьяны. тако смѣху творать позорюющимъ. и дръга дръгү за ланитү вьюце** Син. 954, 170в [Срз. 2: 532; СРЯ XI–XVII, 12: 117; СДРЯ 5: 516]. Слово **овезьяна** и производные от него зафиксированы исключительно в древнерусских источниках: в Хожении Афанасия Никитина, в Геннадиевской Библии (в цитате из книги 2 Пар 9: 21, переведенной с латинского оригинала), в архивных бумагах о Петре Великом, в Уставе ратных дел (как название пушки) [Срз. 2: 500; СРЯ XI–XVII, 12: 30]. Кроме того, в русско-английском словаре Ричарда Джемса зафиксировано **oblaziana, an ape** [СРЯ XI–XVII, 12: 72 (sub *облезьяна*)]. В одной из рукописей Алфавитаря **пифичьское** толкуется словом **облезяничное** [Там же: 72]; в драме «Иудифъ» (XVII в.) говорится об *обезьяновой породе* [Там же: 72];

⁸ Написание **овозьяна** не учтено у Фасмера, между тем оно хорошо соответствует исходному турецкому и персидскому *abuzine* [Фасмер 3: 98].

5. **пърѡ** или **пърѡ** ‘парус’: **пѣсни таже корабльници поють пѣрѣ възвѣлаще** τὴν ὀβόνην [СДРЯ 9: 348]. Слово относится к числу надежно установленных прибалтийско-финских заимствований в древнерусском языке [Фасмер 3: 392], характерно именно для древнерусского периода [Пичхадзе 2011: 85];

6. **СТАГЪ** употреблено в ТНИ дважды, причем в обоих случаях для объяснения церковнославянского **ЗНАМЕНЪ** ‘знамя’: **ЗНАМЕНЪ ГЛѢТЬ** (пророк) **СТАГЪ**. **ИМЖЕ ЗНАМЕНАЮ(Ъ) ВОКВОДЫ ПОВѢДУ** φλάμουλον Син. 954, 122а, и далее здесь же: **ЗНАМЕНЪ ЖЕ И СТАГЪ**. **ЛИ ХОРУГОВЪ** (то же в Чуд. 11, 45в; в Син. 43 утрачен лист). Убедительное объяснение происхождения слова **СТАГЪ** представляет версия о его заимствовании из др.-сканд. *stong* ‘древко, шест’, др.-шв. *stang* — то же⁹. Она хорошо согласуется с локальным и весьма широким распространением слова **СТАГЪ** в древнерусских текстах, главным образом в летописях, где оно отличается необычайной частотностью [Срз. 3: 590–591; СРЯ XI–XVII, 28: 227–228]¹⁰. Следует также учесть, что только в древнерусских текстах встречаются производные от **СТАГЪ**: **СТАГОВЫИ**, **СТАГОВЬНЫИ** ‘относящийся к стягу’, **СТАГОВНИКЪ**, **СТАЖЬКЪ** ‘знаменосец’ и др. [Срз. 3: 590–592; СРЯ XI–XVII, 28: 228];

7. **ТЕЛѢГА** (δίφορος) довольно надежно выводится из древнемонгольского *tälägän. В южнославянские языки слово перешло позднее через венгерское и румынское посредство [Менгес 1979: 137–145]. Многочисленные примеры употребления этого слова и производных от него (**ТЕЛѢГОЖИТЕЛЬ**, **ТЕЛѢЖЬКА**, **ТЕЛѢЖЬКА**, **ТЕЛѢЖЬНИКЪ I** и **ТЕЛѢЖЬНИКЪ II**, **ТЕЛѢЖЬНЫИ**) содержатся преимущественно в оригинальных древнерусских источниках [СРЯ XI–XVII, 29: 268–269]. Из переводных текстов слова **ТЕЛѢГА** и **ТЕЛѢЖЬНЫИ** встречаются только в ТНИ и Толковом Евангелии Феофилакта Болгарского [Бабицкая 1995: 632; Пичхадзе 2011: 90–91, 158].

Оставшиеся три слова из списка А. И. Соболевского относятся к числу тех, которые могли быть отчасти известны на славянском юге, но широкого отражения в южнославянской письменности не получили, зато весьма активно использовались в древнерусских текстах:

⁹ В связи с этим предлагается отличать это заимствование с корневым *ε* от исконнославянской формы *stęgъ, к которой восходят сербохорв. *stijęe* ‘знамя’, др.-сербск. *stęgъ*, связанной со *stęжер*, *stęжар* ‘стог’. Считать форму с носовым праславянской не приходится ввиду того, что она известна только в восточнославянских языках [Фасмер 3: 790]. А. С. Львов, возражая против этого разграничения, основанного на презумпции отражения в древнерусском написании **СТАГЪ** носового *ε*, считал, что «написание **ѡ** представляет в слав. передачу **ѣ** как *a* так же, как в словах: **ПРѢМО** из **ПРѢМО**: **ИМАХОУ** из **ИМѢХОУ**; **ИДАХОУ** из **ИДѢХОУ**; **САМЪ** из **СѢМЪ** и т. п. В этом случае др. р. **СТАГЪ** то же самое, что и с.-хорв. *stieg*, *steg* ‘знамя» [Львов 1975: 314]. Это возражение остается сугубо умозрительным, поскольку не засвидетельствовано ни одного случая употребления этого слова в старославянских и древних южнославянских памятниках, притом что в древнерусских текстах слово **СТАГЪ** представлено десятками примеров.

¹⁰ По данным древнерусского подкорпуса НКРЯ, слово **СТАГЪ** многократно встречается в Повести временных лет (10 раз), Галицкой (3 раза), Киевской (25 раз) и Суздальской (13 раз) летописях. Интересно, что оно отсутствует в Вольнской и Новгородской первой летописи, а также в представленных в НКРЯ древнерусских переводных памятниках.

1. **ладьнѣ** в значении ‘равный, одинаковый’: **ладна во вѣста** (Орест и Пиллад) и **тѣло(м̄) и мдр(с̄)тью** Син. 954, 152а. Это слово и его производные исключительно частотны в древнерусских источниках и лишь изредка встречаются в южнославянских [Mikl.: 331]. Вообще, продолжения праславянского корня **-lad-* [ЭССЯ 14: 8–12] имеют лишь незначительное распространение в южнославянских языках [Пичхадзе 2011: 117];

2. **лимень (лимѣнь)** ‘гавань’ (2 раза): **кгда же ѿ пучины въ лимѣнь. тогда съходитъ (корабль) ѿ съгърѣлкмаго на съмѣренѣишее** 240а; **кто поручитса добропутьню твоему не оудостиже въ лимѣнь покота** 303б. Этот грецизм употребляется в целом ряде оригинальных и переводных древнерусских текстов [Срз. 2: 22; 3, Доп. 153; СДРЯ 4: 403; СРЯ XI–XVII, 8: 235]. До недавнего времени считалось, что в южнославянских источниках оно отсутствует [Фасмер 2: 497; Добродомов 1966: 257–258; Пентковская 2004: 98–99]. А. А. Пичхадзе обнаружила три примера употребления слова **лимень** в более поздних болгарских памятниках — Германовом сборнике 1358/1359 г. и афонско-тырновской редакции Стишного пролога. На этом основании слово **лимень** было отнесено ею к разряду слов, которые более частотны в древнерусских текстах и лишь изредка встречаются в древнеболгарских памятниках [Пичхадзе 2011: 136, 154 (табл.)]. Нужно, впрочем, заметить, что, во-первых, все три болгарских примера относятся к эпохе деятельности тырновских книжников, осваивавших весь фонд церковнославянской письменности, который достался им от предшественников, в том числе древнерусские тексты домонгольского периода. Во-вторых, в старших древнерусских источниках **лимень** выступает как существительное мужского или женского рода **i*-склонения или мягкой разновидности **o*-склонения, тогда как примеры из болгарских источников представляют его как существительное твердой разновидности **o*-склонения с элементами парадигмы **u*-склонения: **лименьъ**, род. **лименьѹ**;

3. **потгъсноутиса** ‘постараться, проявить рвение’: **словописати ми потгъснуса** С141в [СДРЯ 7: 362; СРЯ XI–XVII, 18: 28]. Это слово, очень частотное в других древнерусских источниках, встретилось в ТНИ всего один раз — соответствующее значение выражается в ТНИ словом **(по)тгъцатица** (27 раз), и в этом отношении ТНИ абсолютно совпадает с Толковым Евангелием, где соотношение слов **(по)тгъцатица** и **(по)тгъснугица** составляет 21 к 2 [Пичхадзе 2011: 77, 133].

К составленному А. И. Соболевским предварительному списку лексических «русизмов» ТНИ нужно добавить слова **китоврасъ**, **наимитъ** и **оукраинникъ**, на которые обращали внимание А. В. Горский и К. И. Невоструев¹¹:

китоврасъ: **нѣ ѿ коко конѧ китовраса именѹкма. кмѹже ѿ пѹпа члвкѹ быти. долнек же конь** (κένταυρος) Син. 954, 147б. Слово **китоврасъ**, представляющее

¹¹ Справедливости ради нужно заметить, что А. И. Соболевский не претендовал на полностью составленного им списка, отсылая читателя за дополнительной информацией к «Описанию» А. В. Горского и К. И. Невоструева [Соболевский 1980: 140, примеч. 17].

народный вариант книжного слова **кентаврѣ**, зафиксировано только в восточнославянских текстах [Пичхадзе 2011: 33–34];

наимитѣ: **кгда кто страха дѣла мучении творить доброк. срдни же наимита кже найма ради** 89б; **закупѣ кории** (Тр. 8: георгии). **преже оу прода свои зако** **наимитѣ бы** Син. 954, 183б. Слово восходит к праславянскому **najmitь*, которое имеет продолжения только в севернославянских языках [ЭССЯ 22: 109] и встречается только в древнерусских оригинальных и переводных памятниках [Пичхадзе 2011: 121–122, 156];

оукраинникѣ ‘житель окраины’: **каподочани бы** и **оукраини** (ἐκ τῶν τερμάτων αὐτῆς Καππαδοκίας) Син. 954, 183б (Тр. 8, 296б). Это единственная фиксация данного слова в древнем памятнике. Словарь Миклошича иллюстрирует это слово только данной цитатой, взятой из описания А.В. Горского и К.И. Невоструева [Mikl.: 1046]. В «Материалах» Срезневского, помимо этой цитаты, есть два примера из «Ответов великого князя Ивана Васильевича послу Владислава угорского» 1503 г. [Срз. 3: 1185]. Слова *украина*, *украи* ‘с краю’, *украиной* ‘крайний’, *украинец* и т.п. относятся к древнерусской истории [Фасмер 4: 156–157]; в остальных славянских языках подобные слова употребляются в других значениях. В частности, в болгарском слово *украиникъ* известно только в значении ‘край-тъ отоколо на хлѣбъ; краешникъ, крайшникъ, рубъ; краюха, горбушка’ [Геров V: 429].

Отмеченные А.В. Горским и К.И. Невоструевым слова **гриманик** и **гримати** также не встречаются в южнославянских памятниках:

гриманик: **ира нѣкогда же родивши дыа и милуюца красоты ради... и приведе куриты вѣсы нѣкыа гласащѣ и плещюца в(ъ) оружиа и плещюще кже глѣтса вгна гласъ да гриманиа оружиа вѣзможетъ покрыти младенца бѣ плачющю** 41в. В значении ‘звон, громыхание’ это слово зафиксировано в древнерусском переводе Толкований на Песнь Песней: **о добрыхъ конь ристанык, ихъже ни гриманиа оружькмы, ни брани знаменїа, нѣ всакъ миръ вѣзвѣщающа!** [Алексеев 2002: 48, 70];

гримати: **бжнїю силоу зевсь не плакаше надъ дѣтамь но плачь имаше внѣ гримающѣ до нѣсе** 41г.

В [Mikl.: 143; Срз. 1: 593; СДРЯ 2: 389] эти слова иллюстрируются только приведенными цитатами из ТНИ¹². Слово **гримати** дважды встречается в «Слове о полку Игореве»: **Яръ Тѣре Всеволодѣ! стонши на ворони, прыщеша на вон стрѣлами, гремлеша о шеломы мечи харалужными** 13; **Съ заранїа до вечера, съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы** 17 [СлСО-ПИ 1: 178¹³; СРЯ XI–XVII, 4: 137]. Кроме того, оно засвидетельствовано в русском оригинальном сочинении «Наказание некоего черноризца братии общеживущей»: **скрипанїа двернаго не любити. и колодицею поклонною не гримати** (РГБ, ф. 304.1,

¹² У И.И. Срезневского в статье **гримати** не к месту дана цитата из Кир. Иерус. (В): **Грими** “бѣ... гримя^ѣмоу и млгнѣжшомж. На самом деле формы **грими**”, **гримя^ѣмоу** относятся не к **гримати**, а к **гримѣти**.

¹³ Эти цитаты ошибочно приведены в этом словаре в статье **греметь**.

№784. Сборник кон. XVI в.¹⁴, л. 238). В южнославянских памятниках слова **гриманик** и **гримати** не зафиксированы. Ср. рус. диал. *гримануть*, *гримнуть*, *гримнуться*, *гримотать*, *гримотня* ([СРНГ 7: 146; ПОС 8: 30–31] и др.), укр. *гримати*, *гримнути* ([Гринченко 1: 326–327] и др.), белорус. *гримнуць*, *гринуць* ([Носович 1870: 122] и др.) и т. п.

Несколько «русизмов», дополняющих список А. И. Соболевского, обнаружила в ТНИ А. А. Пичхадзе: **нзоувиро** ‘грозно’ Син. 954, 170в [СДРЯ 4: 116; Пичхадзе 2011: 115], **коузынь** ‘украшение’ Син. 954, 77г [СДРЯ 4: 326; Пичхадзе 2011: 116, 156], **одвьрик** ‘притолока, дверная рама’ Син. 954, 217в [СДРЯ 6: 98; СРЯ XI–XVII, 12: 265; Пичхадзе 2011: 123], **намълвити** ‘подговорить’ Син. 954, 154г [СДРЯ 5: 159; Пичхадзе 2011: 137], а также характерные для восточнославянских текстов предлоги: **межи** (4 раза) [СРЯ XI–XVII, 9: 67; СДРЯ 4: 519–520; Пичхадзе 2011: 119–120] и **про** в значении ‘по причине’ [Пичхадзе 2011: 126–127]¹⁵.

Кроме того, в ТНИ есть восточнославянизмы, которые отмечались А. А. Пичхадзе в других текстах, но не были замечены в ТНИ:

рѣзъ ‘процент’: **да не оукорить насъ бжѣствьнын амосъ гла <...> рѣзъ на рѣзъ** 298б. Термин встречается только в древнерусских переводных и оригинальных памятниках и в поздних списках Златоуструа [Пичхадзе 2011: 128–129];

оже в значении ‘если’: **не оучити хрѣстниа оже обьща ксть блг(д)ть** 112а. Этот союз известен только в восточнославянских языках и встречается только в древнерусских памятниках [Там же: 100–101];

ати — восточнославянский (точнее, севернославянский) целевой союз. Он использован переводчиком в прямой речи Геры, которая советует сопернице Семеле попросить Зевса явиться ей в своем истинном облике: **проси зевсе ати снидеть к тобѣ съ громомъ и молниєю** 42г–43а. Союз **ати** широко представлен в восточнославянских текстах, в том числе берестяных грамотах [Зализняк 2004: 710], и известен только севернославянским языкам [Пичхадзе 2011: 96].

Этим перечнем отнюдь не исчерпывается число представленных в переводе ТНИ восточнославянских слов, имеющих соответствие в восточнославянских диалектах или отражающих словоупотребление, присущее древнерусским памятникам.

Ярким восточнославянизмом является наречие **нынѣка** ‘нынче’. Это слово встретилось в Син. 43 (наиболее авторитетном списке ТНИ) в толковании к Слову в Новую неделю: **а еже о кони ѿ омира възъмъ бословьць издрече гать**

¹⁴ Рукопись локализуется в районе, располагающемся на юго-запад от Москвы: в ней ярко выражено аканье [Зализняк 2014: 61].

¹⁵ Нет оснований включать в этот перечень предлог **около** ‘вокруг’ [Пичхадзе 2011: 34, 138], так как единственный пример употребления этого предлога в тексте 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского встречается не в ТНИ, а в Слове Василию Великому Григория Богослова в его древнерусской редакции: **съставъ же около наю шкрукъ. и сверстникъ съборъ** Син. 954, 153в. Списки этой редакции в данном случае представляют испорченный текст, ср. аналогичное место в 13 Словах Григория Богослова: **ставъше окрестъ наю дроугъ и съврестьникъ съборъ** 44γ [Будилович 1875: 34].

нынѣка творьць конь оуцнужены гасльми. оузы истързавъ и (и)гракеть по полемъ 241г («А что касается коня, то здесь Богослов цитирует Гомера, сказавшего: “Конь, измученный стойлом, разорвав пути, резвится по полям”»). В остальных списках ТНИ в соответствии с **нынѣка** читается **во сде нынѣ**. В более позднем среднеболгарском переводе — **во тако (гліеть во тако творьць шмирь. тако, Sic enim poeta loquitur)**. В СРЯ XI–XVII слово **нынѣка** иллюстрируется единственным примером из новгородской берестяной грамоты № 109 (от Жизномира к Микуле, кон. XI — нач. XII в.), которая сначала читалась так: **а нынѣка постъли къ томоу моужевн грамотоу** [СРЯ XI–XVII, 11: 451]. Однако в дальнейшем А. А. Зализняк предложил иное прочтение этого слова: **нынѣ ка постъли** «теперь пошли-ка» [Зализняк 2004: 259], и в СДРЯ принято это последнее чтение [СДРЯ 5: 448]. Представленное в ТНИ слово **нынѣка** оказывается, таким образом, его единственной известной фиксацией на фоне других, более распространенных вариантов **нонѣча**, **нынѣча**, **нонѣче**, **нынѣче**, **нынечи**. В реальности этого слова не приходится сомневаться. А. А. Зализняк отмечал, что сращенное **нынѣка** находит прямое соответствие в укр. *ниніка, нинька*¹⁶ [Зализняк 1986: 190]. В галицких грамотах XIV в. употребляется наречие **нынѣки** (**нинѣки**): **дал єсмь... и с лѣсы. и з дубровами. и сѣножатъми... и со всѣми оужитки. што нинѣки могуць быти. воленть прода-ти** [СДРЯ 5: 416]; **то все єсмо потвердили... слузѣ нашому вѣрномуу ходкови белскому... со всѣми оужитки што нинѣки сѣт, и потом могуць быти** (Судомир, 1361 AGZ 6); **а далъ єсмь єму на вѣки... со всѣми оужитки што нинѣки могуць быти** (Бохур. 1377 P 24) [ССУМ 2: 58]. Другие данные украинских диалектов демонстрируют разнообразие форм этого слова: **ниньки** (*Ниньки живеш, а завтра гнєш*) [Гринченко 2: 564]; **ниніка**, (**-каль, -калі**), **нинька**, (**-ки**), **ниночки**, *adv. heute; jetzt* [Желеховский 1: 528]; **бойк. ниніка, нинька** [Онишкевич 1: 490, 493]; **буков. ниньки, нинькі, незм. рідк.** 1. Тепер, зараз; 2. Сьогодні [СБГ: 334]. Типологически сходное сращение с частицей *ка* представляют в украинских диалектах наречия, образованные от **днесь**: **днеська, днеськи, днески, дниська, нниська** и др. [ЕСУМ 1: 95]; **ниська, ниськава, неська, нниськи** ‘сегодня’ [Онишкевич 1: 490, 493].

Кроме того, в ТНИ есть немало слов, образованных по восточнославянским словообразовательным моделям. Прежде всего, это глаголы с выделительной приставкой **вы-**, соответствующие старославянским образованиям на **из-**. В ТНИ глаголы с этой приставкой представлены тремя примерами: **высѣкаа** (**секрыра корєни высѣкаа лукавства**) 74г, **выньзъшу** (**ножь**) 274а, **выгѣженик** (**истѣжаник и выгѣженик**) 323г.

Наиболее заметной категорией слов, связывающей ТНИ с восточнославянскими языками, являются глагольные имперфективы с суффиксом **-ыва-/-ива-**. По наблюдениям И. Б. Силиной, в ТНИ содержится 41 пример употребления таких глаголов — беспрецедентное количество по сравнению с другими памятниками [Силина 1987].

¹⁶ Эти сведения приведены в [Гринченко 2: 564].

Не менее убедительные свидетельства наличия в книжном языке переводчика многочисленных восточнославянских элементов можно привести из области его морфологии и синтаксиса ([Крысько 2002; Пичхадзе 2013: 259–262]) и др.

Столь значительное присутствие восточнославянизмов в языке перевода ТНИ — церковнославянском языке южнославянского типа — нельзя считать случайным, учитывая разнообразие и многочисленность этих примеров. Эти данные с очевидностью указывают на связь письменной традиции, в которой работал переводчик ТНИ, с древнерусским письменным узусом. Важным моментом для понимания этой традиции является ее книжный характер, который препятствовал прямому отражению в тексте перевода диалектных особенностей языка той местности, где осуществлялся перевод, или родного языка переводчика. Диалектные особенности могли проявляться в книжных текстах лишь спорадически и опосредованно, проходя через «фильтры» книжной традиции.

Для характеристики типов книжных традиций важны системные и частотные лингвистические особенности, имеющие соответствия в других переводных памятниках. Особый интерес при этом представляют южнославянизмы (в том числе не получившие значительного распространения в южнославянских памятниках), обычно не использовавшиеся в текстах древнерусского происхождения¹⁷. Например, наличие в ТНИ таких специфически южнославянских слов, как **ковачь**, **кыченье**, **оплазивын**, **ошоуць** ‘напрасно’, **пыцевати**, **рѣснота**, и некоторых других объединяет его с Толкованиями на Евангелие Феофилакта Болгарского, Толкованиями на Апостол и Толкованиями на Песнь Песней. Близкие хронологически (все эти толковые переводы появились в период с конца XI до первой половины XII в.), они, несомненно, были выполнены в рамках единой переводческой традиции [Алексеев 1988: 187–188; Бабицкая 1995: 632; Пентковская 2009; Пентковская, Индыченко, Федорова 2011; Пичхадзе 2011: 32–33; 2013].

Подобное соединение в рамках одной книжной традиции языковых фактов разного лингвогеографического происхождения могло оказаться возможным либо в результате транспозиции одной из южнославянских переводческих традиций на восточнославянскую почву, либо в условиях существования восточнославянского анклава (например, монастыря) в южнославянском окружении. Тем самым эти данные открывают неизвестную страницу в истории славянской письменности.

Литература

Алексеев 1988 — А. А. Алексеев. К истории русской переводческой школы XII в. // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 154–196.

Алексеев 2002 — А. А. Алексеев. Песнь песней в древней славяно-русской письменности. М., 2002.

¹⁷ Типологически значимые особенности древних славянских переводов, в которых локальные восточнославянские языковые черты соседствуют со специфическими южнославянскими, описаны в [Пичхадзе 2011: 52–77, 352–356].

Бабицкая 1995 — *М. Б. Бабицкая*. Источники Изборника XIII века (Cod. St. Petersburg. GPB, Q.п.I/18) // *Byzantinoslavica*. LVI/3. 1995. С. 631–635.

Будилович 1875 — *А. Будилович*. XIII слов Григория Богослова по рукописи Императорской Публичной Библиотеки XI века. СПб., 1875.

Буланин 1984 — *Д. М. Буланин*. Переводы и послания Максима Грека. Неизданные тексты. Л., 1984.

Виноградов 1915 — *В. П. Виноградов*. Уставные чтения. Вып. 3. Очерки по истории греко-славянской церковно-учительной литературы. Сергиев Посад, 1915.

Геров — *Н. Геров*. Рѣчникъ на бльгарскый языкъ съ тлькувание рѣчи-ты на бльгарскы и на русскы. Ч. I–V. Пловдив, 1895–1904.

Горский, Невоструев 1859 — *А. В. Горский, К. И. Невоструев*. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. II: Писания святых отцов. Ч. 2: Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859.

Гринченко — *Б. Д. Гринченко*. Словарь украинского языка. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

Добродомов 1966 — *И. Г. Добродомов*. О некоторых русских словах, заимствованных из греческого языка через тюркское посредство // *Лексикология и словообразование древнерусского языка*. М., 1966. С. 255–262.

ЕСУМ — *Етимологічний словник української мови*. Т. 1–6. Київ, 1982–2012.

Желеховский — *С. Желеховский*. Малоруско-німецкий словарь. Т. 1–2. Львів, 1886.

Зализняк 1986 — *А. А. Зализняк*. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.

Зализняк 2004 — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. М., 2004

Зализняк 2014 — *А. А. Зализняк*. Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь. М., 2014.

Крысько 2002 — *В. Б. Крысько*. К истории мультипликативных наречий на -жды* // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. 61. Hf. 2. 2002. S. 365–398 [перезид.: Крысько В. Б. Очерки по истории русского языка. М., 2007. С. 148–176].

Львов 1975 — *А. С. Львов*. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.

Менгес 1979 — *К. Г. Менгес*. Восточнославянские элементы в «Слове о полку Игореве» / *Пер. А. А. Алексеева*. Л., 1979.

Молдован 2000 — *А. М. Молдован*. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.

Молдован 2013 — *А. М. Молдован*. К текстологии 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Иракийского // *Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики / XV Международный съезд славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.)*. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 207–228.

Молдован 2015 — *А. М. Молдован*. О происхождении одной рукописи из библиотеки А. И. Сулакадзева // *Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова*

РАН. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2015. С. 213–222.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru.

Никольский 1892 — *Н. М. Никольский*. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича. СПб., 1892.

Носович 1870 — Словарь белорусского наречия, сост. И. И. Носовичем. СПб., 1870.

Онишкевич — *М. Й. Онишкевич*. Словник бойківських говірок. Ч. 1–2. Київ, 1984.

Пентковская 2004 — *Т. В. Пентковская*. Грецизмы и их славянские эквиваленты в южнославянских и восточнославянских переводах XI–XIV вв. // Славяне и их соседи. Вып. XI. Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 95–110.

Пентковская 2009 — *Т. В. Пентковская*. К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIV веке: Чудовская редакция Нового Завета. М., 2009.

Пентковская, Индыченко, Федорова 2011 — *Т. В. Пентковская, А. А. Индыченко, Е. В. Федорова*. К изучению толковой традиции домонгольского периода: Апостол и Евангелие с толкованиями // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2010–2011. М., 2011. С. 30–51.

Пичхадзе 2011 — *А. А. Пичхадзе*. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 2011.

Пичхадзе 2013 — *А. А. Пичхадзе*. Лингвистические особенности славянских толковых переводов XI–XII вв. // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики / XV Международный съезд славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.). Доклады российской делегации. М., 2013. С. 246–265.

ПОС 1–23 — Псковский областной словарь. Вып. 1–23. СПб., 1967–2012–.

РЭС 1–9 — *А. Е. Аникин*. Русский этимологический словарь. Вып. 1–9. М., 2007–2015–.

СБГ — Словник буковинських говірок. Чернівці, 2005.

СДРЯ 1–10 — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–10. М., 1988–2013–.

Силина 1987 — *В. Б. Силина*. Специфика выражения видовых различий в древнерусском литературном языке // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987. С. 196–208.

СлСОПИ 1–6 — Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Вып. 1–6. М.–Л., 1965–1984.

Соболевский 1980 — *А. И. Соболевский*. История русского литературного языка. Л., 1980.

Срз. 1–3 — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

СРНГ 1–46 — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–46. Л., 1966–2013–.

СРЯ XI–XVII 1–29 — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011–.

ССУМ 1–2 — Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Т. 1–2. Київ, 1977–1978.

Фасмер 1–4 — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986.

ЭССЯ 1–39 — Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд. Вып. 1–39. М., 1974–2014.

Meyer 1935 — К. Н. Meyer. Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des cod. Suprasliensis. Glückstadt — Hamburg, 1935.

Mikl. — F. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

SJS 1–4 — Slovník jazyka staroslovenskeho. Т. I–IV. Praha, 1958–1997.

Alexandr M. Moldovan

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

EAST SLAVIC LEXEMES IN THE SLAVIC TRANSLATION OF *SCHOLIA* IN *ORATIONES GREGORII NAZIANZENI* BY NICETAS OF HERACLEIA

The oldest Slavic translation of *Scholia in orationes Gregorii Nazianzeni* by Nicetas of Heracleia, made in the late 11th — early 12th century, belongs to the type of translated texts in which the East Slavic language features coexist with the South Slavic. The language of the *Scholia* differs significantly from both the first Slavic translation of the *Orationes*, and his elder redaction undertaken after the translation of the *Scholia*. Despite the fact that the Slavic translation of the *Scholia* was early combined with the *Orationes* of Gregory, and the monument existed in this form for centuries, the scribes made no attempt to harmonize the language of these two texts, so that even corresponding word forms in *Orationes* and *Scholia* (in the instances when Nicetas cites Gregory's text literally) preserve their original difference. It is highly probable, therefore, that other (invariable) lexical features of the *Scholia* also belong to the archetype of the translation. These include a considerable amount of various East Slavic lexemes, which reveal a link between the literary tradition to which the translator of the *Scholia* adhered, and the Old Russian literary practice. Of special interest for the estimation of this tradition are certain South Slavic lexemes found in the text, which were not very common in South Slavic written language and usually were not used in original Old Russian texts.

Keywords: Old Church Slavonic, Old Russian, history of the Russian language, Old Slavonic translations from Greek.

А. А. Пичхадзе
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

СЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД ЭКЛОГИ

Славянский перевод Эклоги, сборника гражданского византийского права, выполнен южными славянами, о чем свидетельствует ряд лингвистических фактов. В то же время в памятнике есть лексические восточнославянизмы. Они не могли быть внесены в текст ни писцами, поскольку употребляются строго в соответствии с определенными греческими юридическими терминами, ни восточнославянскими редакторами, поскольку огромное количество ошибок в переводе оставлено без исправления. Низкое качество перевода не согласуется с предположением, что памятник переведен в Симеоновской Болгарии. В то же время похожие на допущенные в переводе Эклоги ошибки можно найти и в других переводах южнославянского происхождения, содержащих восточнославянскую лексику. Наиболее ранним из них является Хроника Георгия Амартола, переведенная не ранее 963 г., другие тексты — Толковое Евангелие, Толкования Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова, Послание папы Льва Флавиану — датируются концом XI — началом XII в. Ближе всего к Эклоге, пожалуй, стоит Ефремовская кормчая, переведенная не позже начала XII в. Эклогу, видимо, переводил южнославянский переводчик для восточнославянского читателя. Он использовал русизмы в тех случаях, когда нуждался в юридических терминах, которые отсутствовали в церковнославянской традиции.

Ключевые слова: Эклога, церковнославянские переводы, церковнославянский язык, древнерусский язык.

Славянский перевод Эклоги, сборника гражданского византийского права VIII в., вызывал чрезвычайно острый интерес В. М. Живова в связи с проблемой рецепции византийского права на Руси. Юридическая терминология славянской Эклоги обсуждалась в его статье «История русского права как лингвосомиотическая проблема», написанной в 1982 г. с позиций теории диглоссии. Основной тезис, который отстаивал В. М. Живов в этой статье, заключался в дополнительном распределении церковнославянской и древнерусской юридической терминологии, в невозможности их использования в одном и том же тексте. В. М. Живов подчеркивал,

что даже в тех исключительных случаях, когда в церковнославянском тексте появляются древнерусские юридические термины, они имеют не то значение, которое присуще им в памятниках восточнославянского происхождения. Единичные примеры такого использования русизмов он привел из двух памятников, переведенных с греческого: Эклоги и Ефремовской кормчей. В частности, русизм **зАдъница** в Эклоге и Ефремовской кормчей обозначает не просто наследство, как в древнерусских текстах, но легат, т. е. наследство, которое передается не непосредственно по завещанию, а через прямых наследников или (в их отсутствие) по закону. В статье 1982 г. В. М. Живов рассматривал термин **зАдъница** как русизм, употребленный переводчиками Эклоги и Ефремовской кормчей для передачи понятия легата, не имевшего эквивалента в церковнославянской традиции.

При перепечатке своей статьи в 2002 г. В. М. Живов сопроводил ее довольно пространной репликой под названием *Postscriptum* [Живов 2002/1988: 291–304], в которой пересматривал свое отношение к теории диглоссии. Он снова затронул здесь вопрос о происхождении славянской Эклоги и выступил с полемическим опровержением взглядов Л. В. Милова, считавшего, что Эклога была переведена на Руси [Милов 1976; 1984: 57], и в последних своих работах высказавшего гипотезу, что перевод был выполнен при князе Владимире сразу после крещения Руси и в дальнейшем использовался при составлении древнерусских юридических текстов. В. М. Живов решительно возражал против практического использования Эклоги в древнерусской юрисдикции и возможности ее влияния на «юридическую жизнь восточнославянского средневековья», настаивая на том, что византийско-церковнославянским юридическим текстам принадлежала исключительно идеологическая функция [Живов 2002/1988: 296–303]. Он указал на то, что лексика Эклоги, которую Л. В. Милов считал специфически древнерусской, была известна и южным славянам, и усомнился даже в том, что термин **зАдъница** можно считать русизмом [Там же: 300]. Видимо, В. М. Живов был прав, отвергая непосредственное влияние Эклоги на древнерусские юридические тексты. Что касается лингвистической характеристики перевода Эклоги, то есть смысл снова обратиться к ней с учетом некоторых новых данных и с использованием возможностей, которые предоставляет новое издание памятника со словоуказателями [Ecloga 2011]¹.

Эклога дошла до нас исключительно в восточнославянских списках (см. их перечень [Ibid.: 47–48]). Древнейший из них — Мерило Праведное середины XIV в. Поскольку подавляющее большинство славянских переводов с греческого было выполнено в Болгарии, В. М. Живов предлагал считать перевод Эклоги болгарским «по умолчанию», пока не будет доказано его восточнославянское происхождение [Живов 2002/1988: 300]. В настоящее время атрибуция Эклоги южнославянским книжникам может быть обоснована лингвистическими фактами. Й. Райнхарт [2009: 134–137] привел свидетельства в пользу южнославянского происхождения перевода Эклоги: случаи мены юсов, хотя и не вполне надежные (**сипа**, **гаже**, **вин**.

¹ Ниже все ссылки на это издание, цифры обозначают строки. Греческие соответствия цитируются по изданию [Burgmann 1983].

ед. ж. р.; сюда же можно добавить **имѣцію** 49 — л. 167.15); написание **шт** на месте [šć], стоящее за дважды встретившейся формой **ветши** (<***вешти**) τὰ... πράγματα ‘вещи’ 173.10 и 22; местоимение **инъ** в значении ‘один (и тот же), тот же самый’ 180.18 и 187.4; **свободная семья** ‘свободный человек’.

На южнославянское происхождение, видимо, указывает еще одна черта. Переводчик часто смешивает падежи (подробнее об этом ниже), особенно родительный и дательный, при этом нередко нарушается согласование. Один пример такого смешения привел Й. Райнхарт [Райнхарт 2001: 544]; в другом месте переводчик начал переводить греческий *genitivus absolutus* буквально, родительным падежом, а потом перешел на дательный, поскольку греческому *genitivus absolutus* закономерно соответствует славянский дательный самостоятельный: **Вонноу насаднешагв, аще бл(а)гвч(ε)стиваго домоу е[сть], за г лѣт(а) невѣдоущю под(о)бныи конець ли роукамн творащю насаженою вещь...** Τοῦ διηγεοῦς ἐμφυτευτοῦ, εἰ μὲν εὐαγοῦς οἴκου ἐστίν, ἐπὶ τριετίαν ἀνωμονοῦντος τὸ ἐτήσιον (переводчик спутал с ἔθος или ἦθος?) τέλος ἢ καὶ χεῖρον (переводчик спутал с χερσὶν) ποιοῦντος τὸ ἐμφυτευθὲν πράγμα... ‘Если долговременный арендатор, из благочестивой семьи, в течение трех лет пренебрегает годовой платой или портит то, что взял в аренду...’ 685–686. Впрочем, перевод здесь изобилует ошибками и настолько невразумителен, что трудно судить о том, какой смысл вкладывал переводчик в употребленные им падежные формы. Обычно дательный падеж появляется в переводе на месте ожидаемого родительного, даже если рядом однотипное или однородное дополнение стоит в родительном падеже: **по исполнению к̄ и ̄ лѣт и инѣмъ ̄ лѣт(о)мъ** μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν εἰκοσιπέντε ἐνιαυτῶν καὶ ἐτέρων πέντε χρόνων ‘после того как исполнится 25 лет и еще 5 лет’ 308 — независимо от того, как трактовать форму **к̄ и ̄**, падеж **лѣт** однозначно определяется как родительный, в отличие от дательного **лѣт(о)мъ**. С дательным смешивается также родительный, употребленный в роли винительного падежа: **таковагв [оубо] подобаше въ ть[и] час оумртвити тако всемъ разрѣшение поущившиос(а)** τὸν μὲν τοιοῦτον ἦρμοζε κατὰ τὴν ὥραν θανατοῦσθαι ὡς τὴν τοῦ παντὸς κατάλυσιν μελετήσαντα ‘такого следовало бы тотчас умертвить, как предпринявшего разрушение всего’ 822. Аналогичное смешение родительного (в том числе родительного в роли винительного) и дательного падежей, с более частым употреблением дательного на месте ожидаемого родительного, фиксируется в Супрасельской рукописи [Bláhová 1973: 37; Večerka 1993: 324] и более поздних средневековых болгарских и сербских памятниках [Райнхарт 2001: 544]. Эту черту объясняют синонимией родительного и дательного в функции приименных падежей и считают балканизмом [Večerka: *ibid.*].

Смешение родительного и дательного можно встретить в переводах, выполненных на Руси в XI–XII вв. предположительно южнославянскими переводчиками. В переводе Послания папы Льва I константинопольскому архиепископу Флавиану, сделанном по заказу князя Святослава Давидовича (Николы Святоши) около 1150 г. Феодосием Греком, родительный вместо дательного употребляется в составе оборота «дательный самостоятельный»: **схранѣмъ оубо своинства коемъждо естествоу** [Бодянский 1848: 9], σωζομένης τοίνυν τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας

φύσεως [Schwartz 1933: 13] ‘при сохранении свойства каждого естества’; из двух определений одно может стоять в родительном, а другое — в дательном падеже: **окааннаго оучюженному исповѣданню** [Бодянский 1848: 17], τὴν οὕτως ἀλλόκοτον καὶ οὕτω διεστραμμένην ὁμολογίαν [Schwartz 1933: 18] ‘такое чудовищное и такое извращенное исповедание’. Предисловие Феодосия Грека к переводу Послания содержит лексические болгаризмы [Пичхадзе 2011: 353]; вероятно, родным для переводчика был южнославянский язык. Смешение родительного и дательного обнаруживается и в Студийском уставе, перевод которого был выполнен для Киево-Печерского монастыря в 1060–1070-е гг.: **да не кто ѿ ненаказаныхъ и тако се по положачю поживъшимъ оугантѣса...** ἵνα μή τις τῶν ἀπαιδεύτων καὶ ὡς ἔτυχε βεβιωκότων λάθῃ... ‘чтобы кто-то от не прошедших обучение и как бы случайно поживших не утаился...’ [Пентковский 2001: 389, 75]; **по произведению же нѣбу и земли всацыхъ животь**, μετὰ τὴν τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν παντοδαπῶν ζῳῶν παραγωγήν ‘после создания неба и земли и всяческих животных’ [Там же: 393, 77]; **прѣбывымъ мѡжемъ и боащнихъса гѣ**, ὄσιους ἄνδρας καὶ φοβούμενους τὸν κύριον ‘мужей преподобных и боящихся Бога’ [Там же: 393, 78] и др. Таким образом, смешение родительного и дательного характерно по крайней мере для двух памятников, переведенных несомненно в домонгольской Руси, по-видимому, южнославянскими переводчиками.

В Эклоге, как и в Студийском уставе, дательный встречается даже после предлогов, управляющих родительным, но не дательным падежом, и после числительных, хотя в соответствии с требованиями славянского синтаксиса употребление дательного падежа в этой позиции невозможно, — правда, во всех этих случаях дательный следует за грамматически правильным родительным: **написанъ бывактъ завѣтъ въ кдину [и] то же время wt з̄ достовѣрныхъ послухъ на то призывнымъ і в тѡмъ на то написанымъ и назнаменацимъ**, ἔγγραφος γίνεται διαθήκη ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ καιρῷ ὑπὸ ἑπτὰ ἀξιόπιστων μαρτύρων ἐπὶ τούτῳ προσκληθέντων καὶ ἐν αὐτῇ κατὰ ταῦτόν ὑπογράφόντων καὶ σφραγίζόντων ‘завещание записывается одновременно семью заслуживающими доверия свидетелями, призванными для этого и на нем [завещании] подписавшимися и поставившими печати’ 369–370; **wt создавагъ... и wtвѣщавшю** παρὰ τοῦ κτίσαντος... καὶ ἀποκρίθέντος ‘от создавшего... и сказавшего’ 276; **wt поту или wt кр(о)ве и наслѣдыю**, ἐξ ἰδρώτων καὶ καμάτων ἢ κληρονομίας ‘от потов и трудов и наследства’ 473–474; **при ̄ другъ на то призывнымъ** ἐπὶ φίλων πέντε ἐπὶ τούτῳ προσκληθέντων ‘при пяти друзьях, призванных для этого’ 561; **до г̄-и написающимъ же и полагающимъ...** μέχρι τριῶν ἀπογραφομένων τε καὶ ἀποτιθεμένων... ‘до трех записывающих и помещающих...’ 562–563.

Перевод Эклоги в целом отражает довольно архаичное южнославянское словоупотребление: можно указать на такие слова, как **не възблагодѣкть** ἀχάριστος ‘неблагодарный’ 351, **невъзблагодѣтъ** ἐξ ἀχαριστιῶν ‘от неблагодарности’ 590, образованные на базе сочетаний с архаичным предлогом **въз**, засвидетельствованным в старославянских памятниках; прилагательное **хоудогын** ἐπιστήμων ‘искусный, понимающий в чем-л.’ 68; существительное **свонть** μέρος 111 (в других

местах — **часть**) — в этом значении оно нигде больше не встречается, но в преславских памятниках **своить** фигурирует в близких значениях: ‘свои люди’, ‘свойство’, **своитьныи** — ‘особенный’ [Срз. III: 286]. В оригинальных древнерусских памятниках эти слова не зафиксированы. Слово **хоуца** φοσάτων ‘военный лагерь’ 982 также характерно для южнославянских текстов, хотя изредка оно встречается и в древнерусских произведениях — возможно, в качестве экзотизма, ср. **хоусаре** в Хожении Даниила игумена [Там же: 1423]. **Потомити** ‘наказать’, **неоугтомленъ** ‘безнаказанный’ тоже редки в древнерусских текстах и являются отличительной особенностью южнославянских памятников [Пичхадзе 2011: 56, 61]. Наконец, греческому τίτλος ‘глава’ в Эклоге регулярно соответствует **зачатъкъ** (в том же значении, в соответствии с греч. κεφάλαιον, **зачатъкъ** употребляется в XIII Словах Григория Назианзина [Срз. I: 958]), иногда — **зачало**, как в древнейших евангелиях (при этом греч. κεφάλαιον в Эклоге переводится как **глава** — 7 раз).

Приведенные факты убеждают в том, что переводчик Эклоги был носителем южнославянского диалекта и продолжателем южнославянских книжных традиций. В то же время в памятнике есть лексические русизмы. Л. В. Милов составил довольно большой перечень слов, которые он считал русизмами, однако при проверке по современным лексикографическим источникам обнаруживается, что большинство из них было в обиходе и у южных славян. Тем не менее четыре лексемы (с их производными) можно достаточно уверенно считать специфически восточнославянскими.

Употребление одной из них подробно описано Л. В. Миловым. Это слово **зядьница** ‘имущество умершего; наследство’; оно широко используется в древнерусских памятниках, а из переводных текстов зафиксировано только в Златоусте, где иногда встречаются несомненные русизмы (памятник переведен в Болгарии в X в., но его текстология очень сложна и пока недостаточно изучена), а также в Троицком сборнике №12 XII–XIII вв., содержащем отрывки из болгарских переводов, которые были переработаны на восточнославянской почве, в результате чего в текст попало немало лексических русизмов. Л. В. Милов [1976: 149–154; 1980: 117–123] заметил, что термин **зядьница** в Эклоге употребляется только в определенных ситуациях. Во-первых, так переводится термин λευάτων — византийское заимствование из латыни, обозначающее особый вид наследования (390, 503, 505, 524, 527). Так же переводится этот термин в Ефремовской кормчей — сборнике византийских церковных установлений, переведенном болгарскими переводчиками, по-видимому, на Руси не позже начала XII в. [Пичхадзе 2011: 18–24]. Во-вторых, **зядьница** в Эклоге иногда переводит термин ὑπόστασις (11 раз) и один раз περιουσία 405 — оба греческих слова обозначают имущество умершего. Термин ὑπόστασις также переводится как **имѣник** 6 раз и **соушьство** 1 раз. При переводе греч. ὑπόστασις русизм **зядьница** употребляется, когда речь идет об имуществе, оставленном без завещания (**ли кто оумираа своѣмү наследьникую без написанна ли безъ послухъ свою оставить зядьницю** 526, аналогично 237 — о смерти без завещания), или же когда речь идет об имуществе умершего человека вообще, без уточнения того, является ли оно завещанным или нет (например, 470 и 472,

где речь идет о пекулиях, которые должны причисляться к остальному имуществу умершего). Такой же перевод использован при обозначении завещанного имущества, которого лишается наследник, не исполняющий волю умершего (404–405), и имущества, завещанного чужому лицу в обход родного ребенка, не пожелавшего заботиться о родителях (396), а также в статьях об имуществе умерших родителей, у которых остались несовершеннолетние дети, нуждающиеся в опеке (187, 200, 543, 551), — во всех этих случаях происходит то или иное отклонение от стандартной процедуры прямого наследования.

Как совершенно справедливо констатировал Л. В. Милов, появление в Эклоге термина **зядьница** не может быть отнесено на счет позднейших переписчиков памятника, поскольку он строго соответствует или греч. *λεγάτον*, или *ὑπόστασις*, если последнее обозначает имущество умершего, но никогда не переводит греч. *κληρονομία* ‘наследство’, в соответствии с которым в Эклоге обычно употребляется **наслѣдик** (и один раз **причастник**). Больше того, в позднейших списках Эклоги термин **зядьница** обычно заменяется на **залогъ**, **наслѣдик**, **имѣнник**, **останки**, поскольку к XV в. он уже вышел из употребления. Л. В. Милов, а за ним и В. М. Живов делали на основании этих фактов вывод, что термин **зядьница** принадлежит не позднейшим переписчикам, а переводчику. Его использование носит отчасти вынужденный характер: переводчик должен был различать передачу греческих терминов *κληρονομία* и *λεγάτον*, и если для первого он располагал традиционным церковнославянским эквивалентом **наслѣдик**, то для второго, латинизма *λεγάτον*, церковнославянского соответствия не существовало; в этой ситуации он обращался к восточнославянскому лексикону (ср. [Милов 1976: 152]). Л. В. Милов подчеркивал, что употребление термина **зядьница** в Эклоге точно соответствует древнерусскому узусу, иллюстрируя этот тезис убедительным примером из Русской Правды, где доля, получаемая по завещанию, противопоставляется остальному имуществу, которое остается после смерти и называется **зядьница**, ср.: **ажѣ жена сядеть по мужи. то на ню часть дати. а что на ню мужь вѣзложитъ. томъ же ксть госпожа. а зядница ни мужна не надобѣ** ‘если жена сохранит вдовство после смерти мужа, дать ей часть, которую ей выделил муж, и ею она владеет, а к оставшемуся имуществу мужа она отношения не имеет’ [Тихомиров 1953: 67].

В полном соответствии с последовательной передачей термина *λεγάτον* как **зядьница** термин *λεγατάριος* передается в Эклоге как **зядьничьникъ** 406, 521 (**причастникъ какъ любѣ или задничникъ** *κληρονόμος οἰοσδέποτε ἢ καὶ λεγατάριος*), 523, *λεγατευθείς* 505. При этом *κληρονόμος* переводится как **наслѣдникъ** (676 и др., всего 25 раз) или **причастникъ** 521². Слово **зядьничьникъ** не засвидетельствовано нигде, кроме Эклоги. Это лишний раз подтверждает, что его не мог внести в текст переписчик: на писца может оказывать давление местный узус, но в данном случае слово, судя по всему, отсутствовало в местном обиходе. В позднейших

² Однажды **зядьничьникъ** ошибочно употреблено в соответствии с *νοτάριος* ‘нотариус’ 413 — переводчик, видимо, понимал внутреннюю форму слова *λεγάτον* — от лат. *lex* ‘закон’ — и соотнес ее с греч. *νόμος* ‘закон’.

списках Эклоги **зѣдънничникъ** заменяется на **(по)наслѣдникъ**. Следовательно, термин **зѣдънничникъ** принадлежит переводчику, который искусственно создал его для передачи $\lambda\epsilon\upsilon\gamma\alpha\tau\acute{\alpha}\rho\iota\omicron\varsigma$ в соответствии с тем, что эквивалентом $\lambda\epsilon\upsilon\gamma\alpha\tau\omicron\nu$ у него служило слово **зѣдъница**.

Еще один русизм появился в Эклоге также вынужденным образом, т. е. из-за того, что переводчик нуждался в специальном термине для передачи греческих синонимов. В греческом тексте различалось приданое, которое жених давал за невесту ($\acute{\alpha}\rho\alpha\beta\acute{\omega}\nu$), и приданое, которое невеста получала от своей семьи ($\pi\rho\acute{\iota}\xi$). Неясно, различались ли эти два вида приданого в древнерусском: слово **вѣно** встречается в Повести временных лет как обозначение приданого, которое жених дает невесте, но отсутствуют контексты, где говорилось бы о приданом, которое невеста получает от отца; отсутствуют они и в древнерусских юридических текстах. Переводчик Эклоги избирает для термина $\acute{\alpha}\rho\alpha\beta\acute{\omega}\nu$ общеславянское слово **вѣно** (110, 111, 112 дважды), у которого значение ‘приданое жениха невесте’ хорошо засвидетельствовано, а термин $\pi\rho\acute{\iota}\xi$ и его производные передает как **пристрога** 153, 159, 161, 166, 167, 171, 172, 179, 184 дважды, 190, 193, 250, 301, 302, 304, 309, 312, 320, 363, 644 или **пристрожнник** 194, 197, 251, 316, 676, **пристрожнны** ($\pi\rho\acute{\iota}\kappa\mu\acute{\alpha}\tau\omicron\varsigma$) 183, **пристроинны** ($\pi\rho\acute{\iota}\kappa\tilde{\omega}\varsigma$ ‘относящийся к приданому’) 151. Слова **пристрога**, **пристрожнник** в значении ‘приготовленные запасы; снаряжение, утварь’ фиксируются только в памятниках, содержащих лексические русизмы; в текстах южнославянского происхождения отмечены лишь **пристрожнник** ‘козни’ в Минее 1096 г. [Срз. II: 1464] и глагол **пристрагати**сѧ ‘соответствовать, согласовываться’ в Пандектах Антиоха³. Однажды **пристрожнник** употреблено в Эклоге как эквивалент греч. $\delta\omega\rho\epsilon\acute{\alpha}$ 325 (в других местах **даръ**). Наконец, еще один русизм **прикроутѧ** используется для обозначения приданого, которое невеста получает от своей семьи, в соответствии с греч. $\pi\rho\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha\tau\alpha$ 854; слово **прикроутѧ**, как и **пристрога**, означает ‘снаряжение’ и в значении ‘приданое’ тоже употребляется только в Эклоге. По-видимому, переводчик искусственно придал это значение двум словам, которые он заимствовал из восточнославянского обихода, поскольку был поставлен перед необходимостью ввести термин для приданого со стороны семьи в отличие от приданого со стороны жениха.

Последняя семья русизмов — **оурядити**сѧ $\sigma\tau\omicron\iota\chi\acute{\epsilon}\omega$ 114, зач. 1.2; **по оуряду** $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\tau\grave{\alpha}$ $\sigma\tau\omicron\iota\chi\eta\theta\acute{\epsilon}\nu\tau\alpha$ 652, **оурядение** $\sigma\tau\omicron\iota\chi\eta\mu\alpha$ 617 — используется для передачи греч. $\sigma\tau\omicron\iota\chi\acute{\epsilon}\omega$ и его производных; для них, впрочем, употребляются и другие эквиваленты — ср. $\acute{\alpha}\sigma\tau\omicron\iota\chi\eta\tau\omega\varsigma$ **без оуречения**, $\sigma\tau\omicron\iota\chi\acute{\epsilon}\omega$ **оуречи** (3 раза) и **съставляти**.

Итак, можно заключить, что Эклога относится к группе памятников, которые переведены южнославянскими переводчиками, но в то же время содержат некоторое количество русизмов, принадлежащих первоначальному переводу. О внесении их в текст писцами при копировании не может быть речи, поскольку они употребляются строго в соответствии с определенными греческими словами и в

³ Речь идет о добродетелях, сочетающихся с целомудрием: **пристрагати**сѧ $\sigma\tau\omicron\iota\chi\eta\mu\alpha$ $\tau\omicron$ **цѣломудрии**, $\tau\grave{\alpha}$ $\acute{\alpha}\rho\mu\omicron\zeta\omicron\upsilon\sigma\alpha\varsigma$ $\tau\grave{\eta}$ $\sigma\omega\phi\rho\omicron\sigma\upsilon\nu\eta$ [Popovski 1989: 36].

определенных терминологических значениях. Гипотеза о древнерусском редакторе, который сверял перевод с греческим текстом и заменял некоторые термины русизмами, едва ли правдоподобна по двум причинам: с культурно-исторической точки зрения, поскольку авторитет южнославянской книжности не позволил бы древнерусскому редактору править первоначальный текст, и с лингвистической точки зрения, поскольку довольно странно было бы со стороны гипотетического редактора заменить несколько слов на русизмы и при этом оставить без исправления огромное количество ошибок и несуразностей, которыми поражает перевод Эклоги.

Перечень ошибок, перечисленных в комментариях Л. Бургманна в его издании Эклоги [Ecloга 2011: 203–263], практически равен по объему тексту самой Эклоги. Переводчик путал греческие слова — например, переводил **дѣлы свѣщаными** δι' ἐνεργῶν συστάσεων 'ясными доказательствами' (ἐνεργῶν смешано с ἔργων) 185, **притажання** ἀγανακτήσεως 'гнева' (смешано с κτήσεως) 101, **ѡ крове** καμάτων 'трудов' (смешано с αἰμάτων) 473, **роуками** 686 χεῖρον 'хуже' (смешано с χερσί); перевод греческого κατάληψιν 'получение' 513, 'понимание' 736 славянским **оставлениѣ** тоже, по-видимому, объясняется тем, что переводчик смешал κατάληψιν с κατέλειψιν, хотя нельзя исключать, что такая ошибка была в рукописи, на которую он опирался. Переводчик не знал латинизмов, которых немало в греческом тексте Эклоги, и часто попросту пропускал их, из-за чего искажался смысл, а иногда и синтаксическая структура фразы.

Синтаксические погрешности в переводе особенно многочисленны. Ошибочно употребляется действительный залог вместо пассивного и наоборот: **ѡтлагающю** переводит ἐκτιθεμένου 'выданного' 159, **написанымъ** — ὑπογράφοντων 'подписавшихся' 369 и т. п. Очень часто неверно употребляются падежи, ср., например, переход от правильного местного к дательному и потом родительному (или снова местному, если исконным является вариант позднейших списков **распущеніахъ**) в заголовке второго титула: **Ѡ брацѣхъ повелѣныхъ и възбраненыхъ, первому и второму написаному [и] распущенія ихъ**, Περί γάμων ἐπιτετραμμένων καὶ κεκωλυμένων, πρώτου καὶ δευτέρου, ἐγγράφου καὶ ἀγράφου, καὶ λύσεως αὐτῶν 'о браках разрешенных и запрещенных, первом и втором, зарегистрированном письменно и незарегистрированном, и об их расторжении' 133–134. Если существительное имеет в оригинале два однородных определения, в переводе определения могут оказаться в разных падежах. В результате перевод содержит множество совершенно невразумительных фраз, как например: **Тремъ [тавѣ] тако свѣщавающимъ межю ими прехѡдающимъ: двѣма [оубо] противу пишющема пристр(о)а точно равноѣ, дрѣгѡму же ѡт мѣжа к женѣ ѡтлагающю**, τριῶν δηλονότι συμβολαίων μεταξύ αὐτῶν προερχομένων, δύο μὲν ἀντισυγγραφῶν τῆς προικὸς ἰσοδυνάμων, τοῦ δὲ ἑτέρου παρὰ τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν γυναικα ἐκτιθεμένου 'при том, что, таким образом, три документа между ними создаются: два соглашения о приданом, имеющие одинаковую силу, и еще один, который муж выдает жене' 157–159 — здесь вместо существительного употреблено причастие **свѣщавающимъ**, определение **равноѣ** не согласуется с **пишющема**, к которому оно относится и вместо которого также

должно было бы использоваться существительное, и, наконец, причастие **угла-гающею** употреблено в действительном залоге вместо страдательного. Смешивается семантика греческих предлогов при управлении разными падежами, например, **μετά** с accusativom передается предлогом **съ**, как если бы предлог управлял генитивом: **съ достъиннымъ гавѣ оудѣнникъмъ**, *μετὰ τὴν πρόσφορον προδήλως ἔξοδον* ‘после явно необходимых расходов’ 503, **с показаникъмъ истины**, *μετὰ ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας* ‘после доказательства истины’ 787; **παρά** с дативом переводится предлогом **отъ**, как если бы он управлял генитивом: **уѣ инѣхъ оврѣтающеиѣмъ судья** (в других списках: **суден**), *παρὰ κοινῶς εὐρίσκομενοι δικασταῖς* ‘находящиеся у одних и тех же судей’ 758.

Низкое качество перевода не позволяет отнести его к симеоновской эпохе, когда в Болгарии выполнялись грамотные переводы, не нарушающие норм славянской грамматики. Зато все перечисленные ошибки, в частности немотивированное употребление дательного падежа вместо родительного, можно найти и в других переводах южнославянского происхождения, содержащих восточнославянские регионализмы. Эта группа переводов, по-видимому, была выполнена южнославянскими переводчиками для древнерусской аудитории, чем и объясняется усвоение отдельных русизмов. Наиболее ранним текстом этой группы, судя по архаичному языку, является Хроника Георгия Амартола, переведенная не ранее последней трети X в., другие тексты — Толковое Евангелие, Толкования Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова, Послание папы Льва Флавиану — датируются концом XI — началом XII в. Переводы этой группы довольно многочисленны и могут быть разделены на несколько подгрупп [Пичхадзе 2011: 51–84]. Ближе всего к Эклоге, пожалуй, стоит Ефремовская кормчая, в которой, как упоминалось, также употребляется русизм **зядьница** для передачи греч. *λεγάτον*. Вот еще несколько нетривиальных схождений Эклоги и Ефремовской кормчей в переводе греческих слов⁴:

Сходства Эклоги с Ефремовской кормчей

Эклога	Ефремовская кормчая
<i>ἀχαριστία</i> неключеник 381, 531 (но <i>ἐξ ἀχαριστιῶν</i> невъзблагодѣтъ 590, <i>ἀχάριστος</i> невъзблагодѣтънын)	<i>ἀχάριστος</i> неключимын , <i>ἀχαρίστως</i> неключимо
<i>γάμος</i> вракъ 17 раз, женитва 4 раза	<i>γάμος</i> вракъ 81 раз, женитва 23 раза
<i>δημιουργέω</i> * сдѣтельствовати (в ркп. свѣдѣтельствовати) 268	<i>δημιουργός</i> сдѣтель , сдѣтельнын
<i>ἐγγράφως</i> написанно 135, 151, 227 и др., ненаписанно <i>ἀγράφως</i> 227, 232	<i>ἐγγράφως</i> написанно
<i>ὡς εἰκός</i> въ правдоу 234 и др. (въ истиноу 439)	<i>ὡς εἰκός</i> въ правдоу
<i>ἔκδικος</i> посъльникъ 632	<i>ἔκδικος</i> съльникъ , посъльникъ
<i>ἐμφύτευμα</i> ‘аренда’ насадити , насаженок , насаженик	<i>ἐμφύτευμα</i> ‘аренда’ насаженик
<i>ἐνεργής</i> дѣтельнын 273	<i>ἐνεργεια</i> дѣтель
<i>ἐνώω</i> въкдинити 268	<i>ἐνώομαι</i> въкдинитиѣ , <i>ἐνότης</i> , <i>ἔνωσις</i> въкдиненик

⁴ Материал Ефремовской кормчей приводится по изданию [Maksimovič 2010].

Эклога	Ефремовская кормчая
κολάζω ПОТОМНИТИ (в ркп. ПОТОПИТИ) 273, ἀνεξέλεγκτος НЕОУГОМЛЕНЪ 46	κολάζω ТОМНЫМИ
πτωχεῖον НИЩИХЪ КЪРМЬНИЦА 696	πτωχεῖον НИЩЕКЪРМЪ <НИ>ЦА
συγκείμενος СЪЛЕЖАНИИ 182	σύνκειμαι СЪЛЕЖАТИ
τέλεσμα СЪВЪРШЕНИИ 'ежегодная плата' 12 дважды и др., ἐντέλεια СЪВЪРШЕНИИ 'то же' 795	συντέλεια СЪВЪРШЕНИИ 'совместная плата, общий взнос'
φροντιστής ПЕЧАЛЬНИКЪ 711	φροντιστής ПЕЧАЛЬНИКЪ

Однако имеются и расхождения, в том числе в передаче терминов:

Эклога	Ефремовская кормчая
ἀγοράζω ИСКОУПИТИ 582, ИСКОУПАТИ 583	ἀγοράζω КОУПИТИ 6 раз
δύας ДЪВОНСТВО 269	δύας ДЪВОННИЦА (дважды)
ἐξάδελφος БРАТОУЧАДЪ 144, 1005	ἐξάδελφῃ БРАТАНА ⁵
ἐπιστήμονες ХУДЪЗИ 68	ἐπιστημόνως ХУТРЪ , ἐπιστήμη ХУТРОСТЬ
κατάλληλος ДОСТОЙНЫИ 37	κατάλληλος ПОДОВЬНЫИ , καταλλήλως ПОДОВЬНО
κουράτωρ СТАРЪНИШНА 544, 553, κουρατορία СТАРЪНИШНЬСТВО 545	κουράτωρ, κουρατορία ТНОУНЪ
προῖξ ПРИСТРОИА , ПРИСТРОКНИИ ; προικμαῖος ПРИСТРОКНЫИ 183, προικῶος ПРИСТРОИНЫИ 151	προῖξ (БРАЧЬНЫИ) ДАРЪ , προικμαῖος ДАРОВЬНЫИ , προικῶος ДАРЪ
τίτλος ЗАЧАТОКЪ 103 и др.	τίτλος ТИТЪЛЪ , КЪНИГЫ
τραχηλιάζω ВЪСТАТИ	τραχηλιάζω ПРОТВИТИСА , τραχηλιάω ГЪРДИТИСА

В 1970-е гг., когда Л. В. Милов писал свою статью о славянской Эклоге, и в 1980-е гг., когда В. М. Живов писал свою работу о языке славянских юридических текстов, и в 2000-е гг., когда он дополнил ее новыми соображениями, считалось, что, если перевод содержит болгаризмы, он выполнен в Болгарии, а если он содержит русизмы — то на Руси. Этим объясняется высокий градус полемики В. М. Живова с Л. В. Миловым, отстаивающим древнерусское происхождение Эклоги. Сегодня представляется, что предмета для непримиримого спора нет: не кажется невероятным, что южнославянский переводчик работал для восточнославянского читателя и использовал в переводе русизмы в тех случаях, когда остро нуждался в терминах, которые отсутствовали в церковнославянской традиции.

Литература

Бодянский 1848 — *О. М. Бодянский*. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царского // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. 1848. № 7. Отд. II. С. XV–XXII, 1–20.

Живов 2002/1988 — *В. М. Живов*. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Разыскания в области истории и предыстории русской культуры.

⁵ Ср. **братаньна** в Хронике Георгия Амартола и Ипатьевской летописи [Срз. I: 167].

М., 2002. С. 187–290 (впервые в: *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman*. Columbus (Ohio), 1988. P. 46–128).

Милов 1976 — *Л. В. Милов*. О древнерусском переводе византийского кодекса законов VIII века (Эклоги) // *История СССР*. 1976. № 1. С. 142–163.

Милов 1980 — *Л. В. Милов*. О древнейшей истории кормчих книг на Руси // *История СССР*. 1980. № 5. С. 105–123.

Милов 1984 — *Л. В. Милов*. Древнерусский перевод Эклоги в кодификационной обработке конца XIII в. // *Вестник МГУ. Сер. 8. История*. 1984. № 3. С. 56–65.

Пентковский 2001 — *А. М. Пентковский*. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.

Пичхадзе 2011 — *А. А. Пичхадзе*. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 2011.

Рајнхарт 2001 — *Ј. М. Рајнхарт*. Ко је моравски краљ Методијевог житија // *Словенско средњовековно наслеђе*. Београд, 2001. С. 541–553.

Райнхарт 2009 — *Й. Райнхарт*. Нумизматическая терминология в Древней Руси: славянское название фальшивомонетчика // *Русский язык в научном освещении*. 17(1). 2009. С. 134–141.

Срз. I–III — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

Тихомиров 1953 — *М. Н. Тихомиров*. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. Репринт. изд.: *Slavica-Reprint Nr. 35*. Düsseldorf; Vaduz, 1970.

Bláhová 1973 — *E. Bláhová*. Nejstarší staroslověnské homilie (Syntax a lexikon). Praha, 1973.

Burgmann 1983 — *Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V.* Hrsg. von Ludwig Burgmann (=Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte. Hrsg. von Dieter Simon. Bd. 10). Frankfurt am Main, 1983.

Ecloga 2011 — *Die slavische Ecloga 2011*. Hrsg. von Jaroslav Nikolaevič Ščapov und Ludwig Burgmann (=Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte. Hrsg. von Okko Behrends im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 23). Frankfurt am Main, 2011.

Maksimovič 2010 — *Das byzantinische Syntagma in 14 Titeln ohne Kommentare in altbulgarischer Übersetzung: Slavisch-griechisches, griechisch-slavisches und rückläufiges (slavisches) Wortregister, zusammengestellt von Kirill A. Maksimovič, herausgegeben von Ludwig Burgmann (=Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 27)*. Halbbd. 1–2. Frankfurt am Main, 2010.

Popovski 1989 — *J. Popovski*. The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription // *Полата књигописњана*. № 23–24. 1989.

Schwartz 1933 — *Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandato Societatis scientiarum Argentoratensis edidit E. Schwartz*. T. II. Vol. I. Pars I. Berolini et Lipsiae, 1933.

Večerka 1993 — *R. Večerka*. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. II. Die innere Satzstruktur (*Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris, XXXIV (XXVII, 2)*) / Unter Mitarbeit von F. Keller und E. Weiher. Frankfurt i Br., 1993.

Anna A. Pichkhadze

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

SLAVONIC TRANSLATION OF THE ECLOGA

Slavonic translation of the *Ecloga*, a selection of Byzantine laws prescribing legal norms for daily life, was made by South Slavs, as the linguistic evidence shows. At the same time the text contains indubitable East Slav lexemes. They could have been inserted into the text neither by East Slav scribes while they correspond strictly to certain Greek legal terms, nor by East Slav editors while a huge amount of mistakes has been left uncorrected. The low quality of the translation contradicts the suggestion that the text might have been translated in Symeonian Bulgaria. Along with that, the same mistakes as those made by the translator of the *Ecloga* can be found in other translations made by South Slavs and containing East Slavic lexemes. The earliest of them is the *Chronicon* of George Hamartolus which cannot antedate 963, other texts — the *Enarrationes in evangelia* by Theophylact of Ochrid, *Scholia in orationes Gregorii Nazianzeni* by Nicetas of Heracleia, Pope Leo I's *Epistola ad Flavianum* — date from the late 11th — early 12th century. The most similar in language to the *Ecloga* seems to be the *Ephremovskaya Kormčaya (Nomocanon XIV titulorum)* translated no later than the early 12th century. The *Ecloga* is probably translated by a South Slav for East Slav readers. The translator used East Slavisms when he needed legal terms missing from Old Church Slavonic.

Keywords: *Ecloga*, Slavonic translations, Old Church Slavonic, Old Russian.

Т. В. Пентковская

*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва, Россия)*

ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО НА ФОНЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ДОМОНГОЛЬСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ГРЕЧЕСКОГО

В работе рассматривается древнейший перевод Жития Василия Нового в лексическом аспекте. Анализируется перевод ряда лексических единиц, релевантных для группировки церковнославянских переводов на основании лексического критерия и особенностей переводческой техники (перевод греч. *κόσμος, μονογενής, ἀκολουθέω, πλήθος, πονηρός, εἰς μάτην, ἕτερος, δῆθεν*; грецизмы, лексические дублеты, особенности в передаче топонимов, значение корня *mblv-*). Полученные данные сопоставляются с данными древнеболгарских переводов, а также с данными группы собственно восточнославянских переводов (Александрии, Жития Андрея Юродивого, Пчелы, Истории Иудейской войны, Студийского устава) и переводов, совмещающих восточнославянские и южнославянские регионализмы (Хроники Георгия Амартола, Пандект Никона Черногорца, Неститского Пролога (Синаксаря), Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского). При преобладании в Житии Василия Нового региональных элементов, характерных для восточнославянских переводов, в памятнике отмечаются черты сходства с переводами, сочетающимися в своем составе исконные русизмы и южнославянские. Обособленное положение этого перевода среди других вызвано его ранним появлением в древнерусской книжной традиции (к. XI в.) и вследствие этого его ориентацией на строгую норму церковнославянского языка, прежде всего на евангельский узус.

Ключевые слова: церковнославянские переводы XI–XIII вв., Житие Василия Нового, греческий оригинал, региональная лексика, переводческая техника.

Начало исследованию переводных памятников в региональном аспекте было положено работой А. И. Соболевского 1883 г. «Особенности древнерусских переводов домонгольского периода». В этой работе были выдвинуты три группы лексических регионализмов, встречающихся в ранних русско-церковнославянских памятниках: 1. общеславянские слова, развившие в древнерусском особые значения (например, **посадьникъ, староста, гривна**); 2. древнерусские локальные

заимствования из других языков (**тнѡѹнѣъ**, **шелкѣъ**, **женьчѡѹгѣъ**); 3. топонимы и этнонимы, неизвестные у южных славян, но бытующие у восточных (**боѹдѣъ**, **обезѣъ**) [Соболевский 1980: 136–137].

Предпринятые А. А. Пичхадзе недавние исследования корпуса переводов домонгольского периода, содержащих лексические русизмы (было проанализировано около 30 памятников), выявили, что по своим особенностям они разделяются на две группы.

Первая группа памятников сочетает в своем составе исконные русизмы с южнославянизмами, к числу которых относится не только лексика, но и реликтовые грамматические формы, в частности форма простого аориста. В эту группу входят такие памятники, как Хроника Георгия Амартола, Житие Феодора Студита, Ефремовская кормчая, Повесть о Варлааме и Иоасафе, Пролог (Синаксарь) и Пандекты Никона Черногорца. Предполагается, что перевод этих текстов мог быть сделан южнославянскими переводчиками «с учетом и под влиянием восточнославянского языкового узуса» [Пичхадзе 2011а: 352].

Другая группа памятников, имеющих лексические русизмы, не содержит лексических южнославянизмов («т. е. слов, не освоенных древнерусским языком и не встречающихся в оригинальных древнерусских текстах» [Пичхадзе 2011б: 5]). Сюда относятся переводы Александрии, Жития Андрея Юродивого, Жития Василия Нового, Пчелы, Истории Иудейской войны, а также Повести об Акире Премудром и цикла из шести Чудес Николая Мирликийского. К этой группе близок Студийский устав. Эта группа переводов «может быть с уверенностью атрибутирована восточнославянским переводчикам» [Пичхадзе 2011а: 350].

В то же время было отмечено, что Житие Василия Нового (далее — ЖВН) и Чудеса Николы стоят особняком среди переводов второй группы. Неясность положения древнейшего перевода ЖВН во многом связана с недостаточной изученностью этого источника [Там же: 351]. Это обстоятельство делает необходимым настоящее исследование лексического состава данного памятника, которое позволит детализировать особенности его переводческой техники и уточнить его место среди переводов домонгольского периода.

Греческий текст ЖВН был создан во второй половине X в. в Константинополе. Его составление приписывается некоему Григорию, ученику св. Василия Нового, от лица которого ведется повествование¹. Известно два перевода данного жития, старший из которых восходит к домонгольскому периоду, а второй появляется в XIV в. у южных славян [Вилинский 1913].

В языке древнейшего славянского перевода ЖВН представлены различные хронологические пласты лексики. Так, один раз здесь зафиксирован характерный для древних памятников архаичный способ перевода греч. *κόσμος* как **вьсь мирѣъ**:

¹ Краткое содержание жития и его композиционные особенности, а также основные работы, посвященные этому тексту, см. в [Православная энциклопедия VII: 210–212]. Далее греческий текст жития цитируется по списку афонского монастыря Dionisiou XIV в. (далее — D), который лучше всех сохранившихся списков отражает особенности оригинала древнейшего славянского перевода [Пентковская 2004].

E162² **Ѡ сложенїа всего мїра** (115a) — D187 $\pi\rho\acute{o}$ καταβολῆς κόσμου (f. 99). Приспособление этого словосочетания для передачи греч. κόσμος связывают с изначальным влиянием контекстов, содержащих в греческом соответствие местоимению *весь* — κόσμον (τὸν ὅλον / ἅπαντα [Йовчева 2014: 136]).

Как и в старших редакциях богослужебных книг, прилагательное *μονογενής* здесь переводится лексемой **Ѡдиночадын** (отмечено 6 случаев такой передачи). Преобладает, однако, более поздний вариант **Ѡдинородьнын**, свойственный так называемым правленным редакциям богослужебных книг XIV в. (22 случая). По всей вероятности, это варьирование является свидетельством правки, которой текст древнейшего перевода ЖВН мог подвергаться при его обращении в книжной среде на протяжении нескольких веков. Существуют и другие следы такой правки: чтение E162 **на хрепѣоу**, также свойственное древним редакциям богослужебных книг, заменяется в других списках чтением **на плещѣоу**, характеризующим язык правленных редакций XIV в. [Пентковская 2004: 82].

В другом случае в тексте ЖВН обнаруживается варьирование двух способов перевода глагола ἀκολουθέω (а также однокоренных приставочных глаголов), управляющего в ряде случаев дат. беспредложным. Вариант **послѣдовати** с дат. беспредложным, характерный для правленных редакций богослужебных текстов, отмечается в следующих случаях: 41г, 19 **послѣдоваше ми** (ἐπηκολούθη μοι); 76в, 4 **послѣдовахоуѣть емоу** (κατηκολούθουν αὐτῷ) — в прямом значении глагола движения; за пределами этого типа контекстов отмечается еще 143в, 13 **х(ѣ)ви послѣдоваша** (Χριστῷ ἀκολοῦθήσαντες); 185г, 21 **г(ѣ)ви послѣдовавшѣ** (τῷ Κυρίῳ ἐπακολοῦθήσαι); 187а, 24 **е҃҃а(г)ю послѣдѣть** (τῷ εὐαγγελίῳ ἐπακολοῦθήσει); 204б, 15 **послѣдова прп(д)вномѣ ѡ҃цѣ** (ἐπεκολούθησε τῷ ὁσίῳ πατρὶ). Наряду с этим отмечаются сочетания, не совпадающие с греческой моделью, характерные для ранних редакций и переводов: 35г, 20 **въ слѣдѣ мене иде** (ἠκολούθησέ μοι); 70г, 25 **иже въ слѣдѣ его идѣхоу** (τοῖς ἀκολουθοῦσιν); 76а, 3 **по слѣдоу его идѣше** (ἠκολούθει); 31в, 20 **въ слѣдѣ мене гредеть** (ἀκολοῦθήσά μοι)³. Такое варьирование составляет часть переводческих принципов славянского текста ЖВН и свидетельствует о том, что варианты, обобщенные в качестве основных в так называемых правленных редакциях, вырабатывались в период, предшествующий редакции конца XIII — начала XIV в., и существовали в более раннюю эпоху наряду с другими средствами передачи определенной греческой лексемы или конструкции. Тенденция к преимущественному переводу рассмотренной модели глаголом **послѣдовати** засвидетельствована уже в Толковом Евангелии Феофилакта Болгарского [Федорова 2012: 72; 2013а: 138].

В то же время в древнейшем переводе ЖВН реализованы некоторые принципы, ставшие актуальными для переводов более позднего периода. Так, греческое τὸ

² Текст древнейшего славянского перевода цитируется по рукописи РГБ, Егор. 162 (XVI в.).

³ Словосочетания используются и в других случаях, например при передаче глаголов с приставкой про-: 124в, 13 **предѣ нѣхъ идѣше** (προεπορεύετο αὐτῶν); 167б, 21 **прѣ(д) вами идѣше** (ὁμῶν προεξερχόμενῃ). Такой подход совпадает с переводческой практикой Пролога-Синаксаря (ср. [Прокопенко 2011: 678]).

πλήθος ‘народ, толпа’ передается здесь как **множество**, а не **народъ**, что было характерно, в частности, для ранних редакций богослужебных книг⁴. Тот же принцип последовательного перевода τὸ πλήθος словом **множество** соблюден и в Прологе-Синаксаре, **народъ** здесь передает греч. ὄχλος [Славяно-русский Пролог II: 605]. Подобное разграничение проводится и в Толковом Евангелии Феофилакта Болгарского [Федорова 2013б: 184].

Такой перевод этой лексемы характерен для правленных редакций богослужебных книг XIV в., в частности для афонской и Чудовской редакций Нового Завета [Христова-Шомова 2004: 787; Пентковская 2009: 12].

Для древнейшего перевода ЖВН характерна регулярная передача корня повнр-корнем **лоукав-** (в частности, прилагательное **лоукавын** отмечается 42 раза; **лоукавыныи** — 26 раз). Корень **зъл-** используется для перевода повнр- лишь в семи случаях, обычно словами с этим корнем переводятся другие лексемы (особенно часто **какобс, деинобс, халебос**).

Подобная ситуация характерна для Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского: при варьировании лексем **зълыи** и **лоукавын** преобладает (особенно в толкованиях) последний вариант [Федорова 2011: 547].

Вариант **ажкав-** в соответствии с повнр- встречается, в частности, в богослужебных текстах как древней, так и преславской редакций, но именно в правленных редакциях богослужебных книг наблюдается его экспансия и однозначное закрепление за соответствующим греческим корнем [Пентковская 2009: 43].

Напротив, не встречается в древнейшем переводе ЖВН характерное преславское прилагательное **проныривыи**, которое обладает высокой частотностью в Супрасльском сборнике и которое в более поздний период в ряде случаев используется для передачи повнрбс в Чудовской редакции Нового Завета [Там же: 37–39]. Лишь один раз зафиксировано в ЖВН производное существительное **пронырество** ‘лукавство, коварство’: 49г, 10 **пронырество** (D какоуруίαν). Эта лексема отмечается в Изборнике 1076 г., несколько раз — в Пандектах Никона Черногорца, в Палее по списку 1406 г., а также в оригинальных русских памятниках (см. [СДРЯ XI–XIV, IX: 111]; здесь по различным источникам насчитывается 19 употреблений). Она зафиксирована также в трех списках Чудовской редакции Нового Завета в Mk 7: 22 в соответствии с греч. повнрiα [Пентковская 2009: 38–39].

Стремлением к точному, однозначному соответствию словоформ объясняется устойчивый перевод выражения εἰς μάτην наречием **вѣсоуѣ** (12б, 10; 13б, 2; 35а, 17), см. также **всѣε μάτην** (168а, 5). Такой же перевод для μάτην выбран в древнейшей редакции Нового Завета, он же отражен частью преславских источников (однако сербские полные апракосы дают вариант **вез оума**), а также в афонской и Чудовской редакциях [Пентковская 2009: 27–28]. При этом в ЖВН не встречается его

⁴ В одном случае в пределах фразы находятся оба варианта: **маломъ хлѣбомъ посредѣ васъ народъ толико множество насытихъ** (161в–г) — Οὐκ ὀλίγοις ἄρτοις ἐν μέσῳ ὑμῶν περιουσιῶν τοσαῦτα πλήθη ἐκόρεσα (f. 144v). Возможно, это результат редактуры с последующим внесением в основной текст варианта, бывшего на полях.

синоним **тѡѳне**, употребляющийся, в частности, в различных редакциях Нового Завета в соответствии с синонимичными наречиями $\delta\omega\rho\epsilon\acute{\alpha}\nu$ и $\epsilon\acute{\iota}\kappa\eta$, а также архаичные варианты **ашють** и **спыти** (ср. [Там же: 26–30]).

Для языка древнейшего перевода ЖВН характерно варьирование грецизма и его славянского эквивалента, что, по всей вероятности, не является результатом правки. Не указывает эта черта и на работу нескольких переводчиков, так как невозможно четко выделить участки текста, где встречался бы только один вариант: синонимичные лексемы перемежаются в тексте. Употребление синонимичных лексем, одна из которых является грецизмом, а другая — его славянским соответствием, представляет собой часть переводческой манеры и может быть обусловлено контекстом. Так, в переводе встречаются два варианта передачи греч. $\mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\varsigma$: основным вариантом является грецизм **митрополиа**: 126а, 25 **къ митропольи** ($\pi\rho\delta\varsigma\ \tau\eta\nu\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\nu$); 126г, 11 **въ мѣтрополїю** ($\epsilon\pi\iota\ \tau\eta\nu\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\nu$); 127а, 5 **къ митрополїи** ($\pi\rho\delta\varsigma\ \tau\eta\nu\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\nu$); 163б, 19 **ѡ митрополїа** ($\tau\eta\varsigma\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\epsilon\omega\varsigma$); 186в, 25 **в митрополїи** ($\epsilon\nu\ \tau\eta\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\epsilon\iota$). В тех случаях, когда значение слова актуализировано контекстом, используется описательный вариант, калькирующий состав греческого слова: 99а, 19 **гра(д) вышьнїи мѣи** ($\pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma\ \eta\ \acute{\alpha}\nu\omega\ \mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\varsigma$); 118г, 11 **мѣи градъмъ** ($\mu\eta\rho\acute{\upsilon}\rho\omicron\lambda\iota\varsigma$). Греч. $\acute{\alpha}\rho\omega\mu\alpha$ один раз передается лексемой **ароматъ** — 63б, 19 **ароматы** (D 59 $\acute{\alpha}\rho\omega\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$), но в другом случае в соответствии с этим словом находится **воня**: 110в, 3 **с вонями** (D 95 $\pi\epsilon\pi\lambda\eta\rho\omega\mu\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota\ \acute{\alpha}\rho\omega\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$ ‘[сосуды] наполненные благовониями’); лексема **воня** переводит и другие греческие слова (в частности, $\delta\sigma\mu\acute{\eta}$, $\pi\nu\omicron\eta$, $\delta\upsilon\sigma\omega\delta\acute{\iota}\alpha$). Варьируются также лексемы **икона** — **образъ** (в значении ‘икона’): $\epsilon\acute{\iota}\kappa\omicron\nu\alpha$ **икона** (9х) : **образъ** (7х), причем варьирование может наблюдаться в пределах одной фразы во избежание повтора. Подобное синонимическое варьирование, в том числе и пары **икона** — **образъ**, характерно, в частности, для перевода Пролога-Синаксаря [Пентковская 2003: 132–135; Лосева 2009: 35–39; Прокопенко 2011: 679].

Вообще, лексические грецизмы в древнейшем переводе ЖВН встречаются нечасто, и все они (за редким исключением, см. ниже топоним **кънигы**) представляют собой слова, вполне освоенные церковнославянским языком [Вилинский 1913]. Такое отношение к грецизмам свойственно переводу Пролога-Синаксаря [Прокопенко 2011: 673]⁵.

Разный подход обнаруживается и при переводе топонимов. Большая часть константинопольских топонимов транслитерируется: 195а, 20 **въ глѣцїиса книги** ($\epsilon\nu\ \tau\hat{\omega}\ \lambda\epsilon\gamma\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\ \text{Κυνηγίω}$)⁶; 12а, 14 **противоу акрополи** ($\acute{\alpha}\nu\tau\iota\kappa\rho\upsilon\varsigma\ \acute{\alpha}\rho\omicron\lambda\omicron\lambda\epsilon\omega\varsigma$); 19в,

⁵ Перевод Пролога-Синаксаря объединяют с ЖВН и некоторые другие особенности, в частности наличие конструкции **такѡ ми** + им. п. или род. п. ‘клянусь чем-л. (кем-л.)’ [Прокопенко 2011: 670; Пентковская 2012: 245]. Впрочем, та же конструкция неоднократно отмечается в языке древнейшего перевода Жития Андрея Юродивого, а также в Житии Феодора Стратилата (сердечно благодарю А. А. Пичхадзе и Л. В. Прокопенко за указания на контексты из этих памятников).

⁶ О топониме Κυνηγίον см.: [Janin 1950: 190].

16 **въ аркадіанѣ мѣстѣ** (ἐν τοῖς τὰ Ἀρκαδιανὰς τόπου)⁷; 27а, 14 **въ аркадианѣ** (ἐν τοῖς τὰ Ἀρκαδιανὰς); 90а, 2 **въ аркадіанѣ** (εἰς Ἀρκαδιανὰς); 72б, 20 **къ аркадневоу** (εἰς Ἀρκαδιανὰς); 27б, 2 **нїже амастриана капица** (κατωτέρω τοῦ Ἀμαστριανοῦ... ζώδου)⁸; 48г, 10 **къ цркви ч(с)тныа влахернѣ** (ἐπὶ τὸν ναὸν τῶν τιμίων Βλαχερνῶν).

В противоположность этому, всегда переводится топоним, обозначающий Форум Тавра (Forum Tauri), перевод которого совпадает с переводом другого названия — ὁ Βοῦς (Forum Bovis)⁹: 27б, 1 **въ... волоуемѣ торгоу** (εἰς τὰ τοῦ... Βοῦς); 27в, 15 **въ камарѣ на волоуимѣ торгоу** (ἐν τῇ καμάρᾳ τοῦ Βοῦς); 27г, 2 **волоуа торгоу** (τὸν... Ταύρου); 28б, 18 **въ... волоуимѣ торгоу** (ἐν τῷ... Ταύρω). Возможно, это следствие недостаточного знания переводчиком константинопольских реалий (ср., однако, название **Стегерѣ**) или же следствие обычно одинаковой передачи славянами соответствующих греческих нарицательных существительных. Кроме того, топоним ὁ Βοῦς переводится как **волоуи тѣргѣ** в ЖАЮ, ХГА, Прологе-Синаксаре [Срезневский I: 296; Пентковская 2003: 126].

При наличии соответствующих нарицательных существительных или прилагательных переводятся и другие топонимы: 5а, 24 **визъ златыхъ вратѣ** (πλησίον τῆς Χρυσῆς Πόρτης); 10б, 16 **вънннн первыми враты. нже са наричють мѣданаа** (τοῦ εἰσεῖναι ἀπὸ τῆν πρώτιστον πύλην, ἥν περ Χαλκὴν προσαγορεύουσιν).

В одном случае обнаруживаются два варианта передачи гидронима (сначала его название дано по-славянски, а затем по-гречески), обусловленные контекстом: **ластовица рѣка. хелидонѣ рѣка** (38а) — Χελιδὼν ὁ ποταμὸς, далее только **хелидонѣ рѣка** (38а). Такое дублирование имени собственного оправдано самим сюжетом эпизода, в котором молитвы св. Василия спасают человека от смерти в реке с течением быстрым, как полет ласточки.

В целом, подход переводчика к передаче топонимов можно назвать рациональным: он не пытается дать полный перевод названий, с одной стороны, и не стремится последовательно транслитерировать названия — с другой. Не прибегает он и к описательному переводу, чтобы пояснить реалию, возможно, неизвестную как переводчику, так и его читателям, как это могло бы быть в случае типа Κωνήγιον — **кънигы**. Это отношение отличается, например, от отношения переводчика (переводчиков?) Пролога-Синаксаря, где прослеживается тенденция переводить иноязычные названия [Прокопенко 2011: 677].

При основных характеристиках, которые перевод ЖВН разделяет с переводами так называемой 2-й группы (по А. А. Пичхадзе), существуют некоторые черты, сближающие перевод ЖВН с переводами первой группы, т. е. сочетающимися в себе южнославянизмы и русизмы¹⁰.

⁷ Форум Аркадия [Janin 1950: 75–76].

⁸ Forum Amastrianum (τοῦ Ἀμαστριανοῦ, τὰ Ἀμαστριανοῦ) [Janin 1950: 72–74].

⁹ Об этих названиях см.: [Janin 1950: 69–71, 74–75].

¹⁰ Частично данное сходство уже отмечалось в исследованиях: о лексических сближениях ЖВН и Хроники Георгия Амартола см. [Пентковская 2002; 2003: 130].

1. В древнейшем переводе ЖВН имеются двойные чтения¹¹, которые могут быть интерпретированы как переводческие дублеты, поскольку они наличествуют более чем в одном списке:

ЕДИНЪ НѢКТО Ѡ СТРѢЛЕЦЪ (10г, 9) — τοῦ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν (f. 10v);

ГЛ҃ХЪ ЖЕ АЗЪ К НЕМЪ. ГИ МОН. или КОЛИ КОГДА ПРЕИМОУТЬ ГРАДА СЕГО ЦР(С)Т-ВОЮЩАГО (79г) — ср. D187 λέγω αὐτὸς πρὸς αὐτόν· κύριέ μου, κύριε, μήποτε καὶ παραλείπονται τήνδε τὴν πόλιν τὴν βασιλεύουσαν (f. 68v);

ЕГДА ЖЕ ВЪЗЪПНВИШИМЪ ВНЕЗАПОУ ИСПОРВА. ПРЕСЛАВНЫМЪ УНѢМЪ ПТИЦАМЪ (118б) — ἐν τῷ κεκραγῆναι αἰφνης τὰ παράδοξα ἐκεῖνα τὰ στρουθία (f. 102);

И СЕ ДРОУГОЕ СОМНИЩЕ ѠЛОУЧИСА Ѡ ШОУАА СТРАНЫ ЧАСТИ. И ТИ СТАША УСОБЬ СЕБЕ (138б) — ἀπὸ τῆς ἐξ εὐωνύμου ἐκεῖνης μερίδος (f. 122);

БѢСТА ПРЕЖЕ УЧИ ЕГО КРАСНѢ. И(Ж) ВЪ ВРЕМЯ ТО ѠННОУДЪ ИСКАЖИСТАСА. ТАКОЖЕ ПРЕЖЕ НЕРЕМІА ДРЕВЛЕ РЫДАША ПО ИЪЛН. ТАКОЖЕ И СНИ ЗА ХРЕ(С)АНЫ (82б) — в D187 отсутствует.

Подобные примеры двойных чтений были выявлены в ряде переводов, принадлежащих к 1-й группе: в Повести о Варлааме и Иоасафе, в Житии Феодора Студита, в Беседах на Шестоднев Севериана Гавальского, где они интерпретируются как принадлежащие переводчикам [Пичхадзе 2011а: 76–77].

Возможно, впрочем, что эти синонимические варианты в ЖВН появляются в результате более поздней правки текста, когда прежний вариант не устраняется, а сохраняется рядом с новым (например, перенесенным при копировании с полей). Такие слитные чтения (conflatio) являются показателем смешанного текста и хорошо известны в славянской литургической традиции. Например, в Мстиславовом евангелии в Мф 6: 32 читается **всѣхъ бо сихъ страны и языци ищють**, что является соединением двух славянских способов перевода греч. ἕθνος [Алексеев 1999: 50; Христова-Шомова 2004: 699]. Слитные чтения были выявлены Т. И. Афанасьевой в Литургии Преждеосвященных Даров: (1) **на скрижали вроучивъ : на дъскахъ каменныхъ вроучивъ : на дъскахъ скрижали вржчивъ** — πλάκας χειρίσας; варианты **скрижаль** и **дъска каменная** являются разными переводами одного греческого слова πλάξ ‘каменная доска, плита’, третий вариант представляет собой контаминацию двух предыдущих с пропуском прилагательного; (2) **ты : самъ : ты самъ** — αὐτός; чтение **ты самъ** является результатом сохранения раннего перевода для αὐτός **ты** и более поздней нормы **самъ**, характерной для южнославянских рукописей с начала XIV в.; подобное чтение неоднократно встречается в литургии и в других богослужебных текстах [Афанасьева 2004: 80; 2015: 42; Христова-Шомова 2004: 626]. Сходные процессы изменения лексической нормы могли вызвать к жизни появление чтения **часть при страна**.

2. К числу неточностей древнейшего перевода ЖВН принадлежит передача частицы δῆθεν ‘будто бы на самом деле (когда утверждается нечто мнимое), по-видимому, якобы’ наречием **злѣ: самона же разоумѣвъ. коеа ради вины таковаа**

¹¹ О практике двойных чтений в славянской книжности см., в частности: [Чернышева 2012: 119–138].

прп(д)внын рє(ч) посрамисѧ ѿ пре(д)столицихъ. тако злѣ хоулившю его. разгорѣсѧ яростью и гнѣвомъ (4а) — Ὁ δὲ Σαμωνᾶς, γνοὺς τὸ δι' ἣν αἰτίαν αὐτῷ τὰ τοιαῦτα ὁ ὄσιος εἰρήκει, ἀίσχυνθεὶς καὶ διὰ τοὺς παρεστηκότας, ὡς δῆθεν ἐνύβρισεν αὐτόν, ἐκκαυθεὶς τῷ θυμῷ καὶ τῇ μῆνει (f. 4–4v).

Этот ошибочный перевод обнаруживается также в Толковом Евангелии и Толкованиях на Песнь Песней — последний текст известен на Руси уже во второй половине XII в. [Пичхадзе 2013: 251].

3. Древнейший перевод ЖВН отчасти сближает с переводами первой группы употребление (однократное) местоимения **етерьъ** в соответствии с ἕτερος: **кѣ етерору нѣкѣоѣмоу мироу** (95г) — ἐπὶ ἕτερον ὡσαυεὶ τόπον (f. 81). Эта черта свойственна Хронике Георгия Амартола, Повести о Варлааме и Иоасафе, Христианской топографии Козьмы Индикоплова, а также подгруппе толковых переводов [Пичхадзе 2011а: 73–74]. В более поздний период систематическое употребление **етерьъ** в соответствии с ἕτερος характеризует Чудовскую редакцию Нового Завета [Пентковская 2009: 30–37]. Однако, в отличие от этих памятников, за пределами данного фрагмента это местоимение не встречается. Для передачи местоимения τις здесь используется лексема **нѣкыи**, а местоимения **инъ(-ын)** и **дрѹгъ(-ын)** используются для передачи как ἄλλος, так и ἕτερος. Ситуация, отраженная в ЖВН, близко подходит к ситуации Пчелы, входящей во 2-ю группу переводов, в которой **етерьъ** в соответствии с ἕτερος зафиксировано дважды на фоне обычного перевода этой лексемы местоимениями **инъ** и **дрѹгын** [Там же: 220]. В противоположность данному словоупотреблению, в Истории Иудейской войны **етерьъ** дважды употреблено в значении ‘некоторый’. В остальных переводах 2-й группы оно не встречается, а его единичные употребления в летописных текстах (только в Суздальской летописи) позволили А. А. Пичхадзе заключить, что для русской книжности это церковнославянизм [Там же: 245].

4. Корень *тъlv-*, континуанты которого расходятся по значению в южно- и восточнославянских диалектах (‘шуметь’ vs. ‘говорить’), представлен в древнейшем переводе ЖВН только со значением ‘волнение, мятеж’: **смѣщеніе многомолвное** (198а) — *τάραχος πολυθόρυβος* (f. 178v); **молвоу творацие** (50б) — *θουρυβομένων*; **молвѣ творитъ** (196г) — *θουρβεῖται*. В вербальном значении производные от этого корня частотны в переводах 2-й группы, в этом же значении они встречаются и в ряде переводов 1-й группы (толковые переводы, Хроника Георгия Амартола). Однако в Хронике Георгия Амартола у слов с этим корнем преобладает значение ‘волнение, мятеж’, обычное и в памятниках болгарского происхождения [Там же: 137–138]. Передача *θόρυβος* и *θουρβεῖω* лексемами с корнем *тъlv-* сближает древнейший перевод ЖВН с переводом Хроники Георгия Амартола и Повестью о Варлааме и Иоасафе; напротив, в переводах 2-й группы такая передача не встречается. В этом проявляется одновременно и ориентация ЖВН на евангельский узус, где такая передача обычна. В переводах 2-й группы чаще других слово *θόρυβος* переводится как **гълка**, а в памятниках подгруппы Хроники Георгия Амартола лексема **гълка** вообще не встречается [Там же: 162]. В ЖВН слово **гълка** употребляется в соответствии с ἀχλύς ‘мрак, тьма’ (55а, 9, D f. 50) — ошибочно вместо ὄχλος ‘толпа, сборище’(?).

Пункты 3 и 4 демонстрируют частичное сходство древнейшего перевода ЖВН с переводами обеих групп (сближающим со 2-й группой фактором является однократность употребления *ѣтеръ* и наличие лексемы *гълка*). Промежуточное положение ЖВН объясняется, вероятно, его более ранним происхождением по сравнению с переводами 2-й группы и ориентацией на строгую церковнославянскую норму, прежде всего на евангельский узус.

Таким образом, в древнейшем переводе ЖВН преобладают региональные элементы, характерные для переводов, выполненных восточными славянами. Все переводы этой группы сделаны разными переводчиками ([Пентковская 2002; 2003]; ср. [Пичхадзе 2011а]). При этом древнейший перевод ЖВН, в основном разделяя черты, свойственные переводам 2-й группы в целом, имеет ряд особенностей, сближающих его с переводами 1-й группы, а кроме этого, обладает и индивидуальными характеристиками. Отдельное положение этого перевода среди других вызвано его ранним появлением в древнерусской книжной традиции (кон. XI в.) и вследствие этого его ориентацией на строгую норму церковнославянского языка (в чем он сближается с переводом Пчелы). Эти данные согласуются с синтаксической характеристикой перевода ЖВН — его ориентацией на стандартные церковнославянские синтаксические средства.

Литература

- Алексеев 1999 — *А. А. Алексеев*. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
- Афанасьева 2004 — *Т. И. Афанасьева*. Славянская литургия Преждеосвященных Даров XII–XIV вв. Текстология и язык. СПб., 2004.
- Афанасьева 2015 — *Т. И. Афанасьева*. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.). М., 2015.
- Вилинский 1913 — *С. Г. Вилинский*. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 1. Исследование. Одесса, 1913.
- Йовчева 2014 — *М. Йовчева*. Старобългарският служебен миней. София, 2014.
- Лосева 2009 — *О. В. Лосева*. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII — первой трети XV в. М., 2009.
- Пентковская 2002 — *Т. В. Пентковская*. Древние славянские переводы особой группы константинопольских житий: сходства и различия // Аванесовские чтения. Тезисы докладов. М., 2002. С. 215–218.
- Пентковская 2003 — *Т. В. Пентковская*. Лексический критерий в изучении древнеславянских переводов: проблемы локализации и группировки // Русский язык в научном освещении. № 1 (5). 2003. С. 124–140.
- Пентковская 2004 — *Т. В. Пентковская*. Житие Василия Нового в Древней Руси: проблемы оригинала и перевода // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. № 1. 2004. С. 75–96.
- Пентковская 2009 — *Т. В. Пентковская*. К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIV веке: Чудовская редакция Нового Завета. М., 2009.

Пентковская 2012 — *Т. В. Пентковская*. Древнейший перевод Жития Василия Нового и Нестишной Пролог // Сборник в чест на Хайнц Миклас. Кирило-Методиевски студии. Т. 21. София, 2012. С. 245–254.

Пичхадзе 2011а — *А. А. Пичхадзе*. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 2011.

Пичхадзе 2011б — *А. А. Пичхадзе*. Языковые особенности переводных памятников письменности XI–XIII вв., содержащих восточнославянские лексические элементы. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2011.

Пичхадзе 2013 — *А. А. Пичхадзе*. Лингвистические особенности славянских толковых переводов XI–XII вв. // XV Международный съезд славистов. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. М., 2013. С. 246–265.

Православная энциклопедия VII — *П. И. Жаворонков, Т. В. Пентковская, И. В. Дергачева, А. А. Турилов, Э. В. Шевченко*. Василий Новый // Православная энциклопедия. Т. VII. М., 2009. С. 201–212.

Прокопенко 2011 — *Л. В. Прокопенко*. Характеристика перевода Синаксаря (по данным за сентябрь–февраль) // Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь. Сентябрь–февраль. Т. II. Указатели. Исследования. М., 2011. С. 665–689.

СДРЯ XI–XIV, I–X — *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*. Т. 1–10. М., 1988–2013–.

Славяно-русский Пролог II — Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь. Сентябрь–февраль. Т. II. Указатели. Исследования. М., 2011.

Соболевский 1980 — *А. И. Соболевский*. Особенности древнерусских переводов домонгольского периода // А. И. Соболевский. История русского литературного языка. Л., 1980. С. 134–147.

Срезневский I–III — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Репринтное издание. Т. I–III. М., 1989.

Федорова 2011 — *Е. В. Федорова*. Лексические особенности Толкового Евангелия от Марка Феофилакта Болгарского // XVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» (МГУ). Тезисы докладов. М., 2011. С. 547–548.

Федорова 2012 — *Е. В. Федорова*. О редакциях первого перевода Толкового Евангелия от Марка Феофилакта Болгарского // II Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Труды и материалы. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова. 21–24 марта 2012 г. М., 2012. С. 71–72.

Федорова 2013а — *Е. В. Федорова*. О синтаксических особенностях первого перевода Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (53). 2013. С. 138–139.

Федорова 2013б — *Е. В. Федорова*. Особенности лексического состава древнейшего перевода Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. № 4. 2013. С. 182–190.

Христова-Шомова 2004 — *И. Христова-Шомова*. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. I. София, 2004.

Чернышева 2012 — М. И. Чернышева. Этимологические опыты в древнерусской книжности // Славянское и балканское языкознание. Палеославистика. Слово и текст. М., 2012. С. 120–138.

Janin 1950 — R. Janin. Constantinople byzantine: développement urbain et répertoire topographique. Istanbul, 1950.

Tatiana V. Pentkovskaya
Lomonosov Moscow State University
(Moscow, Russia)

**THE LIFE OF BASIL THE YOUNGER IN COMPARISON
WITH THE LINGUISTIC DIVISION OF THE PRE-MONGOL
TRANSLATIONS FROM GREEK**

This paper examines the elder translation of the Life of St. Basil the Younger in the lexical aspect. The focus of attention is the translation of some lexical units that are relevant for the division of the Church Slavonic translations on the basis of lexical criterion and of the features of the translation techniques, such as the translation of certain Greek words (κόσμος, μονογενής, ἀκολουθέω, πλῆθος, πονηρός, εἰς μάτην, ἕτερος, δῆθεν), Greek borrowings, lexical doublets, the specificity of the transfer of the place names, the meaning of the root *mblv-*. The obtained data are compared with the data of the Old Bulgarian translations and also with the data of the group of the East Slavonic translations (such as the *Alexandria*, the Life of St. Andrew the Fool, the *Pčela*, the *History of the Jewish war*, the *Typikon* of Alexios the Studite), as well as with the data of the group of the translations combining East Slavic and South Slavic regionalisms (such as the Chronicle of George Hamartolos, the *Pandektes* of Nikon of the Black Mountain, the Prologos-Synaxarion, the commentaries on the Gospels of Theophylact of Bulgaria). Together with the predominance of the regional elements in the Life of Basil the Younger, typical for the East Slavic translations, one can also find similarities with the translations, combining East Slavonic and South Slavonic elements in their structure. The specific position of this translation among the others is determined by its early appearance in the Old Russian literary tradition (the end of the 11th century) and, as a consequence, by its orientation to the strict Church Slavonic standard, especially on the New Testament usage.

Keywords: Church Slavonic translations of the 11th–13th centuries, Life of Basil the Younger, Greek original, regional vocabulary, translation techniques.

Т. И. Афанасьева

*Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург, Россия)*

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ КОНЦА XIV В.*

В статье представлен корпус русских переводов, которые, по мнению автора, были сделаны в Константинополе в конце XIV в., в смутный период Русской митрополии, когда митрополичья кафедра переходила из рук в руки разных претендентов. Частые миссии в Константинополь и многомесячное пребывание там в ожидании судов и аудиенций у патриарха предоставляли возможность русским книжникам, таким как Феодор Симоновский и иеромонах Иларион, делать переводы интересующих их текстов, прежде всего, редких молебных канонов и молитв, принадлежащих патриарху Филофею и Иоанну Мавроподу. Видимо, в это же время был сделан перевод патриаршего требника, однако этот перевод остался анонимным. Русское происхождение перевода доказывается на основании лингвистических данных.

Ключевые слова: церковнославянский язык XIV века, русские переводы с греческого, Феодор Симоновский и иеромонах Иларион как русские переводчики.

Изучение переводческой деятельности в Древней Руси — одно из фундаментальных направлений в палеославистике и истории русского языка. Эта проблема была впервые поставлена А. И. Соболевским, и им же были прослежены этапы переводов в Древней Руси и у южных и западных славян [Соболевский 1900; 1910]. Благодаря его работам были сформулированы принципы выделения моравских и древнерусских переводов из всего славянского переводческого наследия, а также были описаны языковые особенности переводов Геннадиевского кружка и книжников, сотрудничавших с Максимом Греком [Соболевский 1903: 38–279].

Однако от внимания А. И. Соболевского ускользнул вопрос о русских переводах в Московской Руси конца XIV в., т. е. того времени, который им же был назван периодом второго южнославянского влияния [Соболевский 1980: 147–158]. Именно в это время коренным образом меняется русское письмо: происходит переход к полууставу, а в орфографии появляется значительное число южнославянских написаний. В это время существенно обновляется корпус славянской переводной

* Статья написана при финансовой поддержке РФГФ, грант 14-04-00150а.

литературы. Список произведений, переведенных и отредактированных у южных славян в XIV в., весьма внушительен, даже несмотря на то, что некоторые произведения в результате исследований XX в. были исключены из переводов XIV в. [Турилов 2012: 556–583]. Это богослужебные книги, толкования на Св. Писание и святоотеческую литературу, богословские и полемические сочинения. Однако среди новых переводов имеются несомненно русские, занимающие весьма скромное место среди южнославянских. Эти произведения не попали в круг текстов, описанных А. И. Соболевским, и до сих пор не входили в сферу интересов историков русского языка.

Выделить русские переводы конца XIV в. из массы южнославянских можно по двум основным критериям. Первый — это несомненное русское происхождение переводчика, второй — наличие в тексте лексических регионализмов (русизмов). Для древнерусских переводов домонгольского периода первый способ был невозможен, потому что имена переводчиков до нас не дошли. Что касается переводов периода второго южнославянского влияния, то такие имена назвать можно — это игумен Симонова монастыря Феодор и некий священномних Иларион.

Святитель Феодор Симоновский

Феодор Симоновский происходил из ростовских бояр, его отец Стефан, родной брат Сергия Радонежского, был влиятельным лицом при радонежском князе Андрее. У нас нет никаких достоверных данных о том, откуда Феодор знал греческий язык. Из Жития Сергия Радонежского нам известно, что он еще юношей был пострижен своим дядей в Троицкий монастырь, где получил образование и провел 22 года. В 1374 г. он знакомится с Киприаном, который приехал из Константинополя к митрополиту Алексию как посланник патриарха Филофея. После смерти Алексия в 1378 г. Феодор принимает активное участие в сложной борьбе за митрополичий престол Дионисия, Пимена и самого Киприана. В 1381 г. он становится духовником Дмитрия Донского и в дальнейшем искусно лавирует между княжескими и митрополичьими политическими интересами.

В 80-е гг. XIV в. Феодор трижды ездит в Константинополь и проводит там длительное время (не менее года). В период с июня 1383 по конец 1384 г. он находится в Константинополе вместе с Дионисием Суздальским по просьбе Дмитрия Донского. Здесь он получает от патриарха Нила сан архимандрита и грамоту о независимости от митрополита Симонова монастыря: в 1384 г. он становится ставропигиальным, т. е. подчиненным непосредственно константинопольскому патриарху. В 1386 г. Феодор по просьбе Дмитрия Донского снова едет в Константинополь в качестве обвинителя против Пимена в пользу Киприана. Но внезапно он переходит на сторону Пимена и бежит с ним из Константинополя к туркам, где Пимен, видимо, при поддержке турецких банкиров и купцов надеялся выиграть свое дело. Однако отсутствие на Соборе привело к тому, что их заочно низвергли и отлучили. При участии греческих епископов подвластной туркам Малой Азии Пимен поставил Феодора в сан архиепископа Ростовского. В июне 1388 г. они вернулись в Москву, и Пимен был вновь признан митрополитом. В 1389 г. Феодор становится

в оппозицию к митрополиту Пимену, едет снова в Константинополь, откуда возвращается в 1390 г. вместе с Киприаном, окончательно победившим в этой борьбе и занявшим митрополичий престол [Голубинский 1900: 226–262].

До нас дошло не менее семи переводов, сделанных Феодором. Он во всех случаях указывает на себя как автора перевода в названии произведения: **прѣложенъ бысть на руѣскыи аззык ѿ многогрѣшнаго ѿеодора**. О переводах Феодора упоминали разные исследователи. Так, впервые о нем писал Иван Данилович Мансветов в своей книге «Митрополит Киприан в его литургической деятельности» [Мансветов 1882: 63]. Ряд переводов Феодора перечислен Г. М. Прохоровым в статье о славянских переводах гимнов Филофея Коккина [Прохоров 1972: 142–146]. Кроме этого, в статье в Словаре книжников и книжности Древней Руси Н. Ф. Дробленкова добавила еще несколько текстов [Дробленкова 1989: 448–450].

Большинство переводов Феодора — это авторские гимнографические произведения. Он переводит каноны патриарха Филофея Коккина, одного из самых известных авторов своего времени:

1. Канон Богородице от бездождия: **Послѣдованіе другое пѣваемо къ стѣни бѣи ѿ бездождиа. твореніе филоѿа патриарха константинаграда. приведенъ бысть на руѣскыи аззык ѿ многогрѣшнаго ѿеодора и недостойнаго . рекше и первопрозвитера. глас ѿ пѣснь а ѿрм Воду прошедъ. Въ печалехъ вѣдче помощницю . избавленіе въ бѣдахъ...** Славянские списки: ГИМ, Син. 468, лл. 149 об.–155; ГИМ, Син. 774, лл. 22–36; РГБ, ф. 304.1, №284, лл. 124 об.–131; РГИА, ф. 834, оп. 1, №441, лл. 406–420; РНБ, Соф. 1075, лл. 1–10. Греческий оригинал: ГИМ, Син. гр. 349, лл. 14 об.–16 об.: Ἐν θλίψει, δέσποινα, βοηθόν ῥύσιν ἐν κινδύνοις [Прохоров 1972: 142–143; Прохоров 2009: 29–38]. Синодальная греческая рукопись была привезена Арсением Сухановым из монастыря Ватопед на Афоне, она содержит значительное число произведений патриарха Филофея [Сырку 1890: LXXIX]. Данный канон был опубликован в диссертации П. Куртезиду [Κουρτεσίδου 1992: 227–235].

2. Канон на Успение Богородицы: **Канон на двестолѣнное оупеніе прѣстыа вѣдча наша бѣа и приснодѣвы мѣа. пѣваем ѿ вечера на павечерници. твореніе стѣнишаго и вселенскаго патриарха константинаграда кѣр филоѿеа. преведен же быс на руѣскыи аззыкѣ. ѿеодором прѣвопрезвитером глас д. пѣснь а ѿрмос Мора черѣмнаго поучинѣ. Всеа подлежаща вѣдче отроковице твари...** Славянские списки: РНБ, Кир.-Бел. 300/557, лл. 153–156; РНБ, Кир.-Бел. 6/1083, лл. 171 об.–175 об. [Прохоров 1972: 144]; РНБ, Кир.-Бел. 482/739, лл. 471–480; РГБ, ф. 212, №37, лл. 113–117¹. Греческий оригинал неизвестен;

3. Канон Иисусу Христу на глад и томление: **Канон молебен пѣваемъ къ гоу нашемоу їсоу хору егда по грѣхом нашим наведетсѣ на нас глад томленіе ѿ скоудства житнаго. глас в твореніе филофия патриарха цараграда превод же ѿеодора прозвитера. ѿрм Градѣте людіе. всѣхъ оць и вѣдка ты и питатель блгѣ...** Славянские списки: ГИМ, Син. 468, лл. 119–127; РГБ, ф. 304.1, №284, лл. 104 об.–111; РГБ, ф. 304.1, №313, лл. 351 об.–357. Греческий оригинал неизвестен [Прохоров 1972: 145];

¹ Благодарю О. В. Ладу, указавшего мне последние два списка.

4. Молитва на литии: **Млѣтва глѣма въ молѣбнѣх и на покрѣстѣи. егда по грѣхом нашимъ . гладъ наведеса. и плодоу земномуу wskудство и бездожде. такъ же и волѣзни народомъ бываема. творение фило.ѳеа. превод же многогрѣшнаго феодора прозвѣтера. Влѣдо гѣ ꙗсе хе бѣ нашъ иже глѣомъ своимъ преждѣ ѿ небытѣи в еже быти всачьскаа приведын...** Славянские списки: РНБ, Солов. 1085/1194, лл. 103–104; РГБ, ф. 173.1, № 183, лл. 302 об.–303 об. Греческий оригинал неизвестен [Мансветов 1882: 63; Дробленкова 1989: 450].

Судя по припискам, в которых Феодор указывает свой статус, можно предположить, что канон «на глад и томление» и молитва «на покрестьи» были переведены им раньше, чем каноны на Успение и на бездожде. Здесь он называет себя пресвитером, а в последних двух случаях — протопресвитером. Напомним, что он получил сан архиепископа Ростовского от Пимена в период 1386–1388 гг.

Феодор перевел два канона Иоанна Мавропода, епископа Евхаитского — знаменитого византийского поэта и интеллектуала XI в., учителя Михаила Пселла:

1. Канон Богородице от имени слепого человека: **Канон молебенъ ко прѣстѣни бѣцѣ пѣваемъ ѿ лица незрящего члѣка. твореніе іоанна евхѣантскаго. преведенъ же высть на рѣцкыи аззык ѿ многогрѣшнаго и ради премног различныхъ золъ и прѣстѣплѣнїи ѿриновенаго ѿ церкви. ѿ лица стѣльска. именемъ же ѳеодора аще и недостойна но рекше прозвѣтера. гласъ ѿ пѣснь а ѿрмосъ ꙗко посочуху ходив. вѣкроушенимъ срѣдцемъ и помысломъ смиреннымъ к тебѣ приходящю ми чѣстага.** Славянские списки: ГИМ, Син. 468, лл. 157 об.–165; РНБ, Соф. 837, лл. 365–369 об.; РГБ, ф. 304.1, № 284, лл. 131 об.–137. Греческий оригинал: Wien, ÖNB, Theol. gr. 78, ff. 189r–192r: *Συντετριμμένη καρδίᾳ καὶ λογισμῶ τεταπεινωμένῳ σοὶ* [Hunger, Kresten 1976: 142]. Опираясь на данные пространного заголовка к этому канону, можно предположить, что это произведение переводилось в тот период, когда Феодор и Пимен были заочно осуждены Собором и отлучены от священнослужения, что приходилось на конец 1387 — начало 1388 г. [Голубинский 1900: 257]. Возможно, этот канон переводился в одной из монастырских библиотек Малой Азии, куда бежали Пимен и Феодор;

2. Канон Иоанну Предтече за болящего: **канонъ пѣваемъ къ ч(с)тномуу ѿвану пр(д)тчи за болящаго. твореніе ѿванна евхѣантскаго. прѣложенъ высть на рѣцкыи ѿ многогрѣшнаго ѳеодора рекше аще и недостойна презвѣтера. гласъ ѿ пѣ а ѿрмосъ вѣоружена фара. Погроужаемыа недоугомъ боурею. и трѣвлѣненїа страстемъ.** Славянские списки: РНБ, Соф. 837, лл. 359 об.–365²; РГБ, ф. 304.1, № 313, лл. 309–317. Греческий оригинал: Wien, ÖNB, Theol. gr. 78, ff. 347v–351v: *Βαπτιζόμενος νεοημάτων κλύδωνι καὶ τρικυμῖα παθῶν* [Hunger, Kresten 1976: 144–145]³. Произведения Иоанна Мавропода Феодор переводил, будучи в сане пресвитера, а не протопресвитера, т. е., видимо, раньше, чем каноны патриарха Филофея на бездожде и на Успение.

² Выражаю искреннюю благодарность О. В. Ладе, указавшему мне эту рукопись.

³ Сердечно благодарю Э. Н. Добрынину за помощь в нахождении греческих оригиналов славянских переводов и работе над византийскими источниками.

С переводческой деятельностью святителя Феодора Симоновского можно связать еще одно произведение — чин малого освящения воды, который известен только в одной рукописи (РГАДА, Син. тип. 42, нач. XV в., лл. 73–86) и озаглавлен **крѣнье водное творимое. чѣстными стѣли. се преложил феодоръ. епѣтъ ростовьскии. сергѣя патрнарха еулогниа** [Мансветов 1882: 63; Дробленкова 1989: 450]. Комментария требует последний компонент заглавия: **сергѣя патрнарха еулогниа**. Нам представляется, что слово **еулогниа** (благословение) содержит опisku и первичным чтением следует считать **еу̀хологниа**. Слово **евхолои** как обозначение богослужебной книги Евхологий практически не было известно на Руси, оно зафиксировано только один раз в Студийском уставе [СДРЯ XI–XIV, III: 179]. Вместо него чаще употреблялся термин **молитовникъ** [Афанасьева 2012: 252–253], и, вероятно, при переписывании служебника Син. тип. 42 в заглавии непонятное слово было заменено на понятное, схожее по звучанию. Если наше предположение верно, тогда в заглавии говорится о том, что это последование переведено с евхология патриарха Сергия. В Византии было два патриарха Сергия: Сергий I, живший в VII в., и Сергий II, управлявший церковью в период 999–1019 гг. Поэтому о благословении (**еу̀хологниа**) патриарха Сергия не может быть речи: Феодор и патриарх Сергий не были современниками. Видимо, во время своего пребывания в Константинополе у Феодора была возможность бывать в библиотеках византийской столицы, где он и мог увидеть евхологий, содержавший приписку о принадлежности его патриарху Сергию. О евхологии патриарха Сергия не удалось найти никаких сведений; наверное, такая рукопись существовала в XIV в., но до наших дней не сохранилась.

Последование малого освящения воды в этой рукописи не совпадает ни с одним из многочисленных славянских списков, распространенных в рукописях с XIV в. Это может свидетельствовать об ином греческом оригинале перевода. Последование имеет отличия в структуре: здесь выписаны стихи 50-го псалма, к которым припеваются специальные стихиры на освящение воды. Славянские чины на освящение воды, представленные в рукописях с XIV в.⁴, содержат только стихиры на освящение воды, и их набор и тексты отличаются от Син. тип. 42. О 50-м псалме нет никаких упоминаний (хотя он, несомненно, читался), и стихи из него не выписаны ни в одном славянском списке.

Священномних Иларион

Второй русский переводчик — это некий священномних Иларион. С ним пока можно связать перевод только одного произведения:

Кано(н) молебен к гоу нашему їс хѣу ходатаа имѣа. Пръвѣе всѣстоую бѣю и ч(с)тнаго прѣчу и славныа аплы. Таже стѣяа вса. Ѣ бѣю, съписан же ѿ великаго сакелїа и оучителя оучителем. И стѣяа великїа бжїа мѣре архидїакона. Блгоч(с)тїваго цр(с)каго клироса. Ѣвдора мелетинишга. Прошенїем

⁴ Использовались списки XIV в. РНБ, Q.п.1.61, л. 25 и Погод. 75 а, л. 190 об., содержащие разные славянские переводы.

бл҃гоговѣннаго сѣнонока г҃на іѡана архімандрита. Прѣведенъ же на роуское. Сѣномнихомъ ларионимъ. Канон гласъ д̄ пѣснь а̄ їрмѡс Ѡвръзи оустѡ моѡ и наполнатсѡ д̄ха. Мл̄твами ч̄колюбче тѡ рождыша молимсѡ... Славянские списки: РГБ, ф. 113, № 393, лл. 72–75; ГИМ, Син. 468, лл. 46–58; РГБ, ф. 304.1, № 284, лл. 26 об.–36 об. Греческий оригинал неизвестен.

Из приписки к этому канону известно, что Иларион переводил его по заказу архимандрита Иоанна. Осмелимся предположить, что перед нами может быть лисицкий игумен Иларион, который по распоряжению новгородского архиепископа Иоанна привез со Святой Горы Тактикон Никона Черногорца, о чем сообщается в приписке в рукописи Ф.п.1.41 1397 г. [Бобров 1991: 82]. Игумен новгородского Лисицкого монастыря Иларион в 1396 г. становится архимандритом Симонова монастыря, а затем назначается Киприаном коломенским епископом. Если наши предположения верны, то переводчик канона Иларион — один из новгородских сторонников и последователей Феодора и Киприана. Перевод по заказу архиепископа Иоанна он мог сделать в «новгородский» период своей деятельности, т. е. до его перехода в Симонов монастырь в 1396 г. Возможно, в одной из поездок в Константинополь, о которой не сохранилось упоминаний в других источниках, он переводит канон Иисусу Христу, который списан с рукописи, принадлежавшей Феодору Мелитиниоту, великому сакелию царского клироса и «учителю учителей». В «Repertorium der griechischen Kopisten» под номером 214 указан Θεόδωρος Μελιτηνιώτης (сер. XIV — 1393) «megas Sakelarios, Diakon, Archidiakon im Palast von Konstantinopel und διδάσκαλος τῶν διδασκάλων». С ним, на наш взгляд, можно отождествить владельца рукописи, с которой переводил Иларион (соответствующие пассажи в заглавии мы выделили курсивом). Здесь указано, что Феодор Мелитиниот был писателем, архидиаконом константинопольского дворца и учителем учителей. Кроме этого он был современником патриарха Филофея и митрополита Киприана и так же, как они, был сторонником паламитского движения [Repertorium der griechischen Kopisten: 88]. Отметим также, что Феодор Мелитиниот был единственным деятелем палеологовского времени, кто носил титул διδάσκαλος τῶν διδασκάλων [PLP VII: 202], поэтому указание в заглавии канона **оучителя оучителемъ** позволяет в большой долей уверенности предполагать, что имеется в виду именно он.

Обобщая репертуар переводов, осуществленных двумя русскими книжниками, можно сделать следующие наблюдения. Во-первых, переводчики имели интерес к византийской авторской гимнографии, они переводили каноны Иоанна Мавропода и патриарха Филофея. На сегодняшний день известны не все греческие оригиналы этих переводов, но уже можно с уверенностью сказать, что среди опубликованного наследия этих двух авторов нашелся только один — канон к Богородице от бездождия патриарха Филофея. Он представлен большим числом списков и был распространен в греческой письменности. Остальные произведения редко встречались в византийских рукописях, и ряд из них еще не выявлен.

Во-вторых, интерес проявлялся к тому, что так или иначе связано с патриаршей библиотекой. Так, переводится чин освящения воды из евхология патриарха Сергия и канон всем святым из рукописи великого сакелия Феодора Мелитиниота.

Редкость греческих оригиналов русских переводов в византийской литературе, а также перевод с рукописей, принадлежавших патриаршей элите, позволяет предположить, что наши переводчики работали в Константинополе, а не на Руси, где в монастырских библиотеках вряд ли могли храниться подобные греческие книги.

Евхологий Великой церкви

К столичным греческим оригиналам относится Евхологий Великой церкви — патриарший требник, использовавшийся в храме св. Софии. Его перевод был осуществлен, как нам представляется, переводчиками круга митрополита Киприана. Перевод сохранился в двух пергаменных рукописях рубежа XIV–XV вв. — ГИМ, Син. 675 и Син. 900 (описание см. в [Горский, Невоструев 1869: 128–153]) и не содержит никаких имен. Лишь в более поздней традиции, с конца XV в., появляются атрибуции некоторых текстов из этого Евхология митрополиту Киприану. Так, большая часть статей из этих рукописей содержится в требнике ГИМ, Син. 326 1481 г., переписанном Сидкой Молчановым и имеющем приписку о том, что он переписан с перевода Киприана слово в слово [Там же: 203–204].

Полных греческих списков Евхология Великой церкви послеиконоборческого периода известно три: Paris, Coisl. 213 1027 г., Grottaferrata Г.β.Ι XIII в. и кодекс из Афинской национальной библиотеки № 662 рубежа XIII–XIV вв. Сравнение славянского перевода с греческими списками по критическому изданию, выполненному Мигелем Арранцем [Арранц 2003], позволило сделать следующие наблюдения⁵. Славянский переводчик не ставил перед собой цели сделать полный перевод кодекса. В его задачу, по-видимому, входило создание книги, в которой были бы собраны все византийские евхологические чины, неизвестные или мало распространенные на Руси. Это была своего рода выборка из Евхология. Славянский переводчик не переводил из этой книги чины крещения, венчания и погребения, последований Коленопреклонения в Пятидесятницу и Великого водоосвящения на Богоявление, т. е. тех служб, которые были широко распространены и содержались во многих славянских требниках XI–XIV вв. Он перевел чины Великой церкви, относящиеся в Страстной седмице, дворцовым церемониям, основанию и освящению храма, литиям в разные места Константинополя, чины принятия еретиков и нехристиан в православие, а также молитвы на разные нужды.

Переводчик не просто переводит текст Евхология, но и приспособливает его службы и молитвы для русских нужд и обычаев. Так, например, устраняет из перевода большинство константинопольских реалий и топонимов, видимо, ввиду того, что они были не нужны в Москве. Например, молитва на сбор царского винограда 15 августа во Влахернах (εὐχή γίνομένη ὑπὸ τοῦ πατριάρχου ὄτε πρὸς συνήθειαν ἐπιτελεῖ τὴν τρύγην ὁ βασιλεὺς τῆ ἸΕ' αὐγούστου ἐν Βλαχέρναις) и молитва освящения купальни во Влахернах (εὐχή τοῦ κολύμβου τῶν βλαχερνῶν) по-славянски переданы без топонимов: **мѡтѡва вѡнегда брѡти виноград, мѡтѡва над водою**

⁵ Подробнее см. [Афанасьева 2015: 9–43].

[Горский, Невоструев 1869: 137–138]. Он не переводит топонима ἐν τῷ κάμπῳ τοῦ τριβουναλίου в литии на поле перед Трибуналом, славянское ее название выглядит следующим образом: **чинъ бываемыи такоже въ литию** (Син. 900, л. 83 об.). Молитва **хотѣше стѣлю пѣтешествовати** (Син. 900, л. 172), согласно греческим спискам, произносилась патриархом ἐν τῷ μεγάλῳ σεκρέτῳ, т. е. в большой канцелярии дворца, однако славянский переводчик эту подробность опускает. Переводчику, пожалуй, удалось найти славянское соответствие только для названия греческого форума (εὐχή ἐν τῷ φόρῳ), который он передал как **пространное мѣсто** [Горский, Невоструев 1869: 130].

Адаптация текстов патриаршего евхология под русские обычаи проявляется еще в ряде случаев. При переводе молитвы на очищение от скверны вина и масла (τάξις γινομένη εἰ συμβῆ μιарόν τι ἢ ἀκάθαρτον προσφάτως ἐμπεισεῖν εἰς ἀγγεῖον οἴνου ἢ ἐλαίου) составитель добавляет в ее заглавие и текст русский напиток — **медъ**, отсутствующий в греческом тексте: **чинъ бываемыи аще случитса сквернѣ чемѣ или нечистѣ. ново впасти въ сосудъ вина їли масла или медъ** (Син. 900, л. 102 об.). Подобным образом молитва, которая в греческом тексте носит название «в пострижение бороды или головы» (εὐχή ἐπὶ πώγωνος κουρᾶ ἢ κεφαλῆς), в переводе озаглавлена как молитва «в пострижение главы», а все, что касается остригания бороды, не практиковавшегося в Древней Руси⁶, было опущено. Приведем текст молитвы по греческому списку Grottaferrata, Г.β.Ι XIII в. и его русскую версию, отмечая курсивом измененные переводчиком места:⁷

Г.β.Ι, л. 133	Син. 900, лл. 98–98 об.
<p>εὐχή ἐπὶ πώγωνος κουρᾶ ἢ κεφαλῆς Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγὼν τῆς σῆς μεγαλειότη- τος ἐμφανῆ γνωρίσματα καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐ μόνον τῆ σῆ εἰκόνι τῷ νοερῷ τε καὶ λογικῷ δια- φερόντως κατακοσμήσας ἀλλὰ καὶ θριξίν αὐτὸν ποικίλως καθωραΐσας αὐτὸς καὶ τὸν δοῦλόν σου τόνδε τὸν εἰς εὐπρέπειαν τῆς ἑαυτοῦ προσόψεως ἀποκειρόμε- νον τὸν ἑαυτοῦ πώγωνα ἢ τὴν κόμην πᾶσι τοῖς παρὰ σοῦ θείοις χαρίσμασι κατακόσμησον καὶ κα- τελθέτω ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγω- να ἢ εὐλογία σου ὡς κατέβη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰακώβου καὶ τὸν πώγωνα ἐπὶ γὰρ τῆ σῆ δόξῃ τοῦ εἰπόντος πάντα ἡμᾶς εἰς δόξαν σου ποιεῖν καὶ τὴν τοῦ πώγωνος αὐτοῦ ἢ τῆς κόμης ἀπόκαρ- σιν ἐνάρχεται ποιεῖσθαι ὁ δοῦλος σου Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ</p>	<p>МЛТВА В ПОСТРИЖЕННЕ ГЛАВЫ ∴ Гѣ бѣ нашъ. иже ѿ небытия в бытие вса приведѣ твоимѣ величество(м̄) гавленнаа познания. и чѣвка не точно своимѣ вбразо(м̄). оумным же и сло- веснымѣ подовнѣ оукрасиѣ еси. но и власы того различнѣ оукрасиѣ еси самъ и раба своего имр(к̄). иже въ блголѣпо- тѣ в здравие и легкостъ постригающаго свои главными власы всѣми твою еж(с̄)твными блг(с̄)тми оукра- си. и да снидеть на главѣ егѣ блг(с̄)внѣ твоѣ. якоже сниде на главѣ и брадѣ ааронию. ѡ твоен во главѣ (!) рекшаго вса намѣ въ славу твою творити. и главное свое пострижение начинае(т̄) тво- рити рабѣ твои ∴ Гѣко побает ти всѣа сла(в̄)а ч(с̄)ть и по- клананне ѡцо ї си</p>

⁶ Например, в «Стязании с латиною» митрополита Киевского Георгия имеется следующее обвинение, свидетельствующее о запрете на Руси постригать бороду: «Иже постригают бороды своя бритвою, иже есть отсечено от Моисеова закона и от евангельска» (цит. по: [Митрополит Макарий 1995: 558]).

⁷ Цит. по: [Арранц 2003: 374].

Способ локализации перевода Евхология Великой церкви осуществляется методом, описанным А. И. Соболевским, — выявлением в тексте регионализмов (русизмов).

Язык перевода Евхология Великой церкви характеризуется грецизированной техникой перевода в области синтаксиса, какая свойственна продукции Тырновской книжной школы. Здесь встречаются следующие инновации, известные в переводах конца XIV в.: активизация употребления местоимения **тѣ** в качестве личного, запретительный конъюнктив: **да не растлиши, да не осудиши** (вм. **не растли, не осуди**), употребление энклитических местоимений в притяжательной функции **грѣшныа ти равы, единороднаго ти сына** и под. Отметим, что данные инновации встречаются и в переводах Феодора и Илариона, однако ни лексических, ни фонетических русизмов в них нет. Напротив, в Евхологии Великой церкви такие русизмы имеются, но сфера их употребления ограничена. Они употребляются преимущественно в текстах рубрик, т. е. в тех частях перевода, где описываются действия священнослужителей. Ряд русизмов встретился в анафематствовании манихеев, сарацин и евреев. В текстах молитвословий иногда встречаются фонетические русизмы, но эти случаи единичны.

К числу лексических русизмов принадлежат следующие слова: **коверъ, бѹмажныи, палець**. Греческое слово βασιλεύς в значении ‘земной правитель’ переводится как **кнѣзь**⁸. К русизмам можно отнести словосочетание **праваа рѹка**, вместо церковнославянского эквивалента **деснаа рѹка: показуеъ рѹкою правою к ногамъ** (Син. 900, л. 73). Значение слова **правын** ‘нелевый, противоположный левому’ свойственно только русскому языку и встречается только в русских памятниках [СДРЯ XI–XIV, VII: 447–448].

Русизмами можно считать также название дней недели **четвергъ** и **пѣтница**, вместо обычных церковнославянских **четвертокъ** и **пѣтокъ**. Вариант **четвергъ** в южнославянских памятниках не встречается, в русских памятниках зафиксирован неоднократно: в берестяной грамоте № 585, Ипатьевской летописи, Вопросании Кирика [Срезневский III: 1508]. Слово **пѣтница** известно лишь в одном старославянском тексте — Остромировом евангелии, причем не в евангельском тексте, а в указании дня, на который положено чтение. Остальные контексты, представленные в исторических словарях, извлечены из русских памятников: берестяных грамот № 799 и 673, Русской правды, Студийского устава, Ефремовской кормчей, Лаврентьевской летописи и др. [Срезневский II: 1799; СДРЯ XI–XIV, IX: 431].

В переводе Евхология на лл. 204 об.–205 рукописи Син. 900 встречается русский термин родства **сестричичъ**⁹ — сын сестры, племянник по сестре: **к сим же прокланю тришканнаго карвеана. и еже ѿ роду того оубо сѹща сестричича. по дчери же**

⁸ Данные русизмы были описаны в статье [Афанасьева 2014: 244–246].

⁹ Следует отметить, что в сербском языке имеется схожий термин, однако образованный по другой модели, — *сестрић, сестричникъ, сестричичъ* [Даничић: 106]. В средневековой сербской письменности, в частности, в Иловицком списке Сербской кормчей встречается церковнославянский вариант *сестричиць* [Mikloshich: 837], но он может быть одним из многочисленных русизмов, отмеченных в этом списке [Соболевский 1910: 178–185].

ЗЛАТА ХРИСТОХИРА. Данное слово соотносится с греческим ἀνεψιούς: πρὸς δὲ τοῦτοις ἀναθεματίζω τὸν τρισαλιτήρον Καρβέαν καὶ τὸν ἐκ γένους μὲν αὐτῶ ἀνεψιὸν ἐπὶ παιδί δὲ γαμβρὸν Χρυσόχειρα. Это слово зафиксировано в Ефремовской кормчей в соответствии с греческим ἀνεψιούς, а также широко распространено в русских летописях: Ипатьевской, Лаврентьевской и I Новгородской [Срезневский III: 341–342].

В том же чине анафемы и оглашения манихеев (л. 200) находим русизм **мужьчина** как перевод греческого ἀρρενικός — мужской, мужского пола: **евѣѣ оубо ѿ мужьчины глѣмыа дева (!) приати животъ** — καὶ τὴν μὲν Εὐαν ὑπὸ τῆς ἀρρενικῆς λεγομένης παρθένου μεταλαβεῖν ζωῆς. Впервые данное слово фиксируется историческими словарями в «Домострое» по списку XVI в. [СРЯ XI–XVII, 9: 305–306], однако перевод Евхология Великой церкви свидетельствует о существовании этого слова в XIV в.

Русизмом можно считать слово **толмачъ** в значении ‘переводчик’, хотя оно известно в хорватских глаголических памятниках и является заимствованием (из нем. Dolmetscher) [Mikloshich: 992]. В древнеболгарских переводах греческое слово ἐρμηνεύς передавалось как **тлькъ**, тогда как русские тексты, прежде всего Ипатьевская летопись, Хождение игумена Даниила, использовали **тльмачъ** [Срезневский III: 1046]. В Евхологии Великой церкви это слово встречается дважды: **и глѣощю та же словеса или собою или толмачемъ аще и азъика не вѣсть** (л. 208 об.) — καὶ λέγοντος τὰ αὐτὰ ῥήματα ἢ διὰ ἑαυτοῦ ἢ δι’ ἐρμηνέως; **глѣощу тыа же глѣ. или собою или толмачемъ** (л. 235 об.) — ἢ διὰ ἑαυτοῦ ἢ δι’ ἐρμηνέως.

Русизмом является слово **шелкъ** [Соболевский 1910: 165]: **тѣхъ иже в началѣ индикта въ трѣвномъ празницѣ вбазꙋющихъ на роги трѣвныа вброщенна шелкова (σηρικὰ) различными красками** (л. 225).

Русским образованием нам представляется слово **налога** со значением ‘притеснение’, которое зафиксировано в Ипатьевской летописи и в Златой цепи [СДРЯ XI–XIV, V: 156]. В нашем тексте **налога** переводит греческое слово ἐπλήρεια ‘оскорбление, дурное обращение’ [Lampe: 516]: **онси ѿ мелхиседекитанъ иже и ѿевдоттанъ и аѿниганъ днсь прихода к вѣрѣ христианьствѣ. не нѣкоем ради нꙋжа или тѣсноты. или страха или налоги (ἐπλήρεια) или нищеты или ради долга** (л. 232 об.).

Упомянем еще один русизм — **кꙋшатиса** со значением ‘стараться, пытаться’. Он зафиксирован только в русских памятниках: Лаврентьевской и Ипатьевской летописях [СДРЯ XI–XIV, IV: 342]. В Евхологии Великой церкви этот глагол встретился дважды в соответствии с греческим πεῖράω на л. 203 об.: **и нарицаемыа таинствомъ книги в нихже възражати кꙋшаютса (πειρῶνται) законъ и прꙋкы; книги... в нихже кꙋшаетса (πειρᾶται) показовати. иудѣиство и еллиньство и христианьство и манихейство.**

Русской особенностью является также употребление предлога **послѣ**: **млѣва послѣ ѿпꙋста в память стꙋхъ млчникъ** (лл. 5 об. и 131) — εὐχὴ ἀπολυτικὴ εἰς μνήμην μαρτύρων. Такой предлог известен только в берестяной грамоте № 689 XIV в. [СДРЯ XI–XIV, VII: 260], в остальных случаях, зафиксированных в исторических словарях, это наречие.

Ключевое значение для атрибуции перевода имеет следующее указание на л. 46 рукописи Син. 900: *приемлетъ покрывало сирѣчь удѣтание трапезное, еже русь не вѣмъ како обыкоша идитию то звати* [Горский, Невоструев 1869: 151]. Приведенный контекст можно трактовать как пояснение, сделанное сторонним лицом, не живущим на Руси и отметившим, что на Руси сложилась иная традиция наименования богослужебной утвари. Это может свидетельствовать, на наш взгляд, о том, что перевод осуществлялся нерусским человеком, но предназначался для использования на Руси. Кто был заказчик и исполнитель перевода, сказать непросто. Ранее мы высказывали предположение, что заказчиком мог быть митрополит Фотий, при посредничестве которого в 1411 г. был заключен династический брак между дочерью великого князя Василия Дмитриевича и сыном византийского императора Мануила Палеолога [Афанасьева 2014: 246–247]. Но весьма вероятно, что перевод Евхология мог быть осуществлен ранее, в конце XIV в., т. е. в тот период, когда русские миссии в Константинополь были частыми и продолжительными по времени. Перевод памятника остался анонимным, что нехарактерно для Киприана и Феодора, которые всегда подписывали свои переводы. Однако идея перевести патриарший требник и приспособить его службы и молитвы для Руси могла прийти в голову очень амбициозному заказчику, ставившему Московскую Русь на один уровень с византийской столицей и входившему в круг константинопольской церковной элиты. Киприан как раз и был таким человеком, поэтому инициатива перевода вполне могла принадлежать ему. Вспомним также, что именно Киприану принадлежит инициатива чтения в московском Успенском соборе Царьградского синодика, в котором содержится «Возглашение» в честь константинопольского патриарха Филофея Коккина [Яковлева 2013: 388–389], а также поминания православных царей на литургии [Клосс 2001: 33]¹⁰.

Итак, обобщая сказанное, можно подвести следующие итоги. Репертуар известных нам русских переводов незначителен по объему по сравнению с южнославянскими переводами этого времени: пять канонов, одна молитва, чин малого освящения воды и патриарший требник. Мы предполагаем, что они осуществлялись в 80–90-е гг. XIV в. в Константинополе. Переводы делались с греческих текстов, которые не имели широкого распространения в византийской письменности: это редкие каноны Иоанна Мавропода и патриарха Филофея. Часть переводов делалась с греческих рукописей, которые принадлежали высокопоставленным лицам, таким как патриарх Сергей и великий сакелий Феодор Мелитионит. Нам известно, что Феодор Симоновский как минимум три раза был в Константинополе в составе миссий во главе с русскими митрополитами Дионисием, Пименом и Киприаном. Возможно, в составе одной из миссий был и лисицкий игумен Иларион, вошедший впоследствии в окружение митрополита Киприана, хотя в источниках не удалось найти никаких упоминаний об этом.

¹⁰ Выражаю глубокую благодарность А. А. Турилову за ценные замечания и консультации по данному вопросу.

Язык переводов Феодора и Илариона не содержит русизмов, и если бы не прямые указания в рукописях, то их переводы нельзя было бы отличить от южнославянских. Анонимный же перевод Евхология Великой церкви, напротив, выделяется по языковым признакам — наличию русизмов в переводе. Однако русизмы присутствуют не в молитвословиях, а лишь в текстах богослужебных указаний, где с древних времен была традиция употреблять региональную лексику. Благодаря сравнению с греческим оригиналом, введенным в научный оборот Мигелем Арранцем [Арранц 2003], можно видеть, что перевод данного памятника нацелен на создание его русской версии, в которой этот памятник адаптируется к русским историческим реалиям.

Источники

Государственный исторический музей, Москва (ГИМ):

Син. 326 — требник 1481 г. [Горский, Невоструев 1869: 199–204]

Син. 468 — канонник 1457 г. [Описание 1917: 264–275, № 501]

Син. 675 — требник кон. XIV в. [Горский, Невоструев 1869: 128–149, № 371]

Син. 774 — канонник из [Описание 1917: 282–292, № 503]

Син. 900 — требник начала XV в. [Горский, Невоструев 1869: 149–153, № 372]

Син. гр. 439 — сборник XV–XVI вв. [Владимир 1894: 651–652, № 431]

Российский государственный архив древних актов, Москва (РГАДА):

Син. тип. 42 — требник XIV в. [Каталог РГАДА 1988: 312–313, № 160]

Российская государственная библиотека, Москва (РГБ):

ф. 113 (Собрание рукописей Иосифо-Волоколамского монастыря), № 393 — канонник XVI в.

ф. 304.I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 284 — канонник XVII в. [Описание рукописей Свято-Троицкой лавры 1878: 58–68]

ф. 304.I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 313 — Псалтырь с воследованием кон. XV в. [Описание рукописей Свято-Троицкой лавры 1878: 86–88]

ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки Московской духовной академии), № 183 — служебник и требник XVI в.

ф. 212 (Собрание Олонецкой духовной семинарии), № 37 — минея XVI в.

Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (РГИА):

ф. 834 (Собрание Синодального архива), оп. 1, № 441 — канонник XVII в.

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург (РНБ):

Соф. 1075 — канонник XVII в.

Соф. 837 — служебник и требник 1-й пол. XVI в.

Кир.-Бел. 300/557 — минея на август XV в.

Кир.-Бел. 6/1083 — сборник-конволют XV в.

Кир.-Бел. 482/739 — тrefологий XVI в.

Солов. 1085/1194 — требник XVI в. [Описание рукописей Соловецкого монастыря 1898: 101–131]

Österreichische Nationalbibliothek, Wien (ÖNB):

Theol. gr. 78 — Liturgische Kanones [Hunger, Kresten 1976: 139–147]

Литература

Арранц 2003 — *М. Арранц*. Евхологий Константинополя в начале XI в. и Песенное последование по требнику митрополита Киприана // Михаил Арранц SJ. Избранные сочинения по литургике. Т. III. Рим — Москва, 2003.

Афанасьева 2012 — *Т.И. Афанасьева*. Литургическая терминология в славянских служебниках XIII–XIV вв.: эволюция литературной нормы и церковного узуса // Русский язык в научном освещении. № 1 (23). 2012. С. 250–266.

Афанасьева 2014 — *Т.И. Афанасьева*. К вопросу о месте и времени славянско-го перевода Евхология Великой церкви // Русский язык в научном освещении. № 1 (27). 2014. С. 237–251.

Афанасьева 2015 — *Т.И. Афанасьева*. Славянская версия Евхология Великой церкви и ее греческий оригинал // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 2015. С. 9–43.

Бобров 1991 — *А.Г. Бобров*. Книгописная мастерская Лисицкого монастыря (конец XIV — первая половина XV в.) // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв.: разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 78–98.

Владимир 1894 — *архим. Владимир*. Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (патриаршей) библиотеки. Ч. I. Рукописи греческие. М., 1894.

Голубинский 1900 — *Е.Е. Голубинский*. История Русской церкви. Т. II: От нашествия монголов до митрополита Макария включительно. Ч. 1. М., 1900.

Горский, Невоструев 1869 — *А.В. Горский, К.И. Невоструев*. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. III: Книги богослужебные. Ч. 1. М., 1869.

Даничић — *Б. Даничић*. Рјечник из књижевних старина српских. Т. 1–3. Београд, 1863.

Дробленкова 1989 — *Н.Ф. Дробленкова*. Феодор // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2. Л., 1989. С. 448–450.

Каталог РГАДА 1988 — Каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в ЦГАДА СССР. Часть 2. М., 1988.

Клосс 2001 — *Б.М. Клосс*. Избранные труды. Т. II. М., 2001.

Мансветов 1882 — *И.Д. Мансветов*. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882.

Митрополит Макарий 1995 — *Митрополит Макарий (Булгаков)*. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995.

Описание рукописей Свято-Троицкой лавры 1878 — Описание славянских рукописей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Часть I. М., 1878.

Описание рукописей Соловецкого монастыря 1898 — *А. В. Вадковский, И. Я. Порфирьев, Н. Ф. Красносельцев*. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящиеся в библиотеке Казанской духовной академии. Часть III. Отдел I. Богослужение. Казань, 1898.

Описание 1917 — Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел III, ч. 2. Книги богослужебные. М., 1917.

Прохоров 1972 — *Г. М. Прохоров*. К истории литургической поэзии: гимны и молитвы патриарха Филофея Коккина // ТОДРЛ. Т. XXVII. Л., 1972. С. 140–148.

Прохоров 2009 — *Г. М. Прохоров*. Канон-моление о дожде патриарха Филофея в греческом оригинале и древнерусском переводе // ТОДРЛ. Т. LX. СПб., 2009. С. 29–38.

СДРЯ XI–XIV — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–10. М., 1988–2013–.

Соболевский 1900 — *А. И. Соболевский*. Церковнославянские тексты моравско-го происхождения. Варшава, 1900.

Соболевский 1903 — *А. И. Соболевский*. Переводная литература Московской Руси XIV–XVIII веков. Библиографические материалы. СПб., 1903.

Соболевский 1910 — *А. И. Соболевский*. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.

Соболевский 1980 — *А. И. Соболевский*. История русского литературного языка. Л., 1980.

Срезневский I–III — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011–.

Сырку 1890 — *П. А. Сырку*. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Т. I. Литургические труды патриарха Евфимия Терновского. Вып. II. Тексты, собранные П. Сырку. СПб., 1890.

Турилов 2012 — *А. А. Турилов*. Южнославянские переводы XIV–XV вв. и корпус переводных текстов на Руси // Межславянские культурные связи эпохи средневековья и источниковедение истории и культуры южных славян. Этюды и характеристики. М., 2012. С. 556–583.

Яковлева 2013 — *А. И. Яковлева*. Синодик Успенского собора // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и документов. Материалы международной научной конференции в честь 75-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента Афинской Академии Б. Л. Фонкича. М., 2013. С. 384–397.

Hunger, Kresten 1976 — *H. Hunger, O. Kresten*. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil. 3/1: Codices theologici 1–100. Wien, 1976.

Κουρτεσιδου 1992 — *Π. Κουρτεσιδου*. Φιλοθεου Κωνσταντινοπολεως του Κοκκινου ποιητικα εργα (κριτικη εκδοση). Θεσσαλονίκη, 1992.

Lampe — *G. W. H. Lampe*. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.

Mikloshich — *F. Mikloshich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien, 1862–1865.

PLP VII — Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 7. Faszikel: Μαάρτη — Μιτωνᾶς. Wien, 1975.

Repertorium der griechischen Kopisten — *E. Gamillscheg, D. Harlfinger, H. Hunger*. Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600. 3. Teil: Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan. 3 Bde. Wien, 1997.

Tatiana I. Afanasyeva
Saint Petersburg State University
(Saint Petersburg, Russia)

THE RUSSIAN TRANSLATIONS OF THE LATE XIV CENTURY

The article presents a corpus of Russian translations that, according to the author's opinion, were made in Constantinople at the end of the fourteenth century. This was a trouble period for Russia when different contenders held the Metropolitan See. Frequent embassies to Constantinople, which included several months of waiting for trials and audiences with the Patriarch, gave Russian envoys — including Theodore of Simonov Monastery and Hieromonk Hilarion — a chance to translate some noteworthy texts, including rare canons of prayers by Patriarch Philotheus and John Mauropous. The patriarchal Great Euchologion seemed to be translated at the same time; however, that translation is anonymous. Its Russian origin can be proved based on linguistic arguments.

Keywords: Church Slavonic in the 14th century, Russian translations from Greek, Theodore of Simonov Monastery and Hieromonk Hilarion as Russian translators.

Р. Н. Кривко

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» /
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)*

ОРФОГРАФИЯ РУКОПИСИ КАК СВИДЕТЕЛЬ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ*

В статье рассматриваются возможности графико-орфографического анализа письменных памятников для изучения истории текста, свидетелями которой являются эти памятники. В связи с тем, что автономный письменный узус памятника относится к области контролируемой языковой рефлексии, регулярные и нормативные явления, определяющие собой графико-орфографический узус писца или школы, не могут служить инструментом текстологической реконструкции. Таковыми являются графико-орфографические «аномалии» — отступления от нормы и узуса, которые свидетельствуют о влиянии протографа и тем самым указывают на предшествующие звенья текстологической традиции. В статье доказывается, что графико-орфографические моравизмы в ряде памятников старославянского корпуса и в гимнографических текстах Климента Охридского и Константина Болгарского отражают не прямое воздействие со стороны моравского языкового и текстологического пласта, а определяют диапазон языкового варьирования письменной традиции западных регионов Первого Болгарского царства, который допускал употребление как западно-, так и южнославянских фонетических элементов. На основе графико-орфографических и фонетических особенностей рукописей древневосточноболгарского происхождения доказывается отсутствие связи между орфографией Путятиной минеи и Преславской книжной школой и обосновывается преемственность этого древненовгородского книжного памятника по отношению к письменной традиции западных регионов Первого Болгарского царства. В статье также установлен параллелизм между некоторыми редкими

* Статья подготовлена в ходе проведения исследования по проекту №16-01-0092 в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2016–2017 гг. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

графико-орфографическими явлениями, свойственными древним церковнославянским рукописям юго-западного происхождения, и древними восточнославянскими служебными минеями.

Ключевые слова: древний церковнославянский язык, старославянский язык, древнерусский язык, история русского языка, древняя кириллическая орфография, текстология, история и критика текста, письменность Первого Болгарского царства.

1. Предварительные замечания

Сформулированная в работах Н.Н. Дурново проблематика изучения древнерусских книжных памятников как источников по истории старославянского языка [Дурново 2000/1924–1927] получила развитие в исследованиях В.М. Живова [2006], посвященных древнему восточнославянскому правописанию. Как кажется, в связи с этими исследованиями сложилась восходящая к работам Пражской школы¹ идея В.М. Живова [1998] об автономности письменного узуса, независимого от устной речи. Поскольку автономный книжный письменный узус — контролируемая область культурной рефлексии, текстологическая значимость языковых явлений, образующих содержание этого узуса, ничтожна: выбор узуальных языковых вариантов определяется не влиянием протографа как представителя более раннего звена текстологической традиции, а «тем (разновременным) корпусом текстов, из чтения которых складывается языковой опыт данного поколения пишущих» [Там же: 235]. Так, например, для некоторых древнерусских переводных памятников убедительно доказана преемственность их лексического узуса по отношению к письменности древнезападноболгарского (македонского) языкового ареала [Пичхадзе 2011], что не доказывает наличия древнеболгарского этапа в истории их текста.

Для реконструкции текстологической преемственности имеют значение не узуальные, а «аномальные» языковые явления, т.е. отклонения от письменного узуса определенного регистра определенной эпохи. Так, соотношение архаизмов или языковых, в том числе диалектных, инноваций представляет интерес не только для

¹ [Vachek 1964/1939: 441–442]: «Es wird ein Verdienst des [...] Prof. Agenor Artymovič bleiben, daß er in seinen Abhandlungen auf die Tatsache hingewiesen hat, „daß die Schrift jeder sog. Schriftsprache ein besonderes autonomes System bildet, zum Teil unabhängig von der eigentlichen gesprochenen Sprache“ [...] Unter der geschriebenen Sprache verstehen wir eine Norm, oder besser ein System von graphischen [...] Mitteln, die innerhalb einer Gemeinschaft als Norm anerkannt werden [...] Besonders muß man sich davor hüten, die geschriebene Sprache mit der „Schrift“ oder gar „Orthographie“ zu vermischen [...] Die Orthographie [...] ist eine Art Brücke zwischen zwei Sprachsystemen, der geschriebenen und der gesprochenen Sprache, eine Summe von Entsprechungen einzelner Bestandteile beider Sprachsysteme» и т.д.; противопоставление «письменного языка» и «устной речи» описывается далее в терминах сосюрховской оппозиции «языка» и «речи», «langue» и «parole»; [Ibid.: 448]: «Es wird zunächst unbedingt notwendig sein, „die geschriebene Sprache“ [„la langue écrite“] und „die gesprochene Sprache“ [„la langue parlée“] als zwei besondere Normensysteme zu unterscheiden. Die [...] Bezeichnung „die Sprache“ [„la langue“] [...] bezeichnet keine abstrakte, universale Norm, sondern die Summe beider oben besprochenen Normen, die ja dadurch miteinander verknüpft sind».

исторической грамматики, но и для датировки текста (особенно в тех случаях, когда свидетели этого текста датируются заведомо более поздним временем), а диалектизмы могут указывать на региональный идиом, внутри которого бытовала традиция текста.

2. Фонетические моравизмы в старославянском корпусе: памятники южнославянского происхождения

Хорошо известно о наличии графико-орфографических «аномалий» в церковнославянских письменных памятниках, отражающих региональные явления в исторической фонетике славянских языков. Так, в южнославянских Мариинском евангелии, Синайской псалтири и Клоцовом сборнике отмечена западнославянская рефлексация сочетаний *dj, *tj:

«РОЗЪСТВА usw. mt. 14, 6 Mar. Cloz. 877. 879... Ähnlich in НЕВЪЗЕСТВА Ps. 24, 7... und in der Mischform ВИЗЖЪ ‘sieh’ io. 20, 27 Mar... Ähnlich findet sich das westslav. *c* statt aksl. *št* ausnahmsweise in ОСВАЦЕ Ps. 29, 1» [Diels 1932: 131]².

Эти написания как будто указывают на моравско-паннонское (кирилло-мефодиевское) происхождение текста рукописей, хотя сами памятники были созданы на юго-западе древнеславянского языкового ареала. Указанным графико-фонетическим явлениям традиционно не придается большого значения, поскольку архаический пласт в Мариинском евангелии, Клоцовом сборнике и Синайской псалтири хорошо определяется благодаря данным лексики, грамматики (эти памятники являются наиболее консервативными и древними среди рукописей

² [Schaeken, Birnbaum 1999: 95, 97–98, 105, 107] (обзор основных языковых особенностей Мариинского евангелия и Синайского евхология, на которых основана моравско-паннонская локализация их текста, и соответствующая литература; там же замечание к истории Синайского евхология: «Einige aus dem Althochdeutschen und Lateinischen übersetzte Abschnitte [...] deuten auf einen zumindest teilweisen Ursprung des Textes aus der zweiten Heimat des Altkirchenslavischen»; в терминологии авторов цитаты *вторая родина* «des Altkirchenslavischen» — Моравия и Паннония), [Ibid.: 98] (о Мариинском евангелии: «Einige Sprachmerkmale (darunter etwa *ou* statt *ъ*, *ѣ*, wohl auch *u* für *ѣ*) ... sind wohl als Serbismen zu werten und deuten vielleicht auf eine nördliche Herkunft innerhalb des west-bulgarischen Sprachraums»); [Ван-Вейк 1957: 205] (об отражении в Мариинском евангелии языковых особенностей болгарских говоров с сербским влиянием; «болгарскими» в терминологии Н. Ван-Вейка называются также говоры на территории современной Македонии); [Трифуновић 2001: 19] (известные «гласовне особености поуздано сведоче да је глагољско Маријино еванђеље морало настати... на српском штокавском подручју»); [Младеновић 2003] (о вероятном написании Мариинского евангелия на территории славянских говоров современной северной Македонии или юго-восточной Сербии); [Грковић-Мејџор 2011: 46 (литература), 46–47] (о македонском, или древнезападноболгарском, оригинале Мариинского евангелия, о чем свидетельствуют случаи вокализации ѣ в о: «Неспорно је, дакле, да је предложак или архипредложак МЈ македонско дијалекатског порекла, а његов примарни извор био би Охридска школа, из које су се преко климентске црквене организације књиге шириле и у српске земље»), [Ibid.: 48] (обзор языковых особенностей Мариинского евангелия, свидетельствующих о его создании на территории древних юго-восточносербских говоров).

старославянского корпуса [Reinhart 2002: 141]) и собственно текстологии. Естественно поэтому предполагать, что единичные фонетические моравизмы Мариинского евангелия, Клоцова сборника и Синайской псалтири восходят к архетипам этих памятников и отражают моравско-паннонский языковой пласт второй половины IX в.

3. К диалектным особенностям Мариинского евангелия, Клоцова сборника и Синайской псалтири

Фонетические особенности Мариинского евангелия, Клоцова сборника и Синайской псалтири позволяют определить диалектный ареал, в котором были созданы эти рукописи. Важнейшим локализирующим признаком является деназализация $\rho \rightarrow u$ (графически — мена ѣ и ou)³, известная не только в штокавских и южночакавских (далматских) сербскохорватских говорах, но и в западной и северо-западной диалектной зоне македонского ареала [Koneski, Vidoeski 1983: 120; Младеновић 2003: 16–17]. Столь же выразительная диалектная особенность — позиционно обусловленный переход $y \rightarrow i$, с разной интенсивностью надежно зафиксированный для эпохи старославянского корпуса только в этих трех рукописях [von Arnim 1930: 128; Diels 1932: 95, 108; Nuorluoto 1994: 34, 71; Младеновић 2003: 19]. Неразличение y и u наряду с отмеченным в этих же памятниках смешением ѣ и ь не в результате межслогового взаимодействия (ерового умлаута)⁴ свидетельствует, на наш взгляд, об утрате различий между тембром непалатальных согласных в позиции перед гласными переднего ряда, иными словами, о неразличении твердых и палатализованных (или «полумягких», или непалатализованных невелияризованных) согласных перед передними или непередними гласными [Кривко 2015, § 2.4 (литература)]. Палатальные согласные при этом сохраняются в диалекте писца Мариинского евангелия, о чем свидетельствует регулярное употребление диакритического знака «покрытия» только после букв исконно палатальных [Vondrák 1912: 327; Nuorluoto 1994: 112, 117]. В Синайской псалтири палатальные согласные sporadически обозначаются также с помощью «покрытия», которое не используется для обозначения других согласных⁵, в Клоцовом сборнике исконно палатальные

³ Мариинское евангелие: *ишедѣшию* (вин.п. ед.ч. ж.р.) Лк 8: 46, *дрюугоуѣ* (вин.п. ед.ч. ж.р.) Лк 17: 35 и др. [Младеновић 2003: 11–12]; Клоцов сборник: *моука* 620, *ѣтробоу* 746 и др. [Вайан 2002: 57]; ср. [Diels 1932: 99] («Die Schreibung OY für ѣ ist im Cloz. häufig (die umgekehrte freilich selten), der Schluß, daß der Schreiber dieser Handschrift u für ρ gesprochen habe (wie heute unter den südslavischen Sprachen vor allem das Serbokroatische), wird wohl selten bestritten»); Синайская псалтирь: «на ню 1815 ... *имасию* 107b2 (statt *manasijō*) ... *пицю* 789 [von Arnim 1930: 76; Diels 1932: 98–100; Вайан 2002: 56–57 (обзор)].

⁴ [von Arnim 1930: 77, 79]: «In den Partien I, II, VI, XB wird *-ѣ sehr häufig, in VII ziemlich häufig, in IV immer, durch das Zeichen -ѣ wiedergegeben, dagegen nie in Partie V und selten in III, XA, XII (2) ... Der Schreiber B verwendet von Haus aus nur ѣ in allen Stellungen, das Zeichen ѣ im allgemeinen nur unter dem Einfluß seiner Vorlage».

⁵ [von Arnim 1930: 129]: «nur sporadisch in den altertümlichsten Partien der Schreiber B (X A) und C (XII) zur Verwendung kommt».

согласные графически не маркированы [Diels 1932: 50; Nuorluoto 1994: 118]. Таким образом, по меньшей мере для двух рукописей, Мариинского евангелия и Синайской псалтири, реконструируется тот тип противопоставления согласных по твердости — мягкости, который наблюдается, в частности, в сербскохорватском языке, где исконно палатальные согласные функционально противопоставлены непалатальным как мягкие твердым (ср. [Голстая 1977: 83–84]).

Возможно, к числу сербизмов Мариинского евангелия относится форма род.п. ед.ч. *сега ради* [Младеновић 2003: 13], если это написание не отражает графической ассимиляции под влиянием последующего слога. Малоубедительной кажется фонетическая интерпретация форм *оуорѣжъса* (Лк 11: 21) и *въсѣ оуселенѣѣ* (Лк 2: 1) Мариинского евангелия, в которых написание *оу* правомерно рассматривать как приставку *оу* со значением полноты действия, а не свидетельство раннего перехода *въ* (*wъ*) → *и*.

Общим юго-западнославянским явлением, в разной степени свойственным всем глаголическим рукописям, кроме Киевских листков, является вокализация *ъ* → *о*, *ь* → *е* [Младеновић 2003: 14–15]. Среди многочисленных примеров этой инновации примечательно ее отражение в формах с постпозитивным указательным местоимением типа *работъ*, *образоь* и т. д. [Ibid.: 15]: активное употребление постпозитивных указательных местоимений с функцией, подобной определенному артиклю, иногда безосновательно рассматривается как восточноболгаризм — инновация Преславской школы (см.: [Тихова 1995: 322–329]). Я. Грекович-Мейджор считает случаи вокализации *ъ* в *о* результатом влияния македонского (древнезападноболгарского) протографа Мариинского евангелия [Грковић-Мејдор 2011: 46–47].

Характерными диалектизмами Мариинского евангелия являются адъективные членные формы им.п. ед.ч. м.р. на *-ои* (типа *свѣтои*), известные в пределах старославянского корпуса только в Синайской псалтири, Синайском ехологии и Зографском евангелии [Diels 1932: 194]. За пределами древнейших рукописей такая форма отмечена в македонской Орбельской триоди (*всновавои*) [Пичхадзе 2010: 552], а из современных славянских говоров аналогичная рефлексация напряженного перед йотом засвидетельствована в серско-лагодинской группе южномакедонских и юго-восточномакедонских говоров, а также в примыкающих к ним славянских диалектах на территории северной Греции (к северу от Салоник) и Гóры — области на стыке юго-запада Метохии, северо-востока Албании и северо-запада Македонии⁶.

Диалектными, на наш взгляд, являются формы «*скврънѣштаа* Mat. 15.20, *милосрдовавъ* Mar. 9. 22, *оутрни* Mat. 6. 34, *крвъ* Mat. 16. 17. u. a. Es handelte sich hier schon um ein einfaches *r* ohne jegliche begleitende vokalische Elemente» [Vondrák 1912: 173]. В. Вондрак характеризует такие написания как «редкие»⁷, в классиче-

⁶ Примеры: [Милетич 1936; Конески 1981: 37; Steinke, Ylli 2010: 72–73, 78]; интерпретация: [Кривко 2015, § 4.4].

⁷ [Vondrák 1912: 173]: «Selten wird der Halbvokal, der allerdings damals schon überflüssig war, ausgelassen».

ских грамматиках А. Лескина и П. Дильса они не отмечены [Leskien 1969: 34–39; Diels 1932: 61–62], что заставляет предполагать в этих написаниях влияние локального южнославянского письменного узуса. Слоговой *r*, который отражают такие формы, характерен не только для современного сербскохорватского языка, но и для западной и северо-западной группы македонских говоров [Koneski, Vidoeski 1983: 120].

Наконец, отражением локального юго-западнославянского письменного узуса являются усеченные формы род.п. мн.ч. **i-* и **jo-* основ и тв.п. мн.ч. **jo-* основ (типа *люди, орѣжи*), отражающие стяжение слогов со слабым напряженным, отмеченные в Мариинском евангелии, Клоцовом сборнике, Синайской псалтири, а также в Ассеманиевом и Зографском евангелиях⁸.

Региональные языковые особенности Мариинского евангелия, которому в пределах старославянского корпуса наиболее близки Синайская псалтирь и Клоцов сборник, не соответствуют современному диалектному членению сербско-македонского ареала. Сочетание юго-западнославянских языковых черт позволяет, однако, выделить в пределах старославянского корпуса архаичный в отношении лексики, грамматики и текстологии подкорпус, который объединяет в себе языковые особенности современных сербских восточноштокавских и северо- и западномакедонских говоров: Мариинское евангелие, Клоцов сборник и Синайская псалтирь. Наличие графико-орфографических моравизмов как будто бы позволяет предполагать, что этот подкорпус сформировался под непосредственным влиянием моравско-паннонской традиции.

4. Фонетические моравизмы в текстах Климента Охридского, Наума Охридского и Константина Болгарского

Перечисленные выше фонетические и графико-орфографические особенности юго-восточносербского — северо-западномакедонского подкорпуса находят параллели в акростихах Климента Охридского и Константина Болгарского. К ним, возможно, относится замена *ы* на *и* в форме *поустин-* в акростихе канона прп. Евфимию Великому [Попов, Станчев 1988: 171; Попов 2003: 43], которая, на наш взгляд, едва ли свидетельствует о «приблизительном написании, о частной дифференциации, отходящей от нормы, которая лишь намечает диалектное начало

⁸ [Diels 1932: 161] («ЛЮДИ Cloz. 868; ПЕЧАТИ Cloz. 737. 738; ПѢТИ Ps. 54, 12 [wenn als Plur. gemeint]»), [Ibid.: 172, 173] (о формах род.п. мн.ч. **jo-* основ: «gpl. hat nebeneinander die Endungen -ЕИ und -ИИ, selten -БИ oder -И [...] -И in io. 4, 49 Zo. Ass. [vor l]. mt. 6, 15 Mar. [vor И]. io. 3, 2 Zo [...] ipl. hat neben -ИИ [-БИ] ganz selten die kontrahierte Form -И [...] aber -И in ОРѢЖИ Cloz 2, 157»), [Ibid.: 178] (о формах род.п. мн.ч. **i-* основ: «Im gpl. finden wir als häufigste Endung -ИИ [...] Gelegentlich findet sich -И, so ГѢСЛИ Cloz. 50f., МЪСТИ Ps. 93, 1, vereinzelt wohl auch in den Evv., wo man bei -И gelegentlich im Zweifel ist, ob ein gsg. oder ein nachlässig geschriebener gpl. gemeint ist, vgl. mt. 24, 6. 8 Sav.»); [Mladenov 1929: 126]; [Вайан 2002: 120–121] («окончание род.п. мн.ч. *-и* имеет варианты *-ьи* [редко], *-еи* [часто] вследствие вокализации “ера”, *-и* [особенно в Клоцовом сборнике] вследствие стяжения»).

перехода $y > i$ » [Миклас 2003: 57]⁹. Сохранение в акростихах групп *ишч* в формах *нишчии* и *мошчии* в канонах Наума Охридского и, вероятно, также Климента Охридского [Попов 2003: 45] позволяет «думать о моравско-паннонском влиянии, как в случае сохранения у Климента Охридского z в примере *роз(в)ст(в)оу*» [Миклас 2003: 58, примеч. 58]. Примечательно, что в акростихах того же Климента, Константина Болгарского и анонимного автора их круга употребляются также формы с *шт* в соответствии с **stj* и **tj* — *поштением, пошките* — и с *жд* в соответствии с **dj*: *рождеством, рождество, подажд* (с понятным отсутствием *ь*, для которого невозможен акроним) [Попов 2003: 47, 49, 50], что отражает южнославянскую рефлексацию соответствующих праславянских форм. «Мы имеем дело здесь с примечательным фактом, что у трех представителей кирилло-мефодиевской школы, чья деятельность в Болгарии приходится на одно время, встречаются три в пространственном и временном смысле разных диалектных варианта релевантных этимологических групп! Такая вариативность показывает, что в данном случае поэтическая свобода определенно превалировала над языковым нормированием» [Миклас 2003: 60].

Иными словами, языковая норма первого после Кирилла и Мефодия поколения славянских авторов допускала широкий диапазон варьирования между западно- и южнославянскими (юго-западнославянскими) фонетическими формами. Это позволяет объяснить загадочное с графико-фонетической точки зрения написание *благошъбъцьныи* Учит. Ев. 57с (124), замеченное М. А. Тюренковой [2015: 31] в Учительном Евангелии Константина Болгарского, в оригинальном тексте Константина: *сказа тъ* [вм. *сказаетъ?* — Р. К.] *златословесъникъ съ · висоце* [так] *летми орълъ* [так; *ъ* во втором слоге — в абсолютном конце строки] · *и благошъбъцьныи · языкъ* и т. д. Эпитет *благошъбъцьныи* ‘благощебетный’ по отношению к орлу — Иоанну Златоусту является, возможно, поэтическим синонимом (именно синонимом, а не калькой) греческого *χρυσόστομος* ‘златоустый’¹⁰ и, будучи окказиональным неологизмом, сохранил в рукописной традиции необычный графико-фонетический облик, который коррелирует с уникальностью слова. В Учительном Евангелии Константина это слово встретилось еще раз, и тоже без греческой параллели, в авторском тексте Константина, на этот раз без необычного *ц*, но со столь же неожиданным *о* после *б* [Тюренкова 2015: 31]: *богъ... съзываетъ боголюбие ваше · пирьника приставивъ · златорѣчивааго сего · ластовицоу благошъботъноу* Учит. Ев. 88b (185). Ос-

⁹ Х. Миклас полагает, что если бы форма *поуштини* действительно отражала переход $y \rightarrow i$, то составители кириллицы «пренебрегли бы буквой Еры» [Миклас 2003: 57]. В древневосточно-болгарском ареале, где была создана кириллица, переход $y \rightarrow i$ не отмечается до XI в. включительно, насколько можно судить по данным Супрасльской рукописи и Саввиной книги. Полагаем, что форма *поуштини* отражает иной, юго-западный диалектный ареал, где такой переход состоялся раньше, или же она вообще не имеет фонетического значения: акроним для буквы *ы* был невозможен, в связи с чем для соответствующей буквы была выбрана словоформа, в начале которой находится второй элемент диграфа *ы* — *Источника* [Попов, Станчев 1988: 171 (текст гимна)].

¹⁰ Благодарю М. А. Бобрин за обсуждение этой лексемы.

нова *-щѣбот-* с фонетически не объяснимым в рукописи XI–XII вв. *o* после *b* не перед твердым согласным имеет параллели только в западнославянских лексемах — словц. *štebot, štebotaf*, в.-луж. *šćeботаś*, н.-луж. *šćabotaś* [ЭСРЯ IV: 497; ESJČ: 623], «*kde -ot bylo od počatku (jako loskot...), srov. třepot od třepetati apod.*» [ESJČ: 623].

Что же касается написания *ц* в *благощѣбъцъныи*, то оно объясняется как результат западнославянской рефлексии **tj → c (ć)*, если адъективную основу *-щѣбъцън-* рассматривать как дериват от *-щѣбѣт-* с крайне малопродуктивной для древних церковнославянских прилагательных двойной аффиксацией **-j-* или **-tjo-* + **-ьн¹¹*, ср.: *тоуждь* (от готск. **þjuda* ‘народ’ [ЭСРЯ IV: 379]) → *тоуждьнѣ* (нарах *legomenon* в Поучениях огласительных Кирилла Иерусалимского¹²); ср. также *объщъ* (предлог **ob-ь* + суффикс **-tjo-*¹³) → *объщънѣ* и произв. [SJS II: 501; СРЯ XI–XVII, 12: 45].

Таким образом, фонетические (в случае с неологизмом *благощѣботънѣ* следует говорить о словообразовании, поскольку *o* имеет здесь не фонетическую природу, а входит в состав аффикса) западнославянизмы образовывали часть церковнославянского узуса первого после Кирилла и Мефодия поколения славянских авторов, работавших на западе Первого Болгарского царства¹⁴. Позднейшие ру-

¹¹ См. [Мейе 1951: 286–287]: «Славянский язык унаследовал от общиндоевропейского суффикс прилагательных **-jo-*»; далее (там же) о формах типа *тѣщъ, бѣждрь* [от *бѣдръ*] и о частотной модели с присоединением **-j-* к **-ьн-*, типа *истиньнѣ*, продуктивной при образовании отадвербиальных прилагательных типа *вышьнѣ* или притяжательных прилагательных от названий лиц типа *братрьнѣ*; предлагаемая здесь модель — **-j-* или **-tjo-* + **-ьн* — не рассматривается, возможно, в силу редкости примеров; [Birnbau, Schaeken 1997: 64–65] (раздел «Produktive zweifachkomplexe Adjektivsuffixe»); модель «**-j-* или **-tjo-* + **-ьн*» не рассматривается).

¹² [СРЯ XI–XVII, 30: s.v.]: «Аз [Бог] насадих виноград плодовиѣ, всеистиненъ, како обратися в горестъ виноград тужднии (ἀλλοτρία)? (Кир. Иерус. Поуч. огл.) ВМЧ, Март 12–25, 888. XVI в. ~ XI–XII вв.»

¹³ [Мейе 1951: 287; ЭСРЯ III: 119; Трубочев 1957: 94–95].

¹⁴ Лексические и грамматические особенности Учительного Евангелия и иногда приписываемого Константину Болгарскому Сказания церковного свидетельствуют в пользу юго-западнославянского происхождения этих текстов: речь идет о формах с корнем *бѣд-* в презенсном значении, известных в древнерусском и староукраинском языках, в восточнопольских диалектах и в сербских текстах до XVI в. (современный сербский сохраняет только реликтовое употребление презенсного *буд-*), конструкция с предлогом *въ* + вин.п. в значении образа действия, обилии форм с простым и древним сигматическим аористом, флексии *-те* в 3-м л. дв.ч. аориста, презенсных причастиях от перфективных основ, аналогических формах тв.п. мн.ч. **-о-*основы типа *сложьбою члѣвкми* (τῆς τῶν ἀνθρώπων λατρείας) Учит. Ев. 44а (97) и лексических регионализмах *трѣтѣ, цѣста, цѣггло, етерѣ* ‘иной’ и частице и союзе *тѣ*, из которых только *трѣтѣ* встречается в древневосточноболгарских текстах, а остальные лексемы характерны только для юго-западнославянского ареала или являются общими для западной подгруппы южнославянских языков и для западнославянских языков. Тот факт, что перечисленные формы, и в особенности лексические единицы, встречаются в Учительном Евангелии, т. е. в цикле проповедей, позволяет судить, что перед нами — сознательное употребление диалектных форм, рассчитанных на носителей соответствующих диалектов. См. подробно: [Кривко 2014; 2015: § 4.6.1 (примеры, литература)].

кописи сохраняют эти фонетические особенности в акростихах — поэтических украшениях или в стилистически мотивированных окказиональных неологизмах. В этой связи допустимо полагать, что графико-фонетические моравизмы в юго-восточносербском — северо-западномакедонском подкорпусе старославянских памятников — Мариинском евангелии, Клоцовом сборнике и Синайской псалтири — отражают не прямое влияние моравско-паннонских протографов, а представляют собой реликтовые явления, обусловленные диапазоном вариативности древнего юго-западного церковнославянского узуса, или книжности западной части Первого Болгарского царства. В таком случае протографы этих памятников локализируются не на севере — северо-востоке, в моравско-паннонском регионе, а на юге — юго-востоке. Это, в свою очередь, означает, что древнейший пласт книжной традиции в северномакедонской — южносербской зоне заимствован не из Моравии, как можно было бы судить по единичным графико-орфографическим западнославянизмам, а из славянских епархий западной части Первого Болгарского царства. Данная гипотеза согласуется с предположениями, сделанными на эпиграфическом материале¹⁵.

5. Древневосточноболгарские графико-фонетические явления в русско-церковнославянском корпусе

Характерной языковой особенностью древневосточноболгарского языкового ареала является особая рефлексация йотовой палатализации губных согласных, состоящая в выделении после этих согласных палатального глайда и утрате *l-epentheticum*. Судя по данным старославянского корпуса, это явление — инновация, распространявшаяся с юго-востока на север (западнославянские языки) и на запад (македонский язык) славянского ареала. Отсутствие *l-epentheticum* в разной степени свойственно вообще всем южнославянским рукописям старославянского корпуса, это явление не засвидетельствовано только в Киевских листках. Позиционные условия отсутствия вставного *l* варьируются в зависимости от происхождения памятника¹⁶: в восточноболгарской кириллической Супрасльской рукописи

¹⁵ [Трифунувић 2001: 168]: «глагољско наслеђе притицало у Србију и из охридских крајева и простране епископије Климента Охридског», [Ibid.: 169]: «писменост у српске области долазила са севера, из Моравске, и са југа, из бугарско-охридских крајева».

¹⁶ [Vondrák 1912: 323] («Die aksl. Denkmäler verhalten sich im allgemeinen nicht gleichmäßig diesem l gegenüber. Nur in den Kiev. Bl. finden wir es überall dort, wo wir es auch erwarten»), [Ibid.: 323–335] (S. 332: «Der Zustand, welcher in den letzten Denkmälern angedeutet war, ist im Supr. noch mehr ausgebildet»); [Leskien 1969: 53]: «sogenannte euphonische oder epenthetische l, ein Übergangs-(Vermittlungs-)laut... wird in den Kiever Bl. an allen Stellen konsequent angewendet, in den andern Denkmälern aber kann es fehlen und fehlt sehr oft», [Ibid.: 54–55]; [Diels 1932: 131]: «Die aksl. Handschriften sind hier weder in sich konsequent, noch stimmen sie miteinander überein. Im allgemeinen scheint das l um so strenger durchgeführt zu sein, je älter die Handschrift ist»; [Mareš 1969: 79] (об утрате *l-epentheticum* в древнеболгарском и в западнославянских языках как об инновации, а не об исконном рефлексе йотовой палатализации губных; там же литература), [Ibid.: 100]; ср. иначе: [Калнынь 1961: 7; Чекман 1973: 35–39].

утрата *l*-epentheticum отражается несопоставимо чаще, чем, например, в глаголическом Мариинском евангелии или в Клоцовом сборнике¹⁷.

В связи с утратой *l*-epentheticum в Супрасльской рукописи отразилась характерная древневосточноболгарская орфограмма, с помощью которой обозначается рефлекс йотовой палатализации губных согласных: буква губного согласного + ъ + йотированная буква гласного. Эта орфограмма описана в грамматиках старославянского языка¹⁸:

«Auffallend ist im Supr. der so häufige Gebrauch des ъ an Stelle des ausgefallenen *l*: оставъѣнъ, земьѣ, земьѣ usw. Fälle wie благословенъ 326, оставеноу 218 [...] sind hier vereinzelt. Das ѣ (ѣ) finden wir mehr oder weniger nur vereinzelt in anderen Denkmälern, so in Euch. sin.: дръвье 85a, im Ps. sin.: глоумъениъ 273, земьъ 44, 63, земьѣ 128, избавъѣ 31, земьѣ 182, земьѣ 43, иѣковью 191, dann in der Sav. kn.» [Vondrák 1912: 335].

Действительно, написаний типа *томъѣниѣ* Супр. 1, 5 (ср. *томениѣ* 161, 14); *благословъѣнъ* 326, 19 в Супрасльской рукописи много, и этим она отличается от других старославянских памятников¹⁹. Древневосточноболгарские написания типа *томъѣниѣ* находятся на периферии старославянского кириллического узуса. В Енинском апостоле йотированные буквы, кроме *ю*, отсутствуют, в Саввиной книге буква *ѣ* употребляется только в начале слога [Щепкин 1899: 32], а *ѣ* — после буквы *н* [Там же: 40]. Перед нами — периферийное явление церковнославянского графико-орфографического узуса, обусловленное древневосточноболгарской фонетической инновацией, в связи с чем его отражение в рукописях других региональных изводов имеет текстологическую значимость.

Древнерусская церковнославянская орфография оказалась почти не затронутой этой частью древнеболгарского узуса, что может объясняться естественной русификацией правописания. Тот тип обозначений палатальных с помощью йотации, который представлен в древнерусских рукописях, не несет следов влияния древней восточноболгарской орфографии и отражает, вероятнее всего, собственно древнерусский языковой узус, поскольку утрата *l*-epentheticum на восточнославянской почве неизвестна. Если же говорить о южнославянских параллелях древнерусских написаний типа *земьѣ*, то они находятся в центрально- и западноболгарских говорах:

¹⁷ [Vondrák 1912: 337]: «Kamen die aksl. Denkmäler auf einem Boden zur Abschrift, wo das *l*-ep. heimisch war, so wurde es natürlich mehr erhalten, was teilweise im Cloz. und Mar. beobachtet werden kann».

¹⁸ [Lunt 2001: 34]: «Often the expected two-unit groups *plj*, *blj*, *vlj*, *mlj* are spelled without any *l*-letter, implying a Bulgaro-Macedonian substitution of <j> in place of palatal sonorant /lj/, and therefore groups *pj*, *bj*, *vj*, *mj*... Most usually this is shown by ѣ in place of the *l*-letter, but therefore front-vowel letters ѣ may be omitted: e. g. *земьѣ*» и т. д.

¹⁹ [Vondrák 1912: 332–335] (примеры разных способов отражения на письме рефлексов йотовой палатализации после губных в Супрасльской рукописи); [Margulícs 1927: 58, 59].

«В меньшинстве болгарских говоров *l* epentheticum сохраняется последовательно во всех грамматических категориях. Говоры этого разряда образуют, по-видимому, сплошную территорию в западной области Болгарии... с востока к ним, по-видимому, примыкают другие, исконно-болгарские говоры, столь же последовательно сохраняющие *l* epentheticum. Таков старый говор города Софии и окрестных деревень... вполне естественно думать о сохранении старого болгарского *l* epentheticum под влиянием соседних сербо-болгарских говоров» [Щепкин 1899: 260].

Отсутствие форм без *l*-epentheticum в таком архаичном с точки зрения следования южнославянскому узусу памятнике, как Остромирово евангелие, дало основание В. Н. Щепкину предполагать центрально-болгарское или юго-западное (т. е. не преславское) посредство при заимствовании на Русь этого текста²⁰. Среди памятников древнего русско-церковнославянского корпуса только Изборник 1073 г. во множестве содержит примеры типа «*прославѣи* 9567, *прѣкоупѣтъ сѧ* 97в27, *томениѣ* 10562 [...] *къмѣди* 201г21» [Баранкова и др. 1988: 11], которые, наряду с другими многочисленными языковыми болгаризмами, в частности меной юсов и деназализацией $\epsilon \rightarrow e$ [Баранкова и др. 1988; Баранкова, Пичхадзе 1990], отражают древневосточноболгарское посредство в заимствовании на Русь созданного в Преславе для царя Симеона текста Изборника 1073 г.

Тот тип отражения падения редуцированных, который характерен для древневосточноболгарской традиции (сохранение *ь* при переходе *ь* в *e*), в древнерусских рукописях не представлен. Единственным графико-орфографическим восточноболгаризмом, указывающим на прямую текстологическую преемственность восточнославянского памятника по отношению к преславской школе, может считаться только морфологически не обусловленная орфограмма без *l*-epentheticum, с факультативным *ь* после буквы губного согласного, что мы наблюдаем в Изборнике 1073 г.

Несколько лет назад была предложена гипотеза о древневосточноболгарском (преславском) происхождении протографа Путятиной миinei, основанная на следующих формальных признаках [Йовчева 2008]: 1) двуеровая орфография (со следами одноерового письма в службе Иоанну Богослову); 2) четырехьюсовая орфография; 3) обозначение палатальности с элементами безйотовой орфографии и использование буквы *у* (ижицы) для обозначения палатальных²¹; 4) необозначение исконно мягких шипящих; 5) преимущественное употребление *щ* (830 раз), а не *шт* (147 раз) или *ш^т* (16); 6) употребление греческих букв θ , ψ , ξ , отсутствие ζ и употребление ζ только в числовом значении.

Ни один из перечисленных фактов не является специфически древневосточноболгарским. Двуеровая орфография свойственна всем без исключения книжным памятникам древнего церковнославянского корпуса, в связи с чем ее достоверная

²⁰ [Щепкин 1899: 262]: «Факт последовательного сохранения *l* epentheticum в Остромировом Евангелии не может быть истолкован исключительно влиянием русского языка».

²¹ [Йовчева 2008: 328]: «отбелязване на палаталните съгласни: *лѧ*, *нѧ*, *рѧ*; *лю*, *ню*, *рю*; изключения: *ла* вм. *лѧ* [...] *сѣтѣла* 13в5; *ра* вм. *рѧ* — *цѣра* 29г16 [...] *лу* вм. *лю* [...] *землу* (11) 55г12 [...] *ру*, *рѣ* вм. *рю* [...] *зару* (2) 39г9 [...] *ну* / *ноу* вм. *ню* [...] *поустыну* 53г7».

локализация на материале древнейших источников невозможна. Одноеровая орфография известна, в том числе, древнерусской бытовой письменности и эпиграфике, в связи с чем очевидным представляется лишь архаичный и периферийный — причем скорее в функциональном, чем в ареальном смысле — характер этой системы письма. Четырехьюсовая орфография используется не только в древнерусских кириллических рукописях, но и в глаголических Ассеманьевом евангелии, Синайской псалтири, Синайском ехологии, Клоцовом сборнике, Рыльских листках, Боянском палимпсесте²². Древневосточноболгарская Супрасльская рукопись содержит, строго говоря, не четыре, а шесть букв носовых гласных: Ѧ, ѧ, Ѣ, ѣ, Ѧ, ѧ²³, Саввина книга — пять: Ѧ, ѧ, ѧ, Ѧ, ѧ [Князевская 1999: 28–29]. Употребление малых юсов ни в одной из древнейших южнославянских кириллических рукописей не соответствует Путятиной минее: «в Хиландарских листках встречаются только две буквы ѧ и ѧ [...] В Македонском кириллическом листке по преимуществу употребляется знак ѧ в любом положении, но три раза встретилась буква ѧ» [Там же: 29–30]. Четырехьюсовая орфография Путятиной минее вообще не имеет документированных церковнославянских кириллических параллелей XI — начала XII вв. за пределами восточнославянского ареала, что не позволяет уверенно судить о происхождении этой системы письма.

Что касается палатальных согласных, то особенность древневосточноболгарского узуса в обозначении палатальности состоит в наличии характерных орфограмм, отражающих утрату *l-epentheticum* после губных согласных, которые в Путятиной минее отсутствуют (за исключением единичных примеров утраты *l-epentheticum* в группах согласных)²⁴. Употребление ижицы после букв палатальных согласных в Путятиной минее не является южнославянской особенностью, поскольку ижица в написаниях типа *зару* служит субституту ѧ [Колесов 1973: 178] и отражает древнерусскую инновацию. Как соотносится обозначение исконно мягких шипящих в Путятиной минее с рукописями древнего церковнославянского корпуса, остается неясным в силу очевидной вариативности южнославянского узуса²⁵. Употребление *щ* и диграфа *шт* в южнославянской

²² [Martí 2000: 71] (сводная таблица употребления букв носовых гласных в древнейших глаголических рукописях).

²³ [Margulíés 1927: 52]: «allein das ѣ, das sich aus der Parallele mit ѧ wie von selbst ergeben haben wird, findet sich doch vereinzelt schon in unserem Denkmal, in ѧзельѧ — 333, 20, wo das beeinflussende ѧ unmittelbar folgt, in ѧзыкы — 472, 12 und in глѧбокыѧ — 555, 17»; ср.: «die zwei Fälle von сеѧ — 222, 17 und поѧ — 354, 19».

²⁴ ѧдзвенѧ Мин. Пут. 19–7, оудзвенѧю 57 об.–13; ср. извъѧсел [так!] Мин. Пут. 16 об.–6. Неочевидна утрата *l-epentheticum* в написании *земѧ* (род.п. ед.ч.) 40–8, где отсутствие буквы *л* может отражать древний праславянский вариант основы [ЭСРЯ II: 93].

²⁵ [Nuorluoto 1994: 73–78] (об употреблении букв носовых в старославянских рукописях после палатальных и шипящих), [Ibid.: 92–94] (об употреблении букв ѧ : ѧ, ѧ : ѧ : ѧ), [Ibid.: 104–106] (об употреблении букв ѧ : ѧ, оу : ю) (описание материала, примеры, ссылки на источники, литература).

традиции²⁶ также не позволяет сделать вывод о древневосточноболгарском происхождении протографа Путятиной минеи: орфограмма *шт* имеет глаголическую параллель **Ш^{ср}**, причем только этот вариант используется для обозначения рефлексов **tj*, **stj*, **skj* в Зографском евангелии и Клоцовом сборнике, тогда как в Синайском евхологии и Рыльских фрагментах употребляется всегда только **Ѣ**, а в Мариинском и Ассеманиевом евангелиях, как и в Синайской псалтири, используются оба варианта. Вариант *шт* встречается почти без исключений в Супрасльской рукописи, где только в конце строки появляется лигатура *ш̄*. Напротив, в Саввиной книге употребляется только *щ* (единственное исключение — написание *имѣш̄юмоу* 65а, вызванное дырой в пергамене под *ш*) [Diels 1932: 48; Marti 2004: 411; Князевская 1999: 29]. Не может служить критерием локализации протографа кириллической рукописи и употребление букв *ѳ*, *ѣ*, *ѥ*, которые свойственны кириллической традиции в целом, а *ѳ* (**Ф**) «фита» известна также в рукописях глаголических [Diels 1932: 21, 45–46]. Отсутствие буквы *з* в Путятиной минее, вероятнее всего, объясняется восточнославянским происхождением рукописи и ее неизбежной русификацией²⁷. Возможно, что влиянием

²⁶ [Marti 2004: 410–411] (доказательства исконного наличия буквы **Ѣ** (*ш*) в глаголице; описание материала письменных памятников и древнейших акростихов, который не дает однозначного ответа на вопрос об относительной древности одного из двух способов обозначения рефлексов **stj*, **skj* и **tj*).

²⁷ Известно, что буква **ѣ** используется во всех глаголических рукописях старославянского корпуса, кроме Киевских листков, Синайского евхологии и Клоцова сборника [Diels 1932: 47]. Отмечена мена **ѣ** (*з*) на **ѳ** (*з*) и в Мариинском евангелии [Грковић-Мејдор 2011: 48], что является еще одним свидетельством происхождения Синайского евхология, Клоцова сборника и Мариинского евангелия в одном диалектном ареале. В XI–XII вв. буква *з*, *ѣ* (в нечисловом значении) встречается только в тех кириллических рукописях, которые связаны с древнезападноболгарским или древнесербским ареалом: в Хиландарских фрагментах, Листках Ундольского, Македонском кириллическом листке, Зографских листках, Мирославовом евангелии, Григоровичевом паремийнике. Заметим, что наличие кириллической буквы *з* предполагает сохранение l-epentheticum (исключением могут быть консонантные группы, когда губному согласному предшествует другой согласный). Употребление букв **ѣ**, *з* обусловлено более длительным сохранением на юго-западе славянского ареала аффрикаты *dʒ* как рефлекса второй и прогрессивной палатализации, которая в древневосточноболгарских и восточнославянских диалектах, судя по письменным данным, была утрачена раньше, чем на юго-западе. По этой причине *з* отсутствует в Саввиной книге и в Супрасльской рукописи. В древнерусской письменности буква *з* регулярно присутствует только в кириллических алфавитных таблицах, где занимает устойчивую алфавитную позицию после *ж* [Зализняк 1999: 553]. Очевидно, что эта буква учитывалась при обучении грамоте и чтению, но в письме активно не использовалась. Об этом свидетельствует замена исконного глаголического **ѣ** (*з*) на *з* в азбучном акростихе рождественских алфавитных стихир с глаголическим составом и порядком букв, где букве **ѣ** (*з*) соответствует акроним *Звъздоѣѣ* Ил. кн. 356 (77 об.), а букве **ѳ** (*з*) — акроним *Зем.л.л.* (там же) в следующей стихире. Форма *Звъздоѣѣ* сопровождается комментарием: «в протографе, несомненно, в соотв. с алфавитом было **звъздоѣѣ* (ср. в азбучных стихирах на Крещение в Т98, 24г: *Зѣло*)» [Крысько 2005: 357], NB букву *З* (не *Ѣ*) в «Зѣло». Выразительным исключением в раннедревнерусском употреблении буквы *з* является пример из Азбучной молитвы, предваряющей Учительное Евангелие Константина в рукописи XI–XII вв. (ГИМ, Син. 262). Буква *ѣ* Азбучной молитвы отражает ее

преславского грамматического узуса, для которого было характерно использование позднепраславянских инновационных форм, обусловлены также некоторые морфологические и лексические особенности памятника [Йовчева 2008: 329–337], употребляющиеся наряду с архаизмами, если эти явления не отражают надрегиональный инновационный церковнославянский книжный узус второй половины — конца X в.

Влияние древневосточноболгарского протографа в графике и орфографии Пуятинной минеи не прослеживается (см. подробно: [Кривко 2015, § 4.6.2.]).

6. Графико-фонетические явления юго-западнославянского происхождения в русско-церковнославянском корпусе

На фоне отсутствия древневосточноболгарского влияния на орфографию Пуятинной минеи обращает на себя внимание ряд явлений, отмечаемых в содержательно однородном подкорпусе, состоящем из служебных миней архаического и младшего типов (Ильина книга, Пуятинная минея, «Ягичевы минеи», минеи «типграфского» комплекта XI–XII вв.), сочинений Константина Болгарского («Сказание церковное» и Учительное Евангелие в списке XI–XII вв.), а также фрагмента Псалтири с толкованиями Псевдо-Афанасия Александрийского, или Исихия Иерусалимского († после 451 г.) — Евгениевской псалтири XI в., где сохраняются глаголические инициалы, орнамент которых напоминает орнамент и заставки Зографского евангелия [Кривко 2008 (литература)].

Важнейшей фонетической диалектной особенностью юго-западного происхождения является употребление членной флексии *-ои* в формах им.п. ед.ч. м.р., о которой шла речь выше на южнославянском материале и которая не встречается в формах, обусловленных древнерусским книжным произношением. В памятниках XI–XII вв. наличие этой флексии не может быть результатом восточнославянской инновации, поскольку вокализация напряженных происходила существенно позже вокализации ненапряженных *ь*, *ь*. Подробно вопрос о формах на *-ои* рассмотрен в отдельной работе [Кривко 2015, раздел IV], поэтому здесь мы ограничимся списком примеров, ранее выявленных в древнерусских книжных памятниках²⁸:

взнесоисл Мин. Пут., 313, XI в.; *сильнои* Псалт. Евг., 19г, XI в.; *блгои члколюбче* Мин. сент., 0120, ок. 1095 г.; *нестере чюдной* Мин. окт., 190, 1096 г.; *тлгообразнои видъ* там же, 78; *животъ... втъчной* Мин. ноябрь,

глаголический архетип, в существовании которого не приходится сомневаться. Сохранение акронима *Zъло* с начальным *Z* в Азбучной молитве объяснимо только как прямое влияние протографа, который, в отличие от архетипа, может быть только кириллическим, а не глаголическим и который должен иметь древнезападноболгарское происхождение, о чем можно судить, в том числе, по написаниям членных форм на *-ои*, указывающим на юго-западнославянский диалектный ареал.

²⁸ [Филин 1972: 239; Колесов 1980: 125; Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006: 92; Пичхадзе 2009: 306; Кривко 2015, раздел IV].

279, 1097 г.; *нечѣстивои* там же, 20а; *сѣдѣнои* там же, 13; *сѣраспиноисл* Ил. кн., 616²⁹, XI–XII вв.; (*за инѣ молѣтьсѣ ·*) *кротѣкои* (*члѣволюбѣць*) (ἤμερος) Учит. Ев. 148b (295), XI–XII вв.; (*дѣѣ стѣи... мыслѣно*) *видимои* (*жадилѣмѣ*) (θεωρούμενον) Сказ. Церк. 253в 11–12 (260), XI–XII вв.; *Стѣсловѣць сѣѣно · и* [вм. *сѣѣнои*] *бѣсловѣць ѣвислѣ сѣѣмлѣсѣ сѣ иѣртѣискѣми ликѣи* (ἐρὸς καὶ θεολόγος συμπλεκόμενος ἑβραίων τοῖς δῆμοις MR VI: 298) Пт37 126 об.–127.

Таким образом, всего в древнерусской церковнославянской письменности XI–XIII вв. известны двенадцать членных форм на *-ои*, три из которых отмечены в Евгеньевской псалтири, две — в рукописи с сочинениями Константина Болгарского и семь — в служебных минеях архаической и младшей, студийско-алексиевской, редакций. В книжном произношении формы на *-ои* отсутствовали [Кривко 2015, § 4.3], старославянские параллели этим написаниям находятся в глаголических рукописях юго-западного происхождения (для Зографского евангелия допустимо предполагать центральнодревнеболгарский ареал), аналогичные формы отмечались в славянских говорах на территории юго-восточной Македонии и в примыкающих к ней районах северной Греции и Албании. Таким образом, древние русско-церковнославянские написания членных форм на *-ои* — результат прямого заимствования из юго-западных протографов, созданных в славянских епархиях западного региона Первого Болгарского царства.

Примечательны с текстологической точки зрения две группы написаний в древнейшей служебной минее на август (далее *Ta*) — рукописи древненовгородского происхождения XI–XII вв., принадлежащей известному «типографскому» комплекту служебных миней, который, вероятно, происходит из скриптория монастыря или церкви св. Лазаря. «Типографский» комплект служебных миней относится к той же книжной среде и даже, вероятно, происходит из того же скриптория, что и так называемые «Ягичевы минеи» ок. 1095–1097 гг. Это убедительно доказывается сходством почерков февральской минеи «типографского» собрания (РГАДА, ф. 381 [Тип.], № 103) и сентябрьской минеи ок. 1095 г. (Мин.

²⁹ Форма отмечена во фрагменте текста, переписанного «крупными буквами и неопытной рукой, почерком, напоминающим почерк берестяных грамот...» написание флексии в Ил., очев., восходит к **-ѣисл*, тогда как корневое *и* вм. *ѣ* может быть объяснено влиянием *распинати* [Крысько 2005: 617]. Если *о* вместо *ѣ* в данной форме отражает новгородскую графическую мену *ѣ* на *о*, свойственную бытовой системе письма, что как будто бы следует из палеографического комментария, то написание *сѣраспиноисл* необходимо исключить из нашего ряда примеров и рассматривать его в одном ряду с формой *Гѣл(ѣ)б[е] ѣѣ грѣѣшѣнои* («граффито в Софии Новгородской, № 154 по нумерации А. А. Медынцева») [Михеев 2015]), вновь опубликованной с исправленным чтением и с новым комментарием С. М. Михеевым [Михеев 2010: 81–82, 83–84]. В то же время как для Ильиной книги, так и для новгородского софийского граффито № 154 нельзя окончательно исключать книжное влияние, в пользу чего свидетельствует расположение надписи «в лестничной башне, куда, вероятно, не имели доступа выше хор — в малодоступной части башни» [Там же: 84]. Очевидно, надпись оставил новгородец, член клира, который «по роду деятельности» должен был быть знаком с церковнославянскими рукописями.

сент.; РГАДА, ф. 381 [Тип.], № 84) и рядом других палеографических и исторических фактов³⁰.

Диалект писца *Ta* принадлежит к тому же древненовгородскому ареалу, что и «Ягичевы минеи», о чем свидетельствует не только смещение *ц* и *ч* (*прорича/ние Ta 15; наричаеть 32; съконьца 88* об. и др.), но и характерная новгородско-псковская рефлексация сочетания **zgj*, известная как в «Ягичевых минеях» [Lunt 1949: 126], так и в *Ta: дъжгъ 78, 111; пригвожгенаго 88* об.; *одъжгяющую 91* об. Написание (*Апльскыи съборе · (пръславьно събъраса ис коньць днѣь)*) (*αποστολων ο θιασος MR VI, 396*), возможно, отражает новгородскую именную флексию им.п. ед.ч. м.р. -*e*, если форма им.п. ед.ч. не была переосмыслена как вокатив, чему способствует омонимия славянских аористных форм 2 и 3 л. ед.ч.

Рукопись *Ta* находится «на перекрестке» архаизирующих и инновационных традиций письма, что наблюдается в ряде явлений.

Ta отражает двухьюсовую орфографию (*бѣстѣ ·:~ /* [так: сокращенное написание, описка или упрощение группы согласных] 1; *ѣбо 1* об.; *ѣмьрьше 2* об. и др.), модификацией которой являются написания с так называемым «комбинированным юсом» *Ѧ* в начале тропарей, который получает некоторое распространение преимущественно в южнославянской традиции в XII–XIII вв. и связан, очевидно, с меной юсов. Похожие начертания такого юса в раннедревнерусской традиции известны в Изборнике 1073 г. и в служебной минее на апрель из того же «типографского» комплекта (РГАДА, ф. 381 [Тип.], № 110)³¹, к которому относится *Ta*; часть апрельской минеи написана тем же почерком, что и *Ta*. В середине — второй половине XII в. начертание *Ѧ* отмечается в берестяных грамотах [Зализняк 2000: 212], в связи с чем не вполне ясно, можно ли считать букву *Ѧ* в *Ta* и в апрельской минее свидетельством опосредованного влияния южнославянского протографа. Вероятнее всего, что написания *Ѧ* в *Ta* играют своего рода декоративную роль и отражают языковой вкус писца, который усвоил это начертание из чтения южнославянских рукописей или их восточнославянских антиграфов:

Ѧслышавъше Ta 1 об.; *Ѧкрашаетьса 4* об.; *Ѧставы 5*; *Ѧмьно 35*; *Ѧноша 42* об.; *Ѧстрѣлень 54* об.; *Ѧмртвивъ 60*; *Ѧкрашаааа 60* об.; *Ѧничъжиса 65* об.; *Ѧстави 68*; *Ѧмръщвена 70*; *Ѧношьскы 72*; *Ѧста 82*; *Ѧмръщвеноу 87*; *Ѧстави 100*; *Ѧстрашаема 102*; *Ѧставы 105* об.; *Ѧстрашиса 108* об.; *Ѧкрѣплъшеса 110*.

Судя по малому числу морфем, в которых пропускаются слабые *ъ*, *ь*, писец в этом отношении воспроизводит архаичный древнерусский узус, сохраняя *ъ* даже в корнях *кънлз-* и *пѣт-*: *кънлзи Ta 30, Кънлза 34* об., *кънлзи 42* об., *кънлзю 43*; *кънлзи 46*; *пѣтица 69* об. Примеров с отсутствующим *ъ* в *Ta* нет (корень *пѣт-* отмечен один раз). В данном случае мы сталкиваемся именно с архаичным письменным узусом, а не с отражением современной рукописи диалектного состояния. Об этом свидетельствуют данные служебной минеи на июль (РГАДА, ф. 381

³⁰ [Уханова 2009: 218] (литература, в том числе связанная с гипотезой о скриптории Лазарева монастыря или общины храма св. Лазаря).

³¹ [Карский 1979: 167, 208; КМЕ II: 301–306; Томовић 1974: табл. IV, XIV].

[Тип., № 121), которая принадлежит к тому же комплекту, что и *Ta*, и в создании которой принимал участие писец Матфей, написавший *Ta*³². В основном почерке иоульской миней еры последовательно пропускаются в восемнадцати корневых морфемах и в суффиксе *-ьн-* [Карягина 1960]. В *Ta* отсутствие еров регулярно отмечается только в пяти морфемах:

1) дѣв-: двою 1; двоица 27 об.; Дѣвѣ 28 об.; двѣ 81 об., 87 об.; двое 28 об. (ср. въ дѣвѣ 1; дѣвѣ 28 [2 раза]; Дѣва 58 об.; дѣва 57 об.;

2) мѣног-: мно/жаи^{ши} 2 об.; многоплодна 72; множество 75; многахъ 79; многосвѣтъла 79 об.; многобѣжа 80 об.; многопоучиноу 83; многы 83; многоизбѣранныи 26; Многими 50 об.; многочислыныа 59; много 87; многообразныхъ 111 об.;

3) зъл-: злыхъ 3; злодѣваго 3 об.; злыхъ 4; злаго 5; злодѣданю 8; злобѣ 15 об. и т. д., всего около сорока примеров; ср. злы 57; зльѣ 63; злюбие 70 об.; Зьловѣрѣа 88; зьлобы 102, 105 об.; зльѣ / 107 об.;

4) дѣн-: дньсь 3; ср. Днь 66 об.; дньница / 103 (так!);

5) всь-: все 2 об., 10 об.; всеславне 10 об.; всю 3; вси 3 (2 раза); вса 12 и мн. др., отмечены только три примера с ъ: всѣхъ 12 об.; все 49 об.; всего 53 об.

Кроме перечисленных примеров, буквы ѝ, ѥ пропущены в следующих единичных случаях:

1) нѣкто 7 об.; ср. Кѣто 24 об., 32 об.; кѣто 31 об.; никѣтоже 16 об.;

2) чѣтоушимъ 14, 45 об.; ср. чѣтоушихъ 66 об., 73; чѣтоушаа 68 об.; чѣтемъ 75; чѣта (действ. прич. наст.вр. ед.ч. м.р. им.п. — σέβων MR VI, 481) 75 об. и мн. др.;

3) разгна 7; вдѣхни 7 об.; тѣмница 17, жи/вотноу 32, свѣтилникъ 47, всенощноу 94, бла/жне (если это не пропуск буквы е в форме блажене) 107; цѣлбамъ 48; посла 85; мнѣ 89 об.; прѣдѣтечкоу 104 об., про/рочска 104 об., Дѣвичскаго 108;

4) с нѣсе 25, 34, 59 об.; с нѣсы 33 об.; с бжствѣ/ными 13; к сѣоу 31; в роуцѣ 31;

5) Стражета ти (συναθλοῦσι σοι MR VI, 389) 27 об.; прѣ/тече (Продрѣче MR VI, 528) 104 об. (упрощение новых геминат в результате утраты слабого ѥ или пропуск букв?).

В отличие от ряда рукописей XI–XII вв., в *Ta* почти нет случаев мены ѝ, ѥ на о, е в слабой позиции, обусловленных книжным произношением еров, замечено только одно исключение: *Кю* (ликоу моудрѣноу — Χορεία σῶφρονι MR VI, 350; возможно, описка в результате паронимической аттракции с местоименным наречием *коликѣ*) 8 об. Особый случай представляет регулярное написание о на месте исконного этимологического ѝ в морфеме *храбѣр*³³ независимо от позиции, которое отражает южнославянскую (юго-западнославянскую) традицию употребления этой частотной в гимнографии морфемы с вокализацией ѥ → о: *храборивѣ* (действ. прич. наст.вр. м.р. ед.ч. им.п. ἀρσπεύσας MR VI, 372) *Ta* 16; *храбора* (ὁπλίτας MR

³² См. [Уханова 2009: 211–228] (литература, история вопроса, палеографический и кодикологический анализ миней «типографского» комплекта и связанных с ним рукописей).

³³ [Reinhart 2011: 168] (об исконном, «этимологическом», характере ѥ в морфеме *храбѣр*; литература).

VI, 391) *Ta* 23; *xраборъ* (ὄπλιτης Sn631 27) *Ta* 17. Кроме написаний типа *xрабор-*, вокализация *ь* в сильной позиции отмечена в примере *неве/ществовьнъ Ta* 1.

Обращает на себя внимание русификация письменного узуса в обозначении анлаута с *ou*, который ни разу не передан в согласии с южнославянской орфографией, если не считать влиянием таковой «этимологически неправильные» написания с *ж* в соответствии с *ou* (возможно, начальное *ж* является своего рода компромиссом между южнославянским и восточнославянским узусами): *жноша* 21 об.; *ж/ноша* 22; *оуноша* 91 об.; *жтрънюуще* 27 об.; *оутръню·* / 34 об.; *оутрън.л.л* 77 об.; *оутрънююще* 94 об. и др., буква *ю* в начале слова используется только в формах местоимения вин.п. ед.ч. *юже* 17 об., 22 об.; *ю* 32, 34 и др. Столь же последовательно в соответствии с восточнославянскими фонетическими особенностями обозначается рефлекс сочетания **dj*: *порожение* 4 об.; *стражю/ще* 5; *побъжаемъ* 5 и др., написание *жд* отмечено лишь однажды: *заграждаема* 28. Приблизительно так же распределяются варианты *жд/ж* в «Ягичевых минеях» [Lunt 1949: 126–127]. Восточнославянские рефлексы сочетания **tj* в *Ta* отсутствуют: *разн.шас.л* 28 об.; *въдоуще* 39 об. и т. д.

Отличительной особенностью *Ta* являются примеры пропуска *и* после *и*, *ы* в фонетической позиции перед графически не выраженным *j* в окончаниях род.п. мн.ч. существительных среднего рода **jo-* и женского рода **i-*основ³⁴ и тв.п. мн.ч. существительных среднего рода **jo-*основы:

род.п. мн.ч.:

(Каплами твоихъ) *кръви* 53 об.; *ицѣле/ни* (ιαμάτων MR VI: 444) 57 об., (ιαμάτων Sn632 176) 102 об.; *пригрѣшени* (τῶν... πταισμάτων) 107 об.; *на/пасти*^н (многообразныхъ) 111 об.;

тв.п. мн.ч.:

течени (ρεῖθροῖς Cl 180) 109 об.; (свѣтозарьными) *блистани* (дѣа) 55 об.; (бжѣствными) *обѣщани* 56 об.; *ласкани* (ταῖς θωλεῖαις MR VI: 477) 73 об.; (сѣ) *ли-костодани* 109.

В исторических грамматиках русского языка такие фонетически обусловленные стяженные формы не упоминаются. Выше было сказано, что из памятников старославянского корпуса аналогичные формы отмечаются только в глаголических рукописях центральноболгарского или юго-западного происхождения, к которым в полном объеме относится юго-восточносербский — северо-западномакедонский подкорпус: в Мариинском евангелии, Клоцовом сборнике, Синайской псалтири, а также в Ассеманиевом и Зографском евангелиях.

Основным способом передачи праславянского сочетания типа **tʏrt* в *Ta* является орфограмма южнославянского типа: *пръвое*, *оутврѣжение* 34; *дръжащихъ* 35; *зръчало* 35, ср. сокращенные написания *дврѣ* 17, 83 об.; *Дврѣ* (начало строки) 18 об. Древнерусская орфограмма отмечена только в одном случае: *зръцало* 34;

³⁴ Далее цитируется также форма род.п. мн.ч. существительного *кръвь*, принадлежащего к склонению на **-й*, однако воспринявшего флексию **i-*основ *-и* аналогического происхождения.

тремя примерами засвидетельствовано второе (еровое) полногласие: *испъльнена* 24; *твъръдо* · / 48 об.; *тъльстостию* 82 об. Полагаем, что влиянием орфограмм юго-западного типа обусловлены также единичные безъерые написания, свидетельствующие о слоговости плавного и, как было сказано выше, известные только в Мариинском евангелии: *Стлнь* 1; *првообразноу* 1; *млнил* 14; *крстъ* 52; *тврди* 58 об.; *срдца* 59 об. В отличие от Мариинского евангелия, где безъерые формы употребляются только в сочетании с *p* (возможно, это каким-то образом обусловлено ранней стадией сербскохорватского перехода *l* в позиции между согласными в *и*), новгородский писец распространяет эту орфограмму на буквы обоих плавных, очевидно, не ощущая фонетического различия между всеми четырьмя известными ему типами обозначения на письме рефлексов сочетаний типа **tvt*.

7. Выводы

В статье предложен метод локализации утраченных звеньев текстологической традиции, основанный на выявлении в рукописи или группе рукописей регионально обусловленных написаний, не свойственных тому диалекту, на территории которого создан письменный памятник. Такие написания находятся на периферии книжно-письменного узуса и, не будучи предметом языковой рефлексии, отражают влияние протографа. Установлено, что для древней юго-западной церковнославянской традиции Первого Болгарского царства был характерен такой диапазон фонетического и графико-орфографического варьирования, который допускал употребление фонетических моравизмов — рефлексов йотовой палатализации **tj*, **dj*. Соответствующие формы сохранились в текстах Климента Охридского, Наума Охридского и Константина Болгарского, в том числе в древнерусской рукописи Учительного Евангелия Константина.

На основе ряда общих диалектных инноваций в пределах старославянского корпуса выявлен юго-восточносербский — северо-западномакедонский подкорпус архаичных в грамматическом, лексическом и текстологическом отношении рукописей: Мариинское евангелие, Клоцов сборник и Синайская псалтирь. Наличие фонетических моравизмов в этих памятниках может быть как результатом прямого влияния моравско-паннонской кирилло-мефодиевской традиции, так и реликтом древнего юго-западного церковнославянского узуса эпохи Климента, Наума и Константина.

Известные в русско-церковнославянском корпусе XI в. графико-фонетические явления древневосточноболгарского происхождения в гимнографических рукописях и в упомянутых сочинениях Константина Болгарского отсутствуют.

Периферийные, неузуальные графико-орфографические явления группы текстов русско-церковнославянского корпуса: служебных миней архаичной и младшей, студийско-алексиевской, редакций, Учительного Евангелия Константина Болгарского, Сказания церковного и Евгениевской псалтири — свидетельствуют о происхождении протографов этих текстов на юго-западе древнего славянского ареала, в западных регионах Первого Болгарского царства.

Источники

- Ил. кн. — Ильина книга, праздничная минея на сентябрьскую половину года, XI–XII вв.; по изд.: [Крысько 2005].
- Мин. ноябрь — Служебная минея на ноябрь, 1097 г.; по изд.: [Jagic 1886].
- Мин. окт. — Служебная минея на октябрь, 1096 г.; по изд.: [Jagic 1886].
- Мин. Пут. — «Путятина минея», служебная минея на май, XI в.; по изд.: [Баранов, Марков 2003].
- Мин. сент. — Служебная минея на сентябрь, ок. 1095 г.; по изд.: [Jagic 1886].
- Псалт. Евг.* — «Евгениевская псалтирь», БАН. 4.5.7 (Кеппен. № 13 [19]), 2 л.; РНБ. Погод. № 9, 18 + 2 л. XI в.
- Пт37* — Служебная минея особого состава. РНБ, Ф. п. I. 37, первая треть XIII в.
- Сказ. Церк. — «Сказание Церковное», XI–XII вв.; по изд.: [Афанасьева 2012].
- Та* — Служебная минея на август, XI–XII вв.; РГАДА, ф. 381 (Тип.), № 125.
- Учит. Ев. — Учительное Евангелие Константина Болгарского, рукопись XI–XII вв.; по изд.: Старобългарското Учително Евангелие на Константин Преславски, изд. от М. Тихова, с детално описание от Е. Уханова на най-стария препис (ГИМ, Син. 262) (*Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, LVIII*). Freiburg i. Br., 2012.
- С1* — Служебная минея на август. Bibliothèque nationale de France (Paris), Coisl. gr. 218. XI в.
- MR — Μηναῖα τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ. Т. 1–6. Ἐν Ῥώμῃ, 1901.
- Sn631* — Служебная минея на август. Sin. gr. 631. 1048/1049 гг.
- Sn632* — Служебная минея на август. Sin. gr. 632. XII в.

Словари, энциклопедии, указатели

- КМЕ — Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I–IV. София, 1985–2003.
- СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.
- ЭСРЯ — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. 3-е русское (стереотипное) изд. / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева. Т. I–IV. СПб., 1996.
- ESJČ — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1957.
- SJS — Slovník jazyka staroslověnského. Т. 1–4. Praha, 1958–1997.

Литература

- Афанасьева 2012 — Т. И. Афанасьева. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII–XVI вв.: исследования и тексты. М., 2012.
- Баранкова и др. 1988 — Г. С. Баранкова, Р. В. Бахтурина, Л. А. Владимирова, Л. П. Жуковская, А. М. Молдован, А. А. Пичхадзе. Изборник Святослава 1073 г. Некоторые древнерусские и южнославянские черты рукописи // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации / Н. И. Толстой (отв. ред.). М., 1988. С. 3–17.

Баранкова, Пичхадзе 1990 — Г. С. Баранкова, А. А. Пичхадзе. О некоторых языковых особенностях протографа Изборника Святослава 1073 г. // Известия Отделения русского языка и литературы РАН. Серия литературы и языка. Т. 49/5. 1990. С. 459–466.

Баранов, Марков 2003 — В. А. Баранов, В. М. Марков. Новгородская служебная минея за май (Путьятина минея), XI в. Тексты, исследования, указатели / Изд. В. А. Баранов, В. М. Марков; Подг. текста, коммент., указатели В. А. Баранова. Ижевск, 2003.

Вайан 2002 — А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. 2-е (стереотипное) изд. М., 2002.

Ван-Вейк 1957 — Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. М., 1957.

Грковић-Мејџор 2011 — Ј. Грковић-Мејџор. О формирању српске редакције старословенског језика // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. Беране; Београд, 2011. С. 43–51.

Дурново 2000/1924–1927 — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI–XII века как памятники старославянского языка // Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. 391–494 (впервые: Лужнословенски филолог. 1924, IV, 72–94; 1925–1926, V, 93–117; 1926–1927, VI, 11–64).

Живов 1998 — В. М. Живов. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. Доклады российской делегации / О. Н. Трубочев (отв. ред.). М., 1998. С. 212–247.

Живов 2006 — В. М. Живов. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006.

Зализняк 1999 — А. А. Зализняк. О древнейших кириллических алфавитах // Поэтика. История литературы. Лингвистика: сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова / А. А. Вигасин и др. (ред.). М., 1999. С. 543–576.

Зализняк 2000 — А. А. Зализняк. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1990–1996 годов. М., 2000. С. 134–429.

Йовчева 2008 — М. Йовчева. Още вѣднѣж за протографа на Путьятиния миней (РНБ, Соф. 202) // Преславска книжовна школа. Т. 10. 2008. С. 326–340.

Калнынь 1961 — Л. Э. Калнынь. Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961.

Карский 1979 — Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография. М., 1979.

Карягина 1960 — Л. Н. Карягина. Редуцированные гласные в языке июльской служебной минеи конца XI — начала XII вв. // Материалы и исследования по истории русского языка / Р. И. Аванесов (ред.). М., 1960. С. 5–58.

Князевская 1999 — О. А. Князевская. Предисловие. Введение. Палеографическое описание // О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева. Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века I: Рукопись. Текст. Комментарии. Исследование. М., 1999. С. 7–40.

Колесов 1973 — *В. В. Колесов*. Праславянская фонема /ǫ/ в ранних преобразованиях славянских вокалических систем // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, 1973 г. Доклады советской делегации / С. Б. Бернштейн и др. (ред.). М., 1973. С. 170–196.

Колесов 1980 — *В. В. Колесов*. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Конески 1981 — *Б. Конески*. Историја на македонскиот јазик (Избрани дела во седум книги, кн. 7). 2-е изд. Скопје, 1981.

Кривко 2008 — *Р. Н. Кривко*. Евгениевская псалтирь // Православная энциклопедия. Т. 17. М., 2008. С. 50.

Кривко 2014 — *Р. Н. Кривко*. Лингвистические заметки к «Учительному евангелию» и «Сказанию церковному» // Сборник на трудови од Меѓународниот научен собир «Кирилometодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски», организиран по повод 1150 години од Моравската мисија и од словенската писменост, Охрид, 3–4 октомври 2013. Скопје, 2014. С. 129–140.

Кривко 2015 — *Р. Н. Кривко*. Очерки языка древних церковнославянских рукописей. М., 2015.

Крысько 2005 — *В. Б. Крысько*. Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131. Лингвистическое издание, подготовка греческого текста, комментарии, словоуказатели. М., 2005.

Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006 — *А. М. Кузнецов, С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько*. Прилагательные (Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 3). М., 2006.

Мейе 1951 — *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951.

Миклас 2003 — *Х. Миклас*. Гимнографические памятники и развитие древнеславянских письменных систем // BraSlav 2. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003 / Р. Žigo, Ё. Matejko (ed.). Bratislava, 2003. С. 54–63.

Милетич 1936 — *Л. Милетич*. Една особено забележителна форма въ македонскиот говор околу Солунъ // Македонски прегледъ = Revue Macédonienne. 1936. Т. X (1/2). София, 1936. С. 1–7.

Михеев 2010 — *С. М. Михеев*. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. №3 (41). 2010. С. 74–84.

Михеев 2015 — *С. М. Михеев*. Древнерусские глаголические надписи XI–XII веков из Новгорода: №№ 23–28 // Slovo. 2015. № 65. С. 65–85.

Младеновић 2003 — *А. Младеновић*. Прилог објашњењу неких особина језика Маријинског четворојевањџеља // Археографски прилози. 2003. Т. 25. С. 11–32.

Пичхадзе 2009 — *А. А. Пичхадзе*. О языковых особенностях славянских служебных миней // Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, 3) / D. Christians, D. Stern, V. S. Tomelleri (Hrsg.). München, Berlin, 2009. С. 297–308.

Пичхадзе 2010 — *А. А. Пичхадзе*. [Рецензия:] Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handschriften des 11.–14. Jahrhunderts. Teil I: Vorfastenzeit. Mit einer Einleitung zur Geschichte des slavischen Triodions von M. A. Momina. Hrsg. von M. A. Momina und N. Trunte. Paderborn, München, Wien, Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh, 2004 (= Patristica Slavica. Hrsg. von H. Rothe. Bd. 11) // Лингвистическое источниковедение 2006–2009 / А. М. Молдован, Ю. В. Кагарлицкий (ред.). М., 2010. С. 546–553.

Пичхадзе 2011 — *А. А. Пичхадзе*. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 2011.

Попов 2003 — *Г. Попов*. Акrostих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия // La poesia liturgica slava antica. Древнеславянская литургическая поэзия. XII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15–21 Agosto 2003). Blocco tematico n°14. Relazioni. XIII Международный съезд славистов (Люблина, 15–21 августа 2003). Тематический блок № 14. Доклады / К. Stantchev, М. Yovcheva (ed.). Roma; Sofia, 2003. С. 30–55.

Попов, Станчев 1988 — *Г. Попов, К. Станчев*. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988.

Тихова 1995 — *М. Тихова*. За някои езикови особености в Учителното евангелие на Константин Преславски // 1100 години Велики Преслав / Т. Тотев (отг. ред.). Шумен, 1995. С. 313–333.

Толстая 1977 — *С. М. Толстая*. К типологической характеристике категории палатальности в славянских языках // Советское славяноведение. № 1. 1977. С. 83–88.

Томовић 1974 — *Г. Томовић*. Морфологија ћириличких надписа на Балкану (=Историјски институт. Посебна издања, 16). Београд, 1974.

Трифунувић 2001 — *Б. Трифунувић*. Ка почецима српске писмености. Београд, 2001.

Трубачев 1957 — *О. Н. Трубачев*. К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства (и.-е. *ǵʰenǵ, слав. *rodь, *pleme, *obytjo-) // Вопросы языкознания. № 2. 1957. С. 86–95.

Тюренкова 2015 — *М. А. Тюренкова*. Языковая вариативность и текстологическая стратификация раннедревнерусской рукописи: древнейший список Учительного Евангелия Константина, епископа Славянского. Выпускная квалификационная работа (образовательная программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»). Москва: НИУ ВШЭ — Школа лингвистики факультета гуманитарных наук, 2015.

Уханова 2009 — *Е. В. Уханова*. О становлении новгородского книгописания в XI — начале XII в. // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи. Труды международной научной конференции. Москва, 5–7 сентября 2005 г. / Э. Н. Добрынина (сост. и отв. ред.). М., 2009. С. 204–237.

Филин 1972 — *Ф. П. Филин*. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

Чекман 1973 — *В. Н. Чекман*. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке. Минск, 1973.

Щепкин 1899 — *B. H. Щепкин*. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899.

von Arnim 1930 — *B. von Arnim*. Studien zum altbulgarischen Psalterium Sinaiticum (=Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, 3). Leipzig, 1930.

Birnbaum, Schaeken 1997 — *H. Birnbaum, J. Schaeken*. Das altkirchenslavische Wort. Bildung — Bedeutung — Herleitung. Altkirchenslavische Studien, I (=Slavistische Beiträge, 348). München, 1997.

Diels 1932 — *P. Diels*. Altkirchenslavische Grammatik mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch (=Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher. I. Reihe: Grammatiken. 6. Altkirchenslavische Grammatik). Heidelberg, 1932.

Jagic 1886 — *V. Jagic*. Menaea septembris, octobris, novembris, ad fidem vetustissimorum codicum (=Памятники древнерусского языка. I). Petropoli, 1886.

Koneski, Vidoeski 1983 — *B. Koneski*. A Historical Phonology of the Macedonian Language, with a survey of the Macedonian dialects and a map by B. Vidoeski (=Historical Phonology of the Slavic Languages, 12). Heidelberg, 1983.

Leskien 1969 — *A. Leskien*. Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik — Texte — Glossar. 9. Aufl. Heidelberg, 1969.

Lunt 1949 — *H. G. Lunt*. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. Ann Arbor (Michigan), 1949.

Lunt 2001 — *H. G. Lunt*. Old Church Slavonic Grammar. 7th ed. Berlin, New York, 2001.

Mareš 1969 — *F. W. Mareš*. Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen (=Slavistische Beiträge, 40). München, 1969.

Marguliés 1927 — *A. Marguliés*. Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis (=Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher. III. Reihe: Texte und Untersuchungen. 4: Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis). Heidelberg, 1927.

Marti 2000 — *R. Marti*. Die Bezeichnung der Vokale in der Glagolica // Glagolitica. Zum Ursprung der Slavischen Schriftkultur (=Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse. Schriften der Balkan-Kommission, philologische Abteilung. 41) / H. Miklas (Hrsg.). Wien, 2000. S. 54–76.

Marti 2004 — *R. Marti*. Die Bezeichnung der Konsonanten in der Glagolica // Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb — Krk 2.–6. listopada 2002) / M.-A. Dürriegl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). Zagreb; Krk, 2004. S. 401–418.

Mladenov 1929 — *S. Mladenov*. Geschichte der bulgarischen Sprache. Berlin, Leipzig, 1929.

Nuorluoto 1994 — *J. Nuorluoto*. Die Bezeichnung der konsonantischen Palatalität im Altkirchenslavischen. Eine graphematisch-phonologische Untersuchung zur Rekonstruktion und handschriftlichen Überlieferung (=Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, 24). München, 1994.

Reinhart 2002 — *J. Reinhart*. 2002. Morphologische Innovationen des Altkirchenslavischen // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2002. Bd. 48. S. 133–148.

Reinhart 2011 — *J. Reinhart*. Die Chronologie der Entstehung der sekundären Jerlaute im Serbokroatischen (Bosnischen, Kroatischen und Serbischen) // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd. 57. 2011. S. 165–178.

Schaeken, Birnbaum 1999 — *J. Schaeken, H. Birnbaum*. Die altkirchenslavische Schriftkultur. Geschichte — Laute und Schriftzeichen — Sprachdenkmäler (mit Textproben, Glossar und Flexionsmustern) (=Slavistische Beiträge, 382). München, 1999.

Steinke, Ylli 2010 — *K. Steinke, Xh. Ylli*. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 3. Teil: Gora (=Slavistische Beiträge, 474). München; Berlin, 2010.

Vachek 1964/1939 — *J. Vachek*. Zum Problem der geschriebenen Sprache // A Prague School Reader in Linguistics / J. Vachek (comp.). Bloomington (Indiana), 1964. P. 441–452 (впервые: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 8. 1939. P. 94–104).

Vondrák 1912 — *W. Vondrák*. Altkirchenslavische Grammatik, 2. Aufl. Berlin, 1912.

Roman N. Krivko

*National Research University Higher School of Economics /
Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

ORTHOGRAPHY OF A WRITTEN SOURCE AS A WITNESS OF TEXTUAL TRANSMISSION

Old Church Slavonic orthography is considered to be as an essential tool for textual criticism. Since autonomous written usage is controlled by the linguistic reflexion of scribe(s). The description of deviations from scribal usage resulted by the influence of the earlier stages of textual transmission is of importance for textual criticism. On the basis of comparison of original Church Slavonic texts composed by Climent of Ohrid, Naoum of Ohrid and Constantine of Bulgaria it has been proved that Moravian (West Slavic) traces in the orthography of some Old Church Slavonic glagolitic manuscripts may not go back to the earliest period of Church Slavonic linguistic history, but represent variety of Western and South Slavic linguistic features, which was typical for the literary tradition established by the disciples of Methodius in the Western regions of the First Bulgarian Kingdom. The analysis of phonetic and orthographic features of the Old Church Slavonic manuscripts of Old East Bulgarian origin makes it possible to ascertain that the earliest East Slavonic office menaia do not correspond with the literary heritage of the Eastern regions of the First Bulgarian Kingdom, but are related with Church Slavonic linguistic usage of South-Western origin.

Keywords: Old Church Slavonic, Old East Slavonic (Old Russian) language, history of Russian language, old Cyrillic orthography, textology, textual criticism, written heritage of the First Bulgarian Kingdom.

А. А. Гунтуц

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» /
Институт славяноведения РАН
(Москва, Россия)*

ХИМИПЕТЪ МСТИСЛАВОВА ЕВАНГЕЛИЯ И ПАДЕНИЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ*

Грецизм *химипеть*, которым в одной из записей Мстиславова евангелия (1103–1117 гг.) обозначаются перегородчатые эмали, изготовленные в Константинополе для драгоценного оклада рукописи, является, как было установлено еще в XIX в., передачей греч. χιμειτόν. Трудность для объяснения представляет гласный *e*, появившийся в этом слове уже на славянской почве. Чередование с нулем звука, выступающим в форме Тв. ед. *хиниптомъ* в Ипатьевской летописи, проще всего объясняется из исходного *химипьтъ*, с неорганическим редуцированным, проявившимся в сильной и утраченным в слабой позиции. Этому препятствует, казалось бы, слишком ранняя дата рукописи. Между тем оказывается, что в самой записи Наслава этот пример фиксируется на фоне еще четырех случаев прояснения сильного *ь*. В оригинальном древнерусском тексте, каким является запись, такое положение дел не может объясняться следованием инославянской норме, тем более что слово *химипьтъ* было заимствовано из греческого устным путем и в книжных текстах южнославянского происхождения отсутствовало. Запись Наслава называется, таким образом, наиболее ранним памятником, засвидетельствовавшим начало процесса прояснения сильных редуцированных в живой восточнославянской речи.

Ключевые слова: Мстиславово евангелие, древнерусский язык, орфография, фонетика, падение редуцированных.

Исследователям ранней рукописной книжности Древней Руси хорошо знакома запись Наслава в Мстиславовом евангелии 1103–1117 гг., читаемая на последнем, 213-м листе знаменитого манускрипта. Приближенный заказчика рукописи — новгородского князя Мстислава Владимировича, Наслав, по написанию кодекса,

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

возил его в Константинополь для устройства драгоценного оклада. В описании этой поездки и употреблено слово **химипетъ** (В. ед., в сочетании **оучинихъ химипетъ**), которым обозначаются перегородчатые эмали, до сих пор украшающие переплет. Правильное объяснение данного термина было одновременно предложено К. И. Невоструевым [1860: 75–78] и Г. Д. Филимоновым [1861: 15]. Оба исследователя связали его с греч. *χρυσός* (производным от *χέω* ‘расплавляю’, откуда и *химия*) и, с другой стороны, с позднейшим русским *финифть*. Был указан также еще один вариант передачи греческого этимона — *финиптъ*, представленный в Ипатьевской летописи (дважды в Киевской летописи — под 1175 и 1180 гг. и трижды в Вольнской — под 1286 г.). «Вот постепенное словообразование, — писал К. И. Невоструев, — **химивтъ** → Наславово **химипетъ** → древнее **финиптъ** → доселе употребляемое *финифть*» [Невоструев 1997: 22]. Семантические и фонетические детали этого заимствования обсуждались В. В. Калугиным [1987] и уточнены А. А. Пичхадзе [2003]; последней, в частности, показано, что *n* в **химипетъ** явилось как замена *φ*, возникшего еще в среднегреческом, где сочетание *εφτ* читалось как [*eft*], а также приведена точная параллель — передача греч. *προέλευσις* ‘победное шествие’ в виде **проелиписиъ** в древнерусском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия.

Комментируя трансформации, которым подверглись согласные заимствованного слова, исследователи до сих пор не задавались вопросом: откуда в **химипетъ** возник гласный *e*? Понятно, что мы имеем дело с вокалической вставкой, сделанной для устранения противоречащего принципу восходящей звучности сочетания [pt]. Но почему именно *e*? Сопоставление с формой Тв. ед., фигурирующей в Ипатьевской летописи (**финиптомъ** 1175, 581: 19, **химиптомъ** 1180, 617: 21 (х исправлено из *φ*), **финипто(м)** 1286, 926: 7, 20, **финипт(м)** 1286, 926: 23), дает, казалось бы, самый простой ответ на этот вопрос: перед нами рефлексы неорганического редуцированного, который проявляется в сильной позиции (**химипьтъ** → **химипетъ**) и утрачивается в слабой (**финипьтъмь** → **финиптомъ**). Ближайшую аналогию представляет название Египта (*Αἴγυπτος*), в котором неорганический *ь* появляется в том же фонетическом окружении и ведет себя совершенно так же: **егупьтъ** / **егупьта** → **егупетъ** / **егупта**.

Тем не менее формы **химипетъ** и **финиптомъ** не рассматриваются в литературе как связанные регулярным фонетическим соотношением. И. И. Срезневский, в чьем словаре леммы даются в раннедревнерусском виде, поместил соответствующий материал в статьях **химипетъ** и **финиптъ**, воздержавшись от реконструкции исходных форм с *ь* [Срезневский III: 1356, 1368]. Причину такой осторожности можно понять: в кодексе начала XII в., каким является Мстиславово евангелие, ожидать пояснения сильного редуцированного не приходится. Авторы разделенных более чем столетием специальных исследований, посвященных орфографии памятника, сообщают, что случаи перехода *ь* в *o* и *ь* в *e* в сильных позициях в рукописи отсутствуют [Карский 1895/1962: 17; Федорова 2015: 172].

С тем большим удивлением мы обнаруживаем целых четыре таких примера... в самой записи Наслава! То, что они до сих пор не обращали на себя внимания,

по-видимому, неслучайно. Исследования языка Мстиславова евангелия традиционно фокусировались на самом евангельском тексте¹, тогда как выходные записи кодекса привлекали в основном внимание историков книги. Единственная лингвистическая работа, специально посвященная записи Наслава [Калугин 1987], рассматривает ее в плане исторической лексикологии; с фонетической же точки зрения текст оказался совершенно не востребован исторической русистикой. Между тем в данном отношении он представляет первостепенный интерес.

Приведем полностью текст записи по изданию под редакцией Л. П. Жуковской [1983: 289, рис. 4], отметив одинарным и двойным подчеркиванием слабые и сильные позиции редуцированных (за исключением конечных):

Азъ рабъ бжнн недостоннъи хоудъи грѣ-
шннъи . съпъсахъ пама^ти дѣла . црж
нашемуу и аждѣмъ о съконъчаннъи еѣа(ѣ) .
кже башеть казалъ мѣстиславъ къ-
назъ хоудомоу наславоу . и возивъ
црюгороду и оучини^хъ химипеть . вжн-
кю же волею възврати^хъ сѣ и съ црл.-
города . и съправи^хъ² въсе злато и сре-
бро и драгъи камень . пришедъ кък-
воу . и съконъчасѣ въсе дѣло . м(ѣ)ца авгѣ-
ста . въ .к. цѣноу же евангелнѣ сего
кдинъ бѣ вѣдак³ азъ же хоу-

¹ Это специально оговорено в статье М. А. Федоровой, тогда как Е. Ф. Карский, цитирующий в своей работе материал записей, в данном случае просто не учел его.

² В издании словоделение иное: и съправи^хъ. В. В. Калугин трактует *съправити* как специальный термин книжного дела [Калугин 1987: 114–115]. Однако в текстах древнерусского времени данный глагол отсутствует. В значении ‘исполнить, осуществить, совершить что-л. намеченное’ он фиксируется лишь начиная с XVII в. и, скорее всего, представляет собой полонизм (см. [СРЯ XI–XVII, 27: 82]). Альтернатива, предложенная К. И. Невоструевым, дает между тем удолнительный смысл, выраженный стандартным для своего времени образом.

³ Между этим и следующим словом вытерто, по оценке издателей, 8 букв. Поскольку в остальном текст написан без единой пометки, маловероятно, чтобы таким образом Наслав исправил простую опisku; скорее мы имеем дело с редактурой, устранившей слово или слова, показавшиеся самому писцу (или тому, кто прочел его запись) неуместными. Рискнем предположить, что вымараны были слова и кѣназъ (с разделительной точкой в конце). Формула *Богъ и Х* известна по множеству древнерусских текстов, в том числе и в сочетании *вѣдаеть Богъ и Х*; ср. в Ипатьевской летописи под 1288 г.: *Бѣ вѣдаеть и ты, како ти есмь служилъ со всею правдою своею*; ср. там же под 1172 г.: *Бѣ посадилъ та и князь Андрѣи на вѣнѣ своси и на дѣдинѣ въ Киевѣ* [ПСРЛ 2: 555]. Наличие при *Богъ* определения *единъ* не препятствует такой реконструкции; ср. параллель в тексте, хотя и относящемся к иной эпохе, но использующем ту же этикетную формулу: *упование мое един Бог и ты, мой премилостивейший* (Письмо А. Винуса Петру I 1699 г. [ПБИБВ 1: 765]). Реконструируемый исходный вид фразы: *цѣноу же евангелнѣ сего кдинъ бѣ вѣдак (и кѣназъ)*, как кажется, хорошо вписывается в контекст панегирика заказчику кодекса. Можно понять и редактора, устранившего упоминание князя как слишком «заземляющее» пафос высказывания.

дѣи наславѣ . много троудѣ подѣлахѣ
и печали . нѣ бѣ оутѣши ма добрааго къ-
наза мѣтвоею . и тако даи бѣтъ въсѣмъ
людѣмъ оугодна кмоу творити . слы-
шащемъ кго ц(с)рствик пребывающе
въ радости и въ веселии и въ любѣви .
и даи бѣ кго мѣтвоеу въсѣмъ хрѣсти-
яномъ и мѣнѣ хоудомоу наславоу .
правши кго оруднѣ въ правѣдоу .
обрѣсти честь и милость ѡ(т) бѣ и ѡ(т) сво-
кго ц(с)рѣ и ѡ(т) братик . вѣроующе въ
сѣоу тріцу оца и сѣна и сѣго дѣа нѣна
и присно и въ вѣкы вѣкомъ аминѣ .

Как можно видеть, из шести словоформ, в которых этимологический редуцированный находится в сильной позиции, он сохраняется лишь в двух: **сѣпѣсахѣ** и **хрѣсти|яномъ**⁴; в остальных четырех случаях выступает гласный полного образования: **лѣдемъ**, **пришѣдѣ**, **людѣмъ**, **честь**. На таком фоне **хумпѣтъ** предстает как один из примеров систематического для данного текста прояснения сильных еров, и ничто не мешает объяснять его соотношение с формой **финиптомъ** указанным выше способом.

В высшей степени примечательно, что прояснение сильного ь происходит в записи **Наслава** на фоне последовательного сохранения редуцированных в слабой позиции. Не считая позиции на конце слова и в предлоге *въ*, слабые еры сохраняются в 17 случаях из 18 (9 раз в корне, 5 — в суффиксе, 3 — в приставке); единственный пропуск приходится на корень *мьног-*, написание которого без ь может быть орфографической условностью.

Как совместить такую картину с традиционным представлением, согласно которому утрата слабых редуцированных предшествовала прояснению сильных? Это представление опирается на динамику отражения двух процессов в памятниках письменности и в целом заслуживает доверия. В то время как фонетически показательные случаи пропуска слабых еров нередки уже в рукописях первой половины XII в., надежные примеры вокализации сильных до сих приводились лишь из рукописей второй половины столетия. Хрестоматийным источником примеров служит **Добрилово евангелие** 1164 г. Характерно, впрочем, что этот памятник одновременно свидетельствует о полной завершенности процесса в диалекте писца: последовательность, с которой он употребляет *о* и *е* в соответствии с сильными ь и ѣ, приближается к 100% [Малкова 1967]. Это заставляет относить начало прояснения сильных еров к значительно более раннему времени.

⁴ Рассматривать данную позицию как сильную можно, поскольку *ij* в этом слове трактовалось как *vj*, с напряженным редуцированным в слабой позиции, который впоследствии выпадал (*крѣстьяне*).

Наиболее прямолинейным объяснением картины, наблюдаемой в записи Наслава, было бы признать, в духе концепции Г. А. Хабургаева [Хабургаев1976], что в живой речи писавшего редуцированные как самостоятельные фонемы уже отсутствовали и что, последовательно сохраняя *ъ* и *ь* в слабых позициях, Наслав следовал выученным им орфографическим (опирающимся на морфологическую информацию) правилам. О том, что правописание еров в этом тексте действительно включает в себе элемент искусственности, говорят написания *нсъ црѣл. | города* и *нсъ правихъ*, в которых неэтимологические *ъ* естественно трактовать как реакцию на утрату редуцированных на конце приставок и предлогов. Непонятно, однако, почему Наслав, с такой тщательностью соблюдая правила, регламентировавшие употребление слабых еров, и даже переборщив с этим, столь решительно разошелся с традицией, довольно последовательно отразив совершившееся в его речи прояснение сильных редуцированных. С другой стороны, значительно выросший за последние тридцать лет материал берестяных грамот XI — начала XII в. показывает, что позиция Г. А. Хабургаева в данном вопросе была излишне радикальной. В настоящее время никто, кажется, не сомневается в том, что редуцированные фонемы были присущи живой восточнославянской речи древнейшей письменной эпохи.

Оценивая с этих позиций состояние редуцированных в записи Наслава, нужно оговорить, что для рукописей своего времени оно не уникально. Многочисленные примеры прояснения сильных еров на фоне последовательного сохранения слабых М. Б. Попов [Попов 1982: 24–25; 2004: 252–253] отмечает в Толстовской псалтыри (РНБ, Ф.п.1.23), датируемой им первой половиной XII в. (обычно этот кодекс датируется концом XI — началом XII в. [СК XI–XIII: 86])⁵. Сходная картина, с еще более последовательным сохранением слабых *ъ* и *ь*, наблюдается в Евгениевской псалтыри XI в. [Гринкова 1924: 302]. Правда, в интерпретации этих фактов исследователи расходятся: Н. П. Гринкова рассматривала прояснение еров в Евгениевской псалтыри как наследие южнославянского протографа, тогда как М. Б. Попов аналогичные написания в Толстовской псалтыри склонен трактовать как отражение живой речи писца, с чем, по-видимому, связана и предлагаемая им более поздняя дата рукописи.

Тот факт, что оба кодекса с «загадочным» (по определению М. Б. Попова) соотношением сильных и слабых еров содержат один и тот же текст Псалтыри с толкованиями Афанасия Александрийского, склоняет в пользу объяснения Н. П. Гринковой: по всей вероятности, написания с прояснившимися редуцированными действительно восходят к западноболгарскому протографу этих рукописей. Последовательность обозначения в них слабых редуцированных может объясняться действием восточнославянского орфографического «фильтра», отсеявшего имевшиеся в протографе пропуски слабых еров как фонетически неприемлемые.

К оригинальному тексту записи Наслава такое объяснение неприложимо. Если написания *пришедъ, людемъ, честь* Наслав еще мог встречать в книгах, которые

⁵ Благодарю Г. А. Молькова за указание на этот факт.

ему доводилось читать и переписывать, то **химипетъ** в них точно отсутствовал: в древнерусский язык слово было явно заимствовано из греческого устным путем. Существенно также, что у Наслава сильный **ь** проясняется намного более последовательно, чем в Толстовской и Евгениевской псалтырях, — такое соотношение между текстами, переписанными и созданными на Руси, наблюдается лишь в передаче черт живой восточнославянской речи.

Имеет смысл поэтому видеть в записи Наслава свидетельство уже начавшегося на восточнославянской территории прояснения сильных еров. Поскольку этот процесс носил компенсаторный характер, импульсом к его осуществлению могла стать не окончательная утрата слабых редуцированных, но само их фонетическое размежевание в сильных и слабых позициях. Такая интерпретация согласовывалась бы с предположением С. Л. Николаева [Николаев 1996: 210], согласно которому возмездительное удлинение **o* и **e* в слогах перед слабыми редуцированными также происходило раньше утраты последних. Сформулированное на основе диалектных данных, это предположение подтверждается обнаруженными в самое последнее время примерами «нового **ѣ**» в памятниках, созданных не позже начала XII в. и в целом последовательно сохраняющих слабые еры: Бычковско-Синайской псалтыри (где таких написаний всего два) и Учительном Евангелии Константина Болгарского (где они представлены в большем количестве) [Кривко 2015: 47–54]⁶. Раннюю вокализацию сильных редуцированных в записи Наслава можно трактовать как явление того же порядка: она может отражать не окончательное отождествление сильных **ъ** и **ь** с *o* и *e*, но их фонетическое сближение с этими гласными в слогах перед еще сохранявшимися слабыми ерами. Это переходное состояние могло по-разному отображаться на письме — в зависимости от консервативности или же, наоборот, инновационности установки конкретного писца (о множественности таких установок и обусловленном ею разнообразии орфографических практик, сосуществовавших в один исторический период, см. [Живов 2013: 37]). Наслав явно принадлежал к числу «модернизаторов». Это проявилось не только в трактовке им сильных еров, но и в уже упомянутых написаниях **нсъ црѣ. | города и нсъправнѣхъ**, совершенно нехарактерных для большинства восточнославянских рукописей XI — начала XII в.

Стоит обратить внимание и на следующее обстоятельство. Все пять случаев прояснения сильного **ь** в записи Наслава приходятся на предпоследний (по раннедревнерусскому счету) слог, тогда как в двух случаях, где сильный редуцированный занимает иное положение в слове, он сохраняется: **сѣпъсахъ, хрѣсти | ѣномъ**. Такое распределение можно сопоставить с данными, указывающими на то, что процесс утраты слабых редуцированных начался с конца слова. Самым ярким свидетельством этого является берестяная грамота № 644, в которой, при последовательном сохранении срединных слабых еров, дважды отражается отверждение [м'] в конечном **мь*, что могло произойти только после утраты конечных редуцированных

⁶ Отражение «нового **ѣ**» и «о закрытого» просматривается и в необычайно усложненной графической системе Суздальского змеевика, в котором все слабые редуцированные сохраняются [Гиппиус, Зализняк 1997: 552].

[Зализняк 2004: 267]. Сходную картину отражают и некоторые книжные памятники XII в., в частности Стихирарь, ГИМ, Син. 279 [Живов 2013: 36]. Если прояснение сильных еров шло по следам постепенной утраты слабых, то в языке новгородки Нежки, писавшей грамоту №644 (перв. четв. XII в.), они должны были проясниться в предпоследнем слоге и сохраняться в остальных позициях. Именно это мы и видим в записи Наслава, чьей современницей была Нежка. Впечатление прояснения сильных еров на фоне сохранения слабых, производимое этим текстом, может быть и абберацией, вызванной тем, что утрата конечных редуцированных, за редкими исключениями, не находила отражения на письме.

При всей соблазнительности такой трактовки настаивать на ней не приходится — как ввиду малочисленности примеров, так и потому, что, судя по тем же написаниям *нсть цѣмъ | города* и *нсть правихъ*, слабые редуцированные могли утрачиваться в языке Наслава не только на конце фонетического слова, но и в других позициях.

Как бы то ни было, запись Наслава представляет собой древнейший датированный восточнославянский текст, в языке которого находит систематическое отражение прояснение сильных редуцированных. Как и Добрилово евангелие с его почти стопроцентным прояснением сильных еров, ее нельзя признать памятником, характерным для своего времени по данному параметру [Живов 2013: 35]. Но именно такие «нехарактерные» тексты задают опорные вехи хронологии процесса. Кодекс Добрила 1164 г. обозначает момент, к которому прояснение сильных редуцированных на восточнославянской территории — в части диалектов и идиолектов — достигло своего завершения. Запись Наслава, сделанная до 1117 г., а скорее всего, около 1106 г. (см. [Уханова 2006: 21–23]), показывает, к какому времени оно уже началось. Полвека, разделяющие эти даты, соответствуют времени протекания процесса в наиболее продвинутых в данном отношении формах древнерусской речи.

Литература

Гиппиус, Зализняк 1997 — *А. А. Гиппиус, А. А. Зализняк*. О надписях на Суздальском змеевике // Балто-славянские исследования. 1997. М., 1998. С. 540–562.

Гринкова 1924 — *Н. П. Гринкова*. Евгениевская псалтирь как памятник русской письменности XI в. // Известия ОРЯС. Т. 29. 1924. С. 289–306.

Живов 2013 — *В. М. Живов*. Восточнославянское правописание XI–XIII вв. М., 2013.

Жуковская 1983 — Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова; Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.

Зализняк 2004 — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Калугин 1987 — *В. В. Калугин*. Запись Наслава на Мстиславовом евангелии и древнерусская лексика книжного дела // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987. С. 111–117.

Карский 1895/1962 — *Е. Ф. Карский*. Особенности письма и языка Мстиславова Евангелия // Е. Ф. Карский. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 11–26.

Кривко 2015 — *Р.Н. Кривко*. Очерки языка древних церковнославянских рукописей. М., 2015.

Малкова 1967 — *О.В. Малкова*. Редуцированные гласные в Добриловом евангелии 1164 г. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.

Невоструев 1860 — [*К.И. Невоструев*]. Описание евангелия, писанного для новгородского князя Мстислава Владимировича в начале XII в. // Известия ОРЯС. 1860. Т. 9. Вып. 2. С. 65–80.

Невоструев 1997 — *К.И. Невоструев*. Исследование о Евангелии, писанном для Новгородского князя Мстислава Владимировича в начале XII в., в сличении с Остромировым списком, Галичским и двумя другими XII и одним XIII века // Мстиславово Евангелие XII века: исследования. М., 1997. С. 5–649.

Николаев 1996 — *С.Л. Николаев*. Histoire d'O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сб. к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996. С. 203–242.

ПБИПВ 1 — Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1 (1688–1701). СПб., 1887.

Пичхадзе 2003 — *А.А. Пичхадзе*. Финифть // Новое в русской этимологии. I. М., 2003. С. 252–253.

Попов 1982 — *М.Б. Попов*. Некоторые вопросы относительной хронологии изменения редуцированных гласных в древнерусском языке // Проблемы комплексного анализа языка и речи. Л., 1982. С. 22–28.

Попов 2004 — *М.Б. Попов*. Проблемы синхронической и диахронической фонологии русского языка. СПб., 2004.

ПСРЛ 2 — Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998.

СК XI–XIII — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.

Срезневский I–III — *И.И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

СРЯ XI–XVII 1–29 — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011.

Уханова 2006 — *Е.В. Уханова*. К вопросу о месте Мстиславова евангелия в культуре Древней Руси конца XI — начала XII в. // Palaeoslavica. Vol. 14. Cambridge (Mass.), 2006. С. 5–40.

Федорова 2015 — *М.А. Федорова*. Орфография Мстиславова евангелия и проблема узкой датировки памятников раннедревнерусского периода // Вестник СПбГУ. Сер. 9. Вып. 2. 2015. С. 164–176.

Филимонов 1861 — *Г. [Д.] Филимонов*. Оклад Мстиславова евангелия. Разбор древнейших финифтей в России. М., 1861.

Хабургаев 1976 — *Г.А. Хабургаев*. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история русского языка. Ереван, 1976. С. 397–406.

Alexey A. Gippius

*National Research University Higher School of Economics /
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

KHIMIPETŦ OF THE MSTISLAV GOSPELS AND THE JER-SHIFT

A Greek loan-word *химипетъ* occurs in the colophon written by the scribe Naslav in the *Mstislav Gospels* (1103–1117) and denotes byzantine enamels manufactured in Constantinople for the precious cover of the codex. As it is generally recognized, the word renders Gr. *χρυσευτόν*. What needs explanation however is the vowel *e* inserted on the East Slavic ground. A vowel-zero alternation attested by Instr. sg. *хинитомъ* in the Hypatian Chronicle leads to an older *химиньтъ*, but vocalization of a strong jer' seems to be out of time in an early twelfth century manuscript. Surprisingly, it comes out that in the very colophon of Naslav itself this example is accompanied by four more cases of vocalization of strong jers. In an original East Slavic text this pattern can hardly be explained by the scribe's adherence to an artificial South Slavic orthography. *Химипетъ* is particularly demonstrative in this respect since the word was definitely borrowed orally and is could not be found in any Old Church Slavic text. Naslav's colophon appears thus to contain the earliest attestation of systematic vocalization of strong jers in Early East Slavic.

Keywords: Mstislav Gospels, Early East Slavic, orthography, phonetics, jer-shift.

Т. В. Рождественская
Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург, Россия)

ГРАФФИТИ В ЦЕРКВИ СПАСА НА НЕРЕДИЦЕ В НОВГОРОДЕ
(материалы к Своду древнерусских надписей-граффити Новгорода Великого)*

Церковь Спаса Преображения на Нередице в Новгороде (1198 г.) сильно пострадала во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В настоящее время после реставрации на древних участках стен и столбов церкви сохранились многочисленные граффити. В статье публикуются 10 граффити, расположенные на юго-восточном, северо-западном столбах и на северной стене церкви. Данные палеографии и языка датируют эти надписи XIII–XV вв. Они демонстрируют основной репертуар сохранившихся в церкви надписей.

Ключевые слова: древнерусские граффити, средневековая эпиграфика, письменная культура средневекового Новгорода XII–XV вв.

Планомерное обследование граффити церкви Спаса на Нередице было начато мною в 1980-е гг. [Рождественская 1992: 72–101] и продолжено в настоящее время в связи с подготовкой коллективом авторов Свода древнерусских граффити средневекового Новгорода [Гиппиус, Михеев 2013а]. Впервые о надписях на древней штукатурке церкви упомянул во второй половине XIX в. архимандрит Макарий: «...иконопись осталась в Нередицкой церкви от древних времен. Этому, между прочим, могут служить подтверждением надписи XIII в., начертанные по стенам каким-то острием» [Макарий 1860: 496, 502–505]. Тексты двух датированных надписей (1254 и 1279 г.) привел И. И. Срезневский [1863: 233, 236], они вошли в Библиографию русских надписей А. С. Орлова [1936; 1952] и в Свод русских датированных надписей XI–XIV вв. Б. А. Рыбакова [1964: 41, XXV]. В 1910 г. Н. В. Покровский в связи с исследованием росписи Нередицы предположительно связал сохранившиеся

* Автор выражает глубокую признательность Савве Михайловичу Михееву и Алексею Алексеевичу Гиппиусу за критические замечания и советы в ходе подготовки статьи к печати. Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ №13-01-00212а «Подготовка Свода надписей-граффити Новгорода Великого XI–XVII вв. Часть 2» и проекта РГНФ № 16-04-00331а «Лингвистическое исследование и подготовка публикации берестяных грамот и надписей-граффити из раскопок 2012-2015 гг.». Статья продолжает публикацию нередицких граффити в рамках готовящегося Свода: [Рождественская 2015].

граффити в Нередице с временем поновления росписи после 1200 г. [Покровский 1910: 244]. Несколько фрагментов граффити запечатлены на фотографиях фресок, сделанных фотографом Археологической комиссии И. Ф. Чистяковым в процессе исследования и реставрации фресковой живописи церкви, проводившихся с 1910 г. [Пивоварова 2002: 8–14]. Несколько граффити (без фотографий и прорисей) были опубликованы В. П. Яйленко [1987: 157–160] и болгарским исследователем Н. Овчаровым [1995: 179–185]¹. В статье рассматриваются 10 граффити, расположенных на юго-восточном, северо-западном столбах и на северной стене церкви.

Граффити с датами

Надпись 1 (Ил. 1, 1а, 1б)². Южная грань юго-восточного столба

Местоположение: у самого края столба по красному фресковому слою, концы строк частично утрачены³.

Размеры: высота от пола 192 см, от правого края столба 7 см, длина строк 5,5 см, высота надписи 48,5 см.

взъѣс(ψ)пз мца вкѣтѣ з прѣстависѣ ра(взъ) вѣжи Кюрилъ на ꙗма свѣго Сергина а дев(ѣ)
тзи д... жена ѿго прѣстав... сѣм... нина гипомозира воу своѣмоу Кюрилоу и вксени

Прочтение:

Въ ѣѣ с(ψ)пз мца вкѣтѣ з прѣстависѣ ра(взъ) вѣжи Кюрилъ на ꙗма свѣго Сергина а дев(ѣ)
тзи д... жена ѿго прѣстав(и)сѣм W(кс)енина ги помози равоу своѣмоу Кюрилоу и Wксени

Лит.: [Срезневский 1863: 236; Орлов 1952: 63–64; Рыбаков 1964: 45 (текст и фотогр.); Рождественская 1992: 74 (текст)].

В словах *лѣто*, *св(а)т(а)го*, *н(а)м(а)т(ь)* выносные *т* под титлами, как и выносная *б* в слове *вкѣтѣ[ра]*⁴. В публикации в слове *прѣстав(и)сѣм* Б. А. Рыбаков восстанавливает слог *-ла-*, в чем нет необходимости. Имя *Оксения* употреблено в надписи дважды, оба раза с начальной *ω*, при этом во втором случае буква имеет вид *Ѡ*. В первом случае Б. А. Рыбаков восстанавливает форму *Оксиния* с *и*, что противоречит орфографии этого имени в конце текста — *Оксении*. Палеография⁵ надписи

¹ В статье анализируются не надписи, а рисунки-граффити из новгородских храмов Рождества Богородицы Антониева монастыря, Спаса на Нередице, Феодора Стратилата на Ручью, Георгиевского собора Юрьева монастыря и Софийского собора. Автор интерпретирует часть из них как «письменные упражнения, написанные на стенах и свидетельствующие о наличии средневековых скрипториев» [Овчаров 1995: 180]. К сожалению, как статья В. П. Яйленко, так и наши публикации остались автору неизвестны.

² Иллюстрации к настоящей статье размещены на прилагающемся к сборнику компакт-диске.

³ Ввиду того, что надпись состоит из 25 строк, воспроизводим текст в строку с обозначением косой чертой конца каждой строки. Не сохранившиеся, но восстановленные по смыслу буквы даются в квадратных скобках, сохранившиеся частично — в круглых.

⁴ В публикации Б. А. Рыбакова вместо *б* ошибочно *в* [Рыбаков 1964: XXV, 3–4].

⁵ Палеографическая характеристика публикуемых надписей опирается на палеографические таблицы, разработанные А. А. Зализняком для берестяных грамот [Зализняк 2000: 134–429]. Все промеры выполнены И. Ю. Анкундиновым, фотографии — Е. В. Гордюшенковым (Новгородский государственный объединенный историко-художественный музей-заповедник).

характерна для второй половины — конца XIII в.: *ж*, *к*, *в* с уменьшенной верхней частью, *р* целиком помещается в строке, переключина *и* — в верхней части буквы, *ѳ* с выступающей над строкой мачтой [Зализняк 2000: 211]. В имени **W(ксс)нииа** буква **w** с угловатыми, широко расставленными петлями и узким верхом, что часто встречается в начале слова в книжных текстах. После гласного — йотированная **ѣ**. Начальная строка с датой выведена более аккуратным почерком, чем последующие строки, что подчеркивает значимость этой поминальной надписи для ее автора.

Перевод: В год 6787 (1279) месяца октября, 7-го, преставился раб Божий Кирил на память святого Сергия, а (в) девятый день жена его преставилась Оксения. Господи, помоги рабу своему Кирилу и Оксении.

Надпись 2 (Ил. 2, 2а). Южная грань юго-западного столба

Размеры: высота от пола 140 см, длина 25 см, ширина 1–1,5 см.

Сохранность: в настоящее время начало надписи полностью утрачено, сохранились лишь части имени:

...вѣикочу... мавиановичъ

Прочтение:

(прѣстависѧ рабъ) бѣи Коу(з)ма Ивановичъ

Среди иллюстраций к труду И. А. Шляпкина «Русская эпиграфика» (ИИМК РАН, Научный архив, Рукописный отдел, ф. 35, оп. 2) имеется фотография прориси с эстампажа этой надписи:

въ лѣтѣ сѣвѣ мѣца генварѧ кѣ прѣвисѧ рабъ бѣи коузма ивановичъ

Прочтение:

въ лѣтѣ сѣвѣ мѣца генварѧ кѣ прѣ(ста)висѧ рабъ бѣи коузма ивановичъ

Лит.: [Срезневский 1882: 123; Орлов 1952: 63–64; Рождественская 1992: 74].

Надпись содержит дату 29 января 6762 (1254) г. Однако учитывая указание на январь, надпись следует датировать 1255 г. Обозначение дня смерти Кузьмы Ивановича — кѣ (29) — написано над строкой. И. И. Срезневский после числа дня читал под титлом выносную *д* — д(ень) [Срезневский 1882: 123]. В слове *прѣвисѧ* пропущен слог *ста*. Надпись выполнена крупным и четким почерком, выдержана линия строки. Над датой прямые титла. Буквы *з* и *ѣ* написаны особенно тщательно, не без изыска⁶. В целом надпись выдержана в книжной орфографии, в том числе название месяца⁶.

Перевод: В год 1255 29 января преставился раб Божий Кузьма Иванович.

Надпись 3 (Ил. 3). Восточная грань северо-западного столба

Сохранность: надпись состоит из двух строк, начала и концы которых не сохранились, посередине имеется выбоина.

Размеры: длина сохранившихся фрагментов первой строки 11 см, второй строки — 10 см, высота букв 1–1,1 см, ширина 0,5–0,7 см.

⁶ См., например, в [СДРЯ II: 317].

...н̄д̄г̄енвар̄л̄...
...ицъвъски(м)...

Прочтение:

...н̄д̄ г̄енвар̄л̄...
...ицъць въ ски(м)...

Текст сохранился полностью, см. фотографию по прориси с эстампажа И. А. Шляпкина (ИИМК РАН, Научный архив, Рукописный отдел, ф. 35, оп. 2) (Ил. 3а):

вълѣꙗꙗ ѿн̄д̄г̄енвар̄л̄...кѣ прѣстависѣ рабъ бжии севастианъ
черноризцьвъски...ирьскъперѣмилъ

Прочтение:

Въ лѣ(то) ѿ ѿн̄д̄ г̄енвар̄л̄... кѣ прѣстависѣ рабъ бжии
Севастианъ черноризць въ ски[мъ а м]ирьскъ Перѣмилъ

Лит.: [Рождественская 1992: 75, № 17].

Комментарий: на фотографии из архива И. А. Шляпкина отчетливо видно, что буквы кѣ в обозначении дня смерти (29) написаны над строкой. Граффити сообщает о смерти черноризца *Севастьяна*, называется его мирское имя — *Перемил*. Имя *Перемил* известно в летописи по топониму *Перемиль* [НПЛ: 610; ЛЛ: 664], перечисленному среди городов в Волынской земле в списке имен «всѣм градом рускым, далним и ближним», и построено по той же модели, что и имена с префиксом *пере-/прѣ-*: *Переслав*, *Перенѣзь* в берестяной грамоте XII в. № 36 из Старой Руссы [Зализняк 2004: 777].

Перевод: В год 6754 (1246) января 29-го преставился раб Божий Севастьян, черноризец в схиме, а в миру Перемил.

Еще один случай употребления имени *Перемил* содержится в граффити на фрагменте древней штукатурки из раскопок М. К. Каргера в начале 1950-х гг. и П. А. Раппопорта в 1970-е гг. церкви Михаила Архангела в Переяславле Южном (ИИМК РАН, Фотоархив, ф. 0. 2202.50, нег. II. 66934, № 1726–63 [Каргер 1954: 5–30; Малевская, Раппопорт 1979: 30–39]) (Ил. 3б):

г̄ипомъзи
рабоу своему
перемиловини
ваниковина
роковинсоудни
ловингърь
гевина

Прочтение:

г̄и помъзи
рабоу своему
Перемилови и И
ваникови и Ма
рокови и Соудни
лови и Гърь
геви на

Комментарий: надпись процарапана в треугольнике между перекрестьем двух косых линий, процарапанных, скорее всего, по сырой штукатурке. Судя по навершию на конце одной из линий, это фрагмент изображения креста. Молитвенная надпись называет 5 имен: *Перемил, Марк, Иваник, Судил, Гергий (Георгий)*. Два из них нехристианские — *Перемил* и *Судил*. Имя *Судил* известно по новгородской берестяной грамоте № 121 конца XI — начала XII в. [Зализняк 2004: 275, 803], *Судило* — по граффити № 112 XII в. Софии Киевской [Высоцкий 1976: 38]. В последней строке предлог *на* предполагает продолжение типа «на день судный». Все имена имеют флексию Дат. пад. *-ови*. Отметим вставное *о/ъ* в *Марокови*, *ь/е* в *Гьрьгеви*, а также *ъ* — *о* в *помъзи*. По палеографическим признакам надпись может датироваться серединой — второй половиной XII в. Как видим, имя *Перемил*, бытовавшее в это время в Южной Руси, имело хождение и позднее в Новгороде.

Граффити без дат

Надпись 4 (Ил. 1а, 4). Южная грань юго-восточного столба

Местоположение: непосредственно под надписью 1 о смерти Кирила и Оксинии, процарапана более мелким почерком по красному фресковому слою у самого края столба.

Размеры: высота от пола 144 см, расстояние от правого края столба 5,5 см, длина 2–3 см, высота букв 1 см.

Сохранность: состоит из 6 строк, концы строк с повреждениями.

ги
гипо...
зирав...
кѣмч
васил...
ю

Прочтение:

ги
гипо[мо]
зирав[чсво]
кѣмч
Васил[и]
ю

Над *ги* (Господи) в первой строке титла нет, а во второй строке есть. Палеографически надпись может быть датирована временем, для которого характерны з с хвостом, идущим вправо [Зализняк 2000: 169], у с левым отростком и перемышкой [Там же: 189], м с прямыми плечиками. Датировка — начало XIV в.

Перевод: Г(оспод)и, Г(оспод)и, помоги рабу своему Васил(и)ю.

Надпись 5 (Ил. 5). Южная сторона юго-восточного столба

Местоположение: на фресковом фоне, справа от фигуры мученицы⁷, слева от надписи о смерти Кирила и «жены его Оксении».

Сохранность: состоит из 5 строк, начало которых стерто, буквы прочерчены тонким инструментом, есть повреждения в середине строк.

Размеры: высота от пола 159,5 см, расстояние от правого края 18 см, длина граффити 9,5 см, высота букв 3 см.

гипо...зираву своему
 андр...и...грѣшьному
 ...даи ги грѣха оупра
 ви ги дшю мою грѣш
 ...нчю

Прочтение:

ги по[мо]зи раву своему
 Андр[он]и[к]у грѣшьному
 [ѡ]даи ги грѣха оупра
 ви ги дшю мою грѣш
 [ь]нчю

Комментарий: начала первой, второй и четвертой строк разбиты, сохранившиеся буквы затерты, однако поддаются восстановлению. В первой строке восстанавливается слог *мо* в слове *помози*, в начале третьей строки частично сохранились буквы *о*, *д*; в слове *оуправи* диграф *оу* сохранился фрагментарно. В результате начало второй строки читается как *Андронику*. Текст представляет собой развернутую молитвенную формулу-автограф. В конструкции *отдати грѣха* (отдати + Род. пад.) глагол *отдати* обладает свойством аккузативно-генитивной переходности [Крысько 2006: 175–280], см. также в Новгородской Первой летописи: «присла кнзь река тако. аже онанья лишитса посадничьства. ѡзь вамъ гнѣва ѡдам(ь)» ЛН ок. 1330 [СДРЯ VI: 284]. Во фразе *управи душу мою грешную* глагол *управить* имеет значение ‘направить, наставить, дать должное направление’, ср.: «оуправи, вѣдко Хѣ, млтвами мѣнкоу стьзю добродѣтели» Миней 1096 г. [Срезневский III: 1244]. *Палеография:* почерк мелкий, узкий; *a* «плосковерхая», петля с изломом [Зализняк 2000: 153], *ѡ* с коромыслом на уровне верхней границы строки, *х* с уменьшенным верхом и закругленными размашистыми хвостами [Там же: 195]. В слове *своему* *ю* после гласного. Надпись датируется в пределах второй половины XIV в.

Перевод: *Господи, помоги рабу своему Андронику грешному, отпусти, Господи, грех, исправь (приведи в порядок), Господи, душу мою грешную.*

⁷ Н. В. Пивоварова определяет эту фигуру как изображение святой Февронии или Матроны [Пивоварова 2002: 241, 213].

Надпись 6 (Ил. 6, 6а). Южная сторона юго-восточного столба

Местоположение: южная сторона юго-восточного столба, на синем фресковом фоне.

Размеры: высота от пола 140 см, расстояние от правого края столба 27 см, длина 19 см, высота 6,5 см.

Сохранность: буквы с повреждениями, надпись состоит из 3 строк:

Хому^тть^ьожениль
с^л Онд^рьєю мон...
гальта

Прочтение:

Хому^тть о жениль
с^л Онд^рьєю мон[о]...
га льта

Лит.: [Рождественская 1992: 79–80] (последняя строка прочитана не полностью).

Комментарий: надпись замечательна своим содержанием, в ней автор сообщает о женитьбе человека с именем или прозвищем *Хомуть* на *Андреевой*, т. е. на дочери некоего *Ондreja* (*Андрея*). Текст завершается здравицей молодоженам: *многа лета*⁸. Надпись процарапана резкими штрихами, буквы широкие, крупные, с плоским верхом-крышкой, *д* с треугольными крупными по отношению ко всей букве петлями, узкой верхней частью с покрытием, *р* с треугольной петлей, с углом вниз, прямолинейная [Зализняк 2000: 183], *ю* с широкой перекладной. В имени *Хомуть* (в стандартной форме *Хомутьь*) и в слове *о женилься* *ь* в соответствии с бытовой системой письма заменяет новгородское окончание номинатива и л-формы –е; в формах же *Ондрьєю* и *льта* — *ь* — *ть*. *Оженитися* кем-л.: жениться, вступить в брак (о мужчине). Ср.: *wви бо попове wдиною женоу. wженѣвъсѧ служить. А друзии до сѣмье жены поимающе служить. ЛЛ 1377, 40 (988); аще поустить женоу... и оженить(с) друоуго, прелюбы творить. ПНЧ к. XIV, 39а [СДРЯ VI: 95].* Требуется комментария словоформа *Ондрьєю* (*Ондрьєю*). Логично считать ее формой Тв. пад. ж. р. от исходной притяжательной формы *Ондръяя* (?), вопреки ожидаемой закономерной формы *Ондръевага* (*Андреевая*). Возможно, писавший мог пропустить слог –*ва*; возможно, представленная в надписи форма возникла по аналогии от основ на согласный типа Всеволожа(я), Завижая, Давыжая, Иевляя, Иваняя [Зализняк 2004: 839]. Палеографические характеристики, как и л-форма *о женильсѧ* (*ь* = *ъ*) указывают на время не ранее рубежа XIV–XV вв.

Перевод: *Хомуть женился на дочери Андрея. Многа(я) лета!*

Надпись 7 (Ил. 6, 7а). Южная сторона юго-восточного столба

Местоположение: расположена ниже слева от надписи 6.

Размеры: высота от пола 135 см, расстояние от правого края столба 28 см, длина 5 см, высота 1–1,2 см.

⁸ Прочитана С. М. Михеевым.

Сохранность: состоит из 3 строк, от последней строки сохранились 2 буквы:

лазо
рьпса
лзгр
...

Прочтение:

Лазо
рь пса
лз гр...
[амотоу]

Лит.: [Рождественская 1992: 81, № 26].

Комментарий: надпись сделана крупными буквами, з с горизонтальной верхней частью, с развилкой [Зализняк 2000: 169], о уменьшенной формы в виде заостренного овала, а с остроугольной петлей, п широкая. Имя *Лазорь* в стандартной древнерусской огласовке. Палеографическая датировка — вторая половина XIII — первая половина XIV в.

Надпись 8 (Ил. 8, 8а). Южная сторона юго-восточного столба

Местоположение: на зеленом фресковом фоне, слева от предыдущей надписи Лазоря.

Размеры: высота от пола 130 см, расстояние от правого края столба 35 см, длина 9–10 см, высота 1,5 см.

Сохранность: состоит из 3 строк, обведена рамкой, вся перечеркнута косыми линиями слева направо и справа налево.

лазорь
псалзгр
амотоу

Прочтение:

Лазорь
псалз гр
амотоу

Комментарий: по содержанию надпись идентична надписи 7 и, судя по начертаниям букв при небольшой их вариативности, принадлежит той же руке. Под *грамотой* здесь, по-видимому, имеется в виду сама надпись. В принципе не исключено, что автор сообщает о написании какого-то письменного документа — грамоты — неким *Лазарем*. Но поскольку в большинстве случаев авторы древнерусских граффити пишут о себе в 3-м лице, в отличие от южнославянских «писцов», то в данном случае мы имеем дело, скорее всего, с автографом этого *Лазаря*. Этот же текст воспроизведен еще дважды — на северной грани юго-восточного столба. Из палеографических особенностей отмечу форму диграфа *оу* с уменьшенным *о*, изогнутым хвостом *у*, характерную для берестяного письма в пределах 1260–1320-х гг. [Зализняк 2000: 190–191].

Перевод: Лазарь писал грамоту.

Надпись 9 (Ил. 9, 9а, 9б). Северная стена

Местоположение: на поверхности северной стены, в ее западной части, на уровне северо-западного столба, выше человеческого роста.

Размеры: около 160 см от пола, длина 20,5 см, ширина 4,5 см, высота букв 1 см.

Сохранность: сохранилась не полностью; начала строк закрыты реставраторской вычинкой, процарапана очень тонкой иглой в три строки, справа перекрыта рисунком птицы с хохолком на голове в виде четырех черточек и с отростком под клювом, напоминающим петушиный гребень, ниже похожий рисунок еще одной птицы с хохолком и пышным хвостом.

...ДАМЪПЕРВЪИЧВКЪ

...ЪСТАѠМРТВЪИХЪ..

.....ДАЮВАМЪНЕРАЗЪ...

Прочтение:

...(АД)АМЪ ПЕРВЪИ ЧВКЪ

...(В)ЪСТА Ѡ МРТВЪИХЪ(Ъ)

...(ВЪ)ДАЮ ВАМЪ НЕРАЗЪ...

Лит.: [Рождественская 1992: 94, № 49] (вм. (зе?)млю — неделю).

Комментарий: в начале первой строки буквы *ад*, в начале второй *в*, в начале третьей *въ* сохранились частично, последняя строка не закончена, несмотря на то что место для ее продолжения есть. Надпись представляет собой фрагмент реминисценции распространенных в славянской как канонической, так и апокрифической письменности библейских текстов об Адаме — первом человеке. Фраза «вста от мертвых», скорее всего, относится не к Адаму, что противоречило бы богословским каноническим представлениям, а к Христу, который, по-видимому, и назывался в не сохранившемся начале второй строки. Третья строка представляет собой характерную для жанра поучений фразу: «поведаю вам, неразумные», предваряющую обычно цитату из отцов церкви, которая широко использовалась в славянской, в том числе древнерусской, книжной традиции. Третью строку перекрывает рисунок птицы с хохолком на голове, напоминающим гребень петуха. Вполне вероятно, что этот рисунок, как и другой, в непосредственной близости от текста, мог быть как-то с ним связан. Как в таком случае петух мог соотноситься с Адамом, первым человеком, и с Христом, воскресшим из мертвых? Известный мотив ветхого Адама, первого человека, и Христа как Адама нового, мотив его «двойного рождения», присутствующий в надписи в соседстве с рисунком петуха, отсылает к апокрифической загадке-граффити XII в. из церкви Бориса и Глеба в Новогрудке, опубликованной недавно А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым [Гиппиус, Михеев 2013б]. Рассмотрев все существующие в письменной традиции и в украинском фольклоре варианты этой загадки о петухе, который «двоичи рожень»⁹, авторы приходят к выводу, что «инвариантной для всех приведенных текстов яв-

⁹ Текст: «двоичи рожень въ порть тепль а нѣ оучивъ сѧ на часы п(ое)тъ» [Гиппиус, Михеев 2013б: 84].

ляется формула его “двойного рождения”) [Там же: 85]. Но и Адам был тоже рожден «дважды»: во-первых, создан Богом, во-вторых, воскрешен Христом из ада, что явилось его «вторым» рождением. В византийско-древнерусской иконографии известны изображения сюжета «Сошествие во ад» — Воскресение, где Христос протягивает правую руку Адаму, сидящему в аду, что находит соответствие в апокрифических сочинениях на эту тему («Слово в Страстную субботу» Епифания Кипрского, «Слово о сошествии Иоанна Предтечи в ад» Евсевия Александрийского, славянский перевод которых известен с XI в., древнерусский апокриф рубежа XII–XIII вв. «Слово на воскресение Лазаря») [Рождественская М. 2014: 162–163]. В этих текстах Христос спускается в ад, протягивает правую руку Адаму со словами: «сия тя десница создала, сия же тя изведет из ада» [Рождественская М. 2004: 260]. Оговоримся, что предложенное прочтение нередицкой композиции граффити об Адаме и двух изображений птиц — лишь один из возможных вариантов ее интерпретации.

Палеографические характеристики надписи позволяют датировать ее первой половиной — серединой XV в.: буквы *ъ* и *ы* с высокими треугольными петлями, достигающими до верхней точки косой мачты [Зализняк 2000: 205], *е* якорная, лежащая на строке, *ч* с расщепом, V-образная, с отсечками [Там же: 203], *ю* с косой перекладиной, *р* с наклонной вправо мачтой и треугольной петлей основанием вниз, *в* с высокой нижней петлей. Над словом *м(е)ртвыхъ* короткая черта — подобие титла. Титло похожего вида и над словом *чвкъ*. Датировке не противоречит и орфография: в слове *первыи* буква *е* из исконного *ь*.

Надпись 10 (Ил. 10, 10а). Северная грань северо-западного столба

Размеры: высота от пола 160 см, длина строк 13,5 см и 13 см, высота букв 1,2–1,5 см.

Сохранность: начало обеих строк уничтожено выбоиной на поверхности стены, от второй строки сохранились лишь трудно определяемые фрагменты букв.

Лит.: [Рождественская 1992: 91–92, №46] (чтение только первой строки как «горит д(у)ша моя»). Благодаря фотографии из архива И. А. Шляпкина (ИИМК РАН)¹⁰, полностью читается первая строка и часть второй строки:

(w)горетидшемо▲

напвтиемлиши

Прочтение:

...W горе ти дше мо▲

...на пвти емлиши

Комментарий: в настоящее время от начальной буквы *w*, по размеру значительно превосходящей остальные, сохранилась только часть правой петли. От последней буквы во второй строке сохранилась правая часть — фрагмент буквы *▲*.

¹⁰ Фотография любезно предоставлена мне С. М. Михеевым, ему же принадлежит прочтение второй строки.

По-видимому, текст продолжался и на третьей строке, однако ее начало скрыто теперь реставраторской вычинкой.

Палеографические характеристики: *д* с выходящей за вершину треугольника правой частью, с длинными ножками платформы [Зализняк 2000: 161], широкая *л*, с треугольным язычком, вытянутая *и* с косой перекладной — датируют надпись первой половиной XV в.

Публикуемые в статье 10 граффити из церкви Спаса на Нередице демонстрируют основной репертуар сохранившихся на столбах и, в меньшей степени, на стенах надписей.

Среди них особый интерес представляет текст об Адаме «литературного» характера и запись о женитьбе некоего Хомута на дочери Андрея. Отличительной особенностью нередицких граффити является также обилие разнообразных рисунков — человеческих фигур, птиц, лошадок, воинов, всадников, элементов орнамента, декоративных букв, что заслуживает отдельного изучения и публикации.

Сокращения

ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук

Литература

Высоцкий 1976 — С. А. Высоцкий. Средневековые надписи Софии Киевской (По материалам граффити XI–XVII вв.). Киев, 1976.

Гиппиус, Михеев 2013а — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев. О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г.: Доклады российской делегации. М., 2013. С. 152–179.

Гиппиус, Михеев 2013б — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев. Две древнерусские загадки XII–XIII веков из Новгорода и Новогрудка // Храм і люди. Збірка статей до 90-річчя з дня народження Сергія Олександровича Висоцького. Київ, 2013. С. 81–89.

Зализняк 2000 — А. А. Зализняк. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). Т. X. М., 2000. С. 134–429.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Каргер 1954 — М. К. Каргер. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952–1953 гг. // Советская археология. Т. 20. 1954. С. 5–30.

Крысько 2006 — В. Б. Крысько. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006.

ЛЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1997.

Макарий 1860 — *архим. Макарий*. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. 1. М., 1860.

Малевская, Раппопорт 1979 — *М. В. Малевская, П. А. Раппопорт*. Церковь Михаила в Переяславле // Зограф (Београд). № 10. 1979. С. 30–39.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Овчаров 1995 — *Н. Овчаров*. Средневековните скриптории в Новгород Велики според новооткритите рисунки-графити // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения «Професор Иван Гълъбов». Велико Търново, 1995. С. 179–185.

Орлов 1936 — *А. С. Орлов*. Библиография русских надписей XI–XV вв. М., 1936.

Орлов 1952 — *А. С. Орлов*. Библиография русских надписей XI–XV вв. (с доп. М. П. Сотниковой). М., 1952.

Пивоварова 2002 — *Н. В. Пивоварова*. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Иконографическая программа росписи. СПб., 2002.

Покровский — *Н. В. Покровский*. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. СПб., 1910.

Рождественская 1992 — *Т. В. Рождественская*. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI–XV вв. СПб., 1992.

Рождественская 2015 — *Т. В. Рождественская*. Из материалов к Своду древнерусских граффити Новгорода Великого: 13 граффити на юго-восточном столбе церкви Спаса на Нередице // Осмь десѣтъ. Сборник научных статей, посв. 80-летию И. С. Улуханова. М., 2015. С. 506–524.

Рождественская М. 2004 — «Слово на воскресение Лазаря» / Подг. текста и комментарий М. В. Рождественской // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. XI–XII века. СПб., 2004. С. 256–261; 397–398.

Рождественская М. 2014 — *М. В. Рождественская*. «Плач Адама» и «адамический текст» в древнеславянской рукописной традиции // Studia Ceranea 4. Łódź, 2014. С. 159–168.

Рыбаков 1964 — *Б. А. Рыбаков*. Русские датированные надписи XI–XIV веков. Свод археологических источников. М., 1964.

СДРЯ I–X — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–10. М., 1988–2013.

Срезневский I–III — *И. И. Срезневский*. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

Срезневский 1863 — *И. И. Срезневский*. Древние памятники русского письма и языка (XI–XIV веков). СПб., 1863.

Срезневский 1882 — *И. И. Срезневский*. Древние памятники русского письма и языка (XI–XIV веков). СПб., 1882.

Яйленко 1987 — *В. П. Яйленко*. Древнерусские граффити Нередицы как источник бытовой истории Новгорода XIII–XVII вв. // Труды V Международного конгресса славянской археологии. Киев, 18–25 сентября 1985 г. Т. III. Вып. 26. Секция IV. М., 1987. С. 153–163.

Tatiana Vs. Rozhdestvenskaia
Saint Petersburg State University
(Saint Petersburg, Russia)

**GRAFFITI IN THE CHURCH
OF THE TRANSFIGURATION OF THE SAVIOR
ON NEREDITSA IN NOVGOROD**

The Church of the Transfiguration of the Savior on Nereditsa in Novgorod (1198) was severely damaged during the Great Patriotic War (1941–1945). After its restoration, numerous graffiti were found on the walls and pillars of the church. This article analyzes ten graffiti located in the south-east and north-west walls and the pillars on the north wall. The paleography and language of these inscriptions are dated 13–15th centuries. They show the basic repertoire preserved in the church inscriptions.

Keywords: Old Russian graffiti, medieval epigraphy, palaeography, written culture of the medieval Novgorod of the 13–15-th centuries.

С. М. Михеев
Институт славяноведения РАН
(Москва, Россия)

ВЪЛЪКОША И НИКОЛАОСЪ: О ДВУХ ТРУДНОЧИТАЕМЫХ НАДПИСЯХ ИЗ СОФИИ НОВГОРОДСКОЙ*

Заметка посвящена двум настенным надписям новгородского Софийского собора, долгое время не поддававшимся прочтению. Особая сложность прочтения текстов объясняется сочетанием двух факторов: оба граффити имеют повреждения и при этом содержат факты, интересные с филологической точки зрения.

Начало первой надписи (№ 65 по нумерации А. А. Медынцевой) серьезно повреждено. Ранее ее текст был прочтен как (П)[Л]Ъ КОШЖ|ВИЛ|ИЦ | ЧЕТВРЬ|ТЖ^м НЕДЪЛЮ | (ПО В)ЪЗДВИЖ|Н|И] ‘Писал (?) Кошувилец (?) на четвертую неделю по Воздвижении’. Теперь же надпись уверенно реконструируется как сообщение о поставлении церковнослужителя, носившего редкое мирское имя: [В](-)ЛЪКОШЖ | С[ТА]ВИЛИ Ц|ЧЕТВРЬ|ТЖ^м НЕДЪЛЮ | [П](О) [В]ЪЗДВИЖЕ|Н|И](-) ‘Волкошу ставили в четвертое воскресенье после Воздвижения’.

Другая надпись не была опубликована А. А. Медынцевой. Несмотря на плохую видимость неглубоких штрихов граффито и потертость поверхности ее удалось прочесть целиком: НИКОЛАО|СЪ ПРЕЗ, где *през* — оригинальное сокращение от слова *презвитерь*.

Ключевые слова: Новгород, Софийский собор, эпиграфика, граффити, антропонимика, XI–XII вв.

Данная заметка посвящена двум настенным надписям-граффити новгородского Софийского собора, долгое время не поддававшимся прочтению.

Первая надпись находится в дьяконнике собора¹. Она была опубликована в книге А. А. Медынцевой [1978: 69, 232 (рис. 49)]² под № 65 в следующем прочтении³:

* Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ проекта № 16-04-00331.

¹ Местоположение надписи: дьяконник, северная стена левее прохода в алтарь, 3 см от левого края, 36 см ниже современного пола. Стратиграфически надпись датируется 1045–1109 гг., до росписи 1109 г. (подробнее о датировке см. [Гиппиус, Михеев 2011: 37–38]).

² Добавлю, что фотография данной надписи украшает обложку книги А. А. Медынцевой.

³ В квадратные скобки здесь и ниже взяты буквы, сохранившиеся не полностью, а в круглые — чистые конъектуры.

- 1 (п)[л]ъ Кошѣ=
- 2 вил[иц]
- 3 четвь=
- 4 тѣ недѣлю
- 5 (по В)ъздвж=
- 6 н[и]

Воспроизведу краткий комментарий А. А. Медынцевой по содержанию текста: «Хотя надпись сильно повреждена, смысл ее в общих чертах все же можно восстановить по аналогии с надписями такого же содержания: “Писал (?) Кошувилци (?) на четвертую неделю по Воздвижении”. Имена Кош, Кошута известны по более поздним источникам (с XVI в.)» [Медынцева 1978: 69].

Обратимся к оригиналу надписи (рис. 1)⁴.

Как видно по фотографии и прориси, в прочтении А. А. Медынцевой не учтена значительная часть надписи гипотетического Кошувилчи.

Слева от шестистрочной надписи расположена простая монограмма из букв *ч*, *и*, *ж* и *ь*. Как уже отмечалось, эти четыре буквы складываются в имя *Чижьь*, представленное и в других софийских граффити [Гиппиус, Михеев 2013: 155]. Монограмма и рассматриваемая надпись выполнены одним почерком и обведены общей рамкой.

В последнем слове в версии А. А. Медынцевой до лингвистически правильного чтения *Въздвжению* не хватает двух букв — *е* и *ю*. Буква *е* отыскивается в конце пятой строки, а *ю* (или юс большой) могла стоять после *н[и]* в шестой строке, там, где штукатурка несколько повреждена.

Начало надписи сбито, однако ниже скола, перед буквой *в* во второй строке, видны буквы *с[та]*. Прочтение слова *с[та]вили* позволяет заключить, что буква *ц* в конце строки относится к следующему слову *ц|четвь|тѣ*⁵, однако «повторена» в начале третьей строки в виде *ч*, т. е. с исправлением диалектного эффекта цоканья.

Итак, в первой строке стояло какое-то существительное *а*-склонения в винительном падеже, в именительном оканчивавшееся на *-лъкоша*. У левого края скола в начале надписи виден вертикальный штрих в левой части первой буквы этого слова. Судя по небольшому следу косоугольного штриха, отходившего от этой вертикали вправо и вверх примерно на середине ее высоты, здесь должна была быть буква *в*. Между [*в*] и *л* либо не было написано ничего, либо размещалась какая-то одна буква. Если буква [*в*] прочтена верно, то первым словом надписи было личное имя [*В*]лъкошѣ или [*В*](ѣ)лъкошѣ, гипокористика от имени с корнем *Вълк-* ‘волк’⁵.

⁴ Цветные иллюстрации к настоящей статье размещены на прилагающемся к сборнику компакт-диске.

⁵ К сожалению, мы не знаем, было ли это имя записано в старославянской орфографии с *-лъ* на месте древнерусского *-ьл-* либо, наоборот, с новгородским диалектным эффектом «второго полногласия», т. е. произношения *-ьль-* вместо *-ьл-* [Зализняк 2004: 49–50]. Эту дилемму не помогает разрешить и форма *ц|четвь|тѣ*⁵, одновременно содержащая в себе и следы цоканья, и старославянский вариант реализации сочетания редуцированного с плавным в виде *-рь-*. Если в первом слове все же читалось диалектное сочетание *-ьль-*, то писавший поменял языковой регистр

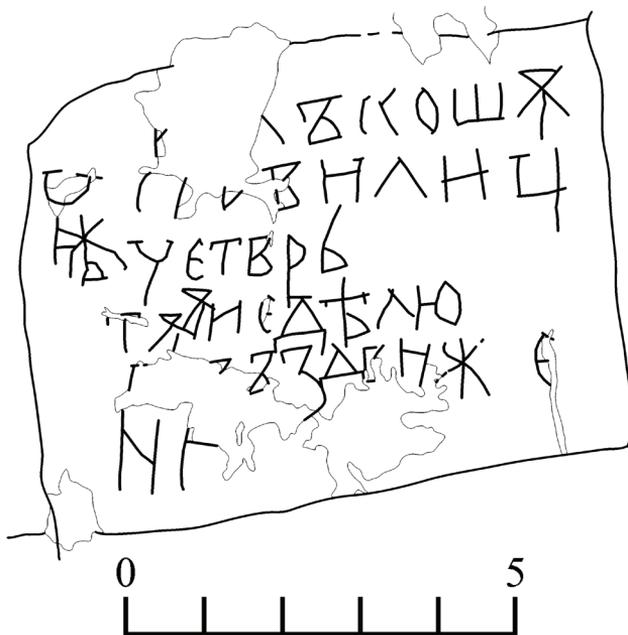


Рис. 1. (Фото А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева, прорись С. М. Михеева)

Бытование в славянском мире имени **Vьlkoša* подтверждается хорватским именем *Wlkosa* в грамоте Белы IV 1253 г. [Tkalčić 1873: 99] и польским топонимом *Wilkożyn* (дзельница (район) в силезском городе Явожно)⁶. По-видимому, более распространенным было сходное имя **Vьlkošъ* мужского склонения, представленное в Гнезненской булле папы Иннокентия II 1136 г. в форме *Vilcos* [Vitel-Wierczyński 1950: 5]⁷, в грамоте оломоуцкого епископа Теодорика 1283 г. в форме *Wlcos*⁸, в сербских документах XIV в. в форме *Вьлкошь* [Грковић 1986: 203], а также в украинском, польских, хорватском и сербском топонимах: *Волкошів* (село в Ровенской области Украины), *Wilkoszewice* (деревня в Лодзинском воеводстве, в Польше), *Wilkoszyce* (деревня в Западном Поморье, в Польше), *Vukoševac* (деревня в Сисакско-Мославинской жупании Хорватии)⁹, *Вукошић* (село в Мачванском округе Сербии).

С учетом предложенных поправок текст надписи приобретает следующий вид:

- 1 [В](-)лькошѣ
- 2 с[та]вили цѣ
- 3 четврѣ
- 4 тѣ^н недѣлю
- 5 [п](о) [В]ъздвижеѣ
- 6 н[и](-)

Сообщение о поставлении Волкоши аналогично записи Стефана о его поставлении иподьяконом в южной галерее Софийского собора: *Стефа|на стави|ли на В(ь)[р]ь|[б]ьницѣ| на|дѣ|акѣмь | амин[ъ]* [Гиппиус, Михеев 2011: 56–57]. Между тем, в отличие от Стефана, написавшего о своем поставлении собственноручно, что подтверждается другим его граффито, автором записи о поставлении Волкоши, по-видимому, был Чиж, оставивший тут же свою монограмму.

Вторая надпись ранее не публиковалась (рис. 2). Она находится в южной галерее собора, недалеко от надписи о поставлении Стефана¹⁰.

с диалектного новгородского на церковнославянский непосредственно на рубеже второй и третьей строки, между *ц* и *ч* в слове *ц|четврѣ|тѣ*⁶.

⁶ Из восточнославянских материалов удалось найти только современную русскую фамилию *Волкошин* и гидроним *Волкошинка* (река на западе Костромской области, левый приток Сентеги, правого притока Костромы, левого притока Волги).

⁷ Менее вероятно, что *Vilcos* (как и *Wlcos* в следующем примере) надо интерпретировать не как *Wilkosz/Vlkoš* (← **Vьlkošъ*), а как *Wilkos/Vlkos* (← **Vьlkošъ*), т. е. имя-усечение от **Vьlkoslavъ* того же типа, что *Борисъ* от *Бориславъ* [Михеев 2009: 200–201, примеч. 303].

⁸ Среди свидетелей названы «*Nrut et Iacobus de Wlcos*» [Boczek 1845: 279], т. е., вероятно, сыновья человека по имени *Vlkoš*.

⁹ Согласно правилам, выявленным А. А. Зализняком [Зализняк 1986: 148–149], имя *Вьлкоша* должно было быть образовано от какого-то двусоставного имени на *Вьлко-*, как имя *Свят-ош-а* — от полной формы *Свят-о-слав-ъ*. Ср. широко распространенные у сербов и хорватов имена *Вьлкославъ* и *Вьлкослава* (совр. *Вукосав*, *Вукосава*) [Морошкин 1867: 44, 52].

¹⁰ Местоположение надписи: южная галерея, северная стена, проем между лопатками, 90 см от правого края, 121 см от пола. Стратиграфически надпись датируется 1045–1144 гг. В 1144 г.



Рис. 2. (Фото А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева, прорись С. М. Михеева)

Трудность прочтения надписи определялась соединением нескольких обстоятельств: надпись выполнена мелко, некоторые ее штрихи очень тонкие, поверхность штукатурки в этой части стены несколько деградировала, кроме того, ряд букв поврежден более поздними царапинами. Как выяснилось впоследствии, дополнительным осложняющим обстоятельством было нестандартное содержание надписи.

Первоначально были опознаны вторая, четвертая и последняя буквы первой строки (*и*, *о* и *о* соответственно) и последовательность *ноез* во второй строке. Несколько лет бесплодных разглядываний оригинала и десятков фотографий и макрофотографий надписи не давали никакой возможности предложить осмысленное прочтение. Все предполагавшиеся версии оставляли неразрешенными проблемы на всех уровнях прочтения: палеографическом (в идентификации букв), грамматическом (в прочтении слов), семантическом (в понимании общего смысла надписи).

Поворотной точкой стало уверенное прочтение первой и третьей букв надписи, после чего было опознано имя *Никол[а]о[[с]ь*, что, в свою очередь, позволило исправить ошибку в прочтении четвертой буквы второй строки, которой оказалась *р*, а не *о*. В итоге полный текст надписи можно представить так:

1 Николао=

2 съ през

Строки надписи имеют одинаковую длину, что указывает на то, что писавший заранее задумал записать слово *през* в сокращенном виде. Перед нами оригинальное сокращение древнерусского слова *презвитерь* / *презвутерь* (от греч. *πρεσβύτερος*)¹¹. Имя *Николаось* написано с сохранением греческого окончания *-ос* и наращением славянского окончания *-ь*¹².

Два приведенных примера демонстрируют, с какими сложностями сталкивается эпиграфист в тех частых случаях, когда надпись сохранилась не целиком и при этом содержит факты, интересные с филологической точки зрения.

Литература

Гиппиус, Михеев 2011 — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Ч. III // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (44). 2011. С. 37–57.

Гиппиус, Михеев 2013 — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора // Письменность, литература, фольклор

рассматриваемая надпись была перекрыта фресковым изображением Деисусного чина, дошедшего до нас с утратами в своей правой верхней части, где и находится надпись.

¹¹ При сокращении этого греческого слова на печатях часто отсекались все буквы после *τ*, иногда — все буквы после *β*, регулярно использовалась монограмма *πρ* вместо букв *πρεσ* [Laurent 1963; 1965; 1972]. Нестандартное сокращение *πρεσ* встречается только на одной печати VIII в. (№ 50 по В. Лорану [Laurent 1963: 44–45]).

¹² Такое двойное окончание встречается в подписях к памятникам декоративно-прикладного искусства, но не характерно для надписей-граффити.

славянских народов. История славистики: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г.: Доклады российской делегации. М., 2013. С. 152–179.

Грковић 1986 — *М. Грковић*. Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку. Београд, 1986.

Зализняк 1986 — *А. А. Зализняк*. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. [Т. VIII:] (Из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986. С. 89–219.

Зализняк 2004 — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004.

Медынцева 1978 — *А. А. Медынцова*. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора: XI–XIV века. М., 1978.

Михеев 2009 — *С. М. Михеев*. «Святополкъ съде в Киевѣ по отци»: Усобица 1015–1019 годов в древнерусских и скандинавских источниках (=Славяно-германские исследования. Т. 4). М., 2009.

Морошкин 1867 — *М. Морошкин*. Славянский именовслов, или Собрание славянских личных имен в алфавитном порядке (=Onomasticon Slavicum seu Collectio Personalium Slavicorum Nominum). СПб., 1867.

Возчек 1845 — *А. Возчек*. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Т. 4: Ab annis 1268–1293. Olomucii, 1845.

Laurent 1963 — *V. Laurent*. Le corpus des sceaux de l'empire byzantin. Т. V: L'Église. P. 1. P., 1963.

Laurent 1965 — *V. Laurent*. Le corpus des sceaux de l'empire byzantin. Т. V: L'Église. P. 2. P., 1965.

Laurent 1972 — *V. Laurent*. Le corpus des sceaux de l'empire byzantin. Т. V: L'Église. P. 3: Supplément. P., 1972.

Tkalčić 1873 — *K. Tkalčić*. Povjestni spomenici Zagrebačke biskupije XII. i XIII. stoljeća. Kn. I. U Zagrebu, 1873.

Vrtel-Wierczyński 1950 — *S. Vrtel-Wierczyński*. Wybór tekstów staropolskich: Czaasy najdawniejsze do roku 1543. Vyd. 2-ie. Warszawa, 1950.

Savva M. Mikheev

*Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

ВЪЛЪКОША AND NIKOLAOSЪ: TWO HARD-TO-INTERPRET INSCRIPTIONS FROM THE ST. SOPHIA CATHEDRAL IN NOVGOROD

The present paper deals with two inscriptions from the Novgorod Saint Sophia Cathedral that had not been given convincing readings. Both graffiti have damages and both contain interesting linguistic material. The combination of these two factors has caused particular difficulties of interpretation.

Serious losses are found at the beginning of the first inscription (# 65 according to Medyntseva's numbering). Previously offered reconstruction is as follows: (П)[Л]Ъ КОШѦ|ВИЛ[ИЦ] | ЧЕТВРЪ|ТѦѦ НЕДѦЛЮ | (ПО В)ЪЗДВИЖ|Н[И] 'Wrote (?) Koshuvilic (?) during the fourth week since the Feast of the Cross'. The new reconstruction interprets the graffito as a message about a newly ordained priest with a rare non-baptismal name: [В](-)ЛЪКОШѦ | С[ТА]ВИЛИ Ц|ЧЕТВРЪ|ТѦѦ НЕДѦЛЮ | [П](О) [В]ЪЗДВИЖЕ|Н[И](-) 'Volkosha was ordained on the fourth Sunday since the Feast of the Cross'.

The second inscription was not published by A. A. Medyntseva. In spite of challenges such as rubbed-off surface and shallow profile of incisions, it has been read in its entirety as: НИКОЛАО|СЪ ПРЕЗ, where *през* is the writer's abbreviation of the word *презвитерь* 'presbyter'.

Keywords: Novgorod, St. Sophia Cathedral, epigraphy, graffiti, anthroponymy, 11th–12th Century.

П. В. Петрухин
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

КОНСТРУКЦИЯ ‘БЫТИ С ПРИЧАСТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ’: ДРЕВНЕРУССКИЙ УЗУС И БИБЛЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ*

Статья посвящена анализу конструкции, состоящей из вспомогательного глагола *быти* в форме прошедшего, настоящего или будущего времени и причастия настоящего времени (как правило, активного). Наиболее употребительными являются сочетания с вспомогательным глаголом в форме имперфекта или имперфективного аориста (*баше/бъ ходѧ*). В восточнославянской письменности данная конструкция характеризует исключительно книжные тексты — как переводные, так и оригинальные. Но если в переводных текстах, по мнению многих исследователей (разделяемому и автором настоящей статьи), она калькирует аналогичные греческие формы, то принципы ее использования в оригинальных памятниках остаются неясными. В статье предлагается подробный анализ семантики и употребления конструкции в двух основополагающих древнерусских памятниках — Повести временных лет и Житии Феодосия Печерского. Также показано, что в употреблении рассматриваемой конструкции книжники ориентировались на образцовые библейские тексты, причем если для составителя Повести временных лет таковым образцом служили прежде всего книги Ветхого Завета, то для автора Жития Феодосия — Евангелия и Деяния апостолов. Поскольку же функционирование причастной конструкции в Ветхом Завете заметно отличается от ее функционирования в Новом, соответствующие различия обнаруживаются и в древнерусских памятниках.

Ключевые слова: книжный древнерусский язык, причастные конструкции, язык Библии, грецизмы, гебраизмы, Повесть временных лет, Житие Феодосия Печерского.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Некоторые аспекты рассматриваемой проблемы обсуждались на конференции Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension (Университет г. Тромсё, Норвегия, 21–22 апреля 2015 г.) и на Семинаре по истории русского языка и культуры ИРЯ им. В. В. Виноградова. Приношу благодарность участникам конференции и семинара за высказанные соображения.

Введение

К числу глагольных конструкций, имевшихся в распоряжении древнерусских книжников, относилось, в частности, сочетание *быти* с причастием настоящего времени, например: *и блхуть грядоуще на нареченою мѣсто* (ЖФП, 56в). Среди прочих древнерусских причастий и причастных форм (не принимая во внимание л-причастия) эту конструкцию отличает то, что она регулярно выступает в книжных текстах в качестве предиката [Večerka 1993: 96]. Данная конструкция могла иметь форму настоящего, прошедшего или будущего времени. Однако примеры в настоящем и будущем относительно редки. Что же касается претеритной формы, то она играла хотя и второстепенную, но все же достаточно заметную роль в древнерусском книжном нарративе.

Рассматриваемая конструкция не имеет общепринятого обозначения в исторической русистике. Мы будем называть ее перифрастической причастной конструкцией (сокращенно: перифрастическая конструкция/форма).

Сфера употребления перифрастической конструкции ограничивалась книжной письменностью. Как отметил В. М. Живов, по степени книжности она выделяется даже на фоне других специфически книжных форм, являясь, например, «существенно более книжной конструкцией, чем дательный самостоятельный» [Живов 2012: 235].

Перифрастическая конструкция в первую очередь свойственна библейским текстам. Здесь славянские переводчики Св. Писания приняли эстафету, стартовавшую в глубокой древности. Широко представленное в еврейской Библии¹, сочетание «быть» с причастием настоящего времени переходит сначала в Септуагинту², затем в греческий Новый Завет (наиболее частотно оно в Евангелии от Луки и Деяниях апостолов)³ и далее в многочисленные библейские переводы, включая Вульгату и перевод Ульфилы. Не являются исключением и древние славянские переводы. Калькой с греческого славянскую конструкцию считают, в частности, А. В. Исаченко [Issatschenko 1980: 87], Б. А. Успенский [2002: 256] и В. М. Живов [2012]. Иного мнения придерживается, например, Р. Вечерка [Večerka 1993: 96]⁴.

¹ Точнее, в древнееврейском используется как конструкция ««быть» + причастие настоящего времени», так и причастие без глагола הָיָה «быть». Семантика в обоих случаях, по-видимому, одинаковая. В Септуагинте обе разновидности древнееврейской формы всегда (насколько я могу судить) передаются конструкцией с глаголом εἶμι, ср. 1 Цар 3: 1: Отрок Самуил служил (ἦν λειτουργῶν — מְשָׁרֵת) Господу при Илии.

² Более 57% примеров в Септуагинте передают соответствующие еврейские формы [Evans 2001: 220–257]. В оригинальной греческой письменности классического периода данная конструкция отсутствует (за редкими исключениями, имеющими, как правило, иную семантику, чем библейская форма).

³ Согласно другой точке зрения, конструкция появилась в греческом разговорном койне вследствие арамейского влияния. Однако и эта гипотеза в определенной степени предполагает влияние Ветхого Завета: поскольку в других греческих источниках данного времени рассматриваемая форма не встречается, ее появление именно в этих текстах не случайно.

⁴ Основной аргумент Р. Вечерки состоит в том, что конструкция обнаруживается в оригинальных славянских памятниках. Кроме того, исследователь ссылается на изредка встречающиеся

Однако на Руси конструкция встречается не только в переводах⁵, но и в оригинальных памятниках, таких как летописи и жития святых. В принципе это не противоречит идее о заимствовании: усвоив некоторую иноязычную форму, пишущий может далее пользоваться ею при порождении новых текстов. В данном случае процессу «адаптации» (в терминах В. М. Живова) способствует то, что усвоение происходит не непосредственно из другого языка, а из переводов, которые выполнены на родном языке пишущего (читающего) и к тому же обладают высоким культурным статусом и находятся всегда на слуху. По наблюдениям В. М. Живова [Живов 2012: 235], в оригинальной письменности «интенсивность употребления данного оборота зависит от того, до какой степени текст ориентирован на тексты основного корпуса (Св. Писания и богослужения), так что, пренебрегая деталями, можно утверждать, что в житиях исследуемый оборот встречается чаще, чем в летописях, а в ранних летописях чаще, чем в поздних».

Следствием калькированной природы рассматриваемой конструкции оказывается ряд особенностей, отличающих ее от большинства временных форм, с которыми имеют дело стандартные грамматические описания. Эти особенности затрагивают основные параметры конструкции — семантику и формальное устройство.

Так, для перифрастической конструкции характерно отсутствие собственной семантической «ячейки» во временной системе: в любом из контекстов она может быть заменена другой временной формой (в прошедшем времени обычно — имперфектом).

В литературе семантика конструкции описывается крайне противоречиво. Иногда ее называют «прогрессивом» (ср. [Issatschenko 1980: 87]). Действительно, внешне конструкция похожа на показатели прогрессива, представленные во многих европейских языках, и может использоваться в соответствующих контекстах. С другой стороны, К. ван Схоневелд [Schooneveld 1959: 141–147] определяет ее значение как «permanent activity» и «permanent quality», другими словами, как хабитуалис и статив. Это резко противоречит первой трактовке, так как прогрессив по определению обозначает однократное действие (процесс) с конкретной временной референцией [Vertinetto 1986: 161–162]⁶. В свою очередь, Р. Ружичка, оценивая конструкцию с позиций пражского структурализма, объявил ее инвариантным зна-

расхождения между греческим текстом и его славянским переводом. Показательно, однако, что среди семи примеров, приведенных Р. Вечеркой, большинство — такие, где греческой перифрастической конструкции соответствует иная форма в славянском переводе, и лишь в двух случаях — наоборот.

⁵ Конструкция представлена не только в Св. Писании, но и в некоторых византийских текстах, в основном агнографического характера. В последних, впрочем, наблюдается лишь спорадическое употребление. Так, в славянском тексте Жития Андрея Юродивого конструкция употреблена 11 раз, причем в десяти случаях в греческом такая же форма и лишь один раз другая — плюсквамперфект (любопытно, что в ЖАЮ имеется и противоположный пример — греческая перифрастическая конструкция, переведенная славянским плюсквамперфектом).

⁶ Исключение составляют «гиперболические» употребления прогрессива типа англ. *He is always smoking*.

чением «интенсивность» («Intensität») [Růžička 1963]. Однако содержание понятия «Intensität» остается неясным.

Между тем поиск инвариантного значения в данном случае едва ли имеет смысл. Дело в том, что полисемия славянской перифрастической конструкции устроена довольно своеобразно. Можно сказать, что у «обычных» (т. е. представленных в разговорных языках) временных форм пространство полисемии непрерывно, а у перифрастической конструкции — дискретно. Имеется в виду следующее.

Полисемию «обычной» грамматической формы в зависимости от теоретической установки можно оценивать, допустим, как сумму контекстно обусловленных вариантов основного значения (в рамках структурализма) или как отражение многоступенчатого диахронического развития (в рамках теории грамматикализации) — в любом случае предполагается, что все значения данной формы органически связаны друг с другом, только структурализм объясняет эту связанность системным устройством языка, а теория грамматикализации — его историей. Иначе обстоит дело с нашей формой. Поскольку она является заимствованием, ее полисемия складывается из тех значений, которые имеются у аналогичной конструкции в образцовых текстах (что, конечно, не исключает впоследствии развития новых значений, отсутствующих у формы-«образца»). При этом, как бы ни была устроена семантика «образцовой» конструкции, для древнерусского книжника она предстает в виде набора отдельных значений, реализующихся в ряде типичных контекстов. Следовательно, вместо поиска «основного» значения семантику перифрастической конструкции нужно представить в виде списка свойственных ей временных и аспектуальных значений.

В формальном плане конструкция также не обладает присущим большинству грамматических показателей единством. Помимо собственно перифрастической конструкции в книжной древнерусской письменности представлено довольно большое разнообразие сочетаний с причастием настоящего времени. Некоторые из них могут трактоваться как морфологические или синтаксические варианты интересующей нас конструкции (ср. примеры в разделе 1.4). По мнению Р. Вечерки [Večerka 1993: 96–97], наличие подобных «вариантов» не позволяет считать рассматриваемую конструкцию цельной морфологической единицей. Однако при таком подходе нам пришлось бы игнорировать значительное количество форм, которые очевидно функционируют как аналитическая конструкция. Более того, в ранней восточнославянской письменности такие формы составляют большинство сочетаний *быти* с причастием настоящего времени, так что их можно считать основной разновидностью данных сочетаний, а остальные разновидности — периферийными.

В настоящей статье мы рассматриваем перифрастическую конструкцию как аналитическую форму. Признаком аналитизма глагольной формы является наличие вспомогательного глагола, утратившего лексическое значение (десемантизированного) и несущего лишь грамматическую информацию, т. е. указывающего на временные, аспектуальные и модальные свойства конструкции, а также на согласование с субъектом (ср. [Heine 1993: 22–24]); вся смысловая нагрузка при этом

ложится на причастие, сохраняющее лексическую семантику исходного глагола. Именно так устроены те сочетания *быти* с причастием, которые мы называем перифрастической конструкцией⁷.

В разделе 1 статьи дается обзор типов сочетаний *быти* с причастием. Он необходим для того, чтобы объяснить, что именно из этого множества мы называем перифрастической причастной конструкцией и какие критерии при этом используем. На основании этих критериев составлены списки перифрастических конструкций в Повести временных лет и Житии Феодосия Печерского, приведенные в разделе 4. В разделе 2 перечислены аспектуальные значения, передаваемые рассматриваемой конструкцией. В разделе 3 охарактеризованы ее основные дискурсивные функции. В разделе 4 анализируется материал Повести временных лет и Жития Феодосия Печерского и основные факторы, определяющие употребление перифрастической конструкции в этих памятниках.

1. Перифрастическая конструкция и другие сочетания с причастием настоящего времени

1.1. И в славянской письменности, и в греческих текстах библейского канона имеются примеры, включающие глагол «быть» и причастие настоящего времени, но не являющиеся перифрастическими конструкциями в принятом здесь смысле. Такие «псевдоперифразы» (по выражению Г. Бьорка) принадлежат не к сфере морфологии, а к сфере синтаксиса. В работах грецистов [Björck 1940; Bentein 2013; Johnson 2010] много внимания уделяется тому, как отличить «подлинные» перифрастические формы от с виду похожих, но иначе устроенных конструкций. Некоторые из обнаруженных в греческом материале типов «псевдоперифраз» встречаются и в древнерусской письменности.

Прежде всего, это такие конструкции, в которых «быть» — не вспомогательный глагол, а лексически «полноценное» слово, имеющее значение 'существовать' и вводящее новый агент (ср. англ. «there is...»). Причастие служит определением к агенту и может быть переведено определительным придаточным, ср.:

(1) Лк 2: 8 і вѣахъ (ἦσαν) пастыри въ тожде странѣ. вѣдаше и стрѣгуще (ἀγρουλοῦντες καὶ φυλάσσοντες) ст(р)ажъ ношъняжъ о стадѣ своемъ [Ягич

⁷ А. А. Потебня отказывает данной конструкции в праве называться «описательной» (т. е. аналитической) на том основании, что: 1) возможны примеры типа *бѣ вельми негома* (Ипат., 1171, 546), где наречие «явственно относится к одному причастию, а не ко всему сочетанию глагола с причастием» [Потебня 1958: 146]; 2) в этом сочетании возможна не только краткая, но и членная форма причастия, ср.: *бѣ Каинъ не вѣды мьценъа приати ѿ Бѣ* (Лавр., 1019, 145, но Ипат., 133: *не вѣды*). Однако первое — не более чем субъективное впечатление А. А. Потебни и в любом случае не решает вопроса. Что же касается членных причастий, то они появляются лишь sporadically, причем доля их возрастает в поздних списках. Так, в Житии Феодосия Печерского (Усп. сб. XII–XIII вв.) на 44 причастия в составе перифрастической конструкции лишь одно членное (*бысть идыи*, 436), а в Чтении о Борисе и Глебе (Сильв. сб. XIV в.) из 13 причастий — 3 членных.

1883: 197]. — Синод. перевод: В той стране были на поле пастухи, которые со-держали ночную стражу у стада своего;

(2) **Градъ ксть Ѡстога отъ кыква града стольнааго .н. поприць** (ЖФП, 27а) — «В пятидесяти поприщах от стольного города Киева есть город» [Творогов 1997б: 355], букв.: «Существует город, который отстоит от стольного го-рода Киева на 50 поприщ»;

(3) **сѣтъ горъы зандуче [в] лѣкѣ морѣ** (Лавр., 1096, 235) — «есть горы, доходя-щие до залива морского» [Творогов 1997а: 265].

Для сравнения приведем перифрастическую конструкцию, где перечисленные выше условия не соблюдаются, так как субъект известен и *быти* семантически «пустое»:

(4) **крѣти же сѣ [Владимир] в цѣркѣи сѣго Василья. и есть цѣрки та стоѣщи въ Корсуниѣ градѣ** (Лавр., 987, 111) — «Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града» [Лихачев 1996: 187].

Некоторые типы «псевдоперифраз» более характерны для греческого языка, чем для древнерусского. Прежде всего, это конструкции, где причастие передает не действие, а признак и, следовательно, «быть» не вспомогательный глагол, а связка, соединяющая субъект с атрибутом, ср. Лк 13: 11 *Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться* (ἡν συκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι). Согласно [Johnson 2010: 138], «[a] paraphrase might be “she was doubled over and powerless to stand erect.” There is no action taking place, merely the explanation of a condition. Indeed... this is the only New Testament use of συκύπτουσα, which is a medical term for a curved spine». В древнерусском подобные употребления затруднены, поскольку древнерусские причастия, как правило, имели глагольную, а не адъективную семантику. Как пишет А. А. Зализняк [Зализняк 2004: 134], «[п]о своей синтаксической функции причастия типа *могѣ*, *ходѣ* и типа *прошьдѣ*, *бывѣ* в целом сходны с нынешними деепричастиями, отличаясь от них, однако, тем, что согласуются со своим агенсом в числе и роде. Таким образом, эти несклоняемые причастия могут быть также квалифицированы как “согласуемые деепричастия”».

1.2. Особую проблему составляют причастные конструкции с обстоятельством места. Их синтаксическая трактовка зависит от того, относится ли обстоятельство ко всей конструкции или к одному глаголу «быть»: в первом случае речь идет о перифрастической форме, во втором — о синтаксическом сочетании, в котором глагол «быть» имеет значение ‘находиться где-либо’, а причастие вносит дополнительную информацию⁸. Проблема в том, что синтаксическая принадлежность обстоятельства однозначно устанавливается лишь там, где обстоятельство стоит

⁸ Согласно типологическим данным, из подобных конструкций развиваются аспектуальные показатели прогрессива, включающие стативный вспомогательный глагол, ср.: «a progressive

после причастия, как в примере (4): здесь ясно, что обстоятельство относится ко всей причастной конструкции и, следовательно, перед нами аналитическая форма. Если же обстоятельство стоит перед глаголом «быть» или между ним и причастием (которое обычно следует за глаголом «быть»), синтаксис остается неясным⁹. Так, фразу

(5) **си вѣша въ пещерѣ молаще ѿ ба** (ЖФП, 33в)

можно трактовать как: 1) они молились Богу в пещере; 2) они пребывали в пещере, молясь Богу.

Аналогично во фразе

(6) **Градъ кѣтъ ѿстога отъ кыква града стольнаго .н. попрыщъ.) въ томъ вѣста родителя стго. въ вѣрѣ крѣтианьствѣ живуща** (ЖФП, 27а) —

если допустить, что *въ томъ* относится к *бѣста*, а *въ вѣрѣ крѣтианьствѣ* — к *живуща*, то перед нами синтаксическая конструкция (ср.: «В нем и жили родители святого, исповедуя веру христианскую и славясь всяческим благочестием» [Творогов 1997б: 355]), если же оба обстоятельства относятся к *живуща*, то это аналитическая форма. Теоретически есть третья возможность — что причастие является определением к *родителя* («родители святого, исповедовавшие христианскую веру»), но в этом случае ожидалось бы причастие прошедшего времени (*живши*).

В дальнейшем при подсчетах я условно включаю неоднозначные конструкции в число перифрастических форм. Поступая так и отдавая себе отчет в том, что это решение (впрочем, как и противоположное) является довольно произвольным, я исхожу из того, что, вообще говоря, в русском языке деепричастия не могут зависеть от глагола «быть» (в том числе в значении 'находиться где-либо'), ср.: **Они были в пещере, молясь Богу*, в отличие от вполне допустимого *Они скрывались в пещере, молясь Богу* или *Они пребывали в пещере, молясь Богу* (ср. раздел 1.6). Нет оснований думать, что в древнерусском языке дело обстояло иначе.

1.3. Особую разновидность сочетаний «быть» с причастием настоящего времени составляют отрицательные конструкции типа *нѣсть кто воды нося* (ЖФП, 42б). Ср. также:

(7) **По смѣрти же великаго князѣа Болеслава. не выѣ кто княжа в Ладьской землѣ. зане не выѣ [так!] оу него сна** (Ипат., 1280, 881).

Для таких употреблений также имеется образец в Библии:

(8) 1 Цар 14: 26 Но никто не протянул руки своей (οὐκ ἦν ἐπιστρέφων τὴν χεῖρα αὐτοῦ) ко рту своему.

involving a stative auxiliary always derives from a construction which originally included an element with a locative meaning» [Bybee et al. 1994: 131].

⁹ Исключения составляют контексты, где причастие семантически «тавтологично» по отношению к глаголу «быть», как в *Болеславъ же бѣ Киевѣ сѣда* (Лавр., 1018, 143).

Ввиду специфики данной конструкции она не включена в статистику перифрастических форм.

1.4. Некоторые разновидности сочетаний *быти* с причастием, по-видимому, восходят к перифрастической конструкции или же представляют собой ее синтаксически усложненный вариант. Поскольку такие конструкции все же заметно отклоняются от «прототипа», они не включены в списки форм в разделе 4 статьи.

Прежде всего речь идет о примерах, где причастие находится в одном ряду с прилагательными, согласующимися с тем же глаголом *быти*. В ранних памятниках такие конструкции редки, затем их число возрастает. Всего в ПВЛ встретилось семь таких примеров¹⁰, в ЖФП — один, ср.:

(9) бѣ во Глѣбѣ мѣтивъ оубогымъ. и страннолюбивъ. тцанькѣ имѣа к црквамъ теплѣ на вѣрѣ. и кротокъ. взоромъ красенъ (Лавр., 1078, 199);

(10) бѣ же Изаславъ мѣжъ взоромъ красенъ. и тѣломъ великъ. незлобивъ нравомъ. криваго ненавидѣ. люба правдѣ. не бѣ во в нѣмъ лсти. но простъ мѣжъ оумо^а. не вздаа зла за зло (Лавр., 1078, 202);

(11) (и бѣ по всѣа днѣ бѣжствѣноу слоужьбоу сѣвѣршаа сѣ всакымъ сѣмѣреннѣмъ.) бѣше во кроткѣ нравѣмъ и тихѣ сѣмыслѣмъ. и простѣ оумѣмъ и доуховныа всѣа моудрости испълненѣ любѣвѣ же непорочноу имѣа къ всѣи братни (ЖФП, 35в).

Иногда причастие настоящего времени при помощи союза *и* присоединяется к плюсквамперфекту, как бы одалживая у последнего вспомогательный глагол. Хотя такие примеры с эллипсисом вспомогательного глагола редки, они не производят впечатления ошибок, ср.:

(12) и нача Василко глѣти к Дѣдѣ. и не бѣ в Дѣдѣ гла^с ни послѣшаньа. бѣ во Ѹжаслѣсѣ. и лѣстѣ имѣа въ срѣци (Лавр., 1097, 259);

(13) (Братни же врата затворивъшемъ. и никого же поусташемъ по повелѣнню блаженааго. и бѣша присѣдаше надъ нимъ. и ожидающе донѣде же разидоуть сѣ людикѣ. и тако того погревоуть. тако же самъ повелѣ) бѣша же и болгарѣ мнози пришлѣи. и ти прѣдѣ враты стоаше (ЖФП, 64в).

¹⁰ В [Петрухин 2012: 241] высказано предположение, что в рассказе ПВЛ о молодых годах князя Святослава Игоревича первоначально содержалась перифрастическая конструкция *бѣ льгько ходѣ* 'ходил налегке'. Фрагмент, о котором идет речь, имеет различный вид в Лаврентьевской (964, 64), Ипатьевской (52) и Новгородской (Н1Л Ком., 117) летописях. В связи с этим была предложена следующая реконструкция: *Къназю Свѣтославу възрастѣшю и възмоужавшю, нача воѣ сѣвѣкоуплати мѣногы и храбры, бѣ во и самъ храбрь и льгько ходѣ: акы пардоусѣ, вонны мѣногы твораше [ходѣ], [а] возъ по собѣ не возаше, ни котѣла... Вместе с этой гипотетической конструкцией в ПВЛ будет 8 примеров с «дистантным» расположением *быти* и причастия.

1.5. Существуют также конструкции с пассивным причастием настоящего времени, ср.:

(14) Мф 8: 30 **бѣ же тѣ**. стадо свинни мѣного **пасомо** (ἦν βοσκομένον) **въ горѣ** (OE, 99a).

Можно отметить несколько отличий пассивной конструкции от активной: 1) как пишет В. М. Живов [Живов 2012: 236], «[и]х калькированная природа не столь очевидна, как в случае оборотов с действительными причастиями»; в самом деле, хотя употребление пассивной конструкции могло в какой-то мере ориентироваться на употребление соответствующих форм в образцовых текстах, сама по себе она вряд ли была чуждой славянскому языку; 2) как следствие, судьбы активной и пассивной форм различны: пассивные формы данного типа присутствуют в русском языке по сей день; 3) среди пассивных форм высока доля таких, где причастие имеет атрибутивное значение, ср. пример В. М. Живова [Там же]: «И тако бѣ рука его *простерта* къ требующим, яко река многоводна и тиха струями» [БЛДР VI: 356]; 4) если активная конструкция всегда выступает как «перифраза» другой временной формы (обычно — имперфекта), то пассивная, как правило, не может быть заменена другим грамматическим показателем без изменения смысла.

Тем не менее, в языковом сознании древнерусских книжников пассивные конструкции, по-видимому, в той или иной степени ассоциировались с активными. Так, в одном из эпизодов ЖФП активная и пассивная формы описывают одну и ту же ситуацию (пассивная форма выглядит как трансформация активной):

(15) **сърѣте и того оубога въдовица. таже бѣ ѿ соудни обидима** (ЖФП, 61в);

(16) **тако же томоу посъславъшу възвратити тон. имъ же бѣ обида ю** (ЖФП, 61г).

В настоящей статье я, вслед за В. М. Живовым [Живов 2012: 236, примеч. 2], не включаю пассивные формы в статистику перифрастических конструкций. Однако это техническое решение не означает, что пассивные формы полностью игнорируются; напротив, всесторонний анализ, безусловно, должен их учитывать.

1.6. Наряду с конструкцией 'быти + причастие' в древнерусской письменности используется аналогичная конструкция с глаголом *пребыти/ пребывати*. Она синонимична конструкции с *быти*, но диапазон ее значений уже: обе формы используются в хабитуальных контекстах и с обстоятельством длительности, однако прочие значения перифрастической конструкции (см. раздел 2 статьи), в частности значение прогрессива¹¹, для нее не характерны.

¹¹ К редким исключениям принадлежит фрагмент Чтения о Борисе и Глебе: *Она же не послуша ихъ, нъ прибываше (вар.: пребываше) въ храмъ своємъ дѣлающи. И се внезапно възъѣхаша триє мужи на дворъ юа в бѣлахъ ризахъ* (Сильв. сб., 113а).

С обстоятельством длительности используется глагол СВ *пребыти* в форме аориста:

(17) сице же пребысть двѣ на десате лѣтъѣ или боле творя (ЖФП, 296).

В хабитуальных контекстах используется глагол НСВ *пребывати* в форме имперфекта:

(18) И тако паки по вса дни прѣбываше. братию оуча и оутѣшал. и запрѣщала же никакоже раслабѣти (ЖФП, 55в).

Следующий пример демонстрирует синонимичность обеих конструкций в хабитуальном контексте:

(19) се же тако же и ѿ оученикъ своихъ многашьды оукоризны и досажениа томоу примати. нъ оваче онъ ба мола за вса прѣбываше. и кше же и о хоудости ризнѣи мнози ѿ невѣглас оусмихающе са томоу роугахоутъ са. онъ же и о томъ не поскърьвѣ нъ бѣ радоуа са о пороугании своимъ. и о оукоризнѣ (ЖФП, 61б–в).

Как и в случае перифрастической конструкции, обстоятельство места при глаголе *пребыти/пребывати* может затруднять интерпретацию, так как в подобных контекстах бытийный глагол может означать ‘находиться где-либо’, ср.:

(20) тоу же пребысть въ немъ (в храме) до оутрънаа млтвы творя (ЖФП, 38в) — ср.: «и, запершись, остался там до заутрени, творя молитвы» [Творогов 1997б: 383].

В древнерусской письменности данная конструкция встречается реже, чем конструкция с *быти* . Так, в ПВЛ есть лишь один пример:

(21) и повѣлѣ кормити и. и не водити его к немѹ. и пребывѣ (Рад.: *пребы* ; Акад.: *пребы* ^с) нѣколко лѣтъ. не дѣа его дондеже и на Грѣкы. иде (Ипат., 912, 29) — Ипатьевский список очевидно искажает первоначальное чтение, сохраненное в Радзивиловском и Академическом списках; в Лаврентьевской летописи фрагмент отсутствует.

В ЖФП такие конструкции используются чаще (9 примеров)¹², но все равно их примерно в 4 раза меньше, чем конструкций с *быти* .

Для древнерусских книжников оба сочетания, по-видимому, выступали как взаимозаменяемые варианты — с той разницей, что сочетание с *быти* было

¹² Список примеров: сице же пребысть двѣ на десате лѣтъѣ или боле творя (296); пребысть въ немъ хоудало мало дъни (30б); онъ же прѣбываше тако ничсо же скърьвна ѿ него прикма. тѣлоу своимѹ (30в); прѣбываше по вса дни оутѣщаваа мѣрь свою (32г); тоу же пребысть въ немъ до оутрънаа млтвы творя (38в); и тако же по вса дни прѣбываше плача и мола ба кго ради (49в); И тако паки по вса дни прѣбываше. братию оуча и оутѣшал. и запрѣщала же никакоже раслабѣти (55в); И тако прѣбываше не дадын себѣ покоа... мола ба и того призываа помощь... обихода... огражаа (57б); нъ оваче ба мола за вса прѣбываше (61б–в).

основным, а с *пребыти/пребывати* — факультативным. Возможно, здесь намечалась тенденция к формальному разграничению 1) сочетаний со значением прогрессива и 2) сочетаний, обозначающих хабитуальные ситуации и ситуации, ограниченные по времени. Однако если эта тенденция и имела место, то проводилась она непоследовательно, о чем свидетельствует ЖФП.

Сочетание с *пребыти/пребывати* не включено в списки перифрастических конструкций в разделе 4, но учитывается при разборе материала.

2. Семантика перифрастической конструкции

Имперфективные значения

Прогрессив

«Прогрессивом» может называться семантическая категория и формальный грамматический показатель. Эти явления не всегда совпадают: в языках, имеющих грамматический показатель прогрессива, последний может использоваться и в высказываниях, нехарактерных для прогрессива как семантической категории. Набор значений, покрываемых формальным «прогрессивом», довольно сильно варьирует от языка к языку. В нашем случае особенно важно разграничивать формальные и семантические явления, так как перифрастическая конструкция может передавать совершенно разные аспектуальные значения. В данной статье, говоря о «прогрессиве», мы имеем в виду только семантическое понятие.

Вслед за П.-М. Бертинетто [Bertinetto 2000] мы различаем «фокусированный» и «дуративный» прогрессив. «Фокусированный» прогрессив («focalized progressive») обозначает ситуацию, которая разворачивается в момент, называемый П.-М. Бертинетто «точкой фокусирования» («focalization point»), ср. примеры¹³:

(22) Деян 5: 25 **Пришьде же етерь, повѣди имь: ꙗко се, моужне, еже всадисте въ тьмницюу, соуть въ цркви, стоеще и ѹчеце** (εἶσιν ἐστῶτες καὶ διδάσκοντες) **люди** [Kałużniacki 1896: 11]¹⁴ — сообщается о событиях, происходящих в данный момент; точка фокусирования — момент прихода «вестника»;

(23) Деян 10: 24 **И въ ѹтрѣи внидоу въ Кесарию. Корниль же вѣ чае** (ἦν προσδοκῶν) **иухъ, съзвавъ родъ свой и трѣвальшее дроуги.** [Kałużniacki 1896: 24] — Корнилий пребывал в ожидании Петра и его спутников в момент их прихода в Кесарию.

Дуративный прогрессив («durative progressive») соотносит описываемую ситуацию не с «точкой» на временной оси, а с отрезком, на протяжении которого ситуация

¹³ Многочисленные древнерусские примеры со значением прогрессива приведены в разделе 4 статьи.

¹⁴ В основу издания Калужняцкого положен Христинопольский апостол XII в., лакуны (как в этом и следующем примерах) восполнены по сербской рукописи XIV в. РНБ, собр. Гильфердинга, № 14.

непрерывно длится. В нашем материале (как, по-видимому, и в западноевропейских языках) дуративный прогрессив используется реже, чем «фокусированный». Примеры:

(24) Лк 24: 32 **нѣ сръдѣце ли наю гора бѣ** (καλομένη ἦν) **въ наю. кгда глааше къ нама на пжти** (ОЕ, 5d) — Разговор Иисуса с апостолами — время, в течение которого длилось состояние, обозначенное перифрастической конструкцией;

(25) Деян 22: 20 **И кгда изливаше сѧ крѣвь Стефана, съвѣдѣтеля твоего** (sic!), **и азъ бѣхъ стои и наоущаа** (ἦμην ἐφεστῶς καὶ συνευδοκῶν) **на оубниство кго и стрѣгыи** (φυλάσσων) **ризы оубнивающихъ** [Kałużniacki 1896: 45].

Хабитуалис

Хотя славянская перифрастическая конструкция может передавать значение прогрессива, она не является грамматическим показателем прогрессива. Поэтому данная конструкция может, среди прочего, обозначать и повторяющиеся на протяжении длительного времени ситуации¹⁵:

(26) Мф 24: 38 **ѣко бо бѣхѣ въ дѣни прѣжде потопа. ѣдѣще и пыжшѣ. женѣце сѧ и посагажшѣ.** (ἦσαν τρώγοντες καὶ λίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκυαμίζοντες) **до негоже дѣне вѣниде ноѣ въ ковчегъ** [Ягич 1883: 90].

Статив

Перифрастическая конструкция может образовываться от стативных глаголов:

(27) Деян 2: 5 **Бѣхуѣ же въ Єрѣлѣмѣ живоуще** (ἦσαν κατοικοῦντες) **Июдѣне, моужни говѣни, ѡт всего езика иже подь нѣсемь** [Kałużniacki 1896: 3];

(28) **бѣ во Володимеръ любѧ дружинѣ. и с ними дѣмаа ѡ строн земленѣ. и ѡ ратехъ и [о] оуставѣ земленѣ^а. и бѣ живѧ съ князи школними миромъ** (Лавр., 996, 126).

Особого внимания требуют конструкции с глаголами *сидеть*, *лежать*, *стоять*. Как показала Е. В. Падучева [Падучева 2011: 128], при наличии одушевленного субъекта эти глаголы относятся к таксономическому классу глаголов динамической деятельности¹⁶; соответственно, в этом случае они легко принимают значение прогрессива, ср.:

(29) Мк 2: 6 **бѣдахѣ же єдини отъ кѣнижъ[нижъ]никъ тоу сѣдѣшѣ.** (ἦσαν καθήμενοι) **и помышлѣжшѣ въ сръдѣцихъ своихъ.** [Ягич 1883: 120] — ср. англ. перевод: Now some of the scribes were sitting there asking themselves;

¹⁵ Древнерусские примеры приведены в разделе 4.

¹⁶ Ср.: «...казалось бы, эти глаголы обозначают статическую ситуацию, и в таком случае они составили бы уникальный класс, сочетающий статичность с контролируемостью... На самом деле, однако, язык трактует стояние, сидение, лежание как деятельности — требующие затраты энергии и, в силу этого, динамические... Затрата энергии, нормально характеризующая динамическую ситуацию, оказывается более существенным признаком, чем наличие качественно различных временных фаз» [Падучева 2011: 128].

(30) постигши бо нощи сѹботнѣи. вземше оружье тако звѣрьє дивини. придоса идеже **бѣ** **влѣжнѣи** **кнѣзѣ**. **лежа** в ложници. и силою Ѡломиша дѣвери оу сѣбнии (Лавр., 1174, 369) — согласно рассказу Суздальской летописи, убийцы настигли Андрея Боголюбского в момент, когда князь почивал в своих покоях.

Напротив, в рассказе о Вещем Олеге глагол *лежати* имеет неодушевленный субъект и является стативом. Стативные глаголы по определению плохо сочетаются с прогрессивом (некоторые глаголы не сочетаются вовсе), поэтому в данном примере значение прогрессива отсутствует:

(31) и прѣха на мѣсто идеже **вдоху** **лежаще** кости его голы и лобъ голъ (Ипат., 912, 29).

Впрочем, в некоторых языках (например, английском) прогрессив может образовываться от стативных глаголов, если речь идет о временной ситуации [Bertinetto 2000: 584] (к примеру (31) это явно не относится). Также в контексте прогрессива стативные глаголы могут иметь особое значение, ср. пример (48).

Перфективные значения

Перфективные значения менее характерны для перифрастической конструкции, но тоже возможны. В этом случае вспомогательный глагол *быти* выступает в виде аориста¹⁷. Перифрастическая конструкция встречается в двух типах перфективных контекстов:

а) Контекст ограниченной длительности:

(32) звѣзда восита на западѣ. испущающи луча... и **бѣ** **блистающи**. днии . к . (Лавр., 1065, л. 55об.)¹⁸;

(33) югда же и несмхутъ к гробу. дивно знаменьє **бѣ** на нѣси. и страшно. **бѣша** . г . слнца **сияюща** межн собою. ...и стояша знаменьа та. дондеже похорониша и (Лавр., 1141, 309).

Примеров аналогичного (т. е. с аористом от *быти*) употребления перифрастической конструкции в Библии обнаружить не удалось, ср.:

(34) Деян 16: 12 **Блаховѣ** **же** **въ** **томъже** **градѣ** **живоуще** **дний** **голѣмо**¹⁹ (ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς) [Kałużniacki 1896: 38] — «В этом городе мы пробыли несколько дней».

¹⁷ Однако сочетания с аористом от *быти* не всегда имеют перфективное значение, ср.: и **такъ** **бысть** **идын** **поутѣмь** (ЖФП, 436), где нет оснований для перфективной интерпретации (едва ли можно перевести: «и когда он отправился в путь»).

¹⁸ Конструкция из перфективного вспомогательного глагола и причастия настоящего времени, употребляющаяся только в контексте обстоятельства длительности, представлена в испанском языке: *Pedro estuvo dormiendo todo el día* [Bertinetto 2000: 570–571].

¹⁹ Согласно SJS, *голѣмо* здесь означает 'несколько'.

б) Ингрессивный контекст:

(35) Быт 26: 34–35 **Бѣаше же Исавъ, ꙗко лѣтъ и поятъ женоу Идифъ дъщерь Вееровоу Хеттеина. и Семей дъщерь Еломлю... И бы** (вар.: **выста**) **ревнѣющи** (вар.: **досажаящи**) (ἦσαν ἐρίζουσαι — פָּרַר מְרַמֵּן יִרְיָה) **Исакови и Ревецѣ.** [Михайлов 1900–1908, III: 200];

(36) Мк 1: 4 **высть** **иоанъ кръста въ пꙋстыни** и **проповѣдава** (ἐγένετο βαπτίζων καὶ κηρύσσων) **кръщенникъ покаитию** (OE);

(37) **ωпꙋстѣша села наша и города наши. въ хото бѣгаючи** **преа** **врагы нашими** (Лавр., 1093, 74);

(38) **и прозѣрѣ. и высть видя** (Усп. сб., 22в);

(39) **Архиепископъ же, то слышавъ, ѹжасенъ сы высть** [Абрамович 1916: 18].

3. Дискурсивные функции перифрастической конструкции

Согласно [Johnson 2010], перифрастическая конструкция в Новом Завете является прежде всего дискурсивным показателем. Одна из ее основных функций (бывшая, очевидно, особенно актуальной, когда в Евангелиях отсутствовало деление на главы) заключается в структурировании текста, а именно в том, чтобы: 1) отмечать начало эпизода; 2) отмечать конец эпизода и/или связывать между собой соседние эпизоды. Ср. начало эпизода:

(40) Лк 11: 14 **и бѣ изгнанъ** (ἦν ἐκβάλλων) **бѣсть и тѣ бѣ нѣмъ. выстѣ же бѣсоу изгнаноу прогла нѣмъ. и дивѣахъ сѧ народи** [Ягич 1883: 247] — показатель, что в Синодальном переводе фраза начинается с «однажды» («Однажды изгнал Он беса...») — наречия, обычно открывающего новый рассказ (в греческом ничего подобного нет: Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον...).

Конец эпизода (и главы):

(41) Лк 4: 44 **и бѣ проповѣдава** (ἦν κηρύσσων) **на съньмиштихъ галилѣнцѣхъ** [Ягич 1883: 210];

(42) Лк 24: 53 **и бѣахъ въинжъ въ църкъви. хвалаще и благословаще** (ἦσαν αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες) **ба** (OE, 45b–c).

Перифрастическая конструкция может также указывать на приближение важного события, как бы подготавливая к нему читателя («the periphrastic imperfect of Koine Greek²⁰ serves to stress background information that is of greater importance to the narrative than that of the simple imperfect» [Johnson 2010: 46]). В связи с этим Джонсон использует термин «подчеркнутый фон» («highlighted background»). Например,

²⁰ В действительности речь идет только о Новом Завете, точнее о двух текстах из него — Евангелии от Луки и Деяниях апостолов.

в рассказе об отречении апостола Петра важны не сами обстоятельства, обозначенные причастной формой, а то, что за ними последовало:

(43) Ин 18: 25 **Бѣ же симонъ петръ стояа і грѣша сѧ.** (ἦν ἐστὼς καὶ θερμαινόμενος) **рѣша же емоу. еда і ты отъ оученикъ его еси. онъ же отъврже сѧ. і рече нѣсмь.** [Ягич 1883: 390].

Употребления, маркирующие начало и конец эпизода, характерны не только для Нового, но и для Ветхого Завета. Так, следующие фразы открывают новый эпизод (и главу):

(44) 1 Суд 3: 1 Отрок Самуил служил (ἦν λειτουργῶν — תרשם) Господу при Илии;

(45) Чис 11: 1 Народ стал роптать (ἦν ὁ λαὸς γογγύζων — עָרַבְתִּים בְּלִבְבְּכֶם עַד שֶׁעָרַבְתִּים בְּלִבְבְּכֶם) вслух Господа.

Ср. также примеры (69), (70) ниже. Конец эпизода и главы иллюстрируют приведенные далее примеры (62), (63).

Аналогичные дискурсивные функции свойственны и древнерусской перифрастической конструкции. Примеры приведены в разделе 4 статьи.

4. Перифрастическая конструкция в Повести временных лет и Житии Феодосия Печерского

Сравнивая употребление перифрастической конструкции в ПВЛ и ЖФП, В.М. Живов [Живов 2012: 239] сделал следующее важное наблюдение: «В ПВЛ рассматриваемая конструкция употребляется в тех же функциях, что и в Житии Феодосия, однако параметры ее использования существенно отличны от тех, которые были описаны выше [т.е. в ЖФП. — П. П.]. Прежде всего анализируемый оборот весьма редко встречается с актуально-длительным значением... В данном отношении отличие от Жития Феодосия разительно». Действительно, по нашим подсчетам, в ЖФП формы со значением прогрессива (актуально-длительным) составляют 36% от общего числа перифрастических конструкций, тогда как в ПВЛ их менее 10%.

В ПВЛ к «фокусированному» прогрессиву можно отнести следующие употребления:

(46) совокупнѣ Ярославъ воиа многы. Болеславъ же **бѣ** Кыевъ **сѣда** (1018, 143) — «точка фокусирования» — момент, когда были собраны войска Ярослава;

(47) Ловъ дѣюще Свѣналдичю. именемъ Лють. ишедъ бо ис Кнева гна по звѣри в лѣсѣ. и оузрѣ и Улегъ. и рече кто се естъ. и рѣша емоу Свѣналдичъ. и заѣхавъ үви и. **бѣ** бо **ловы дѣи** Улегъ (Лавр., 975) — перевод А. А. Потебни [1958: 136]: «в то время Олег охотился»;

(48) он же испивъ половинү. а половинү дастъ князю пити. дотиснүвъса пацемъ в чашю **бѣ** бо **имѣи** под ногтемъ растворенье смртное (Лавр., 1066,

166) — глагол *имѣти* выступает здесь в значении ‘прятать, скрывать’ (ср. о перифрастических конструкциях, образованных от стативных глаголов, в разделе 2).

Дуративный прогрессив, по-видимому, содержится в контексте:

(49) **и бѣѣ тогда держа въшегородъ Чюдинъ. а цркъвь Лазоръ** (Лавр., 1072, 182).

Таким образом, всего мы насчитываем в ПВЛ 4 перифрастические формы со значением прогрессива — на две больше, чем В. М. Живов, не посчитавший таковыми примеры (48), (49) [Живов 2012: 239]. Однако можно согласиться с В. М. Живовым, что примеров мало, да и те «не слишком выразительны» [Там же]: лишь пример (47) описывает динамическую ситуацию.

ЖФП содержит 12 конструкций со значением прогрессива, все они приведены в разделе 4.2²¹.

Расхождение в употреблении конструкций со значением прогрессива между ПВЛ и ЖФП заставляет задуматься. Ведь если верно, что перифрастические причастные формы проникают в оригинальную восточнославянскую письменность из языка Библии, то, казалось бы, их употребление — по крайней мере, в близких по времени памятниках — должно выглядеть более или менее одинаково. Однако мы видим нечто совсем иное.

В поисках объяснения этого факта логично предположить, что сами образцовые (библейские) тексты в данном отношении были не вполне единообразны и что ситуация в том или ином древнерусском памятнике зависит от того, на какие именно библейские книги он в первую очередь ориентирован.

Обращение к исследованиям по библеистике подтверждает это предположение. По данным К. Бентейна²², перифрастические конструкции со значением прогрессива гораздо более характерны для Нового Завета, чем для Септуагинты: «While such focalized examples also occur in the LXX, they are more typical for the New Testament (with 42% (= 27/65) of the total number of (clearly periphrastic) progressive examples being of the focalized type, versus only 15% (= 20/135) in the LXX)» [Bentein 2013: 189]²³. Сле-

²¹ См. примеры (93), (94), (97) (2х), (98), (99), (100), (104) (2х), (105), (115), (116). Пример (98) содержит также конструкцию **бѣша же и болгаре мнози пришьли. и ти прѣдъ враты стоюще**, где «эллиптическая» конструкция с причастием настоящего времени (ср. раздел 1.4) имеет значение прогрессива.

²² Выражаю признательность В. А. Плунгяну, указавшему мне на работы К. Бентейна в данной области.

²³ К. Бентейн, как и мы в настоящей статье, оперирует терминами П.-М. Бергинетто «focalized progressive» и «durative progressive», но использует их не совсем так, как П.-М. Бергинетто, рискуя тем самым запутать читателя. Дело в том, что К. Бентейн называет «прогрессивом» все «подлинные» перифрастические конструкции (см. раздел 2 настоящей статьи), т. е. использует этот термин как название формального показателя. При этом «фокусированным прогрессивом» исследователь называет конструкции, имеющие собственно «прогрессивное» значение, а «дуративным прогрессивом» — все прочие значения этой конструкции, в том числе не имеющие никакого отношения к аспектуальной категории прогрессива (хабитуалис, статив и др.). К счастью, несмотря на эту терминологическую путаницу, выводы К. Бентейна вполне надежны.

довательно, расхождение между ЖФП и ПВЛ аналогично расхождению между Новым Заветом и Септуагинтой, ср.:

	Конструкции со значением прогрессива
Повесть временных лет	10% (4/41)
Септуагинта	15% (20/135)
Житие Феодосия Печерского	36% (12/33) ²⁴
Новый Завет	42% (27/65)

Эта ситуация, безусловно, не случайна. Исследователями неоднократно отмечалось сходство между ПВЛ и Ветхим Заветом, в основе которого — свойственное «раннеисторическим описаниям»²⁵ (к каковым принадлежит и ПВЛ) стремление «включить исторические реалии в традиционную космологическую (в основе мифологическую — сакральную) картину мира» [Петрухин 2014: 169]. Для древнерусского летописца это означало необходимость показать преемственную связь исторических судеб славян и Руси со священной историей Ветхого Завета. Отсюда ветхозаветное повествование приобретает значение образцового исторического нарратива. Его влияние в начальном летописании прослеживается на самых разных уровнях — от композиции и выбора сюжетов до синтаксиса (ср., в частности: [Данилевский 1993]). В свою очередь, ориентация агиографических произведений на новозаветные тексты, рассказывающие о жизни Христа и апостолов, не требует объяснения.

Сходство между рассматриваемыми древнерусскими и библейскими памятниками не ограничивается представленной в таблице корреляцией. Их сближает еще ряд языковых черт. Хотя в некоторых случаях для полноценного сравнения не хватает точных данных, кажется целесообразным перечислить эти черты.

1. В ЖФП конструкция встречается значительно чаще, чем в ПВЛ: по моим данным — в 2,5 раза (если учитывать конструкции с *пребыти/пребывати* — в 3,3 раза)²⁶. — В Новом Завете (особенно в Евангелии от Луки и Деяниях апостолов) конструкция употребляется значительно чаще, чем в Септуагинте.

2. В ЖФП около трети конструкций употреблены с обстоятельством места/времени. Большинство обстоятельств находится между вспомогательным глаголом и причастием. В ПВЛ с обстоятельством употреблены лишь 15% конструкций. — Согласно [Johnson 2010: 48], «the Locative Periphrastics comprise only about a third of periphrastic imperfects found in the writings of Luke», в то же время «copula + locative + participle... appears to be the most

²⁴ С *пребыти/пребывати*: 29% (12/42).

²⁵ См. об этом понятии [Топоров 1973].

²⁶ В расчетах использованы данные, приведенные В. М. Живовым [Живов 2012: 238]: «Если измерять объем числом слов, в Житии Феодосия около 18700 слов, а в ПВЛ — 58300, т. е. Житие Феодосия короче ПВЛ в 3,1 раз. Измерение по числу печатных знаков дает приблизительно те же результаты». По подсчетам В. М. Живова, в ЖФП перифрастические конструкции употребляются в 3,5 раза чаще, чем в ПВЛ (сюда не включены конструкции с *пребыти/пребывати*). Различие данных объясняется тем, что число конструкций, обнаруженных мной в ПВЛ и ЖФП, отличается от тех цифр, которыми оперировал В. М. Живов.

commonly occurring word order in the New Testament» [Там же: 151]. Данные по Септуагинте отсутствуют.

3. На долю придаточных предложений в ПВЛ приходится в 2 раза больше конструкций, чем в ЖФП (44% vs. 21%). Почти все эти придаточные в ПВЛ (16 из 18) причинные, с частицей *бо*; в ЖФП причинным является лишь одно придаточное из семи. — О библейских текстах есть лишь косвенные данные. Так, согласно [Bentein 2013: 190], «both in the LXX and the NT, focalized progressives are predominantly used in main clauses». Поскольку доля «фокусированных» форм в Новом Завете значительно больше, чем в Септуагинте, можно полагать, что конструкции в составе придаточного предложения встречаются в Септуагинте чаще, чем в Новом Завете.

Необходимая оговорка: конечно, было бы упрощением считать, что на ПВЛ влиял только Ветхий Завет, а на ЖФП — только Новый. Речь идет о том, что для каждого из рассматриваемых древнерусских текстов первостепенным образцом становился определенный набор библейских книг.

Однако все сказанное — общие соображения. Остается вопрос: каким образом получилось, что аспектуальные значения перифрастической конструкции в ПВЛ распределены почти так же, как в Септуагинте, а в ЖФП — как в Новом Завете? Очевидно, что спорадическая «подстановка» перифрастической конструкции вместо имперфекта (или какой-либо другой формы) с целью имитации библейского языка едва ли дала бы такой результат. Следовательно, вопрос заключается в том, как книжник определял, где именно следует употребить перифрастическую конструкцию.

Наш материал дает достаточно определенный ответ на этот вопрос: перифрастические конструкции чаще всего используются с теми же *глаголами*, которые характерны для данной конструкции в образцовых текстах, в тех же (или похожих) *контекстах* и с теми же *дискурсивными функциями*. Эти три фактора усиливают друг друга: глагол, характерный для «образцовой» конструкции, с большей вероятностью получит такую же форму в оригинальном восточнославянском тексте, если он выступает в контексте, характерном для «образцовой» конструкции и выполняет дискурсивную функцию, характерную для «образцовой» конструкции. Действие этих факторов и обуславливает в итоге ту корреляцию между древнерусскими и библейскими текстами, которая представлена в таблице.

4.1. Повесть временных лет

Список перифрастических конструкций в ПВЛ²⁷:

²⁷ Летопись цитируется по двум древнейшим спискам — Лаврентьевскому и Ипатьевскому. По умолчанию приводятся формы Лаврентьевской летописи. Если в последней форма отсутствует или искажена, цитируется Ипатьевская (такие формы отмечаются буквой И). В скобках указывается номер столбца по изданию ПСРЛ и погодная статья; у примеров, относящихся к летописным фрагментам без разделения на погодные статьи, — только номер столбца. Если при одном вспомогательном глаголе более одного причастия, все они считаются составляющими одной конструкции и перечисляются через запятую.

блху ловаще (И 7), сѣть имѣще (11), бѣша работающе (17), бѣ обладѣта (24, 885), бѣша ходѣще (25, 898), блху лежаще (И 29, 912), бѣ текѣщи (55, 945), блше восхитѣага, грабл (56, 945), бѣ оумѣга (66, 968), бѣ имѣщи (68, 969), бѣ ловгы дѣга (74, 975), бѣ володѣга (75, 977), бѣ привода, растлѣага (И 980, 67), бѣ любл (85, 986), сѣть сказающе (106, 987), естъ стопащи (111, 988), сѣть вѣдѣще (118, 988), бѣ воюгасл, шдолага (121, 988), бѣ любл (122, 991), бѣ любл (125, 996), бѣ любл, дѣмага (126, 996), бѣ жива (126, 996), бѣ желѣага (131, 1015), бѣ сѣдл (143, 1018), бѣ не вѣдѣи²⁸ (145, 1019), блху сѣдѣще (И 136, 1024), бѣ любл, прилежа, почитага (151, 1037), бѣдѣте живѣще (161, 1054), бѣдѣте живѣще (161, 1054), бѣ^е блистающе (165, 1065), бѣ имѣга (166, 1066), блше вѣроѣга (И 172, 1072)²⁹, бѣ держа (182, 1072), вѣдѣще бѣдѣте (178, 1074), сѣ^т леж<а>че (И 196, 1079), бѣ любл (212, 1091), бѣ любл, набдл, воздага (И 207, 1093), бѣ въздѣржасл (216, 1093), бѣхѣ^м бѣгающе (222, 1093), сѣть дань дающе (234–235, 1096), блхоу блѣдѣще (И 278, 1114)³⁰.

Большинство перифрастических конструкций в ПВЛ описывает род занятий и личные — и притом наиболее важные, с точки зрения автора — особенности персонажа, о котором идет речь. Подобные употребления характерны как для Ветхого, так и для Нового Завета³¹:

(50) мѣж^а твоего оубихомѣ. блше бо мѣжъ твои аки волкъ. восхитѣага и грабл (Лавр., 945, 56);

²⁸ Ипат., 133: *не вѣды*.

²⁹ Лавр., 182: **бѣ бо нетвердѣ вѣрою**. Чтение Ипат., очевидно, первично, так как его же находим в Сказании чудес Бориса и Глеба: **и митрополита овиде оужасѣ блше бо и не твърдо вѣроѣга къ стѣма** (Усп. сб., 20г), ср. также Чтение о Борисе и Глебе: **бѣ не вѣрьствѣга** (Сильв. сб., 111а). Вариант Радз. и Акад. **бѣ нетвердо вѣрова** — типичный пример искажения конструкции путем подстановки претерита вместо причастия.

³⁰ Поскольку нас интересует употребление перифрастической конструкции в оригинальной древнерусской письменности, в список не включены два примера, являющиеся цитатами из Библии: **и бѣдѣ^т блѣдѣще въ азъчехѣхѣ** (Ипат. 986, 85), ср. Осия 9: 17 καὶ ἔσονται πλανήται ἐν τοῖς ἔθνεσιν; **бѣдѣши стѣна и трасасл до живота своего** (986, 89), ср. Быт 4: 12 **стѣна и трасынсл боудеши** (στένων καὶ τρέμων ἔσῃ) **на земли** [Михайлов 1900–1908, I: 24], а также Быт 4: 14 и **боуду стѣна и трасынсл** (ἔσομαι στένων καὶ τρέμων) **на земли** [Там же].

³¹ Ряд примеров взят не из ПВЛ, а из текстологически связанной с ней Новгородской первой летописи младшего извода и позднейших летописей, продолжающих традицию начального летописания. Некоторые библейские примеры цитируются в современном Синодальном переводе, с указанием перифрастических конструкций, которые у данного фрагмента представлены в Септуагинте и в еврейской Библии. Это связано с тем, что до нас дошел отнюдь не полный корпус древних славянских переводов из Ветхого Завета, в силу чего далеко не всегда можно найти древний славянский текст того или иного фрагмента. Однако можно с большой вероятностью предполагать, что цитируемые тексты были известны древнерусским книжникам — либо в греческом, либо (что более вероятно) в славянском варианте (в большинстве случаев несомненно передававшем исходные библейские конструкции).

(51) и ристаша сквозѣ Печенѣги гла. не видѣ ли конѧ никтоже. **бѣ** во **оумѣ** Печенѣжъски. и мнѧхѣть и своего (Лавр., 968, 66);

(52) Иво заповѣдала Вльга не творите тръзны на³ собою. **бѣ** во **имѣ**ши пре-звѣтеръ. сен похорони влѣжнѣю Вльгѣ (Лавр., 969, 68);

(53) Быт 4: 2 и бы авель пастырь овцамъ. каинъ же **бѣ** **делаа** (ἦν ἐργαζόμενος — תָּבַע הֶנָּה) **землю**³² [Михайлов 1900–1908, I: 22];

(54) Исх 3: 1 **моисен ж бѣаше. пасм**³³ (ἦν ποιμαίνων — פָּרַע הֶנָּה) **овца иштора.** **тѣста** своего [Вилкул 2015: 77];

(55) Мф 19: 22 **Глышавъ же юноша слово отиде скръвѧ.** **бѣ** во **имѣ**ѧ (ἦν γὰρ ἔχων) **сѣтѧжаниѣ** мѣнога [Ягич 1883: 68];

(56) Мк 15: 43 **Приде носифъ отъ ариматѣѧ.** **благообразенъ сѣвѣтѣникъ.** **иже и тѣ бѣ чалѧ** (ἦν προσδεχόμενος) **црствнѣ бжнѣ.** **и дръзньвѣ** вѣниде кѣ **пилатѣ.** **и проси тѣла исѧ** [Ягич 1883: 182].

Более ярко выраженный ветхозаветный оттенок имеют характеристики народов и племен:

(57) и **блхѣ** **ловѣща** **звѣрь** **блхѣ** **мѣжи** **мѣдри** и **смѣслени** [и] **нарицахѣсѧ** **Поланѣ** (Лавр., л. 4);

(58) **бѣша** во **ходѣше** **аки се** **Половци** (Лавр., 898, 25 — об уграх);

(59) **иже сѣтъ** **дань дающе** **Новѣгородѣ** (Ипат., 1096, 225 — о «печере»);

(60) **си сѣтъ** **свои** **газѣкъ.** **имѣше** (Лавр., л. 11) — о племенах, платящих дань Руси;

(61) **И бѣша сѣдяще** **Үглицѣ** **по** **Днѣпрѣ** **вѣнизѣ** (НІЛ Ком., 922, 109);

(62) 1 Пар 8: 40 **Сыновья Улама** **были** **люди** **воинственные,** **стрелявшие** **из** **лука** (досл. «натягивающие лук»: ἦσαν τείνοντες τόξον — תִּשְׁקוּ לַחֲבִירֵיהֶם), **имевшие** **много** **сыновей** **и** **внуков** (досл. «умножающие сыновей»: ἦσαν) **плѣтѣнѣнѣ** **сѣоѣсѣ** — **сѣпѣ** **сѣпѣ** (מֵרֵבִים עֶשְׂרִים): **сто** **пѣтьдѣсѣт**;

(63) 4 Цар 17: 41 **Народы сии** **чтили** (ἦσαν φοβούμενοι — יִיָּרְאוּ יְהוָה) **Господа,** **но** **и** **истуканам** **своим** **служили** (ἦσαν δουλεύοντες — יִשְׁבְּעוּ עֲבָדָיו);

(64) 1 Макк 14: 8 **Иудеи** **спокойно** **возделывали** (ἦσαν γεωργοῦντες) **землю** **свою**;

(65) 3 Макк 3: 3 **Между** **тем** **Иудеи** **хранили** (ἦσαν φυλάσσοντες) **доброе** **располо-**
жение **и** **неизменную** **верность** **к** **царям**.

³² В древнееврейском занятия Авеля также характеризуются перифрастической конструкцией (וַיִּבֶן הֶנָּה עֵבֶר אֶדְמָה), однако греческий переводчик оставил лишь одну из двух форм (καὶ ἐγένετο Ἀβελ ποιῆν προβάτων Καὶν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν), что и отражено в славянском переводе.

³³ Так в Архивском списке 3-й четверти XV в. и Варшавском списке 1-й четверти XVI в. В Виленском хронографе 1-й трети XVI в., положенном в основу издания Т. Л. Вилкул, — типичное для поздних списков искажение: *пасше*.

Власть киевских князей описывается так же, как власть знаменитых библейских царей:

(66) и **бѣста княжаца в Киевѣ и владѣюца Полями** (НІЛ Ком., 854, 106 — об Аскольде и Дире);

(67) и **бѣ обладааи Улегъ Полангы и Деревлангы [и] Гѣверенгы и Радимичи а с Уличи и Тѣверци имаше ра^{тв}** (Лавр., 885, 24);

(68) **Ідрополкъ посадники своа посади в Новѣгородѣ и бѣ володѣа единъ в Р҃си** (Лавр., 977, 75);

(69) 3 Цар 2: 46 Соломон владел (הַיְוֹצֵחַ מִן־הַיַּרְדֵּן — הַיַּרְדֵּן מִן־הַנָּהָר) всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Ср. Пар 9: 26. — В еврейской Библии это первый стих 5-й главы;

(70) 3 Цар 4: 1 И был царь Соломон царем (הַיְוֹצֵחַ מִן־הַיַּרְדֵּן)³⁴ над всем Израилем;

(71) 3 Цар 4: 24 ибо он владычествовал (הַיְוֹצֵחַ מִן־הַיַּרְדֵּן — הַיַּרְדֵּן מִן־הַנָּהָר) над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами.

С помощью перифрастической конструкции прославляются справедливость и праведность князя, что также находит библейские параллели:

(72) **бѣ бо Володимеръ любѣ дружинѣ. и с ними думаша о строн земленѣ. и в ратехъ и [о] оуставѣ земленѣ^а. и бѣ живѣ съ князи школними миромъ** (Лавр., 996, 126)³⁵;

(73) и **бѣ Ідрославъ любѣ црѣквнѣа оуставѣ. попы любаше по велику. излѣха же черноризѣцѣ. и книгамъ прилежа и почиташа е часто в ноци и въ дне** (Лавр., 1037, 151–152);

(74) **бѣ бо любѣ дружиноу а злѣша кажна такоже подобаетъ црѣмъ творити** (Ипат., 1197, 703);

(75) 2 Цар 8: 15 И царствовал Давид над всем Израилем, и творил (הַיְוֹצֵחַ מִן־הַיַּרְדֵּן — הַיַּרְדֵּן מִן־הַנָּהָר) Давид суд и правду над всем народом своим.

В целом в ПВЛ по количеству относящихся к нему перифрастических конструкций впереди всех князь Владимир Святославич. Как известно, Владимир неоднократно сравнивается в ПВЛ с царем Соломоном. Библейская конструкция на языковом уровне подкрепляет это сравнение. В частности, она встречается в одном из прямых сравнений Владимира с израильским царем:

³⁴ В масоретском тексте здесь существительное הַמֶּלֶךְ 'царь', однако чтение Септуагинты показывает, что, скорее всего, масоретская огласовка вторична и в исходном тексте было причастие. Благодарю Я. Д. Эйделькинда за консультацию по данному вопросу.

³⁵ Ср. приведенный выше фрагмент 3 Цар 4: 24 и был у него мир со всеми окрестными странами.

(76) и **бѣ** несыгѣтъ бл҃҃да. и **приводе** к себѣ м҃҃жьскыа жены. и двѣци **растлаа**. бѣ во **женолюбецѣ** тако и **Соломонъ** (Ипат., 980, 67).

Среди приведенных примеров целый ряд форм образован от глагола *любити*. Перифрастическая конструкция с этим глаголом — одна из самых распространенных в древнерусской письменности³⁶, ср., помимо примеров (72)–(74):

(77) **бѣ** во самѣ **люба** жены. и бл҃҃женье многое (Лавр., 986, 85);

(78) **бѣ** во **люба** градъ съ (Лавр., 991, 122);

(79) **бѣ** во **люба** словеса книжнаа (Лавр., 996, 125);

(80) **Феодосии** во **бѣ** **люба** га. занеже живаста по заповѣди Г҃ни (Лавр., 1091, 212).

Глагол «любить» в составе перифрастической конструкции встречается и в Ветхом Завете:

(81) 3 Цар 5: 15 ибо Хирам был другом (досл. «любил»: ἀγαπῶν ἦν — אָהַבְתִּי דָוִד) Давида во всю жизнь.

Ср. также использование глагола «воевать»:

(82) **бѣ** во **ратѣ** ѿ **Печен[ѣ]гъ** и **бѣ** **воюаса** с ними и **одолаа** имъ (Лавр., 988, 121);

(83) 4 Цар 6: 8 Царь Сирийский пошел войною (досл. «воевал»: ἦν πολεμῶν — אָהַבְתִּי דָוִד) на Израильтян.

В плане дискурсивной прагматики для перифрастических конструкций в ПВЛ характерно употребление в конце рассказа (и — в некоторых случаях — погодной статьи), ср. примеры (67), (68), (82).

4.2. Житие Феодосия Печерского

Список перифрастических конструкций в ЖФП³⁷:

бѣста живоуща (27а), **бѣша** идуще (31а), **бѣша** молтаще (33в), **бѣ** съвършаа (35в), **творяще** бѣша (38в), **бѣ** **покарта** сѧ (41г), **бѣ** **оуча**, **оукрѣплѧа**, **оутѣшаа** (42б), **высть** идын (43б), **бѣ** **оуча** (43г), **бѣ** **дѣлаа**, **городѧ** (46в), **бѣша** поюще (46г), **бѣ** **въсклѧаа** сѧ (49а), **ѿхода** ксть (49а), **бѣ** **дѣлаа**

³⁶ В летописях также часто встречается словосочетание *любовь имѣти*, ср. в Киевской летописи: **бѣ** во **имѣа** велику **любовь** къ **стѣи** **Бѣи** и къ **ѿцо** **Федосью** (Ипат., 1156, 483); **Всеволодъ** же **бѣ** **имѧ** (**Х. имѣа**) великую **любовь** къ **Рогъволоду** (Ипат., 1159, 496); **В** то же **верема** **бѣ** **Андрѣи** **Гюргевичъ** в **с҃҃ждади** **кнѧ** и **тѣ** **бѣ** не **имѣа** **любови** къ **Мьстиславу** (Ипат., 1170, 543), но здесь же: **бѣ** во **люба** **дружину** (Ипат., 1187, 653). Понятно, что если в ПВЛ перифрастические конструкции имитируют библейский язык, то для позднейших летописцев образцом служила уже и сама ПВЛ.

³⁷ Цитируется по Успенскому сборнику XII–XIII вв. с указанием листов рукописи.

(50а)³⁸, бѣ ѣда, пиа (50в–г), бѣ оутѣшаа сѧ (50в–г), бѣ прѣдъръжаци (51в), бѣша творѣще (53а), бѣ въскланѣа сѧ (55б), вѣхѣтъ градѣюще (56в), бѣ отъхода (57а), бѣ седа (59г), бѣ сѣда, долѣ ница (60а), бѣ молѧ, велѧ (60б), бѣ минуѣа (60г), бѣаше подвижѣа сѧ, троѹжаа (60г), бѣ радоѹа сѧ (61в), бѣ обѣда (61г), бѣша сѣдѣще, ожидающе (64б), бѣ стоѧ (64б–в), бѣша присѣдѣще, ожидающе (64в), бѣ творѧ (66г), бѣша едѹще, ведѹще (БЛДР I, 370)³⁹.

В ЖФП перифрастические конструкции со значением хабиитуалиса чаще всего характеризуют аскетизм и благочестивые деяния святого, что находит параллели в Новом Завете:

(84) **бѣ** ж(ε с)амъ **ѣда** хлѣвъ соѹхъ (и) зелик варено без масла. и водоѹ **пиа** се же **ѣдъ** его **бѣ** въсегда (ЖФП, 50в–г);

(85) Мк 1: 6 **бѣ** же ноанъ... **пады** (ἦν ἐσθίων) акридъ и медъ дивин (ОЕ);

(86) **бѣ** по всѧ днѣ бжѣствноѹю слоѹжъвоѹ **сѣвѣршаа**... бѣаше... любѣвъ же непорочноѹ **имѣа** (ЖФП, 35в);

(87) **Оцъ** же нашъ феоdosни **бѣ** по всѧ днѣ и ноши молѧ бѧ о хѣлюбѣци изи-славѣ. и кще же и въ ектени и **велѧ** того поминати (ЖФП, 60б);

(88) **Бѣаше** же и самъ блаженнѣ феоdosни. по всѧ днѣ съ братнею **подвижѣа сѧ** и **троѹжаа** (ЖФП, 60б);

(89) и **бѣ** по всѧ лѣта **праздникъ творѧ** свѣтълъ. стѣи вѣи. мѣца ноѹниа. въ .ѣ. дѣнь (ЖФП, 66г);

(90) Мк 1: 4 **бысть** ноанъ **крѣста** въ пѹстыни и **проповѣдаа** (ἐγένετο βαπτίζων καὶ κηρῦσσων) крѣщение покаянию (ОЕ);

(91) Лк 24: 53 и **бѣахѣ** вънижъ въ цѣркѣви. **хвалѣще** и **благословѣще** (ἦσαν αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες) бѧ (ОЕ, 45б–с);

(92) Деян 9: 28 **И бѣ** с нимъ **въходе** **исходе** въ **Ѣрѣсла** и **дръзае** (ἦν εἰσπορευόμενος καὶ παρρησιαζόμενος) о имени **га Ис Хса** [Kałuźniacki 1896: 45].

³⁸ Фрагмент, в котором встретился этот пример, неверно интерпретирован О. В. Твороговым в БЛДР, в результате чего в нем появилась еще одна перифрастическая конструкция, на самом деле отсутствующая, ср.: «Тыгдаже чьрноризыць ть, иже бѣ своима рукама дѣлая, сътяжалъ имѣния мало, бѣ бо платъна дѣлая, сѣя принесъ, прѣдъ блаженнымъ положи», перевод О. В. Творогова: «Тот черноризец своими трудами накопил небольшой достаток, ибо ткал полотно, и тут принес все это и положил перед блаженным» [Творогов 1997б: 405]. В действительности, первая часть фразы содержит плюсквамперфект *бѣ сътажалъ*, от которого зависит деепричастие *дѣлая: бѣ, своима роукама дѣлаа, сътажалъ имѣния* мало, т. е. 'работая своими руками, сделал небольшие накопления'.

³⁹ Этот пример отсутствует в Усп. сб. из-за утраты листа. В БЛДР утраченный фрагмент приводится по Киево-Печерскому патерику. Однако, по справедливому замечанию В. М. Живова [2012: 237], «[н]ет сомнений... в том, что пример не является позднейшей добавкой и что в интесующем нас отношении он не подвергся искажению в позднейших списках».

Конструкциям со значением прогрессива свойственен иной набор контекстов. В частности, это рассказы о чудесных явлениях, характерные и для новозаветной формы:

(93) и видѣша свѣтъ пречюднѣ въ цркви соущѣ и блгоуханик исхожаше отъ цркве. англи бо бѣша поюще въ неи (ЖФП, 46г);

(94) и се видѣша мѣножество чьрноризьць исходащѣ. отъ ветѣхыа цркве. и блхотѣ градоущѣ на нареченок мѣсто. нослхоу же прѣди иконоу стѣпа бѣца (ЖФП, 56в)⁴⁰;

(95) Мк 9: 4 і ѣви сѧ имѣ илиѣ съ мосеемѣ. і бѣшашете глаголюшга (ἦσαν συλλαλοῦντες) смѣ [Ягич 1883: 148];

(96) Деян 16: 9 И стѣнѣ въ ноши гави сѧ Павлоу: мѣжь Македонинѣ нѣкѣи бѣ стога, мола и гла (ἦν ἐστὼς παρακαλῶν καὶ λέγων): Миноувѣ въ Македонно, помози и намѣ [Kałużniacki 1896: 37].

По наблюдениям К. Джонсона, перифрастическая конструкция в Новом Завете часто указывает на приближение важного события (например, чуда). Как пишет исследователь, «the presence of the periphrastics brings a sense of expectation that the stage is being set for an important event» [Johnson 2010: 56]. То же характерно и для ЖФП. Так, житие рассказывает о двух небесных знамениях, сопровождавших погребение Феодосия (первое — огненный столп; второе — внезапный дождь, как бы оплакивающий святого, после которого — в самый момент погребения — вновь засияло солнце); в обоих случаях рассказу о знамении предшествует перифрастическая конструкция:

(97) и бѣша прѣдѣ враты сѣдѣше и ожидающе донѣдеже блаженааго изнесоутѣ блговѣрныи же князь стѣславѣ бѣ не далече ѿ монастырѧ блаженааго стога и се видѣ стѣлѣпѣ огньнѣ до нѣсе соущѣ надѣ монастырьмѣ тѣмѣ. сего же инѣ никѣто же (не) видѣ нѣ тѣкъмо князь кдинѣ (64б–в);

(98) (Братни же врата затворивѣшемѣ. и никого же поустѣшемѣ по повелѣнню блаженааго. и бѣша присѣдѣше надѣ нимѣ. и ожидающе донѣде же разидоутѣ сѧ людиѣ. и тако того погревоутѣ. тако же самѣ повелѣ) бѣша же и болгаре мнози пришѣли. и ти прѣдѣ враты стогаще (ЖФП, 64в)⁴¹.

Ср. также:

(99) се бо приспѣвѣвшю нѣколи праздникоу оустѣпениа прѣстѣпа бѣца. бѣша же и цркви творѣше праздникѣ въ тѣ днѣ (53а) — далее рассказ о чудесном появлении лампадного масла;

⁴⁰ Аналогичный пример находим в Повести о житии Александра Невского: *и видѣ посадь единѣ гребущѣ; посредѣ носада стояща Бориса и Глѣба въ одежах червленых, и бѣста руки своя держаста* (Троицкий список: *держасте*) *на рамѣхъ кождо коему, гребци же сѣдяху акы в молнию одѣни* (НПЛ Ком., 162 об.).

⁴¹ Ср. комментарий к этому примеру в разделе 1.4.

(100) и се по строю божию **вѣ** бл҃гын князь сѣославъ. тоуда **минуѣа**. и видѣвъ многогъ народъ въпроси чьто творать тоу (60г) — рассказ о выборе места для постройки церкви: проезжавший князь **яко ѿ ба подвиженъ** приказал строить на принадлежавшем ему поле.

Аналогичные примеры во множестве встречаются в Новом Завете:

(101) Лк 5: 17 **Въ врѣма оно. вѣ** **ѹча** (ἦν διδάσκων) **иис**. и **вѣахъ сѣдаци** (ἦσαν καθήμενοι) **фарисей и законоучителк** (ОЕ, 90с–d) — о расслабленном, спущенном к Иисусу через кровлю;

(102) Лк 14: 2 **Въ врѣма оно. въниде иис** **въ домъ. некогго кѣнѣа фарисейска. въ сѣботѣ. хлѣба вѣстѣ** и **ти вѣахъ назирающѣ** (ἦσαν παρατηρούμενοι) и (ОЕ, 109с–d) — об исцелении больного водянкой;

(103) Деян 12: 6 **той ноци вѣ** **Петръ спѣ** (ἦν κοιόμενος) **междуу двѣма воннома, свезанъ ѹжема желѣзнама двѣма; стражне же прѣдъ двѣрми стрѣжахѹ тѣмниѹ** [Kałuźniacki 1896: 27] — далее явление ангела.

Использование «фокусированного» прогрессива в этих эпизодах вполне объяснимо: в «фокусе» оказывается момент осуществления чуда.

В других случаях конструкция открывает рассказ-притчу:

(104) и **яко въниде** [Феодосий] **въ храмъ иде же вѣ** **князь сѣдл**. и **се видѣ** **многыа играюща прѣдъ нимь...** и **такъ въсѣмъ играющемъ и веселашемъ сѣ. яко же обычаи кѣтъ прѣдъ князьмъ. блаженыи же вѣ** **въскран кго сѣдл**. и **долѹ нича** (59г–60а) — далее рассказ о том, как Феодосий убедил киевского князя Святослава прекратить непристойное в глазах благочестивого монаха веселье;

(105) и **яко** **высть идын поутѣмь. и возан кго...** **гла кѹмоу...** **да азъ ти лагоу на возѣ ты же мogyи на кони вѣхати** (43б) — возница предложил Феодосию поменяться местами, не зная, кого он везет.

Выше говорилось о том, что характерной функцией перифрастической конструкции в Новом Завете является маркирование начала и конца эпизода. Данная функция есть и у древнерусской формы — в частности, у только что упомянутых конструкций, открывающих рассказ о чуде или притчу. Но есть и множество других примеров. Так, с перифрастической конструкции начинается рассказ о жизни Феодосия, ср. пример (6). Вполне обычен для нее и конец эпизода, ср. пример (89), а также:

(106) **вѣсѣа же стражющаа вѣ** **оуѣа и оукрѣплѣаа и оутѣшѣаа** (42б).

Аналогично употребляются конструкции с *пребывати*, ср. примеры (17), (18).

Наряду с этим перифрастическая конструкция может быть признаком нового поворота сюжета (К. Джонсон называет такие формы «Linking Action Periphrastics», поскольку они «связывают» соседние эпизоды). Так, следующий пример рассказывает о «пакостях», которыми бесы долго досаждали Феодосию. «Пакости» описываются разными глагольными формами, и лишь в конце, как знак

кульминации, поставлена перифрастическая конструкция; после этого начинается рассказ о победе Феодосия над бесами:

(107) се во паки высть пакость творащемъ бѣсомъ въ храмѣ. идеже хлѣбы брата творааху. овогда моукоу расыпающе овогда же положеныи квасъ на състрожнии хлѣбомъ разливааху. и иноу мѣногоу пакость твораще бѣша ∴ ~ Тѣгда же старѣи пекоущимъ шьдѣ съповѣда блженуоуоумоу ѳеудосию пакости нечистыи хъ бѣсовъ... (38в).

Аналогично в следующем фрагменте конструкция⁴² завершает рассказ о том, как мать Феодосия препятствовала его желанию вести благочестивую жизнь; сразу после этого сообщается об уходе святого из дома:

(108) по лѣтѣ же кѣдиномъ... паки начатъ ѿтолѣ бранити кмоу. овогда ласкою овогда же грозою. и дроугонци же биюши и да сѧ останеть таковаго дѣла. бжѣствыи же оуноша въ скърви велицѣ высть. о томъ. и недѣоумѣа чьто створити. тѣгда же въставъ ноцию ѡтан и(зиде) из домоу своего (29г–30а).

В лексическом отношении перифрастические конструкции Нового Завета и ЖФП также близки. В частности, для них характерен глагол «учить» в значении ‘проповедовать, наставлять’, ср. пример (106), а также:

(109) нѣ сице бѣ оубо по всѧ дни о си хъ оуча братию (ЖФП, 43г);

(110) Мф 7: 29 бѣ во оуча (ἦν διδάσκων) ꙗко власть имы [Ягич 1883: 21];

(111) Лк 4: 31 и бѣ оуча (ἦν διδάσκων) въ сжвоты (ОЕ, 89а);

(112) Лк 13: 10 въ врѣмѧ оно. бѣ оуча (ἦν διδάσκων) ис. на кѣдиномъ отъ събориць въ сжвоты (ОЕ, 105b);

(113) Лк 19: 47 бѣ оуча (ἦν διδάσκων) въ цр̄кве по всѧ дни [Ягич 1883: 288];

(114) Лк 21: 37 бѣ же въ дъне оуча (ἦν διδάσκων) въ цр̄кве. а ноштиѣ въ дварѣаше сѧ исхода въ горѣ нарицаемѣи елеонѣ [Там же: 296].

Множество перифрастических форм в обоих текстах образовано от глаголов движения. С точки зрения дискурсивной прагматики здесь выступает то же значение «подчеркнутого фона», ср. примеры (94), (100), (105), а также:

(115) И се по приключю Божию бѣша идуще пѣтьмъ тѣмъ купци на возѣхъ съ времени тяжькы. (31а);

(116) И въ другый же днь одѣвсь въ одежду свѣтлы и славьну и тако въсѣдъ на конь поеха къ старцю и отроци бѣша окрестъ его едуще и другыя коня въ утвари ведуще пред ним, и тако въ славѣ велицѣ приеха къ печерѣ отецъ тѣх. (БЛДР I, 370);

⁴² Этот пример не включен в приведенный выше список, так как причастие присоединено к *быти* с помощью союза *и*. Тем не менее связь этого употребления с «прототипической» формой несомненна.

(117) Мк 10: 32 **вѣахѣ же на пѣти вѣсходяще** (ἦσαν ἀναβαίνοντες) **вѣмѣ. і вѣварѣна** (ἦν προάγων) **исѣ. і оујасаахѣ сѣ** [Ягич 1883: 156–157];

(118) Лк 24: 13 **і се дѣва отъ нихъ вѣсте идѣшта** (ἦσαν πορευόμενοι) **въ тѣжде день. въ весь отъстояштѣ стадни шесть десѣтъ отъ іма. еиже има емаоусѣ** [Там же: 308–309];

(119) Деян 8: 28 **вѣ же възрацае се и вѣде** (ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος) **на колесници своей, и чтѣаше прорка Исанию** [Kałużniacki 1896: 19].

Сокращения

БЛДР I — Библиотека литературы Древней Руси. Том I: XI–XII века. СПб., 1997.

БЛДР VI — Библиотека литературы Древней Руси. Том VI: XIV — середина XV века. СПб., 1999.

ЖАЮ — Житие Андрея Юродивого // А. М. Молдован. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000.

ЖФП — Житие Феодосия Печерского // Усп. сб. С. 71–135.

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1998.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1997.

Н1Л — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под редакцией и с предисловием А. Н. Насонова. 2-е изд. М., 2000.

ОЕ — Остромирово евангелие. Фототипическое издание. М., 1988.

ПВЛ — Повесть временных лет.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I–XLIII. СПб.; М., 1841–2004.

Сильв. сб. — Сильвестровский сборник XIV в. URL: <http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=2>.

Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

SJS — Словарь старославянского языка. Репринт. изд. Т. I–IV. СПб., 2006 (= Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha, 1958–1997).

Литература

Абрамович 1916 — Д. И. Абрамович. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916.

Вилкул 2015 — Книга Исход: Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV–XVI веков / Сост. Т. Л. Вилкул. М., 2015.

Данилевский 1993 — *И. Н. Данилевский*. Библия и Повесть временных лет (К проблеме интерпретации летописных текстов) // Отечественная история. № 1. 1993. С. 78–94.

Живов 2012 — *В. М. Живов*. Об употреблении одной книжной конструкции в памятниках восточнославянской письменности (глагол *быти* с причастием

настоящего времени) // I. Podtergera (Hg.), *Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 3.* Bonn, 2012. S. 235–249.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Лихачев 1996 — Повесть временных лет / Подгот. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачева; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. 2-е изд., испр. и дополн., подгот. М. Б. Свердлов.

Михайлов 1900–1908 — А. В. Михайлов. Книга Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе. Вып. I–IV. Варшава, 1900–1908.

Падучева 2011 — Е. В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М., 2011.

Петрухин 2012 — П. В. Петрухин. К проблеме реконструкции и перевода Повести временных лет // *Русский язык в научном освещении.* № 1 (23). 2012. С. 232–249.

Петрухин 2014 — В. Я. Петрухин. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2014.

Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.

Творогов 1997а — Повесть временных лет / Подгот. текста, перев. и коммент. О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 62–315.

Творогов 1997б — Житие Феодосия Печерского / Подгот. текста, перев. и коммент. О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 352–433.

Топоров 1973 — В. Н. Топоров. О космологических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. С. 106–150 (переизд.: Из работ московского семиотического круга / Сост. Т. М. Николаева. М., 1997. С. 138–170).

Успенский 2002 — Б. А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 2-е изд. М., 2002.

Ягич 1883 — И. В. Ягич. Мариинское Четвероевангелие с примечаниями и приложениями. СПб., 1883.

Bentein 2013 — K. Bentein. The Syntax of the Periphrastic Progressive in the Septuagint and the New Testament // *Novum Testamentum.* Vol. 55 (2). 2013. P. 168–192.

Bertinetto 1986 — P.-M. Bertinetto. Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Firenze, 1986.

Bertinetto 2000 — P.-M. Bertinetto. The progressive in Romance, as compared with English // *Tense and aspect in the languages of Europe* / Ed. by Östen Dahl. Berlin; New York, 2000. P. 559–604.

Björck 1940 — G. Björck. Ἡν διδάσκων. Die periphrastischen Konstruktionen im Griechischen. Uppsala, 1940.

Bybee et al. 1994 — J. L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.

Evans 2001 — T. V. Evans. Verbal syntax in the Greek Pentateuch: Natural Greek usage and Hebrew interference. Oxford, 2001.

Heine 1993 — *B. Heine*. Auxiliaries: Cognitive forces and grammaticalization. New York, Oxford, 2003.

Issatschenko 1980 — *A. Issatschenko*. Geschichte der russischen Sprache. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, Heidelberg, 1980.

Johnson 2010 — *C. E. Johnson*. A Discourse Analysis of the Periphrastic Imperfect in the Greek New Testament Writings of Luke. The University of Texas at Arlington, 2010.

Kalužniacki 1896 — *A. Kalužniacki*. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice ad fidem Codicis Christianopolitani saeculo XII^o scripti. Vindobonae, 1896.

Růžička 1963 — *R. Růžička*. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin: Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1963.

Schooneveld 1959 — *C. H. van Schooneveld*. A Semantic Analysis of the Old Russian Finite Preterite System. The Hague, 1959.

Večerka 1993 — *R. Večerka*. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. II. Die Innere Satzstruktur. U. W. Weiher — Freiburg i. Br., 1993.

Pavel V. Petrukhin

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

THE CONSTRUCTION 'BYTI WITH THE PRESENT PARTICIPLE': THE OLD RUSSIAN USAGE AND THE BIBLICAL TRADITION

The paper is dedicated to the construction made up of the auxiliary verb *byti* in the past, present or future tense and the present participle (usually an active one). The most frequent are constructions with the auxiliary in form of the imperfect or the imperfective aorist (*bjaše/bě xodja*). In the East Slavic writing the construction in question is found only in "bookish" texts — both translated and original. However, while in translated texts (according to many scholars, including the author of this article) it calques similar Greek forms, the principles of its use in original written monuments remain unclear. The article offers a detailed analysis of the semantics and employment of the construction in the two most important Old Russian texts — the Russian Primary Chronicle and the Life of St Theodosius of the Caves. It is shown as well that the use of the construction at issue in these texts was to a considerable extent patterned after the biblical texts. Importantly, while the Russian Primary Chronicle mostly imitates in this respect the Old Testament, the Life of St Theodosius of the Caves is much closer to the Gospel and the Acts of the Apostles. Since the functions of the participial construction in the Old Testament considerably differs from those in the New Testament, the respective differences are found in the Old Russian texts.

Keywords: Old Russian "bookish" language, participial constructions, language of the Bible, Hellenisms, Hebraisms, the Russian Primary Chronicle, the Life of St Theodosius of the Caves.

М. Н. Шевелева

*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва)*

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ИМПЕРФЕКТИВЫ НА -ЫВА-/-ИВА- И КНИЖНАЯ ТРАДИЦИЯ

Специфически восточнославянские производные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива* нечасто попадали в книжные тексты, однако вплоть до XIV в. включительно они не оценивались как недопустимые в книжном языке: выбор модели имперфективации не относился к числу значимых признаков книжности, вариативность моделей на *-а-* и на *-ыва-/-ива-* была возможна. В традиции гибридного регистра, основы которого были заложены киевским летописанием, имперфективы на *-ыва-/-ива-* входили в ряд устойчивых стереотипов описания определенных ситуаций. В стандартные церковнославянские тексты XI–XIV вв. имперфективы на *-ыва-/-ива-* проникают значительно реже, но тоже не имеют в эту эпоху специфически некнижной маркированности.

Со вторым южнославянским влиянием отношение книжной нормы к имперфективам на *-ыва-/-ива-* меняется: они оцениваются теперь как маркированно некнижные образования, недопустимые в стандартном церковнославянском, а в гибридном регистре допускаются в качестве элемента гибридности — как черта живого языка.

Ключевые слова: вторичные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-*, регистравая маркированность, гибридный регистр книжного языка, летописная традиция.

1. Общеизвестно, что восточнославянские производные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-* принадлежали живому языку и нечасто попадали в книжные тексты (см., например, [Кузнецов 1959: 256] и др.). Как сейчас стало ясно, эти образования были уже вполне употребительны в южных диалектах Древней Руси в XII в. (см. [Шевелева 2010]), хотя в большинстве памятников они встречаются относительно редко — во всяком случае, с разной степенью частотности.

На первый взгляд, кажется очевидным предположить, что *-ыва-*имперфективы всегда оценивались как маркированно некнижные образования, употребления которых книжная традиция сознательно избегала. Однако в действительности

ситуация была, видимо, не столь однозначной и неодинаковой в разные периоды истории русского языка. С этой точки зрения интерес представляют и данные стандартного церковнославянского, и традиция гибридного регистра книжного языка, прежде всего — летописная традиция XII–XVI вв.

Понятно, что в гибридных текстах можно встретить и маркированно книжные, и некнижные элементы, поскольку главным в формировании гибридного регистра книжного языка была «интерференция книжных и некнижных языковых навыков» [Живов 2004: 65]. В. М. Живов показал, как работал этот механизм формирования гибридного регистра: на начальном этапе — в силу необходимости обращения к живому языку из-за отсутствия образцов (стереотипных способов) для изложения соответствующего материала, а в дальнейшем продолжатели летописей ориентируются на своих предшественников и вырабатывают свои образцы и стереотипы описания [Живов 1998: 229–230; 2004: 65–68]. И хотя сам факт наличия глаголов на *-ыва-/-ива-* в гибридных текстах в принципе не противоречит предположению о возможности их некнижной маркированности, стоит обратить более пристальное внимание на особенности употребления *-ыва-* глаголов в летописной традиции XII–XVI вв. на фоне данных традиции стандартного регистра книжного языка.

2. В памятниках Южной Руси имперфективы на *-ыва-/-ива-* известны уже в XI в.

Старейший обнаруженный на сегодняшний день пример — из заключительной части Изборника 1076 г., содержащей статьи, переведенные, очевидно, на Руси, — отрывки из гомилии Василия Великого «Против упивающихся», см. [Изборник 1076, I: 75, 79]:

вълагають оубо си въ волѣзни тажькыа: глава оубо правѣ прѣбывати не можетъ: сѣмо и овамо прѣкланяюштиса на рамѣ: съни оубо тажьци и зъли въходаште отлагъчивають отъ оупивания (л. 266).

Перед нами текст, несомненно, книжный, но перевод его восточнославянский. Имперфектив на *-ива-* проникает здесь как русизм, с точки зрения своей «некнижности» незначимый для переводчика. Интересно, что через два листа после этого примера в подборке библейских цитат, примыкающих к статье «Против упивающихся», встречается глагол на *-а-* **отлагъчати**, но, судя по контексту, не имперфектив, а омонимичный глагол СВ: **Рече гъ блждѣте себе. къгда отлагъчють срѣца ваша. объѣданикъмь и пианьствъмь** (л. 268 об.) [Изборник 1076, I: 692]. На этом фоне имперфектив **отлагъчивати** избран, возможно, как однозначно выражающий значение несовершенного вида — в отличие от двусмысленного **отлагъчати** с омонимией совершенного и несовершенного видов.

К XI в. восходят, очевидно, и некоторые примеры с имперфективами на *-ыва-/-ива-* в Повести временных лет (ПВЛ). Это прежде всего пример из рассказа о походе Владимира против Ярополка на Киев под 980 г. — видимо, старейший в ПВЛ с *-ыва-* глаголом, он читается во всех старших списках ПВЛ и, весьма вероятно, восходит к древнейшему «ядру» летописи (об архаичности рассказа о вокняжении Владимира в Киеве см. [Гиппиус 2001: 171 и др.]):

И прииде Володимиръ с Варягы к Новугороду и ре^ѣ посаднико^ѣ ѹрополчимъ. идете къ брату моему и ре^ѣте ему. Володимиръ идетъ на т.а. пристраиваис.а про- тиву битс.а (ПВЛ, 980 г., Ипат., л. 30; *-ива*-имперфектив читается во всех старших списках ПВЛ).

К Начальному своду 90-х гг. XI в. восходит, видимо, и пример из антилатинско- го пассажа в статье 988 г. о крещении Владимира: *На первомъ сборѣ, еже на Ария, в Никии, от Рима прииде Селивестръ, посла прозвутеры епископы от Александрѣя Афанасии, а от Цесаряграда Митрофанъ посла епископы от себе; и тако исправ- ливаху вѣру* (НПЛмл, л. 64 об.–65) — *-ива*-имперфектив здесь читается в отражаю- щей Начальный свод Новгородской первой летописи младшего извода (НПЛмл), при том что вообще в НПЛ обоих изводов *-ива*-образования чрезвычайно редки (см. об этом ниже).

Прочие примеры *-ива*-имперфективов в ПВЛ (в общей сложности их в ПВЛ не так уж мало: 11 глаголов в 13 употреблении в версии Лаврентьевской лето- писи и 9 глаголов в 10 употреблении в версии Ипатьевской летописи) относятся ко времени составления ПВЛ около 1115 г. или ее 2-й редакции 1117 г. (см. по- подробнее [Шевелева 2014]). Некоторые из этих примеров стали хрестоматийными, например: *оумыкиваху оу воды двѣ.а* (Введ., Лавр., л. 10) в рассказе об обычаях славянских племен; *прив.азывати цѣрь. вбертывающе въ платки малы. нитькою поверзываютъ* (946 г., Лавр., л. 16 об.–17) в рассказе о четвертой мести Ольги, до- бавленном составителем ПВЛ (см. [Кузнецов 1953: 262 и др.]).

Обратим при этом внимание на то, что во всех текстологических «слоях» ПВЛ *-ива*-глаголы встречаются в контекстах разнообразного характера, в том числе и в достаточно книжных. Так, вполне книжным является восходящий к Начальному своду пространный пассаж с обличением латинской веры из статьи 988 г., вклю- чающий имперфектив *исправливаху* (см. выше). Имперфектив на *-ива*- мы находим и в «некрологе» Феодосию Печерскому под 1074 г.:

...и обра^ѣ бывати собою въздержаньѣ^ѣ и бдѣньемъ. хоженъѣ^ѣ и смѣренъѣ^ѣ. тако наказывати меншиа и оутѣшати ꙗ и тако проводити постъ (ПВЛ, 1074 г., Лавр., л. 62) — в версии Ипатьевской летописи появляется еще один *-ива*-имперфектив *оутѣшивати*: *...вбразъ бывати собою въздержаниемъ и бдѣньемъ. и хоженемъ смиренъемъ. и тако наказывати. и мѣньшиа оутѣшивати ꙗ и тако проводити постъ* (ПВЛ, 1074 г., Ипат., л. 68).

В рассуждении об ангелах, которым завершается ПВЛ в версии списков Лав- рентьевской группы, — также очень книжном контексте — встречается еще один пример:

...не мощно бо зрѣти члѣкмъ естѣства анѣльскаго. ꙗко и Моси великыи не возмо- же видѣти анѣскаго естѣства. водашеть бо ꙗ въ днь столпъ вблаченъ. а в нощи столпъ вгненъ. то се не столпъ водаше ихъ но анѣль идаше пре^ѣ ними в нощи и въ дне. тако и се ꙗвленъе нѣкоторое показываше. емуже бо быти (ПВЛ, 1110 г., Лавр., л. 96 — так же в Ипат., л. 98).

Та же форма употреблена в диалоге Владимира с Философом, следующем после Речи Философа: *И се рекъ показа Володимеру запону. на неуже бѣ нати^ѣно судище*

Гѣне. показываше ему шдесну прѣдныа в весельи прѣдидуца въ раи. а шиюую грѣшники идуща в муку (ПВЛ, 988 г., Лавр., л. 36–36 об.). Есть примеры -ыва-имперфективов и в других достаточно книжных контекстах.

При этом встречаются имперфективы на -ыва-/-ива- и в контекстах гораздо менее книжных. С самого раннего времени мы находим их в сегментах текста, характерных для летописных воинских повестей с присущей им топикой и фразеологией, — ср. приведенный выше контекст с имперфективом *пристраиваиса* из рассказа о походе Владимира против Ярополка под 980 г., древнейший в ПВЛ с -ива-глаголом; ср. также в Повести об ослеплении Василька Теробовльского под 1097 г., т. е. в поздней части ПВЛ:

Моли^тса княже тобѣ и братама твоима. не мозѣте погубити Русьскыѣ земли. аще бо възмете рать межю собою. поганиши имуть радоватиса. и возмутъ землю нашу иже бѣша стлжали ѡци ваши и дѣди ваши. трудо^т велики^т и храбрѣствомъ. побарающа (Р. побарающе) по Русьскѣи земли. ины земли приисковыаху. а вы хочете погубити землю Русьскую (ПВЛ, 1097 г., Лавр., л. 88 об.–89).

Можно обнаружить имперфективы на -ыва- в отнюдь не книжных фрагментах летописного нарратива вне «воинских» повестей, например в рассказе летописца (составителя 2-й редакции ПВЛ) о своей поездке в Ладогу и виденных там чудесных явлениях под 1114 г.: *Пришедшио ми в Ладогу повѣдаша ми Ладожане. яко сдѣ есть егда будетъ туча велика нахо^ть (Х. П. беру^т) дѣти наши глазкы стекланыи и малыи великыи повертаны. а дрыа (Х. П. дрюгые) подлѣ Волховъ берутъ. еже выполоскываетъ вода ѿ нихъже възхъ боле ста* (ПВЛ, 1114 г., Ипат., л. 104).

В таком нестандартном рассказе обращение к живому языку и, соответственно, появление имперфектива на -ыва- вполне понятно, но, как мы видели, -ыва-глаголы появляются в ПВЛ далеко не только в подобных контекстах.

По всей видимости, для рубежа XI–XII вв. имперфективы на -ыва-/-ива- были русизмами, чаще появляющимися, когда составитель текста не следовал готовому образцу, но при этом они не оценивались как не допустимые в книжном языке. Они с этой точки зрения на раннем этапе, очевидно, вообще никак не оценивались: выбор модели имперфективации в ранний период не относился к числу значимых признаков книжности, вариативность -а- и -ыва-моделей имперфективации допускалась книжным языком. Видимо, такова была оценка этих образований в ранний период и для стандартного церковнославянского (хотя, естественно, они проникали в стандартные тексты значительно реже), но особенно ярко это видно в языке киевского летописания, который, собственно, и закладывал основы летописной традиции и гибридного регистра книжного языка.

Такая ситуация сохранялась в Южной Руси и в XII–XIII вв., при том что употребительность -ыва-глаголов и продуктивность этой модели в живом языке в XII в. растет.

Есть примеры имперфективов на -ыва-/-ива- из житийных и других текстов XII в. стандартного регистра, в том числе переводных. Вот примеры из Сказания о Борисе и Глебе по списку Успенского сборника:

И яко оуслыша стѣи Борисъ начать тѣлѣмь оутърпывати [‘ослабевать, цепенеть’] и лице его все слезъ исполни ста. и слъзами разливая са не могли гласти (СкБГ, Усп. сб., л. 9б);

в рассказах о посмертных чудесах:

огнь ишьдѣ отъ гроба и зажъже нозѣ его и искочивъ начать повѣдати и нозѣ показываѣа свожи дружинѣ опаленѣ и ожъженѣ и отътолѣ начаши не съмѣти близъ приступати (СкБГ, Усп. сб., л. 19а).

Есть примеры в Житии Феодора Студита и других южнорусских переводах XII в. (см. [Пичхадзе 2011: 151; Силина 1987: 200]). И естественно, особенно употребительны *-ыва-*глаголы в южнодревнерусских текстах гибридного регистра, прежде всего — в киевском и галицко-волынском летописании, продолжающем традиции ПВЛ¹.

Мне уже не раз приходилось отмечать высокую употребительность имперфективов на *-ыва-/ива-* в Киевской летописи (КЛ): их частотность там существенно выше, чем в ПВЛ, — более 40 глаголов в 63 употреблении (см. подробно: [Шевелева 2010]). При этом они встречаются в разных по степени книжности контекстах — отношение к этим образованиям с позиции норм книжного языка остается прежним.

В КЛ еще более отчетливо проявляется наметившаяся в ПВЛ возможность включения имперфективов на *-ыва-/ива-* в стереотипы описания определенных ситуаций, воспроизводимых «с минимальными вариациями» [Живов 2004: 67]. Это как раз то, о чем писал В. М. Живов, говоря о механизмах преемственности книжной традиции на Руси и формирования особой летописной традиции: «Летописи наглядно показывают, как черты, появляющиеся в них в результате интерференции, становятся затем частью письменной традиции... Продолжатели летописей идут по стопам своих предшественников, они пользуются теми же схемами изложения, риторическими фигурами, отдельными выражениями и оборотами, подборками библейских цитат и т. д.» [Там же]. Развивается традиция летописного узуса, вырабатываются свои образцы — и в эти образцы нередко входят имперфективы на *-ыва-/ива-*. Вот, например, характерный для киевского летописания стереотип книжного характера с глаголом *оутѣшивати* — мы видели его в «некрологе» Феодосию Печерскому по 2-й редакции ПВЛ под 1074 г. (см. выше); сравним с примерами из КЛ:

– в рассказе о печерском игумене Поликарпе: *и тако оучрѣжаше всю бра^тю. а в Лазореву субботу. вси Печеряны взимаше и по вси^н манастире^н зваше. а во ины дни въ сре^д и на^ткъ оутѣшиваше бра^тю Печерьскую* (КЛ, 1168 г., л. 189 об.);

– в «некрологе» князю Мстиславу: *и любовь имаше ко всимъ. паче же м^ни прилежаше. манастирѣ набда. чѣрньчѣ оутѣшиваѣа. и всѣ игоумены оутѣшиваѣа и с любовью примаѣа. и взимаѣа оу нихъ блгословление* (КЛ, 1179 г., л. 215);

– в «некрологе» князю Давиду Смоленскому: *Се же блговѣрнии кнзь Двдъ возрастомъ бѣ середни. вобразомъ лѣпъ. всею добродѣтелью оукрашенъ. блгонравенъ.*

¹ В переводных южнодревнерусских текстах, близких к гибриднему регистру, — в Истории Иудейской войны, в Пчеле — употребительность имперфективов на *-ыва-/ива-* также очень высока (см. [Пичхадзе 2011: 151–152]).

хрѣтолюбивѣ. любовь имѣа ко всимъ. вво же правдишь дши свои. и переже мѣтни прележаишь. монастырѣ набдѣ. и чернѣци оутѣшиваѣ. и вси игоумены. с любовью приимаѣ. и взимаѣ оу нихъ блѣние (КЛ, 1197 г., л. 241 об.); то же в «некрологе» князю Святославу Ростиславичу под 1172 г. (л. 197).

Есть -ыва-имперфективы и в стереотипах, характерных для воинских повестей. Так, представленный в древнейшем примере из ПВЛ глагол *пристраиваисѣ* (см. выше) встречается в описании сходных ситуаций в КЛ, а также в ГВЛ:

Володимиръ же Дѣдвичь посла къ Изаславоу река емоу се Гюрги стрѣи (Х. П. стрѣи) *твои идти на тѣ. а оуже есть вшелъ в нашѣ Вѣтичѣ. а мы есме к тобѣ хрѣтъ целовали. с тобою быти. а являю ти прист(о)раиваисѣ* (Х. П. *пристроиваисѣ*) (КЛ, 1149 г., л. 136);

Зимѣ же приспѣвше. и начаша сѣ пристраивати князи Роуцѣи (ГВЛ, 1274 г., л. 290);

Пришедшимъ же полкомъ к городу и сташа школо города аки боровѣ величѣи. и начаша сѣ пристраивати на взятѣе города (ГВЛ, 1281 г., л. 294) и др.

Неоднократно и в сходных контекстах употребляются в КЛ имперфективы *понуживати*, *покладывати* (*воскладывати*), *сваживати*, *приискывати* (*выискывати*) и некоторые другие, формируя характерную для киевской традиции топику воинских повестей. Вот некоторые примеры.

С глаголом *понуживати*: *Тогда же Изаславъ нача понуживати зачати рать на Гюрга* (КЛ, 1155 г., л. 172); *Володимиръ же слашетьсѣ ко Стославу Всеволодичю и ко Рюрикови Ростиславичю поноуживаѣ ихъ к собѣ* (КЛ, 1185 г., л. 226); *Рюрикъ же поча слати ко Стославоу поноуживаѣ его. река ему брате и сватюу. намъ было сего оу Бѣ просити. а вѣсть ны есть. а Половци восе лежать. за поль дѣне. аже кто росдоумываетъ. и не хочетъ ити а мы два до сихъ мѣстѣ. ци на того зрѣла. но что намъ Бѣ давалъ. то есѣ дали* (КЛ, 1187 г., л. 227 об.) — в этом контексте прямая речь содержит много некнижных черт и еще один -ыва-глагол; *И быѣ межи ими распрѣ. Рюрикъ же много поноуживаѣ иѣ и не може ихъ повести* (КЛ, 1187 г., л. 228) и др.

С глаголом *сваживати*: *На томъ же и моужи ею цѣловаша хрѣтъ ако межи има добра хотѣти и чѣти ею стеречи. не сваживати ею* (КЛ, 1150 г., л. 145); *ѣ крѣтъ цѣлюю к вама. ѣако лиха на ваю не замысливѣ а вы ми выдаита кто ны сваживаетъ* (КЛ, 1170 г., л. 193 об.); ср. в ГВЛ: *...ѣако Даниль второе [св]аживаетъ Лахы на ма* (ГВЛ, 1225 г., л. 253 об.).

Количество примеров летописных стереотипов с -ыва-глаголами из южно-русских летописей можно увеличить. Важно отметить, что среди них есть и более, и менее книжные — имперфективы на -ыва-/-ива- в них равно возможны. И вне устойчивых стереотипов они точно так же свободно употребляются в самых разнообразных контекстах — ср. выше нечасто встречающийся имперфектив *росдоумываетъ* (КЛ, 1187 г., л. 227 об.), ср. также *рѣкы сѣ смерзываютъ* (КЛ, 1150 г., л. 147 об.), *ходи Романъ Мѣстиславичъ на лтвагы штомъциватьсѣ* (КЛ, 1196 г., л. 241) и др. — или редкий глагол *възжигивати* в книжном контексте «некролога» Андрею Боголюбскому: *и всакъ вбычаи добронравень*

имѣашеть. в ноцъ въходашеть в ѿрквь и свици въжигивашеть (КЛ, 1175 г., л. 206 об.).

Сложившиеся в киевском летописании стереотипы, включающие имперфективы на *-ыва-/-ива-*, переходят и в северо-восточную традицию, тесно связанную с киевской. Показательно описание разорения Рязани Батыем 1237 г. в Суздальской летописи (СЛ), использующее в качестве образца, как указал мне А. А. Гиппиус, описание похода Игоря на греков 941 г. в ПВЛ, — в обоих случаях с имперфективом *связавахуть*, внесенным в этот восходящий к Хронографу фрагмент составителем ПВЛ (см. [Шевелева 2014: 160]), ср.:

И всю страну Никомидишскую поплѣнише и Судъ весь пожьгоша. иже емше въѣхъ растинаху. другыа аки странъ поставлѣюще. и стрѣлаху въ нѣ. изимахуть. шпакы руцѣ связывахуть. звозди желѣзныи посреди главы въбивахуть ихъ. много же стѣхъ ѿрквии въгнемъ (А. въгневи) предаша. монастырѣ и села пожьгоша (ПВЛ, 941 г., Лавр., л. 10) — ср.:

...плѣноваху и до Проньска поплѣнише Рязань весь и пожгоша и княза ихъ оубиша. ихже емше швы растинахуть. другыа же стрѣлами растрѣлаху в нѣ. а ини шпакы руцѣ связывахуть. много же стѣхъ ѿркви въгневи предаша. и монастырѣ и села пожгоша (СЛ, 1237 г., л. 159 об.).

3. Новгородская летописная традиция в отношении имперфективов на *-ыва-/-ива-* существенно отличается от южнорусской. Глаголы на *-ыва-/-ива-* здесь встречаются значительно реже, чем в южнорусских летописях: в НПЛ старшего извода всего 4 примера, в младшем изводе тоже 4 примера, включая поздние записи XIV–XV вв. (причем лишь один из них совпадает с НПЛст) [Шевелева 2013: 210–215]. Редкая представленность в новгородском летописании *-ыва-*глаголов согласуется и с их полным отсутствием в Житии Андрея Юродивого — раннем древнерусском переводе северо-западного происхождения, язык которого близок к гибриднему регистру и отражает много специфически диалектных черт. Все это позволило предположить, что в древненовгородском диалекте в раннедревнерусскую эпоху *-ыва-*модель имперфективации еще не была продуктивна и он по этому признаку отличался от киевского [Там же: 223–224].

Интересно при этом, что те редкие примеры *-ыва-*глаголов, которые имеются в НПЛст, оказываются связаны с киевской традицией. Первый пример под 1204 г. — из Повести о взятии Царьграда — вставного текста южнорусского происхождения:

...на иныхъ на кораблехъ исыциниша пороки и лѣствица. а на инѣхъ замыслиша свъшшивати бѣчкы чересь град, накладены смолины, и лучины зажъгъше пустиша на хоромы, якоже и прѣже пожьгоша градъ (НПЛст, 1204 г., л. 68 об.).

Второй и третий примеры входят в состав развернутых рассказов — фактически воинских повестей (о конфликте князя Ярослава Всеволодовича с новгородцами под 1215 г. и Повести о битве на Калке под 1224 г.), причем оба эти рассказа, как показал А. А. Гиппиус, принадлежат части летописца архиепископа Антония, который явно был хорошо знаком с традицией киевского летописания и во многом ориентировался на ее образцы [Гиппиус 2006: 183–193, 215; 2009] (этим же

летописцем была, вероятно, вставлена в новгородскую летопись и Повесть о взятии Царьграда), ср.:

Ярославу же бы^с вестъ на Тържскъ и изгошиша твърдь. а поути ѿ Новагорода вси засекоша и рѣкою Тъхвѣрцю. а въ Новъгородъ въсла р. моу^ж новгородьць Мьстисла^р проваживатъ из Новагорода (НПЛст, 1215 г., л. 82 об.);

И та^с доумавше много о собе, яша сѧ по поуть. и поклону дѣла и молбы кнзь половьчьскыхъ. и начаша во^ж пристраивати кожьдо свою власть. И поидоша съвъкоупивше землю всю роу^скоюю противоу татаромъ (НПЛст, 1224 г., л. 97) — обратим внимание, что перед нами здесь тот же глагол *пристраивати*, широко употребительный в киевском летописании, начиная с древнейшего примера из ПВЛ (см. выше). Для летописца архиепископа Антония -ыва-имперфективы оказываются связаны с топикой киевских воинских повестей.

Последний пример имперфектива на -ыва-/-ива- в НПЛст принадлежит пономарю Тимофею, летописцу архиепископов Спиридона и Далмата [Гиппиус 2006: 214–215 и др.], — он обнаруживается под 1230 г. как раз в той статье, где летописец упоминает себя, в насыщенном книжной риторикой описании голода в Новгороде:

Что бо реци или что глаголати о бывшей на нас от бога казни. Яко инии протая чадь рѣзаху люди живыя и ядыху, а инии мъртвая мяса и трупие обрѣзающе ядыху, а друзии конину, псину, кошки... а инии пакы злии челоуѣци почаша добрыхъ людии дома зажигати, где чююче рожь, и тако разграбливахуть имение ихъ, въ покаяния мѣсто злое, и горцяиши того быхомъ на зло, а видяще предъ очима нашима гневъ божии... (НПЛст, 1230 г., л. 113 об.).

Пономарь Тимофей, как показал А. А. Гиппиус, в значительной степени опирался на традицию киевской Начальной летописи — отсюда идут его опирающиеся на библейские цитаты риторические пассажи [Гиппиус 2006: 214 и др.] — и именно в контексте такого типа у него появляется имперфектив на -ыва-. Интересно, что в младшем изводе НПЛ этого имперфектива нет (читается *грабяще*, л. 154), зато в том же контексте чуть выше обнаруживается -ыва-имперфектив *обрѣзываютъ*, отсутствующий в старшем изводе: *а инии мъртвое трупие обрѣзываютъ* ядыху (НПЛмл, л. 154) — ср. НПЛст *обрѣзающе* (л. 113 об.) — очень вероятно, что в оригинале рассказа Тимофея в новгородской владычной летописи, к которому независимо восходят оба извода НПЛ [Гиппиус 2006: 123], читались оба -ыва-имперфектива.

По всей видимости, пономарь Тимофей воспринимает образования на -ыва-/-ива- как принадлежность таких насыщенных книжной риторикой описаний бедствий — вспомним рассказ ПВЛ о жестокостях завоевателей под 941 г. с имперфективом *связывахуть*, перешедший впоследствии в описание жестокостей Батыя при взятии Рязани в СЛ (см. выше), ср. также описание в КЛ жестокостей ростовского владыки Феодора с имперфективами *порѣзываетъ*, *вырѣзываетъ*, читающиеся и в северо-восточных летописях:

Не токмо простъцемъ но и мнихомъ и игуменомъ и ерѣмъ безмѣтвъ сый мѣтль. другимъ члвкомъ головы порѣзываетъ и бороды. а другимъ вчи выжигаше и языки

вырѣзывати. другыя же распинаше по стенѣ и муча немилостивнѣ (КЛ, 1172 г., л. 197 об.) — сходство риторических фигур, синтаксиса и даже конкретных имперфективных основ этих контекстов с пассажем пономаря Тимофея несомненно.

Таким образом, для новгородских летописцев XIII в. имперфективы на *-ыва-/-ива-* становятся чертой киевской летописной традиции с присущими ей языковыми трафаретами, при этом если для летописца архиепископа Антония образцами послужили прежде всего воинские повести КЛ, то для пономаря Тимофея — насыщенные риторикой описания жестокостей и бедствий. Такое «литературное» отношение к имперфективам на *-ыва-/-ива-* и стремление связывать их с описанием неких драматических событий сохраняется в новгородской летописной традиции и в XIV — начале XV в. В НПЛмл в поздней части встречаются всего 2 примера этих образований, причем один из них — в стереотипном описании морового бедствия 1417 г.:

И како могу сказати ту бѣду страшную и грозную бывшую в [се]сь морь, како туга живым по мертвымъ, понеже умножишася умерших въ градѣх и селех, тем же едва успѣваху живиши мертвых опрятывати, на всякъ бо день умираху толко, яко не успѣваху погрѣбати их (НПЛмл, 1417 г., л. 248 об.) — этот фрагмент сохраняется и в более поздних новгородских летописях. При этом ту же самую формулу мы неоднократно встречаем в северо-восточных летописях XIV–XVI вв. при описании моровых поветрий, ср. в Типографской летописи: *И толь великъ бысть морь и страшень, не оупѣваху бо живиши мертвыхъ опрятывати, въздѣ бо мрътви* (ТЛ, 1364 г., л. 173 об.) и др.

Таким образом, летописная традиция XIV в. вырабатывает новые воспроизводимые стереотипы, например описания массовых эпидемий-моров, опираясь при этом на имеющиеся образцы описания сходных ситуаций, — и в них могут входить *-ыва-*глаголы. При этом для новгородского летописания древнерусской эпохи эти глаголы остаются прежде всего принадлежностью киевской традиции с ее образцами, в позднерусскую эпоху — северо-восточной традиции, они связываются с наиболее «литературными» сегментами летописи и присущими им стереотипами описания моровых бедствий и прочих драматических событий или входят в состав вставных текстов южнорусского и северо-восточного происхождения. Редкие примеры свободного употребления *-ыва-*глаголов в новгородских летописях появляются только на рубеже XIV–XV вв. [Шевелева 2013: 213–223].

4. Северо-восточная летописная традиция XIII–XIV вв. тесно связана с южнорусской, и она сохраняет вплоть до второго южнославянского влияния такое же отношение к имперфективам на *-ыва-/-ива-*, какое существовало в Киеве в XII–XIII вв.: они возможны в самых разных по книжности контекстах как в свободном употреблении, так и в составе устойчивых формул. При этом надо учесть, что на северо-востоке *-ыва-*глаголы становятся продуктивными позднее, чем в Южной Руси, но в XIV в. они уже вполне продуктивны и широко употребительны как в летописях, так и в текстах делового регистра.

Показательно, что в агиографических текстах XIV в. еще можно встретить имперфективы на *-ыва-/-ива-*. Так, у Епифания Премудрого в Житии Стефана

Пермского (ЖСП) они употребляются довольно широко — по данным А. В. Духаниной, более 20 примеров от 16 глаголов, причем употребляются *-ива-* глаголы в разнообразных контекстах², например:

Но коудесникъ часто приходѣ, ввогда оубо втаю, ввогда же звѣ разврацаше новокрѣченыхъ люде глѣ. Моужи братіа пер'мьстїи, ѿчьскихъ богоѣ не вставливайте, а жер'твѣ и требѣ ихъ не забываите, а старьи пошлїны не покидывайте (ЖСП, л. 695–695об.);

Курїлоу ѿлосовѣхъ сподоблѣше мнѣгажѣ бы бра^м его Меѿвдїи, или грамотоу складывати, или азбоукоу составливати, или книги переводити (ЖСП, л. 731 об.) [Духанина 2008: 319–320] — ср. в Сказании о славянской грамоте в ПВЛ под 988 г.: *сима же пришедъшема начаста составливати писмена азбуковъная Словѣньски. и преложиста Апѣль и Евѣл* (ПВЛ, 988 г., Лавр., л. 9–9 об.).

ЖСП явно еще следует древнерусской традиции в отношении к имперфективам на *-ыва-/-ива-*. Интересно при этом, что уже в Житии Сергия Радонежского (ЖСР) Епифаниевской редакции — более позднем сочинении Епифания Премудрого — имперфективы на *-ыва-/-ива-* практически перестают употребляться: остается только один пример в контексте, представляющем собой цитату из ЖСП (*не о себѣ игоуме^нство взѣ. но ѿ Бѣ пороучено бы^с емоу началство. не бо наскакиваль на се* (ЖСР, л. 76 об.) — ср. в ЖСП: *и не добивал'са вла^чства, ни вер'тѣл'са, ни наскакиваль, ни накоупал'са, ни насуливал'са посулы* (л. 720) [Духанина 2008: 321]. По всей видимости, епифаниевское ЖСР отражает изменение отношения книжной нормы к *-ыва-* глаголам, характерное для XV в. — эпохи второго южнославянского влияния (см. об этом ниже). В пахомиевских редакциях ЖСР, как и в других пахомиевских житиях, а также вообще в агиографических сочинениях XV–XVI вв. имперфективов на *-ыва-/-ива-* практически нет — 1–2 примера с разночтениями по спискам (см. ниже).

Интересно отметить при этом, что в агиографических текстах в составе летописи за XIV в. *-ыва-* глаголы вполне возможны, т. е. употребляются так же, как в окружающем тексте летописи, даже если сам вставной текст относится к более позднему времени. Так, в редакции ЖСР в составе Никоновской летописи (НЛ), помещенной под 1392 г. (по Б. М. Клоссу, эта редакция была создана при составлении Никоновского свода в 20-х гг. XVI в. составителем свода митрополитом Даниилом на основе Пространной и 2-й Пахомиевской редакций жития [Клосс 1998: 258–259]), имперфективы на *-ыва-/-ива-* встречаются неоднократно, хотя в исходных текстах Епифания и Пахомия их не было, например:

Имяше же обычаи вся помыслы своя повѣдывати преподобному игумену Сергію (НЛ, ЖСР, 1392 г., л. 141);

Егда же слышаше дву ли трехъ сошедшихся и глумящихся, во оконце потолкавъ, отхожаше... и наутрїе призвавъ къ себѣ, не съ яростїю и жестостїю обличяше,

² Надо заметить, правда, что ЖСП несколько отличается от церковнославянского стандарта большим числом русизмов, но *-ыва-* имперфективы, хоть и нечасто, встречаются и в других агиографических текстах этого времени [Духанина 2008: 317–318].

но съ тихостію и кротостію и съ милостію поучаваше и наказываше съпрятаннымъ и хранительнымъ быти и молитися о грѣсѣхъ своихъ въ молчаніи и въ безмльвіи (НЛ, ЖСР, 1392 г., л. 138).

Причем среди этих примеров *-ыва-/-ива-* глаголов в ЖСР по НЛ есть общий контекст с Житием митрополита Алексея в составе НЛ (Пов. о Алекс. митр.), перенесенный из ЖСР (о вставках из ЖСР в Пов. о Алекс. митр. см. [Клосс 1998: 259]): *Любяше же ихъ Ѳеогнасть митрополитъ всея Руси, и чясто къ себѣ призываше, и упокоиваше, и прохлажаше, и почиташе ихъ добрѣ* (НЛ, ЖСР, 1392 г., л. 131) — так же Пов. о Алекс. митр. (НЛ, 1378 г., л. 29).

Глаголы на *-ыва-/-ива-* встречаются и в Житии Михаила Тверского в составе разных летописей, и в других агиографических текстах в составе летописей за XIV в. Житие Михаила Александровича Тверского, как известно, дошло до нас в виде фрагментов в составе разных летописных сводов, восходящих к разным редакциям рассказа о Михаиле Тверском [Лурье 1988: 299–301]; конкретные *-ыва-* глаголы в разных фрагментах и версиях жития не совпадают, но они встречаются практически везде, причем в очень книжных контекстах, ср.:

Егда же безаконіи они стражи в ноци забивахоу в тои же колодѣ роуцѣ его, но ни тако престааше пѣти псалтырь, единъ бо отрокъ его седяше предъ нимъ, прекладываа листы ему, а онъ прележно глаголаше (ТЛ, Убиение кн. Мих. Тверского в Орде, 1318 г., л. 156 об.);

Вѣдаи боуди, Михаиле, такъ царевъ обычаи, аще боудеть емоу гнѣвъ, хотя и отъ своего племени, то тако же древо вскладываютъ на него (ТЛ, Убиение кн. Мих. Тверского, 1318 г., л. 157–157 об.);

По семь же преседящую оу него сыноу его князю Костянтиноу, он же приказываше къ кнеини и къ сынома своима и про отчиноу свою и про бояре и про тѣхъ, иже с нимъ были, и до меншихъ, не веля презрѣти ихъ (ТЛ, Убиение кн. Мих. Тверского, 1318 г., л. 158);

И седоша князи на судищѣ, и начаша судити Михаила съ Юрьемъ, и вси помогаху по Юрьѣ, и многи вины взкладываху на Михаила (НЛ, 1319 г., л. 182) — ср. в сходной формуле в КЛ: *Глѣбъ же слышавъ радъ бы^с аже на него чѣсть воскладываютъ* (КЛ, 1175 г., л. 210);

и потомъ нача приказывати ко сыну и къ княгинѣ, сыновомъ про отчину и про всѣхъ, иже съ нимъ были въ скорби и въ печали велицеи, да не забудутъ ихъ и не презрятъ никогдаже (НЛ, 1319 г., л. 184).

Ср. в других контекстах агиографического типа в НЛ за XIV — начало XV в.:

...и на всякъ день по коегождо хотѣнню повелѣ упокоивати ихъ пищею и питіемъ вина (НЛ, О Стефане Сербском, 1328 г., л. 200);

И многи дни бяше молча и ни къ комуже бесѣдоваше. Но токмо маяніемъ повелѣ призвати къ себѣ иконныя писцы и рукою указываше имъ, яко да напишутъ на дикѣ образъ ангела Господня, имже образомъ видѣ его (НЛ, Сказание о блаженной великой княгине Евдокии, 1407 г., л. 200) и др.

Как мы видим, северо-восточная традиция XIV в. еще сохраняет древнерусское отношение к имперфективам на *-ыва-/-ива-*: они еще не имеют характеристики

специфически не книжных образований и возможны в книжных контекстах³. Интересно при этом, что в более поздних летописных редакциях житийных текстов, включенных в статьи за XIV в. (как ЖСР в редакции НЛ под 1392 г.), -ыва- глаголы тоже вполне допускаются — как в окружающем тексте летописи. Традиция гибридного регистра окружающего текста здесь оказывается «сильнее» регистровой принадлежности самого вставленного текста, в XV–XVI вв. уже исключая имперфективы на -ыва-/-ива-.

5. Со вторым южнославянским влиянием отношение книжного языка к образованиям на -ыва-/-ива- меняется: для стандартного регистра они становятся невозможны. В агиографических текстах XV–XVI вв. эти образования практически отсутствуют: в сочинениях Пахомия Сербя встретилась только одна форма в Сказании о чудесах Варлаама Хутынского (*заглаживаются на свиткъ ихъ* Син. 948, л. 169 об. и др. списки) и одна форма в разночтениях по спискам ЖСР (*начать сказывати* Тихонр. 705, л. 42), не отмечены они и во многих других житийных текстах этого времени (см. [Шевелева 1991: 130; Духанина 2008: 322]). В новом житийном стиле, образцы которого заданы прежде всего Пахомием Сербом, очень употребительны имперфективы на -а-: *встризае^м* (ЖСР_{1 Пах.} и др.), *вставляетъ* (ЖНР, ЖСР и др.), *поставляетъ* (ЖСР и др.), *похваляетъ* (ЖСР_{1 Пах.}), *скоутаютъ чѣтное и трудолюбное тѣло* (ЖВХ, л. 150 об.) и под. — -ыва- глаголов здесь нет. Интересно, что и в летописных записях за XV–XVI вв. -ыва- глаголы преимущественно уходят из контекстов книжного характера, во всяком случае из устойчивых стереотипов, — такие контексты теперь ориентированы на другие образцы, не знающие -ыва- глаголов, ср.: *И поиде государь в соборную церковь царствующаго града Москвы пречистыя Богоматере Честнаго и Славнаго Ея Успения и любезно припадаетъ къ Чюдотворному Ея образу, и съ плачемъ на длъгъ часъ молитвы простирающыи, и на Нее все упование возлагаетъ...* (НЛ, 1552 г., л. 186) и под. В НЛ за XVI в. имперфективы на -ыва-/-ива- очень употребительны в летописном нарративе (см. примеры: [Шевелева 2010: 223–230]), но в контекстах агиографического типа их нет. Правда, в НЛ есть несколько книжных контекстов с характерными для риторического стиля XVI в. цепочками форм настоящего исторического повествовательного, включающими -ыва-имперфектив *приказывает*, однако это не агиографические контексты и порождены они как раз отсутствием имеющегося образца, нестандартностью поставленной автором задачи передать новым риторическим стилем содержание, традиционно излагаемое в летописях совсем другими языковыми средствами, ср. в рассказе о походе Грозного на Казань: *Государь же нашъ благочестивый царь, твердый въроу къ Христу, цѣломудренный въ разумѣ, храбрый въ вѣнствѣ, свѣтлопривѣтливый и податливый х подручнымъ ему отъ Бога, готовица на брань противъ безбожныхъ и приказываетъ въ своемъ полку въводамъ бояромъ своимъ князю Володимиру и Ивану да розьсмотреть въ его полку всѣхъ вѣиновъ да велятъ пригответца на брань; а самъ государь*

³ Ср. сходное наблюдение В. Б. Силиной о том, что до XV в. варианты на -а- и на -ива- еще «не обнаруживают контекстно-жанровой прикреплённости» [Силина 1982: 234].

вземъ съ собою брата своего князя Владимира Андрѣевича и мало бояръ искусныхъ на ратѣхъ и ѣдетъ къ Окѣ-рѣцѣ и разсмотряетъ мѣсть да како совькупити воя... и въ полцѣхъ воеводамъ, въ болишемъ полку и въ прочихъ воеводамъ государь приказываетъ также готовица на брань и разсмотрити воиновъ (НЛ, 1552 г., л. 187). Нестандартность задачи и порождает такую форму языковой гибридности, которая может проявляться в претенциозных официальных летописных сводах XVI в. (ср. идеи В. М. Живова об условиях и механизмах порождения гибридного регистра книжного языка [Живов 1998: 229–232; 2004: 64–69]): имперфективы на *-ыва-* здесь оказываются элементом некнижного языка, используемым в силу интерференции и отсутствия в арсенале нового стиля соответствующего такому содержанию книжного образца (ср. показательное сосуществование их в контексте с исключительно книжным *-а-*имперфективом *разсмотряетъ*).

Итак, *-ыва-*глаголы теперь оцениваются как маркированно некнижные образования, не допустимые в стандартном церковнославянском и допустимые в гибридном как элемент живого языка. Любопытно при этом, что в летописных редакциях житийных текстов, помещенных в статьи за XIV в., даже если редакция создавалась в XVI в. (как ЖСР в составе НЛ), имперфективы на *-ыва-* возможны, как и в прочих записях XIV в.

Причиной изменения оценки глаголов на *-ыва-/ива-* в XV–XVI вв. стало, очевидно, в первую очередь собственно южнославянское влияние, поскольку *-ыва-* модель имперфективации не соответствовала болгарской, имперфективы же на *-а-*, напротив, широко употребительны в книжных южнославянских текстах. Сказалось и характерное для этого времени «отталкивание» книжного языка от разговорного: в говорах Центра активность *-ыва-* модели в XV–XVI вв. становится очень высокой, к тому же эти образования входят в формуляр делового языка (такие формульные употребления проникают и в летописи, например глагол *приказывати* во вставных духовных грамотах и др.). Вхождение в формуляр некнижного делового регистра в эпоху XV–XVI вв., несомненно, способствовало их неприятно стандартным регистром книжного языка. Но в гибридном регистре имперфективы на *-ыва-/ива-* остаются возможными, хотя меняется их статус: прежде немаркированные, теперь эти образования становятся чертой живого языка, не допустимой в стандартном церковнославянском, — элементом гибридности.

Литература и источники

ГВЛ — Галицко-Волынская летопись по Ипатьевскому списку (см. Ипат.).

Гиппиус 2001 — А. А. Гиппиус. *Рекоша дружина Игоревы...* К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics. 25. 2001. С. 147–181.

Гиппиус 2006 — А. А. Гиппиус. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы (История и структура текста в лингвистическом освещении) // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006. С. 114–251.

Гиппиус 2009 — *А. А. Гиппиус*. Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии // Хороши дни... Сборник памяти А. С. Хорошева. СПб., 2009. С. 181–198.

Духанина 2008 — *А. В. Духанина*. Морфологические нормы в сочинениях Епифания Премудрого (система глагола). Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2008.

Живов 1998 — *В. М. Живов*. Автономность письменного узуса и проблема предметности в восточнославянской средневековой книжности // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 1998. С. 212–247.

Живов 2004 — *В. М. Живов*. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII вв. М., 2004.

ЖВХ — Житие Варлаама Хутынского по списку ГИМ, Синод. № 948, лл. 144–174, XV в.

ЖНР — Житие Никона Радонежского Пространной редакции по списку РНБ, F. I, № 278, XVI в. // В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. С. LXIV–LXXXI.

ЖСП — Житие Стефана Пермского по списку ГИМ, Синод. № 91, лл. 650–777, нач. XVI в.

ЖСР — Житие Сергия Радонежского 1-й и 4-й Пахомиевских редакций по спискам РГБ, Троицк. № 746, лл. 247–261 об., XV в.; Троицк. № 771, лл. 196–266, XVI в.; Троицк. № 116, лл. 355–396 об., XV в.; Тихонр. № 705, лл. 37–105 об., XV в. (см. изд.: Древние жития преподобного Сергия Радонежского / Собраны и изданы академиком Николаем Тихонравовым. М., 1892); в редакции Никоновской летописи см. НЛ.

Изборник 1076 — Изборник 1076 года. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I–II. М., 2009.

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись. М., 1998. Т. 2.

КЛ — Киевская летопись по Ипатьевскому списку (см. Ипат.).

Клосс 1998 — *Б. М. Клосс*. Избранные труды. Т. I. Житие Сергия Радонежского. М., 1998.

Кузнецов 1953 — *П. С. Кузнецов*. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953.

Кузнецов 1959 — *П. С. Кузнецов*. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. М., 1997. Т. 1.

Лурье 1988 — Житие Михаила Александровича // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 299–301.

НЛ — Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // Полное собрание русских летописей. Т. X (1177–1362 гг.). СПб., 1885; Т. XI (1362–1424 гг.). СПб., 1897; Т. XII (1425–1505 гг.). СПб., 1901; Т. XIII (1505–1558 гг.). СПб., 1904.

НПЛ (НПЛст и НПЛмл) — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

ПВЛ — Повесть временных лет (см. Лавр., Ипат. и НПЛмл).

Пичхадзе 2011 — А.А. Пичхадзе. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 2011.

Силина 1982 — В.Б. Силина. История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 158–279.

Силина 1987 — В.Б. Силина. Специфика выражения видовых различий в древнерусском литературном языке // Древнерусский литературный язык и его отношение к старославянскому. М., 1987. С. 196–208.

СкБГ — Сказание о Борисе и Глебе по списку Успенского сборника (см. Усп. сб.).

СЛ — Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку (см. Лавр.).

ТЛ — Полное собрание русских летописей. Типографская летопись. Т. XXIV. М., 2000.

Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.

Шевелева 1991 — М.Н. Шевелева. Значение и употребление производных имперфективных основ в книжно-литературном языке средневековой Руси XV–XVI вв. // Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола. М., 1991. С. 114–133.

Шевелева 2010 — М.Н. Шевелева. Вторичные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-* в летописях XII–XVI вв. // Русский язык в научном освещении. 2010. №2 (20). С. 200–242.

Шевелева 2013 — М.Н. Шевелева. Имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-* в севернорусских летописях // Русский язык в научном освещении. 2013. №2 (26). С. 205–240.

Шевелева 2014 — М.Н. Шевелева. Вторичные имперфективы с суффиксом *-ыва-/-ива-* в Повести временных лет // Русский язык в научном освещении. 2014. №2 (28). С. 153–179.

Maria N. Sheveleva

*Lomonosov Moscow State University
(Moscow, Russia)*

EAST SLAVIC IMPERFECTIVE VERBS WITH THE SUFFIX *-YVA-/-IVA-* AND THE LITERARY TRADITION

Characteristic East Slavic imperfective verbs with the suffix *-yva-/-iva-* were infrequent in Old Russian literary texts, but they were not marked as exclusively colloquial and impermissible in the literary language until the end of the 14th century: the choice of the pattern of imperfectivization was not a significant sign of the literary language,

variation of the *-a-* and *-yva-/-iva-* patterns was possible. In the «hybrid» register tradition, based upon the writing practice of the Kievan chronicles, some steady phrases using *-yva-/-iva-* verbs were formed. In standard Church Slavonic texts of the 11th-14th centuries these verbs occurred rarely but also were not marked as specifically colloquial.

From the period of the «second South Slavic influence» the situation was changed: the imperfective *-yva-/-iva-* verbs became to be considered as specifically colloquial and impossible in standard Church Slavonic, while; in the «hybrid» register of literary language they were permitted as a feature of the colloquial language.

Keywords: imperfective verbs, suffix *-yva-/-iva-*, standard Church Slavonic, «hybrid» register of literary language, chronicle tradition.

А. Ф. Литвина

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)*

Ф. Б. Успенский

*Институт славяноведения РАН /
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)*

**«...И В КИЕВЕ МЯ ПОСАДИТЬ И ОТЦЕМЬ МЯ НАЗВАТЬ А Я ЕГО
СЫНОМ». ОТЦЫ И ДЕТИ В ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ XII В.***

Структура власти на Руси в домонгольское время, а точнее, в XI — первой половине XIII в., была такова, что каждый княжич, потомок Владимира Святого по мужской линии, по праву рождения располагал и правом на власть, правом на землю. Объем этих властных привилегий на протяжении его жизни в каждый конкретный момент определялся принципами родового старшинства и, лишь до известной степени, личными качествами самого князя. Сочетание этих факторов давало возможность тому или иному Рюриковичу продвигаться по иерархической лестнице или, напротив, препятствовало этому продвижению. В этих условиях весьма значимыми оказываются некоторые параметры династической жизни, не связанные напрямую ни с тем местом, которое князь получал в генеалогической системе Рюриковичей по рождению, ни с его индивидуальными качествами. Со времен наследников Ярослава Мудрого своеобразной дискриминации подвергаются молодые князья, лишившиеся отцов при жизни деда, а иногда и попросту относительно рано осиротевшие. С другой стороны, взрослый князь, утративший сыновей или никогда их не имевший, также оказывается ущемлен в своем династическом статусе, и хотя его право на власть не оспаривается как таковое, он практически теряет возможность занимать какой-либо из старших, наиболее престижных княжеских столов в русской земле. Со временем династия вырабатывает особые защитные механизмы, призванные предохранять членов династии от перспективы подобного рода ущербности.

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Общее и особенное в динамике культурного и политического развития на Востоке и Западе Европы в X–XVII вв.», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году.

Ключевые слова: Древняя Русь, термины родства, династия Рюриковичей, наследование власти, бездетность, сиротство, генеалогическое старшинство.

В истории любого правящего рода Средневековья находятся фигуры, чья судьба как-то не укладывается в общепринятый порядок вещей, но тем не менее как раз на примере их жизни многое в этом общепринятом порядке становится для современного исследователя более ясным. Есть такие князья-исключения, которые собою как бы подтверждают правило, и в династии домонгольских Рюриковичей. Так, существует своеобразная загадка Вячеслава, одного из сыновей Владимира Мономаха, который на протяжении долгого времени почему-то оказывается ущемлен в своих династических правах. Собственно говоря, «не повезло» даже его династическому имени, которое в следующих поколениях князей воспроизводится довольно редко и неохотно. Создается впечатление, что у Вячеслава Владимировича то ли недостает чего-то, что нужно полноценному князю, то ли, напротив, есть что-то лишнее, мешающее легитимности его прав. Как кажется, для подобного рода загадки можно предложить свое объяснение: речь идет о конкретном изъяне, природу которого вполне удастся уловить, а природа эта, в свою очередь, связана с достаточно интересными, на наш взгляд, закономерностями структурирования власти на Руси XII в.

Самое яркое проявление ущербности Вячеслава приходится на тот момент, когда князь, казалось бы, достигает естественного пика своей династической карьеры и становится — вслед за отцом и двумя старшими братьями — киевским князем. Как известно, старший из этих братьев, Мстислав, вовсе не сталкивался со сколько-нибудь серьезными попытками оспорить его право на киевское княжение. Следующий брат, Ярополк Владимирович, был вынужден бороться за это право со Всеволодом Ольговичем, представителем черниговской ветви, с которым состоял в родстве и свойстве¹. Борьба эта была весьма упорной, но всякий раз Ярополк находил достаточно сил, чтобы и после военного поражения не отдавать Киев сопернику, и в конце концов его преимущество было признано безоговорочно.

С Вячеславом же, когда он после смерти Ярополка садится в Киеве, сразу выходит явная незадача: к городу подступает Всеволод, причем летописец подчеркивает, что тот явился, собрав «мало дружины», но зато с двумя братьями, родным и двоюродным (Святославом Ольговичем и Владимиром Давыдовичем):

...и оувѣда Всеволодь Ярополка. оумерша. а Вячславъ сѣдить в Киевѣ. и събравъ мало дружины съ братомъ своимъ. Стославомъ и с Володимеромъ Дѣдцемъ придоша Вышегороду. и сташе тоу въшедше в городъ [ПСРЛ, II: 302].

Данная ремарка повествователя свидетельствует о том, что Ольговичи стремятся не к настоящей войне, а к неким, так сказать, силовым переговорам. Характерно,

¹ Ярополк и Всеволод были не только троюродными братьями, но Всеволод еще и женился на племяннице Ярополка, дочери Мстислава Великого.

в частности, что Всеволод даже не приводил с собой своих родичей-половцев, охотно помогавших ему в военных конфликтах с Ярополком.

Совершенно неожиданным образом Вячеслав даже не попытался оказать этой малочисленной дружине Всеволода сопротивления, но сразу же отказался от Киева, а вместе с ним и от собственного родового старшинства. В Ипатьевской летописи для передачи данного обстоятельства используется любопытная с филологической точки зрения формулировка — *створисл мнии*, т. е. добровольно занял позицию младшего в иерархии². Рассказ Лаврентьевской летописи ни в чем не противоречит такой трактовке событий, он, пожалуй, лишь несколько менее детализирован и эмоционален. Подчеркнем еще раз, что понижение родового статуса Вячеслава обставлено не как результат военной победы черниговского князя, а скорее как некая церемониально-легитимная смена власти, организованная согласно договоренности: Всеволод, уже действующий на окраинах Киева, должен отойти обратно в Вышгород с тем, чтобы дать Вячеславу время спокойно отправиться в «свою волость», в Туров; лишь после этого Всеволоду надлежит занять столицу «с ч⁶тью и славою великою» [ПСРЛ, II: 303].

Ни митрополит, ни киевляне, совсем недавно принявшие Вячеслава на киевское княжение, никак не возражают против подобного развития событий. Такое описание очень резко контрастирует с рассказами о том, как вел себя старший брат Вячеслава, Ярополк, когда Всеволод Ольгович пытался подступить к Киеву, или их младший брат Андрей, которого Всеволод, уже сделавшись киевским князем, хотел выдворить из Переяславля и отнюдь не преуспел в этом [ПСРЛ, I: 307–308].

Некая княжеская ущербность Вячеслава этим эпизодом династической истории отнюдь не исчерпывается. Она отчетливо прослеживается с середины 30-х до начала 50-х гг. XII в., причем ущемляют его права не только Ольговичи, но и свои — ближайшие родичи, брат и племянники Мономашичи (ср., например, [ПСРЛ, II: 295, 297]). С другой стороны, эти родичи прекрасно отдают себе отчет в том, что в их семейной ветви — а под некоторым углом зрения и среди Рюриковичей вообще — Вячеслав обладает бесспорным старшинством.

В той смуте конца 40-х — начала 50-х гг. XII в., которая разгорелась после смерти Всеволода Ольговича, все главные действующие лица, принадлежащие к потомству Мономаха, — и Юрий Долгорукий, младший брат Вячеслава, и Изяслав Мстиславич, его племянник, — твердо знают, что по родовому счету из всей

² Весьма показателен фрагмент из «Повести временных лет», где князь также добровольно констатирует свое меньшинство по отношению к собеседнику: «...посылаше к Слгови мира проса. глѣ азъ ѡсмъ мнии тебе слиса к ѡцю моему. а дружину юже ѡси зааль вороти. а ѡзъ тебе во все^а послушаю» [ПСРЛ, I: 238]. Существенно, однако, что здесь речь идет об обращении юного племянника, Мстислава, к своему двоюродному дяде, Олегу Святославичу, который вдобавок приходится ему крестным отцом. Иными словами, княжеская добродетель Мстислава заключается именно в том, что он охотно и добровольно признает действительное и очевидное старшинство Олега в родовой иерархии, хотя имеет все шансы выиграть военное противостояние с ним. Вячеслав же и Всеволод принадлежат к одному поколению, и о бесспорности старшинства Всеволода речь, разумеется, не идет.

их родни именно Вячеславу должен принадлежать Киев, и в то же время это должествование с успехом обходят (ср., например, [ПСРЛ, II: 429]). Вячеслав все время оказывается в какой-то амбивалентной и, безусловно, проигрышной ситуации, когда он должен и одновременно не должен получать этот главный стол, хотя он, по его собственным словам, имеет и силу, и дружину. Согласно летописному рассказу, в определенный момент Юрий Долгорукий, заняв Киев, совсем уж было собрался отдать его брату, в соответствии с должным порядком вещей, однако его отговаривают бояре, утверждая, что «братоу твоемоу не оудержати Киева да не боудеть. его не тобѣ ни шному» [ПСРЛ, II: 394]³.

Что же не так с Вячеславом Владимировичем?

Разумеется, объяснение вереницы подобных казусов можно свести к разговору о личных качествах этого князя, который будто бы был незадачлив и неспособен к военным действиям. Однако, во-первых, такое объяснение годится фактически для чего угодно, для любой нетривиальной исторической ситуации, а во-вторых, мы, пожалуй, можем выделить некую группу примеров, когда тот или иной князь благодаря своим личным качествам получает более того, что ему полагается по рождению, но практически не знаем случаев, чтобы права того или иного Рюриковича столь демонстративно и при всеобщем согласии умалялись по отношению к его исходному иерархическому статусу.

И наконец, в-третьих, в летописи мы не находим ни одного упоминания о каком бы то ни было личностном изъяне Вячеслава Владимировича, способном спровоцировать столь заметные династические последствия. Напротив, Вячеслав предстает перед нами миротворцем и противником кровопролития, зачастую весьма успешным посредником в переговорах между князьями. Можно было бы усмотреть в этом какой-то недостаток в воинской доблести, но в этом смысле его характеристики практически тождественны характеристикам его брата Ярополка Владимировича, вполне успешно княжившего в Киеве. В традиции же русского летописания похвала княжескому миролюбию как таковая отнюдь не связывается с завуалированным намеком на недостаточную воинскую доблесть, слабость или полководческую бездарность.

Более того, нетрудно заметить, что в биографии Вячеслава довольно долгие годы ущербности как бы вставлены в рамку княжеского карьерного благополучия. При жизни отца ничто не предвещает будущей неполноценности этого князя. Вячеслава, по-видимому еще совсем юного, Владимир Мономах посылает с половецким отрядом на помощь старшему брату Мстиславу [ПСРЛ, I: 239; II: 229]. Он возглавляет правый фланг войска, ведущего битву со Святославичами, и противостоит младшему из них — Ярославу. Скорее всего, именно он остается при

³ В Никоновской летописи в соответствующем эпизоде появляется еще одна группа лиц, побуждающих бояр отговорить князя от приглашения Вячеслава, — собственные дети Юрия Долгорукого [ПСРЛ, IX: 183]. Весьма вероятно, что самим упоминанием неких советчиков, которые «размолвиша» Юрия, мы обязаны необходимости объяснить, как это нередко случается в летописном нарративе, не вполне легитимный поступок князя, который намеревался действовать как должно, но затем — вопреки достойному замыслу — все же оставил старший стол себе.

старшем брате, пока их отец, Владимир Мономах, ведет переговоры с Олегом Святославичем⁴. В дальнейшем вместе с другими братьями он участвует в отцовских военных походах на половцев [ПСРЛ, I: 282] и в междоусобных битвах. В частности, Ипатьевская летопись особо отмечает его роль в походе на Глеба Всеславича: именно Вячеслав берет Оршу и Копысу, Ярополк Владимирович же, будущий князь киевский, вместе с Давыдом Святославичем захватывают Друцк [ПСРЛ, II: 282–283], так что между братьями наблюдается своего рода равенство, если не некоторый перевес в пользу Вячеслава.

В свой черед, в соответствии со старшинством — Вячеслав был, судя по всему, пятым сыном Мономаха — он получает от отца достаточно значительный смоленский стол, а в начальный период княжения брата Мстислава мы обнаруживаем его в Турове. Иными словами, до поры до времени, приблизительно до начала 30-х гг. XII в., воинские качества Вячеслава не подвергаются сомнению, а его княжеские права не обнаруживают никакой дефектности.

С другой стороны, в последние годы жизни Вячеславу удалось «свое старшинство «править» [ПСРЛ, II: 428] и сделаться, хотя явно не самым главным, но участником соправления в Киеве, которое в разные периоды можно считать дуумвиратом или триумвиратом. Почета ему достается, пожалуй, больше, чем властных привилегий, но необходимость считаться с его старшинством остается вплоть до смерти Вячеслава несомненной, незыблемой и лишеной всякой двойственности.

Что же задает эту рамку, если мы можем сказать, что в начале и в конце княжеской жизни у Вячеслава все было более или менее как полагается, а на зрелый возраст приходится такой странный провал? Как кажется, объяснение этому имеется. В начале растянувшейся на долгие годы черной полосы Вячеслав теряет сына, а конец ее ознаменован тем, что он сына или сыновей приобретает.

В самом деле, его взрослый и на тот момент, по всей видимости, единственный сын Михалко умирает в июле 1129 г. Обратим внимание, что этот молодой князь в летописи прежде не упоминался вовсе. Тем не менее сообщение о его смерти весьма детализированно:

В се же лѣто престависѧ Вячъславичъ Михаило. внукъ Володимерь. июля. въ ѿсе [ПСРЛ, II: 293]⁵.

Обычно отчество и дедчество, да еще и сопровождающиеся точной датой смерти, указывают или на высокое положение усопшего в княжеской иерархии, или на прекращение конкретной родовой линии⁶. Очевидно, что в случае с Ми-

⁴ С хорошей вероятностью именно Вячеслав был тем безымянным «малыи́м братомъ» Мстислава, который упоминается в письме Мономаха к кузену.

⁵ В соответствующей записи Лаврентьевской летописи упоминание деда умершего князя отсутствует: «... в то же лѣтѣ престависѧ Михалко Вячъславичъ» [ПСРЛ, I: 301].

⁶ Ср., например: «Оумре Стославъ Володимиричъ. въ Вщижи внукъ Двдѣвъ» [ПСРЛ, II: 525]. Существенно иметь в виду, что на этом князе, Святославе Владимировиче Вщижском, пресеклась родо-вая линия не только его отца, но и деда (подробнее о нем см. ниже).

халко речь не может идти о маркированно высоком статусе этого князя, прежде попросту не появлявшегося в летописном нарративе. С другой стороны, с формально-биологической точки зрения не совсем понятно, почему мы имеем дело с прекращением полноценной семейной линии, ведь у Михалко остались дети, характеризующиеся в летописи как «Вачеславли внуки» [ПСРЛ, II: 479].



Однако в династической жизни Рюриковичей малолетние, осиротевшие при жизни деда внуки взрослым сыновьям не замена, и полноценными наследниками деда они ни в коем случае не становятся. Вячеслав же к этому времени отнюдь не молод, и если не сразу, то в ближайшие годы становится ясно, что других детей мужского пола у него не предвидится. Во всяком случае, к моменту, когда настала пора ему сменить брата Ярополка на киевском столе, никакого сколько-нибудь взрослого сына в его распоряжении нет, и именно это и делает, на наш взгляд, его претензии на родовое старейшинство весьма уязвимыми.

Под таким углом зрения становится заметно, что в XII в. никакому князю не удастся надолго закрепиться на киевском столе, если у него нет сыновей кровных или, так сказать, благоприобретенных. Это не абсолютный закон, но ярко выраженная тенденция. Отсутствие мальчиков достаточно длительное время спустя после женитьбы, по-видимому, существенно снижает карьерный потенциал князя. Дело здесь не сводится к сугубо практической, военно-стратегической перспективе. В самом деле, киевскому князю, например, удобно иметь сына, чтобы с его помощью удерживать Новгород, Переяславль или какой-либо иной значимый город, однако не менее важным было и символическое значение права

старших в роду князей сажать на те или иные столы своих сыновей. В этом свете весьма характерна практика, когда властные и воинские полномочия делегируются совсем юным Рюриковичам, которым по возрасту заведомо далеко до княжеского совершеннолетия, — на них возлагаются обязанности, предназначенные куда более зрелому княжичу, хотя, казалось бы, от взрослого воеводы или наместника князю-отцу было бы в целом ряде таких случаев куда больше проку.

Даже если речь не идет о претензиях на Киев, отсутствие наследников мужского пола накладывает определенный отпечаток на династический портрет Рюриковича. Обратим внимание на нескольких князей с явно нестандартной династической судьбой. Одним из первых на ум приходит, конечно же, Никола Святоша — первый, а на долгое время и единственный из русских правителей, кто принял постриг не на смертном одре, не неволей, не в минуту смертельной опасности. Семья у Святоши была, была и дочь, ставшая женой Всеволода Мстиславича [ПСРЛ, III: 19, 203], а вот сыновей, перешагнувших черту младенчества, судя по всему, не было. Мы, разумеется, не хотим сказать, что именно из-за этого он постригся, но отсутствие наследников мужского пола, вероятно, облегчало возможность подобного решения: приняв монашество при живом отце (Давыде Святославиче), он обрек бы своих наследников мужского пола на ту же участь, что ждала бы сыновей в случае смерти князя, при живом отце умершего.

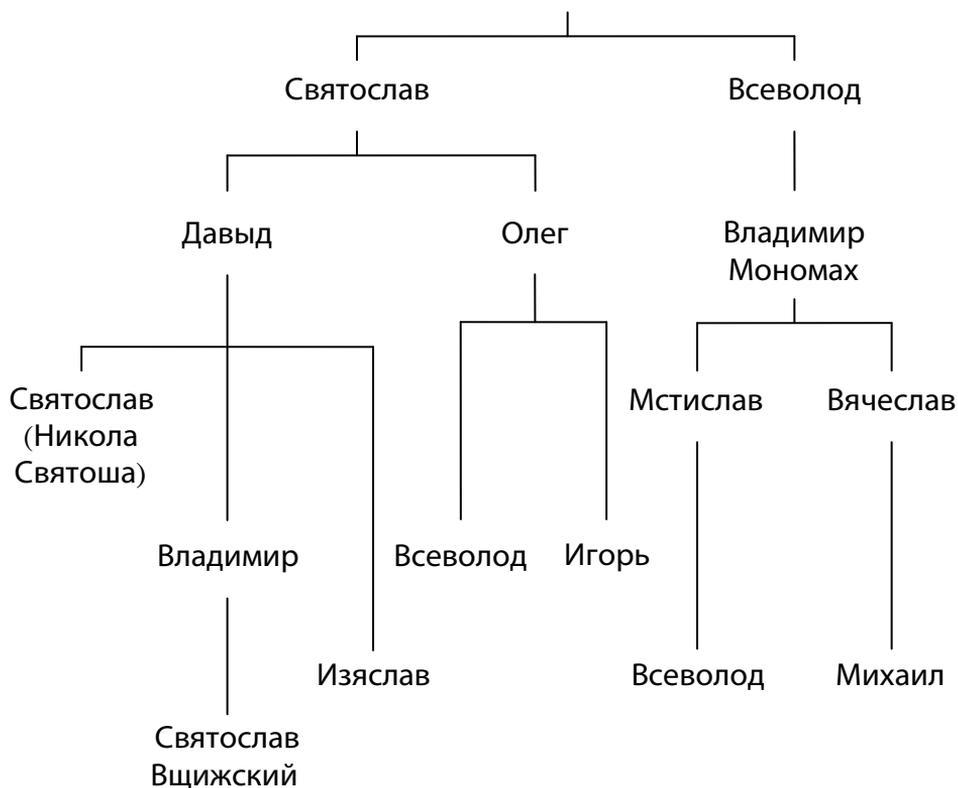
Про другого князя-инока, Игоря Ольговича, мы знаем со всей определенностью, что у него была жена [ПСРЛ, II: 335], однако никакие сыновья ни при нем, ни при его жене или братьях никогда не упоминаются в летописи, по-видимому, у этой пары их попросту не было. Про Игоря, конечно, нельзя утверждать, что он не усидел на киевском столе именно из-за отсутствия сыновей, — тому имелось, как известно, сразу множество причин, — но вполне вероятно, что свою роль во всей этой сложной ситуации сыграл и «демографический фактор». Любопытно в этом свете, что в самом начале его династического взлета, в тот краткий миг, когда киевляне согласились иметь Игоря своим князем, в летописи вдруг появляется довольно неожиданная идея некоего дуумвирата — княжеские предлагают Игорю и его брату Святославу [ПСРЛ, II: 321–322] (ср. [Пресняков 1993: 80]). Не исключено, что подобная идея соправления хотя бы отчасти объясняется тем, что у Святослава, в отличие от его старшего брата Игоря, сыновья в это время были и по крайней мере один из них уже входил в пору отрочества⁷.

Если обозначенная нами тенденция и в самом деле существовала, то каким образом киевский стол мог, хотя бы и недолго, занимать, например, Изяслав

⁷ Говоря о Святославе Ольговиче, нельзя еще раз не вспомнить, сколь рано Рюриковичи в XII в. стремились вовлечь маленьких мальчиков в церемониально-договорную жизнь. Едучи к своему союзнику Юрию Долгорукому в Москву на обед, Святослав берет с собой не только собственного старшего сына Олега, которого в перспективе планирует женить на дочери Юрия, но и своего внучатого племянника, сына Святослава Всеволодича, союз с которым ему так важен; хотя этот внучатый племянник — еще совсем дитя, однако он уже выступает легитимным представителем своего отца [ПСРЛ, II: 339–340].

Давыдович, о чьих родных сыновьях в летописи также решительно ничего не сообщается? У него, по-видимому, был к началу киевского княжения полноценный заместитель сына, родной племянник-сирота Святослав Владимирович Вщижский. Изяслав исполняет по отношению к этому племяннику все те обязанности и предоставляет ему все те полномочия, которые обыкновенно связывают отца и сына — в частности, именно он занимается обустройством брака Святослава [ПСРЛ, I: 350; II: 508], его, еще совсем юного, он пытается оставить на княжеском столе в Чернигове, переместившись оттуда в Киев [ПСРЛ, II: 490], в нем он видит своего основного союзника, а вероятнее всего, и преемника. Плану преемничества не суждено было осуществиться, Святослав Владимирович пережил не только своего отца, но и погибшего в битве дядю, однако отнюдь не унаследовал Чернигов. Ему предстояло стать последним мужским представителем дома Давыдова (старшей линии наследников Святослава Ярославича) в роду Рюриковичей.

Ярослав Мудрый



Упомянув об осиротелом племяннике, мы подошли к другой стороне интересующей нас проблемы, которая исследователями традиционно обозначается как *изгойство*. Очень огрубляя дело, ее можно сформулировать так: в XI, а отчасти и в первой трети XII в. князь, оставшийся без отца при живом деде, а иногда и попросту

осиротевший прежде, чем его удалось посадить на какой-либо княжеский стол, теряет то место в родовой иерархии, которое в принципе ему предназначалось по рождению, он как бы пропускается в счете родового старшинства⁸.

В сущности, вся названная эпоха окрашена династическими конфликтами, возникающими на почве изгойства и, так сказать, полуизгойства. Достаточно упомянуть, насколько неудачно складывалась княжеская карьера потомков Владимира Ярославича, старшего сына Ярослава Мудрого, который скончался при жизни своего отца. Ярослав не наделил в своем завещании осиротевших внуков (Владимировичей) тем, что причиталось бы его сыну, их отцу. Их собственное положение, а затем и положение их детей оказалось демонстративно двусмысленным и вновь и вновь провоцировало существеннейшие княжеские конфликты. В самом деле, они, с одной стороны, как будто бы являли собой старшую ветвь потомков Ярослава Мудрого, но с другой — были исключены из нормального родового счета, не могли совершать восхождение по ступеням династической лестницы, которое было предусмотрено для каждого Рюриковича.

Неслучайно в «Поучении» Владимира Мономаха мы находим пассаж о том, что общие родственники предлагают ему сговор с целью лишить внуков несчастного Владимира Ярославича всего. Столь же неслучайно, однако, Мономах отвечает им отказом [ПСРЛ, I: 241]. И совсем уж неслучайно, что именно в этой родовой линии наших изгоев впервые после длительного перерыва появляется имя основателя династии — *Рюрик*, свидетельствующее о том, что они не оставили своих чаяний о старшинстве, о родовом наследии и династическом первенстве.

Складывается впечатление, что ситуация, когда сын умирает раньше отца и внуки становятся сиротами при живом деде, остается неиссякаемым источником династической фрустрации на протяжении последней трети XI и начала XII столетия⁹. Обратим внимание, что княжеское изгойство в ту пору не ограничивается

⁸ Мы намеренно не останавливаемся здесь на знаменитой статье об изгойстве из «Устава Всеволода»: «Изгой трѣи: поповъ с(ы)нъ грамоты не оумѣть, холопъ из' холопства выкупитсѧ, коупѣць ѡдол'жаетъ. А се четвертое изгойство и себе приложимъ: аще кн(язь) ѡсиротѣтъ» [Щапов 1976: 157, § 17]. Время возникновения текста как такового, а тем более приписки о четвертом, княжеском изгойстве вызывает серьезные разногласия у исследователей, не является абсолютно прозрачным и ее содержание. Тем не менее целый ряд наглядных фактов, когда внуки — сыновья рано умершего князя — явно обходятся при разделе дедовского наследия между членами правящего рода, недвусмысленно свидетельствуют об ущербном положении таких сирот, каким бы термином оно ни обозначалось в домонгольской Руси. Об этой статье в «Уставе Всеволода» см. также: [Литвина, Успенский 2015].

⁹ Позволим себе предположить, что косвенным образом рефлексия по поводу ненормальности подобной ситуации отразилась в том, как составитель «Повести временных лет» использует знаменитый апокриф об Аврааме, его отце Фаре и брате Аране (Ароне). Аран, пытавшийся спасти кумиров из пламени, погибает, но эта кара трактуется летописцем в весьма своеобразном ключе: «...згорѣ ту Аранъ. и оумре пре^а ѡдѣмъ. пре [так в изд.] сѣмъ бо не оумиралъ сѣъ предъ ѡдѣмъ. но ѡдѣ пре^а сѣомъ. и ѡ сего начаша оумирати сѣове пре^а ѡдѣмъ» [ПСРЛ, II: 79] (об источниках этого рассказа, присутствующего, в частности, у Георгия Амартола [Истрин 1920: 81], см. [Шахматов 1940: 136; Водолазкин 2006: 901]). Не проводя грубых параллелей, можно сказать, что почти вся эпоха сложения «Повести временных лет» озаменована династической невозможностью

внуками, осиротевшими при живом деде, оно имеет свойство проецироваться и на тех княжичей, кто попросту рано остался без отца. Таков, по-видимому, казус Давыда Игоревича, чей отец, Игорь Ярославич, хотя и пережил собственного отца, но скончался то ли не имея возможности, то ли не успев наделить своего совсем юного сына каким-либо столом. Подобное сиротство оказывалось в ту пору фактором пожизненным — трудно забыть сколь поздно, с какими трудами и как ненадолго Давыду Игоревичу удавалось заполучить отцовское Владимиро-Волынское княжение.

Конечно, утверждение, что рано осиротевшему князю с точки зрения наследования власти приходится плохо, довольно тривиально в отношении любой династии. Специфической, хотя и не уникальной чертой ранних Рюриковичей является мера и степень выпадения внуков-сирот при живом деде из родового счета. На эту судьбу обречено, в сущности, и все их потомство. Так происходит не только в семье Ярослава Мудрого, но и гораздо позже, в середине XII в., например, с осиротевшими внуками князя Вячеслава Владимировича. Кроме того, не только молодому князю плохо остаться без отца, плохо это и для династии в целом, поскольку данный факт постоянно провоцирует военный конфликт между должным и сущим.

Возвращаясь от внуков и дедов к отцам и детям, еще раз подчеркнем, что за полвека, охватывающие конец XI столетия и самое начало XII, династия Рюриковичей претерпела множество бедствий именно от целой чреды изгойских конфликтов, а заодно и от конфликтов дядей и племянников. Нельзя не заметить, что это, по сути, две стороны одной и той же проблемы: дяди не наделяют ничем рано осиротевших племянников, а те стремятся отнять у них свое отцовское наследство, часто трактуемое весьма расширительно. По-видимому, в поколении сыновей Владимира Мономаха в ту пору, когда эти сыновья становятся достаточно взрослыми, начинают вырабатываться механизмы для предотвращения таких и подобных им ситуаций.

Постепенно складывается практика внутрисемейных договоров, когда двое или несколько князей-братьев, уже имеющих семьи, заключают соглашение друг с другом. Соглашения эти, с одной стороны, касаются преемственности между самими братьями, а с другой — переводят тех племянников, которым суждено будет осиротеть раньше, под покровительство дяди, оставшегося в живых после смерти их отца. Можно предположить, что такая традиция начинается с Мстислава и Ярополка, причем весьма вероятно, что прообраз этого соглашения был выработан еще при их отце Владимире Мономахе¹⁰.

преодолеть эту выходящую за пределы естественного порядка вещей ситуацию, когда сын умирает раньше отца, а не отец раньше сына.

¹⁰ О том, какую роль сыграл Владимир Мономах в договоренности между своими сыновьями, Мстиславом и Ярополком, см. [Назаренко 2009: 88–102]. Автор исследования полагает, что конечной целью Мономаха было формирование цепочки преемственности, в которую были бы включены он сам, его старший сын Мстислав и старший сын Мстислава — Всеволод. Ярополку же отводилась скромная функция промежуточного звена между Мстиславом и Всеволодом, а все прочие сыновья Владимира Мономаха, по замыслу отца, попросту отстранялись от наследования киевского стола.

К этому времени у Мстислава было уже несколько достаточно взрослых сыновей, однако Киев, как уже упоминалось, он передает не им, но Ярополку, следующему по старшинству брату, а тот, в свою очередь, весьма последовательно стремится предоставить своим осиротевшим племянникам Мстиславичам ключевые столы, которые надлежит занимать сыновьям киевского князя. В подобном контексте чрезвычайно интересен вопрос о родных сыновьях Ярополка Владимировича. Насколько можно судить по летописным источникам, в ту пору, когда готовился план его киевского княжения, сколько-нибудь подросших мальчиков в семье Ярополка не было. Появляющийся заметно позднее на страницах летописей загадочный Василько Ярополчич, хотя и был, по всей видимости, его сыном, внуком Владимира Мономаха, родился, что называется, слишком поздно, когда отец уже княжил в Киеве. Этот Василько не мог быть учтен при заключении договора Мстислава с братом, не мог стать и опорой, пусть даже символической, для своего отца, когда тот получил старший стол. И тем не менее, благодаря целой серии предварительно заключенных соглашений, Ярополк ни в коей мере не воспринимался как князь бездетный. Династическую нишу его сыновей заняли племянники, сыновья покойного брата Мстислава.

Модель договора между братьями получает свое развитие: несколько позднее, скорее всего после смерти отца, Владимира Мономаха, еще двое его сыновей — Юрий Долгорукий и Андрей Добрый — заключают аналогичный договор друг с другом. Теперь речь не идет о бездетности (сыновья есть у обоих братьев), но преимущественно о судьбе племянников в случае их сиротства. Подобным моделям договоров, включающих некое соглашение о порядке наследования братьев друг другу и, с другой стороны, об активном соблюдении интересов оставшихся без отца племянников, предстоит многократно тиражироваться. Соглашения между братьями с самого начала нередко закреплялись в имянаречении (один из младших сыновей Мстислава, например, становится *Ярополком*, а один из сыновей Юрия — *Андреем*) [Литвина, Успенский 2006: 71–110]. Направленность этого имянаречения устроена таким образом, что имя младшего брата достается одному из сыновей старшего, — это соответствует некоторой логике, ведь старший ожидается умрет раньше младшего, а к тому перейдут под покровительство его дети.

Судя по всему, до сыновей Мономаха у Рюриковичей не было ни нужды, ни охоты для подобных соглашений. Однако по мере разрастания династии родные братья хотя бы по контрасту с двоюродными в большей мере вынуждены были

Мы не находим в летописных источниках явных признаков существования такой династической программы, однако для обсуждающейся в нашей статье проблемы наиболее существенно, что проекту этому, даже если он имел место, не суждено было воплотиться среди ближайших потомков Мономаха, как и не суждено было тиражироваться и подхватываться во все последующие десятилетия, вплоть до конца домонгольского времени. У Рюриковичей не наблюдается ни переключения с горизонтального наследования власти на вертикальное, ни буквального следования результатам Любечского соглашения. Если такая идея и существовала, то династический обиход воспринял от нее лишь некий отрезок, элемент построения — договор между братьями, подразумевающий непосредственную преемственность и заботу о политической участи осиротевших племянников.

держаться заодно. Обратим внимание, что в той модели профилактики изгойства, которая вырабатывается, условно говоря, к концу первой трети XII в., есть своего рода изъяны, которые довольно быстро начинают сказываться. Так, поначалу в поколении сыновей Мономаха договоры заключаются не между всеми братьями, а между парами, наиболее близкими по возрасту и по иерархии. Первые соглашения такого типа еще воспринимаются как разовые, штучные, нечто связанное с конкретными нуждами и личными взаимоотношениями. Как кажется, именно из-за того, что данная практика не успела приобрести сколько-нибудь регулярного характера, Вячеслав Владимирович попадает в зону, ею не охваченную, — лишившись сына, он обнаруживает себя «между двух стульев».

Однако именно в эпоху Вячеслава, в эпоху династических конфликтов конца 40-х — начала 50-х гг. XII в., оттачивается механизм, который — при продуманном и грамотном ведении дел — не давал бы сыновьям не ко времени остаться без отца, а отцу на пике своей княжеской карьеры остаться без сыновей. Прежде всего, вырабатывается дополнительная модель, позволяющая наверстать упущенное, когда при наличии особого договора племянники, чей отец уже скончался, функционально могли полностью заменить сыновей своему дяде или, не заменяя, сделаться, так сказать, дополнительными его сыновьями. Если даже это не было сделано заблаговременно, пока отец этих юных или даже довольно взрослых сирот был еще жив, то возможным оказывается заключить особое соглашение непосредственно между заинтересованными младшими и старшим родичами.

С филологической точки зрения весьма характерно, что до эпохи этой княжеской смуты в летописи мы обнаруживаем довольно много примеров, когда в прямой или косвенной речи летописного нарратива старший брат, старший зять или даже неродственник становится для того или иного Рюриковича *яко отец* или *во отца место*. Действительно, в соответствии со всем укладом родовой жизни старший родич по отношению к младшему издревле может отчасти перенимать роль отца. Однако вплоть до ситуации княжеской уособицы конца 40-х — первой половины 50-х гг. в сообщениях летописи всегда присутствует показатель метафоризации термина *отец* («яко», «во отца место»). Лишь начиная с интересующего нас периода тот, кто биологически и генеалогически отцом не является, может быть назван *отцом* без этих маркеров метафоризации.

Так, Вячеслав охотно и многократно именуется *отцом* своих племянников Изяслава и Ростислава с той самой поры, как между ними заключен соответствующий договор. Однако к этой единственной коллизии дело не сводится. Острый династический конфликт спровоцировал своеобразную борьбу за племянников — *отцом* начинает именоваться и дядя по матери [ПСРЛ, II: 343], что в андроцентрической системе наследования власти у Рюриковичей несколько неожиданно и весьма симптоматично. *Отцом*, судя по летописи, юный осиротевший правитель может называть и шурина, старшего брата своей жены, который заменил ей отца [ПСРЛ, II: 446, 452]. Если говорить о прямой речи князей в Ипатьевской летописи, то производит впечатление, насколько охотно именно в этот период и именно такого рода «искусственные сыновья» используют обращение *отче*, адресуясь к «искусственным

отцам»¹¹. Во всяком случае, они это делают чаще, чем сыновья родные, — за подобным обращением может скрываться, некая церемониальная демонстративность, подчеркиваемая как летописцем, так, по-видимому, и самими князьями.

Характерно, что летопись сохранила всего одно детализированное описание процедуры такой договоренности с крестоцелованием¹², после которой небιологический отец именуется *отцом* безо всяких метафор и риторических фигур, и касается оно именно Вячеслава Владимировича и его племянника Изяслава Мстиславича. С этого-то момента и кончается бессыновство, а заодно и династическая ущербность Вячеслава Владимировича. Никто настолько охотно и многократно не именуется чьим-либо *отцом* на столь коротком временном пространстве нарратива, как Вячеслав по отношению к своим племянникам Изяславу и Ростиславу [ПСРЛ, II: 418, 419, 422, 427, 428, 429, 430, 437, 459, 461, 470, 471, 472, 473]. Термин *отец* применяется к нему с момента заключения договора, покуда он жив¹³.

Итак, можно сказать, что в начале 50-х гг. XII в. династия нашла некое решение, как немолодому отцу не остаться без сына, как юному сыну не остаться без отца и как племяннику не стать врагом своему дяде. Разумеется, такая модель срабатывала далеко не всегда, но ее тактическая и стратегическая сила достаточно очевидна.

Очень интересно, до какого, собственно, возраста сыну требовался отец и, наоборот, с какого возраста княжич годился на роль символического репрезентанта своего родителя. Здесь можно рассматривать множество частных и выразительных коллизий, хотелось бы только подчеркнуть, что раннее вовлечение княжича в политическую

¹¹ Подробнее о роли и функционировании подобных терминов искусственного, конструируемого родства в период противостояния Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого см. в работе: [Лавренченко 2014].

¹² Ср.: «оутрии же днь Изаславъ посла оу Вышегородъ къ ѿцю своему Вячеславу и ре^и ему ѿце кланю ти са а чо ми Бъ ѿца моего Мистислава ѿчалъ. а ты ми еси ѿць ны^и кланю ти^с сыгръшилъ есмь. и первое. а того са каю. а изнова. коли ми Бъ даль побъдити Игоря. оу Києва а д есмь на тобъ ч^ти не положилъ. а потомъ коли оу Тумаша. ны^и же ѿце того всего каюса. пре^а Бмъ и пре^а тобою. вже ми ѿче того ѿдаси. ты то и Бъ ми ѿдасть. ны^и же ѿче все даю ти Києвъ. поъди сади же на столъ дѣда своего и ѿца своего Вячеславъ же ре^и снѹ Бъ ти помози. вже на мене еси ч^ть възложилъ. то аще бы ты и давно тако оучинилъ. то ци мене еси поч^тилъ Бя еси. поч^тилъ аже дѣши ты мои еси ѿць а ты мои и снѹ оу тебе ѿца нѣту а оу мене снѹ нѣтуть. а ты же мои снѹ ты же мой братъ и на томъ хр^ть ч^тьныи целоваста. јако не разлучити^с има ни въ добрѹ ни въ злѹ но по вдному мѣсту быти» [ПСРЛ, II: 418].

¹³ Замечательно, что, как только Вячеслав умирает, искусственный характер его отцовства по отношению к племяннику сказывается в словоупотреблении. В самом известии о смерти князя, в рассказе о погребении, о раздаче его наследства он все еще фигурирует как *отец* Ростислава Мстиславича. Ср. следующие ремарки в прямой и косвенной речи: «оутрии же днь пригнаша. к Ростиславу ис Києва и повѣдаша ему ѿца ти Вячеслава Бъ поаль», «...и тако плакаса по ѿци свое^и и проводи его до гроба. съ ч^тью великою. съ множествомъ народа. и положиша оу стѣна Софья идеже лежить Йрославъ прадѣдъ его. и Володимиръ ѿць его», «и съзва мужа ѿца своего Вячеслави и тивунѹ и ключники. каза нести имъне. ѿца своего передъ са». Но как только все эти церемонии завершены, окружение Ростислава переключается в иной регистр и предупреждает своего князя: «се Бъ поаль *строва* [курсив наш. — А. Л., Ф. В.] твоего Вячеслава. а ты са еси еще с людми Києвъ не оутвердилъ» [ПСРЛ, II: 472–474].

жизнь рода, по-видимому, не является симптомом чрезвычайно раннего взросления Рюриковича, но призвано, помимо всего прочего, уберечь его от изгойства.

С другой стороны, весьма интересен вопрос о том, как развивается в дальнейшем модель отцовства дяди по отношению к племянникам, до срока лишившимся отца или по какой-либо иной причине оказавшимся отлученными от тех династических прав, на которые они могли бы рассчитывать по рождению. В этом отношении чрезвычайно интересной представляется княжеская стратегия еще одного Рюриковича из племени Мономаха, князя Ярослава Владимировича, чья активная деятельность приходится на последнее двадцатилетие XII и самое начало XIII в. Он был сыном Владимира Мачешича и внуком Мстислава Великого, который скончался в ту пору, когда отец Ярослава был еще совсем мал. Все потомство Мачешича оказалось, таким образом, в положении полуизгоев, Ярослав же фигурирует в летописях по преимуществу как свояк Всеволода Большое Гнездо. Считается, что его положение на новгородском столе целиком и полностью обеспечивалось этим свойством с могущественным владими́ро-суздальским князем.

Однако исследователями уже высказывались предположения, что Ярослав в значительной степени строил свою политическую стратегию в Новгороде на идее преемственности по отношению к другому Всеволоду, Всеволоду Мстиславичу, некогда возвращенному как новгородский князь и долго на этом столе княжившему [Гиппиус 2005]. Этот Всеволод, как известно, был самым старшим из сыновей Мстислава Великого, тогда как Владимир Мачешич — самым младшим. Трудно вообразить, чтобы при жизни между ними возникли какие-либо сепаратные договоренности, а тем более соглашения о судьбе племянников: Владимир был ребенком, когда Всеволод умер, их разделяла целая череда средних братьев, и никто из детей Мачешича в глаза не видел старшего дядю.

Тем не менее не исключено, что Ярослав Владимирович много десятилетий спустя пытался — в духе сложившихся традиций — репрезентировать себя как своеобразного сына и наследника своего скончавшегося дяди, тем более что собственных потомков мужского пола у Всеволода Мстиславича, судя по всему, не осталось. В таком случае мы имели бы дело со следующим витком символизации интересующей нас модели отцовства дяди, однако этот сюжет требует дальнейших разысканий и дополнительного исследования.

Литература

Водолазкин 2006 — *Е. Г. Водолазкин*. Краткая хронографическая Палея (текст), вып. 1 // ТОДРЛ. Т. LVII. СПб., 2006. С. 890–915.

Гиппиус 2005 — *А. А. Гиппиус*. Князь Ярослав Владимирович и новгородское общество конца XII века // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Отв. ред. О. Е. Этингоф. М., 2005. С. 11–25.

Истрин 1920 — *В. М. Истрин*. Книги временья и образья Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе (Текст, исследование, словарь). Т. I: Текст. Пг., 1920.

Лавренченко 2014 — *М. Л. Лавренченко*. «Быти всѣм за один брат»: Прагматика терминов родства в диалогах Киевской летописи (1146–1154) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1 (55). 2014. С. 43–57.

Литвина, Успенский 2006 — *А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский*. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропоники. М., 2006.

Литвина, Успенский 2015 — *А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский*. Княжеское сиротство: Об одном актуальном параметре престолонаследия на Руси XII в. // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития. Материалы XXVII ежегодной международной научной конференции. Москва, 9–11 апреля 2015 г. М., 2015. С. 58–64.

Назаренко 2009 — *А. В. Назаренко*. Династический проект Владимира Мономаха: попытка реформы киевского столонаследия в 30-е годы XII века // А. В. Назаренко. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. С. 88–102.

Пресняков 1993 — *А. Е. Пресняков*. Княжое право Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий. Лекции по русской истории: Киевская Русь / Подгот. текста, ст. и примеч. М. Б. Свердлова. М., 1993.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I–XLIII. СПб./Пг./Л.; М., 1841–2009¹⁴.

Шахматов 1940 — *А. А. Шахматов*. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. Т. IV. Л., 1940. С. 9–150.

Щапов 1976 — Древнерусские княжеские уставы: XI–XV вв. / Изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976.

Anna. F. Litvina

*National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

Fedor B. Uspenskij

*Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences /
National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

FATHERS AND SONS IN RURIKID DYNASTY (12TH CENTURY)

The system of political succession in pre-Mongol Russia was that every prince, a descendant of Vladimir the Great in the male line, possessed the right to power, the right to land. The amount of power privileges during prince's life was determined by rules of

¹⁴ В случае переиздания летописи мы, кроме специально отмеченных случаев, всегда ссылаемся на последнее издание.

genealogical seniority, and only to a certain extent, by the personal qualities of the member of the dynasty himself. The combination of these factors made it possible to move up or down the hierarchical ladder. Under these conditions, some parameters of dynastic life were very substantial, not directly connected with either the position that member of the clan occupied in a “staircase” system by birth or his individual qualities. Since the time of Yaroslav’s the Wise heirs there was a peculiar discrimination against young princes who lost their fathers during the life of their grandfathers, and sometimes simply relatively early orphaned. On the other hand, adult Rurikids, who lost their sons or were childless, were appreciably infringed upon their dynastic rights. Although the right to rule of such Rurikid was not disputed, he virtually lost the ability to hold senior most prestigious thrones. Over time, the Rurikids started to produce special protective means aiming to protect the members of the clan from this kind of dynastic inferiority.

Keywords: Medieval Russia, terms of kinship, Rurikids dynasty, system of succession, childlessness, orphanage, genealogical seniority.

IV

Саймон Франклин
Кембриджский университет
(Кембридж, Великобритания)

РОСТ ГРАФОСФЕРЫ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ **(ок. 1450–1850 гг.)**

Графосфера — это пространство видимого слова. В настоящей статье предлагается краткий обзор лишь одной части графосферы — развития письма в открытом публичном пространстве, истории наглядного письма как части городского ландшафта. Средневековый город отличался от античного города как раз отсутствием культуры наглядного наружного письма. В статье прослеживаются главные этапы возникновения и упрочнения элементов городской графосферы в России со второй половины XV в. до середины XIX в.

Церковное и околицерковное наружное письмо (храмозданные надписи, надписи на надгробных плитах, надписи на колоколах) начинает появляться с конца XV в. Государственные инициативы с графосферными последствиями до последней четверти XVII в. наблюдаются лишь эпизодически. В конце XVII — начале XVIII вв. выставление слов в различных государственных контекстах (распространение и вывешивание указов, возведение триумфальных и праздничных строений с надписями, украшение садов скульптурами с надписями) приобретает более программный характер. Однако подобные меры «сверху» обычно имели ограниченные последствия и не превращались в прочные традиции. Наиболее существенную роль в формировании городской графосферы современности играли не государственные заведения или официальные постановления, а потребности частной торговли, особенно в связи с распространением магазинов вместо торговых рядов или уличных лавок. Городская графосфера окончательно оформилась благодаря распространению вывесок главным образом в первой трети XIX в.

Ключевые слова: история письменности, эпиграфика, культура города, графосфера, история рекламы.

Какова динамика социально-пространственной истории письма? Кто и когда, где и с какими разновидностями письменного слова сталкивался? Речь идет не об

истории грамотности или письменной культуры, а о графической среде, или графосфере¹. В настоящей статье предлагается краткий обзор лишь одной части графосферы — развития письма в открытом, публичном пространстве, истории наглядного письма как части городского ландшафта.

В античном городе, как и в современном, открытые публичные пространства пестрят изображениями слов. Средневековый город, наоборот, визуально безмолвствовал. В Средние века наглядным многословием могли отличаться *внутренние* пространства, особенно в храмах, но средневековая графосфера, как правило, не простиралась на улицу или на площадь. Исключения бывали, но они достаточно редки².

В России процесс преобразования городской графосферы начался значительно позже, чем во многих странах Западной Европы. В ренессансном городе камни опять заговорили [Petrucci 1993]. В России, хотя уже со второй половины XV в. прослеживаются первые предпосылки подобного процесса, никаких прочных и масштабных изменений не было до второй половины XVIII в. В связи с этим мы представляем здесь (в неизбежно упрощенном виде) главные этапы в динамике становления публичной графосферы в России. Особое внимание уделяется роли, которую в данной динамике играли церковь, государство и торговля.

Начнем с церкви, точнее с надгробных надписей. История непрерывной традиции надписанных надгробных плит восходит ко второй половине XV в. [Беляев 1996; 2006; Franklin 2002]. В первое время такие памятники представляли собой горизонтальные каменные плиты, надписи на которых сообщали краткие фактические данные о личности усопшего. Изредка находят и поминальные кресты с более подробными надписями³. К концу XVIII в. на кладбищах России можно было любоваться всем диапазоном вычурных словесных и скульптурных приемов, как приличествует в просвещенной империи⁴. Отметим, что среди надписей раннего периода были не только кириллические. На московском кладбище, на котором хоронили христиан неправославных конфессий и которое было заброшено в первой половине XVII в., были и надписи на латинском, немецком, голландском, итальянском, английском, греческом и даже армянском языках. Кое-какие из этих плит были впоследствии использованы в Даниловом монастыре в качестве строительного материала [Беляев 1996: 270–283; Дрбоглав 1988: 22–66].

Однако нельзя сказать, чтобы надгробные и другие памятные надписи что-либо существенно изменили в становлении или развитии общественной графосферы. Во-первых, не всегда ясно, где первоначально находились те или иные плиты — на кладбище или в самом храме. Во-вторых (что важнее), кладбища можно только с определенными оговорками причислить к «публичному» пространству.

¹ О термине «графосфера» см. [Franklin 2011a].

² Среди исключений — кое-какие монументальные надписи на камнях (см., например, [Рыбаков 1964: 26–27, 33]); надписи на памятниках наружной стенописи [Орлова 2002: 193–251]; надписи на иконах, которые выносились на праздники или во время битв.

³ См. вкладную надпись на кресте, поставленном в 1458 г. дьяком Стефаном Бородатым [Николаева 1971: 92–94, 166; Святославский, Трошин 2000: 158–163].

⁴ См., например, [Царькова, Николаев 1993; Андросов 2013а: 240–252].

Кладбище, хотя оно и есть место открытое, все-таки остается в каком-то смысле закрытым, отдельным, огражденным физически и функционально. Его роль в графосфере никак нельзя отождествлять с функцией памятных надписей в городах античности, где они приветствовали прохожих на главных улицах.

Примерно с этого же периода на некоторых церквях начали появляться надписи, ориентированные прямо на публику. Это — каменные или керамические надписи об основании храмов. Подобные надписи на наружных стенах церквей стали довольно распространенными и в Москве, и в провинциальных городах [Донской 2013; Гиршберг 1959; Авдеев 2002]. Традиция изготовления и использования наружных керамических надписей зародилась, кажется, в Пскове, а в Москву мигрировала в XVII в. [Плешанова 1963; Баранова 2013].

Второй, более значительный (но еще не решающий) фактор в образовании и дальнейшем уплотнении публичной графосферы — это государство. Можно различать четыре фазы государственной деятельности в данной области. Первая фаза состоит из эпизодических, разнородных инициатив; вторая связана с официальными объявлениями; третья фаза относится к надписям на монументальных памятниках; четвертая — к обозначению улиц.

Эпизодическое государственное воздействие на почти не существующую еще публичную графосферу тоже наблюдается со второй половины XV в., а точнее с его последнего десятилетия. В 1491 г. к стене над воротами Фроловской (позднее — Спасской) башни Московского Кремля были прикреплены две каменные доски, одна на наружном фасаде (т. е. лицом к Красной площади), другая над внутренним входом [Дрбоглав 1988: 12–16; Петров 2011]. Обе надписи сообщали о постройке башни под руководством Антонио Солари, по заказу Ивана III. Надпись на внутренней стороне башни написана по-русски, надпись над внешним входом написана по-латински. В дальнейшем подобные надписи — так же, как аналогичные строительные надписи на наружных стенах церквей — встречаются не только в Московском Кремле, но и в других местах [Гращенков 2006; Авдеев 2008].

В тот же период началось производство своеобразной категории предметов, на которых тоже могли появляться монументальные, а иногда весьма публичные надписи. Это — пушки. В Московской Руси техника литья бронзовых пушек была введена к концу 1480-х гг. итальянскими мастерами⁵. В середине XVI в. тут было отлито несколько крупных пушек с надписями. Некоторые из них были использованы в военных действиях, но пушки особо внушительных размеров выставлялись на Красной площади недалеко от Фроловских ворот, т. е. превращались в публичные памятники. Там же первоначально выставлялся и самый гигантский из гигантов, Царь-пушка, отлитая в 1586 г. Андреем Чоховым [Немировский 1982; Bogatyrev 2010]. Как известно, чоховский великан никогда не был действующим оружием. Вместе с другими надписанными пушками и с досками Антонио Солари

⁵ См., например, [Иоасафовская летопись 1957: 126]. Также см. [Лицевой свод 2010: 73 (= л. 410 Шумиловской рукописи)].

Царь-пушка стала частью мини-графосферы в достаточно приметном и престижном месте, около кремлевских ворот⁶.

Следующая (т.е. вторая) фаза государственной деятельности в формировании публичной графосферы связана с обнародованием официальных документов. Практика публичного выставления правительственных текстов наблюдается с последней четверти XVII в., причем власти прибегали к поразительно контрастным приемам.

В конце мая 1682 г., после успешного стрелецкого восстания, которое привело к периоду «стрелецко-боярского двоевластия», царевна Софья Алексеевна согласилась выдать стрельцам «жалованную грамоту», чтобы никто их не считал бунтовщиками. Текст жалованной грамоты был отчеканен на больших медных листах, которые потом прикрепили к специально для этого построенному кирпичному «столпу» на Красной площади [Лаврентьев 1997]⁷. Этот первый надписанный московский гражданский памятник стоял всего несколько месяцев до очередной перестановки политических сил. В марте 1697 г. там же в связи с казнью пятерых заговорщиков был возведен второй памятный «столп», на котором были выставлены головы казненных и жестяные листы с текстом «наказа». В 1699–1700 гг. после разгрома стрелецкого бунта 1698 г. был поставлен еще один «столп» на Красной площади. На этот раз прибавили еще десять подобных памятников по главным местам захоронения бунтовщиков. К ним прикрепили чугунные плиты с пространственным текстом «Списка об изменниках». Надписанные «столпы» на Красной площади были снесены перед коронацией Петра II в 1727 г. Возможно, что кое-какие из десяти дополнительных памятников продолжали стоять и дальше.

В истории русской графосферы, как и в истории русских гражданских памятников, московские «столпы» играли видную, но лишь эпизодическую роль. Мода конца XVII в. не превратилась в традицию. В деле наглядного выставления официальных документов более перспективным оказалось использование более эфемерных приемов и материалов. Речь идет не о бронзовых монстрах и не о чугунных плитах на кирпичных столбах, но всего лишь о бумаге. С конца XVII в. тексты указов довольно часто определяли способы собственной публикации, технику обнародования. В перечнях приемов обычно фигурировала устная прокламация, но все чаще упоминался и публичный показ самого текста. В первые два десятилетия XVIII в. письменные (а с 1714 г. и печатные) указы регулярно прибывались к воротам, стенам, дверям храмов в Москве, Санкт-Петербурге и провинциальных городах [Franklin 2011b]. По поводу такого способа обнародования указов посредством развешивания хрупких, мелкошрифтных листовок может возникнуть целый ряд вопросов, например о коммуникативной динамике, о степени реальности предполагаемого читателя. Здесь отмечаем только одно: для большинства «зрителей», т.е.

⁶ Аналогичными в техническом отношении можно считать и надписи на колоколах. См., например, [Бондаренко 2012: 181–357; 1998: 117–155]. Однако только с определенной натяжкой можно причислить надписи на колоколах к элементам *публичной* графосферы.

⁷ Хочу выразить благодарность А. А. Турилову, обратившему мое внимание на эту работу.

необязательно активных читателей, но и наблюдателей или просто прохожих — особенно в провинции, выставленные напоказ указы представляли собой первый или даже единственный сколько-нибудь регулярный опыт контакта с публичным наглядным словом в нецерковном контексте.

Третья фаза также восходит к ранним годам Петровской эпохи. Тут речь идет не о бумажных листах, а о довольно крупных, хотя и не всегда прочных, монументальных памятниках. Их можно разделить на две разновидности: архитектурные и скульптурные.

Самые драматические (во всех смыслах) примеры архитектурных памятников — это башни, арки и ворота, возведенные в честь особо праздничных событий: фейерверков и военных парадов, начиная с фейерверков и триумфальной арки после Азовской кампании в 1696 г. [Зелов 2002: 122–194; Тюхменева 2005]. Роскошнее всего была серия московских триумфальных ворот, заказанных Петром после полтавской победы в 1709 г. На всех воротах были надписи, то на латинском, то на русском, то на обоих языках.

Значит ли это, что благодаря петровским праздничным памятникам городская графосфера наконец образовалась? Не совсем. Или даже совсем нет. Дело в том, что данные конструкции были по большей части временными. Их строили быстро, на заказ, по какому-нибудь случаю и чаще всего из дерева. Несмотря на их показную монументальность (они были расписаны под мрамор)⁸ и несмотря на то, что по исполнению назначенной праздничной роли не все арки сразу сносились, они были по существу и по назначению эфемерными, имели функцию декораций при одноразовых спектаклях в огромном уличном театре. Они входят в историю имперского церемониала, а не в историю градостроительства. Теперь мы о них знаем главным образом по изображениям в другой сфере петровской пропаганды — по печатным описаниям⁹ и по гравюрам Адриана Шхонебека, Питера Пикарта и Алексея Зубова [Алексеева 2013: 142–151, 188–191]¹⁰. Бумага оказалась прочнее, чем дерево. Произведения петровских мастеров в самых разных контекстах отражают эстетику городского пространства с довольно насыщенной публичной графосферой, как бы на псевдоантичный или псевдоголландский¹¹ лад. Они способствовали созданию и распространению соответствующего образа города, но такой образ был во многом иллюзорным.

Вторая разновидность надписанных монументальных памятников, восходящих к Петровской эпохе, оказалась более перспективной. Это античные скульптуры, или скульптуры под античность. Петр начал планировать Летний сад уже в 1704 г. Статуи он заказывал из Европы [Андросов 2013б; Cracraft 1997: 220–231].

⁸ Об их «реальной недолговечности, с претензией на монументальность» см. [Зелов 2002: 278].

⁹ Тексты описаний, включая подробные объяснения надписей, собраны в [Тюхменева 2005: 154–275].

¹⁰ Перечень печатных описаний триумфальных арок см. [Зелов 2002: 140–148].

¹¹ См. русский перевод описания триумфа Вильгельма Оранского в 1691 г., в котором описано около 140 надписей [Begunov 1987].

Его гости — или позднее, в зависимости от правил входа, более широкая публика [Keenan 2010] — могли любоваться красотами и, при желании, читать надписи на пьедесталах. Надписи обычно сообщали только имена изображаемых фигур¹², но встречались и более многословные. В углах, например, были расположены фонтаны с изображениями сцен из эзоповских басен. По сообщению Штелина, «Государь, думая, что весьма не многие из прогуливающихся в саду будут знать содержание сих изображений, а еще меньше разуместь их значение, приказал подле каждого фонтана поставить столб с белою жестью, на которой четким русским письмом написана была каждая баснь с толкованием» [Штелин 1801: 63]¹³. В течение XVIII в. статуи с надписями стали довольно распространенным явлением в царских, а потом и в частных аристократических парках и садах [Schönle 2007: 185, 193–205; 2010].

Тем не менее царские сады, так же как и кладбища, еще являются замкнутыми, огражденными пространствами. Поэтому ни одна из петровских монументальных инициатив не породила устойчивой традиции перемещения наглядного письма в город, еще не создавала вполне публичную графосферу наподобие вроде бы имитируемой античности. За исключением вышеупомянутых эпизодических явлений, монументальное письмо на памятниках стало более или менее регулярным элементом городской среды только с последней четверти XVIII в., когда статуи начинали эмигрировать из садов и кладбищ на площади. Первый и до сих пор самый знаменитый такой публичный памятник сохранял связь с Петром, поскольку он был посвящен именно ему. Это — статуя Этьена Фальконе, открытие которой состоялось в августе 1782 г., с ее надписями на латинском и русском языках¹⁴.

Последняя (в хронологических рамках настоящего обзора) фаза государственных инициатив в процессе формирования публичной графосферы связана с городской топографией. В России до второй половины XVIII в. названия улиц не обозначались на специальных табличках-ярлычках. До середины 1730-х гг. иностранные посетители с удивлением отмечали отсутствие названий улиц в северной столице¹⁵. В мае 1768 г. Екатерина II дала инструкцию Санкт-Петербургскому генерал-полицеймейстеру Н. И. Чичерину: «Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с именем той улицы или переулка на русском и немецком языке; у коих же улиц или переулков нет еще имен, то изволь оных окрестить»¹⁶. Так появились первые мраморные дощечки с названиями улиц. С инструкции Екатерины начался процесс распространения графосферы на стены обыкновенных домов, сращивания ее с топографией города. В начале XIX в. «Градская Дума повелела

¹² О якобы перепутанных надписях насмешливо отзывался Джакомо Казанова после своего пребывания в Санкт-Петербурге в 1765 г. [Рязанцев 2003: 412–418].

¹³ № 123. В некоторых других изданиях работы Штелина (= Stählin) данный анекдот фигурирует под номером 75.

¹⁴ О последующем распространении монументальных памятников с надписями см. [Рязанцев 2003: 366–379].

¹⁵ См., например, [Беспярых 1991: 108–109].

¹⁶ Цит. по [Шерих 1998: 117–118]. См. также [Друголенский 2001: 278; Лебедев 2010].

прибить на воротах каждого дома четверугольный жестяной лист с означением имени владельца, номера части и квартала» [Реймерс 1809: III]. Примечательно, что екатерининская инструкция о дощечках с названиями улиц была выдана почти одновременно с первым указом императрицы (от 5 мая 1768 г.) о поставлении памятника Петру I [ПСЗРИ 18: 539, № 13115].

Третьим и решающим фактором в образовании, расширении и уплотнении публичной графосферы стала торговля. Второстепенную, хотя и не совсем тривиальную роль играла торговля графическими материалами в публичных местах. О продаже книг и гравюр известно по разным источникам со второй четверти XVII века. В московском Овощном ряду продавались и «фряжские листы» — западноевропейские гравюры, среди которых, как можно предполагать с достаточной долей уверенности, были и гравюры с надписями¹⁷. С 1720-х гг. русские и импортированные гравюры выставлялись и продавались в лавках около Спасского моста. Уличная торговля графическими материалами процветала, несмотря на разные официальные меры, рассчитанные на ее ограничение [Алексеева 1976: 140–158; Стасcraft 1997: 306–309; Зайцева 1980].

Главную роль, однако, играла не торговля графикой, но графика торговли. Зарождение и развитие традиции использования вывесок с надписями служило, в конечном итоге, главным катализатором преобразования городского ландшафта и привело к тому, что наглядное письмо стало интегральной и привычной чертой городской среды, сделало реальностью ключевые элементы публичной графосферы современности.

Традиционные русские торговые вывески изображали не буквы, а предметы. Показывали разновидность товара прямо, а не через посредство слов [Сазиков, Виноградова 2013: 11–18; Povelikhina, Kovtun 1991: 11–26]. Законодательство о вывесках — указы о том, где и какие торговые знаки (или признаки торговли) разрешались или запрещались, — восходят к 1740-м гг. Указом от 2 декабря 1742 г. императрица Елизавета запретила торговлю на главных набережных улицах Санкт-Петербурга [ПСЗРИ 11: 728, № 8674]. Через десять лет она в новом указе уточнила, что она возражает не только против наглядных признаков торговли, но и против торговых знаков: «чтоб по тем улицам никаких вывесок, как ныне их много разных ремесел видно и против самого двора Ее Императорского Величества, не было» [ПСЗРИ 13: 708, № 10032]. В указе от 1770 г. Екатерина II даже старалась определить их приемлемые размеры, формы и материалы [ПСЗРИ 19: 18–19, № 13421]. Насколько мне известно, первой попыткой регулировать именно словесное содержание вывесок является указ Сената от 1746 г., согласно которому в Москве и Санкт-Петербурге на вывесках кабаков не должно быть написано «казенный питейный дом». Наоборот, «отныне на тех досках писать токмо питейный дом, не именовав казенным, и написанные переправить в немедленном времени» [ПСЗРИ 12: 626, № 9350]. В 1749 г. последовал указ Камер-коллегии, запрещающий всякие вычурные изображения на вывесках кабаков и табачных лавок: «над

¹⁷ О торговле графическими материалами в XVII в. см. [Луппов 1970: 45–76].

кабаками выставить только надписи: “в сем доме питейная продажа”, а над табачными лавками: “в сем доме табачная продажа”, и других никаких непристойных знаков не выставлять» [Есипов 1885: 307].

Трудно восстановить хронологию ранних этапов распространения словесных вывесок. На рынках и в торговых рядах преобладало зональное распределение торговцев: лавки всех, кто продавал определенные товары, находились в соответствующей зоне. При такой системе не обязательны индивидуальные вывески как средство ориентации. В гравированной панораме Москвы, выполненной А. Шхонебеком в 1705 г., изображена словесная наружная реклама на немецком языке, но она находится как раз в Немецкой слободе [Сазиков, Виноградова 2013: 17]. Примерно с середины XVIII в. постепенно накапливаются косвенные и прямые данные о том, что за рамками иностранных кварталов кое-какие вывески на русском языке, ориентированные на русского потребителя, уже существовали. Можно предположить, что мощным стимулом к размножению индивидуальных вывесок могли служить указы от 28 июня и 8 июля 1782 г., согласно которым всем купцам разрешено было «иметь по домам лавки и в них торговать» и это дозволение «распространяется на все города Всероссийской Империи. Сим правом пользоваться должны все записавшиеся в том городе купцы, какого бы они народа и закона ни были» [ПСЗРИ 21: 616, № 15451, 624, № 15462].

К 20-м и 30-м гг. XIX в. словесные вывески стали совсем привычными чертами столичных и в какой-то мере провинциальных улиц. Они начали отражаться в произведениях искусства и в литературе, и даже стали предметами изучения. В 1833 г. в письме к жене на ее день рождения (27 августа) А. С. Пушкин отмечает «важную новость»: «...французские вывески, уничтоженные Разтопчиным в год, когда ты родилась¹⁸, появились опять на Кузнецком мосту» [Пушкин 1948: 75]. Первый пространственный анализ вывесок вышел в 1836 г. и принадлежит перу некоего Федора Дистрибуенди (если это не псевдоним) [Дистрибуенди 1836]. Дистрибуенди описывает 25 разновидностей «обыкновенных» вывесок, дает краткие сведения об их оформлении и о надписях на них. У него есть также короткие главы о «курьезных» вывесках (он имеет в виду главным образом вывески полуграмотные) и об особо «изящных» вывесках.

Особенно ценно то, что Дистрибуенди интересовался почти исключительно «обыкновенными» вывесками. Благодаря этому, его книжка существенно дополняет то, что мы знаем из других источников. Например, из литературных и изобразительных источников известно, что на модном Кузнецком мосту было достаточно вывесок на французском языке. Так же обстояло дело и на престижных улицах Санкт-Петербурга. Замечательная группа акварелей Василия Садовникова «Панорама Невского проспекта», которая в начале 30-х гг. XIX в. была издана в форме длинной (шестнадцатиметровой) серии литографий, в удивительных подробностях показывает изобилие иностранных и двуязычных вывесок над магазинами элегантнейшей торговой улицы северной столицы [Котельникова 1974].

¹⁸ Т. е. в 1812 г., перед вторжением Наполеона.

Тем не менее трудно обобщать с уверенностью. Каждый наблюдатель видит то, что ему интересно, — или то, что его раздражает. Взор Ф. Дистрибуенди останавливается почти исключительно на русскоязычных надписях. А возможно и другое восприятие. Например, в конце 1840-х гг. молодой литератор И. Т. Кокорев написал очерк о московских вывесках¹⁹. Сначала он просто подчеркивает, до какой степени центральные улицы ими изобилуют, т. е., в переводе на терминологию настоящей статьи, его поражает как раз насыщенность графосферы: «Кузнецкий мост, Тверская, Никольская, Ильинка — какое зрелище пред очи представляете вы? Домище на домище, дверь на двери, окно на окне, и все это, от низу до верху, усеяно вывесками, покрыто ими, как обоями» [Кокорев 1959: 73]. А потом переходит к главному. Для И. Т. Кокорева все это чуждо, нерусское. Он как бы только и видит иностранное: «Надписи, надписи, вот отчего оно [т. е. сердце. — С. Ф.] бьется сильнее обыкновенного. Какой прогресс, какое быстрое развитие, какая скороспелость!.. Русский дух насолил не одному порядочному человеку, а здесь его и видом не видать, и слухом не слышать, и баба-яга может разъезжать безбоязненно во все четыре стороны. Париж, настоящий Париж» [Кокорев 1959: 74]. По контрасту, даже к концу XIX в. английского посетителя Фреда Уайшоу (Fred Whishaw) поразили не иностранные надписи, а, наоборот, именно признаки русской изобразительной традиции. Он обращает внимание английского читателя на «любопытный обычай, рассчитанный, видимо, на удобство необразованного народа, вывешивать около магазинов огромные картины, на которых изображены товары, которые в данном магазине можно приобрести. К этому простому приему прибегает каждый магазин, за исключением лишь тех, чьими клиентами являются одни аристократы»²⁰.

Итак, к середине XIX в. публичная графосфера в главных чертах образовалась. В начале периода, охваченного настоящим обзором, любознательному посетителю было бы трудно найти какие бы то ни было признаки наглядного письма в любом открытом городском пространстве по всему Московскому государству, даже если бы он усердно искал. К концу данного периода *нелюбознательному* посетителю было бы трудно полностью избежать примеров наглядного письма, даже если бы он был к ним совершенно равнодушен.

У публичной графосферы нет твердых границ. Здесь мы выделили только то, что более или менее заведомо выставлялось напоказ. За рамками настоящего обзора остались разные графические материалы, которые могли так или иначе появляться в публичном городском пространстве, но не создавались специально для этого. Не учитываются, например, деньги — ни монеты, ни (с конца 1760-х гг.) ассигнации. Не принимаются в счет ни фабричные клейма [Неболсин 1886: 4–6]²¹, ни надписи на ювелирных украшениях. Список разновидностей предме-

¹⁹ Очерк называется «Публикации и вывески». Он был написан, вероятно, в 1849 г. Издан в [Кокорев 1959: 61–76].

²⁰ Цит. по [Cross 2008: 183–184].

²¹ См. также [Глинтерник 2007: 14–27].

тов, не включенных в настоящий (первый, ориентировочный, схематичный) обзор, можно продолжить. Более нюансированному изложению динамики развития публичной графосферы (которое и так является только одной частью общей графосферы) будут посвящены другие работы.

Как можно объяснить такую трансформацию общественного пространства? Никаких общих заключений не предлагаю. Хронологические рамки слишком широки, источниковая база слишком скудна и одновременно слишком разнородна, а риск упрощения слишком высок. Например, можно было бы указать на вполне правдоподобную связь между ростом публичной графосферы, с одной стороны, и распространением грамотности — с другой. Но это только часть картины. Прямая передача словесного сообщения не является единственной функцией наглядного письма. Непосредственно вербальная коммуникация иногда служит первичной функцией, а иногда остается второстепенной. Из всех свидетелей петровских праздничных и триумфальных мероприятий только немногие могли расшифровать вербальное значение латинских надписей. Однако из этого не следует, что для тех, кто не умел читать по-латински, данные надписи лишались всякого смысла. Предполагаем, что у них был другой и, возможно, даже более важный смысл. Они служили парадным, видимым *изображением* латинских надписей. Другим примером подобной невербальной семантики графосферы могут служить и петровские листовки с указами. Повсеместное выставление текстов, оглашающих царское слово, само по себе являлось знаковым актом, независимо от пропорции их «зрителей» (условно говоря), которые умели или не умели их читать.

Вместо общего заключения заканчиваю тремя краткими наблюдениями.

Во-первых, предложенная здесь структура изложения — по категориям главных производителей или институциональных катализаторов производства компонентов публичной графосферы — уже может служить основой для дальнейшего анализа и интерпретации.

Во-вторых, становление публичной графосферы в России оказалось весьма неравномерным процессом. Были и ложные начала, инициативы без непосредственных продолжений, многочисленные перерывы. Привычные представления о месте (или, вернее, об отсутствии места) письма в городском ландшафте оказались достаточно устойчивыми перед лицом попыток ввести изменения «сверху». К концу XV в. могло казаться, что одновременно и церковь и государство начинали перемещать элементы наглядного письма из помещений в открытые пространства, но данные инновации превратились в непрерывную традицию только в огражденном, полуоткрытом пространстве кладбища, а не в самом городе у всех на виду. Спустя 200 лет самые пышные мероприятия Петра I также оставались лишь эпизодами. Петр сделал очень много — больше, пожалуй, чем кто-либо другой, — для коренного преобразования русских представлений об облике города, но его попытки воссоздания античной торжественности, насыщенной изображениями слов, так и остались кратковременными спектаклями, увековеченными больше в гравюрах и печатных описаниях, чем в архитектуре. Его более прочный вклад в создание публичной графосферы состоял в обустройстве опять же условно открытого, а на

самом деле ограниченного (как кладбище) пространства садов, а также в практике обнародования указов посредством их вывешивания в публичных местах.

Третье наблюдение тесно связано со вторым. До размножения кириллических вывесок элементы публичной графосферы часто выглядели чужими, инородными. Вспомним латинские надписи конца XV в. на кремлевской башне или — при Петре — на триумфальных воротах и под статуями в Летнем саду, потом на екатерининском памятнике самому Петру. Вспомним также инструкцию Екатерины II о досках, на которых названия улиц должны быть написаны «на русском и немецком языке». Вспомним, наконец, надписи на французском и других иностранных языках на вывесках на Кузнецком мосту или на Невском проспекте. Со второй половины XV в. вплоть до середины XIX в. лингвистический ландшафт²² публичного пространства русского города был многоязычным, или, по крайней мере, «двуязычным». Такие заведомо «импортные» элементы графосферы обычно восходили к инициативам «сверху» или отражали связь с элитой.

Переломный этап в образовании публичной графосферы наступил, когда она начала расти под давлением «снизу». Императрицы старались ее ограничивать, писатели иногда относились к ней снисходительно, но колонизация улиц наглядным письмом, мотивированная торговлей вместо культурной или политической пропаганды, наконец привела к коренному преобразованию облика общественного пространства, к изменениям в представлениях о том, как выглядит или как должен выглядеть город, к обновлению отношений между городским ландшафтом и людьми, его населяющими.

Литература

Авдеев 2002 — *А. Г. Авдеев*. Храмовые надписи XVI–XVII вв. Костромы и края // Костромская земля. Т. 5. 2002. С. 158–165.

Авдеев 2008 — *А. Г. Авдеев*. Утраченная надпись 1530 г. о строительстве кремля в Коломне: опыт реконструкции содержания // Вопросы эпиграфики. Т. II. М., 2008. С. 178–189.

Алексеева 1976 — *М. А. Алексеева*. Торговля гравюрами в Москве и контроль за ней в конце XVII–XVIII вв. // Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. (К 150-летию со дня рождения Д. А. Ровинского) / Под ред. И. Е. Даниловой. М., 1976. С. 140–158.

Алексеева 2013 — *М. А. Алексеева*. Из истории русской гравюры XVI — начала XIX в. М.; СПб., 2013.

Андросов 2013а — *С. О. Андросов*. От Петра I к Екатерине II. Люди, статуи, картины. СПб., 2013.

Андросов 2013б — *С. О. Андросов*. Рагузинский в Венеции: приобретение статуй для Летнего сада // С. О. Андросов. От Петра I к Екатерине II. Люди, статуи, картины. СПб., 2013. С. 44–78.

²² О понятии лингвистического ландшафта (linguistic landscape) см. [Shohamy, Gorter 2009].

Баранова 2013 — *С. И. Баранова*. Московский архитектурный изразец XVII века в собрании Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино. М., 2013.

Беляев 1996 — *Л. А. Беляев*. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и северо-восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996.

Беляев 2006 — Русское средневековое надгробие XIII–XVII века: материалы к своду / Под ред. Л. А. Беляева. М., 2006.

Беспярых 1991 — *Ю. Н. Беспярых*. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. Л., 1991.

Бондаренко 1998 — *А. Ф. Бондаренко*. Московские колокола XVII в. М., 1998.

Бондаренко 2012 — *А. Ф. Бондаренко*. История колоколов России XI–XVII вв. М., 2012.

Гиршберг 1959 — *В. Б. Гиршберг*. Надпись мастера Повилики // Советская археология. № 2. 1959. С. 248–249.

Глинтерник 2007 — *Е. М. Глинтерник*. Реклама в России XVIII — первой половины XX века. Опыт иллюстрированных очерков. СПб., 2007.

Гращенков 2006 — *А. В. Гращенков*. Плита с латинской надписью со Спасской башни и титул государя всея Руси // Вопросы эпиграфики. Т. I. М., 2006. С. 16–25.

Дистрибуенди 1836 — *Ф. Дистрибуенди*. Взгляд на московские вывески. М., 1836.

Длуголенский 2001 — *Я. Н. Длуголенский*. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга. СПб., 2001.

Донской 2013 — *Г. Г. Донской*. Прокламативная функция надписи на колокольне Новоспасского монастыря // Вопросы эпиграфики. Т. VII. Ч. 2. М., 2013. С. 199–205.

Дрбоглав 1988 — *Д. А. Дрбоглав*. Камни рассказывают... Эпиграфические латинские памятники. XV — первая половина XVII в. (Москва, Серпухов, Астрахань). М., 1988.

Есипов 1885 — *Г. В. Есипов*. Тяжелая память прошлого. Рассказы из дел Тайной Канцелярии и других архивов. СПб., 1885.

Зайцева 1980 — *А. А. Зайцева*. Новые материалы о русских книжных лавках в С.-Петербурге в конце XVIII — начале XIX века // Книжное дело в России в XVI–XIX веках. Сборник научных трудов / Под ред. С. П. Луппова и др. Л., 1980. С. 117–143.

Зелов 2002 — *Д. Д. Зелов*. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII — первой половины XVIII века. История триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002.

Иоасафовская летопись 1957 — Иоасафовская летопись. М., 1957.

Кокорев 1959 — *И. Т. Кокорев*. Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX века. М., 1959.

Котельникова 1974 — Панорама Невского проспекта. Воспроизведение литографий, исполненных И. Ивановым по акварелям В. С. Садовникова и изданных А. М. Прево в 1830–1835 годах / Текст и публикация И. Котельниковой. Л., 1974.

Лаврентьев 1997 — *А. В. Лаврентьев*. Старейшие гражданские монументы Москвы 1682–1700 гг. // *А. В. Лаврентьев*. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–XVIII вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С. 177–202.

Лебедев 2010 — *С. Лебедев*. Номерные знаки домов Петербурга. Заметки и наблюдения. СПб., 2010. URL: <http://www.liveinternet.ru/users/zimnyu/post285701342/>.

Лицевой свод 2010 — Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Кн. 17, 1483–1502 гг. Факсимильное издание. М., 2010.

Луппов 1970 — *С. П. Луппов*. Книга в России в XVII веке. Л., 1970.

Неболсин 1886 — *А. Г. Неболсин*. Законодательство о фабричных и торговых клеймах в России и за границу. СПб., 1886.

Немировский 1982 — *Е. Л. Немировский*. Андрей Чохов (около 1545–1629). М., 1982.

Николаева 1971 — *Т. В. Николаева*. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV — первой четверти XVI в. М., 1971.

Орлова 2002 — *М. А. Орлова*. Наружные росписи средневековых храмов. Византия. Балканы. Древняя Русь. М., 2002.

Петров 2011 — *Д. А. Петров*. Монументальные надписи Пьетро Солари в Москве // *Вопросы эпиграфики*. Т. V. М., 2011. С. 322–334.

Плешанова 1963 — *И. И. Плешанова*. Псковские архитектурные керамические пояса // *Советская археология*. №2. 1963. С. 212–216.

ПСЗРИ 1–45 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. 1–45. СПб., 1830.

Пушкин 1948 — *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений. Т. XIV. Переписка 1832–1834. М., 1948.

Реймерс 1809 — *Г. Реймерс*. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год. СПб., 1809.

Рыбаков 1964 — *Б. А. Рыбаков*. Русские датированные надписи XI–XIV веков. М., 1964.

Рязанцев 2003 — *И. В. Рязанцев*. Скульптура в России XVIII — начала XIX века. М., 2003.

Сазиков, Виноградова 2013 — *А. В. Сазиков, Т. В. Виноградова*. Наружная реклама Москвы. История, типология, документы. М., 2013.

Святославский, Трошин 2000 — *А. В. Святославский, А. А. Трошин*. Крест в русской культуре. Очерки русской монументальной ставрографии. М., 2000.

Тюхменева 2005 — *Е. А. Тюхменева*. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века. Проблемы панегирического направления. М., 2005.

Царькова, Николаев 1993 — *Т. С. Царькова, С. И. Николаев*. Эпитафии петербургского некрополя // *Исторические кладбища Петербурга*. Справочник-путеводитель / Под ред. А. В. Кобяка, Ю. М. Пирютко. СПб., 1993. С. 111–129.

Шерих 1998 — *Д. Ю. Шерих*. Петербург день за днем. Городской месяцеслов. СПб., 1998.

Штелин 1801 — *Якоб Штелин*. Полное собрание анекдотов о Петре Великом. Том Первый. Часть Вторая. М., 1801.

Begunov 1987 — *Yu. K. Begunov*. “Opisanie vrat chesti...” a Seventeenth-Century Russian Translation on William of Orange and the “Glorious Revolution” // *Oxford Slavonic Papers. New Series*. T. 20. 1987. P. 60–93.

Bogatyrev 2010 — *S. Bogatyrev*. Bronze Tsars: Ivan the Terrible and Fedor Ivanovich in the Décor of Early Modern Guns // *Slavonic and East European Review*. T. 88. 2010. P. 48–72.

Cracraft 1997 — *J. Cracraft*. The Petrine Revolution in Russian Imagery. Chicago, London, 1997.

Cross 2008 — *A. Cross*. St Petersburg and the British. The City through the Eyes of British Visitors and Residents. London, 2008.

Franklin 2002 — *S. Franklin*. On the Pre-History of Inscribed Gravestones in Rus’ // *Palaeoslavica*. T. 10. 2002. P. 105–121.

Franklin 2011a — *S. Franklin*. Mapping the Graphosphere. Cultures of Writing in Early 19th-Century Russia (and Before) // *Kritika*. 2011. 12. P. 531–560.

Franklin 2011b — *S. Franklin*. Printing and Social Control in Russia 2: Decrees // *Russian History*. T. 38. 2011. P. 467–492.

Keenan 2010 — *P. Keenan*. The Summer Gardens in the Social Life of St Petersburg, 1725–1761 // *Slavonic and East European Review*. T. 88. 2010. P. 134–155.

Petrucci 1993 — *A. Petrucci*. Public Lettering. Script, Power, and Culture / Transl. Linda Lappin. Chicago, London, 1993.

Povelikhina, Kovtun 1991 — *A. Povelikhina, Ye. Kovtun*. Russian Painted Shop Signs and Avant-garde Artists. JL, 1991.

Schönle 2007 — *A. Schönle*. The Ruler in the Garden. Politics and Landscape Design in Imperial Russia. Oxford, Bern, Berlin, 2007.

Schönle 2010 — *A. Schönle*. Private Walks and Public Gazes: Enlightenment and the Use of Gardens in Eighteenth-Century Russia // *Representing Private Lives of the Enlightenment* / Ed. Andrew Kahn. Oxford, 2010. P. 167–185.

Shohamy, Gorter 2009 — *E. Shohamy, D. Gorter* (ed.). Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York, London, 2009.

Simon Franklin

University of Cambridge
(Cambridge, United Kingdom)

THE DEVELOPMENT OF THE GRAPHOSPHERE IN PUBLIC SPACES (ca. 1450–1850)

The graphosphere is the space of the visible word. This study offers a brief exploration of the formation of one segment of the graphosphere: the development and history of writing in public open spaces, as part of the urban landscape. One of the major differences between the medieval city and the ancient city was the absence, in the medieval

city, of a culture of public inscriptional writing. This article traces the main phases in the emergence and establishment of an urban graphosphere in Russia from the late 15th century to the mid 19th century.

Inscriptions on and around churches (e.g. foundation and donor inscriptions, inscribed gravestones, inscribed bells) began to appear in Muscovy and the Rus principalities from the late 15th century. State initiatives with graphospheric implications were disparate and episodic until the final quarter of the 17th century. Around the turn of the 18th century the State-sponsored display of words in a range of contexts (e.g. the posting of decrees, the erection of inscribed triumphal and festive structures, the adornment of parks with inscribed statues) became a more consistent and deliberate aspect of policy. However, such 'top-down' initiatives also tended to be short-lived. They rarely developed into traditions. The key catalyst for the formation of the urban graphosphere of modernity was not any State institution or programme, but private trade and commerce, especially in connection with the spread of shops with on-street frontages rather than traditional trading rows or stalls. The urban graphosphere took shape thanks to the proliferation of shop signs, approximately during the first third of the 19th century.

Keywords: history of literacy, epigraphy, urban culture, graphosphere, history of advertising.

Николетта Марчалис
Римский университет Тор Вергата
(Рим, Италия)

СТРАННАЯ ПАРОЧКА: АНТониО ПОССЕВИНО И АРХИЕПИСКОП ДАВИД РОСТОВСКИЙ

В кратком сочинении «Собор на предложение папского посла Антония Поссевино в 1582 г.», называемом его издателем О. Бодянским «Сказание», Антонио Поссевино фигурирует как оппонент царя Ивана IV вместе с архиепископом Ростовским Давидом.

Согласно «Сказанию», диспут проходил в три этапа. Поссевино появляется только во время третьего заседания, когда он буквально повторяет речи, произнесенные архиепископом Ростовским Давидом во время первого и второго заседания. Разделяемая ими ересь разоблачается царем Иваном IV, и оба папских легата удаляются, побежденные и посрамленные.

В статье подчеркивается очевидный факт, которым, однако, пренебрегали многие ученые: утверждения Давида, повторяемые дословно Поссевино, не имеют ничего общего с католицизмом, а скорее содержат отдаленные отзвуки средневекового гностицизма и тех споров, которые волновали наиболее радикальное крыло Реформации. Вопрос о том, что же именно на самом деле сказал Давид Ростовский и за что он был осужден и, как известно, лишен сана и сослан в монастырь, остается открытым.

Ключевые слова: Антонио Поссевино (1533–1611), первый иезуит в Москве, Давид, архиепископ Ростовский, Московские церковные соборы на еретиков XVI века.

В письменной традиции «Ответа» царя Ивана Грозного пастору Роките иезуит Антонио Поссевино играет важную роль: именно Поссевино, а не пастора Рокиту называют в качестве собеседника царя в трех из шести дошедших до нас списков [Марчалис 2015]. Об этой путанице писали уже в XIX в., но осознание ложной атрибуции пришло только после публикации монографии американской исследовательницы Валери Таминс [Tumins 1971]. Итак, имя и личность пастора Рокиты вернулись на свое место всего несколько десятков лет назад [Марчалис 2009].

Долговременная путаница особо интересна на фоне другой ложной атрибуции. Дело в том, что Поссевино фигурирует как антагонист царя в еще одном, довольно странном тексте, который О. М. Бодянский при публикации в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских» [Соборы 1847] именует «Собор на предложение папскаго посла Антония Посевина в 1582 г.», или кратко «Сказание» [Бодянский 1847: III]. Вот начало текста:

Лета 7090 году прииде от Папы Римского Антония (sic!) посоль говорити о Святей Троицы, глаголя: «Как, де, ото Отца, так, де, и от Сына Святыи Дух исходит: а мы, де, Рымляне и Латыни веруем во Отца и Сына, и в Первую Силу». И повеле Государь Царь и Великий Князь Иванъ Василевичъ, всеа Русии, отцу своему и богомольцу, Преосвященному Дионисию, Митрополиту всеа Русии, собрати Архиепископы, и Епископы, Архимандриты и Игумены, Собор здесь, чтобы имъ говорити противъ Папина посланника о Православной вере, что он говорит: «Мы, де, веруем во Отца, и Сына, и в Первую Силу, и что убо есть Первая Сила?». И на том первом Соборе говорил Ростовский Архиепископ, Давид: «Первая, де, Сила то, как, де, Адам создан и до преступления был одееян нетленною плотию, сиял, де, солнцем и звездами: то, де, и Первая Сила. А как, де, Адам преступил, и Христос, де, ему дал брнную плотъ, которую, де, ныне и мы носим, то, де, и коженые ризы имянуютця: а Христос от Пречистые родися, кровь токмо от нее приял: тою, де, кровию и мы ныне причыщаемся, а плотию тленную от Богородица родися. А как, де, Христа распяли и во гробе положили тленную плотию: а из гроба, де, востал Христос с нетленною плотию, с коєю Адам исперва создан, а брнную, де, плотъ, которую от Богородицы взял, ту, де, и во гробе разсыпал. А как, де, будет во второе пришествие, ино, де, потечет у Христа испод левыя ноги река огненная, и в той, де, реке огненной горети всем праведным и грешным, и у всех, де, у нас выгорит та ... наша тленная плотъ, которую мы ныне носим: а перед Христом, и нам стати на Суде нетленною плотию, а та, де, плотъ не горит, и муки, де, ей не будет. А что, де, по воскресении Христос явился учеником своим, а то, де, явился привидением, а не истинно, а что, де, с ними ял и пил, то, де, не сущее ял, и пища гинула» [Соборы 1847: 24].

Прения, согласно «Сказанию», проходили в три этапа: на первом соборе, как мы видели, слово берет архиепископ Ростовский Давид.

Его речь, переданная Дионисием Ивану, вызывает гнев царя, который по совету митрополита решает созвать второй собор, где будет присутствовать лично. Давид начинает говорить «те же хульные словеса», но тут его «со гневом и яростью» перебивает царь, разоблачая ересь, содержащуюся в словах Давида.

Спустя некоторое время, говорится в «Сказании», царь просит Дионисия созвать третий собор, на котором снова присутствует лично; на этот раз в соборе принимает участие и сам Антонио Поссевино. И тут, после краткого вступления о трех языках надписи на кресте Христовом, произносит слова, в точности и дословно повторяющие слова Давида.

Осознав тождественность ереси «папина посланника» и утверждений Давида, царь выступает со страстной речью в защиту православной веры. По завершении этой речи, говорится в «Сказании», папские посланники уходят побежденными: «Они жь Папежины посланники посрамлены отъидоша въ путь свой, ничто же успѣвшие».

Итак, обратим внимание на следующие странности текста.

Во-первых, несмотря на то что троекратное членение собора явно напоминает три беседы о религии, о которых пишет Поссевино, роль архиепископа Давида на соборе совсем не походит на то, что сам Поссевино рассказывает в своей «Московии» [Possevino 1586]. Там архиепископ Ростовский, единственный из шести епископов, вызванных Иваном Грозным для беседы с Поссевино, прочитав сочинение иезуита «Capita quibus Graeci, et Rutheni a Latinis in rebus Fidei dissenserunt, postquam ab Ecclesia Catholica Graeci descuerunt» [Possevino 1585], «все одобрил» [Поссевино 1983: 52]. Здесь Давид говорит от своего лица еще на первом соборе, в отсутствие Поссевино.

Во-вторых, Поссевино присутствует только на третьем соборе и там **повторяет** слова Давида, произнесенные на первом соборе, что само по себе странно, причем **повторяет их дословно**. Эту странность можно было бы объяснить дефектом текста, но строение текста на такую мысль не наводит. Дело в том, что, в отличие от того, что мы наблюдаем в «Ответе» царя Роките, где путаница касается только заглавия и начала текста, в «Сказании» царь по-разному обращается к Давиду и Поссевино: к первому всегда в единственном числе — «злый еретиче»; ко второму то в единственном числе — «злый еретиче», «посланниче папежин и прелестныпрекоянный», то используя более развернутую формулу и во множественном числе — «вы, злии еретицы, Римляне и Латыня». Это означает, на мой взгляд, что в тексте сохранена правильная последовательность изложения.

В-третьих, и это самое главное, приводимые в тексте высказывания Давида, дословно повторенные Поссевино, никак не вписываются в рамки католического учения. Это смутное и бледное эхо представлений средневекового гностицизма и учений Радикальной Реформации. На их фоне речь царя избыточна, т. е. предполагает намного более солидные высказывания оппонентов.

Неканоничность воззрений, приписываемых обоим, хорошо понимает царь, который в своей речи подчеркивает три основополагающие истины веры: 1) догмат о Святой Троице, против понятия «Первой силы»; 2) догмат о воплощении Христа, против идеи, что Христос «кровь токмо от Богородицы приял»; 3) догмат о воскресении Христа, который воскрес во плоти, а не в виде привидения.

Кроме этих ключевых учений, в полемике затрагиваются еще две темы: в отпор Давиду и Поссевино царь оспаривает идею, будто Адам до преступления имел как бы невещественную плоть, а «кожные ризы» получил только после падения, предлагая более тонкое понимание понятия «смертной плоти». Далее, одному Поссевино адресованы короткие реплики о трехязычной надписи на кресте.

Спор о языках надписи является единственным правдоподобным аргументом в прениях с католиком. Все остальное не может быть приписано ни иезуиту Поссевино, ни архиепископу Давиду, если он и вправду с Поссевино соглашался и из-за этого пострадал.

Откуда же мог взяться такой странный текст?

Первое, что бросается в глаза в речи, будто бы произнесенной Давидом и вслед за ним Поссевино, — это влияние гностицизма. К гностицизму близки и идея Первой силы, и идея непримиримого противостояния духа и плоти, и идея воплощения Христа не от Девы Марии, а только в ее чреве: уже валентиниане во II в. учили, что Дева Мария была просто «трубой», через которую бесплотный Христос «прошел как вода» (Ириней Лионский, «Против ересей», кн. I, гл. 7, 2; кн. III, гл. 11, 3).

Несмотря на это сходство, я предполагаю, что причину возобновления этих еретических, с точки зрения и православных, и католиков, и протестантов, убеждений надо искать в ожесточенных спорах о воплощении Христа и о его «небесном теле» в среде Радикальной Реформации.

Некоторые радикалы — Каспар фон Швенкфельд, Мельхиор Хоффманн, Менно Симмонс и другие, — не отрицая человечности Христа, считали, что она не от простой человеческой плоти («греховной плоти»), но прямо и непосредственно от нового творческого акта Бога («небесной плоти»). Иными словами, человеческая природа Христа не от плоти Марии, как учили и Римская церковь, и протестанты, но от нового творения Святого Духа во чреве Марии [Gastaldi 1972: 303–305; 1981: 36–41].

Могли ли знать о таких спорах в Москве? Могли ли такие идеи распространять протестанты, которые в те годы находились в Москве, в том числе те, которые много наговорили царю против Поссевино [Цветаев 1890: 327; De Michelis 1989]?

Об этом мы мало знаем. Но как бы то ни было, отголоски протестантских споров явно отражаются в тексте «Сказания», в словах, которые неумело приписаны представителям Православной и Католической церквей.

Странность «Сказания» была отмечена отнюдь не всеми исследователями.

При публикации «Сказания» О. М. Бодянский только сообщает, что собор был известен Н. М. Карамзину и что сказание о нем он (Бодянский) читает в первый раз [Бодянский 1847: III].

И. П. Сахаров, который купил рукопись на аукционе лаптевских рукописей и книг [Сахаров 1842], восторженно принимает «Сказание» как посмертный ответ царя на фальсификации иезуита Поссевино:

Кстати о Поссевине. Он в своих записках предложил спор с Иоанном. У меня есть изложение собора, на котором сам Иоанн во втором и третьем заседании говорил сильно. В изложении сказано, что Поссевин был приглашен только на третье заседание. Поссевин изложил многое не так, что ему говорил Иоанн. Эта рукопись составлена из весьма важных опровержений для Поссевина. Думал ли он, что через 270 лет найдется ему свидетель и будет опровергать его¹.

С. М. Соловьев, в разделе, посвященном религиозному инакомыслию в Москве (Артемий, Башкин, Косой), утверждает, что известие о Поссевино явно выдуманно потому, что «царь не мог говорить с ним так, как представлен говорящим на соборе» и что «это сочинение вроде переписки царя Иоанна с турецким султаном» [Соловьев 1989: 100].

¹ Письма Сахарова И. П. к Погодину М. П. (РГБ, Пог. / П, к. 29, ед. 27).

Полемизируя с ним, И. Н. Жданов напоминает, что архиепископ Давид действительно существовал, и впервые подчеркивает очевидный факт, что речь Давида не делает из него ученика папского посла, «как ошибочно замечается в рукописях». Кто мог быть его западным учителем, заключает И. Н. Жданов, остается еще исследовать [Жданов 1904: 108–109].

Но известие о том, что Давид Ростовский соглашался с Поссевино, все одобрил, «был сослан в изгнание, лишен сана и умер более счастливый, чем те, кто пережил его», восходит не только и не столько к загадочному тексту «Сказания», сколько к самому Поссевино. Если Поссевино говорит правду, то речь Давида Ростовского не могла быть тем текстом, который приписан ему в «Сказании».

О чем говорил на самом деле Давид Ростовский? Почему его лишили сана и заточили в монастырь? Русские источники упоминают о доносительном письме симоновского архимандрита Исайи: «сыск» на Давида «о кресте и богохульных словах» хранился еще в начале XVIII в. в архиве Приказа тайных дел [Корецкий 1986: 118; Скрынников 1975: 89]. Но какое имеет это отношение к тем странным размышлениям, которые в тексте «Сказания» приписываются ему и Поссевино?

На эти вопросы, как кажется, никто не искал ответа.

Пребывание Поссевино в Москве оставило глубокий след в умах современников. Личности Рокиты и Давида, их настоящие убеждения, сам факт их существования были вытеснены более функциональной, для самоутверждения православия, фигурой иезуита, папского посла. И это справедливо как для XVI, так и для XX в.

Литература

Бодянский 1847 — *О. М. Бодянский*. <Предисловие к>: Московские соборы на еретиков XVI века, в царствование Иоанна Васильевича Грозного // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. №3. 1847. С. I–IV.

Жданов 1904 — *И. Н. Жданов*. Сочинения царя Ивана Васильевича // Сочинения И. Н. Жданова. Т. 1. СПб., 1904. С. 81–170.

Корецкий 1986 — *В. Корецкий*. История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986.

Марчалис 2009 — *Н. Марчалис*. Люторь иже лют. Прение о вере царя Ивана Грозного с пастором Рокитой. М., 2009.

Марчалис 2015 — *Н. Марчалис*. Папский посланник Рокита // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. №1 (59). 2015. С. 76–82.

Поссевино 1983 — *А. Поссевино*. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983.

Сахаров 1842 — *И. Сахаров*. Царь Иоанн IV Васильевич — литератор // Русский вестник. №7–8. 1842. С. 30–35.

Скрынников 1975 — *Р. Г. Скрынников*. Россия после опричнины. Очерки политической и социальной истории. Л., 1975.

Соловьев 1989 — *С. М. Соловьев*. Сочинения в 18-ти книгах. Кн. IV. История России с древнейших времен. Т. 7–8. М., 1989.

Цветаев 1890 — *Д. Цветаев*. Протестанство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890.

Соборы 1847 — Московские соборы на еретиков XVI века в царствование Ивана Васильевича Грозного // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. №3. 1847. С. 1–30.

De Michelis 1989 — *C. G. De Michelis*. I nomi dell'avversario. Il «papa Anticristo» nella cultura russa. Torino, 1989.

Gastaldi 1972 — *U. Gastaldi*. Storia dell'anabattismo. Dalle origini a Münster 1525–1535. Vol. 1. Torino, 1972.

Gastaldi 1981 — *U. Gastaldi*. Storia dell'anabattismo. Da Münster (1535) ai giorni nostri. Vol. 2. Torino, 1981.

Possevino 1585 — *A. Possevino*. Capita quibus Graeci et Rutheni a Latinis in rebus fidei dissenserunt, postquam ab ecclesia Catholica Graeci descivere: Tradita 3. Martii 1582 in civitate Moscu, Posnaniae: Wolrab, 1585.

Possevino 1586 — *A. Possevino*. Moscovia. Vilnae: Ioannem Velicen, 1586.

Tumins 1971 — *V. Tumins*. Tsar Ivan IV's reply to Jan Rokyta (=Slavistic Printings and Reprintings. V. 84). The Hague; Paris, 1971.

Nicoletta Marcialis

*Università degli Studi di Roma Tor Vergata
(Rome, Italy)*

THE STRANGE TWO:

ANTONIO POSSEVINO AND THE ARCHBISHOP OF ROSTOV DAVID

The brief work which Osip Bodjanskij entitled *Sobor na predloženie papskago posla Antonija Posevina v 1582 g.* (or *Skazanie*), published in 1847 among the materials of Moscow's Church Councils Against Heretics of the XVI Century, presents Jesuit Antonio Possevino as an opponent of Tsar Ivan IV.

According to *Skazanie*, the dispute went through three different stages. Possevino appears only during the third session, when he 'literally' repeats the speeches delivered by the Archbishop of Rostov David during the first and second sessions. Their shared heresy is thus revealed by Tsar Ivan IV, and the two 'Papal legates' leave, defeated and put to shame.

David's statements, which Possevino supposedly repeats verbatim, have nothing to do with Catholicism. They contain, if anything, some distant echo of medieval Gnosticism and of the debates which aroused excitement in the most radical wing of the Reformation. The present article aims at underlining this aspect, which has long been neglected by scholars.

As we know, the Archbishop of Rostov was stripped of his title and exiled into a monastery. Nevertheless, what he actually said and for what he was convicted still remains an open question.

Keywords: Antonio Possevino (1533–1611), the first Jesuit to visit Moscow, David, Archbishop of Rostov, Moscow's Church Councils Against Heretics of the XVI Century.

Роланд Марти
Университет земли Саар
(Саарбрюккен, Германия)

СЕРБОЛУЖИЦКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ МИХАИЛ ФРЕНЦЕЛЬ-СТАРШИЙ И ЕГО ПИСЬМО ПЕТРУ I

Во время Великого посольства Петр Великий проезжал в том числе и через Саксонию и область, населенную лужицкими сербами. Верхнелужицкий пастор и крупнейший интеллектуал Верхней Лужицы Михаил Френцель захотел принести написанные и переведенные им книги в дар царю, однако разминулся с последним. Вместо этого книги вместе с письмами-посвящениями на латинском и верхнелужицком языках были вручены царю в Дрездене. В статье сравниваются латинское и верхнелужицкое посвящения. Оба посвящения содержат пассажи, выдающие ранние славянофильские тенденции. Анализ писем также показывает, что они предназначались для разных аудиторий, независимо от того, что внешне в обоих случаях адресатом был Петр. Френцель в значительной степени варьирует содержание посвящения в соответствии с предполагаемым составом аудитории. Латинское письмо, очевидно, написано, как если бы оно было обращено к царю, членам Великого посольства, возможно также представителям правящих кругов Саксонии. С другой стороны, верхнелужицкое письмо на самом деле было адресовано серболужицкой аудитории, возможно конгрегации Френцеля или его коллегам. Очевидно, Френцель не рассчитывал, что царь прочитает и поймет верхнелужицкий текст.

Ключевые слова: Петр Великий, Михаил Френцель-старший, Великое посольство, Лужица, посвящение Петру Великому на латинском и верхнелужицком языках, славянофильские тенденции.

Научные интересы Виктора Марковича Живова были необыкновенно широкими для нашего времени узкой специализации. Об этом свидетельствуют не только его публикации (см. [Вереница литер 2006: 607–623]), но также и его преподавательская деятельность, и научные контакты. Насколько мне известно, серболужицкой тематикой специально он никогда не занимался, хотя, конечно, употреблял материал из серболужицких языков в своих ранних типологических исследованиях¹.

¹ Ср., например, первую его монографию (первую, если исключить «слепые» публикации вроде препринта ИРЯ АН СССР или автореферата диссертации) [Живов 1980: 46, 65], где он

Для того чтобы добавить серболужицкий штрих к юбилейному сборнику в честь шестидесятилетия Виктора Марковича, я написал статью о Петре I и Михаиле Френцеле-старшем (см. [Марти 2006]), связывая, таким образом, прекрасно известное Виктору Марковичу (т. е. петровскую тематику) с менее известным (культурной историей лужицких сербов). Там же я вскользь коснулся письменного посвящения («Zueignungsschrift» [Knauth 1767: 427]) Френцеля Петру I [Марти 2006: 350–353]. В конце статьи добавил, как принято в науке, что связи и параллели между Петром и Френцелем «заслуживают более подробного исследования» [Там же: 355], но, поскольку никто так и не занялся этим вопросом, придется мне самому вернуться к этой тематике², а именно предпринять подробный анализ посвящения Френцеля.

Прежде чем обратиться к анализу, надо сказать несколько слов о главных действующих лицах, а также о времени и поводе написания посвящения.

Российский царь, а потом император Петр Алексеевич (1672–1725), конечно, хорошо известен. Важно в данном контексте его первое путешествие за границы тогдашней России на Запад, известное как Великое посольство (1697–1698). В рамках Великого посольства он на пути в Вену останавливался на некоторое время и в Саксонии, совсем недалеко от региона, где тогда еще жило серболужицкое население.

Именно там, по пути из Лейпцига в Дрезден, его хотел встретить Михаил Френцель-старший (1628–1706)³ и собственноручно передать ему печатные книги, переведенные и/или написанные им. Встреча не состоялась⁴, и Френцель был вынужден передать книги в Дрезден, где через посредничество какого-то дворянского лица («durch vornehme Hand» [Knauth 1767: 427]) книги с посвящением были наконец вручены. Неясно при этом, было ли посвящение написано предварительно или только после того, как личная встреча Френцеля с царем не состоялась.

включил в анализ также верхнелужицкий язык, ссылаясь при этом на описание [Щерба 1915]. Таким образом, получилась даже какая-то «общелужицкая» картина, потому что Л. В. Щерба описал «восточнолужицкое наречие», которое является переходным между верхне- и нижнелужицким, примыкая больше к последнему в области фонетики. А как стандартный язык употребляется там верхнелужицкий.

² Правда, тогда я думал, что это — тема для статьи в следующем юбилейном сборнике в честь Виктора Марковича, но, увы, человек не хозяин судьбы.

³ Михаил Френцель-старший является центральной фигурой в верхнелужицкой культурной жизни XVII в. Он опубликовал первые переводы библейских текстов на верхнелужицком языке [Frentzel 1670; 1693], что было причиной конфликта с властями (ср. примеч. 10), но в итоге привело к тому, что Библия была переведена целиком на верхнелужицкий язык и напечатана в 1727 г. [Mětsk 1960; Lewaszkiwicz 1995: 30–34]. Кроме того, он дал напечатать цикл проповедей в двуязычном издании (верхнелужицкий и немецкий) [Frentzel 1688]. Его дело продолжали в XVIII в. сын и внук. О жизни и деятельности Френцеля см. [Röseberg 1930; Jenč 1871].

⁴ По информации Х. Кнауте [Knauth 1767: 427], Френцель ждал Петра где-то недалеко от Сенфтенберга (Zły Kotołow), что довольно странно, потому что путь из Лейпцига в Дрезден ни в коем случае не идет через этот регион. Возможно, что информант Кнауте, сын Михаила Френцеля Абрахам, перепутал первое посещение Петра в Саксонии с более поздними (1711 и 1712 гг.).

Посвящение является любопытным свидетельством «всеславянских» взглядов Френцеля, известных также из других источников⁵, но здесь он впервые выражает их перед представителем другого, притом славянского государства, и поэтому текст заслуживает внимания. Френцель, очевидно, ожидал от встречи (и после — от вручения книг и посвящения) признания со стороны коронованной особы (причем славянской), и не только признания своей деятельности, но и признания языка как равноправного немецкому, латинскому и другим языкам⁶.

С источниковедческой точки зрения дело анализа посвящения обстоит и плохо, и хорошо. Плохо то, что оригинал, видимо, не сохранился, а также то, что за отсутствием оригинала мы располагаем только одним источником — книгой Кнауते [Knauth 1767]⁷. Хорошо то, что Кнауते мог пользоваться собственноручным черновиком («das eigenhändige Concept»)⁸ Френцеля (а также информацией сына и внука, т. е. А. [Abraham] и Й. Г. [Johann Gottlieb] Френцелей) и что сам текст написан в двух версиях, а именно на латинском и верхнелужицком языках⁹.

При наличии двух версий одного текста возникает вопрос соотношения между ними. Существуют разные возможности:

1. и 2. один текст (латинский или верхнелужицкий) является оригиналом, а другой переводом;

3. существовал оригинал на третьем языке (в данном случае это был бы, скорее всего, немецкий), и обе версии являются, соответственно, переводами с этого оригинала;

⁵ Ср., например: «Gott hat die Slavische oder Wendische Nation vor allen andern in der Welt gewürdiget / daß sie vor allen andern Völkern im II. und IX. Seculo den Christlichen Glauben angenommen [...]» [Frentzel 1688: непагинированное предисловие]; насчет этих «всеславянских» взглядов см. [Jenč 1871: 79; Röseberg 1930: 72–76].

⁶ Подобную мотивацию находим и у Кнауते (ср. следующее примечание). Доказательство тому — упоминание факта, что Петр во время пребывания в Саксонии в 1712 г. посетил Витенберг и требовал, чтобы объяснения по поводу достопримечательностей ему давали на (верхне) лужицком языке. По словам Кнауते, это — свидетельство «чести» серболужицкого языка («Ehre dieser Sprache» [Knauth 1767: 385]).

⁷ На первый взгляд, удивляет, что церковная история, пусть и подробная («umständliche Kirchengeschichte»), включает такие сведения, но третья часть труда посвящена языку и книгам. (И это понятно: история реформации тесно связана с вопросами языка в церкви.) Именно там, в конце, после перечня книг и рукописей, он добавляет сообщение об этом случае как о замечательном факте: «Nachdem wir den in Sorberwendischer Sprache geschriebenen und gedruckten Bücherschatz aufgestellt, müssen wir zum Beschluß, als was sonderbares annoch anführen, daß dergleichen Bücher nicht allein in unsrer Lausitz, sondern auch einige von denenselben in weitentfernten Landen, und hohen Häuptern bekannt worden sind» [Knauth 1767: 427].

⁸ О том, что перед нами черновик, свидетельствуют явная лакуна и не совсем обдуманная структура в латинской версии (см. ниже).

⁹ Кроме того, Кнауте включил перевод обеих версий на немецкий язык [Knauth 1767: 430–433, 435–437]; с латинского перевел он сам, с верхнелужицкого — известный в лужицкой культуре Й. Хорчанский (Johannes Hortschansky). Но это — второстепенные источники, и в данной работе они не учитываются.

**Perillustrissime ac Potentissime CZAR,
Invi&itissime Imperator & Magne Dux,
CLEMENTISSIME DOMINE!**

5 Vivat, Vivat Magnus Dominus, Rex in Ca-
fan & in Astrachan, Potentissimus Dux quamplu-
rimarum provinciarum.

Totius Europæ quamplurimæ Provinciæ & Re-
gna lætantur & gratulantur sibi de Czaricæ VE-
STRAE Majestatis adventu gloriosissimo: cum
10 enim omnibus RUSSIS vel Moscovitis interdictum
sit, ne peregrinentur, aut fines imperii egrediantur.
Nam Magnus Czar non vult suos subditos pere-
grinis moribus imbui, tamen Czarica VESTRA
Majestas non erubuit neque abhorruit, — — —
15 neque Impensas ad tam amplum iter continuandum,
sed Ipsemet in Majestatica SUA Persona, in hisce
nostris regionibus nos convenit. O Germania!
ô tu nostra Saxonia! præprimis tu splendida
Dresda, Residentia inquam, Serenissimi nostri
20 Electoris, jamjam Regis Poloniae, læteris, & gratu-
leris tibi de adventu isto Czarico.

Nobis non ignotum est ex libris historicis,
quod ZECH, LECH & RUS tres fratres, qui
origine fuerunt ex Illyrica sive Slavonia, circa
25 annum Christi 500. cum magno & innumerabili
exercitu, in Sarmaticas regiones, tunc temporis
desertas, incultas & inhabitatas venisse, ibique
funda-

429

fundamenta trium regnorum scil. Bohemiæ, Po-
loniæ & RUSSIAE posuisse. Nam ZECHUS
30 **cum suis accolis Bohemiam, una cum utraque**
Lusatia, LECHUS terram Poloniæ ad vistulam,
cujus inhabitatores hodie fertilitate & à planitie
agrorum dicuntur Poloni, RUS circa Moscoviam
confedit. RUSSICUM vel Moscoviticum terri-
35 **torium magnum est, & amplum Imperium, ita**
ut Magnus CZAR a finibus Lituaniæ & a mari
Caspio usque ad fines Oceani glacialis & ad ter-
minos Imperii Tartarici, imo hodie per victrices
manus longe lateque in Tartaria, magna potentia
40 **dominetur.**

In ipsa RUSSIA vel Moscovitico regno ipse
CZAR, veluti Deus aliquis terrestris colitur, nec
secus ei obediendum censent, quam Deo immor-
tali, omnia scire, omnia posse credunt RUSSI,
45 ab eo salutem suam, suas opes, suam sanitatem
derivari credunt. Voluntas & verba Principis
summa lex sunt. Neque nobis ignotum est ex
Historiis quod CZARICA VESTRA Majestas
cum omnibus suis subditis religioni græcæ sit ad-
50 dicta, & quidem ab A. 989. Siquidem in ipso se-
culo nono Vladimirus RUSSIAE Monarcha fa-
ctus, ducta Anna, Basilii Imperatoris Constanti-
nopolitani filia, religionem christianam, secundum
fidem & ceremonias Græciæ in RUSSIAM vel
55 Moscoviam introduxit. In ipso amplo Imperio
nullæ sunt in religione Sectæ, idem omnes senti-
unt, credunt, amplectuntur. Habent absolutam
concordiam in sua religione. Vere, CZAR est
Cæsar & potentissimus, imo invictissimus Magnus
Dux,

430 60 Dux, cui pedites innumerabiles fuit & ex nobilitate Equitum ingens numerus, ita ut 150000. Equitum facile in aciem producere possit.

Ipsam ergo Czaricam & Imperatoriam VESTRAM Majestatem veneror & respicio ego
 65 Vandalicus vel Sorabicus concionator & Theologus in Lusatia istius Electoratus Saxonici, & quia Russi vel Moscovitæ nostram linguam Sorabiam vel Slavicam, i. e. gloriosam loquuntur, offero ego cum summa submissione clementissimo
 70 & benignissimo NOSTRO CZAR in usum Sorabiæ Nationis a me translatis & evulgatis vandalicos vel sorabicos sacros libros, submississime orans & petens, ut in VESTRAM RUSSIAM vel Moscoviam transferantur, ita, ut ipsi Moscovitæ ex ipsis libris meis addiscant, & cognoscant,
 75 ipsam orthodoxam & Apostolico-Lutheranam Religionem in Saxonia Electorali maxime florere.

Vivat! Vivat! Czar & Cesar invictissimus & potentissimus.

433 Wysoce Rosjansnenny, a iara Mocny Czar, nidenepschwinenny Keyser, a wulki Knes.

Witay knam! witay knam Wascha Kzarska a Keyserska Majestas a Krafnosti. Wascheho wysokeho pschichoda swesela a straduja
 5 E e se

se Europeiske Seme, wošebe cyh Niemski
 Kraj, tesh wjscje naša Sachsonska. Mos-
 kowi ie sakasane, so nide nesmeja se swojej Se-
 10 me, tesh nic psches swoje mesy pschestupicz; da
 schak wascha Majestas sebi schaneje procy, tesh
 žanych penes neje lutowala, ale we wysokej
 Personi pschidže sem knam do našich Krajow
 knam poladacz. O Sachsonska; a wošebe ty
 15 Dresda (Dreschdzanj) ty krasne Sydlo, na
 scheho miloscziweho Churfürsty, a Knesa, FRI-
 DRICH Augustuša, tak dolho, jak Dresda
 stej, kotrež mjesto Serbja su twarili, neje teho
 runja czescje so dostalo, so by ton wulki Czar
 20 a wulki Knes, kotryž s-wele tausendi Milliona-
 mi podanami našu serbsku, aby Sarmatisku
 recž recži, knam pschichadzal. O kak ie
 so wascha Majestas ponizala a pokorila! Czi
 25 Wuczeni pischa, so Czarojo a czi wulci Kneža
 swoj sapoczatk maja wot Keyschora Augusta,
 aby dżin wot ieho Bratrow, a bliskich pscha
 czeiow, kotsi we Ruffiskej, aby Moskowitzeskei
 sú knežili. Tsch, Lsch a Kus, co Bratrsa,
 30 su tesh we licži Krystuškowem 500 swele tau-
 sende czlowekami do tucych Sarmatiskich
 Semjow pschischli, a to saloženi czinili tuch
 coch Kralestwow, iako to su Czeska, Polska a
 Ruffiska, aby Moscovitiska. Czech se swem
 ludom bydlesche czeschkei semi, Lsch se sydlesche
 35 do Polskej, Kus pak Ruffiskej. Wascha
 Kzarska Majestas je wulki Knes, wy knežicze
 a scje sKralom we Kasan a tesh Astrachan, a
 macje pod sobu na XVIII Fürstcinstwor: wy
 macje

435

40 macze roskasacz acz do Persiskich a acz do
Mediskich mesow. Wy wojmy shistoriskich
Knihow, so ton Moscowitiski Czar we wschit-
kich swojich Krajach a semjach ma tu grigisku
Kschestiansku wjeru a wuczbu.

45

Ja waschei Kcarskei Majesteczki ponischne
pshipowedam, so my Nimcy a Serba tude
we Sachsonskej tesch mamy tu Zaposchtolsku
Luthersku wjeru, a wuczbu: proshym was po-
korne, Wy chcyli tu te na serbsku recz wottem-
ne pshelozene swjate Knihy wottemne snadu
50 wsacz a sobu do Moscowitiskei pshinecz, tak so
by waschi podano widzili, so we naschem Sach-
sonskem Churfürstczjinswi ta prawa Apostoliska
Lutherska wjera a wuczba sjawne budze wuczena
a pridowana.

55

Wascha Czarsta Majestas nech so wot
Boba dere ma!

4. перед нами не точный перевод, а более или менее свободное переложение (тогда опять существуют возможности 1–3);

5. обе версии написаны независимо друг от друга.

Даже поверхностный взгляд на латинскую и верхнелужицкую версии убеждает в том, что первые три возможности отпадают. Во-первых, было бы странно, что переводится черновик. Обычно, во избежание дополнительной работы, перевод делается только с окончательного текста. А во-вторых, разница между версиями так значима, что ни латинская, ни верхнелужицкая версия никак не могли возникнуть в процессе прямого перевода¹⁰. Отпадает также четвертая возможность, потому что тогда было бы трудно объяснить, почему некоторые сведения находятся в различных частях версий; например, упоминание Казани и Астрахана (L 4–5, S 37) или указание на родство верхнелужицкого и русского языков (S 20–22,

¹⁰ Надо иметь в виду, что Френцель был отличным переводчиком, и это доказывается именно книгами, которые он подарил Петру и которые содержали переводы библейских текстов и проповедей. Его библейские переводы подвергались даже экспертизе в ходе столкновений с властями, потому что Френцель опубликовал первый верхнелужицкий перевод евангельских текстов [Frentzel 1670] без разрешения. А экспертиза была категорична: перевод оказался безупречным и с богословской, и с языковой точек зрения (ср. [Měšk 1960]).

L 67–68)¹¹. Но и пятая возможность является маловероятной, по крайней мере если предполагать полную независимость версий. Для этого две версии все же слишком близки. Скорее всего, надо представить себе, что Френцель составлял каждый текст самостоятельно, но сделал это на основе общего плана, который, возможно, даже не был зафиксирован в письменном виде (или же состоял из наброска идей).

Если это так, тогда возникает следующий вопрос: как можно объяснить различия? Наиболее простым объяснением было бы их случайное возникновение из-за неосмотрительности автора. Эту возможность следует исключить, потому что общественное положение адресата не допускало такого небрежного отношения к тексту.

Другой причиной может быть разница в предназначении использованных языков. В латинском языке давно уже существовал языковой этикет, который довольно четко определял, что можно и как нужно писать, особенно в случае посвящений. На верхнелужицком языке, с другой стороны, никаких заготовок не было: посвящения в верхнелужицких книгах были написаны на латинском или немецком языках, потому что, как правило, обращались к немецкоязычным покровителям, т. е. верхнелужицкий язык для посвящений вообще не использовался¹². Все же это не может быть главной причиной: Френцель уже показал своими сочинениями (и оригинальными, и переводными), что владеет языком исключительно хорошо и что может выразить буквально все на этом новом письменном языке.

Остается тогда третья возможность: различная направленность версий. На первый взгляд, это звучит парадоксально, потому что адресат в обоих случаях один и тот же, а именно Петр. Все же это допущение является наиболее приемлемым. Френцель мог предполагать, что адресат прочтет (или, скорее всего, даст себе прочитать и перевести) латинскую версию. Поэтому в латинском тексте можно найти то, что автор хотел сообщить Петру. Верхнелужицкая версия, с другой стороны, должна была выполнить иные функции. Во-первых, она доказывала достоинство (*dignitas*) верхнелужицкого языка, поскольку этот язык (*lingua vulgaris*) стоял рядом с латинским¹³. Во-вторых, она могла служить доказательством от-

¹¹ Обе версии приводятся в приложении и цитируются в тексте в виде факсимиле с цифрового издания [Knauth 1767: 428–430, 433–435] с указанием версии (L = латинский, S = верхнелужицкий) и строки. Верхнелужицкие цитаты в тексте написаны латинским шрифтом и так называемым «аналогическим» правописанием в виде упрощенной транскрипции (вместо транслитерации). «Ошибки» исправляются (надо иметь в виду, что Кнауце не был хорошо знаком с правилами верхнелужицкого правописания и что Френцель сам с течением времени перешел от собственной, более «чешской», орфографии к более «немецкой», предложенной Бирлингом [Bierling 1689]).

¹² Исключения до XVIII в. крайне редки, а первое из них как раз связано с Френцелем, так как находится в его первой книге, в переводе Евангелий от Матвея и Марка, где между немецкими и латинскими посвящениями можно найти одно-единственное стихотворение на верхнелужицком языке пера Ю. Лудовици (Georg/Jurij Ludovici, ср. [Šěn 2002: 5, 52]). В цифровом издании [Frentzel 1670] этого текста нет.

¹³ В данном случае немаловажно, что, по-видимому, не было немецкой версии текста, потому что тогда желаемый эффект не был бы таким же. Из практических соображений немецкая версия более отвечала бы коммуникативной задаче, потому что Петр был известным германофилом

носителем близости верхнелужицкого и русского языков. Если действительно кто-то прочитал Петру верхнелужицкую версию, то царь мог узнать довольно много отдельных слов, близкозвучащих или даже идентичных в обоих языках¹⁴. В-третьих, Френцель мог пользоваться верхнелужицкой версией в своих кругах, т. е. в кругу пасторов или в проповеди. Интересно, что содержание верхнелужицкого текста было важно только в последнем случае. Для осуществления первой цели было достаточным само существование текста. А для второй функции была важна близость звучания, а не смысл: «ложные друзья» все же доказывают родство языков.

Таким образом, можно при сравнительном анализе версий исходить из следующих соображений: обе версии возникли на основе общего плана, но написаны самостоятельно и, в целом, независимо друг от друга. Кроме того, а это самое главное, у них различная направленность. Латинская версия содержит то, что Френцель хотел сообщить Петру, и поэтому представляет интерес прежде всего с (культурно-)политической точки зрения, а верхнелужицкая то, что, по мнению Френцеля, было важно для лужицких сербов, поэтому и является важной в сорабистическом плане.

Даже при поверхностном взгляде на обе версии бросается в глаза различие в объеме: латинская версия почти в половину длиннее верхнелужицкой, и причина тому не различные шрифты — число букв на строку приблизительно одинаково. Разница объясняется, скорее всего, двумя фактами: латинская версия содержит сведения, которых нет в верхнелужицкой (хотя есть и обратные случаи, но они не так многочисленны, см. ниже), и жанр посвящения требует определенной пафосности (*decus*), тогда как для верхнелужицких текстов такие правила еще не были выработаны.

С чисто типографической точки зрения замечательно употребление прописных букв для целых слов в латинском тексте. Они подчеркивают прямое или косвенное обращение к царю (L 1, 8, 13, 16, 36, 42, 48, 58, 63, 70, 73) или употребляются при названии российского государства (L 10, 29, 34, 41, 51, 54, 73), причем непоследовательно¹⁵. Кроме того, выдвигается таким образом «славянская» тематика: ZECH, LECH & RUS (L 23); ZECHUS (L 29); LECHUS (L 31); RUS (L 33). В верхнелужицком тексте нет такой возможности подчеркивания, потому что готический шрифт по типографическим причинам, как правило, не допускает употребления прописных букв в целых словах (а употребление прописной буквы в начале слова не служит этой цели, и в данном тексте, как видится, лишено четких правил). Существует, правда, очень показательное исключение, которое, однако,

в широком смысле (включая и голландскую, и английскую ветвь германцев) и, скорее всего, владел немецким языком лучше, чем латинским.

¹⁴ Именно в этом и состояла, по всей видимости, причина, по которой Петр хотел, чтобы объяснения по поводу достопримечательностей Виттенберга при позднейшем посещении Саксонии давались ему на верхнелужицком языке (ср. примеч. 6).

¹⁵ Так, например, «VESTER» (в различных грамматических формах) пишется всегда так, а «SUUS» только раз (L 16); при употреблении «CZAR» или «Czar», видимо, нет правил.

связано с переходом на латинский шрифт в готическом окружении: FRIDRICH (S 16–17)¹⁶.

Обращение к Петру (L 1–6; S 1–5) хорошо показывает качество перевода. Трижды употребляемая превосходная степень прилагательных: «Perillustrissime <...> Potentissime <...> Invictissime» (L 1–2) — в латинской версии соответствует аналитическим конструкциям наречия с прилагательным: «Wysoce Rozjasnenu a jara Mocnu» (S 1), — а в верхнелужицкой сложному прилагательному «*nihdynerŕiwinjenu*» (т. е. никогда <или нигде> непреодоленный — L 2), которое является, скорее всего, ἄταξ λεγόμενον. Удивляет, на первый взгляд, обращение в форме «witaj» (дважды — L 4]), потому что это — второе лицо единственного числа повелительного наклонения, тогда как прямое обращение к Петру в тексте большей частью замещается употреблением третьего лица¹⁷. Причиной такой фамильярности является, скорее всего, желание подражать этой формой звучанию латинского «vivat» (тоже дважды — L 4), так что для достижения этой цели оказалось можно даже пренебречь тем фактом, что при этом автор обращается к Петру на ты.

Различия в направленности обеих версий уже видны в начале текста. Только в верхнелужицкой версии специально названы Германия и Саксония; тем самым посещение Петра связывается с конкретными регионами, известными верхнелужицким читателям (S 7–8), тогда как латинская версия говорит только о неопределенных провинциях и королевствах (L 7–8). С другой стороны, латинская версия добавляет объяснение, почему русским гражданам запрещен выезд за границы государства (L 12–13), смягчая таким образом сообщение о запрете, тогда как верхнелужицкая версия просто констатирует факт (S 8–10).

Довольно интересна разница в титулатуре саксонского курфюрста (L 17–21, S 14–18, ср. также примеч. 16). Здесь латинская версия добавляет информацию о том, что курфюрст одновременно является и польским королем, а в верхнелужицкой об этом ничего не сказано. Как известно, для того чтобы стать королем Речи Посполитой, Фридрих Август II (Август I Сильный) был вынужден обратиться в католицизм, а это был довольно щекотливый вопрос в Саксонии, особенно в лютеранских кругах. Поэтому Френцель, видимо, предпочитал молчать об этом в версии, предназначенной для своих соотечественников. А в «петровской» версии нельзя

¹⁶ Такое типографическое решение удивляет тем, что обычно латинский шрифт употребляется в готическом тексте для латинских (или вообще не немецких или не верхнелужицких) слов. Здесь наоборот: «Фридрих», написанное латинским шрифтом, является немецкой частью имени, а «Августус», латинская часть, написано готическим шрифтом. Еще более замечателен факт, что имя саксонского курфюрста в латинском тексте отсутствует. Причиной этому могут быть или какие-то тонкости протокола, или опять же различное назначение версий: для читателя верхнелужицкого текста, являющегося подданным князя, упоминание его имени является нормальным.

¹⁷ В латинском тексте последовательно (хотя скрытой формой прямого обращения можно считать употребление притяжательного местоимения «vester»); в верхнелужицком тексте в редких случаях употребляется второе лицо множественного числа: «wy kněžiće <...> a maće» (S 36–38), «wy maće rozkazać» (S 38–39), «Wy chcyli» (S 48).

было поступить таким образом, потому что русская сторона играла важную роль в выборах польского короля и результат считался успехом русской дипломатии.

Неудивительно, что указание на то, что Дрезден основан лужицкими сербами, помещено только в верхнелужицкой версии (S 18). Кроме того, подчеркивается родство русского и верхнелужицкого языков (сказано это так, будто бы русский подчиняется серболужицкому!)¹⁸, соединяемых под названием сарматской речи (S 20–22)¹⁹. Фрагмент верхнелужицкого текста с указанием числа носителей славянских языков (у автора «сарматского языка»), «много тысяч миллионов» (S 20–21), разумеется, отсутствует в латинской версии, поскольку ее читателю бросилось бы в глаза это явное преувеличение. Затем следует «историческая» часть посвящения (L 22–40, S 23–40). Изложение начинается рассказом о переселении народов в виде истории трех братьев (Лех, Чех и Рус), известной также из русских летописей. Латинская версия добавляет, что они заселили пустые, необжитые области (L 26–27), подчеркивая, таким образом, мирный характер процесса. С другой стороны, здесь опускается информация, которую можно найти в верхнелужицкой версии (S 23–28), а именно рассказ о «римском» происхождении русских царей, который с XVI в. является частью российской государственной идеологии. Очевидно, такое утверждение вызвало бы недоумение у читателей, знакомых с римской историей. Вместо этих сомнительных сведений латинская версия включает «научную» этимологию этнонима *Polonus* (L 32–33) и более точное географическое определение границ Российской Империи (L 36–40). Кроме того, Френцель добавляет похвалу всемогуществу царя (L 41–47), которая отсутствует целиком в верхнелужицкой версии. Это лишнее доказательство того, что именно латинская версия написана для царя.

После этого автор обращается к наиболее деликатной тематике, а именно к вопросам религии. Здесь задача автора была двойной: указать на различия вероисповедания и в то же время указать на то, что объединяет православных и лютеран. И опять версии значительно расходятся. Верхнелужицкая отличается предельной краткостью, констатируя тот факт, что вера в России «греческая» (S 40–43). Об этом Френцель говорит и в начале латинской версии, но добавляет к тому историческую справку о крещении Руси (L 50–55), подчеркивая связь выбора православия с династическими соображениями (брак Владимира с Анной, дочерью царьградского василевса)²⁰. Для него, представляется, было важным показать, будто в России нет никакого разногласия в вопросах религии (L 55–58)²¹. Примыкает

¹⁸ В латинской версии это сказано в конце (L 67–68), ср. ниже.

¹⁹ Интересно употребление прилагательного «*sarmatiski*». Видимо, Френцелю была известна польская идеология сарматизма (ср. к вопросу о сарматизме [Mańkowski 1946; Лескинен 2002]).

²⁰ Возможно, что это — скрытый намек на поступки курфюрста Саксонии в контексте выбора короля Речи Посполитой; жена Фридриха Августа не приняла католичества (и потому не стала польской королевой), что было примером правой веры для лютеранского духовенства (в отличие от ее мужа).

²¹ Видимо, он не знал о недавнем церковном расколе (или не хотел говорить об этом). Здесь можно также подозревать скрытый намек на положение в Саксонии или, точнее, в Верхней

к этому еще и изречение, восхваляющее военную мощь царя, как опять же традиционная часть посвящения (L 58–62). Принимая во внимание следующий абзац, в котором Френцель возвращается к религиозным вопросам, не совсем понятно, почему он добавил это изречение именно здесь, а не там, где уже раньше воспевал всемогущество Петра (L 41–47). В верхнелужицкой версии эта похвала, как и предыдущая, отсутствует.

В последней части посвящения доминирует, как уже сказано, религиозная тематика. Здесь автор может наконец говорить о себе и о поводе для написания текста. После выражения уважения к царю (L 63–64, S 44) он представляется (и то только в латинской версии) как серболужицкий проповедник и богослов из саксонской Лужицы (L 64–66). Передачу книг, переведенных им²², обосновывает тем, что русские говорят «*nostram linguam Sorabiam vel Slavicam, i.e. gloriosam*» (L 67–68)²³, добавляя, таким образом, и этимологию этнонима²⁴. А цель передачи книг он видит в том, чтобы русские могли из них узнать, какой является «прав(ославн)ая (и) апостолическая лютеранская вера» («*orthodoxa[.] et Apostolico-Lutherna[.] Religio[...]*» (L 76–77), «*ta Prawa Apostoliska Lutherska wěra*» (S 52–53))²⁵.

В верхнелужицкой версии Френцель, как уже сказано, вообще не представляется, что странно для посвящения, написанного неизвестным Петру лицом. Единственная личная информация заключается в том, что он перевел и сейчас передает эти книги. Притом указание на личное участие Френцеля и в переводе, и в передаче книг повторяется («*Wy chcyli tu te na serbsku řeč wote mně přeložene swjate Knihi wote mně z hnadu wzać*» (S 48–50)). Такая мнимая скромность понятна ввиду предполагаемых истинных адресатов этой версии, т. е. серболужицких соотечественников: им Френцель был хорошо известен. Заметно его стремление умалить в верхнелужицкой версии разницу между россиянами и лужицкими сербами в религиозном отношении. Единственное указание на разницу находится в конце предыдущего абзаца, но вряд ли его прихожанам было ясно, что такое «греческая христианская вера» (S 42–43). А в этом абзаце он даже намекает на единство веры, когда говорит, что «мы, немцы и серболужичане здесь в Саксонии, *тоже* [tež] исповедуем апостолическую лютеранскую веру» (S 45–47)²⁶.

Лужице, где как раз не было такого единства: часть населения, прежде всего серболужичане, осталась при старой вере или вернулась к ней, и после перехода курфюрста к католицизму не было «*absoluta concordia*» (L 57–58) в вопросах религии даже между правящей династией и народом.

²² Об авторской деятельности, т. е. о написании проповедей, он вообще не говорит, потому что перевод священных книг считает высшим достижением.

²³ Замечательно, что и здесь формулировка намекает на то, что русский язык подчиняется верхнелужицкому (см. S 21–22).

²⁴ В этом предложении Френцель даже употребляет притяжательное местоимение первого лица множественного числа по отношению к царю, называя его «*NOSTRO CZAR*» (L 70). В верхнелужицкой версии это местоимение относится только к саксонскому курфюрсту (S 15–16).

²⁵ В верхнелужицкой версии он касается этой темы еще раньше (S 46–47).

²⁶ Интересна здесь правописная и словообразовательная разница в прилагательных: с одной стороны, «*Japoštolsk[a]*» (S 46), а с другой — «*Apostoliska*» (S 52).

В самом конце посвящения латинская версия (L 78–79) повторяет начальную формулировку приветствия (L 1–4) в сокращенном виде. В верхнелужицкой версии Френцель так поступить не мог, потому что «witaj» (S 4) является только формулой приветствия. Видимо, поэтому он употребляет традиционную прощальную формулу, которая, правда, звучит слишком фамильярно (S 55–56).

В итоге можно сказать, что подтверждается гипотеза о том, что версии посвящения написаны для различных адресатов, хотя формально обе адресованы царю: латинская версия обращается к царю (и, возможно, к дворянскому обществу в Дрездене), тогда как верхнелужицкая версия предназначена для серболужицкой публики. Латинская версия написана по всем правилам жанра и дипломатического протокола, а верхнелужицкая является менее искусной, более простонародной.

Смотря на текст в целом, т. е. в обеих версиях, нельзя не заметить двойной faux pas Френцеля. Во-первых, это славянофильская (*avant la lettre!*) направленность текста, которая вовсе не соответствовала петровской политике реформ. А во-вторых, Френцель прямо обратился к царю, хотя официально его в Великом посольстве вообще не было!

Литература

Вереница литер 2006 — Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова / Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2006.

Живов 1980 — В. М. Живов. Очерки по синтагматической фонологии: признак звонкости. М., 1980.

Лескинен 2002 — М. В. Лескинен. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.

Марти 2006 — Роланд Марти. Петр I и Михаил Френцель-старший // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова / Отв. ред. А. М. Молдован. М., 2006. С. 341–357.

Щерба 1915 — Л. В. Щерба. Восточнолужицкое наречие. Т. I. Пг., 1915.

Bierling 1689 — Z. Bierling. Orthographia vandalica Das ist / Wendische Schreib- und Leselehr / Auf das Budissinische Idioma oder Dialectum mit Fleiß gerichtet. Budissin, 1689. URL: <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-37436>.

Frentzel 1670 — M. Frentzel. S. Matthæus und S. Marcus / Wie auch Die drey allgemeinen Haupt-Symbola In die Wendische Sprache Mit Fleiß übersetzt [...]. Budißin, 1670. URL: <http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/88267/1/>.

Frentzel 1688 — M. Frentzel. Postwitzscher Tauff-Stein / Oder Christliche und einfältige Teutsch-Wendische Predigt Von der Heiligen Tauffe [...]. Budißin, 1688.

Frentzel 1693 — M. Frentzel. I. N. J. Apostolischer Catechismus / Das ist S. Pauli Epistel an die Römer und an die Galater [...]. Budißin, 1693. URL: <http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/72809/1/>.

Jenč 1871 — K. A. Jenč. Michał Frencel a jeho zaslužby wo serbske pismowstwo // Časopis Maćicy Serbskeje. 24. 1871. С. 73–92.

Knauth 1767 — *Chr. Knauth*. Derer Oberlausitzer Sorberwenden umständliche Kirchengeschichte. Görlitz, 1767. URL: <http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10025551.html>.

Lewaszkiwicz 1995 — *T. Lewaszkiwicz*. Łużyckie przekłady Biblii: przewodnik bibliograficzny. Warszawa, 1995.

Mańkowski 1946 — *T. Mańkowski*. Genealogia sarmatyzmu. Warszawa, 1946.

Mětšk 1960 — *F. Mětšk*. Der Anteil der Stände des Markgraftums Oberlausitz an der Entstehung der obersorbischen Schriftsprache (1668–1726) // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 28. 1960. 2. S. 122–148.

Röseberg 1930 — *K. Röseberg*. Leben und Wirken von Michael Frenzel. Dresden, 1930.

Šěn 2002 — *F. Šěn*. (ed.). Towaršne basnje 17. a 18. lětstotka. Budyšin, 2002.

Roland Marti

*Universität des Saarlandes
(Saarbrücken, Germany)*

THE SORBIAN ENLIGHTENER MICHAEL FRENCEL THE ELDER AND HIS LETTER OF DEDICATION TO PETER THE GREAT

In the course of the Great Embassy Peter the Great also travelled through Saxony and the area where Sorbs lived. The Upper Sorbian Pastor and foremost intellectual in Upper Lusatia, Michael Frenzel, wanted to present the Tsar with the books he had written and translated but missed him. Instead, the books together with a letter of dedication in Latin and Upper Sorbian were given to the Tsar in Dresden. The article compares the Latin and the Upper Sorbian letter. Both letters contain passages that betray an early slavophile tendency. The analysis also shows that the two letters were intended for different audiences, regardless of the fact that on the surface Peter was the addressee in both cases. Frenzel varied the contents considerably according to the assumed background of the different audiences. The Latin letter was obviously written so as to appeal to the Tsar, members of the Great Embassy, perhaps also the ruling circles in Saxony. The Upper Sorbian letter, on the other hand, addressed in reality a Sorbian audience, perhaps Frenzel's congregation or his colleagues. Obviously Frenzel did not expect the Tsar to read and understand the Upper Sorbian letter.

Keywords: Peter the Great, Michael Frenzel the Elder, Great Embassy, Lusatia, dedication to Peter the Great in Latin and Upper Sorbian, Slavophile tendencies.

Helmut Keipert
(Bonn, Deutschland)

**V. M. ŽIVOV UND DIE „ANWEISUNG ZUR ERLERNUNG
DER SLAVONISCH-RUSSISCHEN SPRACHE“
VON JOHANN WERNER PAUS**

V. M. Živov hat die umfangreiche Petersburger Paus-Handschrift der „Anweisung“ erst seit 1996 in seine Publikationen zur Geschichte der russischen Sprache einbezogen. Nahegelegt wurde das durch die Wiederentdeckung des 1731 abgefassten „Compendium Grammaticae Russicae“ von M. Schwanwitz, dessen Darstellung und russisches Belegmaterial großenteils aus der „Anweisung“ übernommen worden sind und ihrerseits direkt auf die bekannten „Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache“ von 1731 eingewirkt haben. In Zusammenarbeit mit Živov ist 1994 in Bonn der Gedanke einer besseren Ausgabe der „Anweisung“ entstanden, die die in mancher Hinsicht unzulängliche Edition von D. E. Michal’či ersetzen sollte. Tatsächlich hat Andrea Huterer(-Leschhorn) 1998–2000 ein viel sorgfältigeres Transkript herstellen können, doch hat sich danach immer deutlicher gezeigt, dass der problematische Zustand des allein erhaltenen Handexemplars des Autors allzu oft eine sichere Entscheidung über den als zitierfähige Lehrmeinung von Paus zu druckenden Wortlaut nicht zulässt und glättende Eingriffe von Herausgebern auch zu empfindlichen Fehldeutungen führen können. Als Ergebnis der Bonner Erschließungsarbeit wird deshalb zur Erleichterung künftiger Forschungen zu Paus und seinem Werk in der Handschriftenabteilung der Petersburger Akademiebibliothek, im Moskauer Akademie-Institut für russische Sprache sowie im Archiv der Franckeschen Stiftungen in Halle je ein Exemplar dieses Transkripts als Lesehilfe deponiert.

Schlagwörter: V. M. Živov, J. W. Paus (Pause), „Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache“, D. E. Michal’či.

1. Mit Problemen der russischen Sprachgeschichte und der historischen Morphologie des Russischen hat sich Viktor Markovič Živov ernsthaft schon seit der Mitte der achtziger Jahre beschäftigt und dabei zunehmend auch das Zeugnis der ältesten grammatischen Kodifikationen der russischen Sprache berücksichtigt.¹ Erstaunlicherweise hat er

¹ Vgl. [ЖИВОВ 1985; 1986; 1988]; konkrete Kodifikatoren bzw. Normalisatoren nennt er [ЖИВОВ 1986: 260; 1990a: 2; 1990b: 458; 1992: 31; 1995: 72].

in diese seine Untersuchungen die materialreiche Petersburger Handschrift der „Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache“ von Johann Werner Paus aus den ersten Jahrzehnten des 18. Jh. erst seit der Mitte der neunziger Jahre einbezogen (vgl. [Живов 1996а: 290; 1996б: 573–574 (Указатель); 1999: 188–189; 2002: 13–14, 42]; vgl. [Живов, Кайперт 1996: 24–25]). Die auffallende Verzögerung kann man sich einerseits damit erklären, dass das ungedruckt gebliebene umfangliche Werk leider nur in dem schwer lesbaren Handexemplar aus dem Nachlass des Autors erhalten ist und das 1969 fertiggestellte maschinenschriftliche Transkript von D. E. Michal’či [Михальчи 1969] aus diesem Grund in vieler Hinsicht zu wünschen übrig lässt; auf der anderen Seite hat dabei vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man in Rußland längere Zeit der Ansicht war, dass diese Grammatik eine kirchenslavisch-russische Mischsprache mit z. T. künstlich erdachten Formen beschreibe und deshalb nicht in die Reihe der im engeren Sinne dem Russischen gewidmeten Grammatiken vor Lomonosov gehöre.² Jedenfalls hat sich ein neuer Zugang zu dieser „Anweisung“ wohl erst dadurch eröffnet, dass Viktor Markovič im Sommersemester 1994 als Gastprofessor am Slavistischen Seminar der Universität Bonn tätig war und wir die gemeinsame Zeit auch für eine gründliche Durchmusterung des Michal’či-Transkripts nutzen konnten. Eines der Ergebnisse dieser Lektüre ist unser 1996 erschienener Aufsatz in den „Voprosy jazykoznanija“ gewesen, der zeigt, dass Paus aufgrund seiner sorgfältigen Unterscheidung von zwei Textkorpora, eines russischen (insbesondere mit dem „Sobornoe Uloženie 1649 g.“) und eines kirchenslavischen (insbesondere mit der „Nikonovskaja biblija 1663 g.“), sehr deutlich nicht weniger als 55 Unterschiede zwischen Russisch und Kirchenslavisch benennen und belegen konnte [Живов, Кайперт 1996]. Da 1994 bereits die Kommentierung der 1988 in der Petersburger Akademiebibliothek wiedergefundenen Handschrift des „Compendium Grammaticae Russicae“ von 1731 in Arbeit war, haben wir schon damals gesehen, daß viele Wortbeispiele aus dem russischen Teilkorpus in späteren Russisch-Grammatiken, also bei Schwanwitz, Adodurov, Groening und sogar Lomonosov, wiederkehren und damit, direkt oder indirekt, von Paus übernommen worden sein dürften (vgl. danach [Keipert/Huterer 2002: 35–38 sowie [Keipert 2003]). So hat Viktor Markovič in seinen Publikationen seit 1996 wiederholt und mit Nachdruck auf die bisher nicht gebührend beachtete Vermittlerrolle der „Anweisung“ hingewiesen und im Nachwort seiner monumentalen „Očerki istoričeskoj morfologii russkogo jazyka XVII–XVIII vekov“ bei einer zusammenfassenden Würdigung Paus als Linguist u. a. mit den Worten beschrieben:

Он не предписывает, а описывает, и описывает вполне реалистично, основываясь на изученном им корпусе текстов [...]. Если он предписывает, то предписывает то, что описывает, предлагая тем самым не реформировать наблюдаемый узус, а, разобравшись в нем, следовать ему [Живов 2004: 551].

Diese vorteilhafte Charakteristik darf man wohl auch als den Versuch einer Ehrenrettung von Paus als „Russisten vor Lomonosov“ lesen.

² [Успенский 1975: 9–10]; ferner [Успенский 1992: 65 и 132, примеч. 5] bzw. [Успенский 1997: 439 и 526, примеч. 9]. Berücksichtigt wird sie, aus typologischen Gründen, bei [Бабаева, Запольская 1993].

2. Aus gegebenem Anlass haben wir bei unserer Lektüre 1994 auch schon darüber nachgedacht, dass die wirkungsmächtige Paus-Grammatik eine bessere Ausgabe verdienen würde, als sie, aus verständlichen Gründen, 1969 hat erarbeitet werden können:

Поскольку рукопись Пауса представляет существенные трудности для чтения, публикация Д. Е. Михальчи содержит множество неразобранных слов, неправильных чтений, поставленных не на место дополнений и примечаний [Живов, Кайперт 1996: 4],

doch musste es damals beim bloßen Wunsch bleiben, weil uns der Zugang zum Manuskript fehlte. Erst die dankenswerterweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützte Zusammenarbeit mit Andrea Leschhorn(-Huterer) hat es Ende der neunziger Jahre ermöglicht, in Bonn mit Rückgriff auf die Handschrift ein neues Transkript mit sorgfältiger textkritischer Annotation anzufertigen, die möglichst alles umfasst, was Paus im Text geschrieben, gestrichen, ergänzt oder umgestellt hat, und die zugleich offenlegt, was nicht sicher zu entziffern ist. In vielen zunächst nicht ganz eindeutig zu lesenden Sätzen ließ sich auf diese Weise besser als in Michal'čis Wiedergabe verstehen, was der Autor vermutlich gemeint hat.³ Da es sich bei der Petersburger „Anweisung“ nicht um eine autorisierte Reinschrift handelt, sondern um ein Manuskript ausschließlich zu eigenem Gebrauch des Verfassers und Schreibers,⁴ gibt es allerdings auf nicht wenigen Seiten noch immer einige Stellen, deren unklarer Wortlaut sich inhaltlich nicht einwandfrei erschließt, es sei denn, dass der Herausgeber in eigener Verantwortung „nachhilft“. Wenn man freilich zur Gewinnung eines lesbaren und inhaltlich plausiblen Editionstextes solche Überlieferungsschwächen des Paus-Manuskripts Seite für Seite oder gar Zeile für Zeile mit Konjekturen zu überbrücken versuchen muß, wächst die Befürchtung, dass ein Herausgeber, der unverständlichen, lückenhaften oder widersprüchlichen Passagen mit glättenden Eingriffen einen vielleicht aus unserer heutigen Sicht sogar ganz überzeugenden Sinn zu geben sucht, in die Gefahr kommt, dem Verfasser möglicherweise etwas zu unterstellen, das dieser nicht gemeint hat, geschweige denn so formuliert hätte, dass also in redlichem Bemühen um einen flüssig lesbaren und einleuchtenden Text hier und da Paus Gewalt angetan werden könnte.

3. Dass bei dem komplexen Zustand des erhaltenen Manuskripts die Gefahr solcher Mißdeutungen zum Nachteil von Paus tatsächlich besteht, soll hier exemplarisch ein nicht unwichtiger kleiner Abschnitt aus den der Grammatik vorangestellten

³ Anschaulich belegt das die im Rahmen des Editionsprojekts entstandene Dissertation zur russischen Wortbildung bei Paus, vgl. [Huterer 2001].

⁴ Bezeichnenderweise leitet Michal'či seine russische Übersetzung einer 1962 von Kurt Günther im Akademie-Archiv gefundenen Reinschrift eines Teils der Buchstaben- und Rechtschreiblehre mit der resignierenden Bemerkung ein:

Исключительно трудоемкая работа по расшифровке черновой рукописи «Славяно-русской грамматики» И. В. Паузе не идет ни в какое сравнение с чтением четких и аккуратно написанных шестнадцать страниц в четвертку листа — небольшого фрагмента белой рукописи «Славяно-русской грамматики» [Michal'či 1968: 150].

„Vorbereitungsfragen“ veranschaulichen, in dem der Autor sich zu den Übereinstimmungen und Unterschieden äußert, die seiner Meinung nach innerhalb der von ihm in der Kultur Russlands als Einheit vorausgesetzten slavonisch-russischen Sprache zwischen dem Russischen und dem Kirchenslavischen zu beobachten sind, also zu einem Problem, das für seine Entscheidung, das kirchenslavische und das russische Teilkorpus in ein und derselben Grammatik zu beschreiben, von grundsätzlicher Bedeutung ist. Nach der Aufzählung der Übereinstimmungen liest man zu den Unterschieden in der slavonisch-russischen Sprache in Michal’čis Transkript:

- Sie [= die Slavonisch-Rußische Sprache, H.K.] ist aber unterschied. I. nach ihren Mundarten und dialectis u. heutige Veränderung[:]
2. nach etl. Endung und and. accidentibus in d. Grammatic[:]
4. nach den Gebrauch denn die Slavonische wird mehr in Kirchen und geistl. Sachen.
3. noch wenig Wörtern die Rußische in gemeine Wesen beyde nach ein and. vermengt? aber inStaats u. Gelehrten Sachen mehrentheils gefunden od. Slavonisch ist vor die geistl. Rußisch vor die beydes aber von die (Wie dem all aber, so sind beyde Spr. in dem) (gelehrte) Rußische von das gemeine Volk oder vor alle u jede.
5. nach dem Alterthum, denn die Rußisch. scheint [auch so gar dem Nahmen nach] älter als die Slavonische [Michal’či 1969: 40].⁵

Schon auf den ersten Blick wirkt an diesem Textstück merkwürdig, dass der am Rand ergänzte Punkt 3 von Michal’či in den Satz von Punkt 4 eingefügt worden ist (man kann bei ihm auch nicht erkennen, dass die Ziffern 4 und 5 ursprüngliches 3 und 4 überschreiben). Dass gerade der Punkt 4 dem Herausgeber erhebliche Verständnisschwierigkeiten bereitet haben muss, zeigt seine Übersetzung dieses Abschnitts in dem als Anhang seiner Ausgabe angefügten «сокращенный перевод»⁶ der Grammatik:

- Но они различны: 1. По их говорам и диалектам и современному состоянию. 2. По некоторым грамматическим признакам. 4. По употреблению: славянский язык — используется больше в церквах, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются всё же славянским. Между тем, русский язык — достояние простого народа. 5. По древности,

⁵ Mit Unterstreichungen hat Michal’či Formulierungen hervorgehoben, die bei Paus am Rand oder zwischen den Zeilen ergänzt sind. Grau hinterlege ich Wörter, die noch genauer besprochen werden.

⁶ Die Verkürzung seiner Wiedergabe hat Michal’či [1969: 544] einerseits mit den für die damals noch geplante Drucklegung geltenden Umfangsbeschränkungen zu rechtfertigen gesucht, auf der anderen Seite aber auch auf die Besonderheiten dieser Handschrift hingewiesen:

[П]убликуется черновой текст грамматики с многочисленными авторскими исправлениями и добавлениями (маргиналии, записи между строк)[.] Буквальный перевод такого текста был бы очень неудобен для пользования ввиду черного характера оригинала и его стилистической незавершенности. К тому же есть случаи, когда нельзя дать связного перевода отдельных фрагментов (грамматические несогласования, отсутствие связи между предшествующим и последующим текстом). Кроме того, в немецком тексте имеются повторения, а также случаи излишней детализации, опирающейся на большое число примеров, не влияющих на общий ход изложения.

потому что русский язык, о чем говорит само название, древнее славянского / простотой и легкостью, так как русский язык много проще и легче, чем славянский/ [Michal'či 1969: 549–550].

Trotz der sichtbar fehlenden russischen Übersetzung des Punkts 3 und dessen falscher Einordnung im Editionstext muss diese verkürzte russische Wiedergabe so vertrauenerweckend gewirkt haben, dass B. A. Uspenskij das hier unter Punkt 4 Gesagte wiederholt in seinen Publikationen anführen konnte, um darzutun, dass Paus das Verhältnis von Kirchenslavisch und Russisch im Grunde ebenso wie schon vor ihm H. W. Ludolf beurteilt habe:

[П]о словам Пауса, «славянский язык используется больше в церкви, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются все же славянским. Между тем русский язык — достояние простого народа» (л. 5 [...]) (Михальчи, 1969, [...] 40 [...]).⁷

Dabei bezieht sich Uspenskij mit seiner Blattangabe auf die Handschrift Q 192/1 der Akademiebibliothek und mit der Seitenangabe auf den Editionsteil bei Michal'či, zitiert aber im Wesentlichen die Übersetzung in dessen Anhang.⁸ Mit der offenbar in gutem Glauben übernommenen Paraphrase des Punkts 4 und der daraus abgeleiteten Schlußfolgerung geschieht Paus Unrecht, denn Michal'čis Wiedergabe dieses Abschnitts und darin insbesondere des Punkts 4 erweist sich bei genauerem Vergleich in beträchtlichem Ausmaß als lücken- und fehlerhaft, was anschaulich zutage tritt, wenn man Lücken darin mit □ bezeichnet und bedenkliche Übersetzungslösungen grau unterlegt, bevor sie im einzelnen diskutiert werden:

Но они различны: 1. По их говорам и диалектам и современному состоянию. 2. По некоторым □□ грамматическим признакам. □□□ 4. По употреблению: славянский язык — используется больше в церквах □□, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются всё же □□ славянским. □ □□□ Между тем, русский язык — достояние простого народа. 5. По древности, потому что русский язык, о чем говорит само название, □ древнее славянского.

◆ Nach dem deutschen Text mit dem Singular bei Paus müsste die russische Wiedergabe in der ersten Zeile zweifellos mit *Но он различен* beginnen und dann mit *его* weiterführen, wenn einem russischen Leser die vom Verfasser gewünschte Vorstellung von einer slavonisch-russischen Einheitssprache ungeschmälert vermittelt werden soll.

⁷ [Успенский 1983а: 88]; zu weiteren Stellen mit diesem Zitat vgl. [Успенский 1983б: 110; 1985: 113, примеч. 76; 1987: 322; 1994: 89–90; 2002: 479–480].

⁸ Vgl. [Michal'či 1969: 549–550]. Einen Unterschied bildet lediglich, dass dort zwischen *язык* und *используется* ein Gedankenstrich steht, statt *в церкви* dort *в церквах* zu lesen ist und in dem von mir benutzten Exemplar der Dissertation eine handschriftliche Korrektur in der Maschinschrift *все же* zu *всё же* verdeutlicht hat. In der italienischen Weiterübersetzung dieser Stelle nach Uspenskij [Успенский 1994: 89–90] bei Marcialis [Marcialis 1993: 124] ist dieses *все же* als „sempre“ wiedergegeben, was den Sinn noch mehr verändert.

◆ Unter Punkt 2 müsste zu erkennen sein, dass Paus „etliche“ Endungen und Accidia, also eine bemerkenswerte Zahl sowohl von Formen als auch von grammatischen Kategorien als unterschiedlich berücksichtigt sehen will.

◆ Da der Punkt 3 ausgelassen ist, erfährt der Leser wegen des fehlenden „[unterschieden] nach wenig Wörtern“ überhaupt nicht, dass Paus zwischen seinem russischen und seinem kirchenslavischen Korpus nur wenige lexikalische Unterschiede zu sehen glaubt (was für das richtige Verständnis seines Punkts 4 von entscheidender Wichtigkeit ist).⁹

◆ Unter Punkt 4 ist zunächst *в церквах* irreführend, weil in *Kirchen-* der Bindestrich übersehen und so in der Fügung *Kirchen- und geistl. Sachen* nicht das Kompositum *Kirchensachen* erkannt worden ist.¹⁰

◆ Der Ausdruck *das gemeine Wesen* ist mit *обыденная жизнь* sicher nicht treffend übersetzt, denn hier geht es nicht um das Alltagsleben, sondern um einen Terminus für das moderne Staatswesen (im Gegensatz zur Kirche), den schon das Weismannsche Wörterbuch von 1731 mit «республика, управляемое гражданство» wiedergegeben hat.¹¹

◆ Danach sollte man bei den (wegen *gefunden!*) wohl als Texte zu verstehenden *Gelehrten Sachen* besser von *ученые дела* als von *научные вопросы* reden, weil bei *gelehrt* damals nicht notwendig an Wissenschaft im heutigen Sinne zu denken war.¹²

◆ Geradezu fatal sinnentstellend ist in der russischen Wiedergabe die zweimalige Vernachlässigung von *beyde*, mit dem Paus zusammenfassend auf das Russische und das Kirchenslavische referiert, die in den „Staats- und Gelehrten Sachen“ nicht nur

⁹ Insofern ist die völlige Verkennung und Auslassung des dritten Punkts ein besonders schwerwiegender Mangel an Michal'čis Paraphrase, zumal das *wenig* auch auf die bekanntermaßen häufige Verwendung kirchenslavischer Wörter in vielen damals entstehenden russischen Texten bezogen werden kann (zur semantischen Entwicklung [„Säkularisierung“] solcher Kirchenslavismen im Russischen des 18. Jh. vgl. [Копорская 1988]).

¹⁰ Vgl. ebenso *Kirchensachen* an einer ähnlichen Stelle der „Observationes“ von 1732. Paus spricht dort davon, dass „beide dialecti, slavonisch und russische (!), deren jene in geistlichen und Kirchensachen von alters her, diese aber bei unsern Zeiten in Staats- und Regimentssachen nach der Zivilität und gemeinen Wesen schaltet und waltet“, vgl. [Winter 1958: 759], zitiert auch bei [Живов 1996b: 201]. Statt *в церквах* bzw. *в церкви* wäre in der russischen Paraphrase also eher *в церковных и духовных делах* zu erwarten gewesen.

¹¹ [Weismann 1731: 235] und [СРЯ XVIII в., 5: 216–217] s.v. гражданство: 3. *Сообщество граждан, общество, государство*. Vgl. auch [Grimm 1897: 3175–3176] zur Verbindung von *gemein* mit lat. *publicus*: „daher auch das gemeine wesen, res publica, eigentlich alles was alle als volk oder gemeinde angeht, doch erst seit dem 17. jh., wie es scheint“. Einsichtsfördernd ist auch der Eintrag in Zedlers „Universal-Lexicon“, das unter *Gemeines Wesen* auf den Artikel *Republic* verweist:

Republick, das gemeine Wesen, Lat. *Respublica*, Fr. *Republique*. Es hat das Wort *res publica* vielerley Bedeutungen, welche man auch von dem Wort *civitas* sagen muß, indem es die Gesellschaft des menschlichen Geschlechtes, die Innwohner der Stadt, den Ort selbst, wo sie sich aufhalten u. den(n) eine bürgerliche Gesellschaft und einen Staat bedeutet. Man verstehet hier durch die Republic die bürgerliche Gesellschaft, welche aus Regenten und Unterthanen zusammen gesetzt, die sich mit einander zur Erhaltung und Beförderung der gemeinen Wohlfahrt vereinigt haben [Zedler, Bd. 10 (1735): 795; Bd. 31 (1742): 656–657].

¹² Vgl. [Pfeifer 1989, 2: 994] s.v. *lehren*: frühnhdt *Gelehrter* „philologisch, grammatisch Geschulter“ (16. Jh.); vgl. *thie gilērtun* (9. Jh.) für lat. *scribae*“.

„mehrentheils“ (unübersetzt!), sondern ausdrücklich auch „vermengt“ und „neben einander“ (gleichfalls nicht übersetzt!) auftreten. Anders als das Michal’čis Übersetzung suggeriert, wird in diesen Texten nicht „trotzdem¹³ das Kirchenslavische gebraucht“, sondern es dürfte Paus an dieser Stelle vor allem darum gegangen sein, dass die mit beiden Sprachen vertrauten Gelehrten in Ermangelung eines leistungsfähigen russischen Wortschatzes für die von ihnen in einem russischen Gemeinwesen erwarteten anspruchsvollen russischsprachigen Texte „mehrentheils“ auf das Reservoir des Kirchenslavischen zurückgreifen. So jedenfalls kann man sich vielleicht erklären, warum Paus im oben erwähnten Punkt 3 die Texte des russischen und des kirchenslavischen Korpus in der Lexik als nur „nach wenig Wörtern“ unterschieden bezeichnen konnte und unter Punkt 2 größere Unterschiede zwischen ihnen eher im grammatischen Bau konstatieren wollte.

◆ Eine noch massivere Entstellung bedeutet die Auslassung von *od.* = *oder*, denn ohne diese Konjunktion vermag der russische Leser Michal’čis überhaupt nicht zu erkennen, daß Paus im ersten Teil des Punkts 4 zunächst eine Unterscheidung der Teilsprachen nach Arten von Texten bzw. Gebrauchssphären (vgl. seine Ausdrücke *wird... gefunden, in... Sachen, im gemeinen Wesen*) vorsieht, dann nach *oder* im zweiten eine nach Verwendungsgruppen (vgl. seine Angabe von Personenbezeichnungen wie *die Geistlichen, die Gelehrten* [in der Handschrift gestrichen], *das gemeine Volk, alle und iede*) hinzufügt und bei beiden Kriterien zu einer Dreiteilung von Kirchenslavisch, Russisch und Russisch+Kirchenslavisch kommt (unter denen die dritte Varietät aus heutiger Sicht als Grundlage des sich damals formierenden «русский литературный язык нового типа» zu betrachten ist).

◆ Der den Punkt 4 in der Übersetzung abschließende Satz *Между тем, русский язык — достояние простого народа* scheint weitgehend eine freie Erfindung des Übersetzers zu sein, denn für das adversative *между тем* fehlt ebenso wie für das positiv wertende Substantiv *достояние* eine Entsprechung in der deutschen Vorlage.

◆ Zu bedauern ist schließlich, dass ganz am Ende des Punkts keine russische Entsprechung für *oder vor alle und iede* zu finden ist, denn mit dieser ergänzenden Formulierung meint Paus wahrscheinlich nicht dasselbe wie mit *das gemeine Volk*, sondern eher die gesamte Bevölkerung, also als Träger des Russischen neben dem „gemeinen Volk“ gewiss auch „die Gelehrten“ und „die Geistlichen“.

Sehr erleichtert worden ist der hier vorgenommene Vergleich durch das inzwischen vorliegende unveröffentlichte Huterer-Transkript, das durch die Ausgliederung von Fußnoten übersichtlicher und präziser über den Textbefund informieren kann. Daraus zitiert wird der hier interessierende Abschnitt auf Bl. 5a aber auch deshalb, weil er ernüchternd zeigt, dass trotz der über viele Monate hinweg an Mikrofilm und Handschrift noch einmal

¹³ In Michal’čis Wiedergabe bleibt das durch *все же* „trotzdem“ (ohne Entsprechung im Original!) noch verstärkte *но* etwas rätselhaft, weil die sog. *государственные и научные вопросы* wohl nicht ohne weiteres als Teil der dem Russischen gehörenden *обыденная жизнь* anzusehen sind und damit kein wirklicher Widerspruch entsteht, wenn bei ihrer Behandlung (auch) Kirchenslavisches herangezogen wird. Möglicherweise erklärt sich aus dieser unklaren Doppelung, weshalb Marcialis, wie erwähnt, dieses *все же* ausweichend mit *sempre* wiedergegeben hat.

geleisteten mühevollen Entzifferungsarbeit durchaus nicht alle Probleme der Textkonstitution zufriedenstellend gelöst werden konnten, sondern immer noch Stellen verbleiben, die zu verbessern sind, ohne dass damit ein wirklich gesicherter „Text letzter Hand“ zu erreichen wäre:

Sie ist aber unterschieden 1. nach ihren *dialectis* Mundarten und¹⁷ heütigen Veränderung 2. nach etl<ichen> Endungen und andern¹⁸ *accidentibus* in der *Grammatic* ¹⁹³. nach wenig Wörtern¹⁹ 4.²⁰ Nach dem Gebrauch<, > denn die Slavonische wird mehr in Kirchen- und geistl<ichen> Sachen,²¹ die Rußische in gemeinem Wesen,²² beyde neben einander²³ aber in Staats- und Gelehrten²⁴ Sachen mehrentheils gefunden, oder Slavonisch ist **zwar** die ²⁵Geistl<ichen> Rußisch vor die <...> beydes aber²⁶ vor die <...>²⁵ Rußisch²⁷ vor das gemeine Volk ²⁸oder vor alle und iede 5.²⁹ nach dem Alterthum, denn die Rußische scheint³⁰ ³¹(auch sogar dem Nahmen nach)³¹ älter als die Slavonische.

- 17–17 „Mundarten u.“ a. R. erg. „u.“ erscheint nochmals im Grundtext, also versehentlich doppelt.
- 18 „Endung<en> u. and<er>n“ ü. d. Z. erg.
- 19–19 „3. nach wenig Wörtern“ a. R. erg. Weiter oben a. R. erg. Ansatz zu Punkt 3, gestr.: „3. na“.
- 20 „4.“ korr. aus „3.“
- 21 „u. geistl. Sachen“ a. R. erg.
- 22 Dahinter steht in der Handschrift „**vermengt**“; das Wort ist mit gestrichelter Linie unterstrichen, was wohl Streichung anzeigt.
- 23 „Beyde neb<en> einand<er>“ ü. d. Z. erg.
- 24 „u. Gelehrten“ ü. d. Z. erg.
- 25–25 „Geistl. [...] die“ mit Fehlzeichen a. R. erg. **Der Satz ist unvollständig.**
- 26 „aber“ versehentlich doppelt geschrieben, das zweite ist korr.
- 27 Davor gestr. „**Gelehrten**.“
- 28–28 „oder [...] iede“ nachträglich erg.
- 29 „5.“ korr. aus „4.“
- 30 „scheinet“ korr. aus „ist“.
- 31–31 Nachträglich ergänzte Klammern zeigen evtl. Streichung an.

So ist in Z. 6 des Textes zweifellos *zwar* durch das richtigere und im Schriftduktus ähnliche *vor* (= *für*) zu ersetzen, und das in Fn. 22 als gestrichen gewertete *vermengt* ließe sich ohne Schwierigkeit vor *beyde* in den Text setzen. Die nach Fn. 27 von Paus selbst im Zusammenhang mit einer Ergänzung am Rand vorgenommene Streichung von *Gelehrten* sollte man rückgängig machen, weil nur so die im Textzusammenhang naheliegende Junktur *vor* (= *für*) *die Gelehrten* als Bezeichnung einer der Gruppen von Sprachverwendern herzustellen ist und im Text am Ende von Punkt 4 eine Reihung wie

Slavonisch ist vor die Geistl<ichen> Rußisch vor das gemeine Volk oder vor alle und iede, beydes aber vor die *Gelehrten.

entstehen kann, die eine von Paus offenbar beabsichtigte Parallele zur Dreigliedrigkeit des ersten Teils des Punkts 4 bildet. Um das zu erreichen, muss man freilich als Herausgeber — methodisch nicht unbedenklich — gegen den durch schwungvolle Streichung des Worts erklärten Willen von Paus handeln. Mit diesem editorischen Vorbehalt schlage ich abschließend als bessere russische Fassung des Punkts 4 vor:

4. По употреблению, ибо славянский язык находим больше в церковных и духовных делах, а русский — в общей жизни граждан в государстве, но оба рядом друг с другом в большинстве государственных и ученых дел, или славянский является языком для духовенства, русский языком для простого народа или всех без исключения, а оба вместе языком для ученых (образованных).

Auf deutsch lässt sich dieser Satz aus den verschiedenen Notizen des Manuskripts schon wegen der offenbar gestörten Abfolge der drei Glieder im zweiten Teil nicht zweifelsfrei rekonstruieren, und solche wiederholten Einsichten haben dazu geführt, dass wir uns dafür entschieden haben, das Bonner Transkript entgegen unserer ursprünglichen Absicht nicht mehr für den Druck vorzubereiten. Im übrigen erinnert der Paus-Satz in dieser vollständigeren Wiedergabe nur wenig an die bekannte Äußerung Ludolfs aus dem Jahre 1696 und sehr viel mehr an das, was 1758 — nicht weniger bekannt, aber deutlich später — M. V. Lomonosov in seinem „Predislovie“ über den Nutzen der kirchenslavischen Bücher in der russischen Sprache geschrieben hat. In jedem Fall aber ist es bemerkenswert, daß Paus schon im ersten Drittel des 18. Jh. mit seinen knappen Formeln „Russisch und Slavonisch nebeneinander in Staats- und Gelehrten Sachen“ und „Russisch und Slavonisch für die Gelehrten“ praktisch die Beschreibung des «наречие посредственное» vorwegnimmt, die Kutina für eine der zwei sprachlichen Übersetzungstraditionen der Petrinischen Zeit und dann für die bei der Ausbildung des Standards zukunftsweisende Übersetzungstätigkeit in der Petersburger Akademie der Wissenschaften gegeben hat: «русский разговорный язык с определенной долей книжных и славянских элементов» [Кутина 1966: 14–15]¹⁴.

4. Der hier vorgetragene exemplarische Befund über die erheblichen Schwierigkeiten beim Versuch der Gewinnung eines authentischen Textes der „Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache“ ist nach unserer Bonner Erfahrung nicht untypisch für den Überlieferungszustand der Petersburger Paus-Handschrift als ganzer: in unserem Transkript ist nahezu jede Seite zur Hälfte mit den Annotationen zu Schreibversehen, vor allem aber zu Streichungen und den vielfältigen Ergänzungen am Rand und zwischen den Zeilen gefüllt, ohne dass sich daraus stets, durch welche Variantenmischung auch immer, ein überzeugender, geschweige denn ein ohne Zweifel vom Verfasser stammender „Text letzter Hand“ ergibt, den man als das Werk von Paus zu drucken guten Gewissens verantworten könnte. Um so dringlicher wäre daher zu wünschen, dass sich bei gründlicherer Nachschau oder durch einen Zufall in Archiven und

¹⁴ Vgl. auch die exemplarische Beurteilung des zugrundeliegenden Normierungsprozesses bei [Живов 2001].

Handschriftensammlungen Russlands trotz der bisherigen Fehlanzeigen eine der beiden verlorenglaubten Reinschriften der „Anweisung“, also diejenige für Peter I. von 1720 oder diejenige für die Akademie aus dem Jahre 1729, wiederfinden lässt und die sprachgeschichtliche Forschung damit doch noch einen mündigten und autorisierten Text dieser epochemachenden Grammatik erhält. Diese nach Lage der Dinge vielleicht allzu optimistische Hoffnung sollte man schon deshalb nicht völlig aufgeben, weil in den letzten Jahrzehnten vor allem in russischen Bibliotheken und Archiven zahlreiche ganz unbekannte Handschriften von Russisch-Grammatiken aus dieser Zeit ans Licht gekommen sind und darunter, entdeckt 1962 von K. Günther, sogar das Fragment einer solchen Reinschrift von Paus gewesen ist. Unabhängig von einem solchen höchst erwünscht bleibenden Fund kann man die Paus-Grammatik aber auch weiterhin mit der gebotenen Umsicht und Geduld nach dem Handexemplar des Verfassers kennenlernen und untersuchen [Keipert 2009], wobei zu besserem Verständnis nicht nur die Dissertation Michal’is helfen kann, sondern nun auch das Bonner Transkript zur Verfügung steht, weil von ihm eine Kopie für die Handschriftenabteilung der Petersburger Akademiebibliothek hergestellt worden ist und zwei weitere sich jetzt im Moskauer Akademie-Institut für russische Sprache bzw. im Archiv der Franckeschen Stiftungen in Halle befinden. Diese Regelung haben wir 2011 in Bonn mit Viktor Markovič besprechen können und freuen uns, dass sie seine Zustimmung gefunden hat.

Literatur

Grimm 1897 — Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Vierten Bandes erste Abtheilung. Zweiter Theil. Bearbeitet von Rudolf Hildebrand und Hermann Wunderlich. Leipzig, 1897.

Huterer 2001 — *A. Huterer*. Die Wortbildungslehre in der *Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache* (1705–1729) von Johann Werner Paus. München, 2001.

Keipert 2003 — *H. Keipert*. J. W. Paus und die russische Grammatikographie vor Lomonosov // Zeitschrift für Slawistik. 48. 2003. S. 292–303.

Keipert 2009 — *H. Keipert*. Die Darstellung des russischen Verbums in der „Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache“ von J. W. Paus (1705–1729) // Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition und Innovation. Gedenkschrift für G. Hüttl-Folter. Frankfurt am Main, 2009. S. 179–209.

Keipert/Huterer 2002 — *H. Keipert, A. Huterer* (Hrsg.). Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache. München, 2002. [Vorläufiges, in Kürze noch verbessertes Digitalisat unter <http://publikationen.badw.de/016509110>].

Marcialis 1993 — *B. A. Uspenskij*. Storia della lingua letteraria russa. Dall’antica Rus’ a Puškin. [Edizione a cura di N. Marcialis]. [Bologna,] 1993.

Paus 1705–1729 — *J. W. Paus*: Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache, Zum Nutzen, sonderlich der Teutschen Nation, aufgesetzt. [Библиотека Академии наук. С.-Петербург. Собр. иностр. рук., Q 192/1].

Pfeifer 1989, 1–3 — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. A-G. Erarbeitet von einem Autorenkollektiv [...] unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. 1–3. Berlin, 1989.

Weismann 1731 — Weismanns Petersburger Lexikon von 1731. I–III. [Nachdruck der Ausgabe St. Petersburg 1731]. München, 1982–1983.

Winter 1958 — *E. Winter*. Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 über seine Tätigkeit auf dem Gebiete der russischen Sprache, der Literatur und der Geschichte Rußlands // Zeitschrift für Slawistik. 3. 1958. S. 744–770.

Zedler — Großes Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste [...]. Leipzig, Halle, 1732–1754. Nachdruck: Graz, 1996.

Бабаева, Запольская 1993 — *Е. Э. Бабаева, Н. Н. Запольская*. Языковой континуум Петровской эпохи: обзор грамматических трактатов первой четверти XVIII в. // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М., 1993. С. 188–206.

Живов 1985 — *В. М. Живов*. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 21/3. 1985. С. 70–85.

Живов 1986 — *В. М. Живов*. Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 45. №3. 1986. С. 246–260.

Живов 1988 — *В. М. Живов*. Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // Russian Linguistics. 12. 1988. С. 3–47.

Живов 1990а — *В. М. Живов*. Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1990.

Живов 1990б — *В. М. Живов*. Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // Wiener slavistischer Almanach 25–26. 1990. С. 451–469.

Живов 1992 — *В. М. Живов*. Лингвистические теории и языковая практика в истории русского литературного языка восемнадцатого века. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1992.

Живов 1995 — *В. М. Живов*. Светский и духовный литературный язык в России XVIII века: взаимодействие и взаимоотталкивание // Russica Romana. 2. 1995. С. 65–81.

Живов 1996а — *В. М. Живов*. Историческая морфология русского литературного языка XVIII века: узус, нормализация и норма // A Window on Russia. Papers from the V. International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Gargnano 1994. Roma, 1996. С. 285–292.

Живов 1996б — *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Живов 1999 — *В. М. Живов*. К истории форм 2 лица ед. числа презенса (о неоднородности элементов языка и ее исторических импликациях) // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 182–202.

Живов 2001 — *В. М. Живов*. Формирование норм русского литературного языка нового типа и их предыстория // *Reflections on Russia in the Eighteenth Century*. Köln, Weimar, Wien, 2001. С. 377–398.

Живов 2002 — *В. М. Живов*. Литературный язык и язык литературы в России XVIII столетия // *Russian Literature*. 52. 2002. С. 1–53.

Живов 2004 — *В. М. Живов*. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.

Живов, Кайперт 1996 — *В. М. Живов, Г. Кайперт*. О месте грамматики И. В. Пауса в развитии грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского // *Вопросы языкознания*. № 6. 1996. С. 3–30.

Копорская 1988 — *Е. С. Копорская*. Семантическая история славянизмов в русском литературном языке нового времени. М., 1988.

Кутина 1966 — *Л. Л. Кутина*. Формирование терминологии физики в России. Период предломоносовский: первая треть XVIII века. М.; Л., 1966.

Михальчи 1968 — *Д. Е. Михальчи*. Листы белой рукописи «Славяно-русской грамматики» И. В. Паузе // *Вопросы грамматики и словообразования*. М., 1968. С. 150–161.

Михальчи 1969 — *Д. Е. Михальчи*. Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Докт. дисс., машинопись. Л., 1969.

СРЯ XVIII в. — *Словарь русского языка XVIII века*. Т. 1–20. Л./СПб., 1984–2013.

Успенский 1975 — *Б. А. Успенский*. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.

Успенский 1983а — *Б. А. Успенский*. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.

Успенский 1983б — *Б. А. Успенский*. Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. 27. 1983. С. 81–126.

Успенский 1985 — *Б. А. Успенский*. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Успенский 1987 — *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.

Успенский 1992 — *Б. А. Успенский*. Доломоносовские грамматики русского языка (итоги и перспективы) // *Доломоносовский период русского литературного языка*. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагерудде, 20–25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. С. 63–169.

Успенский 1994 — *Б. А. Успенский*. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

Успенский 1997 — *Б. А. Успенский*. Избранные труды. Т. III. Общее и славянское языкознание. М., 1997.

Успенский 2002 — *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002.

Helmut Keipert
(Bonn, Germany)

**V. M. ZHIVOV AND THE INSTRUCTION OF THE SLAVONIC-RUSSIAN
LANGUAGE BY JOHANN WERNER PAUS**

In his publications concerning the history of the Russian literary language, V. M. Zhivov has dealt with the role of the voluminous Petersburg manuscript of the “Instruction” only from 1996 onwards. The reason for this had been given by the rediscovered “Compendium Grammaticae Russicae” by M. Schwanwitz (1731), whose text shows a lot of borrowings from the “Instruction” and for its part exercised a direct influence on the famous “Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache” (1731). In 1994, the cooperation with V. M. Zhivov in Bonn gave birth to the idea to edit the “Instruction” in a better way than what had been done in D. E. Mikhal’chi’s dissertation. As a matter of fact, in 1998–2000 Andrea Huterer(-Leschhorn) in Bonn succeeded in preparing a complete and by far more scrupulous transcript of the text, but as one of the results of her work it became increasingly evident that the writing habits practised by Paus in his personal copy very often do not allow a reliable reading of the text beyond all doubt, and, on the other hand, that well-meant emendations proposed for unclear or defective passages by editors might lead to obvious misunderstanding of his intentions. It is for this reason that the Bonn transcript will not be printed as a book, but copies of it have been deposited as a sort of reading aid for interested russianists in the Manuscript Division of the Library of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, in the Russian Language Institute of the Academy in Moscow and in the Archives of the Francke-Foundation in Halle/Germany.

Keywords: V. M. Zhivov, J. W. Paus (Pause), “Instruction of the Slavonic-Russian language”, D. E. Mikhal’chi.

Хельмут Кайперт
(Бонн, Германия)

**В. М. ЖИВОВ И «ПРИВЕДЕНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ СЛАВЯНО-РУССКОГО
ЯЗЫКА» ЙОГАННА ВЕРНЕРА ПАУСА**

В своих работах по истории русского литературного языка В. М. Живов начал писать о петербургской рукописи «Приведения» Пауса только с 1996 г. Это объясняется тем, что к этому времени исследование новооткрытой рукописи «Компендиума русской грамматики» 1731 г. показало, с одной стороны, что эта грамматика была непосредственным источником известных «Первых оснований русского языка» того же года и, с другой стороны, что примечательное преобладание русского элемента в ее языке-объекте основано на активном использовании «Приведения»

Пауса. Во время работы В. М. Живова в Бонне в 1994 г. наше совместное чтение «Приведения» по машинописному изданию Д. Е. Михальчи навело нас на мысль подготовить более точное воспроизведение текста грамматики Пауса. В сотрудничестве с Андреей Хутерер(-Лешхорн) в 1998–2000 гг. удалось составить новый, очень обстоятельный транскрипт. Однако одновременно стало понятно, что состояние дошедшей до нас черновой рукописи грамматики в очень многих случаях не позволяет с уверенностью установить, что при обилии многочисленных исправлений, зачеркиваний, приписок и перемещений можно считать аутентичным текстом Пауса. Имея в виду опасность, что произвольные попытки издателей сгладить неясные места могут исказить авторский текст, мы решили отказаться от первоначального плана печатного издания «Приведения», но вместо этого мы передали в Рукописный отдел Библиотеки Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, в Институт русского языка РАН в Москве и в Архив фонда А. Г. Франке в Галле экземпляры нашего транскрипта с критическим аппаратом, представляя их в распоряжение будущих исследователей наследия Пауса.

Ключевые слова: В. М. Живов, Й. В. Паус (Паузе), «Приведение к изучению Славяно-Русского языка», Д. Е. Михальчи.

Ю. В. Казарлицкий

*Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)*

СУДЬБА СТЕФАНА ПИСАРЕВА И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В.

Статья посвящена переводу проповедей греческого епископа Ильи Миниятия (1667–1714) на русский язык, выполненному в первой половине XVIII в. чиновником Коллегии иностранных дел Стефаном Ивановичем Писаревым (1708?–1775). В центре внимания автора роль писаревского перевода в истории русской духовной литературы, его влияние на современную и последующую проповедническую практику. Перевод рассматривается в широком культурном контексте середины XVIII в. Дается его подробная характеристика как новаторского для современной ему духовной литературы сочинения, перечисляются причины, по которым этот перевод мог казаться современникам новаторским. Особое внимание уделяется языку перевода, причем стратегии русификации текста рассматриваются в свете концепции В. М. Живова: показано, что в тексте отсутствуют или представлены крайне ограниченно основные «признаки книжности»: простые претериты, придаточные предложения с *иже*, *яже*, *еже*, специфические конструкции и проч. Проанализирован фрагмент рукописи 1741 г. в сравнении с печатным текстом 1759 г., выявлены тенденции эволюции текста. Подробно рассмотрена культурная роль русской проповеди в начале и в середине XVIII в.. Показано, как становление новых представлений о свободном времени в русском обществе выдвигает новые требования к духовной литературе.

Ключевые слова: история русской литературы XVIII в., история русского языка XVIII в., русская проповедь.

До определенного момента язык духовной литературы XVIII в. крайне редко попадал в фокус внимания исследователей. Это легко объяснимо: в культурном сознании XVIII столетие связано, главным образом, с появлением словесных и интеллектуальных практик западного типа: беллетристики, поэзии, научной и технической литературы, журнальной публицистики, литературной критики, философских и правовых трактатов и т. д. На этом фоне религиозные сочинения даже сочувствующему

и заинтересованному глазу, а тем более глазу равнодушному и критичному кажутся вторичными отголосками прежде существовавшей традиции и как будто не подлежат внимательному изучению. То, что ряд жанров духовной литературы, в первую очередь церковная проповедь, являются, по существу, инновациями в неменьшей степени, чем ода или сатира, не вызывало интереса ученых; то, что в духовной словесности нового типа со свежей остротой встает вопрос о языке, поскольку традиционный книжный язык для них не подходит, — оставалось и вовсе за кадром.

Подобное дискриминационное отношение к духовной литературе было заметно поколеблено благодаря работам Б. А. Успенского и В. М. Живова, а также их учеников. Так, замечательной вехой в изучении русского литературного языка явилась книга В. М. Живова «Язык и культура в России XVIII века» [Живов 1996], в которой значительное место было уделено эволюции языка духовной литературы; более того, было показано, как эта эволюция происходит параллельно со становлением языка светских жанров и как постепенно происходит формирование единого, многофункционального литературного языка с присущей ему функционально-стилистической дифференциацией.

Книга В. М. Живова не только содержала оригинальную концепцию эволюции языка духовной литературы; ее внимательное чтение располагало к новым исследованиям, расширяющим и развивающим эту концепцию. Здесь мне хотелось бы обратить внимание на один эпизод в истории русской духовной литературы, значение которого может быть по-новому понято в контексте идей Живова. Я имею в виду широкое распространение в русской читательской среде — и среди духовных лиц, и среди светских читателей — проповедей Ильи Минятия в русском переводе. Я обратил внимание на проповеди Минятия в переводе С. И. Писарева, когда изучал церковное красноречие Елизаветинской эпохи. Эти проповеди упоминаются, например, митрополитом Евгением Болховитиновым в биографической заметке о Гедоне Криновском:

Сумароковъ и другіе критики упрекали его въ томъ, что въ словахъ его много чужихъ заимствованныхъ цѣлыхъ мѣстъ, а еще больше въ томъ, что у него много приводовъ изъ Исторіи языческой и языческихъ писателей, вмѣсто которыхъ приличнѣе Проповѣднику Библейскія и Церковныя; но въ семь прежде надобно винить Пелопонисскаго Епископа Илію Минятія, котораго Гедонъ избралъ себѣ для подражанія почти единственнымъ образцомъ и даже изъ поученій его иногда цѣлыя статьи выписывалъ въ свои Проповѣди. Къ сему можетъ быть побуждала его и самая поспѣшность въ сочиненіи, для частаго по должности проповѣдыванія. А проповѣди Минятіевы тогда не были еще изданы на Русскомъ языкѣ. Въ прочемъ примѣтно, что подражая образцу своему, онъ въ изобрѣтеніи доводовъ, оборотахъ изъясненія и въ изображеніи движеній сердца, вездѣ съ нимъ равнялся своимъ собственнымъ дарованіемъ, такъ что можно его справедливо наименовать Россійскимъ Минятіемъ [Болховитинов I: 87–88].

Мимо подобного свидетельства пройти невозможно. Оно порождает целый ряд вопросов. Действительно ли влияние Ильи Минятия на Гедона Криновского было

так значительно? И если да, то почему? Пользовалось ли проповедническое искусство Ильи Минятия известностью среди духовных лиц или мирян? И если да, каковы хронологические границы этой известности, этого влияния? Почему проповеди греческого епископа вызвали в России интерес, побуждавший не только переводить их на русский язык, но и ориентироваться на них при составлении оригинальных проповедей? Биограф имеет право просто сказать «испытал влияние такого-то», однако историк культуры знает, что влиять может только тот, кто предлагает нечто востребованное.

Видимо, следует сразу же отвергнуть предположение, что Гедеон Криновский, закончивший лишь Казанскую семинарию и греческого языка, вероятнее всего, не знавший, был знаком с поучениями Ильи Минятия в оригинале. Помимо прочего, совершенно непонятно, откуда он мог бы узнать о существовании этих поучений: нет сведений, что имя Ильи Минятия до писаревского перевода пользовалось в России какой-либо известностью. Было бы странно, если бы было иначе: большинство русских ни по-гречески, ни по-итальянски не читало. Разумеется, в узких кругах людей, имеющих контакты с Венецией или с греческими областями, знающих греческий язык и читающих на нем, об Илье Минятии должны были знать. Но об общении с ними Гедеона Криновского также ничего неизвестно. Надо полагать, он был знаком с поучениями Ильи Минятия в единственном доступном ему виде — в переводе Стефана Писарева.

Перевод Писарева вышел в свет в 1759–1760 гг., тогда как проповеди Гедеона Криновского издавались с 1755 по 1759 г. [Гедеон Криновский I–IV]. Можно было бы объявить влияние первого на вторые невозможным, если бы не важное обстоятельство: писаревский перевод еще до публикации ходил в списках. В предисловии к первому тому сам Писарев указывал: «Каждой Читатель, по прочтении заглавнаго листа может примѣтить, что сія Книга мною переведена еще въ 1741мъ году; съ котораго времени по нынѣ многіе, да и у многихъ находятся переписанные съ оной Экземпляры» [Илья Минятий I, предисловие к читателю]. Это сообщение Писарева вызывает доверие: во многих фондах российских архивов хранятся списки поучений Минятия в его переводе (ср. хотя бы РГАДА, ф. 188, оп. 1, ч. 2, № 1257; РНБ, собр. Колобова, № 38 и т. д.). Можно предположить, что Гедеон ознакомился с поучениями Минятия в одном из таких списков.

Итак, резонно задать вопрос, почему поучения Минятия произвели на Гедеона Криновского такое впечатление. В качестве введения в контекст позволю себе дать краткую характеристику и греческому автору, и его русскому переводчику. Илья Минятий (Илья Миниат, Ἰλίας Μηνιάτης) — греческий духовный писатель и проповедник. Родился на о. Кефалиния (в то время — владения Венецианской республики) в 1669 г. Получил образование в коллегии Флангини в Венеции. По окончании преподавал греческий, тогда же начал проповедовать — на греческом, а иногда и на итальянском языке. Судьба Минятия сложилась так, что он жил в греческих областях, находившихся под властью Венеции. В разные годы ему доводилось быть воспитателем племянников Антонио Молина, губернатора Ионических островов, и личным секретарем Л. Соранцо, посла Венеции

в Константинополе; Д. К. Кантемир в 1703 г. отправил Минятия с миссией к австрийскому императору Леопольду. С 1711 г. — епископ Керникский и Калавритский (Пелопонесс). Умер в 1714 г. [Сухомлинов I: 113–115; Salaville 1929]. Проповеди Ильи Минятия выходили в свет после его кончины на греческом (неоднократно) и на итальянском языках. Видимо, они были хорошо известны в Юго-Восточной Европе. Проповедник, по отзывам современников, обладал выдающимися ораторскими способностями, считается, что его проповеди составлены на живом, естественном языке [Krumbacher 1902: 211; Китромилидис 2007: 39–40].

Если жизнь и творчество Ильи Минятия представляют интерес в контексте истории греческой культуры рубежа XVII–XVIII вв., то жизнь и переводческая деятельность С. И. Писарева оказались чрезвычайно показательны в контексте истории русской культуры второй трети XVIII в. Будучи отодвинут на задний план своими более знаменитыми современниками, Стефан (Степан) Иванович Писарев (1708–1775)¹⁵ оказывается, тем не менее, весьма примечательной фигурой. Он родился в семье мелкого клерка. Принято писать, что он учился в Славяно-греко-латинской академии, хотя в справке, составленной в 1741 г., говорится, что он обучался «с 1718^f по 1725^u в еллиногреческо^u школь^u у учителей ЛѢхудіевыхъ еллиногреческо^{му} языку и школьнымъ наукамъ» (АВПРИ, ф. 2 «Внутренние коллежские дела», оп. 2/1, дело № 1610, 1741 г., л. 3). Последнее известие, ввиду его детальности и точности, кажется более достоверным. В 1725 г., до окончания курса, был отправлен в составе посольства С. Л. Владиславича (Рагузинского) в Китай.

С Саввой Владиславичем Писарев был знаком лично и, по-видимому, довольно коротко. Отец Писарева, Иван Васильев, служил писарем у знаменитого серба, предположительно с 1708 по 1724-й; возможно, именно поэтому Писарев был взят в состав посольства, где заменил более великовозрастного кандидата. Первоначально предполагалось, что он там останется для изучения китайского языка, однако Писарев фактически стал канцеляристом при посольстве, участвовал в его работе и вернулся обратно в декабре 1728 г. По возвращении служил в Коллегии иностранных дел, канцеляристом, переводчиком, позднее секретарем; затем, уже в 1760-е гг., некоторое время в Синоде.

Естественно, память о скромном чиновнике связана не с его послужным списком, а с его переводческой деятельностью. Действительно, на протяжении всей своей жизни Писарев переводил с греческого и итальянского языка духовные, нравоучительные, иногда исторические и философские сочинения. Из этих переводов наиболее известны «Житие Петра Великого» (перевод «Vita di Pietro Grando, Imperador della Russia» Антонио Катифоро, 1685–1763) и поучения Ильи Минятия. Известно, что «Житие», как и поучения Ильи Минятия, долгое время ходило

¹⁵ Годы жизни приводятся по Словарю русских писателей XVIII в. [Николаев 1999]. У В. В. Буша: 1709–1775 [Буш 1915: 4]. М. И. Сухомлинов приводит даты 1706–1773 [Сухомлинов I: 115], возможно, основываясь на надписи на надгробной плите Писарева на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре: «Статский совѣтникъ Стефанъ Ивановичъ Писаревъ послужившій церкви переводомъ полѣзныхъ книгъ жилъ 67 лѣтъ преставился 1773 года мая 9 дня и погребень на семь мѣстѣ». Встречаются и другие датировки рождения Писарева: 1704, 1707 гг.

в списках, как до издания, так и после [Буш 1915]. Вообще, надо сказать, что Писарев занимался литературным переводом в свободное от службы время, главным образом — по собственной инициативе, его переводы на пути к печатному станку сталкивались с многочисленными препятствиями, значительное их число осталось в рукописи. Тем не менее он продолжал переводить и добиваться издания своих переводов практически на протяжении всей своей жизни; в этом смысле его можно назвать подлинным подвижником Просвещения.

О переводческом проекте Писарева, преследуемых им задачах и причинах его неудач с публикацией мне доводилось довольно подробно писать [Кагарлицкий, Литвина 2002; Кагарлицкий 2008; 2013]¹⁶. При этом я лишь вскользь упоминал о роли, которую перевод Писаревым поучений Минятия сыграл в истории русской духовной литературы — как культурный, литературный и языковой образец. В настоящей работе, в какой-то мере возвращаясь к теме, над которой я некогда работал под руководством В. М. Живова, я остановлюсь именно на этом аспекте переводческого творчества моего героя.

Жанр проповеди кажется вполне органичной частью церковного обихода, однако будет нелишним напомнить, что для великорусских областей проповедь до XVII в. была совсем не характерна, вместо нее читались святоотеческие поучения. В XVII в. она появляется как результат культурного импорта из югозападно-русских и западнорусских областей, но по-прежнему мало распространена и воспринимается как заемное новшество (об этом см. [Живов 1996: 377 и сл.]). В первой половине XVIII в., уже при Петре, предпринимаются специальные усилия для внедрения проповеди в рамках переустройства церковного уклада. Тем не менее в первой половине XVIII в., и даже позднее, проповедь была распространена очень ограниченно. В недавней работе выделяются три разновидности проповеди, в зависимости от места ее произнесения: придворные, семинарские и приходские [Kislova 2014: 177]. Придворные проповеди произносились во время праздничных богослужений в придворных церквях, часто в присутствии монарха или монархини. Семинарские проповеди произносились во время служб в семинарских церквях, как штатными проповедниками, так и преподавателями и префектами, как монахами, так и мирянами. Наконец, приходские проповеди составлялись приходскими священниками для произнесения в приходских храмах. Из этих трех разновидностей лучше всего изучена придворная проповедь; придворные проповеди наиболее часто издавались и были наиболее доступны читающей публике. Семинарское проповедничество (развившееся довольно рано, в том числе и в провинции) и проповедничество приходское (распространившееся позднее, когда появилось достаточное количество квалифицированных клириков) здесь отступали на второй план.

Именно придворная проповедь довольно долго определяла место, которое жанр проповеди занимал в системе культуры. Это был жанр, тесно связанный

¹⁶ Должен, пользуясь случаем, отметить, что неоценимую помощь в моих исследованиях оказали мне Дмитрий Георгиевич Полонский и Джамиля Нуровна Рамазанова.

с придворным церемониалом, с послепетровскими формами публичности; жанр, безусловно, заемный, не укорененный, воспринимавшийся как инновация. Здесь важным оказывались и условия произнесения проповеди, и ее содержание: часто проповедь представляла собой, полностью или частично, панегирическую речь. Впрочем, даже если проповедь была посвящена догматическим или дидактическим вопросам, она сильно отличалась от той душеполезной литературы, которая входила в традиционный круг чтения православных мирян.

Поэтому интерес к проповеди как к душеполезному жанру был, скорее всего, ограниченным. Так или иначе, в 1700–1730-е гг. в свет выходили практически только панегирические проповеди и изредка проповеди, внешне посвященные религиозным предметам, но фактически имеющие политико-пропагандистский характер («Слово в неделю осмоюнадесять», «Слово в день святого благоверного князя Александра Невского» Феофана Прокоповича). Это объяснимо, поскольку издания проповедей носили официальный характер и инициировались светской властью.

В 1740-е гг. характер отношения к проповеди со стороны власти несколько меняется. Царствование Елизаветы Петровны, особенно в его начале, было связано с идеей избавления от иноземного господства и не в последнюю очередь с возрождением православного благочестия. Само по себе это является общеизвестным фактом; в контексте настоящей работы следует отметить, что этот национально-православный ренессанс сказывается и на отношении к проповедничеству. Проповедь поощряется, выходят именные указы об обязательности проповедей в придворной церкви [ПСПр I, № 93: 120–121] и об их обязательном напечатании [ПСПр I, № 67: 84]. Надо заметить при этом, что речь идет о развитии именно этого, нового для великорусской духовности жанра. Именные указы делали публичным тот факт, что дочь Петра Великого хотела по воскресным и праздничным дням вместе со своим двором внимать пастырскому поучению, притом в тех формах, которые большинством православного народа всё еще воспринимались как нововведение.

Роль проповеди при Елизавете Петровне по сравнению с Петровской эпохой должна была измениться. Для Петра были важны проповеди, сопрягающие, часто казуистически, идеологию реформ с религиозным назиданием, амальгамирующие религиозные и гражданские обязанности. Это позволяло подорвать серьезное влияние традиционалистской аргументации, противопоставлявшей новейшим требованиям светской власти требования христианской совести. Это придавало проповеди полемическую заостренность и затрудняло ее инкорпорацию в общую систему церковной дидактики. Елизавета, публично потребовав еженедельного проповедания при дворе (с последующей публикацией проповедей), вызывала к жизни совсем другую проповедь — направленную на воспитание у слушателей благочестия. Сама же императрица как слушательница проповеди задавала образец благочестивого поведения для своего ближайшего окружения; таким образом, слушание проповедей становилось респектабельным и желательным занятием для каждого придворного. В 1740-е гг. произносится и издается большое количество торжественных, панегирических проповедей, посвященных Елизавете и принесенному ею освобождению от несправедных правителей, но в этих проповедях

императрица зачастую предстает как образец смирения, великодушия, богопочитания. Итак, панегирик смещается в сторону поучения, а сам образ носительницы власти становится для набожных подданных примером для подражания.

В это же самое время происходят важные сдвиги и в сознании паствы, во всяком случае той ее части, которая находится в гуще общественных изменений. Поколение сверстников Петра определяло себя по отношению к традиционным формам духовности, с одной стороны, и петровским инновациям — с другой. Проповедь для них решала задачу инкорпорации норм христианской жизни в общую систему потребностей нового общества. По существу, речь шла не о христианском назидании, а о церковной санкции следовать требованиям светской власти. Традиционная же духовная культура служит фоном, для кого-то более, для кого-то менее значимым.

Спустя поколение акценты существенным образом сдвигаются. Столичные дворяне 1740-х гг. воспитаны уже в условиях нового государства, нормы и правила, действующие в нем, рассматриваются как сами собой разумеющиеся. Они существуют в гораздо более открытом обществе и вынуждены решать задачу самоопределения. Определяя же себя как православных, они нуждались в поучении, соотносимом с их образом жизни и деятельности — активным, прагматичным, сопряженным с карьерными исканиями и подчинением вышестоящим. Они нуждались в поучении, которое могли приложить к своей повседневной деятельности и которое при этом объясняло бы им, как в этих условиях вести себя, чтобы оставаться христианином.

Можно взглянуть на эти культурные сдвиги и немного с другой стороны, обратившись к теме, также весьма важной для В. М. Живова. Одной из ключевых проблем русской культуры на пороге Нового времени, по мнению ученого, был вопрос о том, кому принадлежит время и кто имеет право его исчислять. Уже в XVII в. государственная власть заявляет свои притязания не только на профанное время повседневной жизни, но и на сакральное время праздника, рассматриваемое «как что-то выкроенное из обычного времени, выделенное государством для Бога из своих собственных запасов» [Живов 2009: 52]. Впоследствии эти притязания только усугубляются, создавая предпосылки для дальнейшего реструктурирования времени.

Можно предположить, что проповедь Петровской эпохи была тесно связана с этими изменениями в восприятии времени. С одной стороны, она соотносилась с церковной службой, с праздником и в этом качестве с тем временем, которое было «выкроено» для Бога. С другой стороны, она и тематически, и прагматически была встроена в контекст светского церемониала, посвящена вопросам гражданского самосознания. Собственно говоря, она зачастую и содержательно была посвящена пересчету сакрального времени вечности в прагматическое государственное время; самым ярким примером здесь может служить уже упоминавшееся «Слово в день святого благоверного князя Александра Невского» [Феофан Прокопович II: 8 и сл.; Кагарлицкий 1997]. Таким образом, она знаменовала всю полноту государственной власти над временем, в том числе и над временем церковного праздника.

В последующую эпоху, особенно с воцарением Елизаветы, меняется место проповеди в разделении времени. Посещение проповеди теперь ассоциируется не с временем государственного церемониала, а со временем, которое человек уделяет душеполезному времяпрепровождению, — так это и для самой Елизаветы, и предполагается, что ей должны подражать подданные. Такое времяпрепровождение считается похвальным, одобряется государством, но, вообще говоря, оно является предметом свободного выбора: человек может пойти в церковь, а может не пойти. Более того, дворянской элитой оно, видимо, и осознается как свободный выбор, причем делаемый зачастую не в пользу благочестия. У Кирилла Флоринского в «Слове в неделю Вайи» (1742) имеется пассаж с осуждением тех нерадивых христиан, которым **начертаніе крѣтѣ ѿзобразитѣ, ХИРАГРА ВЪ РѢКАХЪ, політика зазираетѣ, а къ славословленію Бжїю прїити, ПОДАГРА ВЪ НОГАХЪ, да ѿ характеръ шлахѣтства съ простолюдінами кѣпно бгѣ предстоатѣ не допущаетѣ** [Кирилл Флоринский 1742: 10]. Здесь совершенно недвусмысленно обозначена принадлежность критикуемых к верхним слоям общества, причем их неблагочестивое поведение явно связывается с их происхождением и с их новой, послепетровской, а следовательно, европейской ориентацией (ср. лексику: **політика, характеръ**). Более того, в ироническом упоминании «благородных» болезней, будто бы мешающих знатым господам прийти в храм Божий, можно видеть намек на избыточную нежность их физической организации и нежелание поступаться неудобствами ради посещения служб. Так или иначе, создается впечатление, что для людей новой культуры время, «выкроенное» как будто для Бога, принадлежит на самом деле им и они самостоятельно решают, как они будут им пользоваться.

Проповедь как жанр определенно служила рационализации духовной жизни, выведению ее за рамки ритуала. У нее было прагматическое задание, которое было обращено к человеку, к человеческому разуму. Проповедь Петровской эпохи имела своим заданием побудить человека следовать императивам государственной службы, которые будто бы сами по себе совпадают с требованиями христианской совести. В Елизаветинскую эпоху должна была возникнуть проповедь, обращенная к человеку, для которого следование императивам государственной службы уже не было под вопросом; она должна была объяснить ему, как в этих условиях вести себя в соответствии с учением Христовым. Это поведение не было связано со служебной добросовестностью, оно виделось как часть заботы человека о себе, о собственной душе. Это была своего рода приватная зона, в которой осуществлялась работа человека над собой. Работа над собой могла пониматься как направленная на воспитание хорошего подданного, в том числе доброго христианина; постольку она приветствовалась государственной властью. Но работа над собой могла (чем дальше, тем чаще) пониматься и как направленная на выработку духовных устоев, принципов, качеств, которые определяли самостояние личности в столкновениях с различными силами: с соблазнами, с сильными мира, с тем же государством. Приватная зона оказывается областью, где вырабатываются качества и свойства личности, имеющие общественное значение.

Вот почему кажется важным вопрос об использовании свободного времени. Звучавшие в начале Елизаветинской эпохи призывы к возрождению благочестия были адресованы в первую очередь дворянской элите, у которой, благодаря происшедшим культурным сдвигам, появилось представление о личном времени: было важно, чтобы это время не тратилось впустую, а использовалось для работы над собой. Личное время, время досуга санкционируется дворянской культурой под предлогом его опосредованной полезности. «Дворянство утверждает свое право на праздное время, и рассматривает его как свое исключительное право, что в конце концов и находит выражение в указе о вольности дворянства... Только дворяне могут употребить благо праздности на пользу всего общества» [Живов 2009: 59]. Со временем складываются знакомые нам представления о досуге высших слоев общества: чтение, музицирование, посещение театра, балы и приемы в эти представления вписывались, а чтение благочестивой литературы скорее нет: духовная жажда утолялась преимущественно на иных путях, далеких от традиционной религиозности; православные же практики отеснялись на задний план и часто сводились к формальной обрядности.

В 1740-х гг. таких устоявшихся представлений еще не было. Между тем, хотя приватное время не подлежало государственной регламентации, это не означает, что оно не подлежало регламентации культурной. При этом следует учитывать, что типичным представителем элиты был прежде всего человек, находящийся на государственной службе, и его время было распределено достаточно жестко (в отличие от дворян второй половины столетия, которые были уже освобождены от обязательной службы и распоряжались своим временем гораздо более самостоятельно). Еще не обособился окончательно класс, живущий своей, особенной жизнью, говорящий на своем языке и практически целиком ориентированный на европейскую культуру. Поэтому было нетрудно представить себе в идеале человека новой формации, который бы, будучи европейски образован, проводил досуг не в развлечениях или духовных исканиях, соответствующих европейской культурной моде, но за чтением православных душеполезных книг, а также в размышлениях о своих помыслах и поступках¹⁷. Естественно предположить, что для этого должна была появиться духовная литература, отвечающая его запросам.

Нельзя с уверенностью сказать, откуда Писарев узнал о существовании Ильи Минятия и почему решил обратиться именно к его поучениям. Илья Минятий был весьма популярен в Юго-Восточной Европе, его проповеди выходили несколькими изданиями в Венеции — крупнейшем центре православного книгоиздания в Европе. Писарев всю жизнь переводил с греческого, иногда с итальянского языка, причем, как правило, книги, изданные в Венеции. Мне уже приходилось отмечать, что этот выбор симптоматичен, причем сразу в двух отношениях — в отношении выбора культурных ориентиров и в отношении каналов поставки книг для

¹⁷ Нелишним будет заметить, что дворяне, настроенные таким образом, существовали и в более позднее время, но не они определяли культурную и литературную моду.

перевода. Я не располагаю здесь достоверными свидетельствами, однако на основании косвенных соображений, как мне кажется, довольно веских, предполагаю, что на Писарева вполне могли повлиять и учителя в греческой школе, и С. Л. Владиславич (Рагузинский), к которому он, видимо, был близок, и русские дипломаты, с которыми он вступал в сношения, находясь на службе в Коллегии иностранных дел (подробно об этом см. [Кагарлицкий 2013]). От любого из этих людей Писарев мог узнать о существовании и популярности проповедей Ильи Минятия, а также получить книгу и совет перевести ее на русский язык¹⁸.

Так или иначе, в 1741 г. Писарев подготовил книгу, которая в некоторых отношениях должна была выглядеть новаторской, хотя сегодня это трудно заметить.

Во-первых, это был перевод книги знаменитого иностранного писателя. Переводчик обосновывал свой выбор не только соображениями благочестия, но и соображениями литературной моды: в посвящении Елизавете он указывает, что переводимые поучения уже широко известны «въ другихъ Европейскихъ Государствахъ» [Илья Минятий I, посвящение: л. 1 об.–2]. Таким образом, хотя речь шла о собрании православных поучений, его ценность для читателя обосновывалась новыми, светскими критериями актуальности.

Во-вторых, это было собрание проповедей. Собрания проповедей в первой трети столетия не издавались, выходили издания отдельных проповедей [Кислова, Матвеев 2011: 12–90]. Это было логично, поскольку проповеди этого периода, как указано выше, были встроены в контекст светских торжеств и церемоний, иногда были значимыми политическими высказываниями в рамках текущей ситуации; их издание соотносилось, видимо, с их произнесением на публике. Идея собирать их и издавать вместе, как видно, никого не привлекала¹⁹. Теперь в распоряжении читателя XVIII в. было печатное издание значительной по объему серии проповедей.

¹⁸ Перевод поучений Ильи Минятия выполнен Писаревым по венецианскому изданию 1727 г.: *Διδαχαὶ εἰς τὴν ἀγίαν καὶ μεγάλην, τεσσαρακοστήν, καὶ εἰς ἄλλας ἐπισήμους ἑορτάς. μετὰ καὶ τινῶν πανηγυρικῶν λόγων, συντεθεῖσαι μὲν καὶ ἐκφωνηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ποτὲ θεοφιλεστάτου Κερνίκης καὶ Καλαβρίτων ἐν Πελοποννήσῳ ἐπισκόπου κυρίου Ἰησοῦ Μηνιάτη τοῦ Κεφαλληνιέως. Νεωστὶ δὲ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας ἐκτυπωθεῖσαι καὶ διορθωθεῖσαι. Ἐλετήσιν, αψκζ´ παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con licenza de' Superiori e privilegio 1727. In Venezia (№ 303 в описании [Legrand/Pernot I: 90]). Существуют и другие издания тех же поучений; ср. № 321 [Там же: 97]. Однако есть прямые указания, что использовалось именно издание 1727 г. [Рамазанова 2013: 493]. Надо отметить, что позднее Писарев перевел и издал еще одну книгу проповедей Ильи Минятия, с итальянского: *Due prediche sacre, e quattro orazioni, ritrovate sole delle molte già fatte anche in lingua italiana, dal fù monsignor Elia Mignati da Cefalonia, vescovo greco di Cernizza e di Calavrita in Morea: date in luce e consacrate al merito sublime dell' illustriss. et eccellentiss. sig. il sig. Federico Cornaro del q. Girolamo Kavr Procr e capitan generale. In Venezia. M. DCCXVII. Appresso Antonio Bortoli. Con licenza de' Superiori (№ 282 в описании [Legrand/Pernot I: 83]).**

¹⁹ Известны рукописные сборники проповедей Димитрия Ростовского, Феофана Прокоповича, Арсения Мацеевича, Димитрия Сеченова [Kislova 2014: 190]. Однако такие сборники чаще всего представляют собой просто коллекции текстов, не связанных общей композиционной

В-третьих, это было собрание великопостных поучений, о чем явственно говорило название: «Поученія во Святую и Великую Четырдесятницу...». Это означало, что вся серия проповедей соотносится с великопостным ритмом жизни читателя, помогает ему организовывать ее. Позднее, когда книга вышла в свет, Писарев предварил ее «предисловием к читателю», где, в частности, писал:

...не сумнѣваюсь, что изъ нихъ [читателей настоящей книги. — Ю. К.] кто либо и такой, которой къ забавленію себя Историческо-басенными, называемыми Романы, и прочими подобными Книжками (отъ которыхъ единственно только въ совѣсти соблаженіе, и къ страстямъ поползновеніе ощущается) всегдашнюю охоту имѣеть; не возжелал-бы хотя единожды въ годъ, а наипаче во время Святыя Четырдесятницы, когда каждой Хрїстіанинъ особливо отъ всехъ страстей воздержатъ себя должень, прочитаніемъ сея Духовныя Книги поусладиться [Илья Минятей I, предисловие к читателю].

Это подробное разъяснение должно быть отмечено особо: Писарев не просто обозначает таким образом функциональное назначение своего труда, но и соотносит его с жизненным укладом предполагаемого читателя. Можно с уверенностью сказать, что этот читатель имеет свободное время, которое он может уделить «забавлению себя» беллетристикой, а может — чтению благочестивой литературы. Перевод поучений Минятей должен был стать примером той новой христианской словесности, которая будет, с одной стороны, соответствовать современному литературному вкусу, а с другой — противостоять увлечению развлекательными сочинениями. Таким образом, переводческий замысел Писарева должен быть помещен в контекст спора о досуге. Цитированное замечание относится к 1759 г., однако оно, полагаю, вполне отражает замысел 1741-го²⁰.

идеи; они могут включать в себя как проповеди одного автора, так и проповеди нескольких авторов, и дистанция между первыми и вторыми в рукописной традиции стирается, например: «Feofan Prokopovich's homilies were occasionally gathered into individual, single-author compilations, but generally they tended to form the bulk of multiauthor collections» [Там же]. Печатные издания собраний осуществляются с заранее обдуманном намерением, снабжаются предисловиями и посвящениями. Замечу, что, когда эти собрания выходят в свет, их не торопятся копировать; по крайней мере, Е. И. Кислова отмечает: «At the same time, printed collections of homilies by the same author were copied very rarely» [Там же] — и приводит данные о единичных случаях копирования целиком томов печатного собрания проповедей Гедеоны Криновского, тогда как отдельные проповеди Гедеоны копируются активно. Полагаю, дело в том, что печатное собрание как целое и стоящий за ним замысел были не слишком интересны переписчикам, увлеченным копированием отдельных заинтересовавших их текстов. Судьба собрания поучений Ильи Минятей была совсем другой: оно долго не издавалось, а Писарев, как можно предположить, деятельно пропагандировал подготовленную рукопись.

²⁰ Идея собрания проповедей, расположенных в соответствии с календарным циклом, оказывается востребованной послепетровской духовной культурой и проникает и в рукописную традицию. Д. Н. Рамазанова описывает компилятивный сборник, составленный из проповедей Хрисанфа Нотары и Ильи Минятей (и тех, и других — в переводе Писарева), расположенных «в соответствии с распределением церковных праздников, на которые они читались» [Рамазанова 2013: 494]. Книга, полагает исследовательница, подготовлена в Великом Устюге по инициативе

В-четвертых, «Поучения...» Ильи Минятия должны были обратить на себя внимание рассматривавшейся в них проблематикой и характером риторического построения. Каждое поучение было привязано к определенной неделе Великого поста и чтению в эту неделю, однако в центре внимания всегда оказывалась работа индивида над собой, своим поведением, своими мыслями и поступками. В цитированном выше предисловии Писарев отмечает как основное достоинство поучений Ильи Минятия то, что в них приведены «доводы, касающіеся единственно до привлеченія челоуѣка къ осмотренію совѣсти своей, къ напамятованію страха Божіа, къ раскаянію въ порокахъ и страстяхъ и къ начатію шествованія по стезѣ добродѣтелей, на путь спасенія приводящей» [Илья Минятий I, предисловие к читателю]. Практически это означало, что адресатом проповеди был мирской человек, живущий современной ему жизнью и характерными для нее понятиями, однако стремящийся соотносить свои дела и мысли с требованиями христианского вероучения. Это логически приводило к тому, что самоанализ и правила морали оттесняли на задний план вопросы догматики и чистоты вероучения. Проповедь Ильи Минятия была проповедью моралистической и так или иначе подталкивала к отвлеченно-моралистическому осмыслению своих поступков.

Это не означает, что проповедь Ильи Минятия была конфессионально индифферентной. Минятий ощущает себя православным, он проповедует для православных слушателей и подчеркивает преимущество православного христианства как истинной веры. Однако он от поучения к поучению настаивает на том, что вера его слушателей должна быть подкреплена делами, например:

Нѣкоторой древней Філософъ, за-три вещи благодариль Бога: Перьвое, что родился онъ Мужемъ, а не женоу: Второе, что былъ онъ Еллинъ, а не вѣрварь: Третіе, что былъ Філософъ, а не невѣжда. За три же вещи, и ты долженствуешь благодарить Бога: *Перьвое*, что родился Хрістіаниномъ, а не невѣрнымъ: *Второе*, что Хрістіанинъ ты Православной, а не Еретикъ: *Третіе*... что Хрістіанинъ ты Православной как по вѣрѣ, такъ и по житію, а не по вѣрѣ только единой [Илья Минятий I: 215, 224].

Здесь соединяются две перспективы, внутренняя и внешняя. С одной стороны, православному христианину надлежит «осматривать» свою совесть, анализировать себя, раскаиваться в пороках; с другой — он должен проявлять свое благочестие в поступках, делах, внешнем поведении, быть православным христианином «как по вѣрѣ, такъ и по житію». Парадоксальным образом Минятий ставит

вице-пресвитера местной семинарии Григория Крыловского, составлена, надо полагать, из не опубликованных еще проповедей знаменитых греков, снабжена декоративными элементами и эпиграммой, прославляющей Илью и Хрисанфа. Характерно, что эпиграмма написана в новом вкусе, силлабо-тоническим стихом: книгу составлял человек, знакомый с современной ему светской литературой. Так переведенные Писаревым поучения становились частью круга чтения людей, не чуждых интереса к культурным новинкам. Показательно, что календарный принцип здесь сознательно воспроизведен, композиционный замысел исходных собраний понят и принят за основу.

своему слушателю в пример инославцев, иноверцев, даже язычников. Таким образом, принадлежность к православной вере смыкается с трансконфессиональным морализмом.

С этим отчасти связана такая яркая особенность проповеднической манеры Минятия, как беспрестанное цитирование анекдотов из священной, античной и новейшей истории. Напомню, что именно эту черту отмечали у Гедеона Криновского, на основании чего, главным образом, и говорили о подражательном характере его проповедей. Надо заметить, что процитированное выше мнение митрополита Евгения о мере влияния Минятия-проповедника на Гедеона подвергалось позднейшим исследователем корректировке. Леннарт Челлберг сверил тексты «Поучений» Ильи Минятия всё в том же переводе Писарева и проповедей Гедеона Криновского и пришел к выводу, что прямых заимствований у Гедеона почти нет [Kjellberg 1957: 43]. Однако и Челлберг признает, что Гедеон подражает общему стилю Минятия. И здесь сходство действительно налицо. Так что, несмотря на внесенные уточнения, от мысли о влиянии греческого проповедника на русского отказаться трудно.

В анекдотическом стиле можно увидеть типичную черту поэтики барокко; так, Челлберг отмечает: «Des parallèles de ce genre ne sont pourtant pas spécialement caractéristiques du prédicateur grec... ils constituaient l'un de procédés utilisés par les prédicateurs ukrainiens et blanc-russes qui se trouvaient sous l'influence des Jésuites polonaise» [Kjellberg 1957: 47]. Демонстрация эрудиции оратора действительно была барочной особенностью. Однако представляется, что в проповеднической практике Ильи Минятия эта особенность переосмыслялась и включалась в специфический контекст. Вводимые в проповедь анекдоты переключали внимание с интроспекции на внешнюю оценку. Поступки и поведение православного христианина виделись как бы извне.

Поучения Минятия побуждали слушателя видеть свою духовную жизнь в двух планах. Первый, план духовного самоопределения, оставался достоянием его частной жизни. Второй, план публичного поведения, оценивался с точки зрения моральных принципов, в значительной мере трансконфессиональных. Сам проповедник обращался к православным грекам, живущим в условиях межкультурного пограничья, взаимодействующим с людьми разных религиозных убеждений и этнических традиций; его поучения, видимо, должны были помочь им выстроить линию поведения в этих условиях. В российских обстоятельствах восприятие поучений должно было измениться, однако их особенности замечательным образом транспонировались в новый культурный контекст. Люди новой, послепетровской культуры в некотором роде тоже существовали на границе различных культур, только это их состояние было вызвано не географическим местонахождением, а принципиально большей открытостью новой культуры инокультурным веяниям и влияниям. Поучения Минятия, по существу, касались их проблем, совершенно новых для русского духовного обихода. Тематика и проблематика этих поучений в какой-то степени подготавливали формирование нравственно-дидактических стратегий дворянской культуры, окончательно сложившихся только в эпоху

И. Г. Шварца и Н. И. Новикова и на основе совершенно другого типа духовного самоопределения. С этим могла быть связана востребованность писаревского перевода (и, кстати, последующее обращение к нему Новикова-издателя [Илья Минятей 1787]), тогда как его новизна и непривычность могли вызывать отторжение у духовных цензоров (об этом подробнее см. [Кагарлицкий 2008]).

Наконец, в-пятых, это был текст, написанный на русском, а не на церковнославянском языке. Характеризуя в целом переводческую практику Писарева, С. И. Николаев писал: «П[исарев] принципиально пользовался рус[ским], а не церковнослав[янским] языком» [Николаев 1999: 438]. Это утверждение нуждается в некотором лингвистическом комментарии, поскольку не совсем понятно, что имеется в виду. Русский и церковнославянский не существуют в эту эпоху как два четко разграниченных, нормализованных и кодифицированных идиома; когда в конце Петровской эпохи создаются первые тексты на «простом русском» языке, для этого используется стратегия исключения специфически книжных элементов («признаков книжности»): простых претеритов, придаточных предложений с *иже*, *яже*, *еже* и проч. В 1720–1730-е гг. в светской словесности возобладала идея нового, «простого» языка, лишённого признаков книжности; в проповеди — начиная с Феофана Прокоповича и, видимо, под его влиянием — закрепился гибридный церковнославянский [Живов 1996: 383]. Отказ от гибридного церковнославянского как языка проповеди и переход к использованию в качестве такового славенороссийского языка исследователь связывает с деятельностью Гедеона Криновского.

На этом фоне есть смысл кратко охарактеризовать языковой тип, стоящий за переводом, подготовленным Писаревым на рубеже 1730–1740-х гг.²¹ Как говорилось выше, мы располагаем рядом рукописей писаревского перевода. В принципе, необходима серьезная и кропотливая текстологическая работа, чтобы выяснить, все ли списки восходят к одному и тому же протографу, насколько велики разночтения между ними и т. д. Подобная работа до сих пор проведена не была. Я использовал для анализа рукопись из собрания Н. Я. Колобова (РНБ, собр. Колобова, № 38). Ее изучение показывает, что ее текст в языковом отношении заметно отличается от печатного, причем таким образом, что можно говорить о его более раннем происхождении (ниже это подтвердится). Поэтому можно принять, что этот текст примерно соответствует изначальному, подготовленному «к 1741 году». Для сравнения взят текст слова в неделю третью Великого поста «О будущем суде» (в рукописи лл. 24 об.–34 об., в печатном издании [Илья Минятей I: 49–72]).

Насколько можно судить, в тексте перевода (в собственном тексте Писарева, а не в цитатах из Св. Писания и святоотеческих книг) практически отсутствуют глагольные формы, характерные для книжных текстов и являющиеся одним

²¹ Датировка 1741 г. представляется мне условной, поскольку явно привязана ко времени дворцового переворота, в результате которого к власти пришла Елизавета и, по заявлению Писарева, стала возможной публикация благочестивых поучений греческого епископа. Вероятнее всего, перевод в общем и целом был готов раньше.

из наиболее выразительных признаков гибридного церковнославянского²². Специальные формы атематических глаголов не используются. Достаточно широко используются инфинитивы на *-ти*, наряду с инфинитивами на *-ть*, однако формы 2 л. ед. ч. заканчиваются на *-шь*, формы на *-ши*, за единичными исключениями, не встречаются.

Некоторые признаки книжности представлены достаточно редкими примерами. Среди них отметим встречающиеся иногда конструкции с *еже*: «первое о бѣдѣмъ сѣдѣ слово... еже ннѣ слушаю часто» (л. 25 об.); «великое зло еже делали» (л. 28); «вино едино без примѣсу воды еже значить един гнѣвъ без долготерпѣнія, едина правда без мліи» (л. 29 об.); «еже видя помрачилось солнце» (л. 31); «избѣри еже хощеши» (л. 34 об.)²³. Однако в основном используются придаточные предложения с союзным словом *который*.

Встречаются примеры придаточного цели на основе книжной конструкции «*да* + презенс»: «и нача от перваго да разумѣешь ты что то значить бѣ сѣдія, прииди до вершины горы Фаворския» (л. 27); «бѣдѣт просит горь и камене *ж* да падѣтъ на них и покрыют ихъ» (л. 29); «да сѣдиши на втором его пришествіи» (л. 31).

В тексте перевода изредка встречаются специфически книжные формы: «вышше» (л. 24 об.), «пространнѣйше» (л. 25), «многоценнѣйшаго» (л. 30), «многочннѣйша» (л. 31).

В тексте перевода довольно широко представлены специфически книжные союзы и наречия: *бо, ибо, дондеже, яко, якоже, якобы, токмо, тако, тамо, идѣже, егда* и т. д.

Приведенные сведения указывают на выраженную языковую ориентацию Писарева: в его практике фактически не употребляются книжные глагольные формы, основу относительного синтаксиса составляют придаточные с союзным словом *который*. Вместе с тем устранение элементов языка традиционной книжности происходит непоследовательно. Отчасти это, вероятно, связано с языковыми привычками Писарева, определяющимися традиционно книжным характером полученного им образования. Напомню, что сама идея «простого русского» языка, как она рассматривается В. М. Живовым, изначально реализуется как правка книжного текста в сторону избавления от традиционно книжных элементов и поначалу

²² В слове «О будущем суде» единственным исключением является пассаж в начале его второй части: «Елика согрѣшихом умом до наменьшаго помышления елика согрѣшихом устнами до празднаго слова елика согрѣшихом дѣломъ до меншаго прегрѣшения» (л. 32). Можно предположить, что здесь проявилось влияние клише *да проститъ (простиши) намъ (мне) вся, елика согрѣших(ом)ъ мыслію, словомъ и дѣломъ*, встречающегося с небольшими вариациями в Китае прошения, в молитвах и т. п. В печатном издании 1759–1760 гг. Писарев перевел пассаж на русский язык: «Въ чемъ мы ни согрѣшили умомъ, до наменьшаго помышленія: въ чемъ ни согрѣшили устнами и до празднаго слова: въ чемъ ни согрѣшили дѣломъ, и до меньшаго погрѣшенія» (66).

²³ Надо отметить, что из этих пяти примеров только первые два являются примерами относительных придаточных с местоимением *еже*. В остальных случаях *еже* выступает в значении ‘что’, отсылая не к какому-либо antecedенту, а к пропозиции в целом; в двух из них оно, видимо, входит в сравнительно устойчивые сочетания: *еже значить* ‘что значит’; *еже хощеши* ‘что хочешь’. *Иже* и *яже*, как и все три местоимения в косвенных падежах, в тексте мне не встретились.

не предполагает тотального их устранения: «...правка представляет собой не перевод с языка на язык, а движение от церковнославянского в сторону “простого” языка» [Живов 1996: 100]. Писарев не всегда последователен, однако значительная редкость, если не единичность наиболее очевидных признаков книжности уже в рукописном тексте обращает на себя внимание.

Показательно, что в дальнейшем, при подготовке печатного текста, изданного в 1759–1760 гг., Писарев продолжает избавляться от признаков книжности. Сравнивая рукопись с печатным изданием, легко видеть, что многие из сохранившихся в первоначальном тексте книжных элементов заменяются на некнижные. Так, замене подвергаются: придаточные с *еже* — «первое о бѣдѣшемъ сѣдѣ слово... еже ннѣ слушаю часто» (л. 25 об.) → «первое о будущемъ Судѣ слово... кое нынѣ слушаю часто» (51); «великое зло еже делали» (л. 28) → «великое зло ими содѣянное» (56); «вино единое безъ примѣсу воды еже значить един гнѣвъ безъ долготерпѣнія, единая правда безъ мѣти» (л. 29 об.) → «Цѣльное только вино, безъ примѣса воды. То есть единъ только гнѣвъ, безъ долготерпѣнія: единая правда безъ милости» (60); «еже видя помрачилось солнце» (л. 31) → «что видя помрачилось Солнце» (64); «избѣри еже хощеши» (л. 34 об.) → «избери себѣ что хочешь» (72); *да* + презенс — «и начав от перваго да разумѣешь ты что то значить бгѣ сѣдѣя, прииди до вершины горы Фаворския» (л. 27) → «И начавъ съ перваго, дабы ты выразишь, что то значить Богъ Судѣя; приди до вершины горы Фаворскія» (55); «бѣдѣт проситъ горь и камене ж да падѣтъ на нихъ и покрыютъ ихъ» (л. 29) → «будутъ просить горь, и камней, чтобъ онѣ на нихъ пали, и ихъ покрыли» (59); «да сѣдиши на второмъ его пришествіи» (л. 31) → «судитъся на второмъ Его Пришествіи» (64); книжные степени сравнения — «и якоже сказалъ вышше прѣрокъ» (л. 24 об.) → «Ещежъ упомянулъ о немъ и до того, Пророкъ» (49); «истолковать вамъ пространнѣйше» (л. 25) → «истолковать вамъ пространнѣе» (50); «я не имѣю тебѣ в жертву всесожжения многоценнѣйшаго принести какъ самаго моего сѣна» (л. 30) → «Я не имѣю на принесеніе тебѣ въ жертву такъ драгоцѣннаго всесожженія, какъ самаго моего сына» (61); «жизнь сѣна моего была многоцѣннѣйша всехъ жизней человѣческихъ вкупѣ и англскихъ» (л. 31) → «жизнь Сына моего была драгоцѣннѣе всѣхъ жизней человѣческихъ, какъ еще и Ангельскихъ» (64). В целом ряде случаев устраняются книжные союзы и наречия — путем замены на некнижный синоним или перестройки конструкции. *Яко, якоже* меняются на *как, яко бы на будто бы, тако на такъ, тамо на тамъ, идѣже* на *гдѣ*, устраняется *бо*: «Родъ бо прелестныя сея і привременныя жизни» (л. 24 об.) → «По сему, родъ прелестно-временныя здѣшнія жизни» (49); конструкции с *дондеже*: «дондеже обмочится в крови лице земли» (л. 26) → «такъ что по обмоченіи кровію лица земли» (52). Впрочем, устранение отдельных лексических единиц выполняется крайне непоследовательно, по-видимому, для переводчика они остаются в весьма широкой зоне вариативности (то же касается, например, употребления *-tul/-ть* на конце инфинитива). Языковая стратегия автора проявляется в первую очередь в (не)употреблении достаточно узкого круга грамматических форм и синтаксических конструкций.

Полагаю, что при подготовке печатного издания переводчик правил текст, ориентируясь на современную ему светскую литературную практику. С этим связаны не только дальнейшее избавление от специфически книжных элементов, но и добавление, порой нарочитое, элементов новой книжной культуры. Так, о массивном добавлении местоимения *кой* в качестве союзного слова в относительных придаточных см. [Кагарлицкий, Литвина 2002; Кагарлицкий 2004: 150–152]. Приводимые здесь примеры правки также свидетельствуют о том, что Писарев ориентировался на язык новой культуры, новой, светской словесности. Последний формировался, подвергался нормированию, а затем и кодификации как раз в те десятилетия, когда Писарев работал над своими переводами. Чрезвычайно важную роль в формировании этого языка сыграли как раз 1740–1750-е гг. Печатное издание 1759–1760 гг. вышло уже после того, как стараниями академических филологов и большого количества литераторов-практиков и переводчиков границы нового литературного языка стали четче, яснее определились функции грамматических, синтаксических, лексических славянизмов, произошла их дифференциация: одни стали частью «славенороссийского» языка, другие были вытеснены из общелитературного употребления. Писарев, как можно догадываться, следил за этими процессами и постарался привести свой перевод в соответствие с новым пониманием языка. Поэтому он, с одной стороны, продолжает устранять элементы старого книжного языка, а с другой — вводит новые, кажущиеся ему модными.

Однако сама ориентация на язык новой, светской культуры была избрана Писаревым в самом начале его переводческой деятельности, еще в 1730-х гг. Перевод поучения Ильи Минятия не был первым переводом Писарева: известно, как минимум, еще об одном, по-видимому, еще более раннем переводе, флорилегии «Цвет добродетелей». Флорилегий был переведен Писаревым в 1733 г. (РНБ, Q.1.925). Его текст восходит к итальянскому флорилегии «Fiori di virtù» (начало XIV в.), был переведен на многие языки, в том числе на греческий. Писарев переводил его с греческого языка по венецианскому изданию 1675 г.²⁴ Я не анализировал ру-

²⁴ ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ Βιβλίον πολλὰ ὥραϊον, καὶ ὠφελιμώτατον εἰς τὰ παῖδια, καὶ νέους, καὶ εἰς κάθε ἄλλον Χριστιανὸν, ὅπου μὲ ἀρεταῖς ἐπιθυμᾷ νὰ στολίσῃ τὸν ἑαυτὸν του. Μετὰ πίνακος ὄλων τῶν Κεφαλαίων, ὅπου εἰς αὐτὸ περιέχονται. Ἐκκαθαρθὲν ἐκ πολλῶν ὧν πρότερον εἶχε σφαλμάτων παρὰ τοῦ Σοφωτάτου καὶ Πανοσιωτάτου Ἀμβροσίου τοῦ Γραδενίγου Ἀββᾶ, καὶ Βιβλιοφύλακος τοῦ ἁγίου Μάρκου. καὶ νεωστὶ τυπῶθῃ μετὰ πάσης ἐπιμελείας. ΕΝΕΤΗΣΙ. Παρὰ Νικολάω τῷ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. CON LICENZA DE' SVPERIORI, E PRIVIL (№ 159 по [Legrand V: 105–106]). Мне уже приходилось отмечать это досадное недоразумение, но, на всякий случай, еще раз укажу на него. Книга вышла под редакцией Амвросия Граденига (Alvise-Ambrogio Gradenigo, Αλοῖσιος-Ἀμβρόσιος Γραδενίγος, 1616–1680), хотя сам перевод анонимный, восходит не позднее чем к XVI в. [Сперанский 1904: 531]. К сожалению, в Словаре русских писателей XVIII в. в статье С. И. Николаева о С. И. Писареве, в целом обстоятельную и чрезвычайно полезную, закралось недоразумение: трактат «Цвет добродетели» (sic! Правильно: «...добродетелей») приписан Амвросию Грабеничу [Николаев 1999: 437]. Оказались спутанными и заглавие трактата, и имя Граденига, и его отношение к данному труду. Пользуюсь случаем внести поправку. Сведения об Амвросии Градениге имеются в монографии, посвященной истории венецианской Национальной библиотеки св. Марка [Zorzi 1987: 223–224].

копись перевода, однако, судя по довольно пространным цитатам, приведенным М. Н. Сперанским [1904: 545–551], языковой тип перевода примерно соответствует тому, который представлен в переводе поучений Ильи Минятия: отсутствие простых претеритов²⁵; относительные придаточные с союзным словом *который* со спорадическим употреблением придаточных с *еже*: «от осезания рукъ, еже есть первое познание любви» [Там же: 547]; употребление союзов *яко(же)*, *аще* и т. п.

Итак, первые переводы Писарева и, в частности, перевод «Поучений...» Ильи Минятия характеризуются языковым типом, близким к «простому русскому» языку 1720–1730-х гг. Причиной такого выбора могло стать само по себе знакомство Писарева с текстами нового типа и желание переводить религиозные и нраво-учительные книги на язык новой культуры. Подобные идеи он мог почерпнуть у своих более искушенных собеседников, например у С. Л. Владиславича (Рагузинского) или у С. К. Нарышкина (о знакомстве с первым см. [Кагарлицкий 2013: 224–228]; о знакомстве с Нарышкиным см. [Кагарлицкий 2008: 476–477]). Рискну со всей возможной осторожностью высказать предположение еще об одном мотиве, который мог побудить Писарева сделать именно такой языковой выбор. Как уже говорилось, Писарев учился в греческой школе «у учителей Лѣхудиѣвыхъ», т. е. у учеников Иоанникия и Софрония Лихудов. Имеются также сведения о его участии в жизни греческой общины: в 1725 г. он, по-видимому, переводит духовную грамоту некоего «греченина города Гиздарска Мануила Юрьева сына Богданова» [Козлова 2002: 115]. Вероятно, Писарев уже в юности получил представление о греческой языковой ситуации, где книжный греческий язык сосуществовал с димотикой, ориентированной на новогреческие диалекты, — представление, характерное для Софрония Лихуда и его учеников [Живов 1996: 94]. По мысли В. М. Живова, именно этот языковой опыт побудил Софрония выработать свою стратегию отказа от книжных элементов. Писарев же, учась у учеников Софрония, мог выбрать близкий тип языка при переводе греческих языковых сочинений. При переводе поучений Минятия дополнительную роль могло сыграть то, что Минятий составлял свои проповеди на языке, приближенном к разговорному (см. выше), а Писарев, сам или будучи наставляем осведомленными людьми, понял суть языковой установки греческого оратора и постарался отразить разговорный характер языка в своем переводе. Так или иначе, российский читатель получил книгу Ильи Минятия на языке, дистанцированном, хотя и не всегда последовательно, от книжной традиции.

Я перечислил основные характеристики, которые должны были делать выполненный С. И. Писаревым перевод поучений Ильи Минятия новаторским в глазах современников. Насколько можно судить, он действительно вызвал живой интерес и у

²⁵ Ср., впрочем: «*Аристотель* сказалъ: нагъ родихся въ семь свете и в напастехъ и наконецъ познахъ, яко ничтоже есмь (л. 7 об.)» [Сперанский 1904: 550]. На фоне остального текста переданное по-церковнославянски высказывание философа выделяется и заставляет думать, что перед нами прямая цитата или передача доступными средствами маркированно книжного греческого текста.

духовных, и у мирских лиц. Хотя публикация поучений сильно затянулась, была отсрочена почти на два десятилетия, Писарева читали и, как видно на примере Гедеона Криновского, ему подражали. Подготовленное и выпущенное в конце 1750-х гг. собрание «разных поучительных слов» придворного проповедника Елизаветы Петровны было первым изданием собрания проповедей, и его сходство с ходившим по рукам собранием поучений Миняitia, можно полагать, бросалось в глаза тем, кто имел возможность ознакомиться и с тем, и с другим. Гедеон подражал Миняitiю не во всем. Так, его поучения не образуют великопостного цикла, а соотносятся с реальным временем и реальным порядком выступлений проповедника с этими проповедями. Характерно, что Гедеон считает нужным оправдываться перед читателями, полагая, что они ожидают увидеть порядок проповедей, соответствующий церковному календарю: «Безъ сумнѣнїя, читатель, ты читая мои сїи томы пожелаешь знать, для чего содержащїя въ нихъ слова не такимъ порядкомъ печатаны, какъ надлежало въ рассужденїи годищнаго теченїя время. Причина тому, что я не въ окончанїи, но въ продолженїи проповѣднической моей должности ихъ печатаю» [Гедеон Криновский III, К читателю]. Идея цикла проповедей, расположенных в соответствии с календарем, представляется Гедеону естественной, тогда как собрание, пополняющееся по мере устного произнесения очередной проповеди, требует объяснения и должно быть оправдано обстоятельствами. Замечу, что никаких изданий проповедей, расположенных «въ рассужденїи годищнаго теченїя время», кроме рукописного собрания поучений Миняitia на тот момент, насколько известно, не было.

Несколько отличаясь от этого собрания по внутренней композиции, собрание поучительных слов Гедеона Криновского сильно напоминало его по тематике и проблематике, по основным чертам проповеднического стиля. Это обстоятельство многократно отмечалось, в том числе в начале настоящей работы. Любопытно другое: Гедеон не раз справедливо характеризовался как новатор в части языка проповеди: его поучительные слова составлялись не на гибридном церковнославянском, а на русском языке. В. М. Живов пишет о нем: «Новаторский в плане языка характер проповедей Гедеона был впервые отмечен Филаретом Гумилевским... который писал: “Относительно языка он уже не следует примеру прежних проповедников, — употребляет язык народный, дополняя его богослужебным; окончания слов, изменения их и синтаксис у него — русские”. Этот переход от гибридного языка к русскому достигается — как и в истории языка светской литературы... исключением из текстов тех самых признаков книжности, которые ранее вводились в него для обозначения его книжного характера» [Живов 1996: 393]. Представляется, однако, что, если мы допускаем тематическое и стилистическое влияние Ильи Миняitia в переводе С. И. Писарева на Гедеона Криновского, резонно предположить и влияние избранной Писаревым языковой стратегии.

Более того, можно полагать, что переведенные Писаревым поучения Миняitia задали новый проповеднический тип — адресованная послепетровскому индивиду моралистическая проповедь, находящаяся за пределами церемониальной публичности, проникающая в область частных мыслей и чувств, интроспекции и рефлексии. Языковой выбор, сделанный Писаревым, встраивал ее в новую культуру,

в известной мере соответствовал требованиям новой словесности. Вот почему писаревский перевод оказался образцом для Гедеона Криновского и, таким образом, стоял у истоков той традиции, к которой принадлежали и Платон Левшин и Гавриил Петров. Характерно, что проповеди Ильи Минятия в переводе Писарева хорошо представлены в неоднократно переиздававшемся трехтомном собрании проповедей, составленном Платоном и Гавриилом и долженствующем стать настольным пособием для проповедников [Собрание поучений]. М. И. Сухомлинов, изучив рукопись Гавриила Петрова, установил принадлежность Илье Минятию 12 проповедей; это число составляет чуть менее восьмой части всех поучений (104) и уступает только числу представленных в собрании проповедей Платона Левшина (37) и Гедеона Криновского (19) [Сухомлинов I: 394]. Разумеется, проповеди Минятия даны в собрании всё в том же переводе Писарева.

Дальнейшая судьба русского Минятия достаточно успешна. В 1874 г. М. И. Сухомлинов отмечает: «Перевод Писарева выдержал довольно много изданий не только в восемнадцатом, но и в девятнадцатом веке: в 1842 году вышло *седьмое* издание поучительных слов Миниата» [Сухомлинов I: 115]. Со своей стороны, могу заметить, что, хотя я не изучал издательской истории собрания во второй половине XIX — начале XX в., мне известно, по крайней мере, одно его издание на рубеже XX–XXI вв. [Илья Минятий 2000]. Таким образом, нельзя сказать, что проповедническое наследие Минятия и переводческое — Писарева преданы забвению. Между тем я полагаю, что писаревский перевод сыграл также и важную роль в становлении языка русской духовной литературы. Это звено как будто выпало из рассмотрения исследователей, и мне бы казалось, что восстановить его — достойное приношение памяти такого тонкого историка русского языка и русской культуры, каким был Виктор Маркович Живов.

Литература и источники

Болховитинов I–II — *Митр. Евгений Болховитинов*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви. Т. I–II. СПб., 1827.

Буш 1915 — *В. В. Буш*. «Житие Петра Великого» Стефана Писарева. Пг., 1915.

Гедeon Криновский I–IV — [*Гедeon Криновский*]. Собрание разных поучительных слов при высочайшем дворе Ея Императорского Величества сказыванных придворным Ея Величества проповедником иеромонахом Гедеоном. Т. I–IV. СПб., 1755–1759.

Живов 1996 — *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Живов 2009 — *В. М. Живов*. Время и его собственник в России раннего Нового времени (XVII–XVIII века) // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М., 2009. С. 27–101.

Илья Минятий I–II — [*Илья Минятий*]. Поучения во Святую и Великую Четыредесятницу, то есть Велико-Постныя Недели сочиненныя, и проповеданныя Керникским и Калавритским что в Пелопонисе епископом Илиею Минятием, кефалонитянином. С греческаго, на российский язык Коллегии иностранных

дел переводчиком (что ныне тояж Коллегии секретарь) Стефаном Писаревым в 1741 году переведенныя. Т. I–II. Санктпетербург, 1759–1760.

Илья Минятий 1787 — [Илья Минятий.] Собрание поучительных слов, во святую и великую четыредьдесятницу, также в разныя недели и праздничные дни. С присовокуплением панегириков, или похвальных слов в разныя праздники пресвятыя богородицы, проповеданных Илиею Минятием, епископом Керникским и Калавритским, что в Пелопонисе. Перевод с греческаго языка [С. И. Писарева]. Ч. 1–3. М., 1787.

Илья Минятий 2000 — *Илья Минятий*. Проповеди. М., 2000.

Кагарлицкий 1997 — Ю. В. Кагарлицкий. Текст Св. Писания в проповедях Феофана Прокоповича // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. Т. 56. № 5. 1997. С. 39–48.

Кагарлицкий 2004 — Ю. В. Кагарлицкий. Придаточные определительные с союзным словом *кой* в русском литературном языке первой половины XVIII века // Русский язык в научном освещении. № 1 (7). 2004. С. 136–156.

Кагарлицкий 2008 — Ю. В. Кагарлицкий. К вопросу об издании переводных религиозных книг в России XVIII века: переводы Стефана Писарева и их издательская судьба // Век Просвещения. Вып. II. Цензура и статус печатного слова во Франции и России эпохи Просвещения. Кн. 1. М., 2008. С. 470–497.

Кагарлицкий 2013 — Ю. В. Кагарлицкий. К истории культурных связей между Россией и Венецией в первой половине XVIII века (Переводческая деятельность Стефана Писарева) // Итальянские архивы в России — российские архивы в Италии. М., 2013. С. 213–237.

Кагарлицкий, Литвина 2002 — Ю. В. Кагарлицкий, А. Ф. Литвина. Союзные слова в придаточных определительных в переводе С. И. Писарева (Из языковой полемики второй половины XVIII в.) // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 85–107.

Кирилл Флоринский 1742 — [Кирилл Флоринский.] Слово в неделю Ваий в высочайшее Присудствие Ея Священнейшаго Императорскаго Величества Благочестивейшия Самодержавнейшия Христоролюбивыя Кротчайшия Великия Государыни Нашея Елисаветы Петровны Императрицы Всея России проповеданное Иконоспаским архимандритом и ректором Кириллом Флоринским в придворной церкви в Москве 1742 года априлля 11 дня. М., 1742.

Кислова, Матвеев 2011 — Хронологический каталог слов и речей XVIII века / Сост. Е. И. Кислова, Е. М. Матвеев; Под ред. П. Е. Бухаркина. СПб., 2011.

Китромилидис 2007 — *Пасхалис М. Китромилидис*. Эпоха Просвещения в Греции. СПб., 2007.

Козлова 2002 — Городская семья XVIII века: Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы / Составление, вводная статья и комментарии Н. В. Козловой. М., 2002.

Николаев 1999 — С. И. Николаев. Писарев Стефан (Степан) Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2 (К–П). СПб., 1999. С. 437–438.

ПСПр I–X — Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. Т. I–X. СПб., Пг., 1869–1916.

Рамазанова 2013 — *Д.Н. Рамазанова*. Списки проповедей иерусалимского патриарха Хрисанфа Нотары в переводах Стефана Писарева (1741–1760-е гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXV Междунар. науч. конф. Москва, 31 января — 2 февраля 2013 г. Ч. II. М., 2013. С. 490–495.

Собрание поучений I–III — Собрание разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни, на три части разделенное. Ч. I–III. М., 1775.

Сперанский 1904 — *М.Н. Сперанский*. Переводные сборники изречений в славянорусской письменности: Исслед. и тексты. М., 1904.

Сухомлинов I–VIII — *М.И. Сухомлинов*. История Российской Академии. Вып. 1–8. СПб., 1874–1888.

Феофан Прокопович I–IV — *Феофан Прокопович*. Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. Ч. I–IV. СПб., 1760–1774.

Kislova 2014 — *E. I. Kislova*. Sermons and Sermonizing in 18th-Century Russia: At Court and Beyond // *Slověne*. № 2. 2014. P. 175–193.

Kjellberg 1957 — *L. Kjellberg*. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIIIe siècle. Uppsala, 1957.

Krumbacher 1902 — *K. Krumbacher*. Das Problem der neugriechischen Schriftsprache. München, 1902.

Legrand I–V — Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle par Émile Legrand. Vol. 1–5. Paris, 1894–1903.

Legrand/Pernot I–II — Bibliographie ionienne. Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-îles ou concernant ces îles, du XVe siècle à l'année 1900. Par Émile Legrand; œuvre posthume publiée par Hubert Pernot. Vol. 1–2. Paris, 1910.

Salaville 1929 — *S. Salaville*. Miniatis // Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire. V. 10. Pt. 2. P., 1929. P. 1769–1773.

Zorzi 1987 — *M. Zorzi*. La Libreria di San Marco: Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi. Milano, 1987.

Yury V. Kagarlitskiy

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

STEPHAN PISAREV'S FATE AND THE IMPORTANCE OF THE TRANSLATOR'S HERITAGE FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SPIRITUAL LITERATURE

The paper is dedicated to the sermons of the Greek bishop Elias Meniates (1667–1714) translated into Russian by Stefan Ivanovich Pisarev (1708?–1775), who was a Foreign Affairs official. The paper focuses upon a role of Pisarev's translation in the history

of the Russian spiritual literature and clarifies how it has influenced the contemporaneous and later practice of preaching. The translation is considered in the wider context of the mid 18th c. It is characterized in detail as an innovative work in comparison with contemporaneous spiritual literature; the author lists the reasons why the work might seem innovative in the eyes of contemporaries. Special attention is paid to the language of the translation, and the russification strategies are considered in the light of Victor Zhivov's theory: it is shown that the text contains no or a small number of the so-called "markers of literary language": simple preterits, *иже*, *яже* and *еже* clauses, specific constructions, etc. A fragment of the manuscript dated as 1741 is analyzed in comparison with the printed text of 1759, so that tendencies of the text evolution are revealed. The cultural role of the Russian preaching in the early 18th c. as well as in the mid 18th c. is examined in details. The author shows how new conception of leisure-time established in the Russian society put forward new demands to the spiritual literature.

Keywords: history of the Russian literature of the 18th century, history of the Russian language of the 18th century, Russian preaching.

А. Г. Кравецкий
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)

КОМИССИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ И СИНОДАЛЬНЫЕ ТИПОГРАФИИ*

Статья посвящена истории исправления богослужебных книг в России в конце XIX — начале XX века. Прежде считалось, что в этот период исправление богослужебных книг осуществлялось силами комиссий, которые специально создавались для этих целей. Это предположение базировалось на анализе мемуарных источников. Однако при этом не удавалось достоверно установить, какими были результаты деятельности комиссий, которые, начиная с 1869 года, работали над богослужебными текстами. При обращении к архивным материалам синодальных типографий выяснилось, что во второй половине XIX века в этих типографиях была предпринята целая серия изданий богослужебных текстов в исправленных редакциях. Для большинства из этих изданий удалось выявить архивные материалы, характеризующие программу и концепцию исправлений. Поскольку сообщество сотрудников синодальных типографий представляло собой относительно закрытую корпорацию, информация об этих изданиях не стала достоянием гласности. В мемуарах эта сторона деятельности типографий не отражена, поэтому концепции, построенные на основе мемуарных источников, их не учитывали. Таким образом, историю исправления богослужебных книг в XIX веке следует рассматривать исключительно как результат деятельности типографских справщиков и проектов синодальных типографий. Деятельность комиссий XIX века занимает в этом процессе периферийное место.

Ключевые слова: церковнославянский язык, богослужебные книги, литургика, история русского литературного языка, история русской церкви.

I

Осознание того, что богослужебные тексты, созданные или отредактированные в XIX–XX вв., могут быть предметом филологических исследований, стало приходиться лишь в 70-е гг. XX в. после публикации статьи Б. И. Сове «Проблема

* Работа выполнена при поддержке РФГФ. Проект 15-04-12050.

исправления богослужебных книг в России в XIX–XX веках» [Сове 1970]. Обстоятельства, при которых эта статья увидела свет, достаточно нетривиальны. На рубеже 1960-х и 1970-х гг. епископ Михаил (Чуб) вывез из Финляндии и принес в редакцию «Богословских трудов» пачку рукописей Бориса Ивановича Сове, имеющих общее название «История гимнографии в Русской Церкви». Страницы пронумерованы не были, но на пачке был указан вес — 2,8 кг. Среди этих листов находились материалы к лекциям по литургике, которые Сове читал в Богословском институте в Париже в 1935–1939 гг., и собственно сама «История гимнографии», включающая библиографию работ о богослужебных последованиях, их авторах, переводчиках и редакторах с XII по XX в., черновик статьи «История литургической науки в России» [Сове 1996] и две работы, переписанные набело, — «Русский Гоар и его школа» [Сове 1968] и «Проблема исправления богослужебных книг в Русской Церкви». Авторская работа над последней статьей завершена в 1946 г., а в 1956 г. она была переписана набело. В «Богословских трудах» эта статья была напечатана с небольшими купюрами цензурного характера, которые, однако, не нарушили ее общей композиции.

Как мы уже сказали, для исследований, посвященных истории церковнославянской письменности в Новое время, работа Б. И. Сове служит отправной точкой. И не только потому, что он первым осознал, что история книжной sprawy Нового времени является научной проблемой. В статье приводился первый очерк истории церковнославянской книжности рубежа XIX–XX вв. А первые исторические очерки, как известно, приобретают характер прецедентного текста и навязывают свою концепцию последующим исследователям. И когда в конце 1980-х гг. В. М. Живов в рамках проекта «Материалы к богословско-церковному словарю» подготовил статью «Книжная справа в России» [Живов 1989], в которой была предложена общая периодизация истории книжной sprawy с XV по XX в., события XIX в. излагались здесь по материалам Б. И. Сове. Между тем статья Б. И. Сове создавалась в условиях, идеально неподходящих для работы такого рода. Практически всю свою жизнь Б. И. Сове провел в эмиграции, не имея возможности работать в советских архивах, где находились практически все необходимые материалы. Поэтому работа была сделана исключительно на основе печатных источников: случайных упоминаний разрозненных фактов в периодике, мемуарных свидетельств, некрологов и т. д. Именно на этом материале был составлен предварительный очерк истории церковнославянской книжности XIX — начала XX в., который до недавнего времени служил отправной точкой для любого исследования по этой теме. Материалы Б. И. Сове разошлись в цитатах по бесчисленным публикациям и превратились в некритически воспринимаемые общие места¹. Таким образом, как это часто случается с пионерскими работами, статья Б. И. Сове создала определенную инерцию, преодолеть которую оказывается непросто.

¹ При этом, естественно, стали тиражироваться и ошибки Б. И. Сове, а также ошибки людей, которые готовили его рукопись к печати. Так, например, появился на свет справщик Санкт-Петербургской синодальной типографии Н. Ф. Гуриловский. На самом деле, речь шла о Н. Ф. Чуриловском, сыгравшем огромную роль в деле книжной sprawy начала XX в. Гуриловский же появился благодаря тому, что у Б. И. Сове «Ч» очень похожа на «Г».

II

Именно Б. И. Сове начал описывать историю книжной sprawy второй половины XIX — начала XX в. как историю деятельности двух (или трех — смотря как считать) комиссий по исправлению богослужебных книг. Охарактеризуем деятельность этих комиссий, как ее описывает Б. И. Сове. Инициатором создания первой комиссии был митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов)², обративший внимание на то, что богослужебные книги, напечатанные в разных типографиях, отличаются друг от друга. Комиссией были выработаны предложения по унификации богослужебных книг, а для рассмотрения этих материалов была создана еще одна комиссия. И хотя никаких практических результатов деятельность этих комиссий не имела, сомнений в том, что в истории книжной sprawy этот эпизод имел место, у нас нет, поскольку Б. И. Сове приводит сведения о персональном составе обеих комиссий и ссылки на мемуарные источники. И наконец, третья (или вторая, если две упомянутые выше комиссии считать за одну) комиссия по исправлению богослужебных книг, возглавляемая архиепископом Финляндским Сергием (Старгородским), подготовила и издала новую редакцию триодей.

Очевидная результативность деятельности Сергиевской комиссии по исправлению богослужебных книг давала основания считать подобные комиссии теми вехами, относительно которых можно строить периодизацию истории богослужебных книг. И, приступая в начале 1990-х гг. к работе над историей церковнославянской книжности на основе архива Синода и синодальных типографий, мы старались следовать этой схеме. Первые результаты вроде бы подтверждали ее правильность. Довольно быстро удалось обнаружить массивы документов, позволяющих почти исчерпывающе описать деятельность Сергиевской комиссии. А вот дальше начались трудности. Удалось обнаружить не так уж мало упоминаний о деятельности более ранних комиссий, но было совершенно непонятно, в чем же заключался результат их работы. Описать последовательность развития событий тогда не получилось, поэтому нам пришлось несколько сузить хронологические рамки исследования и ограничиться лишь кратким упоминанием о комиссиях, работавших в последней четверти XIX в. [Кравецкий, Плетнева 2001: 74–77].

Однако поиски материалов, на основе которых можно было бы охарактеризовать деятельность этих комиссий, продолжались. Поскольку в последней четверти XIX в. в России появилось огромное количество различных общественных организаций и объединений, возможность создания при архиереях полуобщественных комиссий, занимающихся богослужебными книгами, не казалась чем-то невероятным. Постепенно стали обнаруживаться свидетельства, указывающие на то, что идеи книжной sprawy буквально носились в воздухе.

² На основе тех источников, которыми пользовался Б. И. Сове, было невозможно установить даже время начала деятельности этой комиссии, поэтому в его статье были указаны две предположительные даты — 1869 и 1876 гг. Сейчас мы уверенно можем сказать, что правильной является первая из них.

Так, например, в написанной в 1886–1887 гг. книге Н. П. Гилярова-Платонова «Нечто о Русской Церкви в обер-прокурорство К. П. Победоносцева» обнаруживаем пассаж, содержащий программу редактирования богослужебных книг. «Самый пересмотр богослужебных книг мог бы быть произведен следующим образом. Прежде всего необходимо пересмотреть чин Божественной литургии. Для этого нужно взять литургии: а) на древнегреческом языке с рукописей XIV — первой половины XV века, т. е. до взятия турками Константинополя. Затем: б) текст литургии, ныне употребляемой Великой Константинопольской церковью, с новых ее изданий; в) текст литургии со старославянских богослужебных книг русских, употреблявшихся до патриарха Никона, и ныне употребляемый в единоверческих и старообрядческих церквях; г) текст литургии с древних рукописей и книг, печатаемых с благословения Печских патриархов или Охридских архиепископов. В сербских Фрушгорских монастырях, а равно и на Афоне, таких рукописей и книг немало; и, наконец, д) текст литургии, ныне употребляемый в православной Русской господствующей церкви. На сличении всех этих книг нетрудно будет видеть подлинную правильность и по указаниям ее исправить нынешний текст литургии. Так следует поступить и с прочими богослужебными книгами. Такое сличение церковно-богослужебных книг к великому удовольствию всех православных верующих как принадлежащих к господствующей Церкви, так равно и Единоверческой и Старообрядческой церкви, Правительствующий Синод мог бы предпринять в настоящее время» [Гиляров-Платонов 2011: 278]. Эта декларация интересна тем, что принадлежит известному церковному публицисту, который к тому же в течение нескольких лет (в 1863–1867 гг.) был управляющим Московской синодальной типографией. Декларация, следовательно, отражает определенные общественные настроения.

Одним из результатов подобных настроений как раз и стала деятельность той комиссии, на существование которой обратил внимание Б. И. Сове. На основании архивных документов история этой комиссии реконструируется следующим образом³. Поводом для начала работ послужило заявление митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) об ошибках в некоторых изданиях Московской синодальной типографии. Корректоры типографии указали на ряд орфографических различий между московскими, петербургскими и киевскими изданиями богослужебных книг. В описях архива Синода упомянуто дело от 2 декабря 1868 г. «О замеченных Московским митрополитом Иннокентием погрешностях в Часослове, издаваемом Московскою синодальною типографиею»⁴. Для устранения разночтений указом Синода от 30 апреля 1869 г. был образован особый комитет, задачей которого был пересмотр славянского текста Евангелия, Апостола, Следованной Псалтири, Требника и Часослова. Председателем Комитета стал настоятель Московского Покровского Собора Василия Блаженного Николай Иванович Надеждин. Кроме него сюда вошли протоиерей Михаил Семенович Боголюбский, ру-

³ См. [Кравецкий, Плетнева 2001: 74–76; Кравецкий 2002].

⁴ Само архивное дело не сохранилось.

ководитель Комитета по историческому и статистическому описанию Московской епархии, публицист; протоиерей Александр Соколов (по всей видимости, настоятель Храма Христа Спасителя); протоиерей храма Софии Премудрости Божией на Софийке Павел Волхонский; священник Николай Световидов-Платонов (1831–1897), впоследствии протопресвитер Московского Успенского Собора; священник Илья Косицин и священник Иоанн Вениаминов⁵.

Синоду было предоставлено 8 работ, посвященных характеристике различных богослужебных книг. Эти рукописи до нас не дошли, однако М. Боголюбский спустя несколько лет опубликовал свое сочинение [Боголюбский 1872–1878], и у нас есть возможность с ним ознакомиться. Этот интересный документ представляет собой общие рассуждения о славянском тексте Псалтири и способах его исправления. М. Боголюбский указывает на чрезмерный буквализм перевода, отмечает проблему «ложных друзей переводчика», размышляет о сравнительном достоинстве еврейского и греческого текста Псалтири. Но основное место в этой публикации занимают заметки, посвященные отдельным псалмам. Этот материал мог бы быть весьма полезен человеку, занимающемуся исправлением славянского текста Псалтири, но это именно замечания, а не инструкция для справщика.

О записках, подготовленных остальными членами этой комиссии, мы можем судить лишь по достаточно подробному их пересказу, содержащемуся в синодальных определениях. При сравнении евангельского текста по служебному и четьему изданиям были отмечены различия в употреблении знаков препинания и прописных букв, а также лексические и грамматические разночтения. Кроме того, были выделены те фрагменты текста, понимание которых может вызывать затруднения. Объем и характер предлагаемых исправлений были очень разными. В одних случаях предлагаемая правка ограничивалась знаками препинания и незначительными грамматическими исправлениями, а в других — предлагались достаточно радикальные изменения. Таким образом, результаты первого этапа деятельности Комиссии по исправлению богослужебных книг свелись к составлению пространных записок. Путь от этих записок к исправленным версиям богослужебных книг в любом случае обещал быть очень долгим. И, насколько можно судить, никакого влияния на богослужебные тексты эта деятельность не имела. Подготовленными материалами должна была заниматься уже следующая комиссия, которую возглавлял сначала архиепископ Сергей (Ляпидевский), а затем епископ Савва (Тихомиров). В архивных делах Синода и синодальных типографий нам не удалось обнаружить никаких упоминаний о работе этой комиссии, поэтому с достаточно большой степенью уверенности можно предположить, что результаты ее работ если и были, то до типографского станка не дошли.

Известен лишь один случай, когда комиссия повлияла на практику синодальных типографий. Правда, это влияние было, так сказать, отрицательным, то есть в качестве общероссийской была утверждена норма, противоположная той, которую

⁵ Б.И. Сове включает сюда еще протоиерея Сергея Модестова, но в архивных документах он не упоминается.

защищала комиссия. Речь идет о появлении указа Синода, регламентирующего употребление в церковнославянских текстах прописных и строчных букв. В середине XIX в. в изданиях Петербургской и Киевской синодальных типографий собственные имена и *nomina sacra* писались с прописной буквы, а в книгах, изданных в Московской синодальной типографии, прописные буквы использовались только в начале предложений. При этом имена собственные писались со строчной буквы, а в качестве знака, выделяющего *nomina sacra*, использовался знак титла. Различие типографских традиций бросалось в глаза, и в 1879 г. митрополит Иннокентий (Вениаминов) передал в комиссию анонимное письмо, в котором говорилось о необходимости использовать в церковнославянских текстах прописные буквы для выделения имен собственных. Комиссия поддержала это предложение. И дальше началась переписка, длившаяся более 15 лет, в результате которой восторжествовало мнение, обратное мнению комиссии, — московская практика была признана единственно допустимой⁶. Таким образом, в том единственном случае, когда комиссия повлияла на издательскую практику, результат этого влияния оказался прямо противоположным тому, чего комиссия добивалась. Мы можем предположить, что действовавшие в последней четверти XIX в. комиссии были полуофициальными, полубюрократическими структурами, которые не оказывали никакого влияния на церковное книгоиздание.

III

Если же мы обратимся к архивным материалам синодальных типографий, то обнаружим совсем иную картину. В Московской синодальной типографии в 1882–1885 гг. были подготовлены новые редакции Часослова и Октоиха, текст которых был подвергнут Н. И. Ильминским архаизаторской правке [Кравецкий, Плетнева 2003]. Там же по инициативе старшего справщика М. В. Никольского планировалась подготовка новой редакции Типикона. Никольский предполагал включить сюда те службы русским святым, которые были исключены из русской церковной практики в результате книжной sprawy XVII в. Собственно говоря, здесь впервые была сформулирована программа возвращения в богослужебную практику служб русским святым. Позже Поместный Собор 1917–1918 гг. использовал проект М. В. Никольского при подготовке проекта определения «О внесении в месяцеслов всех русских памятей». Основные идеи этого определения были реализованы при издании служебных миней в 1977–1988 гг. [Кравецкий, Плетнева 2001: 43–45, 263–273; 2013: 33–43]. Среди материалов дела о включении в Типикон новых памятей сохранился экспертный отзыв протоиерея Константина (sic!) Никольского, посвященный исправлению служебных миней в 1689–1691 гг. Этот отзыв практически совпадает с книгой «Материалы для истории исправления богослужебных книг, об исправлении устава церковного в 1682 году и месячных миней в 1689–1691 годах» [Никольский 1896]. Таким

⁶ Публикацию этих материалов см. [Кравецкий 2015].

образом, выясняется, что эта классическая работа по истории книжной sprawy XVII в. первоначально писалась как экспертное заключение, связанное с решением конкретной задачи.

Деятельность Петербургской синодальной типографии была еще более активной. Здесь типографскими работами руководил П. А. Гильтебрандт, сторонник экспериментов и некоторой языковой модернизации. В Петербурге были подготовлены Учебный паримейник (на славянском и греческом), Новый Завет на четырех языках, славянская Библия, подвергшаяся достаточно значительной языковой правке (в документах ее регулярно называют Санкт-Петербургской Библией)⁷ [Кравецкий 2013]. Между Московской и Петербургской типографиями велась напряженная полемика. При этом если Московская типография позиционировала себя в качестве хранителя традиций церковного книгопечатания, прямой наследницы Московского печатного двора, то Петербургская типография относилась к традиции более либерально, стремясь не столько следовать ей, сколько создавать на ее основе новые принципы орфографической и текстологической унификации книг.

Наконец, в последней четверти XIX — начале XX в. активизировались опыты исправления богослужебных книг и создания новых редакций. В 1880 г. Синод утвердил ряд исправлений в тексте Великого канона. Эта работа была произведена Санкт-Петербургской синодальной типографией и с деятельностью комиссий по исправлению книг не связана⁸.

В 1882 г. Петербургская типография подготовила проект исправления Служебника⁹. В 1894–1895 гг. в Минеи были внесены три новые службы (Димитрию Ростовскому, Митрофанию Воронежскому и Тихону Задонскому). В 1890 г. в Праздничную минею была включена служба Кириллу и Мефодию. В 1909 г. выходит Минея дополнительная с 16 новыми службами. В 1915 г. вышел сборник «Молитвы, чтимые на молебнах», куда вошло огромное количество редких молитв святым. В 80-е гг. XX в. этот сборник, как и Минея дополнительная, был практически целиком инкорпорирован в месячные минеи.

Все эти проекты были проектами синодальных типографий, и никакие комиссии и общественные организации не принимали в них никакого участия. И созданная в 1907 г. Комиссия по исправлению богослужебных книг, действовавшая под председательством архиепископа Сергия (Страгородского), также была не общественной инициативой, а проектом синодальных типографий, к которому был привлечен

⁷ Кстати сказать, именно Петербургская редакция в начале XXI в. была оцифрована и используется во всех работах, связанных с автоматическим анализом церковнославянских текстов, в частности в церковнославянском подкорпусе Национального корпуса русского языка [Добрушина и др. 2015].

⁸ Дело святейшего Правительствующего Синода о некоторых исправлениях в Великом каноне св. Андрея Критского (РГИА, ф. 796, оп. 169, № 1403).

⁹ Список исправлений, признанных необходимыми для Служебника, изданного в 1882 году с замечаниями управляющего СПбСТ А. В. Гаврилова и Н. Ф. Чуриловского (РГИА, ф. 834, оп. 4, д. 122).

достаточно широкий круг специалистов со стороны. Если говорить о преемственности, то эта комиссия не продолжала деятельность предшествующих комиссий, а опиралась на традиции справщиков синодальных типографий, в первую очередь Петербургской. Скончавшийся в 1905 г. П. А. Гильтебрандт в этих работах уже не участвовал, но одним из основных деятелей Сергиевской комиссии был его преемник Н. Ф. Чуриловский.

IV

Таким образом, следуя за Б. И. Сове и воспринимая историю книжной sprawy как историю соответствующих комиссий, мы оказываемся в тупике. В распоряжении Б. И. Сове были исключительно дневниковые и мемуарные свидетельства. В них была в какой-то степени отражена церковно-общественная жизнь, но не внутренняя жизнь правительственных палат синодальных типографий. Сообщество типографских справщиков носило закрытый характер и никогда не транслировало свои дискуссии на широкую аудиторию. Поэтому Б. И. Сове ничего не знал об их деятельности.

Историю книжной sprawy в XIX — начале XX в. мы должны рассматривать исключительно как историю деятельности типографских справщиков и проектов синодальных типографий. Деятельность комиссий XIX в. занимает в этом процессе периферийное место.

Литература

Боголюбский 1872–1878 — *Свящ. М. Боголюбский*. Замечания на текст Псалтири по переводу LXX и славянскому тексту // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1872. I. С. 236–253, 300–316, 419–428; II. С. 17–22, 132–138, 172–180, 283–294; 1873. I. С. 400–414; II. С. 36–46, 464–473; 1874. I. С. 352–373; II. С. 1–20, 427–444; 1875. I. С. 640–686; II. 345–362; 1877. I. С. 425–443; 1878. I. С. 679–709; II. С. 63–74, 116–130, 149–173, 257–275, 451–467.

Гиляров-Платонов 2011 — *Н. П. Гиляров-Платонов*. Разумевающие верой. Переписка Н. П. Гилярова-Платонова и К. П. Победоносцева (1860–1887) / Вступительная статья, составление, подготовка текстов и комментарии А. П. Дмитриева. СПб., 2011.

Добрушина и др. 2015 — *Е. Р. Добрушина, А. Г. Кравецкий, А. Е. Поляков*. Корпус и частотный грамматический корпусный словарь церковнославянского языка в составе Национального корпуса русского языка // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Вып. 6. М., 2015. С. 116–141.

Живов 1989 — [*В. М. Живов*.] Книжная справа в России // Богословские труды. Вып. 29. М., 1989. С. 324–326.

Кравецкий 2002 — *А. Г. Кравецкий*. К истории исправления богослужебных книг в России во второй половине XIX века // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 164–182.

Кравецкий 2013 — *А. Г. Кравецкий*. Петербургские полиглоты конца XIX века // Лингвистическое источниковедение и история русского литературного языка. 2012–2013. М., 2013. С. 240–259.

Кравецкий 2015 — *А. Г. Кравецкий*. Материалы дискуссии об употреблении прописных букв в книгах церковной печати (1876–1892) // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 5. Лингвистическое источниковедение и история русского литературного языка. М., 2015. С. 127–163.

Кравецкий, Плетнева 2001 — *А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева*. История церковнославянского языка в России (XIX–XX вв.). М., 2001.

Кравецкий, Плетнева 2003 — *А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева*. К вопросу о формировании учебной редакции богослужебных книг // Лингвистическое источниковедение и история русского языка (2002–2003). М., 2003. С. 454–476.

Кравецкий, Плетнева 2013 — *А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева*. Минейные службы Нового времени: история, поэтика, семантика // Минеи: образец гимнографической литературы и средство формирования мировоззрения православных / Под ред. Елены Потехиной и Александра Кравецкого. Olsztyn, 2013. С. 15–90.

Никольский 1896 — *Прот. К. Т. Никольский*. Материалы для истории исправления богослужебных книг, об исправлении Устава церковного в 1682 году и Месячных миней в 1689–1691 году. СПб., 1896. (Памятники древней письменности. Т. СХV).

Сове 1968 — *Б. И. Сове*. Русский Гоар и его школа // Богословские труды. Вып. 4. М., 1968. С. 39–84.

Сове 1970 — *Б. И. Сове*. Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX–XX веках // Богословские труды. Вып. 5. М., 1970. С. 25–68.

Сове 1996 — *Б. И. Сове*. История литургической науки в России // Ученые записки Московского православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 2. М., 1996. С. 21–98.

Alexandr G. Kravetsky

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

COMMISSIONS FOR CORRECTION OF LITURGICAL BOOKS AND SYNODAL PRINTING HOUSES

The article is devoted to the history of correcting liturgical books in Russia at the end of the 19th — beginning of the 20th century. Earlier it was believed that in this period the correction of liturgical books was implemented by efforts of the commissions created specifically for this purpose. This assumption was based on the analysis of memoir sources. However, it was not possible to establish with certainty the results of the activity of the commissions, which had been working on liturgical texts since 1869. When referring

to archival materials of Synodal printing houses, it was revealed that in the second half of the 19th century, a whole series of revised editions of liturgical texts had been initiated. For most of these publications, it was possible to identify archival materials describing the program and concept of the corrections. Since the community of the Synodal printing houses staff used to be a relatively closed corporation, the information on these publications did not become publicly known. The memoirs do not reflect that part of the printing houses' activity, so the concepts built on the basis of memoir sources did not take them into account. Thus, the history of the correction of liturgical books in the 19th century should be seen solely as a result of the activity of printing correctors and projects of synodal printing houses. The activity of the 19th-century commissions occupied a peripheral place in this process.

Keywords: Church Slavonic language, liturgical books, liturgics, history of Russian literary language, history of the Russian Church.

V

Виктория Фреде

*Калифорнийский университет в Беркли
(США)*

ВЕРНОСТЬ, ИЗМЕНА И ПРЕДАТЕЛЬСТВО В ДРУЖЕСКОЙ СРЕДЕ: 1790-е гг.*

Статья посвящена сентиментальному культу дружбы в XVIII в. В ней исследуется, как этические нормы, лежавшие в основе этого культа, воплощались на практике московскими масонами-розенкрейцерами в начале 1790-х гг. Трактаты XVIII в. требовали, чтобы друзья демонстрировали безграничную верность друг другу даже в несчастье, но те же трактаты также требовали, чтобы верность государству и религии была превыше всего. Российским масонам-розенкрейцерам Н. И. Новикову, Н. Н. Трубецкому, И. В. Лопухину, И. П. Тургеневу и А. М. Кутузову, дважды выпадала возможность поразмышлять над дилеммами верности: один раз — в 1790 г., когда близкий друг Кутузова, А. Н. Радищев, был арестован по обвинению в измене, и вновь в 1792 г., когда стало ясно, что им самим предстоит быть арестованными. В обоих случаях выяснялось, что верность государству выше дружеской верности.

Ключевые слова: сентиментализм и культ дружбы, масонство, предательство, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, А. М. Кутузов.

В XVIII в. ценностное понятие верности включало в себя многое. Человеческое качество, с которым ассоциировались честность, правдивость, готовность держать слово и выполнять долг, оно понималось как основание «сообщения между разумными существами; священный узел, который один образует в обществе доверительную связь между одним партикулярным человеком и другим» [Jaucourt 1756: 686]. Слово «верность» использовалось для обозначения отношений между супругами или возлюбленными, хотя чаще всего оно использовалось для описания приверженности более абстрактного характера, в первую очередь закону, отечеству и монарху, а также церкви. Верность считалась необходимой для социальной и политической деятельности. Как писал Дэвид Юм, «сообщение и связи между

* Перевод Дмитрия Харитонова.

людьми, приносящие столь огромную пользу, не могут быть надежны там, где пренебрегают своими обязательствами» [Hume 1994: 196].

Предполагалось, что дружба — связь, основывающаяся на верности, — делает человека надежнее во всех отношениях. В эпоху Просвещения и сентиментализма европейские писатели (включая русских) превозносили дружбу как одну из главных добродетелей, пространно рассуждая о ней в неисчислимых философских трактатах и литературных произведениях. Подлинная дружба определялась как то, что объединяет добродетельные личности. Друзья должны сходиться во вкусах и предпочтениях, в противном случае они не будут получать удовольствия от общества друг друга — а ведь им нужно много общаться, делиться друг с другом своим имуществом и открыто обсуждать свои переживания, разочарования и надежды. Впрочем, было особенно важно, чтобы друзья также имели одинаковые нравственные представления, давали друг другу советы, укрепляли решимость друг друга, а при необходимости — указывали друг другу на недостатки. Таким образом, друзья находились в уникальном положении, позволяющем им укреплять друг в друге верность нравственным устоям, в том числе верность благу государства и общества.

Впрочем, дружеская верность имела свои границы. Как верность нравственным обязательствам никогда не должна была вынуждать человека нарушать естественный закон [Jaucourt 1756: 686], так и дружба никогда не должна была соперничать с верностью Богу и отечеству. Луи-Сильвестр де Саси, автор одного особенно влиятельного трактата о дружбе [Rasch 1936: 69–70], не жалел на этот счет слов. Поскольку хороший человек не предаст престола или алтаря, предатель другом быть не может. В том маловероятном случае, если твой друг совершил преступление против государства, ты должен отречься от этой дружбы; если друг замышляет предательство, твой долг — донести на него. Вообще, Саси советовал никогда не обвинять друга, руководствуясь слухами, но всегда позволять ему изложить свою версию событий. Если же речь идет об измене, то, по мысли Саси, это важное правило не применяется: «Il n'y a alors ni foi, ni secret qui nous tienne». «Первостепенные обязательства» человека — перед государством, и другие обязательства соперничать с ними не могут [Sacy 1722: 190].

Вопрос, рассматриваемый в этой статье, заключается в том, как понимался долг верности в России эпохи сентиментализма. Как сентиментальный кодекс поведения отражался в писаниях русских, обвиненных в государственной измене? Одна московская группа дважды сталкивалась с этой проблемой между 1790 и 1792 гг. В нее входил известный публицист и масон Н. И. Новиков, но образовалась она вокруг другого знаменитого масона, Н. Н. Трубецкого. Также к этой группе принадлежали И. В. Лопухин, И. П. Тургенев и А. М. Кутузов, тоже масоны и публицисты.

1. Блага верной дружбы

Сентиментальный культ дружбы оставил первые свои следы в русских литературных журналах середины 1750-х — начала 1760-х гг., таких как «Ежемесячные сочинения», «Полезное увеселение» и «Приятное и полезное». Большая часть

соответствующих стихотворений и эссе была написана М. М. Херасковым и его протеже А. А. Ржевским, И. Ф. Богдановичем, братьями А. В. и С. В. Нарышкиными, С. Г. Домашневым и другими, возможно, в том числе и Н. Н. Трубецким, который, как утверждается, писал для «Ежемесячных сочинений», но анонимно [Лаппо-Данилевский 2010: 274; Новиков 1772: 229]. В этих ранних опытах авторы одновременно разъясняли преимущества дружбы и предлагали модели взаимодействия в сентиментальном ключе, обращаясь друг к другу в многочисленных дружеских посланиях и призывая друг друга стремиться к добродетели [Анон. 1755; Нарышкин А. 1761; Ржевский 1761а; Богданович 1761в; Ржевский 1761б; 1763а; 1763б].

Дружба — в том виде, в котором она описывалась в этих посланиях, — имела множество преимуществ. Сообразно с нестоическими этическими установками этой группы, она сулила покой и умиротворение, позволяла лирическому субъекту и тем, кого он называл друзьями, с безразличием относиться к враждебности мира [Херасков 1755а; 1755б; Марк Аврелий 1759; Хераскова 1760: 139–140]¹. Дружба также давала радость, ощущение благополучия и помощь в нужде [Анон. 1759: 189; Херасков 1762а: 34–35; Анон. 1763; Богданович 1810: 45]. Друзья умели прощать [Херасков 1762б: 224]. Они были, как говорилось, вторым «я» человека. По замечанию одного автора, цитировавшего Диона Златоуста, они были вторыми парами глаз, ушей и рук, позволявшими человеку видеть, слышать и действовать в обход своей ограниченности [Анон. 1787: 80–81]. При всем этом выгодой дружбы пользовался не столько отдельный человек, сколько общество в целом, поскольку дружба порождала любовь к ближним [Анон. 1758: 184; Богданович 1810; Нарышкин А. 1762]. Любовь к друзьям помогала человеку преодолеть «собственную корысть» и понять, что его счастье связано со счастьем соседей, сограждан [Херасков 1762а: 35]. Верность друзей друг другу тоже приносила обществу пользу, содействуя миру, стабильности и взаимному доверию. Полнее всего это представление выразил С. В. Нарышкин в послании, опубликованном в «Полезном увеселении» в 1760 г.:

Счастливы те друзья, что тайну сохраняют, <...>
Счастливее ж их то общество бывает,
Когда тот тайности все целы сохраняет,
Кому достоинство дозволит их вручать.
Он должен общества в них счастье полагать;
В том целость всех людей и целость той державы;
Ему за то тогда венцы плетутся славы.

Верно было и обратное, продолжал Нарышкин, ибо там, где преобладало безверие, люди легко продавали отечество влעד за друзьями, пользовались законами для своей выгоды, наживались на слабости нижестоящих и забывали Бога [Нарышкин 1760: 232–233]².

¹ О нестоицизме в России см. [Gleason 1981: 59–60; Smith 1999: 48–49].

² О необходимости исполнения гражданских обязанностей также говорится в [Анон. 1755: 305] («Чтоб пользу ты в суде просителям явил / И сам отечеству на все полезен был»).

Дружеские послания достигли апогея в 1750-х — начале 1760-х гг., но и потом постоянно присутствовали в русских литературных журналах; вложенная в них этическая программа тоже не была забыта. Частные добродетели, проявлявшиеся в отношении друзей, и те, что проявлялись в отношении общества и отечества, понимались как созвучные и пересекающиеся друг с другом³. Это представление оставалось неизменным и в конце 1790-х гг., как видно по оде Хераскова «Верность», которая начинается с восхваления добровольной верности русских подданных — это «Престолов и держав защита / Отечества венец и честь»; затем дело доходит до «святой» верности, которую должны хранить друг другу супруги и друзья:

Благополучны те супруги,
Которы верность сохраняют;
Как Ангелы ликуют други,
Закон для коих дружбы свят,
Из верной дружеской приязни
Дамон за Пития для казни
Себя на жертву предает,
Держась священной дружбы правил,
Питий отца и мать оставил,
И друга спасть на казнь течет [Херасков 1798–1799: 1–4].

Мифологические Дамон и Питий (Пифий) играют тут двойную роль: приговоренные к смерти греческим тираном Дионисием, они выказывают готовность погибнуть друг за друга, даже не оспаривая права тирана лишить их жизни. Безусловная верность друг другу, как подчеркивает Херасков, не должна вступать в конфликт с верностью монарху и государству.

История пифагорейцев Дамона и Пития была хорошо известна русским литераторам; Херасков и его протеже могли набрести на нее в европейской сентиментальной литературе, хотя они знали, что одним первоисточником ее был трактат Цицерона «Об обязанностях» (III, 43–46)⁴. В нем Дамон и Финтий (так называет его Цицерон) в равной мере служат примером дружбы «таких людей, которые достигли до высочайшего степени совершенства и мудрости», отделяемой Цицероном от «обыкновенных дружеств» [Цицерон 1761: 391]. «Для дружества ничего не должно предпринимать ни против Республики, ни против своей присяги, ни против обещанной верности, к учинению чего честной человек не способен» [Там

³ Это утверждение противоречит новейшей тенденции в историографии дружбы и дворянства — относить дружбу к «интимной сфере», отдельной от мира службы и политики (см. особенно [Калугин 2009: 270; Марасинова 2008: 340; 2000: 506–507]).

⁴ Русский перевод был сделан в 1761 г. Б. Волковым, но к тому времени члены кружка Хераскова этот трактат уже знали. А. А. Нартов прямо указывает на него в связи с Дамоном и Питием [Нартов 1757: 158]. Другие ранние отсылки к этому мифу можно обнаружить в [Сумароков 1755: 453–455; Булгаков 1760: 155]. Этот сюжет лег в основу драмы [Плавильщиков 1787]; см. в [Калугин 2009: 269].

же: 389]. Цицерон вновь обратился к этой теме в диалоге «О дружбе (Лелий)» (XI 37–38, XII 42), где утверждал, что человек, совершивший предательство, собственнo говоря, перестает быть другом. Дружба начинается с веры в добродетельность друга, а разочарование такого рода мешает ее сохранять. Следует отказываться от друзей, совершивших какое-нибудь тяжкое преступление [Цицерон 1781: 32–35]. Эти положения были впоследствии использованы и усилены в «О дружбе» Саси, где также восхвалялась верность друг другу Дамона и Пития. В отличие от Цицерона, Саси подчеркивал, что человек обязан отречься от друга и осудить его, если тот предал Бога или отечество [Сау 1722: 190, 264]. Цицерон всего лишь говорил, что изменники должны нести наказание, и не высказывался определенно насчет того, должны ли их друзья принимать меру⁵.

Эти суровые положения, кажется, не повторялись на страницах русских литературных журналов. Отождествляя радости дружбы с сентиментальной привязанностью, большинство авторов довольствовались тем, что советовали читателям остерегаться ложных друзей, действующих исключительно в своих интересах и отказывающихся помочь, когда другие в этом нуждаются (см., например, [Максим Тирский 1759; Анон. 1759; Анон. 1761; Богданович 1761а; 1761б]). Прежде чем довериться другому человеку, следует присмотреться к его нравственным устоям.

Н. И. Новиков ратовал за этот принцип самым страстным образом, изображая в «Покоящемся трудолюбце» обыкновенную дружбу как зло и предостерегая своих юных читателей от ее разрушительной силы. От них требовалось незамедлительно разорвать связи с каждым, кто не был ими избран в соответствии со строжайшими нравственными критериями: «О ты, предопределенная к удовольствованию человека бедственная и жестокая дружба, должно ли тебе делаться источником пагубы душ, развращением нравов, и вечным несчастьем большей части человеческого рода! (...Л)юбезные юноши! Заклинаю вас, разорвите скорее сию дружбу вас связующую, когда вы безрассудно заключили оную» [Новиков 1784: 37]. Эти слова оказались пророческими.

2. Круг Трубецкого, Новикова и проч.

Группу, чей опыт будет анализироваться в этой статье, — М. М. Хераскова, Н. Н. Трубецкого, Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, И. П. Тургенева и А. М. Кутузова — соединяло множество связей в конце 1770-х — начале 1780-х гг.⁶ Их отношения были сформированы давним литературным сотрудничеством и абстрактными представлениями о дружбе, а также общением при множестве различных

⁵ Позиция ближе к Цицерону занята в [Aubry 1776: 194].

⁶ Центральной фигурой этой группы принято считать Николая Новикова, прежде всего потому, что его издательская деятельность сделала его исторически наиболее влиятельным ее членом. С точки зрения установления и поддержания связей внутри нее — важнейшей для этой статьи — главную роль, несомненно, играл Трубецкой. Приводимые здесь биографические сведения о том и другом взяты в основном из [Словарь русских писателей XVIII в.], а также из [Серков 2001: 451, 488–489, 594–595, 811, 815, 851].

обстоятельств. В те годы все они входили в одну московскую ложу, «Гармонию». Между 1782 и 1784 гг. все они занимали важные места в новообразованном ордене розенкрейцеров. Некоторые по-прежнему участвовали в литературных начинаниях, вроде журнала «Утренний свет» (1777–1780), входили в «Вольное экономическое общество» и в литературно-научное «Дружеское ученое общество», а также в «Типографическую компанию», совместное предприятие, потерпевшее крах. Между Херасковым, Трубецким, Новиковым, Тургеневым, Лопухиным и Кутузовым установились и еще более тесные связи. В 1781 г. Новиков женился на племяннице Трубецкого; единоутробные братья Трубецкой и Херасков жили в одной усадьбе и в одном московском доме; все они часто бывали друг у друга в гостях, ставили пьесы и славили добродетель дружбы.

Одним из мест таких собраний и празднеств была усадьба Новикова в Тихвинском, где летом 1788 г. состоялось одно особенно пышное торжество в честь дня рождения И. П. Тургенева. Для главных этапов увеселений сочинялись стихотворения, в которых превозносились «любовь, братство и дружба» — слова, указывающие одновременно на масонские и на личные связи. Сопутствуя веселой пирушке, ожидавшей гостей в Тихвинском, стихотворения эти также говорили о том, что наслаждение служит высокой нравственной задаче. Приведенные ниже строфы — часть стихотворения, в котором приветствуются гости Новикова:

Любовь вас ждет — грядите,
Возлюбленны друзья;
Спешите к ней, спешите
В объятия ея.
Удвойте в ней восторг,
Вступив в ея чертог.

Там искренность сияет,
Как чистая лазурь;
Мир трон свой утверждает,
Не зная диких бурь.
Коварных речь устен
Меж сих не слышна стен [Тарасов 1908: 449–450].

В стенах дома Новикова, подразумевалось в этом стихотворении, была не обыкновенная дружба, но та, что связует мудрых мужей, достигших совершенства.

Сочетанием интимного тона с нравственным наставлением отмечены также письма, которыми обменивались члены группы в 1780-х и 1790-х гг. Письма Трубецкого и его жены, В. А. Трубецкой, полны сентиментальных выражений нежности («любезный друг, дражайший друг, милый друг») и отчетливо фамильярны — в них используется обращение «ты» и говорится о таких предметах (как, например, состояние здоровья), которые могут представлять интерес только для друзей (см., например, Трубецкой — Кутузову, 26 мая 1791 г. [Барсков 1915: 126]).

Большинство исследователей, впрочем, привлек эпистолярный Кутузов, который в своих письмах давал друзьям многочисленные советы этического характера, выказывая сочувствие и откровенность. Они неоднократно подавались как главный пример развивавшегося в России жанра дружеской переписки [Лотман и Фурсенко 1963: 283; Марасинова 1999: 186–189; Калугин 2009: 270–276]. Письма Кутузова и его друзей, разумеется, свидетельствуют о том, какое сильное влияние оказали на их представление о себе литература и философия сентиментализма. Но письма эти преследовали также практические цели, потому что друзья по-настоящему на них полагались. Особенно это относится к Кутузову, который зависел от своих московских друзей и в денежном отношении. По указанию своего наставника в масонстве И. Е. Шварца, Кутузов уволился со службы и впоследствии пожертвовал свое небольшое состояние «Типографической компании». В 1787 г. Кутузов был послан в Берлин учиться у самых высокопоставленных членов ордена, чтобы узнать больше о его ритуалах и алхимических тайнах и привезти это знание в Россию. Переписка с московскими друзьями была насущно ему необходима: письма обеспечивали общение; из них он узнавал о том, что происходит дома. Они были его глазами и руками, связью с оставленным миром.

3. Обвинения в измене

Сохранившаяся переписка Кутузова с его московскими друзьями вызвала некоторые разногласия. Она хорошо известна, поскольку была опубликована Я. Л. Барсковым в «Переписке московских масонов» в 1915 г., хотя исследователи сомневались в правдивости высказанных в письмах воззрений: между 1790 и 1792 гг. они были переписаны московскими почтовыми чиновниками [Барсков 1915]. В частности, верность государству и Екатерине II, в которой признавались корреспонденты, была поставлена под сомнение Ю. М. Лотманом и другими исследователями, которые сочли их признания неискренними, сделанными в угоду цензорам и лично Екатерине [Лотман и Фурсенко 1963: 288; Kochetkova 2009: 38]. Здесь эти письма будут представлены в другом свете: как следствие подлинной дилеммы, перед которой оказались Кутузов и его братья в масонстве после того, как против них были выдвинуты обвинения в измене.

Разговоры об измене и о том, как следует вести себя, когда друг обвиняется в измене, начались благодаря А. Н. Радищеву. Как известно, он был арестован 30 июня 1790 г. за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву» и приговорен Палатой уголовного суда к смертной казни; 4 сентября личным указом императрицы этот приговор был заменен десятилетней сибирской ссылкой за «преступление противу присяги его и должности подданного»⁷. Судьба Радищева заботила

⁷ Точная формулировка такова: «О наказании Коллежского Советника Радищева за издание книги, наполненной вредными умствованиями, оскорбительными и неистовыми выражениями противу сана и власти Царской. Коллежский Советник... Александр Радищев оказался в преступлении противу присяги его и должности подданного...» (4 сентября 1790. 16.901. [ПСЗРИ 23: 168]).

московскую группу потому, что «Путешествие...» тот посвятил Кутузову. Они подружились еще студентами, в 1760-е гг., когда Екатерина отправила их учиться в Лейпциг. Другие друзья Кутузова Радищева не знали, но знали об их дружбе и в своих письмах подробно обсуждали обязательства Кутузова перед его арестованным другом.

Осенью 1790 г. розенкрейцеры снова столкнулись с обвинениями в измене; расследование коснулось и Кутузова, Трубецкого, Новикова, Лопухина и Тургенева — во многом благодаря их розенкрейцерской деятельности после того, как Екатерина запретила масонство в России. Тайное расследование, возглавленное московским генерал-губернатором А. А. Прозоровским и санкционированное Екатериной, продолжалось до осени 1792 г. [Лонгинов 1867; Faggionato 2005]. На этот раз было сочтено, что Новиков, Трубецкой, Лопухин и Тургенев нарушили «долг законной присяги и верность подданства»; все они были признаны «явными и вредными государственными преступниками». Среди разнообразных предъявленных им обвинений (одни были совершенно необоснованными, в других была доля истины) был сговор с иностранной враждебной державой, распространение еретических идей и финансовые злоупотребления [Лонгинов 1867: Приложение 0114–5]. Новиков, признанный главным виновным в религиозном и финансовом преступлениях, находился в заключении с 1792 по 1796 г. Кутузов, с 1787 г. пребывавший в Берлине и оттуда не вернувшийся, являлся, наверное, главным подозреваемым по делу о сговоре с иностранцами⁸. Он умер за границей в 1797 г. Трубецкой, Лопухин и Тургенев были признаны сообщниками Новикова и оказались в ссылке / под домашним арестом до смерти Екатерины.

4. Беседы об измене: Радищев

Эпистолярные беседы о проблеме измены начались в конце лета 1790 г. и главным их предметом — во всяком случае, поначалу — были арест Радищева и предъявленные ему обвинения. Будучи в Берлине, Кутузов мог получать сведения о Радищеве и «Путешествии...» лишь от своих московских друзей. Друзья Кутузова рассказывали ему обо всем, о чем знали сами. Существенно, впрочем, то, что они отнюдь не сомневались в справедливости обвинений против Радищева и уместности наказания, которому он подвергся. При этом они сочувствовали Кутузову, которого тронули известия о том, что его друг попал в беду. Это сочувствие согласовывалось с их дружескими обязательствами: прощать проступки и хранить верность перед лицом невзгод.

⁸ Официальных обвинений Кутузову предъявлено не было. Основанием для подозрений было то обстоятельство, что во главе розенкрейцерского масонства в Германии находилось несколько высокопоставленных политических фигур. Среди них были Фридрих-Август, герцог Брауншвейгский, Фридрих-Вильгельм II, король Пруссии (преемник Фридриха Великого) и Иоганн Кристоф фон Вёлльнер, первый министр Фридриха-Вильгельма II. Возможно, кто-то по ошибке счел Кутузова их доверенным лицом, когда между Россией и Пруссией назревала война.

Дурные новости сообщил Кутузову Трубецкой 1 августа 1790 г., спустя больше месяца после ареста Радищева. Трубецкой известил Кутузова о том, что друг того написал «дерзновенное сочинение» и находится под следствием; ему грозит смертная казнь [Барсков 1915: 8]⁹. Больше чем месяц спустя, в конце сентября, Лопухин и Тургенев подтвердили эти известия, но обнадежили Кутузова тем, что приговор смягчили, заменив десятилетней ссылкой. Оба признались, что книги не читали, потому что добыть ее экземпляр им не удалось [Там же: 12, 14]; те немногочисленные экземпляры, что добрались до книжных лавок, немедленно разошлись; остальные были уничтожены. Тем не менее Трубецкой, Лопухин и Тургенев не сомневались в том, что Радищев действительно совершил преступление. Правда, они отчасти расходились в представлении о его природе. Трубецкой объяснил происходящее следующим образом: «Вот, мой друг, ветренная его [Радищева. — *В. Ф.*] и гордая голова куды завела, и вот следствие обыкновенное быстрого разума, не основанного на христианских правилах» [Там же: 8]; в письме к Кутузову от начала октября Лопухин подтвердил, что «поступок Радищева основан на антихристианстве» [Там же: 15]. Тургенев говорил об «оскорблении ея [Екатерины. — *В. Ф.*] особы» [Там же: 14]. Несмотря на эти расхождения, все соглашались, что Радищев достоин своей участи. Более того, императрица проявила милосердие, отменив смертный приговор и позаботившись о семье Радищева; она даже позволила его верному слуге следовать за ним в Сибирь [Там же: 12, 15]. Всякий другой монарх, заверял Трубецкой Кутузова в феврале 1791 г., непременно сделал бы так, чтобы Радищев «потерял голову на эшафоте» за свое преступление [Там же: 93].

То обстоятельство, что Екатерина судила и обвинила Радищева, служило для них достаточным доказательством того, что тот согрешил против алтаря и трона. Кутузов занял другую позицию, полагая, что нельзя выносить суждения, не читав книги. Трубецкому он писал в начале ноября: «Не зная, мой друг, преступления, не смею судить о наказании, а и того менее о прежнем моем друге» [Барсков 1915: 21]. Но он был исключением.

Друзья Кутузова не понуждали его отречься от дружбы и сочувствовали ему, понимая, что судьба Радищева должна была его ранить. Они хвалили доброе сердце Кутузова, которое не могло не быть тронутым. Как писал Трубецкой в первом своем письме об этом: «Я, зная твое прекрасное сердце, знаю, что тебя тронет сие известие». Но в то же время Трубецкой призывал Кутузова не слишком увлекаться сочувствием: по всему, что ему было известно, выходило, что Радищев виновен, «почему и огорчаться о нем ты не должен» [Барсков 1915: 8]. В том же тоне Трубецкой писал несколько недель спустя: «Яко человека» пожалеть Радищева можно, «яко преступника» — нет. Трубецкой уверял Кутузова, что если бы тот сам был судьей, то «не поколебался бы его осудить достойному наказанию за его мерзкое

⁹ Трубецкой не называл Радищева по имени, говоря о нем «посвятивший некогда тебе книгу и учившийся с тобой в Лейпциге», обнаруживая знание о продолжительности отношений между Кутузовым и Радищевым и о том, как важны они были для них обоих.

и дерзкое дело» [Там же: 10]. Все, что Кутузов теперь мог делать, — это молиться о том, чтобы Радищев покаялся; так писал Трубецкой [Там же: 8]. Лопухин согласился [Там же: 15], но взял более утешительный тон. Радищев был достоин жалости — как за его участь, так и за его ошибку. «Все» прощали Кутузову печаль за друга, потому что все знали, что Кутузов не разделял «принципий» Радищева [Там же: 15, 46]. Последнее обстоятельство было, как видно, очень важно для Трубецкого, Лопухина и Тургенева, и Кутузов не преминул несколько раз уверить их в том, что это действительно так¹⁰.

Впрочем, в письмах к Кутузову Трубецкой, Лопухин и Тургенев не касались двух важных тем, что, возможно, свидетельствует о том, что их готовность говорить и думать о близости отношений Кутузова и Радищева была не безгранична. Одной из тем был тот факт, что Радищев посвятил «Путешествие...» Кутузову: московские друзья не поставили его об этом в известность. В ноябре Кутузов вызвал на разговор Трубецкого, сообщив ему, что он узнал о посвящении, но не сказав как [Барсков 1915: 33]. Видимо, Кутузов узнал об этом от знакомого, оказавшегося в Берлине проездом, но источника своего он так и не раскрыл¹¹. Второй необсуждавшейся темой было возможное желание Кутузова писать собственно Радищеву.

Радищев сам вышел с Кутузовым на связь 6 декабря 1791 г., написав из Иркутска. Во имя былой дружбы он молил Кутузова дать ему знак «любви», и тот ответил соответствующим образом, повторив дружеские обеты и выразив желание его утешить [Барсков 1915: 168]. Отвечая ему четыре месяца спустя, Кутузов повторил мысль, которую уже высказывал великое множество раз, — обстоятельства-де не должны управлять настроениями человека. И все-таки Кутузов не сумел вовсе не пожуричь Радищева, которому следовало воспользоваться случаем и подумать о содеянном: «Не смею, но не могу воздержаться попенять тебе, что ты презрив мой дружеский совет и чрез то свергнул обоих нас в сие несносное для меня состояние» [Там же: 195–196]. Насколько можно судить, их переписка на этом прекратилась. Свое письмо Кутузов отправил Трубецкому с наказом переслать его брату Радищеву [Там же: 193]. Примечателен сам факт, что они вообще переписывались, так как к тому времени Кутузов уже знал, что находится под следствием московских властей. Оба письма — и Кутузова, и Радищева — были перехвачены и скопированы.

¹⁰ См., например: Кутузов — Лопухину, 1/12 ноября 1790 [Барсков 1915: 22]. Кутузов пишет: «Я ненавижу возмутительных граждан, — они суть враги отечества и, следовательно, мои», но выражает сомнения в том, что Радищев относится к их числу. Другие высказывания, дистанцирующие Кутузова от взглядов Радищева, см. в: Кутузов — Е. И. Голенищевой-Кутузовой, 6/17 декабря 1790; Кутузов — Лопухину, 31 декабря — 11 января 1790–1791; Кутузов — Трубецкому, 11/22 января 1791 [Там же: 66, 70, 78–79].

¹¹ Этим человеком, возможно, был К. Ф. Эренациус, с которым Кутузов, как он сам пишет, был знаком и через которого передавал письма (Кутузов — Трубецкому, 17/18 декабря 1790, 15/26 июля 1791 [Барсков 1915: 51, 136–137]). Кутузов сообщает, что его источник узнал новости о нем от Ивана Крапивина, слуги Новикова (Кутузов — Лопухину, 31 декабря — 11 января 1790 г. [Там же: 69–70]).

5. Отклики на обвинения в измене внутри группы

Свидетельств о том, как члены группы предполагали вести себя в том случае, если они сами будут обвинены в измене, существует гораздо меньше. Им, похоже, стало известно о ходивших вокруг них слухах в конце сентября 1790 г.; по крайней мере, именно тогда Тургенев впервые высказал смутные опасения. Сообщив о том, что собрания масонов в Москве прекращены, он добавил: «Зрящий сердца и утробы испытующий ведает, сколько ошибаются, думая о нас, якобы мы можем быть опасными и вредными. Но пусть всяк думает так, как хочет, только бы мы оставались и пребывали таковыми, каковыми суть, т. е., отнюдь зла не мыслящими и о вреде сожалеющими» [Барсков 1915: 13]. Возможно, и Лотман, и Кочеткова имели в виду заявления такого рода, когда утверждали, что масоны писали свои письма, предполагая их перлюстрацию.

Тем не менее предмет, о котором шла речь, определенно сильнейшим образом заботил каждого автора и каждого адресата, которые находили себе оправдания в составляющих своей этической системы: верности и умении прощать. Умение прощать «началось» с Кутузова, чья связь с Радищевым, по убеждению некоторых, навлекла подозрения на всех остальных. Как пояснял 28 ноября 1790 г. Кутузову Лопухин, «охотники до вреда ближним вообще участниками Радищева почитали всех нас» [Барсков 1915: 46]. Умение прощать коснулось и тех, кто распространял о них слухи. Лопухину удавалось даже сочувствовать Прозоровскому, который вел направленное против них расследование, — ибо жажда того обвинять других сделала его совершенно слепым к невинности [Там же: 89]. Лопухин и его друзья были уверены, что Екатерина II никогда не поверит наветам Прозоровского и закон восторжествует над слухами¹². Арест Новикова в апреле 1792 г. не изменил основ их отношения к правительству, но, кажется, привел их в глубокое замешательство. Как отмечала Е. Н. Марасинова, Новиков, как и Лопухин, «не понимал причину ожесточения императрицы и искренне считал себя невинным» [Марасинова 2000: 477].

Впрочем, заявляя о своей невинности, члены группы приняли защитные меры, предвидя у себя обыски. Действуя в соответствии с масонским предписанием, согласно которому письменным документам придавалось чрезвычайное значение, они сожгли документы, которыми располагали [Лонгинов 1867: 308, 340. Прил. 0117]. Некоторые также из предосторожности сократили контакты с другими, в первую очередь Новиков. Его писем к другим членам группы за этот период сохранилось очень немного. Недостаток сохранившихся писем затрудняет разговор о его настроениях, но создается такое впечатление, что Новиков всегда был крайне избирателен в общении [Марасинова 2000: 498–499] и что он сделался еще избирательнее после того, как о группе пошли слухи. Письма других членов

¹² См. Лопухин — Кутузову, 14 октября 1790; 7 ноября 1790; 6 января 1791 [Барсков 1915: 17–18, 26, 73–74]; Трубецкой — Кутузову, 29 января 1791 [Там же: 85]; Кутузов — Лопухину, 12/23 ноября 1790, 24 ноября — 5 декабря [Там же: 31–32, 39].

группы служат тому подтверждением. В ноябре 1790 г. Лопухин сообщал Кутузову, что Новиков теперь тщательно избегает некоторых людей, заподозренных в «мартинизме» — в том числе, кажется, самого Лопухина, — «чтоб не прослыть знакомым с теми, кои слынут мартинистами». В пример того, что «он сего избегает и как бы боится и для очистки иногда излишнее на счет таких скажет», Лопухин привел Ивана Тургенева. Лопухин утверждал, что Новиков, несмотря на былую близкую дружбу с Тургеневым, дал тому понять, что больше не желает с ним общаться. Тургенев не стал возражать, даже в этой ситуации продемонстрировав верность другу и долгу: «нынче и не беспокоит его своими приездами, оставаясь всегда ему благодарным за его одолжения и всегда любя его. Как же быть! Кто бабе не внук» [Барсков 1915: 36]. Как выяснилось впоследствии, главным подозреваемым в ходе московского расследования был не Тургенев, а Новиков, и возможно (хотя и маловероятно), что Новиков пытался защитить Тургенева, избегая его. Так или иначе, опасения такого рода не помешали Новикову общаться с Николаем Трубецким: в 1791 г. он навещал Трубецкого в его усадьбе¹³. Возможно, Новиков думал, что княжеский титул и многочисленные семейные связи поставят Трубецкого вне подозрений.

На некоторое время все успокоилось; страхи членов группы касательно преследования развеялись. Лишь весной 1792 г. ситуация несколько раз резко изменилась. На фоне обострения революционных событий во Франции разошлись и сподобились доверия среди розенкрейцеров слухи о международном антимонархическом и антирелигиозном заговоре иллюминатов. Кутузов первым выразил это доверие, в апреле 1792 г. предупредив друзей о том, что иллюминаты могли уже проникнуть в Россию под чужим обличем [Барсков 1915: 200]. Трубецкой и Лопухин встревожились не меньше — в начале мая они спрашивали в ответных письмах, по каким признакам этих злодеев можно опознать [Там же: 202–203]. В своем совместно написанном письме Кутузову Трубецкой и Лопухин позабыли сообщить о еще более важном событии: 24 апреля 1792 г. арестовали Новикова. Это письмо — последнее из известных писем Лопухина к Кутузову. Трубецкой, Лопухин и Тургенев были вызваны на допрос в начале августа.

Еще до того, как Трубецкой, Лопухин и Тургенев были допрошены, Екатерина II объявила их «явными и вредными государственными преступниками»; при этом она обращалась с ними куда милосерднее, чем с Новиковым: они были приговорены к домашнему аресту в своих имениях (в случае Лопухина он был заменен домашним арестом в Москве) [Лонгинов 1867: Приложения 0115]. В преддверии приезда Трубецкого в его имение Никитовка в Воронежском наместничестве Екатерина послала 31 августа 1792 г. местным властям указ, в котором недвусмысленно говорилось, что она запретила виновным возобновлять отношения: «сообщения с своими бывшими по расколу товарищами отнюдь не возобновлять» [Там же: Приложения 0148]. Существенно, что на этом этапе Екатерина прямо высказала

¹³ Новиков подписал общее письмо, адресованное В. А. Трубецкой Я. Л. Булгакову и отправленное из усадьбы Трубецких в июне 1791 г. (РГБ. Ф. 41 (Булгаковы). К. 136. Д. 26, л. 12).

свое пожелание, очевидно, не веря, что члены группы добровольно прекратят отношения друг с другом.

Все, похоже, выполнили этот приказ — кроме Трубецкого, который выполнил его не полностью. Определенно боясь перлюстрации, между июлем и декабрем 1792 г. Трубецкой сочинил два (возможно, три) таинственных и сбивчивых письма Кутузову, пребывавшему в неведении относительно причин неожиданно молчания друзей. В несохранившемся письме Трубецкой, по-видимому, сообщил Кутузову, что их масонские, или «братские», связи отныне следует считать разорванными; Кутузов возразил, что это не может сказываться на «связях сердца и человечества»¹⁴. В последнем своем письме, датированном 22 декабря 1792 г., Трубецкой ссылаясь на болезнь, якобы не дававшую ему написать письмо, но подписался так: «Прости и верь, что я навсегда твой истинный друг» [Барсков 1915: 214]. Судя по его лихорадочному тону, Трубецкой, кажется, устыдился. Сохранившаяся переписка говорит о том, что Лопухин с Тургеневым аналогичной любезности Кутузову не оказали.

На пять лет друзья прекратили сообщение с Кутузовым. Оставшиеся в России, похоже, поддерживали отношения косвенным образом, через жен, ни одной из которых расследование не коснулось¹⁵. После смерти Екатерины они были прощены Павлом и возобновили отношения друг с другом — кажется, исключая Кутузова. Лишь в 1797 г. Тургенев ненадолго возобновил связь с Кутузовым, который его и поблагодарил, и упрекнул: «Зная тебя, дражайший, милый друг, знаю, что твое нежное чувствительное сердце и единый раз тобою дарованная... дружба не зависят от обстоятельств и не подвержены переменам». Объявив себя невинной жертвой «любви и дружбы», Кутузов писал, что ему уже пришлось сидеть в долговой яме, и молил Тургенева просить Трубецкого выслать ему денег (Кутузов — Тургеневу, 17/28 февраля 1797 [Лотман и Фурсенко 1963: 322–323]). Никаких денег ему не пришлось, и через несколько месяцев Кутузов умер в нищете, в том же Берлине.

Выводы

Когда в начале 1790-х гг. Трубецкой, Новиков, Лопухин и Кутузов были обвинены в государственной измене, они оказались перед дилеммой. Нравственный кодекс, лежавший в основе культа дружбы, которому они служили, сложился в России в 1750–1760-х гг.; тогда его участники не видели нужды в различении разных граней верности — дружбе ли, отечеству ли, алтарю или престолу. Верность была добродетелью, которую не нужно было распределять между отдельными областями. Она еще не поддавалась разделению на верность отечеству и монарху, с одной

¹⁴ Трубецкой — Кутузову, 19 июля 1792; Кутузов — Трубецкому, 6 ноября 1792 [Барсков 1915: 207–208, 212]. О существовании и содержании несохранившегося письма я догадываюсь по содержанию письма Кутузова от 6 ноября.

¹⁵ К примеру, Е. В. Хераскова, невестка Трубецкого, поддерживала связь с И. П. Тургеневым — она написала ему десятки писем между 1793 и 1796 гг.

стороны, и другу — с другой. При этом прежние прочные основания, на которых зиждилось понятие верности, колебались противоречивыми требованиями мира, возникавшего вокруг них.

Возможно, неспособность разделить верность отечеству и верность другу объясняет, почему Кутузов не хотел или не мог допустить, что Радищев, написав свою книгу, совершил измену. Возможно, она является также причиной того, что Трубецкой, Лопухин, Тургенев и Новиков поначалу не могли и вообразить, что их обвинят и признают виновными в измене. Впрочем, в отличие от них Кутузов и не мог допустить, чтобы друзья оказались готовыми разрывать не только «братские связи», но и «связи сердца и человечества».

На этом фоне ода «Верность», написанная Херасковым через год после смерти Кутузова, вызывает некоторое удивление. Херасков как ни в чем не бывало снова подтвердил, что верность друзьям полностью совместима с верностью отечеству и верность другу, даже приговоренному к смерти, не умаляет верности государству и монарху: ее можно выразить в готовности умереть вместо него, как Дамон и Питий были готовы отдать жизнь друг за друга. Приходится сделать вывод, что узы, связующие Трубецкого, Новикова, Лопухина и Тургенева с Кутузовым, являлись не дружбой «таких людей, которые достигли до высочайшей степени совершенства и мудрости», а «общими, обыкновенными дружествами».

Литература

Анон. 1755 — Эпистола к Г... // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1755. Апрель. С. 299–306.

Анон. 1758 — О истинном дружестве. Перевод из книги *Der Freund* // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1758. Август. С. 181–196.

Анон. 1759 — Разсуждение о пределах дружества // Праздное время в пользу употребленное. 1759. Т. 1. Март. №23. С. 173–190.

Анон. 1761 — Письмо // Полезное увеселение. 1761. Ч. 4. Декабрь. №23. С. 220.

Анон. 1763 — Стихи к другу // Невинное упражнение. 1763. Март. С. 113.

Анон. 1787 — О друге // Новые ежемесячные сочинения. 1787. Ч. 7. Январь. С. 78–82.

Барсков 1915 — *Я.Л. Барсков*. Переписка московских масонов XVIII века, 1780–1792. Петроград, 1915.

Богданович 1761а — *И. Ф. Богданович*. Эпистола // Полезное увеселение. 1761. Ч. 3. №2. С. 21–22.

Богданович 1761б — *И. Ф. Богданович*. Станс // Полезное увеселение. 1761. Ч. 3. №17. Май. С. 151–152.

Богданович 1761в — *И. Ф. Богданович*. Письмо к С<ергею> Д<омашневу> о средстве, как можно человеку приближаться к покою // Полезное увеселение. 1761. Ч. 4. Июль. №2. С. 9–14.

Богданович 1810 — *И. Ф. Богданович*. Стихи на дружбу // *И. Ф. Богданович*. Сочинения. Т. 3. М., 1810. С. 45.

Булгаков 1760 — С. Я. Булгаков. О дружестве. Перевод // Полезное увеселение. 1760. Кн. 2. Октябрь. № 16. С. 151–158.

Калугин 2009 — Д. Я. Калугин. История понятия «дружба» — от Древней Руси до XVIII века // Дружба. Очерки по теории практик / Ред. Олег Хархордин. СПб., 2009. С. 187–289.

Лаппо-Данилевский 2010 — К. Ю. Лаппо-Данилевский. Трубецкой Николай Никитич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. СПб., 2010. С. 273–276.

Лонгинов 1867 — М. Н. Лонгинов. Новиков и московские мартинисты. М., 1867.

Лотман и Фурсенко 1963 — Ю. М. Лотман и В. В. Фурсенко. «Сочувственник» А. Н. Радищева. А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 139. Труды по русской и славянской филологии. Т. 6. 1963. С. 281–334.

Максим Тирский 1759 — [Максим Тирский.] Максима Тирского Платонического философа четвертое разсуждение о том, чем разнствуует ласкатель от друга. Пер с греч. Н. М. // Трудолюбивая пчела. 1759. Июль. С. 399–411.

Марасинова 1999 — Е. Н. Марасинова. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. М., 1999.

Марасинова 2000 — Е. Н. Марасинова. Н. И. Новиков («Частный человек» в России на рубеже XVIII–XIX веков) // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 2000. С. 471–511.

Марасинова 2008 — Е. Н. Марасинова. Власть и личность. Очерки русской истории XVIII века. М., 2008.

Марк Аврелий 1759 — [Марк Аврелий.] Письмо Марка Аврелия к Пирамону его другу, находившемуся в крайней печали. Неизвестный переводчик // Праздное время в пользу употребленное. 1759. Т. 1. № 24. С. 191–205.

Нартов 1757 — А. А. Нартов. Письмо о дружестве в чужие края к приятелю писанное // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1757. Февраль. С. 152–160.

Нарышкин А. 1761 — А. В. Нарышкин. Письмо к А... Р... // Полезное увеселение. 1761. Ч. 3. № 1. Январь. С. 3–6.

Нарышкин А. 1762 — А. В. Нарышкин. Стихи Анакреонтические // Полезное увеселение. 1762. Ч. 5. Июнь. С. 268–274.

Нарышкин 1760 — С. В. Нарышкин. Письмо // Полезное увеселение. 1760. Ч. 1. № 23. Июнь. С. 231–235.

Новиков 1772 — Н. И. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772 (репринт. изд.: М., 1987).

Новиков 1784 — Н. И. Новиков. Речь к молодым детям о выборе друзей // Покоющийся трудолюбец, 1784. Ч. 1. С. 17–37.

Плавильщиков 1787 — П. А. Плавильщиков. Дружество. Трагедия в пяти действиях // Российский феатр. Ч. 7. СПб., 1787. С. 75–174.

ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи. 1-е собрание. Т. 1–45. СПб., 1830.

Ржевский 1761a — *А. А. Ржевский*. Письмо к А... Н... // Полезное увеселение. 1761. Т. 3. № 1. С. 7–13.

Ржевский 1761b — *А. А. Ржевский*. Письмо к А... Н... // Полезное увеселение. 1761. Ч. 4. № 6. Август. С. 49–53.

Ржевский 1763a — *А. А. Ржевский*. Письмо к А... В... Н... // Свободные часы. Т. 1. (январь–июнь). 1763. Февраль. С. 99–103.

Ржевский 1763b — *А. А. Ржевский*. Письмо к А... В... Н... // Свободные часы. Т. 2 (июль–декабрь). 1763. Декабрь. С. 721–731.

Серков 2001 — *А. И. Серков*. Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001.

Словарь русских писателей XVIII в. — Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1–3. Л.; СПб., 1988–2010.

Сумароков 1755 — *А. П. Сумароков*. Притчи. III. Два друга и медведь // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1755. Май. С. 453–455.

Тарасов 1908 — *Е. И. Тарасов*. Новые данные к истории Новиковского кружка // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 13. № 2. 1908. С. 438–455.

Херасков 1755a — *М. М. Херасков*. Ода к Господину В. // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. Т. 2. 1755. Август. С. 162–165.

Херасков 1755b — *М. М. Херасков*. Ода (Кто тщетну славу презирая...) // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1755. Ноябрь. С. 441–444.

Херасков 1762a — *М. М. Херасков*. Эпистола // Полезное увеселение. 1762. Т. 5. Январь. С. 33–35.

Херасков 1762b — *М. М. Херасков*. Письмо к самому себе // Полезное увеселение. 1762. Т. 5. Май. С. 223–226.

Херасков 1798–1799 — *М. М. Херасков*. Верность // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Кн. 3. 1799. С. 1–7.

Хераскова 1760 — *Е. В. Хераскова*. Станс // Полезное увеселение. 1760. Ч. 2. Октябрь. № 14. С. 139–140.

Цицерон 1761 — [*Марк Туллий Цицерон*.] Марка Туллия Цицерона Три книги о должностях. С содержанием каждой главы, и с примечаниями на достопамятные речи, переведено Борисом Волковым. СПб., 1761.

Цицерон 1781 — [*Марк Туллий Цицерон*.] Марка Туллия Цицерона Лелий или о дружестве. Переведено с латинского Михаилом Павловым. СПб., 1781.

Aubry 1776 — *J.-B. Aubry*. L'ami philosophe et politique. Paris, 1776.

Faggionato 2005 — *R. Faggionato*. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia. Dordrecht, 2005.

Gleason 1981 — *W. J. Gleason*. Moral Idealists, Bureaucracy, and Catherine the Great. New Brunswick, 1981.

Hume 1994 — *D. Hume*. Of the Original Contract (1748) // D. Hume. Political Essays / Ed. Knud Haakonssen. Cambridge, 1994. P. 186–201.

Jaucourt 1756 — *Chevalier de Jaucourt*. Fidélité // Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Vol. 6. Paris, 1756. P. 686.

Kochetkova 2009 — *N. Kochetkova*. La correspondance des franc-maçons russes au XVIIIe siècle // *La Revue russe* n°32. L'épistolaire en Russie / Ed. Rodolphe Baudin. P. 35–47.

Rasch 1936 — *W. Rasch*. Freundschaftskult und Freundschaftsdichtung im deutschen Schrifttum des 18. Jahrhunderts. Halle a.d. Saale, 1936.

Sacy 1722 — *L.-S. de Sacy*. *Traité de l'amitié*. Nouvelle édition. Paris, 1722.

Smith 1999 — *D. Smith*. *Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia*. DeKalb, 1999.

Victoria Frede

University of California at Berkeley
(USA)

ALLEGIANCE AND TREASON IN A FRIENDLY CIRCLE: THE 1790s

This article concerns the sentimental cult of friendship in the eighteenth century. It investigates how the ethical norms underpinning the cult were put into practice by Rosicrucian freemasons in Moscow in the early 1790s and analyzes their divided loyalties. Treatises of the 18th century claimed that friends should display unlimited allegiance toward one another in the event of misfortune, but the same treatises also claimed that allegiance to state and religion was paramount. A person who broke faith with either institution did not deserve personal loyalty. Russia's Rosicrucian freemasons, N.I. Novikov, N. N. Trubetskoi, I. V. Lopukhin, I. P. Turgenev and A. M. Kutuzov, had two opportunities to reflect on the dilemmas of loyalty: once in 1790, when Kutuzov's close friend, A. N. Radishchev was arrested on charges of treason, and again in 1792, as it became clear that they themselves would be arrested. In both cases, it transpired that their primary loyalties lay with the state.

Keywords: sentimentalism and the cult of friendship, freemasonry, treason, N. I. Novikov, A. N. Radishchev, A. M. Kutuzov.

Марина А. Бобрик

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)

Д. Я. Калугин

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербург, Россия)

**«БОДРЫЙ НАШ НАРОД»
СЕМАНТИКА БОДРОСТИ В КОНТЕКСТЕ
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ**

Речь в статье идет об известном пассаже из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», а именно о характеристике русского народа в монологе Чацкого из 3-го действия (явление 22). Слово сочетание *бодрый народ* употреблено в данном контексте впервые. Семантика этого сочетания формировалась в контексте национального дискурса эпохи во взаимодействии древнерусских языковых традиций и западноевропейских образцов. В статье предлагается реконструкция источников этой инновации Грибоедова. В истории текста «Горя от ума» чтение *бодрый* конкурирует с *добрый*. В текстологическом экскурсе показано, что читатели XIX и начала XX века знали текст монолога с формулировкой *умный, добрый наш народ*, хотя авторским было несомненно чтение *умный, бодрый наш народ*. Слово *народ* выступает у Грибоедова в новом для эпохи значении 'низшие сословия, чернь', обособившемся в результате семантического калькирования многозначности фр. *peuple*. Значимыми для семантики бодрости у Грибоедова оказываются, с одной стороны, новозаветный топос «бодрость духа», а с другой стороны — французские и немецкие обозначения качеств персонифицированной нации (фр. *peuple vaillant* 'бравый, энергичный, живой народ'; нем. *klug und aufgeweckt* в отношении народа 'умный и живой'). В монологе Чацкого *бодрый* — это свойство народного духа, которое противостоит культурной анемичности элиты.

Ключевые слова: история слов и понятий, язык А. С. Грибоедова, «Горе от ума», национальная идея.

Понятийные структуры, наблюдаемые в этот период [со 2-й половины XIX в. до 1917 г. — М. Б., Д. К.], представляют собой сложный синтез церковнославянского языкового наследия, модернизационных процессов XVIII — начала XIX вв., в ходе которых осваивались понятия новой «европейской» культуры, «простонародного» употребления, игравшего роль своего рода призмы, в которой преломлялись усваиваемые из западной культуры понятия. Эта сложная фактура, определяющая богатство образованного русского языка, остается в значительной степени не изученной.

(В. М. Живов. История понятий, история культуры, история общества¹)

Речь пойдет об известном пассаже из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», а именно о характеристике русского народа в монологе Чацкого из 3-го действия (явление 22):

Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнания иноземцев;
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев [ГоУ 1995: 96].

Прочитированный текст не содержит никаких указаний на синонимические или антонимические связи эпитета *бодрый*, так что нет уверенности, что этот хрестоматийный контекст мы понимаем адекватно. Если исходить из нынешней сочетаемости слова *бодрый*, непросто понять, что именно значит *бодрый народ*². Сейчас *бодрый* скажут прежде всего о человеке, имея в виду, что он жив и в силе (*бодрый вид, голос, взгляд, шаг, бодрая походка, бодрый старик, бодрое настроение*) [БАС: 534–535]³; в XIX в. возможны, кроме того, *бодрое терпенье, бодрое попечение* и даже *бодрая осторожность*. Во 2-й половине XIX в. можно встретить и *бодрый народ*

¹ Ср. [Живов 2009: 19].

² Не говоря уже о том, что, имея дело с текстами иной эпохи, мы рискуем приписать тогдашней бодрости привычное нам значение и проглядеть смысловые нюансы. Механизм такой подмены Анна А. Зализняк называет эффектом ближней семантической эволюции, определяя его как «неправильное понимание текста, возникающее из-за того, что читатель не распознает семантический сдвиг, произошедший в слове или конструкции родного языка и понимает их в современном ему значении» [Зализняк 2013: 300].

³ Ср., в частности, в МАС: «Полный сил, здоровья, энергии. [Фамусов:] *Не хвастаю сложеньем, Однако бодр и свеж, и дожил до седин*. Грибоедов, *Горе от ума. Время от времени Леонид уезжал в Землянский завод — и каждый раз возвращался оттуда таким бодрым, с новым запасом сил, точно молодец на несколько лет*. Мамин-Сибиряк, *Братья Гордеевы*. || Выражающий бодрость, свидетельствующий о бодрости. *Преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду*. Лермонтов, *Бэла*. || Веселый, оживленный. *Настроение польского общества было приподнятое и бодрое*. Короленко, *История моего современника*. [Мастер] *громко смеялся бодрым, молодцеватым смехом*. Горбатов, *Мое поколение*. || Придающий силы, оживляющий. *Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью*. М. Горький, *Мальва*» [МАС: 102].

(цитирование комедии Грибоедова не в счет). Однако в эпоху Грибоедова такое употребление в высшей степени необычно. Поиск этого сочетания в Национальном корпусе русского языка, в словарях и в Большой картотеке ИЛИ РАН для периода до 1830-х гг. дает отрицательный результат. В самом деле, впервые *бодрый народ* появляется именно в «Горе от ума». Семантика этого сочетания формируется в контексте национального дискурса эпохи во взаимодействии древнерусских языковых традиций и западноевропейских образцов⁴. Нам было любопытно реконструировать источники инновации Грибоедова. Здесь предлагаются результаты этой работы.

1. Начать с того, что в истории текста «Горя от ума» чтение *бодрый* конкурирует с *добрый*. Современниками вариант *добрый* (как бы он ни понимался — ‘славный’, ‘добросердечный’, etc.) воспринимался, очевидно, как более естественный и привычный. Об этом свидетельствует не только распространенность его в списках и изданиях «Горя от ума», но и фиксация этого варианта (очевидно, вслед за первыми русскими изданиями пьесы) в Академическом словаре церковнославянского и русского языка 1847 г. (цитата в статье «народ» [СЦСРЯ II: 399]). Напротив, сочетание *бодрый народ* было новшеством — в монологе Чацкого оно появляется впервые.

Соответственно, в изданиях комедии и ее переводах на иностранные языки сложились две традиции. Представленный в большинстве списков вариант *добрый* принят в изданиях, вышедших между 1833 г. (первое полное издание на русском языке так называемой театральной версии [ГоУ 1833: 130]) и 1913-м — годом выхода в свет Полного собрания сочинений Грибоедова в серии «Академическая библиотека русских писателей» (см. о нем ниже). *Добрый* читается также в заграничных неподцензурных изданиях XIX в. (начиная с первого [ГоУ 1858: 95]) и во многих эмигрантских изданиях после 1917 г. (в частности, выпущенных берлинскими издательствами «Нева» [ГоУ 1923: 90] и «Литература» [ГоУ б. г.: 86], в шанхайском [ГоУ 1921а: 67] и парижском изданиях [ГоУ 1921б: 348]). Напротив, ныне наиболее авторитетное чтение *бодрый* постепенно утверждается лишь начиная с упомянутого академического издания 1913 г. под редакцией Н. К. Пиксанова [ГоУ 1913: 78]⁵, где это чтение получило текстологическое обоснование с опорой на авторизованные списки (Жандровский и Булгаринский, а также на так называемый Музейный автограф) (подробно см. [Пиксанов 1971: 60; 1987: 430])⁶. До этого момента в некоторых изданиях (начиная с 1870-х гг.) чтение *бодрый* указывалось в аппарате вариантов (в частности, в издании под редакцией И. А. Шляпкина [ГоУ 1889: 311]). Отметим, что впервые ‘бодрый’ входит в основной текст — пусть кос-

⁴ Авторы признательны сотрудникам ИЛИ РАН (Санкт-Петербург) за возможность работать с материалами Большой словарной картотеки. Особая благодарность — заведующему Отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки Московского университета А. Л. Лифшицу за помощь в работе с редкими изданиями «Горя от ума».

⁵ Хотя Музейный автограф — один из важнейших источников чтения *бодрый* — был впервые опубликован уже в 1903 г.

⁶ Из эмигрантских изданий академическому изданию 1913 г. следует, в частности, парижское 1919 г. под редакцией В. Л. Бурцева.

венно — уже в самом первом издании «Горя от ума», вышедшем в немецком переводе Карла фон Кнорринга в Ревеле в 1831 г.: «Daß *unser tapfres kluges Volk* uns hier / Der Sprache wegen nicht für Deutsche hält» «...бодрый, умный наш народ...» [ГоУ 1831: 134]⁷. Таким образом, подавляющее большинство читателей XIX и начала XX в. знали текст монолога с формулировкой *умный, бодрый наш народ*.

В подтверждение тому, что именно вариант *бодрый* следует считать авторским, кроме текстологических, исследователи приводят также аргументы языкового характера. Вот комментарий А. Л. Гришунина [Гришунин 1995: 337–338] в последнем по времени полном собрании сочинений Грибоедова⁸:

В декабристском словоупотреблении применительно к русскому народу чаще встречаем определение: «добрый»; так, в дневнике Н. И. Тургенева от июня 1819 г.: «Неужели славный, умный, добрый народ никогда не возвысится до истинного своего достоинства?» (Архив бр. Тургеневых. Вып. 5. II. 1921. С. 197). П. Г. Каховский писал из Петропавловской крепости: «Сердце цело во мне, видя ум и простое, убедительное красноречие доброго народа русского» (Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.; Л., 1951. С. 509). Н. М. Коншин в письме к Пушкину (август 1831): «Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русский» (Пушкин. Т. XIV. С. 216). У Грибоедова, возможно, реминисценция из оды Державина «Вельможа» (1794):

О русский бодрственный народ.
Отечески хранящий нравы!

Для языка Грибоедова характерна ассоциация, закрепленная, например, в его примечаниях к «Необыкновенным похождениям и путешествиям Дементия Цикулина»: «Представляем ее (рукопись. — Ред.) нашим читателям как удивительный пример ума и решительности простого русского народа» (ср. толкование слова «бодрый» в словаре Даля: бойкий, живой, несонный, невялый; бдительный; смелый, мужественный; дюжий, здоровый; сильный; осанистый, видный, молодеватый). Таким образом, написание: «Чтоб умный, бодрый наш народ», которое мы находим во всех трех основных источниках текста «Горя от ума», вполне соответствует норме грибоедовского языка и не требует корректировки по неавторизованным спискам, как бы ни распространен был в них иной вариант».

⁷ За нем. *tapfer*, несомненно, стоит *бодрый* (а не *добрый*). Ср., в частности, о бодрости народа в «Рассуждении о национальном любочестии» Д. Фонвизина (1785) — переводе сочинения швейцарского врача и мыслителя И. Г. Циммермана (Johann Georg Zimmermann. Von dem Nationalstolze. 1758): *бодрость сего бранного народа* [спартацев. — М. Б., Д. К.] в соответствии с нем. *tapfere Nation*. Издание Кнорринга, прошедшее цензуру в Дерпте (ныне Тарту), вышло в серии «Русская библиотека для немцев» и предназначалось для немцев, живших в русском подданстве, чтобы они могли «познакомиться с духовными достижениями великой нации, к которой они принадлежат» («die geistigen Hervorbringungen einer großen Nation kennen zu lernen, der sie angehören») [ГоУ 1831: XI]; здесь и далее перевод цитат наш. — М. Б., Д. К.).

⁸ В более ранних комментариях, в частности С. А. Фомичева [Фомичев 1983: 154–161], вариация *бодрый/добрый* не получила интерпретации.

Принимая этот вывод, мы в дальнейшем исходим из того, что авторским было чтение *бодрый*.

2. Ближайшей параллелью к грибоедовской формуле считается сочетание *росский бодрственный народ* в оде Г. Р. Державина «Вельможа» («У Грибоедова, возможно, реминисценция из оды Державина “Вельможа” (1794)» [Гришунин 1995: 338]). К этой параллели стоит присмотреться.

Блажен народ, который полн
Благочестивой веры к богу,
Хранит царев всегда закон,
Чтит нравы, добродетель строго
Наследным перлом жен, детей;
В единодушии — блаженство;
Во правосудии — равенство;
Свободу — во узде страстей!

Блажен народ! — где царь главой,
Вельможи — здравы члены тела,
Прилежно долг все правят свой,
Чужого не касаясь дела;
Глава не ждет от ног ума
И сил у рук не отнимает,
Ей взор и ухо предлагает,
Повелевает же сама.

Сим твердым узлом естества
Коль царство лишь живет счастливым,
Вельможи! — славы, торжества
Иных вам нет, как быть правдивым;
Как блюсть народ, царя любить,
О благе общем их стараться,
Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить.

О росский бодрственный народ,
Отечески хранящий нравы!
Когда расслаб весь смертных род,
Какой ты не причастен славы?
Каких в тебе вельможей нет? <...> [Державин 1957: 215–216]

Державин воспроизводит просветительскую модель национального тела, того *corps morale & collectif* (Руссо), гармоничное самочувствие которого обеспечивается главой — царем. Качеством бодрости в этой картине наделяется нация в целом

(*росский бодрственный народ*), которая среди всеобщей расслабленности (*Когда расслаб весь смертных род*) оказывается неусыпным стражем «отеческих нравов». Таким образом, *народ* в этой картине скрепленного «узлом естества» национального тела выступает в значении «нация, население страны» (*народ1*) и соотнесен прежде всего с фигурой царя (*Блажен народ! — где царь главой*).

У Грибоедова слово *народ* выступает в другом, более новом значении «низшие сословия, чернь» (*народ2*), обособившемся в результате семантического калькирования многозначности франц. *peuple* [Живов 2009: 17–19; Schierle 2005/2006: 77–79]. Простой народ противопоставляется здесь социальной элите — тому *мы*, к которому относит себя Чацкий. Речь идет о культурном барьере между социальной элитой и другими стратами — барьере, который в данном случае формулируется как языковой (*хотя по языку нас не считал за немцев*). Подобное смещение смыслового акцента сопряжено со сдвигом не только в семантике слова *народ*, но и в семантике его определения. Сходство между двумя формулами — державинской и грибоедовской — оказывается, таким образом, более сложным.

3. Атрибутивные сочетания со словом *народ* были в русском языке с самого начала письменности, однако до XVIII в. среди них не было сочетаний с качественными прилагательными. В языке Средневековья возможны сочетания с местоимениями, которые определяют группу с точки зрения объема и количества (*весь народъ, вси народи* ‘все’; *народъ много* ‘многочисленная толпа’) или с относительными прилагательными, которые характеризуют группу с точки зрения ее принадлежности городу, стране, этносу, вероисповеданию и т. п. (*народ градный; народ Римьский; народ жидовьскъ; народи язычести; кафоликыиский народ* ‘христиане’; здесь же: *народъ звѣрьскыи и птичь* ‘род животных и птиц’; *вся народъ плавающ* ‘и весь род водоплавающих’) [Срезневский II: 320–321; СРЯ XI–XVII, 10: 214–215; СДРЯ XI–XIV: 183–184].

В течение XVIII в. вместе с развитием значения «население страны, нация» появляются такие сочетания, как *народ благоучрежденный, сильный, воинственный* и проч., в их числе и сочетания с эпитетом *добрый* [САР V: 43; СРЯ XVIII, 14: 17–18]. Вот несколько самых ранних примеров, которые удастся найти в НКРЯ⁹:

Они овинов не имеют, хлеб молотят сырой, а когда молоть, то сушат в печах. *Народ боязливый и добрый*; «Вотяков много малобородых. *Народ простой* (А. Н. Радищев. Записки путешествия в Сибирь. 1790);

Я был среди так называемых *просвещённых народов*, был среди *народов диких* и видел, что везде, во всех странах человек делает зло с пасмурным лицом, а добро — с приятною улыбкою! (Н. М. Карамзин. Филалет к Мелодору. 1795);

Она в Наказе своём освятила правила обществ непреложные, цель оных, и намерение обнаружила и хотела царствовать над обществом, управлять *народом*

⁹ Здесь и далее цитаты по НКРЯ приводятся без повторной ссылки.

блаженным, или лучше сказать дать ему управляться самому собою, оставляя себе одно верховное всего надзирание (А. Н. Радищев. О законоположении. 1801–1802).

В этом же ряду оказывается державинский контекст и сочетание *бодрственный народ*, о котором шла речь выше.

4. В свою очередь, эпитет *бодрый* накопил в догрибоедовскую эпоху определенный семантический потенциал, который необходимо учитывать, чтобы адекватно оценить тот новый поворот в истории понятия бодрости, который был осуществлен автором «Горя от ума». В основе различных употреблений многозначного эпитета *бодрый* (и *бодрственный* как его варианта в языке XVIII в.¹⁰) лежит в конечном счете их этимологическое значение ‘бодрствующий, не дремлющий, не спящий’¹¹. Развертывание и конкретизация этой семантики — ‘мужественный’, ‘решительный’, ‘деятельный’, ‘живой’, etc. — всякий раз связана с семантикой определяемого слова и другими факторами смысловой организации текста.

«Горе от ума» начинается с темы сна и бодрствования и ею же заканчивается, когда в прощальном монологе (действие 4, явление 15) Чацкий бросает оппонентам свое «Желаю вам дремать в неведеньи счастливом». В этом контексте оживает «внутренняя форма» слова *бодрый* и вместе с нею — ассоциация с новозаветной фразеологией бодрости. Грибоедовская формулировка, в которой ставятся рядом ум и бодрость, близка церковнославянской формуле *трезвости и бодрости*, восходящей к посланию апостола Петра (1 Пет 5: 8 *трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити*)¹². В свою очередь, слова апостола содержат реминисценцию из евангельского рассказа о событиях в Гефсимании (Мф 26: 41), в котором бодрость духа противопоставлена немощи спящей плоти (*дух убо бодр, плоть же немощна*). Оба клише хорошо известны в древнерусских текстах [СРЯ XI–XVII, 1: 270] и в русской литературе Нового времени¹³, сочета-

¹⁰ Кроме оды «Вельможа», эпитет *бодрственный* у Державина не встречается [УкСлД]. Значение этого слова толкуется в Академическом словаре 1789–1794 гг. с помощью синонимов *бодренный, бодрый, храбрый, мужественный, безбоязненный, неустрашимый. Бодренный*, согласно САР, значит ‘бодрый, бдительный, недремлющий, внимательный, прилежный, тщательный’, а в слове *бодрый* различаются четыре значения: (бодрая стража) ‘бдительный’; (бодрый воин) ‘храбрый, мужественный’; (бодрый конь) ‘имеющий горделивую поступь’; (он еще бодр) ‘(о старых людях) еще в силах’ [САР I: 262; 260–261], ср. [СРЯ XVIII, 2: 88].

¹¹ Прилагательное *бодрый* образовано от глагола *bъdĕti, этимологически тождественно лит. budrūs ‘бдительный’ и лат. *promptus* ‘бодрый’. Из славянских языков это слово сохранилось только в македонском и русском (в сербском — из русского) [ЭССЯ: 111–112], русский диалектный материал для *бодрый* очень богат [Даль: 106].

¹² Одна из многочисленных ее версий — пассаж из утренней молитвы Василия Великого в церковнославянском переводе — приводится в САР в качестве иллюстрации употребления слова *бодренный*: *И даруй нам бодренным сердцем и трезвеною мыслию всю настоящего жития ночь прейти* [САР I: 261].

¹³ Ср., в частности, *трезвый, бодрый* о русском народе в пушкинской речи В. О. Ключевского: «В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел

ние *бодрый дух* (*бодрость духа*) живо и в нынешнем русском языке. Оба новозаветных контекста имеют характер проповеди, обращенной к коллективному адресату (в Евангелии это ученики, в Послании Петра христиане Малой Азии, оба текста обращены к христианскому миру в целом). В речи Чацкого, не лишенной черт проповеди, актуализация подобных клише для характеристики духа народа выглядит вполне естественной¹⁴.

В древнерусской письменности церковнославянский топоним *бодрый дух* находил реализацию в двух основных контекстах — воинском и монашеском. Бодрствование подразумевало активное, деятельное начало и понималось при этом как синоним мужества в борьбе с врагом, в христианском контексте — дьяволом и грехом (ср. метафору «воин Христов» в отношении монаха, мученика). В летописях эпитет *бодрый* может использоваться в качестве характеристики князя-воина, ср., в частности, о князе Владимире Глебовиче в Киевской летописи под 6695 г.: *занѣ бѣ мужь бодръ и дерзокъ* [СРЯ XI–XVII, 1: 270].

В литературе XVIII — начала XIX в. очерченная традиция находит продолжение в разнообразных контекстах, объединенных отсылкой к новозаветному источнику. В моралистическом дискурсе — как у Н. А. Новикова:

Показывайте им [детям. — М. Б., Д. К.] ... какие неприятности и болезни, какие страшные зла влекут за собою... все грехи и пороки, как они мало-помалу ослабляют и унижают дух человеческий, низлагают *бодрость*, разрушают здоровье, сокращают жизнь, подрывают внешнее благосостояние, делают человека бесполезным, презренным, вредным членом человеческого общества (О воспитании и наставлении детей, 1783);

народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, *с трезвым и бодрым взглядом на жизнь*, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный» (В. О. Ключевский. Памяти А. С. Пушкина. 1899; здесь и далее цитаты без ссылок на издания взяты из НКРЯ).

¹⁴ Ассоциация с «Гефсиманским» контекстом Мф 26: 41 во французском и немецком языках, в отличие от русского, ослаблена (или ее нет вовсе), так как лексика переводов не так непосредственно связана с темой сна и бодрствования, как в русском и церковнославянском *дух бодр*. Во французских переводах этого стиха используется глагол *veiller* 'бодрствовать', ср., в частности, в так называемой Иерусалимской Библии: «*Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est faible*» (La Bible de Jérusalem); или в переводе Давида Мартена (1744): «*Veillez, et priez que vous n'entriez point en tentation: car l'esprit est prompt, mais la chair est faible*». В немецких переводах начиная с Лютера соответствующий пассаж из Мф 26 переводился с помощью антитезы воли и немощи: «*Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach*» 'дух силен (волей), но плоть слаба' (ср.: Дух бодр, плоть же немощна), ср. англ. *the spirit is willing*.

в дневниковой литературе — как у В. К. Кюхельбекера:

Много вкусил я горького в течение сих семи лет и девяти месяцев (и нынешний день не был для меня днем радости), но решаюсь безмолвно и безропотно переносить все, что бы мой великий и премудрый воспитатель ни налагал на меня; он воспитывает меня для вечности: ужели минутою страданья дорого купить то, что назначил он мне за рубежом земли? Шатки и слабы еще шаги мои по пути, которым он ведет меня; но он же сердцеведец, он видит, что я всею душою желал бы ему во всем последовать: *дух бодр*, плоть немощна! (Дневник, 12 октября 1833 [Кюхельбекер 1979: 278–279]);

в патриотической прозе — как у С. Н. Глинки:

Главное, отличительное качество людей русских, *дух бодрости* в опасностях явных, где они могут действовать в виду друг друга и соревнуя друг другу. «Не посрамим земли русской! Не выдадим себя!» Вот заветный отклик честолюбия русского народа (Из записок о 1812 годе [Глинка]).

Особое место в этом ряду занимает панегирическая и одическая традиция XVIII в., в которой бодрость характеризует государя — и в воинских делах (как прежде князя), и в созидательной деятельности. О *бодрости* как свойстве монарха — Петра Первого — говорит Феофан Прокопович в «Слове на похвалу блаженные и вечностойныя памяти Петра Великаго» (1725):

Петр наш! Петр — сила наша, которою и по смерти его мужествуем! Петр — слава наша, которою до скончания мира российский род хвалится не престанет! Не доставало ли ему *бодрости*, трудолюбия, терпения, который толь многия, далекия, безгодныя походы поднял?

Целый ряд контекстов такого рода можно найти у М. В. Ломоносова:

Надежды полный взгляд слова его скончал, / И *бодрый* дух к трудам на всем лице сиял (Петр Великий, 1760);

Сквозь дым, сквозь кровавых сверканье мечей, / Вперяет *бодрых* Петр внимание *очей* (Там же);

Сильнее тигров он и львов, / Геройска *бодрость* в нем избрана: / Иссохнет на земли поприще / Свирепость змиевых голов (Ода Петру Федоровичу, 1761);

Представив сего величество, красоту, могущество и славные действия и купно оного малость и худость, видим, что сего никому в свете произвести не было возможно, кроме исполинской смелости в предприятии и неутомимой в совершении *бодрости* Петровой (Слово похвальное Петру Великому, 1755)¹⁵.

¹⁵ Один из поздних примеров этой риторической традиции можно найти в манифесте о вступлении на престол Александра III: «Посреди великой нашей скорби глас Божий повелевает нам *стать бодро на дело правления*, в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину

Более того, бодрость — взаимное свойство нации (*народа1*) и государя, причем последний выступает источником активного, деятельного начала. Именно в контекстах такого рода и появляется слово *народ*. Так, Ломоносов во вступлении к «Древней российской истории» видит функцию государей в «ободрении» народа:

Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку вышшее восстановление, и к *ободрению утомленного народа* некоторым божественным промыслом воздвигнуты были *бодрые Государя* (Большая картотека ИЛИ РАН).

Ср.:

Екатерине скиптр вручен / Отчеством и домом править: / Народ наш тщился *ободрен* / Трудов Петровых не оставить (Ода Елисавете Петровне, 1761).

Героическая, воинская традиция в образе бодрого государя оказывается сопряжена с традицией сакрализации монарха, и царственная «бодрость» Петра отождествляется с деятельной «бодростью» божественного творца:

Какая похвала Российскому народу, / Судьбой дана — пройти покрыту льдами воду. / Хотя там кажется поставлен предел, / Но *бодрость* подают примеры славных дел (Петр Великий, 1760).

Примеры подобного рода можно было бы умножить.

Говоря об образе *бодрого государя*, нельзя не сказать о топосе *бодрого вождя*, хорошо известного в поэтическом языке эпохи — вплоть до «Пира во время чумы» (1830: «Когда могущая зима, / Как *бодрый вождь*, ведет сама / На нас косматые дружины»). В переводе «Одиссеи» В. А. Жуковский регулярно использует *бодрый* в качестве эпитета героя и царя (XI, 323: *бодрый Тесея*; XXIV, 17: *бодрый Аякс*), причем, как правило, эпитету *бодрый* нет соответствия в греческом оригинале. В «Истории» Н. М. Карамзина бросается в глаза едва ли не исключительная связь эпитета *бодрый* с фигурой князя, предводителя войска: *военачальник бодрый, бодрый воевода* (*воевода* используется как славянизированный вариант к *военачальник*). Вот иллюстрации:

[об Андрее Курбском. — М. Б., Д. К.] юный, *бодрый воевода* (т. VIII, гл. 1);

Многие люди воинские поверили самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда... в витязе ловком, искусном владеть мечом и коном; *военачальнике бодром* и бесстрашном: ибо Лжедмитрий был всегда впереди, презирая опасность (т. XI, гл. 1).

самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений» (О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России. 29 апреля 1881 г.).

В обоих случаях — и у Жуковского, и у Карамзина — есть элемент стилизации эпического языка. Карамзин мог знать древнерусское сочетание *мужь бѣдрь* (см. выше), примечательно, однако, что в карамзинских характеристиках вождей *бодрый* нередко притягивает к себе эпитет *умный* (*князь умный и бодрый, властитель умный и бодрый*):

Он [Мстислав. — М. Б., Д. К.] поручил сыновей брату Ярославу... и преставился в Владимире с именем *властителя умного, бодрого* (т. II);

Георгий... начал собирать войско и с нетерпением ждал прибытия своих братьев, особенно *бодрого, умного Ярослава* (т. III);

Там был воеводою *князь Феодор Мезецкий, умный и бодрый* (т. VIII).

Возможно, как заметил Б. П. Маслов (устное сообщение), здесь находит отражение летописное сочетание *муж мудр и храбр* (см. о нем [Маслов 2012: 51–52]). Как бы то ни было, парный эпитет *умный и бодрый* — и здесь мы подходим совсем близко к словоупотреблению Грибоедова — в «Истории» не нов. Русский XVIII век предоставлял, насколько можно судить по Словарю русского языка XVIII в., две возможности. Одна — парный эпитет *умный и бодрый* — встречается у Ф. Прокоповича: «<Зависть> *умна и бодра* вельми есть». Другая возможность состоит в обороте *бодрый умом*: «Стихотворцы от природы *силою ума бодры*, и аки бы нѣкоторым божественным духом вдохновенны бывают. Ломоносов СС II 72; Всѣм тѣлом дряхлая, но *бодрая умом*, И в логикѣ своей из первых мастерица: Лисица, Уединилася от свѣта и от зла, И проповѣдывать в пустыню перешла. Дмитриев. III 11» [СРЯ XVIII, 2: 88].

Однако для определения *умный (и) бодрый* в контекстах, подобных тем, что были процитированы из «Истории» Карамзина, существовал и готовый французский образец, а именно *sage et vaillant* ‘умный и бодрый’, именно как характеристика яркой личности — философа, государя, вождя¹⁶:

Socrate était aussi *sage que vaillant* (J. Laforgue, “Journal de langue et de littérature française”, 1830);

Pour louer la vie du *sage et vaillant* Macchabée (Marmontel, “Éléments de littérature”, изд. 1819);

Henri, Prince *sage et vaillant*, faisait prospérer le pays (L. Blondel, “Notice historique et topographique du Mont-Saint Michel en Normandie”, 1816);

Ce fut pourquoy ce *sage et vaillant* Prince... (J. Du Bellay, “Les regrets”, 1558).

Иллюстрации подобного рода легко умножить. Таким образом, стилизация Карамзина оказывается сплавом древнерусского узуса его источников и его собственных, ориентированных на французские модели речевых привычек.

¹⁶ *Chevalier vaillant* ‘chevalier vaillant, мужественный рыцарь’ известно уже в Песни о Роланде (XI в.) [TLFi: *vaillant*].

5. Сходную картину взаимодействия предшествующего русского узуса и западноевропейских моделей можно наблюдать и в интересующем нас контексте «Горя от ума». Грибоедов прибегает к уже знакомой нам комбинации эпитетов *умный* и *бодрый*, однако обозначает ею свойства не отдельного только человека (вождя, князя, государя), как в приводившихся выше цитатах из карамзинской «Истории», но свойства персонализированного народа. Похожим образом поступал Державин, говоря о персонализированной нации (*народе1*): *росский бодрственный народ*. Грибоедов делает следующий шаг: определение *умный, бодрый* он относит к «простому» народу (*народу2*). Иными словами, слову *народ* в значении ‘низшие сословия’ усваивается сочетаемость уже существовавшего ранее слова *народ* в значении ‘нация’.

Близкую аналогию формуле Чацкого можно видеть, по справедливому замечанию А. Л. Гришунина (см. цитату в начале этой работы), в той характеристике, которую Грибоедов дает опубликованным им запискам крестьянина Дементия Цикулина¹⁷: в этом сочинении Грибоедов видит «удивительный пример *ума и решительности простого русского народа*». Очевидно, что в сочетании со словом *народ* у Грибоедова *умный, бодрый* синонимично *умный*¹⁸, *решительный*¹⁹, хотя есть и обусловленные контекстом различия. (Семантическое различие состоит в том, что *решительность/решительный* — более специфичное качество по отношению к более общему *бодрость/бодрый*. В стилистическом отношении словоупотребление в монологе Чацкого относится к более высокому регистру, взаимодействуя с риторической и поэтической организацией текста.) Тем не менее в рамках этой синонимии *бодрость* подразумевает волю, энергию, сообразительность — словом, все те проявления деятельного, активного духа, которые произвели на Грибоедова такое сильное впечатление в судьбе автора записок. За формулой Чацкого стоит портрет крестьянина, подобного Дементию Цикулину.

Итак, в монологе Чацкого *бодрый* — это свойство народного духа, которое противопоставлено культурной анемичности элиты — вялой, бездеятельной, лишенной творческой

¹⁷ Грибоедов подготовил текст записок к публикации в «Северном архиве» (1825, ч. 14, № 8) и снабдил их примечаниями. Дементий Цикулин тринадцать лет провел в странствиях и мытарствах по разным странам Востока и, преодолевая лишения, в конце концов добился возвращения в Россию.

¹⁸ Эпитет *умный* в контексте пьесы имеет дополнительную смысловую нагрузку — это титульное слово, связывающее название комедии (в раннем варианте «Горе уму») с темой безумия Чацкого, с одной стороны, и с обсуждаемым определением народа — с другой (об эпитете *умный* в формуле *умный бодрый наш народ* см. [Фомичев 1983: 158–161]).

¹⁹ Такому употреблению слова *бодрый* ближе всего у Грибоедова, как кажется, контекст из драмы «Родамист и Зенобия», в котором *бодрость* противопоставлена лениности и, напротив, связана с трудами и подвигами («они поощряют меня на безленостную *бодрость*, неуспынные труды и на славные подвиги»). Другие употребления, отмеченные в словаре языка Грибоедова [Поляков 2008: 42], менее примечательны. В трех случаях *бодрый* отнесено к старику и имеет значение ‘крепкий (хотя и старый)’. В одном случае мы имеем дело со значением ‘бодрствующий, не дремлющий’: «Когда задремлет взор и слух, / Но *бодро* в нас воображенье» («Телешовой», 1824). Еще в одном (из письма) *бодрость* синонимично слову *смелость*: «смелых при счастье, но теряющих *бодрость*... при продолжительных неудачах».

воли, говорящей на заемном языке. Топос *бодрый дух* получает, таким образом, новый импульс в контексте национальной идеи романтического толка и связывается с представлением о народе как личности, о национальном характере и «природном» языке. Весь этот круг представлений у Грибоедова был общим с шишковским кругом, напитанным идеями Руссо и немецких романтиков (об «органицистическом национализме» Руссо см. [Живов 2008]; см. также [Зорин 2001: 167–170, 262, 352–363]).

6. Западноевропейские источники русского патриотизма предоставляли образцы таких построений. Французский и немецкий языки (которыми Грибоедов владел свободно) предлагали для формулы *умный бодрый наш народ* готовый материал: 1) франц. *homme sage et vaillant* в отношении человека (см. выше); 2) франц. *peuple vaillant* ‘бравый, энергичный, живой народ’ и, наконец, 3) нем. *klug und aufgeweckt* в отношении народа (*Volk* в обоих смыслах *народ1* и *народ2*, см. выше) ‘умный и живой’ (букв. ‘пробужденный, разбуженный’)²⁰.

Французское прилагательное *vaillant* (этимологически причастие настоящего времени от глагола *valoir* ‘стоять, цениться’) по своей семантике близко рус. *бодрый*²¹. В зависимости от контекста оно может выражать идею мужества (синонимы *brave, courageux, intrépide, valeureux*), идею борьбы с трудностями (*actif, diligent*) или идею крепкого здоровья (*robuste, vigoureux*) [TLFi: *vaillant*] и может служить определением как отдельного человека, так и народа, нации. Вот относящиеся к эпохе Грибоедова иллюстрации, приведенные в Словаре Французской академии:

Un vaillant Capitaine. C’est un peuple vaillant. C’est une nation fort vaillante [DAF: 720].

Выражение *peuple vaillant* ‘бодрый, храбрый народ’ находим в текстах патриотического дискурса эпохи Революции 1790-х гг. К нему прибегает, в частности, Мари-Жозеф Шенье — поэт и драматург, якобинец, автор патриотических песен — когда в «Dithyrambe pour la federation» (1792) воспеваает героизм народа-победителя:

Habitans des Cités, habitans des Campagnes,
Peuple vaillant, Peuple vainqueur,
Accourez, amenez vos enfans vous compagnes [Victoires 1821: 53].
«Обитатели городов, обитатели весей,
Бодрый народ, народ-победитель,
Сюда! Приводите, товарищи, ваших ребят».

²⁰ Неясно, могло ли французское выражение *sage et vaillant* быть прямым источником немецкого, этимологически они расходятся: *vaillant* ‘доблестный, храбрый; крепкий, бодрый’ — это причастие настоящего времени от глагола *valoir* ‘стоять, цениться’, в то время как нем. *aufgeweckt* — это причастие от глагола (*auf*)*wecken* ‘будить, пробуждать’.

²¹ Этимологически они, однако, не связаны. Семантика бодрствования во французском передается прежде всего глаголом *veiller* ‘бодрствовать, бдить, сторожить, хранить’; его причастие *veillant*, созвучное с *vaillant*, не развило адъективного значения.

Ср. у Руссо в рассуждении об отваге:

Pardonnez-le moi, *Peuple vaillant* et infortuné qui avez si long-temps rempli l'Europe du bruit de vos exploits et de vos malheurs. Non, ce n'est point à la bravoure de ceux de vos Concitoyens qui ont versé leur sang pour leur pays que j'accorderai la Couronne Héroïque, mais à leur ardent amour pour la Patrie et à leur constance invincible dans l'adversité. Pour être des Héros avec de tels sentimens, ils auroient même pu se passer d'être braves [Rousseau 1796: 21–22].

«Прости мне, о бодрый несчастный народ, который столь долгое время наполнял Европу слухом о своих подвигах и своих неудачах. Нет, вовсе не за отвагу даровал бы я венец героя тем из ваших сограждан, что пролили кровь за свою страну, но за их любовь к отчизне и за их непобедимую верность в беде. Обладая такими чувствами, они могли бы даже без отваги стать героями».

В то же время в одной из речей эпохи говорилось о «народе свободном, великодушном и крепком»:

Et toi, auguste Assemblée des représentans d'un grand peuple, d'un *peuple libre, généreux et vaillant*, toi, le seul espoir de ce peuple, et peut-être de tous les peuples du globe, montre-toi dans toute ta puissance [Annales patriotiques 1792: 135–136].

«А ты, высокое собрание представителей великого народа, народа свободного, великодушного и крепкого, ты, единая надежда этого народа и, возможно, всех народов мира, яви себя во всей твоей силе».

Об узусе французского *sage et vaillant* как характеристики (выдающейся) личности мы уже говорили. Очевидно, что пересечение сферы употребления двух выражений — *sage et vaillant* и *un peuple vaillant* — благоприятствовало усвоению французской сочетаемости *vaillant* в русском.

Близкой аналогией к *умный, бодрый народ* видится нам и немецкое сочетание *klug und aufgeweckt*: по данным гриммовского «Немецкого словаря» [DW: 657], оно может относиться и к отдельному человеку (в предикативном употреблении '(человек) живого ума', *aufgeweckter Geist* 'ясный ум, человек живого ума')²², и к нации, народу (*Volk*)²³. Похоже, вполне устойчивый характер имеет сочетание *klug und aufgeweckt*, в частности, у И. К. Готшеда (1730) в его переводе «Истории языческих оракулов» Фонтенеля (1687):

Zwar ist der Pöbel oder das Volk niemals sonderlich *klug und aufgeweckt* (il est vrai que ce qu'on appelle le peuple n'est jamais fort *éclairé*): indessen leidet doch seine

²² „Aufgeweckt, alacer, citus, munter, lebhaft: ein aufgewecktes mädchen; er wollte immer von aufgeweckten geistern umgeben sein. Wieland 6, 17; der ehrliche Pedrillo, aufgeweckt, sinnreich und spaszhaft. 12, 365; von lustigem aufgewecktem humor. Fr. Müller 3, 61“ [DW: 657].

²³ В качестве эпитета народа *aufgeweckt* может комбинироваться и с другими определениями: ein *munteres, aufgewecktes Volk* 'бодрый, живой народ' [Schmid 1788: 18]; ein *arbeitsames aufgewecktes Volk* 'работающий живой народ' [Hassel 1820: 618] и т. п. Употреблялось оно, возможно, не без влияния французского *sage et vaillant*, однако нам, к сожалению, не известно специальных работ на эту тему.

gewöhnliche Dummheit von Zeit zu Zeit einige Veränderung. Zum wenigsten giebt es Jahrhunderte, wo die ganze Welt Pöbel ist, und in solchen Zeiten ist es sehr bequem Irrthümer einzuführen [Fontenelle/Gottsched 1771: 455].

«Чернь, или народ никогда не отличается *живым умом* (у Фонтенеля букв. “просвещенностью”): и все же время от времени обыкновенная его глупость бывает подвержена изменениям. По меньшей мере, бывают столетия, когда весь свет — чернь, и в такие времена очень удобно вводить заблуждения».

В немецком патриотическом дискурсе эпохи наполеоновских войн, идеи которого питали русский национализм, такая фразеология обнаруживает очевидные параллели. Близкие формулировки можно видеть в обоих ключевых сочинениях этого направления, которые были хорошо известны в кругу А. С. Шишкова, — «Дух времени» Э. М. Арндта и «Речи к немецкой нации» И. Г. Фихте (см. [Земскова 2004]; о понятиях живого народа (*lebendiges Volk*) и живого языка (*lebendige Sprache*) в «Речах» Фихте см. [Тесля 2014]). Приведем лишь одну из ярких параллелей такого рода:

Die teutsche Nation hat vor Jahrhunderten den Ruhm gehabt, sie sey ein *stilles, fleißiges und tapferes Volk, sinnig und erfinderisch* und durch Natur und Gemüth zum Forschen und Nachdenken über die himmlischen Dinge gezogen [Arndt 1807: 44].

«Много веков назад немецкая нация имела славу спокойного, трудолюбивого и *бодрого народа, умного и изобретательного*, по природе и духу своему расположенного к исследованию и размышлению».

Не случайно в последующей истории понятия «бодрость» (говорить о ней не позволяют рамки этой работы) ближайшее продолжение словоупотребление Грибоедова находит в узусе русских славянофилов. Как будто продолжая прерванную фразу «Горя от ума», И. С. Аксаков напишет в 1863 г.:

Да и в отношении к одному ли уму представляется такая противоположность между русским народом и русским обществом? Умный народ — малоумное общество, *бодрый, трудолюбивый народ* — ленивое, вялое общество (Отчего безлюдье в России, 1863).

Воплощением этого народа — как прежде Грибоедову Дементий Цикулин — видится Аксакову царственная фигура мужика:

Все один и тот же зимний ландшафт, все попадались лошаденки маленькие, избенки бедные, занесенные снегом, ель да ель, и только раз среди дороги явился мне царем зимы *бодрый, высокий русский мужик*» (Письмо к матери и сестрам, 1860 [Аксаков 1892: 349]).

Литература

Аксаков 1892 — [И. С. Аксаков.] И. С. Аксаков в его письмах. Ч. 1. Т. 3: Письма 1851–1860 годов. Поездка в Малороссию. Ополчение. Путешествия за границу. М., 1892.

БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1. М.; Л., 1948.
Глинка — *С. Н. Глинка*. Из записок о 1812 годе. URL: <http://www.museum.ru/museum/1812/Library/glinka1/glinka.html#p1>.

ГоУ б. г. — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума. Берлин: Литература.

ГоУ 1831 — [*A. S. Gribojedow*.] Gоре от ума oder Leiden durch Bildung. Lustspiel in vier Aufzügen, aus dem Russischen des Gribojedow (=Russische Bibliothek für Deutsche. 3. Heft). Reval, 1831.

ГоУ 1833 — [*А. С. Грибоедов*.] Горе от ума. Комедия в четырех действиях, в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Грибоедова. М., 1833. Факсимильное издание: М., [1988].

ГоУ 1858 — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума. Полное издание Юрия Приваловского. Лейпциг, 1858.

ГоУ 1889 — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума // *А. С. Грибоедов*. Полное собрание сочинений. Т. II (Поэзия). СПб., 1889.

ГоУ 1913 — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума // *А. С. Грибоедов*. Полное собрание сочинений. Т. 2 / Под ред. и с примечаниями Н. К. Пиксанова. СПб., 1913.

ГоУ 1921а — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума (=Библиотека русских классиков). Шанхай: Т-во печатного и издательского дела А. П. Крюков, В. К. Мартенсен и Ко., 1921.

ГоУ 1921б — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума // Русские писатели / Под ред. академика И. А. Бунина. Издание объединения земских и городских деятелей заграницей. Париж, 1921. С. 257–374.

ГоУ 1923 — *А. С. Грибоедов*. Горе от ума. Книжные украшения В. Масютин. Берлин: Нева, 1923.

ГоУ 1995 — *А. С. Грибоедов*. Полное собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1: Горе от ума / Подготовка текста и комментарии А. Л. Гришунина. СПб., 1995.

Гришунин 1995 — *А. Л. Гришунин*. Комментарии // *А. С. Грибоедов*. Полное собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. СПб., 1995. С. 257–348.

Даль — *В. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1989.

Державин 1957 — *Г. Р. Державин*. Стихотворения. 2-е изд. / Вступительная статья, подготовка текста и общая редакция Д. Д. Благого. Примечания В. А. Западова. Л., 1957. (Библиотека поэта. Большая серия).

Живов 2008 — *В. Живов*. Чувствительный национализм // НЛО. 2008. №91. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/91/zh7.html>.

Живов 2009 — *В. Живов*. История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М., 2009. С. 5–26.

Зализняк 2013 — *Анна А. Зализняк*. Русская семантика в типологической перспективе. М., 2013.

Земскова 2004 — *Е. Е. Земскова*. Русский патриотизм в немецком переводе: А. С. Шишков в воспоминаниях Э. М. Арндта // Труды Русской антропологической школы. Т. 2. 2004. С. 89–98. URL: <http://kogni.ru/text/zemskova.htm>.

Зорин 2001 — *А. Зорин*. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.

Кюхельбекер 1979 — *В. К. Кюхельбекер*. Дневник (1831–1845) // В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 64–433.

МАС — Словарь русского языка в четырех томах. Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 1. М., 1981.

Маслов 2012 — *Б. П. Маслов*. «По закону языка нашего»: Семантические заимствования как предмет истории понятий // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. М., 2012. С. 39–57.

Пиксанов 1971 — *Н. К. Пиксанов*. Творческая история «Горя от ума». М., 1971.

Пиксанов 1987 — [*Н. К. Пиксанов*.] История текста «Горя от ума» и принципы настоящего издания // А. С. Грибоедов. Горе от ума. Изд. 2-е, доп. М., 1987. С. 388–443.

Поляков 2008 — *А. Е. Поляков*. Словарь языка Грибоедова. Т. 1. А–З. М., 2008.

САР I–VI — Словарь Академии Российской. Ч. I–VI. СПб., 1789–1794.

СДРЯ XI–XIV — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. V. М., 2002.

СРЯ XI–XVII 1–30 — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–30. М., 1975–2016.

СРЯ XVIII 1–21 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–21. Л.; СПб., 1984–2016.

Срезневский I–III — *И. И. Срезневский*. Словарь древнерусского языка. Т. I–III. М., 1989.

СЦСРЯ I–IV — Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. I–IV. СПб., 1847.

Тесля 2014 — *А. Тесля*. «Речи к немецкой нации» Фихте: нация, народ и язык // Полития. № 1. 2014. Интернет-версия в: Русский журнал. URL: <http://www.russ.ru/pole/Rechi-k-nemeckoj-nacii-Fihte-naciyu-narod-i-yazyk>.

УкСлД — Указатель словоформ к СС Г. П. Державина. URL: http://www.rvb.ru/18vek/derzhavin/wt_index/toc_index.htm.

Фомичев 1983 — *С. А. Фомичев*. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий: Книга для учителя. М., 1983.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 3. М., 1976.

Annales patriotiques 1792 — *Annales patriotiques et littéraires de la France*. 1792. № 31.

Arndt 1807 — *E. M. Arndt*. Geist der Zeit. 2. Auflage 1807.

DAF — Dictionnaire de l'académie française. 5ème éd. Paris, 1814. Т. 2.

DW — Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 1. Bd. Leipzig, 1854.

Fontenelle / Gottsched 1771 — *B. von Fontenelle*. Historie der Heidnischen Orakel... aus dem Französischen übersetzt // Herrn Bernhards von Fontenelle Auserlesene Schriften. Leipzig, 1771. S. 441ff.

Hassel 1820 — *J. G. H. Hassel*. Vollständige und neueste Erdbeschreibung des Britischen Reichs und der Ionischen Inseln. Weimar, 1820.

Rousseau 1796 — *J.-J. Rousseau*. Discours sur cette question: Quelle est la Vertu la plus nécessaire aux Héros; et quels sont les Héros, à qui cette Vertu a manqué? // *J.-J. Rousseau. Œuvres complètes*. T. 13ème. Lyon, 1796. P. 5–31.

Schierle 2005/2006 — *I. Schierle*. „Vom Nationalstolze“: Zur russischen Rezeption und Übersetzung der Nationalgeistdebatte im 18. Jahrhundert // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. 64. 2005/2006. S. 63–85.

Schmid 1788 — *F. V. Schmid*. Allgemeine Geschichte des Freystaats Ury. Zug, 1788.

TLFi — Le Trésor de la Langue Française informatisé. URL: <http://atilf.atilf.fr/>.

Victoires 1821 — *Victoires, conquêtes des Français de 1792 à 1815*. Couronne poétique. Fac simile. Paris, 1821.

При ссылках на электронную версию дата просмотра: 25.09.15.

Marina A. Bobrik

*National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

Dmitry Ja. Kalugin

*National Research University Higher School of Economics
(Saint Petersburg, Russia)*

“BODRYI NASH NAROD”: SEMANTICS OF *BODROST* IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN NATIONAL IDEA

The paper investigates the well-known passage of Alexander S. Griboyedov’s comedy *The Woes of Wit* (“Gore ot uma”), where the protagonist Chatsky characterizes the Russian people as *bodryi nash narod* (Act 3, Scene 22). It is the earliest known context for this word combination. Its semantics, seen in the broader context of the Russian national discourse of the epoch, demonstrates interaction of Old Russian and Western European language patterns. We propose a reconstruction of the sources of Griboyedov’s innovation. Our text-critical investigation has revealed that different editions and MSS of Griboyedov’s comedy present two variant readings in this phrase — *bodryi / dobryi*, and that the latter was dominant throughout the 19th and in the beginning of the 20th century, although there can be no doubt about the authenticity of the former. Griboyedov uses the word *narod* in the meaning (new for his time) ‘lower social strata’, influenced by the corresponding meaning of the French *peuple*. Of importance for the semantics of the epithet *bodryi* is the New Testament cliché *bodrost’ duxa*, on the one hand, and the French and German expressions *peuple vaillant, klug und aufgeweckt (-es Volk)*, on the other. In Griboyedov’s comedy *bodryi* denotes a special feature of the national spirit (“awakedness”) as opposed to the moral anemia of the cultural elite.

Keywords: historical semantics, A. Griboedov’s language, national discourse.

Б. П. Маслов

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербург, Россия)*

*Чикагский университет
(Чикаго, Иллинойс, США)*

«ЛЮБЯ ВСЕЛЕННЫЯ ПОКОЙ»:

ЗАМЕЧАНИЯ К ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ*

История представлений о державном покое в России в XVIII — нач. XIX вв. рассматривается в статье в свете предложенной В. М. Живовым концепции государственного Просвещения. В то время как Феофан Прокопович предпочитает покою деятельную героическую парадигму, в текстах Ломоносова, Державина и Жуковского понятия покоя и тишины связываются с царским «доверием» к подданным, топикой «златого века» и «златых времен» (ср. лат. *pax aurea*) и риторикой имперского миротворчества. Так, у Ломоносова елизаветинский покой соотносится с понятием счастья, наряду с другими аффективными и социо-политическими понятиями, которые соединяются друг с другом по законам внутренней формы и рифмы (ср. цепочку *ограда-отрада-радость-сладость-легкость-веселье*). В результате «эмансипации культуры» (термин В. М. Живова), когда между государством и литературой устанавливаются новые отношения, происходит расщепление и поляризация компонентов аффективно-политического понятийного континуума. Последствия этого процесса анализируются на материале лирики Пушкина. В стихах «Пора, мой друг, пора» «покой и воля» дальней обители, в которую стремится лирический субъект, отсылают к концовке юношеской «Вольности» («народов вольность и покой»), но оказываются противопоставлены «счастью». Таким образом, на новом материале подтверждается гипотеза В. М. Живова о типе зависимости пушкинской топики от одической традиции: политические понятия ставятся на службу мифологии поэта.

Ключевые слова: историческая семантика, Просвещение, ода, топка, Ломоносов, Пушкин.

* Автор выражает признательность коллегам, которые участвовали в обсуждении доклада по этой теме на конференции памяти В. М. Живова в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН в октябре 2014 г., а также А. Б. Бломбауму, Ю. В. Кагарлицкому и Д. Я. Калугину, отозвавшимся на черновой вариант статьи. Статья подготовлена в ходе работы над проектом «Реформа русского стиха XVIII века: генезис и эволюция форм», финансируемым Научным Фондом НИУ ВШЭ.

Русское Просвещение — это петербургский мираж.

(В. М. Живов.

*Государственный миф в эпоху Просвещения
и его разрушение в России конца XVIII века*¹)

1. «Государственное Просвещение» и новая русская литература

Одной из тем, над которыми много размышлял В. М. Живов, было влияние специфического характера российского Просвещения на эволюцию русской литературы и культуры. Если в Западной Европе Просвещение ознаменовалось эмансипацией общества от государства, то в России именно государство играло главную роль в создании аналога публичной сферы, в пределах которой в XVIII в. осваивались заимствуемые из Европы культурные, в том числе литературные, практики [Живов 1989; 1996: 422–427]. С другой стороны, согласно В. М. Живову, само становление в России надконфессионального, характерного для Нового времени государства проходило под влиянием изменений в политической структуре европейских монархий после Тридцатилетней войны [Живов 1989: 441–444]. Абсолютистское государство, которое начал создавать в России уже Алексей Михайлович, получает гипертрофированные формы вследствие столкновения с мессианистическими представлениями о царской власти и консервируется на периферии Европы, принимая на себя и те просвещенческие функции, которые в центре Европы принадлежали обществу как контрагенту государства.

Развивая исходные тезисы В. М. Живова в духе ранней книги Райнхарта Козеллека «Критика и кризис» [Koselleck 1959], можно предположить, что те этические императивы, которые западноевропейское общество в эпоху Просвещения сперва ставило в упрек, а затем успешно навязывало государственной политике с помощью таких своих инструментов влияния, как литература и журналистика, тем самым разрушая в целом благотворный (с точки зрения Козеллека) общественный договор, заложенный в основе абсолютистских режимов, — эти императивы в контексте русской культуры XVIII в. не могут рассматриваться в том деполитизированном качестве, в котором они функционируют в современном культурном сознании. В XVIII в. русская литература стремилась не столько к размежеванию этики и политики, сколько к осмыслению политического (нового, созданного Петром российского государства) как необходимого условия существования этики. Как следствие, в конце царствования Александра I, когда дворянская литература в полной мере осознала себя как институт, противопоставленный государству, поэты, размышлявшие о должном и недолжном, достойном и недостойном в поведении человека, оперировали понятиями (*мир, покой, гордость, доверие, счастье, довольство, вольность, свобода*), которые были проникнуты державным политическим самосознанием. С приходом же к власти Николая I в России почти на целое столетие устанавливается новый тип абсолютистского правления, отныне осмысляемого как исконно русское

¹ Ср. [Живов 1989: 449].

«самодержавие», с которым литература вступает в неоднозначные отношения, часто резко полемические, нередко примиренческие, а иногда и партнерские.

Данный взгляд на историю русской культуры позволяет по-новому осмыслить по крайней мере три черты новой русской литературы, выделяющие ее на фоне общеевропейского литературного процесса. Во-первых, это значение жанра торжественной оды как основной платформы для развития национальной литературной традиции. Панегирические оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина — больше чем панегирики, поскольку они не столько утверждают статус-кво, сколько творят тот «петербургский мираж», который потомки будут путать с исторической реальностью XVIII в. Дух преодоления того, что «всего лишь существует» («das bloß Seiende»), которым, как полагал Теодор Адорно [Adorno 1970: 9–18], живо искусство, в те десятилетия — в отсутствие иных подходящих помещений — дышал в России при императорском дворе. Второй парадокс — это положение А. С. Пушкина как романтика, преодолевшего романтизм. Многосторонность пушкинского творчества получает объяснение в свете того, что в нем отразились как короткий период отторжения политики, так и потребность в новом договоре с монархией. Сложные отношения Пушкина с наследием абсолютистского мышления можно проследить в разных жанрах, но в лирике они проступают особенно наглядно — от лицейских «Воспоминаний в Царском селе» до «Стансов», стихов на взятие Варшавы и «Пира Петра Великого». Наконец, в этом контексте нельзя не упомянуть об актуальности одической традиции для поэтики Тютчева, позднего романтика-дилетанта, внешняя независимость которого от литературной конъюнктуры скрывает под собой весьма симптоматичное для эпохи сближение самодержавия и высокой лирики. Историко-литературные работы о Тютчеве свидетельствуют о том, что подобный симбиоз был бы невозможен без имперской предыстории литературы русского Просвещения [Тынянов 1923; Пумпянский 1928; Толстогузов 2003; Маслов 2010].

Как бы ни складывались в XIX в. отношения между государством и литературой, это были отношения институций, уже не нуждающихся во взаимной легитимации. Однако процесс обособления культуры от политики проходил на единой символической территории. Поэтому, как предположил В. М. Живов, в России мифология поэта возникает из мифологии государства:

Эмансипация культуры освободила <...> огромный религиозно-мифологический потенциал, который прежде — в русском Просвещении — был отнесен к государству и монарху как устроителям космической гармонии на земле и создателям новой Аркадии. Этот религиозно-мифологический потенциал был перенесен теперь на саму культуру, и поэт получил те мироустроительные харизматические полномочия, которые ранее усваивались императору [Живов 1989: 456].

Согласно высказываемой далее В. М. Живовым гипотезе, топика не просто переходит из сферы политики в сферу поэзии, а получает при этом специфическое «смысловое задание», противопоставляющее поэзию и государство, поэта и царя. Такова, например, судьба мотива этнографического многообразия, связанного с формулой «от... до». У Ломоносова этот мотив описывает распространение имперского Просвещения, у Державина — приписывается посмертной славе поэта,

а в пушкинском «Памятнике» — окрашивается конфронтацией «александрийского столпа» и пушкинского нерукотворного памятника. Иными словами, у Пушкина новый, державинский узус входит в конфликт со старым, ломоносовским.

Исследование литературной топики тесно соприкасается с другим направлением исследований, на которое работы В. М. Живова оказали значительное влияние, а именно с исторической семантикой². Применение методологии истории понятий к литературе, в частности историко-семантический анализ понятий, распространенных в тех или иных жанрах или регистрах литературного языка, представляет собой насущную задачу в изучении истории русской культуры, поскольку собственно исторические и социополитические понятия, как правило, происходящие из дискурса философии, в России не имели той самостоятельности, которыми они обладали в западноевропейских языках [Живов 2009б: 9–11].

2. Державный покой и царское доверие

Семантическое поле, образуемое понятиями покоя, тишины и мира, генеалогически связано с имперской охранительной риторикой, и эта связь продолжала осознаваться в течение всего XIX в. Как я постараюсь показать, применительно к данному семантическому полю уместно говорить об особом типе понятий, совмещающих в себе отсылку к политическим явлениям и эмоциональным аффектам. В настоящей статье я остановлюсь лишь на некоторых моментах истории «политико-аффективного» понятия покоя в России, связанных с перипетиями державного самосознания в XVIII — первой половине XIX в.; тема эта требует дальнейшего изучения.

Обращаясь к семантике состояний покоя в русском языке и культуре, нельзя не упомянуть о двух трудностях, которые заключает в себе эта тема. Первая из них связана с многообразием лексических выражений данного общего значения. С этой проблемой столкнулся уже Фонвизин, который в «Опыте российского сословника» трактует слова *мир*, *тишина* и *покой* как семантически однородные:

Все сии слова знаменуют состояние, никакому волнению не подверженное; но *мир* означает оное относительно ко внешним неприятелям; *тишина* — к будущему или прошедшему приключению; *покой* изображает сие состояние без всякого отношения [Фонвизин 1959, 1: 235].

Хотя коннотации такого рода подвержены историко-культурным изменениям, они оказываются затушеваны видимым смысловым единством этих слов-понятий.

Вторая трудность связана с типологической распространенностью понятий, которые описывают обеспечиваемый государственной властью статус-кво как состояние покоя или спокойствия. Позитивный ореол у таких понятий возникает спонтанно в разных культурных контекстах, когда на первый план выходят консервативные идеологии (ср. понятие «стабильности» в России 2000-х гг.). Есть ли

² См. статьи в сборниках [Живов 2009а] и [Живов и Кагарлицкий 2012].

у этих понятий предыстория или же мы имеем дело со своего рода произвольными социополитическими рефлексам? Насколько значима генеалогия понятий, для которых столь характерен полигенез?

Несмотря на эти методологические трудности, изучение исторической семантики состояния покоя на русском материале все же представляется и насущной, и посильной задачей. Прежде всего, следует отметить, что *покой* осознавался носителями российской культуры как важный компонент имперского самосознания, особенно в период после Французской революции. Так, Екатерина II написала на полях «Путешествия из Петербурга в Москву»: «все сие на стр. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, и клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства; сочинитель не любит слов тишина и покой» [Радищев 1949: 669]. Ю. М. Лотман отмечал, что А. Н. Радищев был решительным критиком «тишины и покоя» как категорий, легитимирующих деспотическую власть [Лотман 1965: 151–153]. В позднейших текстах эти категории преломляются часто непредсказуемым образом.

Весьма любопытны с этой точки зрения первые строки «Родины» М. Ю. Лермонтова:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

В этих строчках отвергаются три мотивировки патриотической темы, тесно связанной с панегирической традицией: героическая («слава, купленная кровью»), имперская («полный гордого доверия покой») и романтическая («темной старины заветные преданья»). Все они кажутся недостаточными: в начале сороковых годов — и «на многие годы вперед» — для поэтического вдохновения требуется новая «социально-эстетическая программа» [Гинзбург 1940: 191–192], предполагающая погружение в толщу народной жизни, синекдохами которой служат реалистические детали, от «дымка спаленной жниввы» до «говора пьяных мужичков».

Почему державный покой у Лермонтова полон «гордого доверия»? *Доверие* в первой половине XIX в. было относительно редким словом. Так, Пушкин не использует его; глагол же *доверять* встречается у него дважды, и оба раза применительно к государю. Слова Бориса Годунова о том, что «Шуйскому не должно доверять», следует прочитывать не как свидетельство внутренних сомнений драматического героя (именно так эту реплику интонирует Мусоргский), а как решительное утверждение, лишшающее вельможу «царского доверия» (*confiance de roi*)³.

³ Ср. «А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу»

Второе употребление представляет не меньший интерес. В «Заметках по русской истории XVIII века» (1822) Пушкин рассуждает о том, что «Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон» [Пушкин 1949: 14]. Предполагая неминуемость конфликта между свободой и монархическим правлением, Пушкин объясняет «просвещенческие» (модернизаторские) установки Петра особым качеством имперского самосознания — «доверия» собственному могуществу, — которое воплощает Петр. Этот особый державный эффект делает возможным насаждение культуры без страха республиканских чаяний как ее неизбежного следствия. Таким образом, парадокс государственного Просвещения, о котором писал В. М. Живов, Пушкиным осмысливается при помощи отсылки к понятию доверия-самоуверенности как к категории политического мышления. Как показывает этот пример, из значения глагола *доверять* ‘полагаться на что-то, быть уверенным в чем-то’ развивается коннотация ‘уверенность в себе, заключающаяся в себе властное самоутверждение’ и у существительного *доверие*⁴.

Едва ли не единичный контекст использования понятия *доверие* в поэтической традиции описывает отношения между монархом и его подданными. В переводе Первой Пифийской оды Пиндара (1800) Державин с помощью выражения «руль доверья» передает фразу *δικαίῳ τηδ᾿αἰλίῳ*, которая в доступных ему немецких переводах переводится буквально как «mit gerechtem Steuer» (‘справедливым рулем’)⁵. Таким образом, *доверье* замещает у Державина *Gerechtigkeit* ‘справедливость’, что, вероятно, связано с контекстом, в котором возник перевод: больной Гиерон у Пиндара вызывает ассоциации с отдаленным от двора умирающим Суворовым, в немилости у Павла и сам переводчик [Жоплан 1922].

Меж тем рождают приятней зависть,
Чем сожаленье нам. — И ты
Не преставай идти вслед славе:
Рулем доверья правь народ,
Суд искушай в горниле правды,
Малейшу искру от царя
Свет за большой пожар считает;
Тьмы вокруг свидетелей тебя [Державин 2002: 299–300].

(А. А. Бестужев-Марлинский. Он был убит, 1835–1836 [Бестужев-Марлинский 1958, 2: 263]). «“Я жертвую всѣмъ: довѣріемъ, которымъ пользуюсь при Дворѣ и в народѣ, сокровищами, недвижимымъ имѣніемъ — только бѣ Король призналъ васъ, и позволилъ воевать съ Россією,” сказала Воевода» (Ф. В. Булгарин. Дмитрий Самозванец, 1830 [Булгарин 1830, 3: 150]).

⁴ «Несколько раз взводил и опускал он курок, уставя на меня дуло, а между тем взглядывал на меня исподлобья. Но будь он в десять раз пронизательнее, он и тогда бы не увидел на лице моем тени того, что происходило внутри: я спокойно курил трубку. Никто в свете не ценит лучше азиатцев полного доверия и отваги. Я заметил уже, что Мулла-Нур был сам не свой от удальства» (А. А. Бестужев-Марлинский. Мулла-Нур, 1836 [Бестужев-Марлинский 1958, 2: 456]).

⁵ «Lenke mit gerechtem Steuer dein Volk» [Gedike 1779: 20]; «Mit gerechtem Steuer lenke das Volk» [Voss 1838: 86].

Царское доверие по отношению к достойным — а именно этого качества не хватает Павлу — служит залогом того «спокойства», которое гарантирует державное правление и которое, вслед за Пиндаром, воспевают Державин⁶.

В противоположность современной трактовке этого понятия власть является не объектом, а субъектом доверия. В свете этого неудивительно, что у Лермонтова имперское доверие характеризуется как «гордое». Между тем в этом лермонтовском употреблении, несомненно, есть зачатки того отторжения по отношению к элитарной «петербургской» культуре, которое, согласно Живову, вышло на авансцену российской истории в 1850-е гг. В поэтическом языке гордости с положительными коннотациями не существовало⁷.

Царское доверие — это возможность положиться на добрую волю подданных в исполнении должного, т. е. высшая форма эффективного управления, которое обходится без насилия и даже без прямого вмешательства. При относительной редкости этого слова знаменательно, что о своем доверии говорит Александр в преамбуле к Манифесту 19 февраля 1861 г.:

Мы начали сіе дѣло актомъ нашего довѣрія къ Россійскому Дворянству, къ извѣданной великими опытами преданности его Престолу и готовности его къ пожертвованіямъ на пользу Отечества [ПСЗ 1863: 131].

Речь в данном контексте идет о высочайшей воле передать подготовку Акта об освобождении крепостных в руки дворян — наименее заинтересованной в этом стороны. Державный покой представляет собой именно то состояние политического тела, при котором оно подчинено принципу исходящего от царя доверия. Как мы видим, *покой* и *доверие*, с одной стороны, оказываются понятийными противовесами по отношению к *свободе* как базовой республиканской ценности, а с другой — заменяют собой такие принципы, как законность и справедливость, которые уже в античности служили разграничению между монархией и тиранией.

3. *Rex augea*: попытки культурного импорта

Порядок перечисления мотивировок патриотической темы в «Родине» Лермонтова не случаен: военная слава, исполненный доверия покой, народность. Он отражает и ту последовательность, в которой эти типы политического мышления сменялись в российской истории. Этос Петровского времени — героический, а не миротворческий — основан на действии, а не на статике и в этом прямо противопоставлен идеологии тишайшего отца Петра, к которой отсылали находившиеся в оппозиции к политике Петра и чаявшие возвращения к старине аристократы, такие

⁶ «Молю тебя, молю, сын Хронов! / Да страшный рев военных труб / Спокойства больше не смущает, / Ни Тирян, ни Финикьян днесь» [Державин 2002: 299].

⁷ О возражении Филарета Дроздова против употребленного Александром II выражения *горжусь вами*: [Живов 2002а: 693, примеч. 4].

как Б. П. Шереметев и В. В. Долгоруков (ср. [Bushkovitch 2001: 157–160]). Феофан Прокопович прямо полемизировал с теми, для кого покой был фундаментальной социополитической ценностью. В «Слове о флоте российском» 1720 г. он говорит о тех, кто «вельми похваляют покой жития сельского, а не разсуждают того, что покой сей без воинских, правительственных и судебных непокоев быти не может». Феофан здесь играет в сурового практика, и полемика направлена будто бы на «неких стихотворцев»⁸. Однако тема борьбы с бездействием и нерадением — одна из любимых в проповедях Феофана [Уффельманн 2002; Маслов 2009: 239–247].

Любопытное словцо *непокой* в языке Феофана — это заимствование из польского либо из украинского (ср. польск. *niepokój* и укр. *непокій* в значении ‘беспокойство’)⁹. Таково же происхождение значения слова *покой* как антонима войны: значение ‘отсутствие вражды’ (*пак*, а не *quies*) представляет собой семантическое заимствование из польского *pokój* ‘мир’¹⁰. Хотя это новое значение, не засвидетельствованное в древнерусском, налицо в памятниках Петровской эпохи, кристаллизация державного покоя происходит позднее, в эпоху императриц, которым петровская идеология героического действия подходила плохо. С. Бер и В. М. Живов, а вслед за ним Р. Уортман писали о том, что во время царствования Елизаветы и Екатерины II как в придворных зрелищах, так и в жанре торжественной оды начинают доминировать темы золотого века, благоденствия и миротворчества [Baehr 1979; Живов 1989: 450–452; Уортман 2002: 122–152]. Интересно, что к Екатерине I и к Анне Иоанновне панегиристы еще пытались приладить воинственную риторику¹¹. Например, в досиллаботонической оде на сдачу Гданьска В. К. Третьяковско-го Анна «блещет чудным шлемом» и «мещет копие» наподобие Минервы¹².

С другой стороны, топику покоя можно найти и в текстах Петровской эпохи. Речь идет о смене акцентов, под которой угадывается смена парадигмы. Красно-речивый пример тому — строки из начала «Эпиникиона» Феофана Прокоповича, написанного на победу под Полтавой. Текст этот составлен Феофаном на латыни, затем им же переведен на польский и церковнославянский¹³. Весь текст выдержан

⁸ «Суетловие есть, естли не безумие, неких стихотворцев, котории так плаванія воднаго ненавидят, что и первых того изобретателей проклинаят. Обычно господа онии вымыслы своя нарицают неким восхищением, или восторгом, — да часто им в восторгах своих недоброе снится. Охуждают навигацию, но плодов ея не отмечают. Подобне они же страхов воинских, правительственных попечений и судебных трудов не любят и вельми похваляют покой жития сельского, а не разсуждают того, что покой сей без воинских, правительственных и судебных непокоев быти не может» [Прокопович 1961: 106–107].

⁹ Русское слово *непокой* приводится в Большом академическом словаре как разговорное [ССРЛЯ VII: 1057]; слово встречается в «Коньке-Горбунке» П. П. Ершова.

¹⁰ Заимствование фиксируется с начала XVII в. (см. [Kochman 1967: 131–132]).

¹¹ Более подробно об этой проблеме: [Maslov 2014: 45–46].

¹² «Что ж чудным за власть шлемом блещет? / Не Минерва ль копие мещет? / Явно, что от небес посланна, / И богиня со всего вида, / Страшна и без щита эгида? / Императрица есть то Анна» [Третьяковский 1963: 130].

¹³ В киевский период Феофан следует грамматическим нормам церковнославянского, а после переезда в Россию переходит на великорусскую практику русифицированного, «гибридного»

в героическом модусе — вдохновляется Феофан именно «славой, купленной кровью», — но в начале кратко говорится и о возвращении мира:

At postliminio niveis redit aurea bigis
Pax, Comitemque trahit securam fronte salutem.

И на белоснежной колеснице возвращается из изгнания золотой
Мир и ведет Спутника, благоденствие с безмятежным челом.

Как отметил Д. Л. Либуркин, чей перевод я здесь привожу [Либуркин 2000: 55–56], эти строки содержат аллюзию на стихотворение Сарбевского, едва ли не самого именитого неолатинского поэта:

Et salus, et pax niveis revisit
Oppida bigis

И благоденствие и мир вновь посещают
На белоснежной колеснице города.

Существенно, однако, что Феофан не просто цитирует Сарбевского, но и отсылает к топосу *pax aurea* ‘золотой мир’ (эпитет *aurea* добавлен Феофаном). Хотя здесь несомненна контаминация с римскими понятиями золотого века и *pax augusta*¹⁴, этот топос — постклассический. Он получил достаточно широкое распространение в Европе [Maslov 2014: 37]. К примеру, почти в то же время, когда Феофан сочинял «Эпиникион», английский поэт Ричард Бьюрридж (Richard Burridge) использовал понятие «golden Peace» в своей оде императрице Анне¹⁵.

В этом контексте любопытно, что Феофан в переводе «Эпиникиона» на русский не решается дословно перевести эту латинскую фразу. В переводе эпитет «золотой» пропадает:

Ко нам же возвращенный грядет мир веселий
И безбедно здравие ведет со собою.

Словосочетание «золотой мир» всего один раз встречается в одах Ломоносова¹⁶, у В. А. Жуковского мы находим «златую тишину»¹⁷. Более распространен-

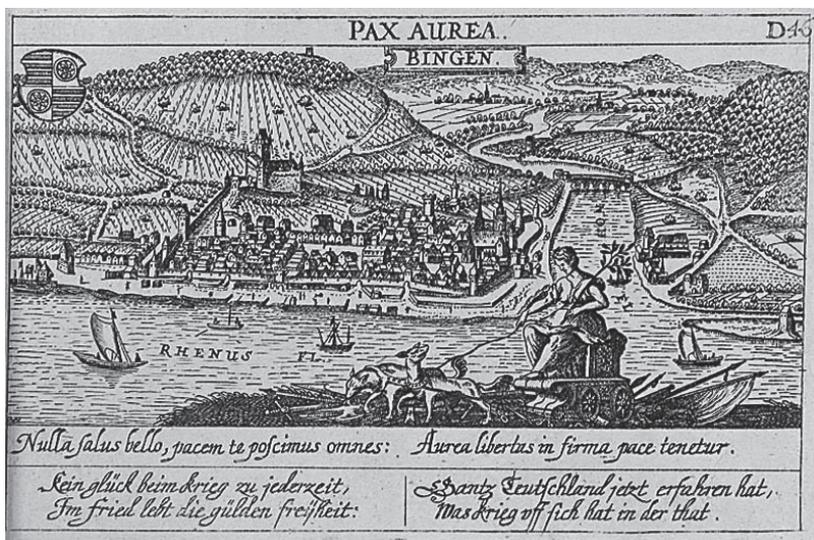
славянского [Живов 1985; 1996: 381–382].

¹⁴ Золотой век: [OLD: 217: *aurea aetas, aureum saeculum*]. Гораций говорит также об *aurea copia* (Ep. 1.12.28). В сочетании с «Romana (Augusta, etc.)» *pax* означает «состояние порядка и безопасности в пределах Римской (Августовой и т. д.) империи, Римский мир» [OLD: 1315].

¹⁵ «Hail! Blessed Queen, the Guardian of our Laws; / Defender of the Faith; and Europe's Cause; / May candid Joy, and golden Peace, / Surround that glorious Crown, / Which You by Birth, as well as Virtue, own» [Burridge 1702: 4]. О понятиях *quies, otium* и *pax aurea* в британской новолатинской поэзии ср. [Naan 2005: 24–25].

¹⁶ «Коль тщетно пышное упорство, / Надеясь на свое проворство, / Збирает беглые полки; / В пределы крокаго зефира / Златаго не приметлет мира: / Еще кровавой ждет реки» [Ломоносов 1959: 656].

¹⁷ «Откуда тишина златая / В блаженной Северной стране?» («Благоденствие России, устроенное Великим Ея Самодержцем Павлом Первым» [Жуковский 1999: 21]). В позднейших текстах находится лишь употребление фразы «плоды золотого мира» у Д. С. Мережковского



Ил. 1. Pax aurea в издании «Thesaurus philopoliticus» Д. Майсснера

ным, однако, оказалось выражение «златая свобода (вольность)»¹⁸. В европейской топики понятия эти были близкими родственниками. Так, в иллюстрированном виде европейских городов сборнике латинских изречений «Thesaurus philopoliticus» Даниэля Майсснера (1628 г.) мы находим аллегория Pax Aurea, однако в приведенных под изображением гекзаметрах речь идет о Aurea Libertas (см. ил. 1).

Сложно говорить о причинах относительного неуспеха на русской почве латинского рах аугеа, несмотря на широкое распространение образов «златого века» и «златых времен». Можно предположить, что в ту эпоху, когда русский поэтический язык был наиболее подвержен влиянию латинской топики, т. е. в барочной силлабической поэзии, панегирический словарь еще не устоялся. Возможность же освоения этой топики в эпоху Феофана, когда латынь еще не отступила на второй план, была упущена, так как при Петре на первом плане была военная героика, а не тот «внутренний покой», который будет воспевать Ломоносов. Это объяснение, однако, представляется недостаточным, так как этот оборот мог прийти в русский и позднее, через посредство новоевропейских калек (*calme d'or, goldene*

в стилизованной речи Лодовико Сфорца: «Первый из государей, я искаль величья не въ кровавыхъ подвигахъ, а в плодахъ золотого мира — въ просвъщеніи» [Мережковский 1906: 402, ср. также 340].

¹⁸ Например: «А вы, которым здесь Россия / Дает уже от древних лет / Довольство вольности златая, / Какой в других державах нет...» [Ломоносов 1959: 779]; «Воссела *опытность* на трон, / Творить счастливыми народы, / Быть другом-гением земли; / И люди часть златой свободы / Порядку в жертву принесли» [Карамзин 1966: 217]; «Возможно ли сравнять что с вольностью златой, / С уединением и тишиной на Званке? / Довольство, здравие, согласие с женой, / Покой мне нужен — дней в останке» [Державин 2002: 383].

Ruhe). Вероятно, сыграло здесь роль и то обстоятельство, что ведущей лексемой в семантическом поле «покой — тишина — мир» было слово *pokój*, омонимичность которого («тишина» — «комната») делала бы выражение «золотой покой» двусмысленным¹⁹.

4. Покой и счастье

У Ломоносова державный покой мы находим повсеместно. Уже в Хотинской оде это понятие сочетается с топикой мира: «Козацких поль заднестрский тать, / Разбит, прогнан, как прах, развеян, / Не смеет больше уж топтать, / С пшеницей где покой насяен» [Ломоносов 1959: 29]. В Оде на прибытие Елизаветы в Санкт-Петербург 1742 г. «отрада с тишиной» сопровождает новую императрицу, которая дарует народам «мирные оливы», «любя вселенныя покой» [Там же: 93]. Через четыре года, в Оде на день восшествия на престол, Ломоносов возвращается к специфической для Елизаветы риторике «сладостного покоя», который он косвенно противопоставляет героике Петра:

Коль наша радость справедлива!
Нас красит сладостный покой;
О коль Россия ты щастлива
Елисаветиною рукой!
Противны сил Ея страшатся
И купно милости чудятся.
Таков Екатеринин лик
Был щедр, и кроток, и прекрасен;
Таков был Петр — врагам ужасен,
Своим отец, везде велик [Ломоносов 1959: 143].

Миротворчество дочери наследует воинственности отца прежде всего своим «величием». Ведь если Петр «врагам ужасен», а «своим отец», то Елизавета поражает своей милостью и «противных Ея силе». В этой строфе Ломоносов сталкивается с некоторыми риторическими трудностями, стремясь одновременно напомнить о преемственности, легитимирующей захват власти Елизаветой, и указать на смену доминирующей парадигмы. В других местах торжественных од на первый план выступает именно контраст между отцом и дочерью: Петр насильственно («силою своей десницы») расширяет границы страны, чтобы затем «утвердить в них спокойство», а Елизавета, вступая на престол, отвергает военную экспансию:

¹⁹ Та же сложность возникает и с польским словом *pokój*, послужившим источником как значения «помещение», так и значения «мир» у русского слова *покой*. В польском тексте «Эпиникиона» Феофан передает *rax aurea* как *pokój drogi* [Прокопович 1743: 129]. Это выражение используется с тем же значением и у других авторов. Ср. у Я. П. Воронича в «Świątynia sybilli»: «Próżno w twoich dziedzinach maćił pokój drogi / Książ Moskiewski, miotając gwałty i pożogi, / I na wozach żelazne prowadził kajdany» [Woronicz 1853: 88].

«Мне полно тех побед, — сказала, —
Для коих крови льется ток.
Я Россов щастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток» [Ломоносов 1959: 198].

То «спокойство», которое обещает Елизавета, может быть распространено и за пределы империи. Уже в 1746 г. от Елизаветы «Европа ожидает, / Чтоб в ней возставлен был покой» [Ломоносов 1959: 144]. Когда же в оде 1757 г. Ломоносов описывает вступление России в Семилетнюю войну, Елизавета остается верна своим приоритетам: «против брани брань» воздвигается «для общего покоя» и только после того, как «шестнадцать лет нося порфиру, / Европу Я склоняла к миру / Союзнами и страхом сил» [Там же: 634–635].

Елизаветинский покой у Ломоносова — поначалу кроткий, а к концу царствования все более хищный — соотносится с понятием счастья, наряду с другими аффективными понятиями (ограда — отрада — радость — сладость — легкость — веселье), образующими с категориями общественно-политическими единую сеть, в которой одно отвлеченное существительное соединяется с другими по законам поэтического языка (внутренняя форма и рифма). Несмотря на преобладание в словаре Ломоносова лексемы *покой*, его синоним *тишина*, семантически менее богатый (лишь значение *quies*), оказывается более удобным для аллегорического развития, вероятно, по той причине, что он женского рода (ср. франц. La Paix). Поэтому в Оде 1747 г., посвященной открытию Академии наук, Ломоносов обращается именно к Тишине, а не к Покою или Миру: «Царей и царств земных отрада, / Возлюбленная тишина, / Блаженство сел, градов ограда, / Коль ты полезна и красна!» [Ломоносов 1959: 196]. Нельзя исключать и отсылки — прямой или через посредников — к зачину Восьмой Пифийской оды Пиндара, которая открывается обращением к Гесихии, «Благосклонной Тишине, дочери возвеличивающей города Справедливости, держательнице высочайших ключей советов и войн...».

Понятия мира и тишины занимают центральное место и в ранних одах Жуковского, обращенных к Павлу. Особенно значима с этой точки зрения ода «Мир» (1800), в которой героическая парадигма отторгается решительно, с просвещенческим пафосом, навеянным такими текстами, как ода «A la Fortune» Жана Батиста Руссо. Обращаясь к «древней лире» «пифийского поэта» (Пиндара), Жуковский пишет:

Поешь ли тишину — гром Зевса потухает;
Орел, у ног его сидящий, засыпает,
Вздыхая медленно пернатый свой хребет;
Ужасный Марс свой меч убийственный кладет
И кротость в сердце ощущает [Жуковский 1999: 38].

Сам Жуковский в позднейшей публикации сделал примечание, что «вторая и третья строфа взяты из одной его [Пиндара. — Б. М.] оды» [Жуковский 1999:

431]. В новейшем Полном собрании сочинений этот источник определен неверно как Восьмая Пифийская ода. В действительности, Жуковский переводит здесь пассаж об орле из Первой Пифийской оды: «Ты [лира] и гром воинственный гасишь неустанный огонь. Спит на скипетре Зевсовом орел, царь птиц... дремля подымлет свою гибкую спину, сдерживаемый твоими порывами. Ибо и могучий Арес, далеко отринув шершавое острие копий, радуется сердцу дремотой»²⁰.

«Мир» воспроизводит все общие места поэтики державного покоя, что, конечно, совершенно не соответствует установкам Павла. В этом отношении этот юношеский опыт Жуковского можно сопоставить с одой Третьяковского на сдачу Гданьска, в которой к Анне Иоанновне применяется петровская героическая парадигма. Топика как бы запаздывает, то ли не поспевая за историей, то ли не всегда успешно пытаясь противостоять ей и смоделировать будущее по лекалам прошлого. Противно духу павловского царствования у Жуковского слава и военная героика отвергаются напрочь: «А слава? Нет, ее злодей лишь в бране ищет». С другой стороны, понятия тишины и мира связываются со свободой и счастьем:

Где он — там вечное веселье обитает,
Там человечество свободно процветает,
Питаясь щедростью природы и богов;
Там звук не слышится невольничьих оков
И слезы горести не льются.

Там нивы жатвою покрыты золотою;
Там в селах царствует довольство с тишиною;
Спокойно грады там в поля бросают тень;
Там счастье навсегда свою воздвигло сень:
Оно лишь с миром сопряженно.

В духе ломоносовской поэтики в тексте выстраивается цепочка политико-аффективных понятий: вечное веселье, свобода, процветание, щедрость (изобилие), довольство, тишина, спокойство, счастье, мир. Сближение счастья и мира у Жуковского кажется тривиальным, но включение в ту же метонимическую сеть свободы уже полемически заострено²¹. Достаточно вспомнить, что в «Вольности» Радищева державный покой не просто не уживается со свободой-вольностью, а прямо ей противопоставлен: «Покоя рабского под сенью / Плодов златых не возрастет» [Радищев 1949: 268]²². После Американской и Французской революций все чаще звучит мысль о том, что при монархическом правлении счастье человечества недостижимо.

²⁰ Перевод мой.

²¹ По слову Цицерона, «*rax est tranquilla libertas*» (Phil. 2.113). О сближении мира и вольности в одической традиции см. [Маслов 2015: 227–231].

²² О поэтике «Вольности» Радищева в ее историко-литературном контексте см. [Живов 2012; Маслов 2015].

Что же происходит с понятиями свободы, покоя и счастья при эмансипации культуры в России, которая на уровне литературных форм находит отражение во фрагментации одической поэтики? Позднее стихотворение Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит» (1835) позволяет говорить о сохранении и одновременно проблематизации этих политических категорий. Стихи Пушкина могут быть восприняты как горацянские ввиду вероятной парафразы Оды к Левконое (*dum loquimur, fugerit invida / aetas*; *Carm. 1.11*). Однако это первое впечатление скрывает глубинные различия. У Горация осознание неумолимости движения времени обостряет желание жить: пусть счастье недолговечно, но оно достижимо. У Пушкина же покой замещает счастье. Наконец, в отличие от английских поэтов «озерной школы» или от Державина, допускающих деятельные формы уединенной горацянской жизни, Пушкин не уточняет обстоятельства побега и пункт назначения²³. Лишенное конкретных деталей, которые ожидаются от манифестов сельских добродетелей, стихотворение требует более отвлеченного прочтения²⁴.

В статье Н.Н. Мазур, посвященной источникам этого стихотворения, установлен целый ряд актуальных для Пушкина интертекстов и «топических гнезд», прежде всего — размышления о беспрестанно утрачиваемых «частицах жизни» из «*Epistulae morales*» Сенеки. Согласно Мазур, Пушкин в своей поздней лирике обращается к римскому философу напрямую потому, что теряет интерес к топике сельской жизни [Мазур 2005: 402]. Принимая вывод исследовательницы о том, что Пушкин вступает в диалог с Сенекой, я попытаюсь взглянуть на «смысловое задание» этого хрестоматийного текста с точки зрения исторической семантики. Этот угол зрения предполагает, что слова и понятия не наполняются значением *ad libitum*, в зависимости от того, каких авторов читал поэт в том или ином году. Поэтические тексты работают со смыслами, заданными в культуре, — хотя делают они это иначе, изобретательнее и свободнее, чем это допускается в иных регистрах и типах использования языка.

Если мы поместим стихотворение Пушкина в традицию высокой лирики об абстрактных понятиях, может показаться, что отличающий его «квиеизм» ближе к Жуковскому, чем к Радищеву. Покой-мир и свобода-воля у него не вступают в конфликт. В этом отношении эти поздние квазигорацянские стихи почти не отходят от формулировки последних двух строчек юношеской «Вольности»: «И станут вечной стражей трона / Народов вольность и покой». Однако уже эта политически умеренная (в сравнении с радищевской) ода свидетельствует

²³ О Пушкине в связи с поэтами «озерной школы» см. [Долинин 2007: 45–47]. Дополнительно о русской горацянской традиции, на которую опирался Пушкин, см. [Шейна 2001]. О прямых отсылках Пушкина к Горацию см. [Рабинович 2000].

²⁴ В рукописи за текстом стихотворения следует прозаический отрывок, который Н.Н. Мазур характеризует как «краткий конспект ненаписанной “похвалы сельской жизни”, полностью укладываемой в рамки давней и устойчивой риторической традиции *beatus ille*» (традиции, восходящей ко второму эподу Горация) [Мазур 2005: 396]. Отказ от конкретизации, а также решительное отвержение счастья в пользу покоя говорят о том, что *написанное* стихотворение Пушкина выпадает из данной традиции.

о перераспределении понятийного веса: акцент на свободе, которая связывается с законом, заменяет топику изобилия и веселья. Вольность понимается отныне как неустойчивое состояние, которое может быть подорвано как «самовластительным злодеем», так и народным «Вероломством». Покой, о котором сказано в последней строке «Вольности», уже не атрибут золотого века, хотя он все еще находится в сфере царской компетенции.

В свете сказанного неудивительно, что при переносе понятийной конструкции «покой — вольность — счастье» из контекста государственного в контекст личный из нее выпадает счастье. Между тем в отрицании самого существования счастья («На свете счастья нет») можно усмотреть ту полемичность по отношению к политической предыстории используемой Пушкиным топики, которую Живов находит в «Памятнике». Понятия, описывающие сферу эмоций и политические реалии, уже не перетекают друг в друга, как некие семантически диффузные образы, как это было в поэтике Ломоносова. Нет и (необходимости) выбора — между самодержавием и «свободой», как у Радищева, или между «славой» и «миром», как у Жуковского. Державный покой, преобразованный в покой личный, призван компенсировать отсутствие счастья. Это состояние далеко и от аполитической идиллии бездействия, которую высмеивал Прокопович, и от досужей жизни на покое, которую воспевал Державин в послании «К Евгению». Пушкинский покой несет в себе освобождение через труд, не обещая того веселья и счастья, которое под видом Фортуны, благоденствия, довольства и изобилия сопровождало державный покой в XVIII в. Новый договор с монархией после 1825 г. должен быть заключен на иных условиях и от культуры требует новых форм самоотречения.

Стихи Пушкина, конечно, соприкасаются с романтическим, идущим из культуры сентименталистской чувствительности стремлением «забыться и уснуть», представлением о желанности смерти как отдохновения («Подожди немного, отдохнешь и ты»). Однако этим узусом не объяснить того, что у Пушкина покой знаменует не отдых, а труд, деятельность обретшего свободу человека. «Обитель трудов и чистых нег», куда замыслил бежать поэт, описывает то воображаемое пространство, в котором культура существовала бы отдельно от политики. Это пространство отшельническое, необжитое — оно и не может быть публичным, так как общество как контрагент государства еще не явилось. С этим связаны и своеобразные черты этого на вид романтического хронотопа: в нем нет отчужденных странников и охваченных резиньяцией певцов, но в его пределах действуют могучие импульсы, которые исходят от синкретических, политико-аффективных понятий торжественной оды XVIII в.²⁵

Анализируя обстоятельства рецепции Руссо в России, Живов отмечает, что «отрицание Просвещения означает отрицание того дискурсивного пространства,

²⁵ Когда в «Выхожу один я на дорогу» о «свободе и покое» заговорит герой Лермонтова, его видение межумочного состояния между жизнью и смертью получит более отчетливые черты эстетической автономии и, соответственно, отчуждения («про любовь мне сладкий голос пел»). В том же направлении указывают и пушкинские стихи «Из Пиндемонти».

в котором реализуется властный статус культурной элиты» [Живов 2008: 120]. Это касается, конечно, отрицания государственного Просвещения. Однако последнее к концу царствования Александра исчерпало свою легитимность и привело к кровавому конфликту между элитой и государством. Стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» обыкновенно трактуется как свидетельство усталости поэта от придворной жизни. Историко-семантический подход позволяет прочесть его как пример лирики не биографической, а метаисторической. В нем описаны новый вид покоя — не державного, поработавшего, а деятельно-интеллектуального, и новый вид свободы, в которой нет места счастью. «Петербургский мираж» исчез навсегда, и бремя подвижнического труда, потребного Просвещению, оказывается отныне возложено на русскую культуру²⁶.

Литература

Бестужев-Марлинский 1958 — *А. А. Бестужев-Марлинский*. Сочинения в двух томах. М., 1958.

Булгарин 1830 — *Ф. В. Булгарин*. Димитрии Самозванецъ; историческій романъ. Ч. III. СПб., 1830.

Гинзбург 1940 — *Л. Гинзбург*. Творческий путь Лермонтова. Л., 1940.

Державин 2002 — *Г. Р. Державин*. Сочинения. СПб., 2002.

Долинин 2007 — *А. А. Долинин*. Пушкин и Англия. М., 2007.

Живов 1985 — *В. М. Живов*. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Славяноведение*. № 3. 1985. С. 70–85.

Живов 1989 — *В. М. Живов*. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // *Разыскания в области истории и предыстории русской культуры*. М., 2002. С. 439–460.

Живов 1996 — *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Живов 2002а — *В. М. Живов*. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // *Разыскания в области истории и предыстории русской культуры*. М., 2002. С. 685–704.

Живов 2002б — *В. М. Живов*. Двуглавый орел в диалоге с литературой // *Новый мир*. № 2. 2002. С. 174–183.

²⁶ О культе труда среди шестидесятников, противостоявших гедонизму элитарной культуры, см. [Живов 2002а: 698]. В концепции Живова не находится места представителям высокой дворянской культуры как провозвестникам нового периода «истории русского культурного сознания», хотя и Пушкин, и Лермонтов, конечно, по-своему осознавали приближающийся конец петербургского миража. О необходимости интегрированного изучения литературы и «идеологии» ср. критические замечания Живова по поводу книги А. Л. Зорина «Корма двуглавого орла» (2001): «В его книге история получает независимую, чуть ли не “объективную” реальность, идеология оказывается интеллектуальной частью этой реальности, а литература размещается где-то сбоку, как дворовая пристройка, в которой варят и жарят метафорические блюда идеологических проектов» [Живов 2002б: 175].

Живов 2008 — В. М. Живов. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. №91. 2008. С. 114–140.

Живов 2009а — Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М., 2009.

Живов 2009б — История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М., 2009. С. 5–26.

Живов 2012 — В. М. Живов. Апокалипсис свободы. Заметки об оде «Вольность» А. Н. Радищева // Guido Carpi, Lazar Fleishman, and Bianca Sulpasso, eds. Venok: Studia slavica Stefano Garzonio sexagenario oblata (=Stanford Slavic Studies. V. 40–41). In Honor of Stefano Garzonio. Stanford, 2012. P. 75–87.

Живов и Кагарлицкий 2012 — Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Под ред. В. М. Живова и Ю. В. Кагарлицкого. М., 2012.

Жуковский 1999 — В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1. М., 1999.

Карамзин 1966 — Н. М. Карамзин. Полное собрание стихотворений. Л., 1966.

Коплан 1922 — Б. И. Коплан. Переводы Г. Р. Державина из Пиндара // Sertum bibliologicum. В честь президента русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. Петербург (sic), 1922. С. 155–163.

Ломоносов 1959 — М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. VIII. М., Л., 1959.

Либушкин 2000 — Д. Л. Либушкин. Русская новолатинская поэзия: материалы к истории. М., 2000.

Лотман 1965 — Ю. М. Лотман. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII в. // Ю. М. Лотман. Избранные статьи. Т. 2. Таллинн, 1965. С. 134–158.

Мазур 2005 — Н. Н. Мазур. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит»: источники и контекст // Пушкин и его современники. Сборник научных трудов. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 364–419.

Маслов 2009 — Б. П. Маслов. От долгов христианина к гражданскому долгу (очерк истории концептуальной метафоры) // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В. М. Живова. М., 2009. С. 201–270.

Маслов 2010 — Б. П. Маслов. Тютчев Pindaricus: опыт генеалогии поэтики Тютчева 1820–1840 гг. // Die Welt der Slaven. Т. 55. 2010. С. 234–264.

Маслов 2015 — Б. П. Маслов. Свобода вне либерализма: пиндарическая ода и трансформация поэтики Старого режима // Современная республиканская теория свободы / Под ред. Е. Рошина. СПб., 2015. С. 212–250.

Мережковский 1906 — Д. С. Мережковский. Воскресшие боги. 3-е изд. СПб., 1906.

Прокопович 1743 — Lucubrationes illustrissimi ac reverendissimi Theophanis Prokopicz. Варшава, 1743.

Прокопович 1961 — Феофан Прокопович. Сочинения. Л., 1961.

ПСЗ 1863 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе. Т. XXXVI, отд. 1. 1861 г. СПб., 1863.

Пумпянский 1928 — Л. В. Пумпянский. Поэзия Ф. И. Тютчева // Классическая традиция: собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 220–256.

Пушкин 1949 — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 11. Критика и публицистика. М., 1949.

Рабинович 2000 — Е. Г. Рабинович. Еще раз о Пушкине и Горации // Риторика повседневности. СПб., 2000.

Радищев 1949 — А. Н. Радищев. Избранные сочинения. М.; Л., 1949.

ССРЛЯ I–XVII — Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт. М., 1950–1965.

Толстогузов 2003 — П. Н. Толстогузов. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. М., 2003.

Тредиаковский 1963 — В. К. Тредиаковский. Избранные произведения. М., 1963.

Тынянов 1923 — Ю. Н. Тынянов. Вопрос о Тютчеве // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 38–51.

Уортман 2002 — Р. С. Уортман. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002.

Уффельманн 2002 — D. Uffelmann. Формальное просвещение Феофана Прокоповича // Russian literature. Vol. 52. 2002. С. 55–94.

Фонвизин 1959 — Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений: в 2 тт. М., 1959.

Шейна 2001 — Ю. В. Шейна. А. С. Пушкин и Гораций (Буколические мотивы в лирике А. С. Пушкина и их истоки) // Пушкин и античность. М., 2001. С. 51–62.

Adorno 1970 — Th. Adorno. Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main, 1970.

Baehr 1979 — S. Baehr. 'Fortuna Redux': the Iconography of Happiness in Eighteenth-Century Russian Courtly Spectacles // Great Britain and Russia in the Eighteenth Century: Contacts and Comparisons / Ed. A. G. Cross. Newtonville, Mass., 1979. P. 109–122.

Bushkovitch 2001 — P. Bushkovitch. Peter the Great. Lanham, 2001.

Burridge 1702 — R. Burridge. A Poem on the Coronation of Her Most Serene Majesty Queen Ann. London, 1702.

Gedike 1779 — Pindar's Pythische Sieghymnen / Mit erklärenden und kritischen Anmerkungen verdeutscht von Friedrich Gedike. Berlin und Leipzig: bei George Jakob Dekker, 1779.

Haan 2005 — E. Haan. Vergilius redivivus: studies in Joseph Addison's Latin poetry. Philadelphia, 2005.

Koselleck 1959 — R. Koselleck. Kritik und Krise: eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt am Main, 1979.

Kochman 1967 — S. Kochman. Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w XVII wieku. Wrocław, 1967.

Maslov 2014 — B. Maslov. Why Republics Always Fail: Pondering Feofan Prokopoich's poetics of absolutism // ВИБЛЮИКА: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. № 2. 2014. P. 24–46.

OLD — Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1982.

Voss 1838 — *J.H. Voss. Anmerkungen und Randglossen zu Griechen und Römern.* Leipzig, 1836. (Перв. публ. перевода: Deutsches Museum, 1777).

Woronicz 1853 — *Dzieła poetyczne wierszem i prozą J.P. Woronicza.* T. II. Lipsk, 1853.

Boris P. Maslov

National Research University Higher School of Economics

(Saint Petersburg, Russia)

University of Chicago

(Chicago, Illinois, USA)

**“ENAMORED OF THE UNIVERSAL QUIET”:
NOTES ON THE HISTORICAL SEMANTICS OF THE STATE OF REST**

Representations of imperial *pax* (quiet) in Russia in the 18th and early 19th centuries are discussed in this article in light of the notion of “statist Enlightenment” put forward by Viktor Zhivov. Whereas Feofan Prokopovich prefers a heroic paradigm over passive calm, in Lomonosov, Derzhavin and Zhukovsky the concepts of quiet and calm are related to the Czar’s “trust” toward the subjects, the *topoi* of the golden Age and “golden times” (cf. Latin *pax aurea*), and the rhetoric of imperial peace-making. In Lomonosov, Elizabethan quiet is tied to the concept of happiness, as well as other affective and socio-political concepts, whose linkages follow the rules of the word’s inner form (the root) and rhyme (e.g., the sequence: *ograda-otrada-radost’-sladost’-legkost’-vesel’e*). As a result of the “emancipation of culture” (V.M. Zhivov’s term), which established a new relationship between literature and the state, components of the affective-political conceptual continuum became separated and polarized. The implications of the process are analyzed with reference to Pushkin’s lyric. In “Pora, moi drug, pora,” “peace and liberty” of the far-off abode where the lyrical subject yearns to be refer us to the last line of the youthful “Liberty” (“the peoples’ liberty and peace”), yet are contrasted with happiness. We can thus confirm V.M. Zhivov’s hypothesis that in Pushkin’s lyric political concepts stemming from the odic tradition are placed at the service of the poet’s myth.

Keywords: historical semantics, the Enlightenment, the ode, *topoi*, Lomonosov, Pushkin.

С. М. Толстая
Институт славяноведения РАН
(Москва, Россия)

ВЕРА И ПРАВДА: К ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ*

В статье рассматривается семантическая история двух праславянских слов — **věra* и **pravьda* (и родственных им), имеющих много общего в своих значениях и употреблениях. Их современные философско-эпистемологические значения ‘вера’ и ‘правда’ являются результатом длительных процессов семантической деривации: **věra* восходит к и.-е. корню со значением ‘истинный, правильный’ и родственно лат. *verum*, нем. *wahr* и т. д., а **pravьda* производно от **pravь* в значении ‘прямой’. Оба слова являются терминами древнего славянского права со значением ‘договор, соглашение, обязательство’ и далее ‘закон, установление, право’; в некоторых славянских языках эти значения сохраняются до сих пор: у **pravьda* — в юридическом дискурсе, у **věra* — в свадебной терминологии, восходящей к языку права.

Ключевые слова: славянские языки, лексика, семантика, этимология, юридический дискурс, история понятий, вера, правда.

Когда говорят об истории понятий, то обычно имеют в виду их содержание и способы их языковой экспликации в разные эпохи, каждый из которых отражал какие-то существенные изменения в структуре понятия. Иначе говоря, рассмотрение исходит из единицы смысла и имеет целью выяснить, как этот смысл модифицируется разными языковыми выражениями в разных контекстах и в разные исторические эпохи. Например, в книге Ю. С. Степанова «Словарь русской культуры» [Степанов 1997] обширные главы посвящены концептам ВЕРА и ПРАВДА, в них рассматривается история этих понятий начиная с индоевропейского состояния, их разнообразное «профилирование» в разных текстах и контекстах, но во всех случаях речь идет о вере как религиозном понятии и правде как категории этической и эпистемологической, т. е. о понятиях, соответствующих лишь одному из значений (или одному из блоков значений) многозначных русских слов *вера* и *правда*. Но есть и другая история понятий. Я бы хотела вслед за Э. Бенвенистом [Бенвенист

* Статья написана в рамках работы над проектом «Образ человека в языке и культуре славян» (грант РГНФ № 16-04-00101).

1995] исходить не из единицы смысла (т. е. концепта или понятия), а из языковой единицы, т. е. из семантики слов *вера* и *правда*, и постараться проследить, как происходила их семантическая деривация и какие понятия и почему вовлекались в их смысловое поле на разных этапах этой эволюции. Иначе говоря, меня интересует семантическая история единиц лексической системы — продолжений праславянских слов **věra* и **pravьda*, т. е. смена, расширение и сужение понятий в пределах данных лексико-семантических гнезд.

Каждое из этих слов многократно и в самых разных аспектах было предметом изучения в русской и славянской лексикологии и этимологии. Естественно, встает вопрос: почему я их объединяю? Можно привести несколько причин. **Во-первых**, эти два слова образуют некий смысловой бином, они нередко в текстах «тяготеют» друг к другу, что свидетельствует об их семантической связи (ср. *служить верой и правдой*). Можно указать и другие подобные биномы: *честь и слава*, *вера и надежда*, *правда и истина*, *радость и веселье*, о которых существует большая литература¹. **Во-вторых**, *вера* и *правда* часто бывают синонимичными, ср. *верно* и *правда*, служащие для подтверждения сказанного, выступающие как знак согласия; *верно* и *правильно*², *вероятно* и *правдоподобно* и т. д. **В-третьих**, эти слова часто употребляются в одних и тех же ситуациях и контекстах, например в юридическом дискурсе, где *вера* и *правда* имеют одинаковое значение ‘клятва’, о чем дальше будет речь. **В-четвертых**, их семантическое родство находит проявление в словарном толковании: *вера*, как правило, толкуется через *правду* (но не наоборот), например, ст.-слав. **вѣрнь** получает дефиницию ‘правдивый, верный, достоверный’: **вѣрно слово** [SJS 1: 378], **оувѣрити сѧ** ‘оправдать себя’ [SJS 4: 592]; рус. *верить* в главном значении — ‘принимать за истину’. В Словаре Академии Российской приводятся сложные слова с *вѣро-*, отсутствующие в современном языке, которые также толкуются через понятие правды: *вѣроимно* ‘почитая что за правду’, *вѣроподобіе* ‘правдоподобие, некое сходство с истиною’, *вѣроятіе* ‘принятие чего за истину, признание чего за сходное с правдою’: *Слух сей заслуживает вероятия* [САР 1: 1009–1011]. Ср. также рус. диал. (арханг.) *верность* ‘справедливость, истина’: *Нет, не жалко, а я из верности говорю, что вы получаете неверно* [АОС 3: 118]. Аналогичные примеры толкований можно найти в словарях других славянских языков, ср. ст.-пол. *wiara* ‘zgodnie z prawdą, bez kłamstwa’ [в соответствии с правдой, без обмана], *wierny* ‘prawdziwy, niefałszywy’ [правдивый, нефальшивый], *wierność* ‘prawdziwość, veritas’ [правдивость, veritas] [SSP X 2(62):

¹ См. [Лихачев 1965; Лотман 1967; Hafner 1981; Успенский 1983: 112–113; Толстой 1984; Толстые 1993; Арутюнова 1998; Толстая 2012а; 2012б; 2013]. В двух последних парах (*правда* — *истина* и *весел* — *рад*) семантическое соотношение сопрягаемых понятий обратно современному: *истина* и *радость* ассоциируются с землей, т. е. с земным миром людей, а *правда* и *веселье* — с небом, т. е. с высшим, божественным миром. Ср.: *Истина от земли воссия, и правда с небес причине* [Даль 2 3: 379], *Да весельятъ сѧ небеса і радуютъ сѧ земля* Пс 95: 11 (Синайская псалтырь) [SJS 1: 181].

² О них подробно писала Н. Д. Арутюнова, указавшая на контексты, в которых *верно* и *правильно* различаются [Арутюнова 1998: 576–581].

182], пол. *wierzyć* ‘przyjmować, uznawać coś za prawdę’ [принимать (признавать) что-л. за правду] [Boryś 2005: 696] и т. д. Наконец, **в-пятых**, *вера* связана с понятием «правда» этимологически: по наиболее распространенной версии, праслав. **věra* родственно латинскому *verus*, немецкому *wahr* и т. д. со значением ‘истинный, правдивый’ [Фасмер 1: 292–293].

Вместе с тем эти два слова (*вера* и *правда*) во многом существенно различны, они различны прежде всего по своей логической природе. В самом деле, *вера* и ее семантические дериваты, как правило, обозначают внутреннее свойство (или состояние) человека, и в этом отношении *вера* подобна таким словам, как *чувство*, *знание*, *надежда*, *радость*, которые соотносятся с предикатами *чувствовать*, *знать*, *надеяться*, *радоваться* (к ним может быть причислен и соотносительный с *верой* предикат *верить*), тогда как *правда* в своем исходном значении относится к абстрактному свойству, не связанному с внутренним миром человека, и определяется как соответствие, верность действительности или как соответствие некоторой норме или образцу (*стремиться к правде изображения*) и далее (метонимически) может означать объект — «то, что соответствует действительности; истина» [БАС 11: 5], при этом в качестве объекта выступает слово (*сказать правду*) или действие, ситуация, положение дел (*узнать правду*, т. е. узнать, как это было на самом деле). Иначе говоря, *вера* всегда чья-то, а *правда* обычно ничья, общая, *вера* субъективна, а *правда* объективна³. Из этих существенных различий вытекают дальнейшие семантические линии деривации, которые, с одной стороны, усиливают расхождение этих двух слов, а с другой — сближают их.

Но как из исконного значения ‘правда’ получилось значение ‘вера’? Превращение правды в веру в праславянском слове **věra* предполагает обращение внутрь, интериоризацию понятия правды, т. е. перенесение смыслового акцента с абстрактного свойства (отношения) на внутреннее свойство или состояние субъекта-человека и его потребность и способность устанавливать соответствие слов и дел действительному положению вещей или некоторой норме (тому, каким должно быть положение вещей). В некотором смысле результатом интериоризации можно считать и одно из значений *правды*, а именно значение ‘справедливость’ в качестве характеристики человека и далее значение ‘правота’ (ср. *твоя правда* = ты прав, твоя правота).

Праславянский глагол **věriti*, как и его продолжения в славянских языках, является в своем основном значении предикатом мнения и означает ‘считать нечто правдой, т. е. соответствующим действительности’. В зависимости от управления *верить* может означать разное, в разной степени связанное с понятием правды. Имеются в виду основные конструкции — 1) верить, что *P* (т. е. *верить* плюс пропозиция); 2) верить кому/чему и 3) верить во что / в кого⁴. Каждая из этих конструкций в семантическом отношении своеобразна:

³ Подобные логико-семантические различия между *верой* и *правдой* характерны и для других славянских языков.

⁴ Семантический анализ польского глагола *wierzyć* см. в работах А. Вежбицкой [Wierzbicka 1971] и З. Зарон [Zaron 1993]. В последней из них сформулированы задачи для будущих исследователей и, в частности, изучение оппозиции «верить — знать» и корреляции «вера — правда».

верить, что Р — ‘считать, полагать нечто’ (*верить, что все получится; не верить, что это поможет*) — здесь понятие правды по существу вообще устранено или растворено в значении ‘считаю правдой, что’ (но ведь и всякое *считаю, что* имплицитно значит ‘считаю правдой, что’). Еще сильнее семантика мнения свойственна диалектным употреблением, например, рус. диал. *верится* означает ‘кажется, мнится, думается’: пенз. *Верится мне, что он лжет; Верится, что он из нашей местности*; в прошлом значение мнения имело и существительное *вера*: *Я всегда был той веры, что...* [СРНГ 4: 119–120];

верить кому-нибудь означает ‘считать правдой сказанное им’; в конструкции **верить чему-нибудь** объект, как правило, тоже относится к речи: *верить словам, сообщению, объявлению, известию* и т. п., хотя можно верить и чувствам, и намерениям (тоже обычно высказанным);

верить во что-нибудь имеет три разных значения: 1) ‘считать нечто существующим в настоящем или имеющим быть в будущем’ (*верить в Бога, верить в сглаз, в судьбу, в удачу, в счастье, в бессмертие души, в коммунизм* и т. п.), либо 2) считать нечто (слова, мнения) соответствующим действительности (*верить в приметы, в предсказания*, т. е. не в существование примет, предсказаний, как в первом значении, а в правдивость их содержания), либо, наконец, 3) с включением оценки — ‘считать нечто положительным, результативным, приносящим благо и т. п.’, т. е. ‘надеяться, рассчитывать на что-либо’ (*верить в будущее, в свои силы, в талант, в человека*).

Возможны, конечно, и неопределенные, и совмещенные значения, например, *верить в дружбу* может означать и то, что дружба существует (значение 1), и то, что дружба — это благо (значение 3); выражение *верить в Бога* может пониматься и как признание существования Бога (значение 1), и как надежда на то, что Бог поможет (значение 3). В диалектах известны и другие конструкции с глаголом *верить, веровать*, например «верить что-л». (с прямым дополнением) в значении ‘понимать’: рус. карел. *Кони веруют мой разговор* [СРГК 1: 178] и др.

Все это разные значения глагола *верить* и имени *вера*, но все они относятся к ментальному миру человека. Многочисленные приставочные дериваты глагола *верить* (*вверить, доверить, заверить, поверить, проверить, сверить, уверить* и т. д.) семантически далеко отстоят от производящего бесприставочного глагола и в разной степени сохраняют и усложняют исходную семантику правды как соответствия действительности (например, *заверять* значит ‘утверждать или подтверждать правду чего-л.’, по определению [БАС 4: 289], в одном из двух значений *заверять* — это ‘удостоверять правильность или подлинность чего-либо (документа, копии и т. п.)’, *сверять* — ‘сравнивать объекты с целью установить их тождество’ и т. п., согласно [БАС 13: 322–323] — ‘сличать с чем-либо, взятым за образец, с целью проверки; проверять, сличая’). Но об этом сейчас нет возможности говорить подробнее.

Отмеченная «интериоризация» правды в гнезде **věra/věriti* не остановилась на семантике мнения, а продолжила свое «углубление» во внутренний мир человека, что привело к появлению таких модальных значений, как рус. диал. *вера*

‘желание’, ‘охота’, ‘намерение’ и далее *невера* со значением ‘не следует, нельзя’. Ср. вологод. *У меня и веры не было по гостям ходить*; с.-рус. *Мне вера есть жесниться*, арханг. *Покинь, брат, водку-то, не вера тебе пить* [СРНГ 4: 119–120]; олонек. *Она верует за него замуж* [Там же: 147]. Но далее то, что считается желанным, предпочитаемым, признается правильным, начинает пониматься как норма, и появляется распространенное в русских диалектах значение *вера* ‘обычай, обыкновение, привычка’: иркут. *У них такая вера, чтоб непременно попотчевать* [Там же: 119–120] или карел. *Ране веры не было в избах оклеивать* [СРГК 1: 178].

В наибольшей степени, однако, слова *вера* и *правда* сближаются в **правовом дискурсе**: оба слова являются терминами древнего славянского права.

Правовая семантика хорошо известна для слова *правда*, одно из значений которого — ‘закон, установление, положение’ (ср. название древнерусского свода «Русская Правда» и «Уложение Алексея Михайловича», Статут). В разных славянских языках и на разных этапах их исторического развития соотношение юридической и общеправовой (эпистемиологической) семантики в гнезде праславянского **pravьda* неодинаково. Так, в современном русском языке правовая семантика сохраняется лишь в официальной формуле-клятве (калькирующей иноязычную формулу) «говорить правду, только правду и ничего, кроме правды» и глаголе *оправдать* и его дериватах, но в древнерусском и старорусском языке она была известна шире, ср. данные Словаря древнерусского языка: *правьда* ‘обет, обещание’, *затеряти правьдоу* ‘нарушить обет, клятву’; *правьда* ‘договор’, ‘закон’, *без правьды* ‘незаконно’, *въ правьдоу* ‘на законном основании’; *правда* также и ‘судебное разбирательство, суд’, *вылазити на правьдоу* ‘приходить в качестве свидетеля’; *праведщик* ‘судебное должностное лицо’ (новгородская грамота № 154), *взяти правьдоу* ‘выиграть иск’, *погубити правьдоу* ‘проиграть иск’ [СДРЯ 7: 453–455]. В. И. Даль приводит *правда* в значении ‘обещание, обязательство, клятва’ в формуле: *давать на чем правду* ‘присягать’; *правдовать* ‘начальствовать, управлять, судить и рядить’, *правда* стар. ‘пошлина за призыв свидетеля к допросу’, а также ‘свидетель, притомный, послух’: *Судьи велели истцову и ответчикову правду перед себя поставити* [Даль² 3: 379–380].

Вероятно, из всех славянских языков дальше всего семантика права в этом слове зашла в словенском литературном языке и словенских диалектах, где *právda*, кроме общеславянского значения ‘правда, справедливость’, имеет значения ‘тяжба’, ‘судебное дело’, ‘судебный процесс’, ср.: *imeti pravdo s kom* ‘иметь тяжбу с кем-л., судиться с кем-л.’, *dobiti pravdo s kom* ‘выиграть дело’, *zgubiti pravdo* ‘проиграть дело’, *právdanje* ‘тяжба, процесс’, *právdati se* ‘судиться, вести тяжбу, сутяжничать’, *právdar* ‘тяжущийся, сутяга’, *právderski* ‘сутяжнический’, *právden* ‘судебный’, *právnik* ‘прокурор’ [Kotnik 1967]. В диалектах словенского языка *pravda*, *pravdanje* также означает ‘спор, препирательство, пререкание’: *va te xi:še vavèk pra:uda* [в этом доме вечно препирательство], *pravdati se* ‘препираться, пререкаться’: *pra:udat se s sinòm kê ne pôslü:ša* [препираться с сыном, который не слушается] [Gregorič 2014: 325]. Ср. выражение *právda za ôslovo senco* ‘препирательство по пустякам’ (букв. ‘спор о тени осла’) [Keber 2011: 746]. Те

же значения известны, хотя и в меньшей степени, в сербском языке: *pravda* 2а. ‘парба, парница, распра’ [тяжба, разбирательство, спор, распря], 2б. ‘свађа, кавга, препирка, размирица’ [ссора, скандал, препирательство, раздор]: *malo te niје onet настала вика и правда* [чуть опять не начался крик и скандал] [РМС 4: 839], а также в языке хорватского права: *pravda* ‘judicium, sud, sudište’ [judicium, суд, судебный процесс]: *nitko neima sam sebi pravde činiti* [никто не может сам себе суд чинить] (polj. 77, čl. 69а), *pozvati pred pravdu* ‘вызвать на суд’, *pra, parba* [ссора, распря], ‘controversia, pravdanje, svada, svadja’ [controversia, тяжба, ссора] [Mažuranić 2: 1078].

Исконную юридическую семантику слова *pravda* можно предполагать и для чеш. выражения *pravda boží*, которое толкуется как ‘тот свет’: *je na pravdě boží* ‘отдал богу душу, приказал долго жить, преставился’ (букв. ‘он на божьем суде’); *sejít na pravdě boží* ‘встретиться (сойтись) на том свете’ (букв. ‘встретиться на божьем суде’); *odejít na pravdu boží* ‘отдать богу душу’ (букв. ‘уйти на божий суд’); *vzít si (cj) s sebou na pravdu boží* ‘унести с собой в могилу’ (букв. ‘взять с собой на божий суд’) [Mokienko, Wurm 2002: 405–406]. Разумеется, предложенные в словаре толкования для современного языка верны, но буквальное значение фразеологизма *pravda boží* реконструируется как ‘суд божий’, что согласуется со словенскими юридическими контекстами.

В меньшей степени юридическая семантика сохранилась у слов гнезда **věra/věřiti*, но все-таки таких свидетельств немало. Практически все они связаны с понятием обещания, обязательства, клятвы, присяги и включают, таким образом, *веру* в обширный синонимический ряд слов: **kletva, *prisěga, *rota, *rōka, *duša, *slovo, *rečь*, используемых в формулах клятвы. Исторические свидетельства такой семантики известны по древнейшим текстам. В новгородской грамоте № 724 (XII в.) употреблено выражение *уречи въ вѣрѣ*, которое А. А. Зализняк трактует как ‘заявить под клятвой (клятвенно)’ и соответственно *вѣра* определяет как ‘клятва, присяга’ [Зализняк 2004: 353]. По предположению А. А. Зализняка, «*вѣра* в этом своем значении является исторической преемницей роты, т. е. ее христианизированной формой. Примеры для *вѣра* ‘клятва’, представленные за рамками берестяных грамот, не старше XVI в.; грамота № 724 показывает, что этот термин в действительности появился не позднее XII в.» [Там же: 353–354]. Я не думаю, что *вѣра* является христианизированной формой роты. Оба слова в значении клятвы или обещания, обязательства употребительны, хотя и в разной степени, как в языке древнего права, так и в мифопоэтическом языке.

Rota по своей семантике и употреблению близка к *клятве*, ср. др.-рус. *рота* ‘клятва, божба, присяга’, *водити (въводити) ротѣ (къ ротѣ)* ‘заставлять клясться, приводить к присяге (при заключении мирного договора)’, *взимати ротоу* (с кем-л.) ‘давать клятву’, *вънити въ ротоу* ‘дать клятву (при заключении договора о мире)’, *заходити ротѣ* ‘принести клятву’, *ити ротѣ (на ротоу)* ‘клясться, давать клятву’, *поити на ротоу* ‘принести клятву’, *потъпътати ротоу* ‘нарушить клятву’, *ходити ротѣ (на ротоу)* ‘клясться, давать клятву’, *ротитисѧ* ‘клясться, уверять в подлинности своих слов’ [СДРЯ 9: 456], рус. диал. *рота́* ‘клятва, обет,

присяга, заклинание' [СРНГ 35: 204]. *Рота* и *клятва* и соответствующие глаголы *ротиться* и *клясться* часто употребляются совместно в юридических формулах, ср. др.-рус. *кленуцимса и ротаци(м) не токмо клатиса възбраняють клирикомь, нь ни такоже ротитиса; о ротацихса и кльнуцимса подобають не добръ клатиса не тако погоубить мечь якоже клатвы язва, ротивыиса аще мнить са живь, оуже оумре* [СДРЯ 10: 459].

В сербскохорватском *rotiti (se)* в значении 'клясться' также регулярно сочетается с другими членами синонимического ряда, прежде всего с **kleti (se) / *kletva*, ср. *vera i rota, rota i kletva, rotom i dušom, rotom ili zakletvom: Sagrišuje, koji rotom ili zakletvom... krivo kune* [Согрешит тот, кто ротой или клятвой ложно клянется]; *rotiti i zakleti, zaklinati se i rotiti, prisezati i rotiti se, rotiti se i priseći, kleti i rotiti se: A on se poče kleti i rotiti* [А он начал клясться и ротиться]; *Rotismo se na svetomь evanьeliju i na časъnimь i životvorećimь krъsti Hristevi; Rotismo gospodinu vojvodi* [Клянемся на святом евангелии и на честном и животворящем кресте Христовом; Клянемся господину воеводе]; *rotiti se krivo* 'присягать, клясться ложно', *rotoloman = krivokletan* 'клятвопреступник', *rotnik, porotac, porotnik, prisežnik = kletnik* 'тот, кто клянется' [RHSJ XIV: 182–185].

Однако по способу категоризации понятия обещания, клятвы **kletva* и **rota* различны. Действительно, *клятва* — дериват глагола **kleti (se)*, обозначающего 'бранить, проклинать (себя)', откуда в одних славянских языках *клятва* означает 'проклятие' (как дериват **kleti*), в других — 'клятва' (как дериват возвратного *kleti se*), тогда как *рота*, по предположению О. Н. Трубочева, производно от **rek-* 'говорить, сказать', ср. *зарок, зарекаться* (= 'клясться не делать чего-л.') (есть и другие этимологические версии, см. [Фасмер 3: 507]). Для **kletva*, таким образом, сочетание значений клятвы и проклятия объяснимо [Толстая 2016], однако семантика брани и проклятия отмечается и у глагола *ротити(ся)*, что объяснить труднее. Так, В. И. Даль (а вслед за ним и СРНГ) приводит глагол *ротить* в значении 'бранить, ругать, клясть, проклинать' (правда, ввиду немотивированности и странности такого значения В. И. Даль под вопросом предполагает, что это дериват от *рот*); в той же статье он приводит *ротá, ротьбá* — в закономерном значении 'божба, клятва, клятьба' ([Даль² 4: 105]; *клятьба* скорее всего следует понимать как заклинание). В русских говорах, по данным СРНГ, *ротиться* означает 'клясться и божиться' (арханг., волог., иркут., сиб., якут.): *Нешто они присягают по нашему, они ротятся своими идолами; ротник* 'тот, кто дал клятву (роту)' [СРНГ 35: 205]. Любопытно, однако, что значение брани у глагола **rotiti (se)* находим в ст.-чеш. *rotiti* 'ругать(ся), бранить(ся)', *rotiti se* 'спорить, ссориться', чеш. диал. *rotit* 'ругать(ся), бранить(ся), корить, упрекать, порицать' [Янышкова 2013], а также в хорватском и словенском: *rotiti se*. Приходится предполагать, что семантика брани и проклятия, «этимологически» оправданная для **kletva*, вторично воспринята гнездом **rota / *rotiti (se)* под влиянием архаического обычая клясться способом «самопроклятия», ср. замечание В. И. Даля: «ротá, особ. заклинанья вроде: *отсохни рука* (если неправду говорю); *чтоб мне провалиться, не видать детей, дай Бог лопнуть* и пр.» [Даль² 4: 105]. Ср. еще рус. диал. (вологод.) *клясться* 1. 'браниться,

ругаться'. *Перестань не по делу клясться*. 2. 'неприлично браниться, материться'. *Мужики-то сидят пьяные на завалинке, курят да клянущия* [СВГ 3: 70]⁵.

Обратимся теперь к *вере* в юридическом значении. В старославянском языке собственно правовая семантика *веры* не отмечена; единственным примером, прямо относящимся к юридическому дискурсу, можно считать глагол оувѣрити сѧ в значении 'оправдать себя': *сѣвѣдѣннѣ твоѣ оувѣриши сѧ сѣло* [SJS 4: 592]. В древнерусском языке, как уже было сказано, *вѣра* имеет среди прочих значение 'обещание, заверение': *да въдасть вѣроу яко ничтоже зла не створить ъмоу*; глагол *вѣритисѧ* означает 'клясться' [СДРЯ 2: 299]. В. И. Даль приводит с пометой *стар.* значения *вера* 'клятва, присяга', *веритисѧ* 'присягать, принимать присягу', *вероломство* 'нарушение клятвы' (< *ломать клятву, присягу*), *вероятие* 'принятие чего-л. за истину', *вероятность* 'правдоподобие' [Даль² 1: 813–814]. Ср. также пск. *вера* 4. присяга, клятва [ПОС 3: 77–78]. Близкое к этому правовое значение 'обещать, клясться' сохраняет кашубский глагол *várovac sq* 'клясться': *Abo sq váruješ, abo ñe, já ce tak i tak ñe veřa* [Клянешься ты или нет, я тебе все равно не верю], *zavárovac sq* 'поклясться, принести присягу': *Zaváruj sq* [Поклянись]; глагол известен также в говорах Кочевья: *várovac še* [Sychta 6: 120], а также макед. *вери вера*, *врзе вера* 'дать слово, поклясться', *држи вера* 'исполнить обещание, клятву' (ср. рус. *держать, сдерживать слово*), *обет*⁶, *прави вера*, *стори вера*, *чини вера* в том же значении 'поклясться' (букв. 'сделать веру'), *на вера* 'в кредит': *купих коња на вера* [купил коня в кредит] [РМНП 1: 239–240].

Формулы с термином *вѣра* в старосербских деловых текстах (в отличие от славяносербских текстов, продолжающих старославянскую традицию, где семантика *веры* сформировалась под влиянием греч. *πίστις*) и особенно формулу *дати вѣру* 'дать слово, обещать, заключить соглашение' и конструкции (делать что-л.) *на вѣру* / *на вѣрѣ* недавно изучала специально Ямина Гркович-Мейджор [Гркович-Мейджор 2016]. Она показала, что эти формулы находят параллель в других индоевропейских языках (лат. *fidem dare*, греч. *πίστιν δοῦναι*, алб. *dhashë besën*); они сохраняют не только древнюю структуру, но и архаическую семантику входящих в них терминов. Для *вѣры*, по мнению Я. Гркович-Мейджор, следует считать исходным значением 'союз, соглашение, договор'. Наряду с *вѣра*, в этих же формулах выступают и *клетва*, и *обѣитание*, и *рѣчь*, и *рука*: *дати/држати клетву*, *обѣитание*, *рѣчь*, *руку*. Эти же слова замещают друг друга и в других формулах — с глаголами *држати* 'держать', *потвърдити*, *поставити*, а также *прѣкръшити* 'разрушить', *изломити* 'сломать' (ср. *вероломный*), *погазити*, *покварити*, *разбити* 'разбить'. В подтверждение исконности этих формул в работе приводятся примеры из сербской народной поэзии: «Вјеру дајте, да ме не варате!; Већ дај мене твоју вјеру тврду; И ту Божју вјеру зададоше; Краљ Вукашин вјеру погазио; Ђе ће краље мене да превари, и на вјери мене да погуби» (*Вук*) [Поклянитесь, что

⁵ В последнем случае возвратная форма глагола *клянутся*, скорее всего, восходит не к праславянскому *kļeti se* со значением 'клясться, давать клятву', а является омонимичной формой невозвратного глагола *kļeti* 'клясть, проклинать', ср. *ругать* и *ругаться*.

меня не обманываете! Дай мне твердое слово (веру); Той Божьей клятвой (верой) они поклялись; Король Вукашин клятву (веру) нарушил; Где король меня обманет, и «на вере» меня погубит»; «Али ти се ја краљу, вјером божјом заклињам; Ако ћете нам дати ту перашку вјеру тврду; Предајте се сад на добру вјеру» (*Богшић*: 38, 176, 180) [Но я тебе, король, божьей клятвой (верой) клянусь; Если нам дадите твердое перашское (от топонима *Пераст*) обещание (веру), отдайтесь сейчас «на добрую веру»] [Грковић-Мејдор 2016]⁶. Словарь Матицы сербской для слова *вера* приводит значение ‘задана реч, обећање и поверење, кредит’ [данное слово, обещание и доверие, кредит]: «У цепу није имао паре, а на вјеру му нису ништа дали» [В кармане у него не было денег, а в кредит ему ничего не дали] [РМС 1: 353].

Вера в юридическом значении употребляется и в языке традиционного свадебного обряда, который, по существу, составляет подраздел языка права: с.-х. *верити се* ‘обручаться, заключать помолвку’, *веридба* ‘помолвка, обручение’, *вјереник* ‘жених’, *vjeriti koga (za koga)* ‘обручить кого-л. (с кем-л.)’, *vjeriti* ‘обвенчать’, *vjeriiti se za kim, kime* ‘заключить брак с кем-л.’ [RHSJ 21: 92–93]; макед. *вереник* ‘жених’; черногор. *вера* ‘обручальное кольцо’; ср. также некоторые аналогичные словацкие и восточнославянские термины: словац. *vereník*, укр. *вірник* ‘жених’ [Гура 2012: 109, 409, 413], рус. диал. *из веры выйтти* ‘расторгнуть помолвку’ [СРГК 1: 172] и др. Ср. также пол. литер. *nie dochować wiary* ‘złamać przysięgę małżeńską’ [нарушить супружескую верность] [SJPД 9: 976]; в.-луж. *wěrować* ‘венчать, сочетать браком’, *wěrować so* ‘венчаться, вступать в брак’, *wěrowanje* ‘бракосочетание’, *wěrowanski* ‘брачный, свадебный’, *wěrowanski ćah* ‘свадебная процессия’, *wěrowanski pjeršćen* ‘обручальное кольцо’ [Zeman 1967: 488]; н.-луж. *wěrowaś* ‘обвенчивать, обвенчать’, *dowěrowaś* ‘обвенчать по нужде, дополнительно обвенчивать’, *huwěrowaś* ‘довенчивать’, *nawěrowaś* ‘сочетаться браком’, *rozwěrowaś* ‘разводить, развести’, *zwěrowaś* ‘венчать, отправлять венчальные церемонии’, *wěrowańe* ‘бракосочетание, браковенчание’, *wěrowaństwo* ‘венчание, брак, супружество’, *wěrowań* ‘священнослужитель при бракосочетании’, *wěrowański* ‘венчальный, свадебный’ [Мука 2: 854]. С понятием обещания обнаруживает тесную связь и главный западнославянский свадебный термин — **sl’ubъ* [Толстая 2015].

Итак, синонимичные слова со значением ‘обещание, клятва’ входят в однотипные конструкции в разных языках: **tvьrdъ* + **kļetva*, **věra*, **prisęga*, **rota*, **slovo*, **rěčъ* в значении ‘твердое обещание, честное слово и т. п.’, **krivъ* + **kļetva*, **věra*, **prisęga*, **rota* в значении ‘ложная клятва’; **dati* + **kļetva*, **věra*, **prisęga*, **rota*, **slovo*, **roka* в значении ‘дать клятву, обещание’ (ср. рус. *ручаться, обещаться*), **dbrъzati*, **izpъlniti* + **kļetva*, **věra*, **prisęga*, **rota* в значении ‘соблюдать, сдерживать, исполнять обещание, клятву’, **bъrati* + **kļetva*, **věra*, **prisęga*,

⁶ Цитируемые примеры взяты из следующих источников: Вук — Сабрана дела Вука Караића. Књ. 5. Београд, 1988; *Богшић* — Народне пјесме, из старијих, највише приморских записа. Скупио В. Богшић // Гласник Српског ученог друштва. Друго одељење. Књ. 10. Београд, 1878. С. 1–430.

**rota* в значении ‘принимать присягу, клятву’, **lomiti* + **kletva*, **věra*, **prisęga*, **rota* в значении ‘нарушить обещание, преступить клятву’ (ср. рус. ц.-слав. *вероломный*, серб. *вероломан*). Они также часто в этих формулах употребляются совместно, например *верой и клятвой*, *верой и правдой*, *верой и душой*, ст.-серб. *да присегу нихъ вѣромъ и душомъ и клетвомъ да буду вѣрни* [Грковић-Мејдор 2015], *клясться и ротиться*, *клясться и присягать* и т. п.; *дать клятву* и *дать слово*, *дать руку*, ср. *ручаться*, *обручиться*, чеш. *na tou duši!* и *na tou věru!* в значении ‘ей-богу’.

Такого рода контексты подтверждают представление о языке права как о явлении глубокой архаики, слитой с дохристианской мифопоэтической традицией, о чем убедительно писали Э. Бенвенист [Бенвенист 1995: 299–342], В. В. Иванов и В. Н. Топоров [Иванов, Топоров 1978; 1981] и многие другие авторы, а Б. О. Унбегаун говорил о «существовании устного обычного права еще в “до-церковнославянскую” эпоху, т. е. до крещения Руси. Право это как бы только и ждало введения письма, чтобы быть закрепленным на бумаге» [Unbegaun 1969: 313]. Виктор Маркович писал, что «славянское право связано в своих истоках со славянским язычеством. Соответственно, архаическая юридическая традиция является частью языческой культуры» [Живов 2002: 191]. Поэтому скорее следует говорить о приобретении «языческими» юридическими терминами философско-религиозного значения, чем о приспособлении религиозного термина *вера* к традиционному правовому дискурсу.

Таким образом, *вера* и *правда* предстают как синонимы, совпадающие в архаическом языке славянского права во многих (но не во всех!) своих значениях, употреблениях и контекстах (формулах), нередко восходящих к общеиндоевропейской юридической традиции и терминологии. При этом они изначально по-разному категоризируют выражаемые ими понятия единого концепта правды: *вера* — «изнутри» человека, исходя из его ментального мира, а *правда* — извне, из социальной действительности, но в юридическом дискурсе они сближаются и оказываются взаимодополняющими. Б. О. Унбегаун и В. М. Живов разбирают лексические оппозиции языческих и церковнославянских терминов русского права типа *правда* — *закон*, *видок* — *послух* — *свидетель*, *холоп* — *раб*, *дом* — *имение*, *задница* — *наследие*, *головник* — *убийца*, *человек* — *лице* и т. п. и, анализируя смену терминов в конкретных юридических текстах (в частности, в списках «Русской Правды»), их постепенную славянизацию, устанавливают характер и степень влияния церковнославянской (византийской) традиции на русскую (славянскую), однако в нашем случае, когда мы говорим о *вере* и *правде*, оба слова принадлежат одновременно и языческому и христианскому (церковнославянскому) языку и культуре, и проследить на их примере взаимодействие двух разных юридических систем, одна из которых языческая, а другая — христианская, можно только «изнутри», т. е. на уровне тонких семантических изменений, которые претерпело каждое из слов, не говоря уже о том, что они являлись ключевыми терминами не только юридического, но и религиозного и общекультурного дискурса.

Литература и сокращения

- АОС 1— Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1— М., 1980—.
- Арутюнова 1998 — *Н. Д. Арутюнова*. Истина и правда // Н. Д. Арутюнова. Язык и мир человека. М., 1998. С. 543–642.
- БАС 1–17 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1965.
- Бенвенист 1995 — *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Грковић-Мејдор 2016 — *Ј. Грковић-Мејдор*. Формуле са именицом *вѣра* у старосрпском језику // Anatolij A. Alekseev, Nikolaj P. Antropov, Anna G. Kretschmer, Fedor B. Poljakov, Svetlana M. Tolstaja (Hrsg.). Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Zum 90. Geburtstag von N. I. Tolstoj (=Philologica Slavica Vindobonensia. 2). Frankfurt am Main — Berlin — Bruxelles — New York — Oxford — Wien: Peter Lang, 2016. Teil 2. S. 43–57.
- Гура 2012 — *А. В. Гура*. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М., 2012.
- Даль² — *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2. СПб.; М., 1880–1882.
- Живов 2002 — *В. М. Живов*. История русского права как лингвосемиотическая проблема // В. М. Живов. Разыскания в области истории и предистории русской культуры. М., 2002. С. 187–305.
- Зализняк 2004 — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. М., 2004.
- Иванов, Топоров 1978 — *В. В. Иванов, В. Н. Топоров*. О языке древнего славянского права (к анализу некоторых ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 221–240.
- Иванов, Топоров 1981 — *В. В. Иванов, В. Н. Топоров*. Древнее славянское право: архаические мифопоэтические основы и источники в свете языка // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 10–31.
- Лихачев 1965 — *Д. С. Лихачев*. Стилистическая симметрия в древнерусской литературе // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 418–423.
- Лотман 1967 — *Ю. М. Лотман*. Об оппозиции «честь–слава» в светских текстах Киевского периода // Труды по знаковым системам. 3. Тарту, 1967. С. 100–112.
- ПОС 1— Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1— Л.; СПб., 1967—.
- РМНП 1— Речник на македонската народна поезија. Т. 1— Скопје, 1983—.
- РМС 1–6 — Речник српскохрватског књижевног језика. Књ. 1–3. Нови Сад; Загреб, 1967–1969; Књ. 4–6. Нови Сад, 1971–1976.
- САР 1–6 — Словарь Академии Российской. Ч. 1–6. СПб., 1789–1794.
- СВГ 1–12 — Словарь вологодских говоров / Ред. Т. Г. Паникаровская. Вып. 1–12. Вологда, 1983–2007.

- СДРЯ 1 — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–. М., 1988–.
- СРГК 1–6 — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.
- СРНГ 1 — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.
- Степанов 1997 — Ю. С. Степанов. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Толстая 2012а — С. М. Толстая. «Веселится небо, радуется земля» // Два венка: посвящение Ольге Седаковой. М., 2012. С. 92–101.
- Толстая 2012б — С. М. Толстая. К семантической реконструкции слав. **vesel-* и **rad-* // *Praslovanska dialektizacija v luče etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezljaja. Zbornik referatov z Mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16–18 septembra 2010.* Ljubljana, 2012. С. 257–254.
- Толстая 2013 — С. М. Толстая. Русская честь и польский honor // *Etnolingwistyka.* 25. Lublin, 2013. S. 9–21.
- Толстая 2015 — С. М. Толстая. К семантической реконструкции славянской свадебной терминологии // *Zeszyty Łużyckie.* Т. 49. Warszawa, 2015. S. 47–55.
- Толстая 2016 — С. М. Толстая. Клятва и проклятие в языке и культуре // *Anatolij A. Alekseev, Nikolaj P. Antropov, Anna G. Kretschmer, Fedor B. Poljakov, Svetlana M. Tolstaja (Hrsg.). Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Zum 90. Geburtstag von N. I. Tolstoj (=Philologica Slavica Vindobonensia. 2).* Frankfurt am Main — Berlin — Bruxelles — New York — Oxford — Wien: Peter Lang, 2016. Teil 1. S. 215–240.
- Толстой 1984 — Н. И. Толстой. Слово в сакральном тексте (ритуале): серб. *vesel(ица)* — *Rad(ован)* // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов. М., 1984. С. 96–97.
- Толстые 1993 — Н. И. и С. М. Толстые. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. **vesel-*) // *Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации.* М., 1993. С. 162–186.
- Успенский 1983 — Б. А. Успенский. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Фасмер 1–4 — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1986–1987.
- Янышкова 2013 — И. Янышкова. Этимологический комментарий к одному чешскому диалектизму // *Slavica Svetlanica. Язык и картина мира.* М., 2013. С. 80–83.
- Boryś 2005 — W. Boryś. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
- Gregorič 2014 — J. Gregorič. Kostelski slovar. Ljubljana, 2014.
- Hafner 1981 — St. Hafner. O semantičkim inovacijama u srpskoj redakciji crkvenoslovenskog jezika // *Међународни научни скуп. Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности.* Београд, 1981. С. 77–87.
- Keber 2011 — J. Keber. Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana, 2011.
- Kotnik 1967 — J. Kotnik. Slovensko-ruski slovar. Ljubljana, 1967.

- Mažuranić 1–2 — *V. Mažuranić*. Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik. D. 1–2. U Zagrebu, 1908–1922 (reprint — Zagreb, 1975).
- Mokienko, Wurm 2002 — *V. Mokienko, A. Wurm*. Česko-ruský frazeologický slovník. Olomouc, 2002.
- Muka I–II — *E. Muka*. Słownik dolnosербске ječe a ječe naręcow. I. A–N. Sankt-Peterburg, 1911–1915. II. O–Ź. Praha, 1928. (Praha, 1926; Budyšin, 1966.)
- RHSJ 1–23 — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. D. 1–23. Zagreb, 1880–1976.
- SJPD 1–11 — Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. T. 1–11. Warszawa, 1958–1969.
- SJS 1–4 — Słownik jazyka staroslovenského. T. 1–4. Praha, 1966–1997.
- SSp 1–11 — Słownik staropolski / Red. nac. S. Urbańczyk. T. 1–11. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź, 1953–2002.
- Sychta 1–7 — *B. Sychta*. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1–7. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976.
- Unbegaun 1969 — *B. O. Unbegaun*. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969.
- Wierzbicka 1971 — *A. Wierzbicka*. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa, 1971.
- Zaron 1993 — *Z. Zaron*. Refleksje na temat wyrażenia *wierzyć* // Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne / Red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska. Lublin, 1993. S. 231–238.
- Zeman 1967 — *H. Zeman*. Słownik górnołużycko-polski. Warszawa, 1967.

Svetlana M. Tolstaya

*Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

FAITH AND TRUTH: ON THE HISTORY OF CONCEPTS

The paper refers to the semantic interpretation of two Proto-Slavic words — **věra* and **pravda* (including their cognates), that present a lot of similarities in terms of meaning and usage. Modern epistemological meanings of the words ‘faith’ and ‘truth’ are supposed to be a result of longstanding semantic derivational processes: **věra* goes up to i.-e. root with the meaning ‘genuine, veridical’ and is a cognate of Lat. *verum*, Germ. *wahr* etc., whilst **pravda* derives from **pravъ* that meant ‘direct’. Both words appear to be terms of the Ancient Slavic law with the meaning ‘agreement, alliance, obligation’ followed by further ‘law, determination, right’. Certain Slavic languages still keep both meanings — **pravda* in the juridical language and **věra* in the language of the marriage terminology that derives to the language of the law.

Keywords: Slavic languages, lexicology, semantics, etymology, juridical discourse, history of concepts, faith, truth.

VI

Алан Тимберлейк
Колумбийский университет
(Нью-Йорк, Нью-Йорк, США)

РАЗГОВОРЫ С ВИКТОРОМ МАРКОВИЧЕМ И ПОНЯТИЕ ДИСПОЗИЦИИ В ЯЗЫКЕ

Узус (*речь, speech, parole, performance*) не может быть целиком предсказан, исходя из системы (*язык, grammar, langue, competence*). Узус живет сам по себе. Узус представляет собой повторяющееся (привычное) употребление; узус изучается вместе с его прагматикой и социальными контекстами; изменение происходит непосредственно в узусе.

Узус согласуется с абстрактными принципами, которые можно назвать *диспозициями*, но не определяется ими. Диспозиции допускают (но не диктуют) различные исторические эффекты, как то: сохранение предыдущего узуса (так обстоит дело с южнославянскими энклитиками); расширение действия уже происходящего изменения (маркировка одушевленности в истории русского языка) — две формы языковой инерции; обеспечение модели для потенциального изменения (*Watergate > Camilla-gate*); управление вариацией в происходящем изменении; отражение широких культурных предпочтений в конкретном узусе (в Польше после 1989 года — утопическая вера в технологии, проявившаяся в псевдо-одушевленном *kuric laptopa*). Мой интерес к соотношению узуса и диспозиции возрастал в ходе многолетней, с перерывами, дискуссии с другом и коллегой — и исключительным собеседником — В. М. Живовым.

Ключевые слова: диспозиция, узус, энклитика, закон Ваккернагеля, языковая инерция, маркировка одушевленности.

Введение

Разрешите начать с личного. Я познакомился с Виктором Марковичем, когда он преподавал в Лос-Анджелесе и мы с Борисом Гаспаровым предложили ему прочесть лекцию в Беркли. Его лекция так меня впечатлила, что я позвал его в Беркли на семестр (я тогда заведовал кафедрой славянских языков),

а потом взял в штат. Половину учебного года он проводил в Москве, а половину — в Беркли.

В течение следующих двенадцати лет, пересекаясь в Беркли весной, мы с Виктором Марковичем вели оживленные беседы. Мы говорили о состоянии американской лингвистики, которая, как казалось нам, слишком поглощена абстрактными схемами. Нас не слишком воодушевляли постмодернистские исследования в области культуры. Но больше всего мы говорили о языке и культуре, все время возвращаясь к вечному вопросу о взаимоотношении грамматической системы и узуса, или, в терминологии Фердинанда де Соссюра, *langue* и *parole*. Мы заключили, что на синхронном уровне грамматика никогда не оттачивается настолько, чтобы полностью определять узус. Аналогично — на уровне диахроническом: если язык — это жесткая система и узус определяется системой, то перемены в языке в принципе невозможны: очевидно, что перемены происходят непосредственно в узусе. Вот к чему мы пришли, беседуя о языке, когда публиковали нашу единственную совместную работу в «Вопросах языкознания» в 1997 г.

1. Практика и диспозиция

Единственный выход из тупика — пересмотреть иерархические отношения между *langue* (системой) и *parole* (узусом): приходится считать узус первичным и автономным, а систему — неявной, несамовластной, непредсказательной.

Оказывается, нечто в этом роде сделал еще Аристотель в своей теории этики:

Аристотель о благе и навыках

Следовательно, практической мудрости... нельзя обрести, усвоив лишь общие правила. Мы также должны практически обрести мыслительные, эмоциональные и социальные навыки, позволяющие нам применять на практике наше общее представление о благе тем способом, которого требует тот или иной случай [«Этика» Аристотеля].

Здесь Аристотель проводит различие между общим представлением и практикой. Это различие может быть применено и к языку. Практика, она же узус, она же *parole*, чувствительна к контексту. По Аристотелю, общего представления, или *langue*, недостаточно для того, чтобы предсказывать (или предопределять) узус. У *parole* собственные, чувствительные к контексту правила. Т.е. *parole* обретает самостоятельность, а «общее представление» лишь общим представлением и является: это нечто довольно неопределенное, оно что-то подсказывает, но не может предсказывать узус в практике. Аристотель назвал общее представление словом «διάθεσις», которое переводится на русский язык как «расположение (склонность) к известному рода деятельности» (1105b25–6). Далее я буду пользоваться термином «диспозиция».

Ниже я приведу несколько примеров применения различия между практикой и диспозицией. В конце я вернусь к личному.

2. Диспозиция и закон Ваккернагеля

Первый пример связан с рефлексамии закона Ваккернагеля в болгарском языке. Как известно, по закону Ваккернагеля энклитика, здесь обозначенная буквой «е», должна следовать за главной лексической единицей, назовем ее «Х»; другие лексические единицы, которые следуют за лексемой Х и энклитикой е, можно обозначить как «У». Т. е. закон Ваккернагеля можно передать следующей формулой, как показано в (1):

$$(1) \quad \| X + e Y \|$$

Общая формула (1) включает в себе три подформулы, как показано ниже (примеры взяты из Ипатьевской летописи) в (2), (3) и (4):

$$(2) \quad \| V + e Y \| \quad \text{поѡхаль бо блше Ѡбовлы Костоуковичъ в четьрѣхъ стѣхъ воевать к Роуси [Ипат. лет., стб. 633]}$$

$$(3) \quad \| X + e V Y \| \quad \text{Изаславъ ми то молвить || ты ми буди въ ѡца мѣсто [Ипат. лет., стб. 386]}$$

$$(4) \quad \| X + e Y V \| \quad \text{Чему ми еси во шномъ дѣи не даль [Ипат. лет., стб. 399]}$$

Со временем во многих славянских языках энклитики стали присоединяться к глаголу, лексеме, с которой почти все энклитики синтаксически связаны. Когда это происходит, получаются следующие конструкции в болгарском языке. Из (2) получим (5), а из (3) получим примеры (6) и (7), в то время как праславянский трафарет (4) — правда, редкий, — в котором энклитика не соседствует с глаголом, не сохраняется в болгарском (см. (8)):⁷

$$(5) \quad \| V + e Y \| \quad \text{Даде ми го Вера вчера.} \quad \text{«Дала мне это Вера вчера»}$$

$$(6) \quad \| X + e V Y \| \quad \text{Вчера ми го даде Вера.} \quad \text{«Вчера мне это дала Вера»}$$

$$(7) \quad \| X + e V Y \| \quad \text{Вера ми го даде вчера.} \quad \text{«Вера мне это дала вчера»}$$

$$(8) \quad \| X + e Y V \| \quad \text{*Вера ми го вчера даде.}$$

Таковы возможные последовательности, которые унаследовал болгарский язык от праславянского.

Стоит заметить, что исключена гипотетически возможная последовательность, показанная в (9), в которой фраза начинается прямо с энклитики:

$$(9) \quad \text{*Ми го даде Вера вчера.}$$

Звездочка показывает, что гипотетическое предложение (9) в болгарском языке грамматически неверно.

Почему неверно? Приверженцы синтаксической теории Ноама Хомского потратили много сил на то, чтобы предсказать грамматическую неправильность

⁷ Примеры взяты из [Franks, King 2000].

примеров типа (9). Аргумент принимает следующую общую форму [Anderson, Lightfoot 2000]. В процессе усвоения языка ребенок не может получать никаких данных, непосредственно указывающих на неприемлемость предложения типа (9). Следовательно, ребенок, создавая грамматику, должен прибегать к универсальным принципам.

Но неясно, зачем нужно формулировать теорию с целью исключить неграмматические сочетания: не целесообразнее ли описывать возможные выражения, чем несуществующие? На более общем уровне возникает сомнение в том, что путем универсалий можно предсказывать мелкие различия между языками. В данном случае македонский язык как раз позволяет энклитикам стоять на первом месте клаузы. Значит, какой-нибудь универсалией невозможно предсказывать отсутствие предложения типа (9) в болгарском языке.

В самом деле, существует куда более простое объяснение неприемлемости предложений типа (9). Как давно утверждал Станислав Роспонд: «Nigdy enklityki z powodu swojej bezakcentowości nie mogły stać na początku zdania» [Rospond 1973: 342].

То есть в болгарском языке отсутствие энклитики в начале клаузы — это всего лишь продолжение предшествующего состояния праславянского, в котором существовал предшественник для (6), (7), (8), а предшественник для (9) не существовал.

Тут стоит вспомнить первый закон движения Ньютона:

«Всякое тело [язык] продолжает удерживаться в состоянии покоя, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».

Если заменить слово «тело» словом «язык», то первый закон Ньютона будет объяснять поведение энклитик в болгарском языке. Единственно возможные модели их поведения — те, что по инерции наследуют узусу праславянского языка. Не требуется специально объяснять, почему (9) грамматически неверно: в болгарском языке такого быть не может, потому что такого не могло быть в праславянском, и запрет на появление энклитики на первом месте в клаузе остается в силе — пока состояние инерции не изменится приложением сил, как случилось в македонском. Как подразумевает первый закон Ньютона, если применить его к языку, язык расположен к стабильности. Отсутствие перемен — default setting для языка и культуры.

3. Диспозиция и непрерывное изменение: микробы и вирусы

Понятие диспозиции может распространяться на текущие перемены. Как известно, языки все-таки иногда меняются, и, однажды начав меняться, они зачастую продолжают меняться, упрочивая результаты предшествующих перемен переменными дальнейшими. К примеру, в славянских языках одушевленность объекта передается заменой старой формы аккузатива формой генитива. Это нововведение — маркировка одушевленности использованием генитива — началось давно. Изменение в течение тысячелетия постепенно охватывало лексику (от людей к животным и дальше к не слишком «каноническим» живым организмам).

Изменение это еще продолжается. Существительное во множественном числе *микробы* — не «каноническое» одушевленное существительное. Два года назад я провел в Google поиск на слово *микробы* как объект действия *выращивать* и обнаружил, что категория одушевленности представлена более чем в половине результатов:

(10) Грамматическая одушевленность неканонических организмов *микробы* и *вирусы* (как дополнение глагола *выращивать*)

	неодушевленные	одушевленные	% одушевленных
(а) { <i>микробы/микробов</i> }	14	20	58,8%
(б) { <i>вирусы/вирусов</i> }	124	4	3,1%

Даже существительное *вирусы*, которое в Грамматическом словаре А. А. Зализняка классифицируется как неодушевленное, начало выказывать признаки одушевленности — впрочем, менее чем в 5% найденных контекстов. «Одушевление» этих неканонических существительных показывает, что изменение еще происходит. Такое непрерывное развитие следует из первого закона Ньютона во втором его варианте:

«Всякое тело [язык] продолжает удерживаться *в состоянии... равномерного и прямолинейного движения*, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».

Опять же, заменив слово «тело» словом «язык», мы получим описание длительного, непрерывного изменения в языке. Сочетая Ньютона с Аристотелем, можно сказать, что языки, приобретя расположенность к изменениям, будут продолжать меняться — если не случится какого-нибудь противодействующего изменения.

4. Диспозиция и синхроническая вариация

Развитие категории одушевленности в русском языке может служить примером другого значения понятия «диспозиция». Когда происходит синхроническая вариация (как в случае с *выращивать* {*микробы/микробов*}), выбор зависит от параметров дискурса. В частности, одушевленность выражается тогда, когда микроб контекстуально индивидуализируется, см. пример (11):

(11) «Более того, ученые сейчас уже специально **«выращивают микробов** вин.одушвл., способных перерабатывать такие ядовитые вещества, как диоксины и пентахлорбензолы»⁸.

В (11) смысловым центром является создание определенной разновидности микроба — разновидности, которая отличается от прочих возможных разновидностей и таким образом индивидуализируется. Напротив, если говорящего не интересует определенная разновидность микроба, то используется неодушевленная форма «микробы». Например, в (12) речь идет о среде, в которой микробы выращиваются, а не о той или иной разновидности микробов:

⁸ Л. Т. Пинчук. В поисках истины (Диалог со студенческой аудиторией). URL: <http://fil-pinchuk.narod.ru/new2.html>.

(12) Позднее Кох стал *выращивать микробы* вин.неодушвл. на культуральных средах, к которым добавлял желатину.

Иными словами, на каждом этапе истории категории одушевленности в русском языке всякая вариация соответствует следующей диспозиции: индивидуализация события или предмета благоприятствует выражению одушевленности, тогда как фокусировка на существовании события или предмета, напротив, препятствует выражению одушевленности.

5. ...когда прилагаются силы изменить состояние движения

В случае, о котором только что говорилось, изменение происходило в течение тысячи лет. Теперь следует задаться вопросом, как в языке может развиваться что-нибудь существенно новое. Если не считать инноваций, вызванных межъязыковыми контактами, нововведения в основном возникают по аналогии с существующими моделями. Так, по крайней мере, принято считать.

Для примера возьмем английскую модель образования композита, продуктивную вот уже сорок лет. Она возникла из одного слова — «Watergate». Английское слово «watergate» — это композит, состоящий из двух существительных, «water» и «gate», и исходно означающий ‘ворота для воды’. Такова его этимология. В 1970-е гг. этот композит означал не любые ворота для воды, а здание, находящееся на берегу реки Потомак в городе Вашингтон, где преступники проникли в предвыборный штаб Демократической партии. Выяснилось, что за незаконным проникновением стоял президент Ричард Никсон, которому после этого пришлось уйти в отставку. Само преступление и его последствия вызвали скандал. Этому скандалу было метонимически присвоено название места, где он случился, а именно «Watergate». По риторическому принципу «часть вместо целого» идея скандальности в слове «Watergate» сосредоточилась в морфе «gate», что сделало возможным новообразования, подобные тем, что мы видим в (13):

(13) Производные от «Watergate»

(а) *nannygate* ‘скандал о зарплате няне’

(б) *Camillagate* ‘записи телефонных разговоров между Камиллой Боулс и принцем Чарльзом’

(в) *bridgegate* ‘скандал, связанный с ограничением движения по мосту между Нью-Джерси и Нью-Йорком, введенным губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи’ (2013).

Теперь у нас имеется новая морфема «gate», означающая ‘скандал, наносящий урон репутации’. Первая часть композита — переменная; она называет человека, место, институцию и проч. в эпицентре скандала. В виде формулы это будет выглядеть так (14):

(14) {x} ‘человек/место/институция’ + {gate} ‘скандал, связанный с x’.

Образцом для этой продуктивной модели, как мы видим, послужило слово «Watergate». Вообще, лингвисты сказали бы, что слово «Watergate» было разложено

на две части. Вторая, должно быть, — это морфема «gate». Что же в таком случае является первой морфемой? Наверное, первая часть должна быть «water». Но этого быть не может, потому что скандал никак не связан со значением слова «water»; тот скандал был связан с местом под названием «Watergate», причем это название воспринималось как единое целое. Значит, исходное слово «Watergate» само не изменилось. Тем не менее слово «Watergate» стало новой словообразовательной моделью, {x} + {gate}, имеющей значение ‘скандал, связанный с x’, при том что само слово не изменилось. Как это возможно? Это значит, что «Watergate» — не только слово, имеющее определенный смысл (здание на берегу реки), но и потенциальная модель образования новых слов. Эта потенциальная способность вести к изменениям — своего рода диспозиция, расположение. Это не диспозиция в смысле «непрерывное изменение», но все равно диспозиция — в смысле «скрытый потенциал», обещание чего-то в будущем. Отсюда явствует, что существуют два уровня диспозиции: первый — это расположение продолжать привычную наследуемую практику; второй — это обещание возможных перемен в практике.

6. ...когда прилагаются силы изменить состояние

Я бы хотел рассмотреть еще один пример диспозиции. Известно, что в польском языке категория одушевленности применяется свободнее, чем в русском. К примеру, марки автомобилей, как правило, «одушевляются», см. (15) (поиск проводился в августе 2012 г.):

(15) Czy warto kupić {Fiat (60xx) / Fiata (222xx)}?

Есть два существительных, относящихся к технической сфере, — слова «komputer» и «telefon», которые были неодушевленными до 1989 г. и остались неодушевленными в дальнейшем.

(16) Старые существительные, обозначающие технологию

- (а) Mam {komputer / *komputera}
 (б) Muszę kupić sobie {telefon / *telefona}.

Более же новые слова, относящиеся или к технологиям, или к средствам социальной коммуникации, напротив, часто «одушевляются». Исследовательница Жужанна Фухс составила опросник, посвященный существительным в соответствующем контексте (как объектам действия), разместила его в Интернете и попросила давать ответы. Ей ответили 45 человек (скорее всего, молодых) (см. [Fuchs 2014: 120]).

(17) Новые существительные, обозначающие технологии

	существительные	% неодушевленных {-Ø}	% одушевленных {-a}
(а)	<i>text</i> -{-Ø/-a}	55 %	45 %
(б)	<i>cellphone</i> -{-Ø/-a}	49 %	51 %
(в)	<i>Facebook</i> -{-Ø/-a}	16 %	84 %
(г)	<i>sms</i> -{-Ø/-a}	7 %	93 %

Эти результаты подтверждаются беглым поиском в Интернете:

(18) Поиск в Интернете (октябрь 2014 г.)

	существительные	неодушевленные {-/Ø}	одушевленные {-a}	% одушевленных
(а)	<i>(kupić) computer</i> {-Ø/-a}	197	9	04,4%
(б)	<i>(wysłać) sms</i> {-Ø/-a}	311	225	41,9%
(в)	<i>(kupić) laptop</i> {-Ø/-a}	170	203	54,4%
(г)	<i>(kupić) iPod</i> {-Ø/-a}	109	170	60,9%

Компьютер — предмет, появившийся ранее 1989 г., и слово очень редко оказывается одушевленным. Продукты же более современных технологий попадают в категорию одушевленных предметов почти в половине случаев. Разница проиллюстрирована в (19):

(19) Ja mam *komputer* вин.неодушевл. od wielu lat, *laptopa* вин.одушевл. mają rodzice, no i jak wyjeżdżam gdzieś, ... to go biore.

Представляется, что после 1989 г. совершенно внезапно возникло расположение к тому, чтобы относиться к новым понятиям технологической сферы как к существительным одушевленным. Именно в 1989-м и последующих годах наблюдается развитие в польском обществе восторженного — утопического — отношения к предполагаемым прелестям капитализма, западных учреждений и технического прогресса [Marsh, Thomas 2013]. Это вторжение западных идей иногда рассматривается как случай колониализма в смысле Эдварда Саида [Thompson 2005]. Пример такого явления вне сферы языка можно видеть в возникновении в Польше международных неправительственных организаций, действующих в менее продвинутых странах Восточной Европы, например в Словакии [Petrova 2014]. Итак, благоговение к внешним утопическим идеям прогресса является своего рода диспозицией на абстрактном уровне. Возможно, внезапное расширение сферы узуса выражения одушевленности от автомобилей (*kupić Fiata*) к названиям технологических продуктов и процессов (*kupić laptopa*, *wysłać smsa*, *usunąć Facebooka* ‘удалить Фейсбук’) — отражение (разумеется, опосредованное) общей диспозиции к доверию по отношению к общественному прогрессу.

Действует тут и диспозиция предыдущего типа. Старая форма «*kupić laptop*», в которой одушевленность не выражена, в основном используется тогда, когда речь идет о самом акте покупки ноутбука, как в (20):

(20) Za kilka dni rozpoczynam studia na Politechnice Krakowskiej i muszę *kupić laptop*.

Новая форма *kupić laptopa*, напротив, используется тогда, когда речь идет о какой-то определенной марке, которая противопоставляется другим, как в (21):

(21) Czy warto *kupić laptopa Acer* Aspire. Mój kolega chce *kupić tego laptopa*.

Это — аналог диспозиции, которой определяется «одушевление» микробов.

Заключение

Я попытался здесь показать, что следует различать два плана языка — практику, или узус, и диспозицию, или расположение. Я выделил пять типов диспозиции.

Типология диспозиции: расположение

- (а) к статической инерции, или отсутствию изменений;
- (б) к динамической инерции, или продолжению происходящих изменений;
- (в) направляющее происходящие изменения;
- (г) к нововведению (потенциальная способность создавать новые явления);
- (д) к общественному отношению к языку.

Несомненно, существуют и другие типы диспозиции. Диспозиция не является непреложным правилом, она лишь расположение, склонность к известного рода деятельности.

Закончу на личной ноте. Летом 2012 г. я не без ухарства написал Виктору Марковичу, что решил проблему изменения в языке, обратившись к понятиям инерции и диспозиции. Виктор Маркович отозвался на мою похвальбу так: «Я весьма впечатлен идеей диспозиции, или скорее самим словом, потому что в каком-то неявном смысле я давно смотрю на эти предметы с аналогичной точки зрения. Я говорил о тенденциях (в противовес правилам), но диспозиция гораздо лучше, потому что в этом слове есть некая терминативность без телеологической детерминированности» [письмо от 25.08.2012].

Разумеется, не исключено, что в понятии диспозиции нет ничего нового; возможно, оно лишь повторяет идею тенденции. Но важно не это. Важно то, насколько Виктор Маркович был не только оригинальным и превосходным ученым, но и нашим универсальным собеседником. Вот этого особенно не хватает теперь, когда его нет.

Литература

Ипат. лет. — Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. Изд. 2-е. М., 1998.

«Этика» Аристотеля — Aristotle's Ethics // Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta. URL: <http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/#EthVirDis>.

Anderson, Lightfoot 2000 — S. R. Anderson, D. W. Lightfoot. The Human Language Faculty as an Organ // Annual Review of Physiology 62. 2000. P. 697–722.

Franks, King 2000 — S. Franks, T. H. King. A Handbook of Slavic Clitics. Oxford, 2000.

Fuchs 2014 — Z. Fuchs. Gender and Analogical Extension: From Animacy to Borrowings in Polish // New Insights into Slavic Linguistics / Jacek Witkoś, Sylwester Jaworski, ed. (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Vol. 3.) Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. P. 115–127.

Marsh, Thomas 2012 — D. Marsh, P. Thomas. The Darker Side of Freedom — Poland and the Neoliberal Project. Доклад на конференции «21st Annual Symposium of the Soyuz Research Network for Postsocialist Cultural Studies». 22–23.03.2013.

Petrova 2014 — *Ts. Petrova*. From Solidarity to Geopolitics. Cambridge, 2014.

Rospond 1973 — *S. Rospond*. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1973.

Thompson 2005 — *Ewa Thompson*. Said a sprawa Polska // Europa. Dziennik 29 czerwca 2005.

Alan Timberlake

Columbia University

(New York City, New York, USA)

CONVERSATIONS WITH VIKTOR MARKOVICH AND THE NOTION OF DISPOSITION IN LANGUAGE

Usage (*речь*, speech, *parole*, performance) cannot be predicted fully from system (*язык*, grammar, *langue*, competence). Usage has a life of its own. Usage is repeated (habitual) performance; usage is learned, along with its pragmatics and social contexts; change occurs directly in usage.

Usage is consistent with (but not predicted by) abstract principles we might call *dispositions*. Dispositions allow (but do not dictate) various historical effects, such as: preserving prior usage (as South Slavic enclitics do); extending an already ongoing change (animacy marking in the history of Russian)—two forms of linguistic inertia; providing a model for potential change (*Watergate* > *Camilla-gate*); governing variation in ongoing change (animacy marking in Russian); or reflecting broad cultural attitudes in concrete usage (post-89 Polish utopian confidence in technology manifested in pseudo-animacy, *kupić laptopa*). My interest in the relationship between usage and disposition extended over a dozen years of intermittent discussion with friend and colleague—and exceptional interlocutor—V. M. Zhivov.

Keywords: disposition, usage, enclitic, Wackernagel's Law, linguistic inertia, animacy marking.

Е. В. Падучева

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН
(Москва, Россия)

К АСПЕКТУАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГЛАГОЛА *БЫТЬ* *

Статья посвящена аспектуальным свойствам глагола БЫТЬ. В центре внимания находятся два значения глагола БЫТЬ — **локативное** *быть* (как в примере *Кресло было на веранде*) и **динамическое** *быть* (как в примере *Никогда я не был на Босфоре*), Ю. Д. Апресян называет это значение **переместительным**. Словари русского языка трактуют *быть* как глагол несовершенного вида. В статье приводятся пять аргументов в пользу того, что переместительное *быть* обладает свойствами глаголов совершенного вида и является, таким образом, двувидовым (биаспектуальным). Так, в пользу того, что у *быть* есть свойства, которые сближают его с перфективными глаголами, свидетельствует форма буд. времени: если бы *быть* был глаголом только несов. вида, то форма буд. времени у него должна была бы иметь вид *буду быть*. Типологически, форма будущего времени глагола *быть*, образованная по модели несовершенного вида, не исключена, и то, что у *быть* нет формы аналитического будущего, — свидетельство того, что *быть* ведет себя морфологически как глагол совершенного вида.

Ключевые слова: локативное значение, переместительное значение, перфектив, имперфектив, биаспектуальность.

В статье [Живов, Успенский 1997] было обращено внимание на то, что глагол *быти* употреблялся в языке XVI–XVIII вв., в частности, в значении ‘стать’, т. е. как глагол совершенного вида. Это заставляет более внимательно отнестись к виду глагола *быть* в современном русском языке: в большинстве словарей

* Работа выполнена при поддержке РФНФ, проект № 14–04–00604а «Типы и механизмы семантических переходов в глаголах и отглагольных именах». Я благодарна Владимиру Борщеву, Барбаре Парти, П. В. Петрухину, Я. Г. Тестельцу и Б. А. Успенскому за помощь и поддержку на начальных этапах работы; Эстену Далю — за участие в обсуждении этой проблематики на конференции в Университете г. Перт, Австралия. Благодарю М. Н. Шевелеву за помощь с древнерусской проблематикой; Хельмута Кайперта — за соображения по поводу переместительных значений немецкого *sein*, высказанные при обсуждении доклада на конференции памяти В. М. Живова «История русского языка и культуры» (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва 18–20 октября 2014 г.).

(Ушакова, Ожегова, МАС) *быть* представлен как глагол несовершенного вида, но так ли это?

Вообще говоря, подозрение, что *быть* в современном языке может употребляться не только в значении несовершенного, но и в значении совершенного вида, возникало и независимо от исторического прошлого этого глагола. А именно, первые наблюдения на этот счет были сделаны в рамках проекта, посвященного генитиву отрицания (см. [Partee, Borschev, Paducheva e.a. 2012]). Связь современной биаспектуальности *быть* с его аспектуальной историей — это отдельный интересный вопрос, см. об этом в разделе 11.

В контексте проблемы генитива отрицания рассматривались два значения *быть* — экзистенциальное и локативное (см. [Lyons 1968; Арутюнова 1976; Babby 1980]), которые различаются и в синтаксическом, и в аспектуальном отношении. Представляет интерес также атрибутивное *быть*, как в контекстах *Он был мрачен* или *Было темно*; его аспектуальные свойства, в частности употребление в значении ‘стать’, будут рассмотрены в разделе 7.

1. Глагол *быть* и генитив отрицания

Итак, среди значений *быть* различаются **экзистенциальное** (как в *На веранде есть кресло*), с формой *есть* в настоящем времени и с генитивным субъектом при отрицании, и **локативное** (как в *Кресло на веранде*), с нулевой формой настоящего. Оказывается, однако, что и локативных *быть* есть два разных: **стативное**, которое допускает генитивную конструкцию отрицания, как в (1а), и **динамическое**, которое ее не допускает, как в (1б) (см. [Падучева 1992]):

(1) а. *Отца* не было на море;

б. *Отец* никогда не был на море, ср. **Отца* никогда не было на море.

В контексте проблемы генитива отрицания основным предметом внимания было стативное локативное значение, поскольку оно допускает генитивный субъект. Было установлено, что генитив выражает присутствие **синхронного наблюдателя в ситуации отсутствия**. Так, в предложении (1а) у *быть* актуально-длительное значение несовершенного вида и генитивный субъект выражает присутствие наблюдателя. Идея о том, что за генитив субъекта в локативном контексте отвечает наблюдатель, была поддержана в [Timberlake 2004: 311; Perelmutter 2005]. См. подробнее об экзистенциальности, выражаемой генитивной конструкцией, в [Падучева 2013].

Важно то, что генитивный субъект не обязателен для актуально-длительного значения локативного *быть* — в (2) то же частное видовое значение, актуально-длительное (иначе — прогрессив), совместимо с номинативным субъектом (см. [Падучева 2005]) (примеры такого рода были предложены В. Б. Борщевым на семинаре под руководством Барбары Парти в рамках проекта, посвященного генитиву отрицания):

(2) Отец не был на море, когда началась гроза.

Дело в том, что актуально-длительное значение несовершенного вида требует синхронной перспективы, иначе — синхронного ракурса. А ракурс может быть задан не только дейктически, т. е. подразумеваемым наблюдателем, как в (1а), но и включенным обстоятельством времени, как в (2).

Итак, у стативного *быть* субъект при отрицании преимущественно (хотя и не обязательно) генитивный, а вид всегда несовершенный. Теперь обратимся к динамическому значению *быть*, при котором субъект глагола однозначно номинативный, а аспектуальная характеристика неясна.

2. Аспектуальная маркированность глагольной основы в славянских языках

Принципиальное отличие категории вида в славянских языках от вида в таких языках, как, например, английский или итальянский, состоит в том, что в славянских языках глагол всегда является либо перфективным, либо имперфективным. Есть **биаспектуальные** (= **двувидовые**) глаголы, типа *казнить*, *завещать*, но их естественно трактовать как омонимичные.

Существуют две точки зрения относительно статуса категории вида: является ли вид грамматической категорией (так что *открывать* — форма НСВ глагола *открыть*), или же отношение между глаголами в видовой паре является **словообразовательным**. В той сфере глагольной лексики, на которой определено понятие **чистовидовой пары** [Маслов 1948], вид можно трактовать как **словоизменительную** грамматическую категорию, так что совершенный и несовершенный виды являются формами одного глагола. Но это не исключает возможности говорить о глаголах совершенного и несовершенного вида. В самом деле, имеется множество глаголов, которые в видовые пары не входят, т. е. являются глаголами *perfectiva* или *imperfectiva tantum*. При этом все глаголы НСВ, независимо от их парности или непарности, обладают какими-то общими грамматическими свойствами, и то же можно сказать о глаголах СВ. Дело, однако, в том, что парные глаголы НСВ обладают, кроме того, свойствами, которых у непарных нет.

Имперфективные глаголы в русском языке имеют следующие общие признаки (см. [Маслов 2004: 117]).

- 1) они имеют форму настоящего времени (*в этот момент я пишу*), а форма будущего времени у них аналитическая (*буду писать*);
- 2) они сочетаются с фазовыми глаголами (*начал, продолжал писать*);
- 3) они сочетаются с показателями включенного времени¹ (*Когда я пришел, Вася писал письмо*) и длительности (*Он горевал два года*) — с поправкой на разные для разных глаголов возможности временной локализации.

Перфективные глаголы можно охарактеризовать по тем же параметрам:

- 1) они имеют форму простого будущего, образованную от основы совершенного вида (*напишу*), и не имеют формы настоящего времени (так называемый

¹ Термин из [Падучева 1996: 164].

морфологический презенс) имеет, как правило, значение будущего времени; об исключениях см. [Зализняк Анна (в печати)];

2) они не сочетаются с фазовыми глаголами (**начал написать*);

3) они не сочетаются с показателями включенного времени; пример из [Tat-evosov 2011]: в предложении *Когда я пришел, Вася написал письмо* мой приход может быть понят как имевший место до или после, но не во время написания письма.

Эти признаки сочетаемостные, но они имеют очевидную семантическую основу. Так что вид — это **номинативная** грамматическая категория [Зализняк 1967: 23], такая, как число или время (а не **синтаксическая** — не такая, как падеж или, тем более, род).

Можно думать, словоизменительная и словообразовательная терминология в сфере глагольного вида не противоречат одна другой. Глаголы, которые являются членами чистовидовой пары, например *открыть* — *открывать*, *написать* — *писать*, в одних случаях удобно называть формами одного глагола, а в других — разными глаголами. Как выяснится в дальнейшем, главное, что важно для аспектуальной атрибуции глагола *быть*, — это вхождение в видовую пару: является ли глагол НСВ парным или принадлежит к классу *imperfectiva tantum*.

Тогда вопрос можно поставить так. Является ли *быть* в современном русском языке глаголом класса *imperfectiva tantum*, как утверждает большинство словарей, или же он употребляется, в разных контекстах, в значении не только несовершенного, но и совершенного вида, т. е. является биаспектуальным?

3. Двунправленное результативное значение переместительного *быть*

В [Апресян 2009: 443] различается *быть* 2.1 ‘находиться’, локативное, и *быть* 2.2 ‘прибывать куда-либо’, переместительное; *быть* локативное — это приблизительно то же, что стативное *быть* в [Падучева 1992]; *быть* переместительное — это приблизительно то же, что динамическое *быть* в [Там же], но с одной оговоркой. В [Апресян 2009: 447] (равно как и в тех словарях, которые признают переместительное *быть*) считается, что номинативный субъект у переместительного *быть* может быть только одушевленным. В самом деле, во многих контекстах неодушевленный субъект в номинативе невозможен, см. (3а). Однако для примеров (3б, в) мы легко домысливаем ситуацию, когда неодушевленный номинативный субъект вполне уместен:

(3) а. **Мой паспорт* не был в сумке ⇒ *Моего паспорта* не было в сумке.

б. *Этот костюм* не был в химчистке;

в. *Шампанское* не было в холодильнике.

Далее мы будем употреблять эпитеты «переместительное» *быть* и «динамическое» *быть* как синонимы.

В [Апресян 2009] вид глагола *быть*, у всех его значений, указан как несовершенный — с пометой, что парного совершенного нет. Между тем если взять один

из приведенных примеров, скажем, (4), то эта аспектуальная характеристика ему не подойдет:

(4) Вы *будете* к нам завтра? (А. Гончаров).

Толкование *быть* переместительного гласит: А1 *был* в А2 = ‘Человек А1 переместился в А2 и находился там какое-то время <...>’. Т.е. перемещение представлено, в случае прошедшего времени, в совершенном виде. Очевидно, и для (4), с будущим временем, это толкование представляет вид глагола *быть* как совершенный.

Конечно, можно было бы остановиться на заявлении, сделанном в [Зализняк Анна, Шмелев 2000: 10], о том, что глагол *быть* «не принадлежит ни к тому, ни к другому виду». Однако более плодотворной представляется попытка найти для глагола *быть* место в аспектуальной системе русского языка и дать непротиворечивую аспектуальную характеристику его употреблением в разных контекстах.

В [Апресян 2012] у *быть* в предложении (5а) и в соответствующем отрицательном (5б), с номинативной конструкцией, усматривается переместительное лексическое значение и **результативное двунаправленное** значение несовершенного вида — ‘результат достигнут и аннулирован противоположно направленным действием или событием’. Предлагаются следующие перефразировки:

- (5) а. Сегодня отец уже *был* на море [\approx ‘уже ходил’],
б. Сегодня отец еще *не был* на море [\approx ‘еще не ходил’].

Поначалу возникает желание предложить для *был* в (5а) и (5б) другие перефразировки и значение местонахождения, а не перемещения:

- (5') а. Сегодня отец уже *был* на море = ‘уже находился <некоторое время>’,
б. Сегодня отец еще *не был* на море = ‘еще не находился <никакое время>’.

Ср. похожие употребления другого глагола несовершенного вида:

- (6) а. Сегодня отец уже *работал* в саду = ‘уже работал <некоторое время>’,
б. Сегодня отец еще *не работал* в саду = ‘еще не работал <никакое время>’.

Однако, чтобы идентифицировать аспектуальное значение *быть* в примере (5) как результативное двунаправленное, действительно есть основания.

Результативное двунаправленное значение могут иметь только такие глаголы НСВ, у которых есть парный СВ, например: *открывать*, *выезжать*, *зажигать* и под. Совершенный вид такого глагола обозначает действие, имеющее результат, и только поэтому в несовершенном виде они могут обозначать действие, результат которого аннулирован противоположно направленным действием или событием. См. известный пример Ю.Д. Апресяна — в одном из значений предложение (7) означает ‘машина выехала и вернулась обратно’:

- (7) Машина *выезжала* из гаража.

Ясно, что говорить о двунаправленном результативном значении *быть*, глагола НСВ, можно только при условии, что у него есть парный СВ. т.е. если это *быть* не является глаголом *imperfectivum tantum*. Ниже будет показано, что это условие выполняется — что парный СВ у динамического глагола НСВ *быть* действительно есть, только омонимичный. Иначе говоря, будет показано, что динамическое *быть* является не глаголом класса *imperfectiva tantum*, а биаспектуальным, т.е. употребляется как в имперфективных, так и в перфективных контекстах (иначе — как в значении глагола НСВ, так и в значении глагола СВ).

4. Динамическое *быть* как биаспектуальный глагол

Итак, утверждается:

1) что есть переместительное *быть*, глагол совершенного вида, причем **момента́льный**, т.е. не имеющий актуально-длительного значения — такой, как, например, *прийти, найти*;

2) что есть омонимичный, парный к нему, глагол *быть* несовершенного вида, имеющий, как полагается парному имперфективу от моментального глагола СВ, только **тривиальные** значения — многократные или общефактические.

Ниже приводится несколько аргументов в пользу того, что переместительное *быть* — это глагол СВ.

Первый аргумент — это двунаправленное результативное значение несовершенного вида, постулированное для переместительного *быть* в [Апресян 2012].

Ясно, что это значение невозможно для НСВ глагола *imperfectivum tantum*, который не имеет парного СВ. Возьмем, например, глагол *плавать*, непарный. Он имеет в (8а) и (8б) одно и то же значение — континуальное. Оно не результативное: нет значения достигнутого и потом аннулированного результата. А раз нет результативного значения, значит, нет и значения поступательно-возвратного перемещения, которое развивается из значения аннулированного результата:

(8) а. Он сегодня утром *плавал* в Мертвом море;

б. Ты хоть раз *плавал* в Мертвом море?

Между тем у *быть* динамического есть значение достигнутого и потом аннулированного результата; это значит, что динамическое *быть* в примере (5) — это не глагол *imperfectivum tantum*, а глагол несовершенного вида, парный к тому же *быть* в значении СВ. Так что в переместительном значении глагол *быть* биаспектуальный. В (5) он выступает как глагол НСВ в общефактическом (ретроспективном) значении:

(5) а. Сегодня отец уже *был* на море [\approx ‘уже пришел на море и вернулся’];

б. Сегодня отец еще *не был* на море [\approx ‘еще не ходил’].

Такое же значение имеет переместительное *быть* в контексте показателя многократности:

(9) Я два раза *был* на Мертвом море [\approx ‘два раза приехал и вернулся’].

Второй аргумент в пользу того, что переместительное *быть* — это глагол СВ. В [Апресян 2009: 447] усматривается общефактическое результирующее значение в примерах типа (10) с глаголом *быть* 2.1 ‘находиться’:

(10) Отец *не был* на море.

Однако общефактическое результирующее значение исключено для *быть* 2.1 — его может иметь только такой глагол НСВ, у которого есть парный СВ, выражающий достигнутый результат. А *быть* 2.1 — это глагол *imperfectivum tantum*. Так что в (10) *быть* переместительное.

В толковании *быть* 2.1 используется глагол *находиться*, который вообще не склонен к несинхронным употреблениям, ср.: **Ты когда-нибудь находился в Казани?* (пример из [Падучева 2004: 429]). В примере (11) *быть* 2.1, но видовое значение у него не общефактическое, а актуально-длительное:

(11) И там я *был*, и мед я пил; У моря видел дуб зеленый; Под ним сидел, и кот ученый Свои мне сказки говорил (А. С. Пушкин. Руслан и Людмила).

Переместительное *быть* может выражать не только двунаправленное, как в (5), но и однонаправленное перемещение, выступая при этом как глагол СВ. Это хорошо видно на примере (12), где временной адвербиал задает момент прибытия:

(12) а. Врач *будет* ровно в шесть / ближе к вечеру [*будет* = ‘прибудет’];
б. Врач *был* ровно в шесть / ближе к вечеру [*был* = ‘прибыл’].

Переместительное значение *быть* демонстрирует также пример (13):

(13) а. А теперь, пока он *очухается*, мы *будем* уже далеко = ‘мы уже далеко *уйдем*’.
б. Пока он *очухался*, мы *были* уже далеко = ‘мы уже далеко *ушли*’.

В принципе, употребление *быть* в значении СВ в большей степени свойственно будущему времени. Однако примеры (12б) и (13б) свидетельствуют о том, что это возможно и в прошедшем.

Пример (14) показывает, что *быть* взаимодействует с временным адвербиалом иначе, чем, например, *сидеть*, однозначный *imperfectivum tantum*, — при *быть* временной адвербиал может задавать момент начала состояния пребывания, а при *сидеть* — нет:

(14) а. В тот день он *был* дома ровно в шесть;
б.² В тот день он *сидел* дома ровно в шесть.

У динамического *быть* адвербиал задает момент начала состояния пребывания. Правда, есть глагол *обедать*, при котором адвербиал задает начало деятельности²:

(15) а. В тот день он *был* дома ровно в шесть = ‘в шесть началось состояние, обозначаемое глаголом НСВ’;
б. В тот день мы *обедали* ровно в шесть = ‘в шесть мы начали деятельность, обозначаемую глаголом НСВ’.

² За указание на глагол *обедать* я благодарна Эстене Далю.

См. примеры употребления глагола *обедать* из Национального корпуса русского языка, которые это подтверждают:

- (16) а. посидев до шести, возвращался к обеду; *обедали* в семь. [Андрей Белый. Между двух революций (1934)]
б. Трое совершенно незаинтересованных свидетелей показали, что в день убийства Кузнецов пришел с работы в восемь часов утра, спал до трех четвертей двенадцатого, потом пошел в столовую, где *обедал* в двенадцать, а в час дня опять стоял у рабочего станка на фабрике. [В.Г. Короленко. Черты военного правосудия (1910)]
в. В Панелле мы жили по-деревенски: *обедали* в два часа и ужинали в десять. [Ф.И. Буслаев. Мои воспоминания (1897)]

Это свойство *обедать* делит не только с *ужинать* и *завтракать*, но и с другими регулярно совершаемыми действиями, например *делать зарядку*:

Мальчишки каждое утро, как это у отца принято, в половине седьмого *делали зарядку*. [Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов. Красавица и чудовище (1984–2001)]

Глагол *обедать* заслуживает внимания, но не является глаголом СВ.

Третий аргумент в пользу существования *быть* как глагола СВ касается только отрицательной конструкции. А именно, имеется следующее различие между динамическим и стативным *быть*. У глагола *быть* в локативном значении форма настоящего времени нулевая; но отрицательная форма настоящего времени у стативного *быть* не нулевая — это *нет*, так что стативное *быть* имеет, наряду с формой прошедшего (и будущего), также и форму настоящего времени:

- (17) а. Коли [Genitive] нигде *не было* [стативное *быть*, прош. время];
б. Коли [Genitive] нигде *нет* [стативное *быть*, наст. время].

А у динамического *быть*, в отрицательной конструкции, **нет** формы настоящего времени со значением прогрессива — что естественно для глагола СВ, см. раздел 2:

- (18) а. Коля [Nominative] нигде не был [динамическое *быть*, прош. время];
б. — [динамическое *быть*, наст. время].

У обычного моментального глагола СВ, например у *зайти*, есть парный НСВ *заходить*. Настоящее время глагола *заходить* не употребляется в значении прогрессива, но форма настоящего времени есть, и она может употребляться в других синхронных значениях, например в узуальном:

- (19) Он время от времени к нам *заходит*.

Между тем у парного НСВ переместительного *быть* этой формы нет. Значение, близкое к (18б), можно выразить с помощью глагола *бывать*, у которого есть узуальное значение, см. (20); но *бывать* — это другой глагол:

- (20) Коля нигде *не бывает*.

Итак, у динамического глагола СВ *быть* в отрицательной форме парный НСВ есть, но он употребляется только в несинхронных временах — *не был*, прошедшее время, и *не буду*, будущее время. А формы настоящего времени нет. Т. е. форме *нет* недоступны никакие значения настоящего времени динамического глагола СВ — не только прогрессив, но и узуальное и настоящее историческое, которые у обычного имперфектива моментального глагола, типа *приходить*, *заходить*, есть. Отсутствие каких бы то ни было синхронных значений — это уникальное свойство динамического *быть*.

Четвертый аргумент в пользу того, что у *быть* есть свойства, которые сближают его с *дать*, — это форма будущего времени: если бы *быть* был глаголом только НСВ, то форма будущего времени у него должна была бы иметь вид *буду быть*, см. раздел 2. Типологически форма будущего времени глагола *быть*, образованная по модели несовершенного вида, не исключена, и то, что у *быть* нет формы аналитического будущего, — свидетельство того, что *быть* ведет себя морфологически как глагол совершенного вида.

Пятый аргумент в пользу существования *быть* СВ — это ограничения сочетаемости переместительного *быть* с временными адвербиалами в отрицательном предложении. Переместительное *быть*, как всякий глагол СВ, не может быть употреблено:

а) в контексте включенного показателя времени;

б) в контексте показателя времени (точнее — длительности), «сплошь заполненного действием», типа *весь год*, *целый день* (в отличие от просто *год* или *два года*) и под. Это показатели, которые требуют синхронной перспективы. Они полностью принадлежат сфере имперфективности.

То же касается парного имперфектива: переместительное *быть* в НСВ недопустимо в тех контекстах, которые требуют глагола со значением состояния или деятельности, — оно может обозначать только многократное событие.

Обычное обстоятельство длительности не является препятствием для парного НСВ переместительного *быть*, поскольку в этом контексте оно может обозначать не только продолжительность состояния отсутствия, но и продолжительность состояния ненаступления события <обозначаемого глаголом *быть* совершенного вида> (о состоянии ненаступления см. [Падучева 2008]). Так, (21) неоднозначно:

(21) Я неделю *не был* дома =

(i) ‘неделю отсутствовал’;

(ii) ‘за неделю ни разу не побывал’.

А обстоятельство времени, целиком занятое ситуацией (типа *целый год*), допускает только стативное понимание *быть* и потому исключает *быть* НСВ в значении многократного СВ:

(22) Я не был дома *всю неделю*

= ‘отсутствовал’;

≠ ‘ни разу не побывал’.

В (23) значение *быть* однозначно переместительное, поскольку постоянное пребывание исключено по прагматическим соображениям:

(23) Костюм не был в химчистке *два года* [*быть* переместительное = ‘за два года ни разу не побывал’].

В (24а) непрерывное отсутствие костюма в химчистке выражает генитив (т. е. наблюдатель в Месте), а в (24б) — обстоятельство времени «целиком заполненно»; поэтому обе фразы аномальны:

(24) а. *Костюма не было в химчистке *два года*.

б. *Костюм не был в химчистке *весь год*.

5. Семантическая деривация

Итак, динамическое, оно же переместительное *быть*, которое проявило себя особым поведением в контексте отрицания (тем, что не допускало генитивного субъекта, который свойственен стативным глаголам), и в положительном контексте имеет особое лексическое значение и соответственную видовую характеристику. Возникает вопрос, как у глагола *быть*, по природе стативного, могло возникнуть значение перемещения.

Переход от значения перемещения к значению состояния — это широко распространенный семантический сдвиг, ср. англ. *I've got a good Russian-English dictionary* = ‘I have a good Russian-English dictionary’, ≠ ‘I got a good Russian-English dictionary’. О русских глаголах перемещения, таких как *подступать*, *выходить*, *входить*, *проходить*, *следовать*, *нести*, в стативном значении см. [Падучева 2004: 389]. См. также в [Гиро-Вебер, Микаэлян 1999] о французском глаголе *toucher* и его русских эквивалентах *касаться*, *трогать*, которые колеблются между значением перемещения (*коснулся ее руки*) и стативным (*Ветки сирени касаются подоконника*).

Лексический сдвиг в обратную сторону, от состояния к перемещению, распространен меньше, но тоже достаточно широко. Например, значение перемещения свойственно глаголу со значением ‘быть’ в английском языке, см. (25) (пример был предложен Эстеном Далем и обсуждался с Барбарой Парти) — предлог *to*, выражающий направление, более уместен, чем *in*:

(25) I have been *to* Australia.

За латинский пример (26) (из Петрония) я благодарна Герману Сельдеслахтсу:

(26) fui enim hodie *in funus*, букв. ‘я был сегодня на похороны’: Accusativ превращает esse в глагол перемещения.

Как указал мне в ходе обсуждения этого доклада на конференции памяти В.М. Живова Хельмут Кайперт, у немецкого глагола *sein* ‘быть’ тоже может возникать значение перемещения. Примеры ниже обсуждались также с Хансом Робертом Мелигом:

- (27) Ich bin früh von zu Hause weg. [разг.] I left home at an early age.
Ich bin froh, dass er weg ist. [разг.] I'm glad he has gone.
Er ist gerade von der Jagd zurück. [разг.] He has just returned from hunting
Er musste zurück. [разг.] He had to go back.

Переход от значения перемещения к значению состояния (пребывания) — это **регулярная многозначность** в смысле [Апресян 1974], т. е. массовое явление: каждый тип охватывает сотни языковых единиц. Переход в обратную сторону, от пребывания к перемещению, — это более индивидуальное явление; оно относится к юрисдикции Каталога типологически обоснованных семантических переходов (см. [Зализняк Анна 2001]).

Итак, *быть* переместительное связано со стативным *быть* сдвигом в лексическом значении. А новое лексическое значение дает новый акциональный класс: переместительное *быть* обозначает не состояние, а действие (моментальное) или событие. Отсюда совершенный вид.

6. Словообразовательный потенциал глагола *быть*

Существенно, что основа глагола *быть* совместима с префиксами *при-* и *от-*, которые обозначают направление движения (*прибыть*, *отбыть*, *побывать*) — состояния не имеют направления. Так что основа глагола *быть* в русском языке (в отличие, например, от глагола *находиться*) готова к соответствующей семантической деривации.

7. История вопроса

Значение совершенного вида ‘стать’ у глагола *быти* признается для русского языка XVI–XVIII вв. в статье [Живов, Успенский 1997]. См. также пример употребления *быти* в значении СВ из [Шевелева 2012]: *месяць подошол под солнце, и бысть мрачно немного въ началъ рожения месяца* (из Пск. 3 лет. XVI в.). Это не переместительное, а атрибутивное *быть*, т. е. *быть* 1.1 по [Апресян 2009] — со значением ‘объект или явление X находится в состоянии или обладает свойством Y’.

Употребление *быть* 1.1 в значении ‘стать’, т. е. в значении СВ, допустимо и в современном языке; таким образом, *быть* 1.1 тоже биаспектуально. Употребление в значении СВ более распространено в будущем времени. Так, в контексте (28а), где время будущее, допустимо *быть* в значении ‘начать быть’, ‘стать’, а в (28б), где время прошедшее, — недопустимо:

- (28) а. Пока мы *приедем*, *будет темно* [*быть* в значении СВ: *будет темно* = ‘станет темно’, = *стемнеет*, = ‘начнет быть темно’].
б. Пока мы *приехали*, *стало темно* / *стемнело* (**было темно*).

Идея о том, что и в современном русском языке *быть* может употребляться как глагол СВ, была высказана в работе [Miller 1974], но только для будущего времени. На самом деле, как можно видеть, перфективное *быть* возможно и в прошедшем.

В контексте предикатива значения *быть* НСВ, как в (29а), и *быть* СВ, как в (29б), различаются ровно на начинательность — *быть* [СВ] = ‘начать *быть* [НСВ]’:

(29) а. Когда выезжали, *было* [НСВ] темно.

б. Пока доедем, *будет* [СВ] темно.

В самом деле, *будет темно* = ‘стемнеет’ = ‘станет темно’ = ‘начнет быть темно’.

Иными словами, *быть* в (29б) трактуется как форма СВ с начинательным значением, производная от *быть* НСВ, как в (29а):

будет [СВ] *темно* = начинательность + *будет* [НСВ] *темно* = ‘начнет быть темно’.

Начинательное соотношение признается в [Гловинская 1982: 91–101] для большого массива видовых пар, например для *возглавлять* — *возглавить*, *заслонять* — *заслонить*, *понимать* — *понять*. Важные соображения о начинательности см. в [Короткова, Сай 2006; Зализняк Анна, Шмелев 2002].

Возникает вопрос, почему в локативном контексте *быть* в значении СВ, начинательном, как в (30б), признано отдельной лексемой — переместительным *быть*, а не видовым партнером к *быть* стативному, как в (30а):

(30) а. В шесть врач *был* уже в больнице = ‘в шесть врач уже *находился* в больнице’ [НСВ, *быть* стативное];

б. Врач *будет* в больнице ровно в шесть = ‘ровно в шесть врач *начнет находиться* в больнице и будет находиться некоторое время’ [СВ, *быть* переместительное].

Убедительный ответ дать не так просто. Достаточно сказать, что переместительное значение у *быть* признают все словари (единственное исключение — словарь Ожегова).

8. Направительная валентность как аргумент в пользу перфективного *быть*

Одним из решающих аргументов в пользу биаспектуальности *быть* была для Дж. Миллера [Miller 1974] сочетаемость с направительными предложениями, как в *Вы будете к нам завтра?* Ср. у А. С. Пушкина: *Все флаги в гости будут к нам.*

В современном языке актант «Куда?» возможен только при *быть* в будущем времени, и то с пометой *устар.* Однако «Откуда?» и «Кому?» — это тоже направительные валентности глагола *быть*, и они вполне допускаются современным узусом (NB неодушевленность субъекта):

(31) От дяди Олега мне *ничего не было* [= ‘не пришло’]. (В. Набоков. Дар).

Направительные валентности отражают сдвиг лексического значения от местонахождения к изменению места, а перфективное аспектуальное значение возникает как следствие.

9. Еще один аргумент: таксис

Глагол *быть* обнаруживает таксисные свойства, характерные для глаголов СВ, а именно, употребляется в повествовании после однозначного глагола СВ для обозначения последующего события:

«Гениально! Шедеврально!» — прокричал он популярнейшее восклицание своих студенческих пятидесятых и *был* таков. [В. Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)]

Конечно, *был таков* — идиома, но лексическое значение *быть* тут однозначно адъективное, а аспектуальное — однозначно перфективное.

10. Эвиденциальность

В [Падучева 2004: 467] утверждалось, что генитивная конструкция может трактоваться как способ выражения противопоставления по эвиденциальности — в (32а) генитив субъекта выражает присутствие наблюдателя, а в (32б), с номинативным субъектом, наблюдателя нет.

- (32) а. Бутылки не было в холодильнике;
б. Бутылка не была в холодильнике.

Теперь ясно, что пример (32) не может быть принят как демонстрирующий грамматически выраженную эвиденциальность. Дело в том, что глагол *быть* в (32а) и в (32б) имеет разную лексическую семантику. В (32а) — стативное *быть*, глагол класса *imperfectiva tantum*, в несовершенном виде с актуально-длительным значением. А в (32б) — динамическое *быть*, со значением если не перемещения, то изменения состояния, а именно местонахождения. Аспектуальная характеристика *быть* в (32б) — двунаправленное общефактическое значение несовершенного вида, которое возможно только у таких глаголов НСВ, которые имеют парный СВ.

Чистое присутствие наблюдателя, выраженное генитивом отрицания, скорее демонстрирует пара (1а)–(1б) из раздела 1:

- (1) а. Отца не было на море [когда там был наблюдатель];
б. Отец не был на море, когда началась гроза.

11. Вид глагола *быти* в древнерусском языке

О том, что глагол *быти* мог употребляться в древнерусском языке как глагол совершенного вида, упоминается в [Маслов 2004: 152], где по поводу формы *будяше* говорится: «*Будяше* — имперфект от *будеть* [форма презенса] — должен рассматриваться здесь, судя по всему контексту, как имперфект глагола совершенного вида» (*здесь* — имеется в виду в контексте многократности). Так что Маслов допускает, что *быти* употреблялся в древнерусском как глагол СВ: имперфект

глагола СВ *быти* использовался для выражения многократности, т. е. для выражения «кратно-перфективного» значения в прошлом.

В этой связи представляет интерес работа [Шевелева 2012], где рассматривается, в частности, соотношение между *быти* и *бывати*. В современном языке *быть* и *бывать* — разные глаголы. Между тем в языке XVI–XVIII вв. глагол *бывати*, согласно [Шевелева 2012], можно трактовать как имперфектив к *быти*.

В современном русском языке глагол *бывать* вступает в корреляцию с *быть* в контексте отрицания. Так, в (33а) в функции НСВ многократности к переместительному *быть* выступает то же *быть* и замена *быть* на *бывать* кажется невозможной. Однако в (33б) почти в такой же роли употребляется *бывать*, и этот контекст естественно соотнести с многочисленными другими контекстами, где *бывать* выполняет функцию эмфатического отрицания — усиленного и, возможно, с модальной окраской, см. (34).

(33) а. Никогда я *не был* на Босфоре. (С. Есенин)

б. На далекой Амазонке *не бывал* я никогда. (Р. Киплинг)

(34) Двум смертям *не бывать*, а одной не миновать;

Москва — третий Рим, а четвертому *не бывать*;

На земле нашей никогда того *не бывало*, чтобы латинская вера была в почете. [Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск второй: XV–XVI столетия (1862–1875)].

Словари отмечают у глагола *бывать* переместительное значение. Так, в МАС *бывать* 2 определяется как ‘время от времени приходит куда-л., посещать кого-, что-л.’: *Я стал бывать у Волчаниновых* (А. П. Чехов. Дом с мезонином). Семантические и структурные соотношения между глаголом *imperfectivum tantum* *бывать* и биаспектуальным *быть* — это отдельная интересная проблема.

—

Итак, аспектуальный портрет глагола *быть*, в двух основных его значениях, локативном и атрибутивном, выглядит следующим образом. В локативной сфере различаются стативное *быть*, т. е. *быть* 2.1 по [Апресян 2009], глагол *imperfectivum tantum*, и переместительное *быть*, т. е. *быть* 2.2 по [Апресян 2009], моментальный глагол, биаспектуальный: в СВ он имеет значение ‘переместиться’ или ‘начать находиться’; в НСВ он имеет только тривиальные употребления, многократные и общефактические (в том числе — двунаправленное), как это свойственно моментальным глаголам СВ.

Атрибутивное *быть*, лексема *быть* 1.1 по [Апресян 2009], в будущем времени биаспектуальна, т. е. может иметь значение ‘стать’, а в прошедшем времени употребляется только в значении имперфектива.

Признав за *быть* возможность выступать в значении СВ, мы получаем объяснение целому ряду особенностей его поведения, таких как:

— отсутствие у переместительного *быть* формы настоящего времени, в том числе и отрицательной, которая у стативного *быть* ненулевая, см. пример (18б);

— простая, а не аналитическая форма будущего времени — *буду*, а не *буду быть*;

— наличие направительных валентностей, см. пример (31);

— ограничения на сочетаемость с адвербиалами: будучи имперфективом от моментального глагола, переместительное *быть* в имперфективе обозначает многократное событие, а не континуальный процесс, см. пример (23).

Единственное уникальное свойство, отличающее моментальное переместительное *быть* СВ от других парных моментальных глаголов, — это невозможность его парного НСВ выступать в настоящем времени, в узуальном значении и в настоящем историческом.

Литература

Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 2009 — Ю. Д. Апресян. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I. Парадигматика. М., 2009.

Апресян 2012 — Ю. Д. Апресян. Грамматика глагола в активном словаре русского языка // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сб. в честь И. А. Мельчука. М., 2012. С. 42–59.

Арутюнова 1976 — Н. Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1976.

Гиро-Вебер, Микаэлян 1999 — М. Гиро-Вебер, И. Микаэлян. Семантика глаголов прикосновения во французском и русском языках // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999. С. 18–34.

Гловинская 1982 — М. Я. Гловинская. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Живов, Успенский 1997 — В. М. Живов, Б. А. Успенский. Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII веков // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. III. М., 1997. С. 363–388.

Зализняк 1967 — А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967.

Зализняк Анна 2001 — Анна А. Зализняк. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. № 2. 2001. С. 13–25.

Зализняк Анна (в печати) — Анна А. Зализняк. Презенс совершенного вида в современном русском языке // Die Welt der Slaven (в печати).

Зализняк Анна, Шмелев 2000 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Лекции по русской аспектологии. М., 2000.

Зализняк Анна, Шмелев 2002 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Семантика 'начала' с аспектологической точки зрения // Логический анализ языка: Семантика начала и конца / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2002. С. 211–224.

Короткова, Сай 2006 — Н. А. Короткова, С. С. Сай. Глагол *стать* в русском языке: семантика, синтаксис, грамматикализация. Доклад на II Конференции

по типологии и грамматике для молодых исследователей (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 2–4 ноября 2006 г.).

Маслов 1948 — Ю. С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 7. №4. 1948. С. 303–316.

Маслов 2004 — Ю. С. Маслов. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание. М., 2004.

Падучева 1992 — Е. В. Падучева. О семантическом подходе к синтаксису и генитивном субъекте глагола *быть* // Russian Linguistics. V. 16. 1992. С. 53–63.

Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. [Изд-е 2-е. М., 2010]. URL: <http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/PaduSemantIssl1996.pdf>.

Падучева 2004 — Е. В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. URL: <http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/PaduDinamMod2004.pdf>.

Падучева 2005 — Е. В. Падучева. Еще раз о генитиве субъекта при отрицании // Вопросы языкознания. №5. 2005. С. 84–99.

Падучева 2008 — Е. В. Падучева. Имперфектив отрицания в русском языке // Вопросы языкознания. №3. 2008. С. 3–21. URL: http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/imperf_negation_VJa1.pdf.

Падучева 2013 — Е. В. Падучева. Есть ли в русском языке грамматически выраженная эвиденциальность? // Русский язык в научном освещении. №2 (26). 2013. С. 9–29.

Шевелева 2012 — М. Н. Шевелева. Еще раз о бесприставочных итеративах на *-ыва/-ива-* типа *хаживать* в истории русского языка // Русский язык в научном освещении. №1 (23). 2012. С. 140–178.

Babby 1980 — L. H. Babby. Existential Sentences and Negation in Russian. Ann Arbor, 1980.

Lyons 1968 — J. Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, 1968.

Miller 1974 — J. Miller. “Future tense” in Russian // Russian Linguistics. V. 1. №3–4. 1974. P. 255–270.

Partee, Borschev, Paducheva e.a. 2012 — B. Partee, V. Borschev, E. Paducheva, Y. Testelefs, I. Yanovich. The Role of verb semantics in genitive alternations: Genitive of Negation and Genitive of Intensionality // The Russian Verb / Eds. A. Grønn and A. Pazel'skaya (Oslo Studies in Language 4 (1)). Oslo, 2012. P. 1–29. URL: <http://www.journals.uio.no/osla>.

Perelmutter 2005 — R. Perelmutter. Case choice in Russian genitive / nominative absence constructions // Russian linguistics. V. 29. №3. 2005. P. 319–346.

Tatevosov 2011 — S. G. Tatevosov. Severing Perfectivity from the Verb // Scando-Slavica. 57 (2). 2011. P. 216–244.

Timberlake 2004 — A. Timberlake. A reference grammar of Russian. Cambridge, 2004.

Elena V. Paducheva
Federal Research Center "Computer Science and Control"
of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)

TOWARDS THE ASPECTUAL CHARACTERISTIC OF THE VERB BYT'

The article deals with the aspectual properties of the Russian verb BYT' 'to be'. Two meanings of BYT' are in focus of attention — **locative** BYT' (as in *Kreslo bylo na verande*) and **dynamic** BYT' (as in *Nikogda ja ne byl na Bosfore*), Ju. D. Apresjan calls it BYT' **of movement**. Russian dictionaries treat BYT' as a verb of the imperfective aspect. I present five arguments in favor of the idea that dynamic BYT' has not only imperfective, but also perfective features and is, thus, biaspectual. The form of the future tense testifies in favor of the fact that dynamic BYT' has perfective properties: if BYT' were a purely imperfective verb, its future form would have been BUDU BYT'. Typologically, the future form constructed according to the model of the imperfective aspect is not excluded, so the fact that BYT' lacks the form of analytic future testifies in favor of the idea that BYT' behaves morphologically as a perfective verb.

Keywords: locative meaning, motional meaning, perfective, imperfective, biaspectuality.

А. А. Зализняк
Институт славяноведения РАН
(Москва, Россия)

ИЗ РУССКОЙ МОРФОНОЛОГИИ: ЗАКАЛЯТЬ И ЗАКАЛИВАТЬ

В статье исследовано распределение в современном русском языке двух типов вторичных имперфективов от *i*-глаголов — на *-ывать/-ивать* (напр. *зака́ливать*) и на *-ать/-ять* (напр. *закаля́ть*). Установлено, что на это распределение влияет несколько разнородных факторов, относящихся к разным уровням языка и частично противоречащих друг другу. Выявлено основное правило, покрывающее подавляющую часть имперфективов. Оно оказалось акцентологическим: ударение имперфектива должно быть таким же, как в полных формах страдательного причастия прошедшего времени исходного глагола: *сохраня́ть* как *сохранённый*, *распи́ливать* как *распи́ленный*, *намы́ливать* как *намы́ленный*. Все остальные правила являются модифицирующими: они вносят поправки в действие основного правила в некоторых частных случаях. Группа фонемных и морфонологических правил: при чередованиях *т/ц*, *д/жд* — образец *посвяща́ть*; при основе на *j* — *ута́ивать*; при основе с полногласием — *огора́живать*; при основе на губную согласную — *оформля́ть*. Группа словообразовательных правил: отадъективные глаголы с односложной основой — образец *оживля́ть*; каузативные по происхождению глаголы — *прибавля́ть*; отсубстантивные глаголы — *просма́ливать*. Группа стилистических правил: при повышенной стилистической окраске — образец *провозглаша́ть*, при сниженной стилистической окраске — *прикарма́нивать*. Степень строгости модифицирующих правил различна, у части из них она невысока.

Установлено также, что нынешний способ распределения двух типов имперфективов сформировался в русском языке относительно поздно.

Ключевые слова: русский язык, морфонология, вторичные имперфективы, *i*-глаголы, акцентология.

В научном наследии В. М. Живова центральное место занимают, конечно, труды по истории русской культуры и русского литературного языка. Но Виктор Маркович был также прекрасным исследователем русской исторической и синхронной грамматики. Достаточно вспомнить его «Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков». В русле этого рода исследований ниже

предлагается некоторое наблюдение над одним непростым пунктом русской грамматики.

Речь идет о способах образования вторичных имперфективов от приставочных глаголов совершенного вида. Самое сложное звено в этой проблеме образуют *i*-глаголы. Именно им и посвящена настоящая статья.

У *i*-глаголов представлены два основных способа образования вторичных имперфективов: тип I — с помощью суффикса *-ыва-/-ива-* (с ударением левее этого суффикса); тип II — с помощью суффикса *-а-/-я-* (с ударением на этом суффиксе).

От единичных глаголов, образующих имперфективы иными способами (например, *затми́ть*), мы ниже отвлекаемся.

Основная трудность состоит в том, чтобы установить закономерности распределения указанных двух основных типов, поскольку на первый взгляд картина здесь производит впечатление почти полного произвола. Совершенно неясно, почему, например, *засоли́ть* дает *заса́ливать*, а *засте́клить* — *засте́клять*, *распа́рить* дает *распа́ривать*, а *расши́рить* — *расши́рять*. Еще большую трудность вызывают расхождения (не столь уж редкие) в рамках одного гнезда, типа *засуши́ть* — *засу́шивать*, но *иссуши́ть* — *иссу́шать*.

Возникает ощущение, что единственный способ фиксации соответствующей информации состоит в прямом списочном указании имперфектива для каждого из более чем двух тысяч *i*-глаголов, у которых имеются реально употребительные имперфективы. И остается лишь удивляться тому, как уверенно носители русского языка употребляют эти имперфективы, в подавляющем большинстве случаев совершенно не расходясь между собой в выборе первого или второго типа их образования.

В академических грамматиках ответа на вопрос об их распределении нет. Точнее, не ставится и сам вопрос.

Анализ показывает, что в распределении двух типов имперфективации *i*-глаголов существуют все же известные закономерности, но сложность ситуации определяется тем, что здесь действует несколько разнородных факторов, в части случаев в противоречии друг с другом. В этом сложном механизме затронуты разные сферы языка: фонемный состав, морфонология, акцентология, словообразование, стилистическая окраска.

Ниже излагаются результаты такого анализа.

Материал рассматривается в объеме «Грамматического словаря русского языка» [Грамм.] и «Орфоэпического словаря русского языка» [Еськ.].

Не включаются в общий анализ бесприставочные *i*-глаголы совершенного вида, поскольку если они вообще имеют вторичный имперфектив (важнейшие из них — *ступи́ть*, *купи́ть*, *пусти́ть*, *реши́ть*, *хвати́ть*, *прости́ть*, *бро́сить*, *ко́нчить*), то он может быть только на *-ать/-ять*: *ступи́ать* и т.д.; производные на *-ивать/-ывать* в этом случае были бы не имперфективами, а итеративами. Таким образом, ниже рассматривается образование вторичных имперфективов только от приставочных *i*-глаголов совершенного вида.

Предметом анализа является только распределение суффиксов *-ыва-/-ива-* и *-а-/-я-*. Вопрос о том, когда появляется и когда не появляется чередование *о/а*,

в настоящей статье мы оставляем в стороне (но случаи отсутствия переходного смягчения перед суффиксом имперфектива типа *разрубáть*, *отлáмывать* отмечаются). Предполагаются известными и специально не обсуждаются чередования согласных, которые возникают при образовании имперфективов.

Часть слова перед *-ить* ниже для краткости именуется просто основой. Совокупность приставочных производных от одного и того же глагола (вместе с самим этим глаголом) ниже именуется гнездом.

Вместо «вторичный имперфектив» для краткости в большинстве случаев дается сокращение НСВ.

В дальнейшем описании часто требуется термин «полная форма страдательного причастия прошедшего времени»; для краткости это громоздкое наименование сокращается до «причастие» (другие причастия в описании упоминаться не будут).

Два типа НСВ у *i*-глаголов далее упрощенно обозначаются как «НСВ на *-ивать*» и «НСВ на *-ать*» (считая, что выбор *a* или *я*, *и* или *ы* нам известен). Наличие двух вариантов НСВ обозначается символом I/II.

Разнородным факторам, определяющим в современном русском языке выбор НСВ, соответствуют правила разной степени строгости — от полностью жестких и формальных до основанных на не вполне строгих признаках и соблюдаемых лишь статистически.

В связи с тем, что требования разных правил могут приходиться в противоречие друг с другом, этим правилам должны быть присвоены ранги. Подобно военной субординации, ранг тем «сильнее», чем меньше его номер. Соответственно, при конфликте «побеждает» правило более сильного ранга. При этом, однако, в данной ситуации ранговая иерархия носит не абсолютный, а статистический характер, т. е. конфликт решается в пользу более сильного правила не всегда, а лишь в большинстве случаев.

Среди правил выделяется то, которым определяется наибольшее количество реальных случаев выбора НСВ. Оно обладает формальной строгостью и применимо к любому *i*-глаголу. Далее оно обозначается как основное правило.

Остальные правила носят модифицирующий характер: они применимы только к определенным группам *i*-глаголов (иногда довольно узким) и вносят ту или иную поправку в результат действия основного правила. Часть модифицирующих правил имеет неформальный характер. Ни одно из модифицирующих правил не расходится по своим результатам с основным правилом на 100%. Некоторые из них расходятся с ним всего для нескольких гнезд.

Ради непосредственной обозримости всей системы приводим вначале сводную таблицу правил (с некоторым упрощением формулировок и без указания отклонений). Исходным глаголом именуется *i*-глагол совершенного вида, для которого строится НСВ.

Рассмотрим фигурирующие в таблице правила более подробно.

Ниже в списках глагол без приставок символизирует всю совокупность соответствующих приставочных производных. Если глагол без приставок неупотребителен, он дается с дефисом спереди; так же даются *-ступить*, *-купить*,

Основное правило

№	Свойство исходного глагола	Ранг	Тип НСВ и примеры
1	Суффиксальное ударение в причастии	2	-ать : <i>сохранить, сохранённый — сохранять</i>
	Корневое ударение в причастии		-ивать : <i>распилить, распиленный — распиливать; намылить, намыленный — намыливать</i>

Модифицирующие правила

№	Свойство исходного глагола	Ранг	Тип НСВ и примеры
2	Чередование <i>т/ц, д/жд</i> или <i>зд/жд</i>	0	-ать : <i>посвятить, посвящён — посвящать</i>
3	Основа на <i>j</i> (графически нуль)	0	-ивать : <i>утайть — утаивать</i>
4	<i>Оро, оло</i> или <i>ело</i> в корне	1	-ивать : <i>заворожить, заморожённый — завораживать</i>
5	Отглагольный глагол с одно- сложной основой	1	-ать : <i>повысить, повышенный — повышать</i>
6	Каузативный глагол	2	-ать : <i>добавить, добавленный — добавлять</i>
7	Основа на губную согласную	2	-ать : <i>оформить — оформлять</i>
8	Отсубстантивный глагол	3	-ивать : <i>намылить, намыленный — намыливать</i>
9	Высокая стилистич. окраска	4	-ать : <i>преломить — преломлять</i>
	Низкая стилистич. окраска		-ивать : <i>подзудить — подзуживать</i>

-пустить, -решить, -хватить, -бросить, -кончить в случаях, где речь идет только о соответствующих приставочных производных. Глагол с приставкой представляет самого себя (или себя и часть других приставочных — в этом случае в скобках указывается хотя бы одна из этих других приставок).

Символ ° при глаголе означает: «у части приставочных производных от данного корня способ образования НСВ иной».

В списках глаголов и в подсчетах гнезд ниже учитываются только те глаголы, у которых хотя бы некоторые приставочные производные имеют НСВ. В нормальном случае глагол (простой или приставочный) представляет все гнездо. Если это не так, то дается символ °, о котором см. выше.

Трудный момент состоит в том, что в современном русском языке нет четкой границы между реальными НСВ и потенциальными. Разные словари в этом пункте нередко расходятся; например, только БАС при *разбередить* дает НСВ *разбередживать*, только [Уш.] при *изъездить* дает НСВ *изъездживать*. Имеются также случаи разногласия в вопросе выбора НСВ у отдельных глаголов.

Чтобы не заниматься разбором всех мелких вопросов этого рода, за основной источник сведений о способах образования НСВ, равно как об ударении в парадигмах глаголов, ниже принят [Грамм.]. И лишь в нескольких частных случаях дополнительно использованы сведения из других источников.

Основное правило

Основное правило (= правило 1) определяется акцентологическим фактором.

1. НСВ выбирается так, что его ударение оказывается таким же, как в полных формах страдательного причастия прошедшего времени исходного глагола

совершенного вида, а именно, причастиям с корневым ударением (*заслуженный, намýленный*) соответствует НСВ на **-ивать** (*заслуживать, намýливать*), причастиям с суффиксальным ударением (*сохранённый, изменённый*) — НСВ на **-ать** (*сохраня́ть, изменя́ть*).

Если ударение причастия колеблется (например, *просо́ленный* и *просоле́нный*), учитывается вариант с корневым ударением.

Если причастия нет (глагол непереходный, например, *наску́чить, ухитри́ться*), вместо него учитывается ударение презенса (без 1 ед.).

Примечание 1. Если ударение презенса отличается от ударения причастия или если ударение причастия и/или презенса колеблется, то в небольшом числе случаев выбор НСВ может оказаться ориентированным на презенс вместо причастия или не на тот вариант ударения причастия, который предписан основным правилом. Этот вид нарушения основного правила ниже обозначается как «полуотклонение».

Примечание 2. В особом положении находятся производные с приставкой *вы́-*, поскольку в совершенном виде она несет на себе ударение и тем самым здесь нельзя непосредственно различить модели *сохранённый* и *распы́ленный*. Выбор НСВ определяется у них ударением производных того же гнезда с другими приставками (а если таковых нет, то ударением исходного глагола), например, *выпра́шивать* как *спра́шивать*, *выража́ть* как *поража́ть*. Если в гнезде есть примеры образования НСВ как по типу I, так и по типу II, у производного с *вы́-* представлен тип I, как, например, *выса́живать*.

В практических целях можно, несколько огрубляя картину, использовать вместо причастия также формы презенса (*сохрани́т, но захва́тит, намýлит*), поскольку они более употребительны. Это создаст сравнительно небольшую погрешность, потому что случаев расхождения в ударении презенса и причастия немного. А для непереходных глаголов, как уже указано, использование презенса является правилом.

Отметим, что в полном соответствии с указанным общим принципом существует немалое число случаев, когда в рамках одного гнезда ударение страдательного причастия (и презенса, если оно здесь такое же) при разных приставках (или даже при разных значениях одного и того же глагола) различно и этому точно соответствует различие в НСВ. Примеры:

насади́т, насажде́нный — *насажда́ть* и *наса́дит, наса́женный* — *наса́живать*;
вопроси́т, вопроше́нный — *вопроша́ть* и *спроси́т, спроше́нный* — *спра́шивать*;
иссуши́т, иссуше́нный — *иссуша́ть* и *засуши́т, засуше́нный* — *засу́шивать*.

В правиле 1 выделяются следующие частные случаи.

1а. Глаголы с суффиксальным ударением в причастии и, соответственно, НСВ на **-ать**. Модель *сохрани́ть, сохранённый* — *сохраня́ть*. Это самая многочисленная группа: около 210 гнезд.

Абсолютное большинство из них имеет в презенсе флексийное ударение. И лишь около десятка гнезд имеют в презенсе смежно-подвижное ударение, например: *дели́ть* (през. *раздели́ю, раздели́т*, прич. *разделённый* — *разделя́ть*).

Отклонения (НСВ на **-ивать**) почти все происходят в силу подчинения глагола какому-либо из модифицирующих правил, например: *тайть* (п. 2), *ворожить* (п. 4), *засластить* (п. 8), *прокалить* (п. 9б).

Не подчинены ни основному, ни модифицирующим правилам только:

говорить (в силу эффекта, указанного в примечании 3), *сравнить* (НСВ *сравнивать* есть результат отталкивания от глагола совершенного вида *сравнять*), *растить* (причина отклонения, по-видимому, в том, что литературная норма здесь состояла в соблюдении церковнославянского варианта с *раст-* и недопущении русского варианта с *рост-*; соответственно, народные формы *ростит*, *отрощенный* и т. п. остались за рамками нормы, за исключением сложного слова *доморощенный*, тогда как НСВ *отращивать* и т. п., с закономерным *-а-*, норме не противоречит).

Имеется также несколько случаев полуотклонения, например: *дразнить* (НСВ *раздразнивать* [и т. п.] ориентирован на презенс *раздразнит*, а не на причастие *раздразнённый*), и случаев, когда НСВ колеблется, например: *опорожнить* — *опорожнять* (по п. 1) и *опоразнивать* (по п. 4).

1б. Глаголы с корневым (или колеблющимся) ударением в причастии и, соответственно, НСВ на **-ивать**, группа с инфинитивом на *-ить*. Модель *распилить*, *распиленный* — *распиливать*.

Основная модель — со смежно-подвижным ударением в презенсе: *спросить*, *спрошу́*, *спросит*, *спрошенный* — *спрашивать*. Таких гнезд более 50.

17 гнезд этой группы имеют в презенсе флексийное ударение (например, *расцветить*, *расцветит*, *расцвеченный* — *расцвечивать*) и еще 21 — колеблющееся (например, *привинтить*, *привинтит* // *привинтит*, *привинченный* — *привинчивать*).

Отклонения (НСВ на **-ать**) и в этом случае почти все происходят в силу подчинения глагола какому-либо из модифицирующих правил, например: *грузить* (п. 6), *явить* (п. 7), *подавить*^о (пп. 7 и 9а).

Не подчинены модифицирующим правилам только:

-пустить (НСВ *-пущать*), *проводить*^о, *починить*^о ‘отремонтировать’.

Имеется также несколько случаев полуотклонения, например: *затворить* (НСВ *затворять* ориентирован на причастие *затворённый*, существующее наряду с *затворенный*), и случаев, когда НСВ колеблется, например: *постановить*^о — *постанавливать* (по п. 1) и *постановлять* (по пп. 7 + 9а).

1с. Глаголы с корневым ударением в причастии и, соответственно, НСВ на **-ивать**, группа с инфинитивом на безударное *-ить*. Модель *намылить*, *намыленный* — *намыливать*.

Презенс всегда с корневым ударением.

Безусловное большинство здесь составляют отсубстантивные глаголы, например: *намылить* — *намыливать*, *обуглить* — *обугливать*.

Сюда же входят отадективные глаголы с неодносложной основой, например: *подрумянить* — *подрумянивать*.

Далее, сюда входят глаголы, подпадающие под п. 5, 6 или 7, у которых конфликт с основным правилом разрешился победой основного правила, например: *разгладить* — *разгладживать*, *подвѣсить* — *подвѣшивать*, *продырявить* — *продырявливать*.

Наконец, сюда же попадают некоторые непроизводные глаголы и различные глаголы, связанные с исходным словом непрозрачными связями или с неясной словообразовательной историей, например: *наладить* — *наладживать*, *зажугить* — *зажугливать*, *наморщить* — *наморщивать*.

Отклонения (НСВ на **-ать**), как и выше, почти все происходят в силу подчинения глагола какому-либо из модифицирующих правил, например: *похитить* (п. 2), *наполнить* (п. 5), *тѣшить* (п. 6), *озлобить* (п. 7), *изволить* (п. 9а).

Не подчинены модифицирующим правилам только:

вѣрить, *мѣтить*, *объѣздить*^о, *измѣрить*^о (*раз-*, *у-*).

Имеется также несколько случаев, когда НСВ колеблется, например: *приспособить* — *приспосабливать* (по п. 1) и *приспособлять* (по п. 7).

Модифицирующие правила

Фонемные и морфологические факторы.

Правила 2 и 3 находятся вне конкуренции, поскольку они носят абсолютный характер, т. е. не знают исключений.

2. При наличии в парадигме исходного глагола **чередования т/ц, д/жд или зд/жд** — НСВ на **-ать**, например: *посвятить*, *посвящу* — *посвящать*; *похитить*, *похищу* — *похищать*; *освободить*, *освобождѣнный* — *освобождать*; *осудить*^о, *осуждѣнный* — *осуждать*; *загромоздить*, *загромоздѣнный* — *загромозждать*.

Почти все глаголы этой группы имеют более или менее выраженную книжную окраску. Тем самым это в сущности не что иное, как переданный морфологическими средствами частный случай реализации правила 9а. В группу входит 35 гнезд.

Получают НСВ на **-ать** в силу данного правила вопреки основному правилу: *-хитить* (*по-*, *рас-*, *вос-*, *предвос-*), *-сѣтить* (*на-*, *пре-*, *пере-*). Все прочие подчиняются одновременно и основному правилу.

3. При **основе на j** (графически нуль) — НСВ на **-ивать**, например: *утайть* — *утайивать*, *наклѣить* — *наклѣивать*, *застрѣить* — *застрѣивать*, *спѣить* — *спѣивать*.

Получают НСВ на **-ивать** только в силу данного правила: *тайть*, *двоить*, *слоить*, *гноить*. Все прочие подчиняются одновременно и основному правилу.

Прочие правила не абсолютны: от них возможны те или иные отклонения (обычно вызванные какими-то конкурирующими правилами).

4. Глаголы с **полногласным сочетанием *оро, оло или ело*** в корне в безусловном большинстве случаев имеют НСВ на **-ивать**, например: *огородить* — *огораживать*, *обмолотить* — *обмолачивать*, *заморозить* — *замораживать*.

Правило формально строгое. Ранг 1, соответственно, при конфликте с основным правилом оно преимущественно побеждает. Подчиняются правилу 4, вопреки основному правилу (например, *привораживать*, хотя *приворожённый*): *молодить*, *холодить*, *ворожить*, *сторожить*, *боронить* (от *борона*), *холостить*, *щелочить*, *ворошить*, *порошить*.

Колебание НСВ: п. 1 vs. 4 — *опорожнить*; пп. 1 + 7 vs. 4 — *оздоровить*.

Примечание 3. В русском языке корням с полногласным сочетанием могут уподобляться по морфонологическим особенностям другие двусложные корни с двумя *о* или с двумя *е*. В образовании НСВ этот эффект проявляется, в частности, у глаголов *говорить*, *тормозить*, *щебенить*, *шевелить*: подобно глаголам с *оро, ере*, они получают (вопреки основному правилу) НСВ на **-ивать**. У глаголов *облокотить*, *изрешетить* (*за-*) НСВ на **-ивать** соответствует также и основному правилу.

Словообразовательные факторы.

5. **Отадъективные глаголы** с односложной (не считая приставки) основой в большинстве случаев образуют НСВ на **-ить**. Примеры: *оживить* — *оживлять*, *загрязнить* — *загрязнять*, *усреднить* — *усреднять*; *наполнить* — *наполнять*, *повысить* — *повышать*, *расширить* — *расширять*, *очистить* — *очищать*, *одобрить* — *одобрять*, *умножить* — *умножать*. При образовании отадъективного глагола суффикс исходного прилагательного может быть отсечен (ср. *повысить* от *высокий* и т. п.).

Обычно эти глаголы прозрачно связаны по смыслу с исходным прилагательным, означая ‘делать таким’; смысловая связь в значительной мере затемнена в *править* (от *правый*) и *красить* (от *красный, красивый*).

Степень формальной строгости неполная, поскольку вопрос о том, от чего образован глагол, в некоторой небольшой части случаев решается неоднозначно.

Правило ранга 1; соответственно, оно в большинстве случаев побеждает основное правило в ситуации конфликта; например, *повысить* имеет НСВ *повышать*, вопреки основному правилу.

Победа правила 5 над основным правилом (НСВ на **-ить**): *править*, *продолжить*, *множить*, *-близить*, *-низить*, *медлить*, *-кислить*, *-полнить*, *потупить*, *-ширить*, *ускорить*, *-взвешивать*, *чистить*, *уменьшить*, *улучшить*, *ухудшить*; с содействием п. 9а — *одобрить*^о (*у-*), *украсить*^о. Отметим еще *-сытнить* (см. п. 2). Из глаголов на **-ить**: *подредить*^о (през. *подредит*, прич. //), *сжидить* (*раз-*) (през. *сжидит*, прич. *сжидженный*).

Колебание НСВ (п. 1 vs. 5): *сюзить*^о, *приукрасить*^о, *разредить*^о.

6. **Каузативные** (по крайней мере по происхождению) глаголы в большинстве случаев образуют НСВ на **-ить**, например: *прибавить* — *прибавлять*, *оставить* — *оставлять*, *нагрузить* — *нагружать*, *усыпить* — *усыплять*.

Правило ранга 2; соответственно, при конфликте с основным правилом наблюдается примерное равновесие результатов. При этом среди каузативов с корневым ударением победа над основным правилом наблюдается чаще, чем среди каузативов на *-ить*.

Подчиняются правилу 6, но не основному правилу:

с корневым ударением: *тёшить*[°], *рушить*[°] (кроме *об-*), а также близкие к ним по значению и по структуре корня *-вётить*, *удáрить*; с содействием п. 7 — *-бáвить*, *слáвить*, *стáвить*, *плáвить*[°] (кроме *прó-*);

со смежно-подвижным ударением: *грузить*[°], *остудить*[°], *угасить*[°] (*за-*, *по-*), *изучить*[°] (*на-*, *об-*, *при-*), *утушить*[°] (кроме *при-*); с содействием п. 7 — *потопить*[°] (в воде); с содействием п. 9а — *удушить*[°] (кроме *при-*), *иссушить*[°] (*о-*), *изложить*[°] (*воз-* и др., НСВ с *-лагать*).

Колебание НСВ: *лепить*[°] (II // разг. I), *простудить* (*вы-*), *затопить* (водой (*под-*)), *пригасить*[°], *отучить*[°].

Морфонологический фактор.

7. Глаголы с основой на губную согласную имеют тенденцию к НСВ на *-ить*. Примеры: *прицепить* — *прицеплять*, *направить* — *направлять*, *оформить* — *оформлять*.

Правило формально строгое. Ранг 2; соответственно, при конфликте с основным правилом наблюдается примерное равновесие результатов.

Так, например, подчиняются правилу 7, вопреки основному правилу, *явить*, *-цепить*, *править*, *озлобить*, *оформить*, *уведомить*, *возглавить*, *обратить*.

В ряде случаев наблюдается равновесие правил 7 и 1, т. е. НСВ колеблется; например, *приспособить* дает *приспособлять* и *приспосабливать*.

Словообразовательный фактор.

8. **Отсубстантивные глаголы**, прозрачно связанные по смыслу с исходным существительным (в частности, означающие ‘снабжать X-м’, ‘покрывать X-м’, ‘действовать X-м’, ‘применять X’ и т. п.), имеют тенденцию к образованию НСВ на *-ивать*. Примеры: *просмолить* — *просмáливать*, *обслужить* — *обслúнивать*, *расцветить* — *расцвёчивать*, *навожить* — *навáживать*, *намылить* — *намыливать*, *обуглить* — *обúгливать*.

Степень формальной строгости неполная по той же причине, что в п. 5.

Это одна из двух самых крупных групп: не менее 160 гнезд.

Правило ранга 3; соответственно, в случае конфликта с основным правилом обычно побеждает основное правило (например, *застеклить*, *застеклённый* — *застеклять*).

Но имеется всё же группа гнезд с победой правила 8, например: *просмолить*, *просмолённый* — *просмáливать*. Таковы: а) с содействием п. 9б — *мелить*, *смолить*, *рулить*, *слюнить*, *бурить*, *сболтить*, *коптить*, *скостить*, *мостить*, *-вершить*, *вожить*, *ложить*; *одолжить*[°]; б) с содействием п. 9б и эффекта, указанного в примечании 3, — *тормозить* (NB разговорное *затормо́женный*), *щебенить*; в) прочие — *пересластить*[°] (*за-*, *на-*), *намастить*[°], *сплотить*[°].

Стилистический фактор.

9. При наличии у глагола не нейтральной стилистической окраски обнаруживается тенденция к соотносению повышенной и пониженной стилистической окраски с двумя типами образования НСВ.

9а. При наличии у глагола **повышенной стилистической окраски** (возвышенной, церковной, архаичной, специфически книжной) НСВ в большинстве случаев бывает на **-ать**. Пример: *провозгласить* — *провозглашать*, *преградить* — *преграждать*, *воскурить* — *воскурять*, *обагрить* — *обагрять*.

Как уже отмечено, частным проявлением этого принципа является также правило 2.

9б. При наличии у глагола **сниженной стилистической окраски** (бытовой, разговорной, простонародной и т. п.) НСВ в большинстве случаев бывает на **-ивать**. Примеры: *измочалить* — *измочаливать*, *оболванить* — *оболванивать*, *прикарманить* — *прикарманивать*, *зажечь* — *зажигивать*. Частным случаем здесь является также узко технический характер термина, в особенности если он связан с технологическими операциями, например: *прокалить* — *прокаливать*, *продолбить* — *продолбивать*, *нартутить* — *нартучивать*, *вылущить* — *вылущивать*, *притормозить* — *притормаживать*.

В значительном числе случаев действие стилистического фактора создает прямое противопоставление разных глаголов одного и того же гнезда, в том числе глаголов с одной и той же приставкой.

Приводим основные случаи, когда внутри гнезда наблюдается такое стилистическое противопоставление (включая те, где основы различаются по полногласию/неполногласию). Члены гнезд представлены соответствующими НСВ. Во всех случаях первый член (или группа членов) имеет более высокую стилистическую окраску, чем второй.

-граждать — *гораживать*: за-, на-, о-, пре-/пере-
-вращать — *-ворачивать*: об-, пре-/пере-, раз-, со-/с-, от-
-саждать — *-саживать*: на-, о-, до-
охлаждать, про- — *выхолаживать*, рас-, на-, про-
препровождать, со- — *выпроваживать*
утверждать, под- — *затверживать*, вы-
утруждать — *натруживать*, пере-
обсуждать, рас-, о-, при- — *рассуживать*, от-, вы-
прекращать, со- — *укорачивать*, о-
просвещать, о- — *просвечивать*, за-, под-, вы-
поглощать — *проглатывать* и т. д.
воплощать — *сплачивать*
возмущать, с- — *взмучивать*, про-, от-
восхвалять — *расхваливать*, за-, на-, пере- (вы- I/II)

раскалять — *прока́ливать*, об-, под-, пере-, до-, про-, вы- (за- I/II)

распалы́ть, вос- — *подпа́ливать*, за- и т. д.

подавля́ть — *отда́вливать* и т. д.

обеля́ть — *отбёливать*, до-, про-, вы- (пере- I/II)

ознакомля́ть — *раззнако́мливать*

преломля́ть — *перела́мывать* и т. д.

умоля́ть — *замали́вать*, от-, вы-

одаря́ть — *зада́ривать*, на-, пере-, раз-

одобря́ть, у- — *зада́бривать*, с-

воскуря́ть — *заку́ривать*, при- и т. д.

вопроша́ть — *спра́шивать*, вы- и т. д.

удуша́ть — *приду́шивать*

иссуша́ть, о- — *высу́шивать*, об- и т. д.

услаща́ть — *пересла́щивать*, за-, на- (под- I/II)

постановля́ть (// *на́вливать*) — *остана́вливать*

накопля́ть (// *нака́пливать*) — *прика́пливать*, под-

сужа́ть (// *-ивать*) — *обу́живать*, за-

умаща́ть (// *-ивать*) — *нама́щивать* и т. д.

Заметим, что точно такой же характер носят отношения у имперфективов от глаголов на *-ложить*: *-лагать* — *-кла́дывать* (на-, об-, в-, пре-/пере-, раз-, при-, про-, с-, от-).

Рассматривая приведенный список, можно выделить следующие типовые случаи:

а) Первый член имеет повышенную стилистическую окраску, а второй — нейтральную (или близкую к ней), например: *вопроша́ть* — *спра́шивать*, *преломля́ть* — *перела́мывать*, *утружда́ть* — *натру́живать*, *восхваля́ть* — *расхва́ливать*, *воскуря́ть* — *раску́ривать*, *умоля́ть* — *замали́вать*, *одаря́ть* — *разда́ривать*, *постановля́ть* — *остана́вливать*. Характерным частным случаем здесь является закрепление за первым членом исключительно (или преимущественно) переносного значения, тогда как второй сохраняет первоначальное прямое значение, например: *насажда́ть* (учение) — *наса́живать* (топор на топорище), *прегражда́ть* — *перегора́живать*, *подавля́ть* — *сда́вливать* (от-, раз- и др.), *поглоща́ть* — *прогла́тывать*, *иссуша́ть* — *высу́шивать* (за-, про- и др.), *украша́ть* — *закра́шивать* (рас-, под- и др.), *обеля́ть* — *отбёливать* (вы- и др.), *возмуща́ть* — *взмучивать*, *просвеща́ть* — *просвёчивать* (рентгеном).

б) Первый член имеет нейтральную (или близкую к ней) окраску, а второй — бытовую или техническую, например: *одобря́ть* — *зада́бривать*, *ознакомля́ть* — *раззнако́мливать*, *сужа́ть* — *обу́живать*.

Иногда стилистическое различие между двумя вариантами НСВ оказывается совсем тонким и выражается лишь некоторыми предпочтениями в рамках одной и той же вариативности. Так, в паре *закаля́ть* и *закали́вать*, члены которой, вообще говоря, в любом значении взаимозаменяемы, в применении к воле или характеру проявляется некоторое предпочтение к первому варианту (в соответствии с легким

оттенком книжности у сочетаний типа *закалять волю*), а в применении к стали (в соответствии с технологическим характером операции) — ко второму.

Понятно, что правила 9а и 9б формальной строгостью не обладают. Их «конкурентная сила» невелика; но все же имеется некоторое число случаев, когда выбор НСВ, противоречащий основному правилу, определяется именно ими.

Таковы, в частности, НСВ на *-ать*: *умолять, изучать, слагать, измышлять, исчислять, удушать*; то же с содействием п. 5 — *украшать*; то же с содействием п. 7 — *подавлять, постановлять, возглавлять, уподоблять, уведомлять, осведомлять, умилоствлять*.

Таковы, с другой стороны, НСВ на *-ивать*: *подзуживать, обдуривать* (наряду с *обдурять*, по основному правилу), *захламливать* (наряду с *захламлять*, по основному правилу + п. 7).

Может показаться странным, что указанных здесь отклонений от основного правила образования НСВ намного меньше, чем гнезд в данном выше списке. Это объясняется тем, что стилистическое различие в приведенных выше парах в большинстве случаев отражается уже в презенсе и причастии исходного глагола совершенного вида, например, *вопросит, вопрошённный* уже отличается от *спросит, спрошенный*, и тем самым НСВ *вопросить* столь же правильно, как и *спрашивать*.

В количественном отношении эффекты различных правил образования НСВ таковы.

В [Грамм.] представлено около 710 гнезд *i*-глаголов, в которых хотя бы одно приставочное производное имеет НСВ. Из них таких гнезд, где все члены гнезда полностью подчинены основному правилу, — 80%. Если добавить к ним и те гнезда, которые подчиняются основному правилу лишь частично (а именно, в выборе типа НСВ есть колебания или правилу подчинены не все члены гнезда), то эта цифра возрастает до 86%.

В 8 гнездах основное правило нарушено лишь полуотклонением; таковы целиком гнезда *ценить, дразнить, шевелить, затворить* (*при-, о-*) и часть членов гнезд *рядить, молить, крестить, белить*.

Отклонения от основного правила — это почти всегда случаи подчинения какому-либо из модифицирующих правил (или сразу нескольким таким правилам). Отклонений от всего комплекса из 9 правил совсем мало (причем у части из них усматриваются те или иные индивидуальные причины нестандартного поведения). Таковы только:

с НСВ на *-ивать*: *говорить, сравнить, расти́ть* (об индивидуальных особенностях этих глаголов см. выше, п. 1а);

с НСВ на *-ать*: чистые случаи — *вэрить, мэтить, -пустить* (НСВ *-пущать*); только при части приставок — *объездить*^о, *измерить*^о (*раз-, у-*); *проводить*^о, *починить*^о ‘отремонтировать’.

Это 10 гнезд, т. е. около 1,5% общего фонда; вместе с полуотклонениями это 18 гнезд, т. е. 2,5%. Таким образом, всему комплексу из 9 правил подчиняются 97,5% гнезд.

Для рассматриваемой проблемы существенно также то, что языковая компетенция носителей русского языка позволяет образовывать большое число потенциальных слов. Это в полной мере относится и к вторичным имперфективам. Правда, произвести в этой сфере какие-либо подсчеты нереально. Но мысленный эксперимент показывает, что такие не фиксируемые словарями производные, в общем, достаточно хорошо подчиняются приведенным правилам. Часть таких слов относится к тем же гнездам, которые уже рассмотрены выше, например: **перетемнить* (ср. *затемнить*) или **усторáживать* (ср. *насторáживать*); они просто копируют структуру однокоренных глаголов. Но обычно оказываются в согласии с приведенными правилами также и потенциальные имперфективы с другими корнями, например: **рассёрживать*, **разберёживать*, **угрóbливать*, **оконфúживать*, **отдежúривать*, **перепóрчивать*, **обнулять*, **подкузьмлять*, **раскровенять*, **взбеленяться* и т. п.

Заметим, что для потенциальных имперфективов часто оказывается актуальным правило 9b, поскольку потенциальное обычно близко к сниженному: и то, и другое — это варианты нелитературного. Соответственно, среди них преобладают НСВ с *-ивать* — нередко в отличие от других глаголов того же гнезда, например, **раскру́живать* в отличие от *окружа́ть*. Особенно характерны НСВ на *-ивать* для жаргонов. Так, в сетевом жаргоне бытует, например, форма *перепáцивать* — НСВ от *перепостить* ‘перередактировать пост (сообщение)’. При этом, однако, при всей ее внешней экстравагантности она вполне регулярна: хотя презенс совершенного вида здесь *перепостит*, причастие — явно *перепóщенный*, отсюда правильное *перепáцивать*.

Бросим также короткий взгляд, не претендуя на полноту разбора, на предысторию рассматриваемой части глагольной системы.

Прежде всего обнаруживается, что нынешнее основное правило образования имперфективов от *i*-глаголов не выводится из древнерусского акцентного состояния. Это видно из следующего.

В ударении презенса *i*-глаголов самое массовое изменение ударения за последние пять веков состояло в переходе (полном или хотя бы факультативном) от маргинально-подвижного и флексийного ударения к смежно-подвижному, т. е. в переходе от модели *ловíть*, *ловít* к модели *ловítь*, *ловит*. Вот некоторые примеры презенсов XVI в.: *ловíшь*, *остановíшь*, *объявíшь*, *посадíшь*, *цедíшь*, *городíшь*, *студíшь*, *положíшь*, *повалíшь*, *застрелíшь*, *солíшь*, *заменíшь*, *ценíшь*, *чинíшь*, *доíшь*, *пойшь*, *лепíшь*, *копíшь*, *утопíшь*, *варíшь*, *дарíшь*, *мирíшь*, *морíшь*, *гасíшь*, *косíшь*, *катíшь*, *платíшь*, *крестíшь*, *пустíшь*, *крутíшь*, *лечíшь*, *учíшь*, *поручíшь*, *крошíшь*, *дуи́шь*, *суи́шь*, *туи́шь*, *таци́шь* (аналогично у *ѣ*-глаголов *держíшь*, *терпíшь*).

Первые свидетельства перехода таких глаголов к смежно-подвижному ударению отмечаются в памятниках XVI в., в XVII–XVIII вв. его интенсивность постепенно нарастает, наибольшей интенсивности он достигает в XIX–XX вв.

Яркой особенностью этой группы является то, что она почти целиком состоит из переходных глаголов (и это, в частности, означает, что они имеют страдательное причастие). Напротив, непереходные глаголы (а также глаголы речи) того же акцентного типа прочно сохраняют древнее ударение, например: *гостіишь, угодиішь, грубіишь, следиішь, спешіишь, шалиішь, говориішь* (и то же у *ѣ*-глаголов, например: *лежіишь, сидіишь, стоіишь, бежіишь, кричіишь*).

В ударении страдательного причастия тех же глаголов происходили аналогичные изменения: от модели *отловіть, отловлённый, отловлены́* совершался переход к модели *отловіть, отлѡвленный, отлѡвлены*. Хронология и ритм этого перехода примерно такие же, как у смены ударения в презенсе.

В ударении вторичных имперфективов картина была более сложной. Все имперфективы с *-ыва-/-ива-* с исторической точки зрения являются инновацией, причем именно такой фонемный состав данного суффикса — это чисто русская инновация, отличная даже от белорусской и украинской.

Соответственно, противопоставление *-ать* — *-ывать* — это всегда противопоставление старого и нового. Кроме того, в части случаев это противопоставление церковнославянского и собственно русского.

Основное первоначальное значение суффикса *-ыва-/-ива-* — итеративность (многократность), как в современных производных от бесприставочных глаголов несовершенного вида (*хаживать, слыхивать, говаривать* и т. п.). Чистое значение несовершенного вида формируется у производных с этим суффиксом от приставочных глаголов совершенного вида лишь со временем.

В XVI–XVIII вв. в народном языке существовало не двойное противопоставление (типа *дал* — *давал*), а тройное, например: *далъ* — *давалъ* — *давывалъ*; *отнялъ* — *отнималъ* — *отнимывалъ*; *обновиль* — *обнавляль* (и *обновляль*) — *обнавливаль*; *исправиль* — *исправляль* — *исправливаль*; *отмѣрилъ* — *отмѣряль* — *отмѣриваль*; *одобриль* — *одабряль* (и *одобряль*) — *одабриваль*. Третий член в таких тройках мог иметь значение многократности, но самым актуальным его значением стало отрицательное, реализовывавшееся чаще всего в контексте отрицания: под отрицанием форма с *-ыва-/-ива-* получала значение ‘событие не имело места ни разу’ (= ‘факт вообще не имел места’), например: *не отнимываль* = ‘неверно, что отнял’ (см., в частности, [Успенский 2004]).

Но в литературном языке шел процесс утраты смысловых различий между вторым и третьим членами таких троек, а именно, процесс превращения третьих членов в простые имперфективы, т. е. в чистые синонимы вторых членов. На протяжении XVIII в. этот процесс уже практически достиг завершения.

Всякому литературному языку свойственна тенденция к устранению стопроцентной синонимии, т. е. к выбору лишь одного из двух полных синонимов в качестве нормативного. Соответственно, русский литературный язык должен был закрепить в каждой тройке функцию имперфектива за вторым или за третьим членом. Единого принципа в этой селекции не сформировалось. Возникла конкуренция нескольких различных принципов, которая и привела к нынешней чрезвычайно

сложной чересполосной ситуации, рассмотренной в настоящей статье. Этим разным принципам соответствуют разные пункты приведенного выше набора правил. Остатками прежнего состояния являются случаи, когда литературный язык так и не сделал жесткого выбора, все еще сохраняя второй и третий члены прежней тройки в качестве полных синонимов, например: *отмерять* и *отмёривать*, *отучать* и *отучивать*.

Чтобы дать более наглядное представление о том, как много ранее было в русском языке имперфективов, впоследствии литературным языком отвергнутых, приведем некоторые из многих десятков примеров, содержащихся в [СРЯ XI–XVII]:

на *-ивати* — *обнаживати, раздраживати, пропускавати, отдаливати, ослабливати, обновливати, направлявати, заставлявати, объявлявати, прикрѣпливати, присланивати, распространявати, допалнивати, засаривати, одабривати, расширивати, назначивати, отвѣчивати, отягивати, научивати, разрушивати, очищивати;*

на *-ати* — *заглажати, прослѣжати, распрашати, скрашати, задушати, засушати, обезещати, пристраяти, опечаляти, осияти, обессияти, разламляти, поневоляти, взаконяти.*

Как видно из предшествующего разбора, из нескольких конкурирующих принципов выбора НСВ наибольшее значение приобрел принцип ориентации ударения НСВ на ударение презенса и страдательного причастия исходного глагола. Сформировались обладающие продуктивностью модели троек с единым ударением: *сохранит, сохранённый, сохранять* и *заварит, заваренный, заваривать*.

Формирование этих троек — относительно поздний процесс: он позднее, чем переходы типа *ловит > лóвит*. Это видно из того, что на выбор НСВ новые презенсы типа *лóвит, варит, со́лит, лéчит* влияют совершенно так же, как презенсы с исконным ударением на корне типа *хвáлит, кóрмит, кúрит, мóчит*.

В нескольких случаях НСВ соответствует презенсу, который нормативные словари не признают, хотя он и распространен в разговорной речи. Таков, например, презенс *отзвóнит*, которому, однако, правильным образом отвечает НСВ *отзвáнивать*. Аналогично: *вдáлбливать* и т. п. по просторечному *дóлбит, одáлживать* по просторечному *одблжит, оцéнивать* по просторечному *оцéненный*. Отсюда можно видеть, что глубинные механизмы языка опираются на реальный речевой узус, а не на указания нормализаторов.

Литература и сокращения

БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1965.

Грамм. — А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. 5-е изд. М., 2008.

Еськ. — Н. А. Еськова, С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Свыше 70000 слов. 10-е изд. / Под ред. Н. А. Есковой. М., 2014.

СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.

Успенский 2004 — Б. А. Успенский. Часть и целое в русской грамматике. М., 2004.

Уш. — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. I–IV. М., 1935–1940.

Andrey A. Zaliznyak

*Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

FROM RUSSIAN MORPHONOLOGY: ЗАКАЛЯТЬ AND ЗАКАЛИВАТЬ

The article considers the distribution of secondary imperfective verbs ending in *-ывать/ -ивать* and in *-ать/-ять* in standard Russian. Factors affecting the distribution are proved to be heterogeneous, referring to various language levels, and partly controversial. The basic principle, covering the bulk of cases, turns out accentual: the stress of derived imperfective verb patterns upon the long form of past passive participle of the base verb. All other principles appear secondary and can merely modify the basic one in particular cases. These additional principles fall into several types, such as: phonemic and morphonemic (regarding alternation of consonants), derivational and stylistic (determining formal vs informal styling). Finally, it is shown that this present-day distribution of imperfectives dates back to a relatively recent time.

Keywords: Russian language, morphonology, secondary imperfectives, *i*-verbs, accentology.

Е. Э. Бабаева

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва, Россия)

ОБ ОДНОМ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ МИФЕ: СЛУЧАЙ *COQUELUCHE**

В статье рассматривается история французского слова *coqueluche*. Подвергается критической оценке традиция лексикографического описания слова во французских словарях XVI–XXI веков. В рамках этой традиции слово *coqueluche* имеет два значения, между которыми не прослеживается никакой семантической связи: ‘коклюш’ (название болезни) и ‘всеобщий любимец, звезда’. Этимологические сведения, содержащиеся в словаре, также не позволяют ожидать такого рода многозначности, поскольку в качестве первичного восстанавливается значение ‘головной убор’. В статье предлагается новый подход к объяснению данного феномена: вместо многозначности слова *coqueluche* следует говорить об омонимии трех разных слов, возникших примерно в одно время. Два из них *coqueluche(on)* ‘головной убор’ и *coqueluche* ‘коклюш’ возникли в XV веке, а третья *coqueluche* ‘любимец публики’ — в XVI веке. Если первый омоним можно связывать с лат. *cucullus*, то два последних очевидно имеют в качестве мотивирующего существительное *coq*, обладающее многочисленными коннотациями. В статье используются историко-семантический и этимологический подходы. Привлечен богатый лексикографический материал, памятники истории медицины и истории костюма, другие исторические документы.

Ключевые слова: лексикология, семантика, значение слова, историческая семантика, история понятий, диахрония, этимология, лексикография, полисемия, омонимия.

Жан и Клод Дюбуа в книге, посвященной теоретическим аспектам лексикографии, отмечали, что словарь — не совсем книга, или даже совсем не книга,

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность» на 2015-2017 гг., проект «Основной лексический фонд русского языка как элемент русской культуры: системная организация лексики и ее отражение в словаре».

поскольку он не предназначен для того, чтобы его читать: «В словаре ищут ответы на вопросы, с ним консультируются, но его не читают»¹. Словарь, в частности, отвечает на вопрос о границах слова, с одной стороны, различая случаи омонимии, а с другой стороны, упорядочивая информацию о значениях слова, т.е. фиксируя его внутреннее семантическое устройство. Описание омонимии и полисемии в каждом конкретном случае, в сущности, есть некоторая гипотеза относительно отсутствия или наличия актуальной для носителя языка на данном синхронном срезе преемственности смыслов.

Фиксация полисемии в словаре подразумевает, что между отдельными значениями слова или же между его значениями и этимоном² существует семантическая связь. Указание на такую связь некоторым эксплицитным способом (например, при помощи системы нумерации блоков значений и нумерации самих значений) может, в принципе, являться главной задачей словаря (ср., например, возможность объяснения разворачивания полисемии в так называемых исторических словарях³), однако и в тех случаях, когда такая задача не ставится, наличие этих связей подразумевается, поскольку именно они формируют как семантический «портрет» слова, так и представление о его семантическом развитии, о его «биографии».

Слово *coqueluche* практически всеми словарями французского языка описывается одинаково. В его структуре выделяются два значения: 1) инфекционная болезнь, для которой характерен конвульсивный кашель; 2) человек, которого очень высоко ценит достаточно большая группа людей (ср., например: 'être la coqueluche de: être aimé, admiré de. «*Beau, vigoureux, gaillard, la coqueluche des femmes*» France' [PR]⁴). Установить связь между этими значениями ('название болезни' — 'положительно оцениваемый человек') представляется крайне затруднительным, хотя хорошо известно, что в языках существует перенос 'название болезни' — 'отрицательно оцениваемый человек' (ср., например, франц. *peste* 'чума', *choléra* 'холера', *gale* 'чесотка', *teigne* 'лишай', употребляющиеся применительно к человеку и указывающие на отрицательную оценку этого человека).

Поскольку семантическая связь между двумя зафиксированными в словарях значениями слова *coqueluche* не просматривается, остается возможность объяснить ее наличие обращением к этимону, которая и представлена во французской лексикографии.

Этимологические словари, хотя и с осторожностью, возводят корень существительного *coqueluche* к латинскому *cucullus* 'капюшон' [Dubois, Mitterand, Dauzat

¹ «Le dictionnaire est interrogé, consulté; il n'est pas lu» [Dubois 1971: 11].

² Говоря об этимоне, я имею в виду значение слова, которое является результатом этимологического исследования.

³ См., например, для французского языка: [DHLF].

⁴ Употребляясь в этом значении, слово *coqueluche* присоединяет актант 'большая группа людей' при помощи предлога *de*. В словаре [TLF] отмечаются также очень редкие употребления, когда в качестве ценного объекта выступает не человек, а неодушевленный объект: *Le bridge a été la grande coqueluche des camps*. Здесь и далее в тех случаях, когда при цитировании словаря страница не указывается, отсылка дается к заголовочному слову.

1993; Baumgartner, Ménard 1996)⁵. Что же касается форманта *-(l)uche*, то его появление объясняется влиянием со стороны слова *capuche*⁶.

Таким образом, во французской лексикографии принято выделять в качестве первоначального значения существительного *coqueluche* («sens ancien» в: [DHLF I]) ‘головной убор’.

Действительно, в материалах Р. Мартэна (R. Martin), охватывающих период с 1425 по 1485 г., отмечено 4 примера, в которых интересующее нас слово имеет значение ‘головной убор’ («bonnet en forme de capuchons»), хотя контексты не дают возможности выявить точно, какой именно: 1) «et sans aucune occasion que ledit suppliant seust, icellui Oebes eust gectée sa coqueluche contre lui par grant yre et despit»; 2) «Mais il te conviendroit avoir Une gentise cocqueluche: Tu sembleroys maistre Panchuche, Le borreau d’une bonne ville»; 3) «Nappes et doubliers et aultre linge. Primo, ung drap de deux lez, petit, sans pareil (...) Item, une quoqueluche de drap brun violet bien usée»; 4) «J’affulleray ma capeluche⁷ Et vestiray mon haubregon Qui vault mieux qu’une coqueluche» [DMF]⁸.

В этом же лексикографическом источнике присутствует слово *coqueluchon* в значении ‘капюшон’; самая ранняя его фиксация датирована 1490 г.

⁵ В [Baumgartner, Ménard 1996] прямо говорится об отсутствии надежной этимологии. Некоторые словари устанавливают родство между *coqueluche* и *coquille*, см., например, в [PR]; ср. уклончивую формулировку в [DHLF I], когда указание на связь данных слов сопровождается признанием такого переноса «необъяснимым»: «Il est cependant possible que *coqueluche* soit formé d’après *coque* ou *coquille*, mais au terme d’un processus inexpliqué». Согласно [Pokorny, № 1748], лат. *cucullus* относится к группе слов, которые восходят к и.-е. корню *(s)keu-*, *(s)keuə:(s)kū-* со значениями ‘прятать’, ‘оборачивать’, ‘накрывать’.

⁶ Суффикс *-uche/-uch(on)* в лексикографических источниках может сближаться с суффиксами *-iche/-ich(on)* [PR: 2800]. В [TLF] в статье *-uche* отмечается, что данный суффикс, присоединяясь к основам имен существительных, образует существительные женского рода, содержащие в своей семантической структуре уничижительную оценку. Данный формант относится к числу языковых единиц, характерных для арго; что же касается его появления в текстах, то [TLF] датирует первую фиксацию 1507 г., выделяя ее в составе слова *capuche*. Такой же точки зрения придерживается и [DHLF I]. Однако, как следует из корпуса примеров [DMF], относящихся к более раннему времени (1300–1500), существительные *coqueluche*, *coqueluchon*, *capeluche* и имя *Panchuche* фиксируются в текстах раньше, уже с XV в. Таким образом, если и предполагать наличие связи между словами *capuche* и *coqueluche*, то следует предположить обратный вектор влияния.

⁷ Известно, что слово *cucullus* обозначало вид верхней одежды, плащ с капюшоном [Dictionary of Greek and Roman Antiquities 1890: 571], прежде всего монашеский, имевший своим прообразом шлем средневекового воина (см. [Пичхадзе 1993]). Точно также, видимо, и слово *capeluche* могло использоваться для названия верхней одежды с капюшоном. Ср. еще франц. *béret* (‘берет’), восходящее к лат. *birrum* (‘короткий плащ с капюшоном’), которое функционировало, в частности, как синоним к *cucullus* [Dictionary of Greek and Roman Antiquities 1890: 299], а также *куколь* ‘верхняя одежда, плащ с капюшоном’ и ‘монашеский головной убор (в виде капюшона, покрывала) у принявших схиму’ [СРЯ XI–XVII, 8: 112] или диал. *куклянка* ‘верхняя одежда из оленьих шкур длиною ниже колен, с широкими рукавами и капюшоном’ [Аникин 2000].

⁸ Заметим, что в этом же словаре приводится пример, относящийся к чуть более раннему времени, где интересующее нас слово имеет значение ‘военный головной убор’: «deux coqueluches de Jannes [de Gênes] pour arbalestriers» [DMF].

Именно существительное *coqueluchon* находим в ранней лексикографической традиции (XVI — начало XVII в.). Согласно словарю Робера Этьенна, данное существительное служило названием капюшона женского плаща, защищавшего от дождя, а также названием самого плаща, ср.: «Le Coqueluchon d'une carpe, et la carpe que les femmes portent sur leur teste pour la pluye, cucullus, cucullio» [Estienne 1549]⁹. Это определение перенес в свои словари и Жан Нико, пользовавшийся трудами Робера Этьенна как одним из источников [Nicot 1573; 1606].

Однако в словарях конца XVII в. номинация *coqueluchon* уже не связывается ни с плащом, ни с женским головным убором. Так, согласно словарю Фюретьера [Furetière 1690], речь идет о монашеском головном уборе («*capuchon de Moine*»), который шьется из грубой шерстяной материи («*de grosse bure*»). Фюретьер также отмечает, что этот капюшон может быть остроконечным («*en pointe*») и круглым («*en rond*»). В первом издании Словаря Французской академии [DAF 1694, I] содержится уже наряду со словом *coqueluchon* существительное *coqueluche*, которое толкуется через синоним *capuchon*. При этом отмечается, что слово *coqueluchon* употребляется только в шутку («*Coqueluchon de Moine. il porte un coqueluchon. il y a bien de la malice sous ce coqueluchon là. Il ne se dit guere qu'en raillerie*»), а слово *coqueluche* вообще вышло из употребления («*il est vieux*»).

В дополнительных материалах к историческому словарю французского языка Фредерика Годфруа [Godefroy IX] фиксируются оба слова: существительное *coqueluchon* определяется как вообще головной убор («*sorte de capuchon*»), а существительное *coqueluche* — как головной убор, который носят только женщины («*sorte de capuchon que portent les femmes*»)¹⁰. На то, что к XVII в. слово *coqueluchon* в данном значении могло использоваться лишь иронически, в шутку, указывают авторы словаря французского языка XVII в. [DFC]¹¹.

Итак, ранние фиксации слова *coqueluche* говорят о том, что оно употреблялось для обозначения какого-то головного убора. Как же связано это значение с системой многозначности слова? В большинстве словарей значение 'головной убор' упоминается как мотивирующее для значения 'человек, которого положительно

⁹ В этом словаре латинского языка Робер Этьенн различает слова *cucullus* и *cuculio*. Описание этих слов восходит к словарю Амброзия Калепина (Ambrosii Calepini Dictionarium 1546 г.). Существительное *cucullus* толкуется со ссылкой на Луция Колумеллу — как некий вид верхней одежды («*genus est vestis*»), предохраняющий от ветра, холода и дождя, кроме того, в тексте словарной статьи Этьенн приводит цитаты из сатир Ювенала: «*Sumere nocturnos meretrix augusta cuculos*» (Сатира 6) и «*contentesque illic veneto, duroque cucullo*» (Сатира 3, 170; ср. в переводе Д. С. Недовича: «там, где довольны простой, из грубой ткани накидкой» [Ювенал 1937]). Существительное *cuculio* толкуется со ссылкой на Юлия Капитолина как головной убор: «*est genus pilei viatoriu, quo capite oblecto vagari nocte solent*».

¹⁰ В основном корпусе словаря присутствует только слово *coqueluche* в значении 'головной убор духовенства' («*coiffure ecclésiastique*») [Godefroy II].

¹¹ Ср. «*Ne s'employait que par plaisanterie*» со ссылкой на первое издание Словаря Французской академии. В 1762 г. была издана книга, посвященная, главным образом, истории монашеских одеяний. В начале этой книги описываются головные уборы, по названию которых озаглавлена вся книга (см. [CAJOT (Dom)]. *Histoire critique des coqueluchons*. Cologne [Metz, Collignon], 1762).

оценивает большая группа людей'. Этот переход плохо соотносится с хронологией употребления слова: фактически оно употреблялось лишь в XV в., да и то довольно ограниченно. Что же касается значения 'положительно оцениваемый человек', то оно появляется только в XVII в. В качестве обоснования данного перехода словари ссылаются на семантическое развитие слов *coiffe* и *béguin*.

1) Существительное *coiffe* считается заимствованием из поздней латыни. Согласно [DHLF I] и этимологическим словарям [Dubois, Mitterand, Dauzat 1993; Baumgartner, Ménard 1996; Picoche 2002], оно, являясь германизмом, фиксируется во французском языке с XI в. От данного существительного был образован глагол *coiffer*, фиксирующийся с XIII в. Этот глагол, обозначавший 'надеть на голову', к XVI в. развил значение 'внушить кому-л. определенное представление о чем-л.' ('séduire qqn, en lui mettant une idée en tête' [DHLF I]). В это же время формируется переносное значение конверсивных выражений *être coiffé*, *se coiffer de* 'быть привязанным к кому-л.', 'испытывать привязанность к кому-л.'

2) Существительное *béguin* является вторичным по отношению к *béguine*, которое не имеет очевидной этимологии. Согласно [DHLF I], в исторической перспективе оно восходит к средненидерландскому *beg(g)aert*, *bagaert*, семантика которых предположительно связывается с глагольным значением 'произносить (молитвы)' (ср. фламандское *beggelen* 'громко говорить'). С XIII в. слово *béguine* являлось обозначением для членов религиозного сообщества бегинок. Существительное *béguin*, применяясь к лицам мужского пола, имело, как отмечает тот же словарь, скорее уничижительную оценку¹². Предполагается, что бегинки носили чепец из белой ткани, надевавшийся под верхний головной убор, и в этом значении слово *béguin* стало активно употребляться в XIV в. Впоследствии произошло расширение данного значения, и слово *béguin* начали применять к другим видам женского головного убора и к детскому чепчику. Наконец, в середине XVI в. фиксируется глагол *embeguiner*, прямое значение которого ('надеть чепец') достаточно быстро уступило место переносному 'обмануть' (ср. русск. *околтачить*). В конце XVIII в. в текстах появляется выражение *avoir un (le) beguin pour qqn* 'быть влюбленным в кого-л.'

В эту же перспективу словари пытаются вписать и выражения *se toquer de* 'быть влюбленным в кого-л.' (с XVI в.) и отмеченное в том же значении в середине XIX в. *être toqué de*, связывая его с существительным *toque*, которое служило в XV и XVI вв. названием для круглой шапочки (ср. *toque de page*) [DHLF III]. Существительное *toque* не имеет общепринятой этимологии. Согласно [Dubois, Mitterand, Dauzat 1993], оно соотносится с испанским *toca* и с итальянским *tocca* ('шелковая ткань'). Вместе с тем связь данного существительного с глаголами *toquer* ('ударять') и *se toquer* неочевидна. Скорее всего, глагол *toquer*, как и глагол *toucher*, имеет звукоподражательное происхождение (ср. *toc* 'удар').

К ряду *être coiffé*, *se coiffer de*, *embeguiner*, *se toquer de* и *être toqué de* близок по семантике и глагол *s'entêter de* ('вбить себе в голову' > 'увлечься чем-л.').

¹² Следует заметить, что пара *béguin* — *béguine* могла использоваться для обозначения ханжи — человека, только прикидывающегося набожным.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что во всех перечисленных случаях смысл ‘внушить кому-л. что-л.’, ‘увлечься кем-л. или чем-л.’ формируется на основе глагола. Существительное *coqueluche* не вписывается в эту модель, поскольку не существует глагола *coquelucher* с похожей семантикой. Таким образом, языковой материал, который приводится во французских словарях, не может служить типологической аналогией для развития многозначности слова *coqueluche*. Признать наличие подобного семантического развития внутри этого существительного — значит признавать существование модели прямого перехода ‘головной убор’ — ‘положительно оцениваемый человек’, примеров на которую не находится, хотя названия головных уборов, благодаря метонимическому переносу, служат для номинации человека (ср. широко представленные в языках переходы ‘головной убор’ — ‘человек в данном головном уборе’ или ‘головной убор, ношение которого обязательно или свойственно определенной группе людей’ — ‘человек, относящийся к этой группе людей’).

Особого упоминания требует комментарий к слову *coqueluche*, представленный в книге французского врача и ученого XVII в. Пьера Бореля «*Tresor de recherches et antiquitez gauloises et françoises*» [Borel 1655]. Упомянув значение ‘монашеский головной убор’ в статье *coqueluche*, Пьер Борель ссылается на Франсуа Рабле. Эта же информация содержится в словаре [Trévoux II], где сообщается, что в Библиотеке монастыря святого Виктора была книга, которая называлась «Монашеский головной убор» («Il y avait dans la Bibliothèque de St. Victor à ce que dit Rabelais, un livre, intitulé la coqueluche des Moines»). Речь идет о VII главе книги о Пантагрюэле, в которой рассказывается, как главный герой прибыл в Париж. В описи библиотеки монастыря святого Виктора значится труд, озаглавленный «*La coqueluche des moines*»¹³. Вместе с тем в более поздних комментариях к этому фрагменту содержится гипотеза, согласно которой речь идет о словесной игре, основанной на наличии, с одной стороны, клише *la coqueluche des moines* (т.е. «монашеский капюшон»), а с другой стороны, названия болезни *coqueluche*, в данном случае ассоциативно связанной с заболеванием, известным как *rhume ecclesiastique*, иначе говоря, сифилисом («*Coqueluche signifioit en effet capuchon, mais il signifioit aussi rhume <...> il se pourrait bien que Rabelais entendit ici par la coqueluche des moines ce que nous appelons aujourd’hui un rhume ecclesiastique*» [Rabelais 1823: 207]¹⁴).

¹³ В переложении на современный французский язык название этой книги передается как «*La saruche des moines*» [Rabelais 1964: 118]. Ср. в русском переводе Н. Любимова: «Монашеский капюшон» [Рабле 1981: 136].

¹⁴ Этот комментарий хорошо согласуется с известным представлением о свойственном Рабле смешении «верха» и «низа». Ср. определение *rhume ecclesiastique* в словаре 1786 г.: «*Mot satyrique qui signifie la grosse vérole ou le mal de Naples*» [Leroux 1786: 419]. По поводу названия книги из монастырской библиотеки комментаторы также пишут, что это насмешка одновременно и над капюшоном монахов, и над их ночными похождениями, последствиями которых и был «злочестьственный насморк» («*méchant rhume*»), который, как замечают комментаторы, оставался с монахами и тогда, когда они снимали капюшон («*qui [...] ne les quittoit non plus qu’il abandonnoient leur capuchon*») [Rabelais 1823: 207].

Слово *coqueluche* как элемент медицинского словаря фиксируется в самом начале XV в., т. е. несколько раньше, чем оно фиксируется в качестве элемента вестиментарной номенклатуры. В уже цитированных комментариях к книге Рабле приводится фрагмент хроники от 6 марта 1413 г., в которой указывается, что некое слушание с участием адвоката было отменено («Ce jour n'a point été plaidoyé ne n'avoit aucun advocate ne partie»), поскольку, как сообщается на полях, этот адвокат был болен («La coqueluche pour laquelle n'a esté plaidé») [Rabelais 1823: 207]. Эти сведения соответствуют данным лексикографических источников, в которых, начиная с работ Жилия Менажа [Ménage 1750: 413], цитируется знаменитый историк XVII в. де Мезерай (François Eudes, sieur de Mézeray), который во второй книге истории Франции сообщает, что в феврале и марте 1414 г. многие адвокаты и проповедники страдали от болезни, получившей название *coqueluche*. Скорее всего, речь идет именно о вспышке болезни, известной и нам как *коклюш*. Согласно описаниям, это заболевание выражалось, в частности, в том, что больные не могли говорить, а только хрипели («un étrange rhume qu'on nomme coqueluche tourmenta toutes sortes de personnes durant le mois de fevrier et de mars et leur rendit la voix si enroué que le barreau, les chaires et les colleges en furent muets»; ср. также в [Trévoux II: 221]). Сведения об этой болезни содержатся также в словаре Пьера Бореля, который прямо называет ее эпидемической («épidémique») и сообщает, что в 1557 г. она унесла много жизней. Пьер Борель цитирует строки поэта Гийома Дюбуа (Кретэна, 1460–1525)¹⁵: «Pareillement m'avertis si tous ceux / De ton quartier ont esté si tousseux, / Comme deça on va coqueluchant» [Borel 1655: 49].

Тут будет уместно обратиться к латыни. Латинское название болезни *коклюш* — *cucullus morbus*. В латинском языке, как хорошо известно, есть существительное *cucullus* ('головной убор'; ср. в: [Дворецкий 1976: 275] 'чепец, капюшон') и *cuculus* 'кукушка'; в [Дворецкий 1976: 275] сообщается также, что данное слово может, хотя и редко, писаться как *cucullus*. Таким образом, *cucullus morbus* могло с формальной точки зрения соотноситься с обоими омонимами, т. е. восприниматься как «капюшонная» или «кукушечная» болезнь.

По всей вероятности, во французской лексикографической традиции возобладало именно первое понимание. Однако требовалось объяснить, как возникло название «капюшонная болезнь», и именно в связи с этой задачей возникает миф о капюшоне как неперемennom атрибуте больного. Первые объяснения, в которых название болезни производится от названия головного убора, появляются в XVI в. Историк Этьенн Паскье (Etienne Pasquier, 1529–1615) полагал, что неизвестно, как возникло название болезни *coqueluche*. Обратившись к происхождению данного термина, он объяснял, что иногда слова возникают совершенно случайно, а затем получают хождение среди людей, хотя те и не отдают себе отчета в том, когда и почему это слово появилось («Il y a des mots qui naissent entre nous par hazard, et auxquels le peuple donne cours sans sçavoir pourquoi, ny comment») [Pasquier 1596: 332v]. В XVII в. появляется объяснение Филибера Моне (Philibert Monet,

¹⁵ Этот автор известен особым способом рифмовки, основанным на омонимии (так называемая «каламбурная» рифма — *rime équivoquée*).

1566–1643), утверждавшего, что больные показывались на людях исключительно в капюшонах («les premiers atteints de ce mal paroisoient couvers de coqueluche») [Monet 1636]. Жиль Менаж также связывал название болезни с тем, что больные, опасаясь переохладения, носили капюшоны [Ménage 1750: 413]. Впоследствии это объяснение начинает кочевать из словаря в словарь, и общим местом становится объяснение развития нового значения или как перенос ‘головной убор, который носит больной’ — ‘болезнь’, или же, в несколько иной интерпретации, ‘головной убор’ — ‘голова’ — ‘болезнь, имеющая основным симптомом головную боль’; ср. не содержащее критики изложение этих гипотез в [DHLF I]¹⁶.

Однако даже краткий обзор данных других языков показывает, что название болезни следует возводить не к *sucillus* ‘капюшон’, а к его омониму *suculus* ‘кукушка’. В древнегреческом языке представлено название птицы *κόκκη* (‘кукушка’), а также глагол *κοκκίζω* (‘издавать пронзительный звук’); ср. произведенное от него существительное *κοκκισμός* (‘пронзительный звук’), а также новогреческое название болезни *κοκκίτης*. Примечательно, что и глагол *κοκκίζω* и звук *κοκκισμός* имеют в качестве субъекта действия кукушку или петуха [Bailly 1895].¹⁷ Как следует из данных, представленных в этимологическом словаре [Meyer-Lübke 1935], лат. *suculus* переосмыслилось в романских языках как название либо для кукушки, либо для петуха¹⁸. Следует заметить также, что приступообразный кашель мог называться по-французски *chant du coq* [DHLF I: 890]. Упоминание сравнения кашля с криком петуха как источника для названия болезни представлено в современных этимологических словарях (см., например, в [Dubois, Mitterand, Dauzat 1993] или [Picoche 2002]), однако лишь как вторичное влияние, наложившееся на первичную этимологию, возводимую к значению ‘капюшон’. В [PR] компонент ‘крик петуха’ включен в толкование: ‘maladie contagieuse, caractérisée par un toux convulsive, évoquant le chant du coq’ (‘инфекционная болезнь, для которой характерен конвульсивный кашель, напоминающий крик петуха’). Более того, в этом словаре толкованию значения предпослан комментарий: ‘d’après coq à cause de la toux’ (‘от coq из-за кашля’). Однако ссылка на крик петуха никак не повлияла на общую трактовку этимологии слова и структуры его многозначности.

Название болезни *coqueluche* изначально являлось, по всей видимости, народным. Согласно исследованиям в области истории медицины, она была впервые

¹⁶ «On peut supposer que le nom de la maladie lui vient de ce qu’elle s’en prend directement à la tête et que des nombreux malades se couvraient d’un capuchon, ou bien la sentaient lourde et chaude comme s’il avaient porté un capuchon». Эта же семантическая связь упомянута в [Baumgartner, Ménard 1996; Dubois, Mitterand, Dauzat 1993]. В [Picoche 2002] этот переход признается «не доказанным».

¹⁷ Крик петуха воспринимался, видимо, наряду с гребешком (его формой и цветом) как яркая особенность этой птицы, вошедшей в «народную орнитологию». Само слово *coq* считается звукоподражательным (ср. также русск. *петух*, произведенное от глагола *петь*).

¹⁸ Следует отметить также, что болезнь, которую мы называем *коклюш*, может в других языках ассоциироваться с криком какого-л. животного; ср., например, англ. (*w*)*hooping-cough* (от франц. *hippe* ‘удод’), итал. *tosse canina* («собачий кашель»; ср. русск. *лающий кашель*), болг. *магарешка кашлица* («ослиный кашель»).

описана в 1578 г. после случившейся в Париже эпидемии коклюша врачом, деканом медицинского факультета Парижского университета Гийомом де Байю (Guillome de Baillou) под названием *tussis quinta*, *tussis quintana*¹⁹ [Coste 2011: 103, 105–109].

Вместе с тем в ранних лексикографических источниках содержатся сведения о другой эпидемической болезни, носившей, по всей видимости, такое же название. Эта болезнь, судя по свидетельствам, ярко проявила себя после вспышки коклюша начала XV в. и до эпидемии коклюша конца XVI в. Характерно, что в перечне симптомов этой болезни, упоминавшихся в лексикографических источниках, не значится кашель. Основными ее проявлениями признаются головные боли, сильный насморк, ломота в теле и понос, ср.: «maladie de teste avec rhume et destillation qui cause une maladie populaire et pestilente» [Furetier 1690], «espece de maladie populaire, qui est une espece de rhumatisme²⁰ qui attaque la teste et les espaules» [DAF 1694]. В хронике Энгерана Монстреле (Enguerrand de Monstrelet; около 1400–1453) сообщается об эпидемической болезни, унесшей жизни многих людей во Франции и других странах, проявлявшейся в сильнейших головных болях («et adonc régnoit par toutes les parties du royaume de France et en divers autres pays une maladie générale qui se tenoit en la tête, de la quelle moururent plusieurs personne, tant vieux que jeunes et se nommoit icelle la coqueluche») [Buchon 1836: 332]. Описания этой болезни, выполненные врачами XVI в., использовал в своем словаре Э. Литтре [Littré]. Так, например, знаменитый хирург Амбруаз Паре (Ambroise Paré, 1517–1590) сообщает, что известен случай эпидемии коклюша («accident de peste appelé coqueluche»), когда больные страдали от сильнейшей мигрени, болей в желудке, ломоты во всем теле и высокой температуры с бредом («ceux qui en estoient esprins sentoient une extreme douleur de teste, et à l'estomach aux reins et aux jambes, avec fièvre continue et souvent avec delire et frenesie»). В статье *peste* Литтре также цитирует Паре, который, объясняя смысл понятия «эпидемия», замечает, что эпидемические болезни носят разный характер, о чем свидетельствует множество названий таких болезней. В списке, составленном Паре, фигурирует и болезнь *coqueluche* («fièvre pestilente, saquesangue, coqueluche, sуетte, trousse-galant, bosse, charbon, pourpre et autres»). Этьенн Паскье, высказывание которого также приводит Литтре, утверждает, что в 1557 г. наблюдалась эпидемия, при которой больные страдали сильнейшим насморком, головными болями и температурой («le nez destilloit sans cesse comme une fontaine avec un grand mal de teste et une fièvre qui duroit aux un douze, aux autres quinze heures»). Интересно, что Паскье считает название *coqueluche* новым, возникшим именно в связи с этой эпидемией («la quelle maladie fut depuis par un nouveau terme appelé par nous coqueluche») [Pasquier 1596: 375].

Таким образом, можно предположить, что начиная с XV в. название *coqueluche* имело два разных употребления в медицинском словаре. В первом употреблении

¹⁹ Ср. также термин *fièvre quinte*, возникновение которого связывается с описанием коклюша, выполненным де Байю, согласно которому кашель возвращается каждые пять часов [DHLF III: 3046].

²⁰ В XVI и XVII вв. словом *rhumatisme* назывались такие проявления, как сильный насморк и ломота тела [DHLF III: 3245].

оно называло болезнь, для которой характерен приступообразный кашель (и, видимо, именно в связи с этим характерным симптомом в начале XV в. и возникло данное название). Во втором употреблении оно служило названием для некоего эпидемического заболевания, имевшего место в XV–XVI вв. Согласно [DAF 1694 I], впервые эпидемия под названием *coqueluche* была засвидетельствована при Людовике XII (1498–1515). Однако, судя по описанию Энгера Монстреле, похожее заболевание имело место во Франции и ранее, в начале XV в., когда, видимо, на него и было распространено название *coqueluche*. В качестве гипотезы можно предположить, что речь идет об остром инфекционном заболевании, получившем позже, уже во второй половине XVI в., название *sуетте* (*sueur anglaise*, *английский пот* или *английская чума*). Как считают исследователи, в XV–XVI вв. Англия, а также некоторые другие европейские страны пережили 6 эпидемий этой болезни, загадочным образом не перешагнувшей рубежа XVI в.²¹ Для нее характерны сильная головная боль, а также боли в шее, плечах и конечностях, желудочно-кишечные явления. В ходе дальнейшего развития заболевания появляются горячка, сильнейший пот, учащение пульса и бред [БМЭ 1935: 57–58]. Эта картина хорошо соотносится с описаниями, содержащимися в упоминавшихся уже текстах того времени. Возможно, базой для перенесения названия с одной болезни на другую послужил именно эпидемический характер обоих заболеваний²².

Таким образом, следует признать, что слово *coqueluche* впервые засвидетельствовано в начале XV в. именно как элемент народной медицинской номенклатуры. Оно является омонимом слова *coqueluche*, восходящего к лат. *cucullus* ('плащ с капюшоном', 'капюшон') и фиксирующегося в текстах чуть позже. Происхождение названия болезни следует связывать с метафорой кашля как сиплого звука, напоминающего петушинный крик, что вполне соотносится с существующей типологией «наивных» названий болезней, поскольку исследователям хорошо известны номинации, возникшие как перенос 'название животного' — 'название болезни', в основе которого лежит осмысление какого-либо свойства животного как симптома (ср., такие названия болезней, патологий и физиологических реакций, как русск. *волчанка*, *волчья пасть*, *заячья губа*, *жаба*, *куриная слепота*, *петушинная походка*, *рак*, *тюленья лапа*, *гусиная кожа*, *мурашки*; о типологии названий болезни см., например, в [Меркулова 1969; 1972; Агапкина, Усачева 1995; Пашкова 2008]).

Теперь следует вернуться к значению 'положительно оцениваемый человек'. Согласно [DHLF I], оно фиксируется с 1625 г.²³ Словарь [Trévoux II: 222] припи-

²¹ Считается, что впервые эта болезнь засвидетельствована в Англии в 1485 г., во времена Генриха VII. Следует заметить, что войско, с которым он высадился в Уэльсе, состояло из французских и бретонских наемников. Нельзя исключать, что первые случаи эпидемии имели место вне Англии в более ранние времена.

²² В восприятии носителей языка эпидемический характер заболевания, по всей видимости, осознается через большое количество смертей. Известно, что слово *peste*, появляющееся во французском языке во второй половине XV в., на протяжении долгого времени применялось ко всем случаям заболеваний с высоким уровнем смертности [DHLF III: 2685].

²³ См. также в: [Brunot III: 226].

сывает первое употребление слова *coqueluche* применительно к человеку Жану де Лабрюйеру (*Les Caractères*, V, 66: «vous étiez la coqueluche et l'entêtement de certaines femmes»²⁴), замечая, что оно является «очень своеобразным» («fort singulier»). В лексикографии впервые описано в качестве переносного в первом издании DAF (1694). В XVIII в. постепенно складываются ассоциации между данным значением, названием болезни и названием головного убора. Они возникают, по всей видимости, благодаря толкованиям, в которые втягивается выражение *être coiffé* (de qn.); ср., например, в четвертом издании DAF: «On dit figurément familièrement et par allusion à la coqueluche dont on se coiffait, qu'une personne est la coqueluche de la cour, de la ville, du quartier, pour dire, qu'elle est fort en vogue»²⁵ [DAF 1762, I] или же в словаре Жана-Франсуа Феро: «tout le monde en est coiffé: allusion à la coqueluche dont on se coiffait aûtrefois»²⁶ [Féraud I].

Полностью концепция, в которой все три значения ('капюшон', 'коклюш' и 'любимец кого-л.') соединены в единое семантическое пространство, представлена, например, в словаре Шарля Феррана [Ferrand 1880: 117–118]. Автор словаря повторяет вслед за своими предшественниками, что больные коклюшем, желая держать голову в тепле, носили капюшон. Однако, утверждает он, страх смерти не мог пересилить желания выглядеть привлекательно, поэтому богатые люди носили капюшоны из тонкой материи, с вышивкой, разукрашенные серебром и золотом («Et, comme la crainte de la mort elle-même n'est pas assez puissante pour bannir la coquetterie, les personnes riches portèrent des coqueluches de drap fin, rehaussées de broderies et couvertes d'ornements d'or ou d'argent»). Мода на капюшоны, продолжает Ферран, осталась и после того, как прошла эпидемия, поэтому не следует удивляться, что молодого щеголя, носившего при дворе, в городе или в квартале самый красивый капюшон, метонимически начали называть *la plus belle coqueluche*, откуда и пошел обычай называть просто *la coqueluche* самого популярного человека, всеобщего любимца («Le danger passé, la mode de la coqueluche resta <...>. Il ne faut donc pas s'étonner si, par métonymie, le jeune élégant qui portait la plus belle coqueluche de la cour, de la ville ou du quartier, fut appelé tout court *la plus belle coqueluche* <...>. Finalement, *coqueluche* de la cour, de la ville, du quartier, désigna l'homme à la mode, celui qui faisait tourner la tête aux femmes, et, par extension, la personne dont tout le monde s'entretenait»).

Однако в поисках этимологии *coqueluche* в значении 'положительно оцениваемый человек' следует, видимо, опять обратиться к слову *coq*. Хорошо известно, что это слово, встречающееся во французских памятниках письменности с XII в., вытеснило существительное *jal*, восходящее к латинскому *gallus*. С 1549 г. существительное *coq* встречается в текстах в составе выражения *coq de village* ('самый известный человек в какой-л. группе людей') [DHLF I]; ср. в словаре Нико: «Coq

²⁴ Ср. в русском переводе: «каков же ты был в юности, когда выступал в роли баловня и любимца женщин» [Лабрюйер 1964: 116].

²⁵ «Говорится переносно в разговоре, имея в виду капюшон, что надевали на голову, о том, что человек является любимцем двора, города, квартала, чтобы сказать, что он очень популярен».

²⁶ «Все им увлечены: намек на капюшон, который когда-то носили».

de village, ou de paroisse, Comarchus²⁷, quasi pagi magister, vel princeps» [Nicot 1606] и в первом издании DAF: «On appelle figurément, Coq, Celuy qui est le principal en quelque endroit, qui s'y fait le plus paroistre, soit par son credit, ou par ses richesses. Il est le coq. il fait le coq dans cette assemblée, parmi ces gens-là. il est le coq de son village. C'est un coq de Paroisses» [DAF 1694, I]²⁸. Таким образом, можно предположить, что метафора, основанная на переосмыслении свойств петуха применительно к человеку, возникает именно в первой половине XVI в., что выражается в использовании слова *coq* в данном значении, появлении клише *coq de village* и позднее слова *coqueluche*²⁹. Нельзя также не обратить внимания на тот факт, что в XVI в. суффикс *-uche*, по всей видимости, употреблялся достаточно активно; именно в этот период фиксируются в текстах такие образования, как *guenuche* ('некрасивая женщина' от *guenon* 'обезьяна'; см. [DHLF II]), *perruche* ('маленькая экзотическая птица'; см. [DHLF II]), *angluche* ('англичанин'; см. статью *-uche* в [TLF]), *dabuche* ('король' от *dab(e)*, возможно, изначально как термин карточной игры; см. [DHLF I]).

Итак, концепция многозначности слова *coqueluche*, согласно которой в этом существительном следует выделять три значения (устаревшее 'головной убор', а также 'коклюш' и 'положительно оцениваемый человек'), представленная в современных словарях французского языка, является результатом некритического отношения к лексикографической традиции³⁰. По всей видимости, мы имеем дело с тремя омонимами, два из которых *coqueluche(on)* 'головной убор' и *coqueluche* 'название инфекционной болезни' возникли в XV в., а третий *coqueluche* 'положительно оцениваемый человек' — в XVI в. Если первый омоним можно связывать с лат. *cucullus*³¹, то два последних, очевидно, имеют в качестве мотивирующего существительное *coq*.

Литература

Агапкина, Усачева 1995 — Т. А. Агапкина, В. В. Усачева. Болезнь человека // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. I. А–Г. М., 1995. С. 225–227.

²⁷ Следует отметить, что греч. *κοῦάω* 'иметь длинные волосы' могло значить 'выделяться среди других', 'гордиться' [Bailly 1895].

²⁸ Ср. также описание переносного значения слова *coq* в [Dictionnaire de la conversation 1835: 439], где также отмечается возможность употребления данного существительного применительно к человеку, выделяющемуся своим высоким положением или авторитетом в каком-либо сообществе (преимущественно в городе или приходе), например *coq du bourg*.

²⁹ В XVII в. развиваются особые употребления прилагательного *coquet(te)* (от *coquet* 'молодой петух', согласно [DHLF I], отмечается с 1611 г.) применительно к женщине и мужчине в значении 'такой, который хочет нравиться'.

³⁰ Эта традиция окончательно сложилась, видимо, в XIX в. В XVII–XVIII вв. авторы отдельных словарей выделяли *coqueluche* в значении 'головной убор' в отдельную словарную статью (например, так сделано в [DAF 1694, I]).

³¹ Ср., впрочем, существование названий головных уборов, в основе которых лежит сравнение с гребнем на голове птицы, например русск. *кокошник*, диал. *кокуй*.

Аникин 2000 — *А. Е. Аникин*. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М., 2000.

БМЭ 1935 — Большая медицинская энциклопедия / Под ред. Н. А. Семашко. Т. 32 (Струп — Туапсе). М., 1935.

Дворецкий 1976 — *И. Х. Дворецкий*. Латинско-русский словарь. М., 1976.

Лабрюйер 1964 — *Жан де Лабрюйер*. Характеры, или нравы нынешнего века / Перевод с французского Э. Линнецкой и Ю. Корнеева. М.–Л., 1964.

Меркулова 1969 — *В. А. Меркулова*. Народные названия болезней, I (На материале русского языка) // *Этимология*. 1967. М., 1969. С. 158–172.

Меркулова 1972 — *В. А. Меркулова*. Народные названия болезней, II (На материале русского языка) // *Этимология*. 1970. М., 1972. С. 143–206.

Пашкова 2008 — *Т. В. Пашкова*. Народные названия болезней в карельском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 2008.

Пичхадзе 1993 — *А. А. Пичхадзе*. Кукла и куколь // *Из истории русских слов*. М., 1993. С. 89–92.

Рабле 1981 — *Франсуа Рабле*. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с французского Н. Любимова. М., 1981.

СРЯ XI–XVII, 8 — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. Крада — Лящина. М., 1981.

Ювенал 1937 — *Ювенал*. Сатиры / Пер. Д. С. Недович, Ф. А. Петровский. М.–Л., 1937.

Baumgartner, Ménard 1996 — *E. Baumgartner, Ph. Ménard*. Dictionnaire étymologique et historique de la langue française. Paris, 1996.

Bailly 1895 — *M. A. Bailly*. Dictionnaire grec-français. Paris, 1895.

Borel 1655 — *Pierre Borel*. Tresor de recherches et antiquitez gauloises et françoises, reduites en ordre alphabetique. Et enrichies de beaucoup d'origines, epitaphes, et autres choses rares et curieuses, comme aussi de beaucoup de mots de la langue thyoise ou theuthfranque. A Paris 1655.

Brunot III — *F. Brunot*. Histoire de la langue française, des origines à 1900. III, 1–2. La formation de la langue classique (1600–1660). Paris, 1909–1911.

Buchon 1836 — *J. A. C. Buchon*. Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notices biographiques. Paris, 1836.

Coste 2011 — *J. Coste*. Guillaume de Baillou, Doctor Medicus Parisiensis // *Medicina & Storia*. XI. 2011. 21–22. Firenze. P. 95–111.

DAF 1694 — Dictionnaire de l'Académie Française. I–II. Paris, 1694.

DAF 1762 — Dictionnaire de l'Académie Française. Quatrième éd. I–II. Paris, 1762.

DFC — *J. Dubois, R. Lagane, A. Lerond*. Dictionnaire du français classique. Le XVIIe siècle. Paris, 1992.

DHLF — Dictionnaire historique de la langue française / Sous la direction de Alain Rey. I–III. Paris, 2000.

Dictionnaire de la conversation 1835 — Dictionnaire de la conversation et de la lecture / Sous la direction de William Duckett. T. XVIII. Courage — Cuvier. Paris, 1835.

Dictionary of Greek and Roman Antiquities 1890 — Dictionary of Greek and Roman Antiquities / Ed. William Smith, LLD. William Wayte. G. E. Marindin. London, 1890.

DMF — Dictionnaire du Moyen Français. ATILF — Nancy Université & CNRS. URL: <http://www.atilf.fr/dmf>

Dubois 1971 — *J. et C. Dubois*. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire. Paris, 1971.

Dubois, Mitterrand, Dauzat 1993 — *J. Dubois, H. Mitterrand, A. Dauzat*. Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris, 1993.

Estienne 1549 — *Robert Estienne*. Dictionnaire françois latin. Paris, 1549.

Ferrand 1880 — *Ch. Ferrand*. Dictionnaire des curieux: complément pittoresque et original des divers dictionnaires. Besançon, 1880.

Féraud I — *J.-F. Féraud*. Dictionnaire critique de la langue française. Tome premier, A–D. Paris, 1787.

Furetière 1690 — *Antoine Furetière*. Dictionnaire Universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. T. I. Paris, 1690.

Godefroy — *F.-E. Godefroy*. Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle et Compléments du dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle. T. I–X. Paris, 1880–1902.

Leroux 1786 — *P. J. Leroux*. Dictionnaire comique, satyrique, critique et burlesque, libre et proverbial. T. II. A Pampelune, 1786.

Littré — *E. Littré*. Dictionnaire de la langue française. URL: <http://www.littre.org>

Meyer-Lübke 1935 — *W. Meyer-Lübke*. Romanisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1935.

Ménage 1750 — Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les Origines françoises de M. de Caseneuve, les Additions du R. P. Jacob et de M. Simon de Valhébert, le Discours du R. P. Besnier sur la science des étymologies et le Vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain <...> le tout mis en ordre, corrigé et augmenté par A. F. Jault, <...> auquel on a ajouté le Dictionnaire des termes du vieux françois, ou Trésor des recherches et antiquités gauloises et françoises de Borel, augmenté des mots qui y étaient oubliés, extraits des dictionnaires de Monet et Nicot. T. I. Paris, 1750.

Monet 1636 — *Philibert Monet*. Inventaire des deus langues françoise et latine assorti des plus utiles curiositez de l'un et de l'autre idiome. Paris, 1636.

Nicot 1573 — Dictionnaire françois-latin auquel les mots François, avec les manieres d'user d'iceulx, sont tournez en Latin, par Jacques Dupuys, revu et augmenté par Jean Nicot. Paris, 1573.

Nicot 1606 — *Jean Nicot*. Thresor de la langue francoyse tant ancienne que moderne. Paris, 1606.

Pasquier 1596 — *Estienne Pasquier*. Les recherches de la France. Reveuës et augmentées de quatre Liures. Paris, 1596.

Picoche 2002 — *J. Picoche*. Dictionnaire étymologique du français. Paris, 2002.

Pokorny — *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Pokorny PIE Data (University of Texas). URL: <http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ielex/PokornyMaster-X.html>.

PR — Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Nouvelle édition. Paris, 2013.

Rabelais 1823 — Oeuvres de Rabelais, éd. variorum, augmentées de pièces inédites, des Songes drolatiques de Pantagruel <...> et d'un nouveau commentaire historique et philologique par Esmangart et Eloi Joanneau. T. 3. Paris, 1823.

Rabelais 1964 — *Rabelais*. Pantagruel. Publié sur le texte définitif établi et annoté par Pierre Michel. Paris, 1964.

TLF — Le Trésor de la langue française informatisé. URL: <http://atilf.fr/tlf.html>.

Trévoux II — *F. Delaulne, H. Foucault, M. Clousier*. Dictionnaire universel françois et latin: contenant la signification et la définition <...> des mots de l'une et de l'autre langue <...> la description de toutes les choses naturelles <...> l'explication de tout ce que renferment les sciences et les arts. T. II. Coma — Fyonie. Paris, 1721.

Elizaveta E. Babaeva

Lomonosov Moscow State University

(Moscow, Russia)

CONCERNING A CERTAIN LEXICOGRAPHIC MYTH: THE CASE OF *COQUELUCHE*

The present paper deals with the history of the French word *coqueluche*. The author criticizes the tradition of lexicographic description of the word in the French dictionaries of the 16th-21th cc. That tradition implies that the word *coqueluche* has two different meanings, between which no semantic connection can be established, 'coqueluche' (name of disease) and 'everybody's favorite, star'. The etymological information found in dictionaries do not imply the polysemy of that kind as well, because the initial meaning of the word is to be reconstructed as 'headdress'. The author proposes a new approach to explaining the phenomenon: instead of polysemy of the word *coqueluche* one should speak about the homonymy of three different words, appeared about one and the same time. Two of them, *coqueluche(on)* 'headdress' and *coqueluche* 'coqueluche', had arisen in the 15th c., while the third one had arisen in the 16th c. The former homonym can be associated with Latin *cuchullus*, while the latter two are evidently motivated by the noun 'coq' which has numerous connotations. The paper is based upon historico-semantic and etymological approaches. The great number of lexicographic facts as well as numerous documents on the history of medicine and the history of clothing were collected and used in the paper.

Keywords: lexicology, semantics, meaning of words, lexical history, Begriffsgeschichte, diachrony, etymology, lexicography, polysemy, homonyms.

Е. В. Рахилина

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» /
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)*

Л. О. Наний

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)*

О СИСТЕМНОСТИ В ЛЕКСИКЕ: «ПРЯМЫЕ» И «КРИВЫЕ» СЕМАНТИЧЕСКИЕ СДВИГИ*

Данная работа проводилась в рамках исследований по лексической типологии. Статья посвящена семантическим сдвигам в паре ‘прямой’ / ‘кривой’ на материале русских и китайских признаков слов: *прямой, извилистый, изогнутый, кривой* в русском и 直 zhí, 曲 qū, 弯 wān, 歪 wāi в китайском.

Были показаны три общих метафорических перехода в зоне ПРЯМОЙ, а также специфичные для русского и китайского т. н. имплицативные переходы, которые, однако повторяются на более широкой выборке языков.

Интересной особенностью поля кривизны является роль оценки. В этой зоне различаются оценочные (рус. *кривые руки / программы*, кит. 歪理 wāi lǐ ‘дурацкая (букв. кривая) логика’) и безоценочные (рус. *извилистый путь / разговор*, кит. 弯路 wānlù ‘извилистый (букв. изогнутый) путь’) метафоры.

Некоторые переходы повторяются не только в несвязанных друг с другом языках, но и в истории одного и того же языка. По-видимому, таков переход ‘форма’ → ‘функция’ в истории русского языка для прилагательного *кривой*.

Ключевые слова: лексическая типология, русский язык, китайский язык, семантический сдвиг, ‘прямой’ и ‘кривой’.

Введение

Как историк языка Виктор Маркович Живов много занимался историей понятий, связанной с трансформацией одних смыслов в другие. Причины таких семантических переходов могут быть самыми разными, в том числе и социолингвистическими:

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14–06–00343А «Научно-информационный портал по признаковой лексике: физические свойства в языках мира». Русский иллюстративный материал в статье, если не оговорено особо, приводится по Национальному корпусу русского языка.

культурный контекст, влияние одного языка на другой в период тесных контактов и прочие исторические и культурологические факторы, бесспорно, играют здесь немалую роль. Но он был лингвист, и его не могла не интересовать задача построения пусть условной, но «парадигмы возможностей», которая в языках реализуется¹. Если представить себе, что такая матрица существует и что действительно язык выбирает путь своего развития в данной «точке роста» из некоторого ограниченного числа возможностей, то в ней исторические исследования должны пересечься с типологическими: разные языки и один и тот же язык на разных этапах своего развития черпают из одного источника. Объединение усилий историков русского языка и синхронистов могло бы дать эффект погружения в такой теоретический дискурс (может быть, его бы пришлось для этого специально придумать?), который стал бы интересным для теоретиков и типологов, с одной стороны, и историков языка — с другой. Пока они по большей части существуют отдельно друг от друга, но сближение тем, задач, методов и инструментов необходимо.

Этот сюжет мы и обсуждали с Виктором Марковичем — прежде всего на материале типологии глаголов боли (проект, который в свое время разрабатывал наш семинар по лексической типологии), но и другие наши проблемы его тоже интересовали — в частности, семантические переходы признаков слов. Он присылал на наши занятия своих учеников (так мы познакомились и подружились с Франческой Биаджини), а вот совместных семинаров, как думали, так и не удалось устроить.

О маленьком фрагменте нашей типологической работы мы хотели бы рассказать в этом сборнике — в память об этих разговорах.

1. О задаче работы и методах ее решения

Объектом описания в этой статье будут семантические сдвиги в паре ‘прямой’/ ‘кривой’ на материале русских и китайских признаков слов — в русском это *прямой, извилистый, изогнутый, кривой*, в китайском — 直 *zhí*, 曲 *qū*, 弯 *wān*, 歪 *wāi*. Наша задача — исследовать метафорические переходы от источника (в терминологии классической теории метафоры — SOURCE, см. прежде всего [Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1993] и многие другие), т. е. прямых, пространственных значений зоны ПРЯМОГО, к так называемым «мишеням» (в английской терминологии — GOAL или TARGET), представляющим результирующие значения интересующих нас сдвигов. Сопоставительные исследования такого рода нужны, чтобы ответить на вопрос, насколько специфичны отношения между источником и мишенью для данного языка, какой компонент значения в них устойчив, а какой — подвержен изменению. Это — путь к поиску типологии в лексике, который в сегодняшней лингвистике только начинается (см. подробнее обзоры [Рахилина, Плунгян 2007; Кортъевская-Тамм 2008; Рахилина, Резникова 2013]).

¹ Ср. пилотный проект Базы данных по семантическим переходам, который создавался несколько лет под руководством А. А. Зализняк (см. [Зализняк 2001; 2006] и др.).

Действительно, классические работы по лексической семантике вначале, в 1960–1980-е годы, по понятным причинам уходили глубоко в исследование одного конкретного языка (в частности, русского — благодаря хорошо известной деятельности Московской семантической школы). В сопоставительных же работах принято акцентировать культурно обусловленные *различия* между языками. Многие проекты развивались на основе моноязычных исследований лексики — они акцентировали специфику передачи концептов в системе конкретного языка. Ср. в этом ряду прежде всего работы А. Вежицкой и К. Годдарда [Вежицкая 2001; Goddard 2006; 2008], а также, например, [Voroditsky 2001; Levinson 2003] и некоторые другие. Благодаря последнему (в сущности, неогумбольдтианскому, или неорорфианскому) подходу мы уже узнали многое об *особенностях* языковых систем в отношении семантической информации, в частности об особенных концептах, свойственных только русской языковой картине мира, таких как ‘удаль’ или ‘широта’ (см. [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]).

Между тем есть и другая типологическая задача: она состоит в том, чтобы все-таки, при всех различиях и особенностях языков, увидеть в их семантических системах то общее, что обеспечивает их единство, и понять, существуют ли в них семантические *универсалии* и какого рода (см. на славянском материале [Толстая 2008; Толстой 1995], в особенности [Толстой 1963; 1966]). Заметим, что неогумбольдтианство отталкивается от тех теоретических построений, которые навязывали языкам *полное* когнитивное *тождество*. Прежде всего это относится, конечно, к структурализму: как инструмент описания семантики компонентный анализ не мог отразить почти никаких известных сегодня параметров лексико-семантических различий языковых систем. В такой теории языки, лексика которых механически «собиралась» из одних и тех же семантических компонентов, оказывались в гораздо большей степени похожи, чем на самом деле. Теперь положение иное: открыто столько различий, что перестало быть заметно общее. Однако адекватное описание различий возможно лишь на фоне некоторого набора универсалий — только тогда можно говорить, в какой степени то или иное явление и в самом деле лингвоспецифично, да и сами ожидания специфичности тоже должны укладываться в определенную систему.

Вдобавок компонентный анализ совершенно не был приспособлен для описания динамических языковых процессов, таких, например, как семантические переходы. Но и классическая теория метафоры не объясняла, могут ли различаться такие переходы в языках мира и за счет чего, — скорее доминировала идея об их несовместимости (ср. [Dobrovolskij, Piirainen 2005]). Однако верна ли она? Наш материал по типологии глаголов боли [Брицын и др. 2009], плавания [Майсақ, Рахилина 2007], вращения [Круглякова 2010], по признаковым словам [Кюсева, Рыжова, Холкина 2012; Кашкин 2013; Холкина 2014] и др. свидетельствует, что различия в стратегиях метафоризации возникают на фоне устойчивых корреляций между определенными семантическими полями. Так, глаголы горения и деформации являются стандартными и практически универсальными источниками для образования предикатов боли (ср. русск. *глаза жжет, в боку колет* и др.). Глаголы

пассивного плавания на поверхности, сопряженного с качанием предмета на воде, развивают значение нестабильности (ср. англ. *floating currency*). Прилагательные с семантикой ‘острый’ часто метафоризируются как описывающие раздражающий (острый) вкус. Однако для того, чтобы установить такого рода универсалии или фреквенталии, нужно обследование широкого языкового материала и постепенное его обобщение.

С этой точки зрения мы обсуждаем здесь (на примере китайского и русского лексического материала) переходы в зоне ‘*прямой*’/‘*кривой*’, опираясь на описание прямых и переносных значений соответствующих прилагательных в этих языках, представленное в [Наний 2012].

2. ‘Прямой’: исходное значение

Поле ‘прямой’ бедно в русском: оно представлено только прилагательным *прямой*, которое, согласно толкованию МАС [МАС III: 551–552], означает ‘ровно вытянутый в каком-л. направлении, без изгибов’. Для того чтобы китайский был сопоставим с русской системой, мы оставили здесь для сравнения только однослог 直 *zhí*², который в Большом китайско-русском словаре толкуется как ‘прямой, прямолинейный (без изгибов); прямо, напрямик’ [Ошанин 1983, 2: 304], а в Словаре современного китайского языка — как ‘образующий прямую линию, антоним ‘кривой; извилистый’ [ССКЯ: 1748].

Как видим, обе лексемы имеют в виду *форму объекта*, апеллируя фактически к ее противоположному состоянию, которое описывается как ‘кривое’. Представления человека о прямой и непрямой форме настолько базовые, что их трудно определить иначе, чем друг через друга. И русские, и китайские словари пытаются, каждый по-своему, выйти из этого порочного круга, но безуспешно. Ср. в МАС:

‘прямой’ — ‘без изгибов’;

‘кривой’ — ‘не прямой, изогнутый’ [МАС II: 129], ср. также толкование в [Бабаева 2010].

² Действительно, сопоставление «один к одному» (*zhí* VS. *прямой*) кажется довольно естественным. Нельзя забывать, однако, что в китайском развита система корнесложения и наряду с *zhí* в зоне ПРЯМОГО сосуществует еще не менее десятка двуслогов, причем некоторые по своему значению практически тождественны основным употреблениям *zhí*. Подробно их семантическое распределение описано в [Наний 2016]. Из этого описания видно, что, с одной стороны, двуслоги не порождают никаких парадоксальных значений, неожиданных с точки зрения лексической типологии ПРЯМОГО, так что в некотором смысле их, что называется, «можно не считать». Семантически они значительно уже *zhí* (и это типично для двуслогов); многие используются только в метафорическом значении. С другой стороны, если расширить область сопоставления и включать в нее китайские двуслоги, тогда, по-видимому, потребуется учитывать русское словообразование, существенно расширяя само исследование, и включать в рассмотрение русские сложные слова с корнем *прям-*, такие как *прямодушный* или *прямолинейный*.

3. Общие направления развития значений для русского и китайского ‘прямой’

Если исходным значением можно и в том, и в другом языке считать определенную форму предмета, то инвариантом производных значений, причем, как нам кажется, в обоих языках, была бы идея непосредственной связи (см. рис. 1):

Это решение нетривиально вот в каком отношении: признак формы прототипически характеризует *единичный* объект, тогда как (непосредственная) связь всегда устанавливается между какими-то *двумя* сущностями. В таком случае метафорическое отображение (mapping) оказывается не таким прозрачным, как должно быть при простом отображении исходной структуры в структуру-мишень. Заметим, однако, что прямая форма подразумевает, что описывается вытянутый объект (т. е. такой, у которого длина/высота больше ширины и толщины), причем пространственно ограниченный.

Последнее означает, что имплицитно в ПРЯМОМ все-таки есть идея двух ближайших крайних пространственных точек одного объекта — они и переинтерпретируются метафорически, приобретая новую концептуализацию. При переинтерпретации, которая происходит во время перехода из поля-источника ФОРМА в поле-мишень, в центр внимания попадает пространственный или виртуальный *путь* между некоторыми двумя объектами, такой, что на этом пути нет никакого третьего, промежуточного объекта — тем самым связь между ними оказывается непосредственной.

Как показывает наш материал, в обоих языках примеры переходов такого рода распадаются на три группы и, соответственно, представляют три когнитивно значимые зоны-мишени, как это видно на рис. 2:

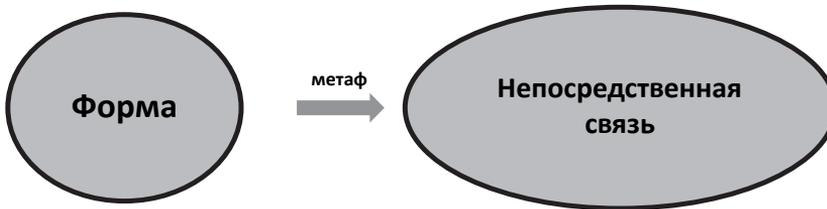


Рис. 1. ‘Форма’ → ‘Непосредственная связь’

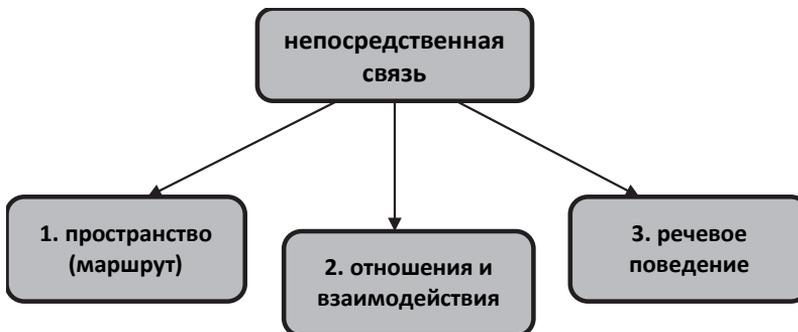


Рис. 2

В следующих разделах этой статьи (3.1–3.3) мы коротко, не входя в детали, охарактеризуем каждую из реализаций предложенного нами инварианта данной метафоры — с акцентом на сопоставлении китайского *zhí* с русским *прямой*.

3.1. ‘Форма’ → ‘Непосредственная связь двух независимых точек пространства (маршрут)’

В этом случае метафоризация состоит в том, что пространственные точки уже не принадлежат одному предмету — они независимы и существенно удалены друг от друга, их связывает только путь (= расстояние между ними), который преодолевает движущийся субъект (ТРАЈЕКТОР в терминологии [Langacker 1987]). Ср. соответствующие примеры из русского и их китайские аналоги:

- (1) *прямой маршрут* <из Пекина в Москву>; *прямой поезд*, *ехать прямо* в Лондон <из Парижа>
- (2) 广州 — 巴黎 直航 今天 开通
Guǎngzhōu — Bālí zhí háng jīntiān kāitōng
Гуанчжоу — Париж *прямой*.рейс сегодня открыть.проходить
Сегодня открывается прямой рейс Гуанчжоу — Париж.

Еще раз обратим внимание на то, что в толковании этой ситуации-мишени присутствуют две переменные как две точки пути: начальная и конечная. Одноместные конструкции возникают либо за счет поверхностного опущения соответствующих аргументов, либо за счет метонимического переноса: *прямой поезд* как ‘поезд, следующий прямым маршрутом’.

3.2. ‘Форма’ → ‘Отношения и взаимодействия’

В этом случае поле-мишень уже не пространственно: оно описывает отношение или взаимодействие двух субъектов (*зависимость, подчинение*)³. Однако в нем также нет промежуточного этапа, а именно промежуточного, третьего действующего лица, которое также было бы участником описываемой ситуации, ср. следующие примеры из русского и китайского:

³ Часто метонимически так описываются и сами субъекты этих отношений, ср. русск. *прямой потомок / наследник / преемник / начальник*. Интересно, что в китайском в таких случаях используются только двуслоги поля прямизны или специальные словосочетания, но не однослог 直zhí, ср.:

直系	继承人	
zhíxì	jìchéng rén	
прямой.узы	наследник	
<i>прямой наследник</i>		
直接		上司
zhíjiē		shàngsī
прямой.соединять (= непосредственный)		начальник
<i>прямой начальник</i>		

(3) **прямое подчинение, прямо связано / зависит**

(4) 直 辖 区
zhí xiá qū
прямой управлять район
район **прямого подчинения**

直 选
zhí xuǎn
прямой выбирать
прямые выборы

3.3. 'Форма' → 'Речевое поведение'

Ту же связь мы видим в третьей группе употреблений, которая также достаточно прозрачным образом реализует наш инвариант, причем тоже в обоих языках. Теперь он проявляется в речевом поведении людей: *говорить прямо* значит говорить непосредственно то, что думаешь. Здесь тоже есть две точки: начальная и конечная, а также своего рода путь, который их соединяет. В качестве начальной точки выступает мысль — ее говорящий пытается вербализовать в рамках данного речевого акта, а в качестве конечной — семантика того, что он в результате говорит. Признаковое слово со значением 'прямой' указывает на отсутствие каких-либо дополнительных, промежуточных установок или мыслей, способных усложнить этот путь⁴, ср.:

(5) **прямой ответ; говорить прямо**

(6) 我 直 言 你 别 生气!
wǒ zhí yán nǐ bié shēngqì
я **прямо** говорить ты NEG сердиться
*Я скажу **прямо**, ты не сердись!*

Метонимически интерпретируются сочетания признака 'прямой' с обобщающим именем лица ('человек/люди') или главным свойством человека ('характер/натура'), ср. *прямой характер* (= характер прямого/прямолинейного человека = такого, который говорит непосредственно то, что думает). В китайском в атрибутивной

⁴ Ср. также фразеологическое сочетание *прямая речь*, где в качестве начальной точки выступает не мысль говорящего, а сказанное или написанное кем-то другим, но переданное буквально, не своими словами и без дополнений. В китайском языке этот смысл выражается двусловием 直接 zhíjiē 'непосредственный' (букв. 'прямой' + 'соединять'):

直接 引语
zhíjiē yǐnyǔ
непосредственный цитата
лингв. *прямая речь*

позиции однослог 直zhí описывает в основном речь или характер, но в предикативной позиции может описывать и человека:

(7) 直 性子
zhí xìngzi
прямой характер
прямой характер

(8) 这个人 很直
zhège Rén hěnzhi
этот.CLF человек очень.прямой
этот человек прямой

Сочетания типа *прямой человек/характер* описывают некоторое поведение: непосредственность, откровенность и искренность, иногда доходящую до грубости.

Замечательно, что в обоих языках явно выделяются именно эти три — очевидным образом очень значимые для человека — абстрактные ситуации, которые объединяются в одной лексеме с исходным значением формы:

- 1) маршрут,
- 2) связь или отношение между людьми и
- 3) отношение между мыслью и способом ее вербализации.

Будучи мишенью метафоры, все эти фреймы обнаруживают явное структурное сходство с исходной идеей прямой формы, так что отображение SOURCE в GOAL здесь происходит как простое отображение (mapping), без каких-либо проблем, связанных с несопоставимостью исходного и результирующего полей. Можно предположить, что такого рода «когнитивно прозрачные» переходы легко воспроизводятся в разных языках, другими словами, мы ожидаем, что они типологически релевантны. В подтверждение наших ожиданий результаты такого перехода обнаруживаются в обоих языках — и в русском, и в китайском⁵.

4. О лингвоспецифичных направлениях развития ‘прямой’

4.1. Нестандартные семантические переходы

Известно, что семантические сдвиги могут быть сложнее простого отображения — например, за счет того, что значение мишени естественным образом усложняется благодаря так называемому имплицативному компоненту. Имплицативным принято называть такой дополнительный компонент значения, который обозначает некоторую второстепенную ситуацию, при определенных обстоятельствах естественно следующую из основной. Иногда такой компонент «склеивается»

⁵ Кроме того, по нашим данным, по крайней мере англ. *direct* и фин. *suora* употребляются во всех трех значениях, англ. *straight* и лит. *tiesus* имеют значения ‘ближний путь’ и ‘прямота в речи и характере’, тур. *düz* объединяет значения ‘непосредственность’ и ‘прямота в речи и характере’.

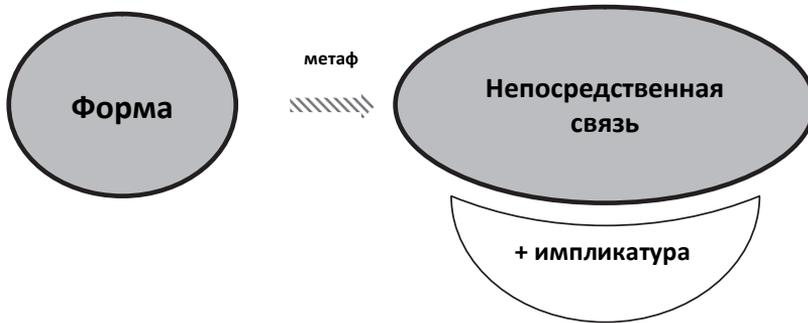


Рис. 3

с основным значением при семантическом переходе, существенно усложняя его семантически (ср. рис. 3).

Однако часто именно виду такого усложнения может осуществляться совмещение совершенно непохожих друг на друга полей, в том числе и принадлежащих разным акциональным классам, а также имеющих разный качественный и количественный набор ролей и под. Ср. известные случаи перехода процесса в состояние, такие как *резать хлеб* → *резать в боку* (о боли), *плавать* (в пруду) → *плавать на экзамене* (ср. [Кустова 1998; Падучева 2004; Рахилина 2010]), или в деятельность: *крутиться* (о колесе) → *крутиться под ногами* [Рахилина, Прокофьева 2004] и др. В свое время мы отмечали связь лексических имплицативных переходов с давно и подробно описанным процессом грамматикализации (см. [Рахилина 2010: 450 и след.]). В частности, признаковые лексемы при имплицативном переходе (в [Рахилина 2010] мы назвали его *ребрендингом*) попадают в зону грамматических и квазиграмматических значений, ср. переходы из признаковой зоны в зону интенсивности (*острый нож* → *острые ощущения*), оценки (*фантастический фильм* → *фантастический успех*), одновременности (*дружный класс* → *дружное негодование*) и др. под.

Сейчас в связи с типологией семантических переходов признаков формы этот тип переходов интересует нас с другой точки зрения. Дело в том, что сами по себе следствия, которые оказываются встроены в семантику при таких переходах, конечно, не случайны, они предсказуемы. Но они необязательны и нетривиальны — и поэтому в принципе они не должны непременно воспроизводиться в языках. Остается вопрос: в какой степени они, тем не менее, повторяются, например, в зоне ‘прямого’, в нашем случае на материале таких разных языков, как русский и китайский. В следующих подразделах (4.2–4.4) мы рассмотрим три перехода: первый реализован в китайском, но не в русском, второй — только в русском, третий релевантен для обоих языков.

4.2. ‘Непрерывно, все время’

Этот переход — из пространственного значения формы во временное, которое в контекстах, подобных представленному в примере (9), можно было бы перевести словом *напролет*, свойствен китайскому языку:

- (9) 雨 没有 停过, 直 下了 一 夜
 yǔ méiyǒu tíng guò zhí xià le yī yè
 дождь NEG остановиться.EXP прямо спускаться.PERF один ночь
Дождь не останавливался, лил всю ночь напролет.

С семантической точки зрения он, безусловно, необычен, хотя вид имеет самый заурядный: время, будучи категорией абстрактной и ненаблюдаемой, метафоризируясь, концептуализуется через зрительно воспринимаемое пространство, уподобляясь ему. Другими словами, TIME IS, как известно, SPACE. Однако универсальность этой формулы совсем не так ясна [Haspelmath 1997: 140].

Обычно ее применяют, подразумевая два сорта довольно простых, сверхчастотных и действительно, наверное, универсальных переходов.

Первый касается событий как статических точек на воображаемой оси. Ясно, что поскольку сама ось — объект пространственный, то события-точки будут мишенями пространственных метафор и результатами очень естественных и прозрачных метафорических переходов, ср.: *перед обедом* как *перед шкафом*, *через два часа* как *через гору*, *дотянул до сессии* как *дотянул <веревку> до забора*.

Переходы второго типа связаны с преодолением пространств. Чем больше пространство, тем больше человеку нужно времени, чтобы его преодолеть (и наоборот). В таких случаях действительно языковые средства измерения пространства как категории физического, непосредственно воспринимаемого человеком мира заимствуются временными маркерами, но не за счет эффекта сходства, а за счет смежности этих ситуаций, т. е. метонимии, а не метафоры. Так ведут себя, в частности, *большой/маленький*, *длинный (долгий) / короткий*, *редкий/частый* и другие общие для пространства и времени признаки. Одновременно в языках есть и собственно временные признаки, которые не смежны пространственным ситуациям и поэтому никогда не заимствуются из пространственной сферы. К таким относится ‘старый’ или ‘быстрый/медленный’: у них совсем другие семантические источники — прежде всего, быстрые и медленные ситуации (подробнее см. [Rakhilina, Plungian 2013]).

На этом фоне переход из формы в непрерывность интервала кажется семантически непрозрачным: в отличие от стандартных переходов, в нем есть импликатура. Ее можно было бы описать так:

Если связь между началом и концом интервала непосредственная, то внутри этого интервала нет перерывов, этот промежуток времени целиком заполнен.

За счет этой импликации у китайского 直 zhí возникает значение ‘непрерывно, все время’⁶. Заметим, что соответственно меняется аргументная структура: нет конечных точек, как в пространственном переносе формы на маршрут (3.1), акцентируется постоянство состояния или процесса во времени.

⁶ Кстати, у англ. *straight* тоже есть такое значение, ср. *I have been listening to ‘Shepherd Moons’ for three days straight* «Я слушал ‘Shepherd Moons’ три дня напролет» (British National Corpus).

Итак, данное значение получается благодаря имплицатуре:

(SOURCE: 'прямая форма' →)

IMPL: 'непосредственная связь <временных точек>' →

GOAL: 'отсутствие разрывов в задаваемом ими временном интервале'.

Сдвиг нетривиальный, в русском языке такой имплицатуры нет: *прямо три дня* не значит 'напролет' и нельзя сказать: *дождь прямо лил* в значении 'не переставая'.

4.3. 'Прямой' как немедленный и безусловный

Между тем у русского *прямо* развивается свое нетривиальное значение, ср.:

(10) *позвоните прямо сейчас / Прямо в эту минуту Госдума обсуждает законопроект Дмитрия Гудкова...*

Примеры типа (10) апеллируют к другому рода имплицатуре, касающейся непосредственной связи между событиями:

Связь между событиями как точками на временной оси тем непосредственнее и сильнее, чем ближе они друг к другу на этой оси.

(SOURCE: 'прямая форма' →)

IMPL: 'непосредственная связь <временных точек>' →

GOAL: 'минимальный временной интервал между событиями'.

Точкой отсчета может стать момент речи — тогда значение дейктично и в идеале совпадает с моментом речи (*прямо сейчас*), но отсчет может вестись и от уже введенного в дискурс события (анафора — *прямо через минуту*). Заметим, что это значение ярко демонстрирует смежность пространства и времени как сопряженных характеристик одной и той же ситуации, а следовательно, их тесную метонимическую связь, о которой мы говорили раньше. А именно: если событие настолько приближено к точке референции, то у его участников нет времени, чтобы существенно изменить его пространственную локализацию, т. е. если оно происходит сейчас, значит, и здесь. Отсюда употребления типа (11), в которых в сферу действия *прямо* попадают не временные, а пространственные (локативные) параметры ситуации:

(11) *прямо здесь / прямо в столовой / прямо туда / прямо оттуда*

При этом ситуация смежности, как и должно быть в случае метонимии (в отличие от метафоры), не позволяет нам однозначно выявить направление семантической связи: от пространства к времени (как положено по всем канонам, заданным еще локалистами⁷) или, что кажется даже более логичным в данном случае, от времени к пространству. Для метонимического отношения главным является сама связь между этими параметрами⁸.

⁷ Подробное обсуждение локалистской гипотезы о том, что все абстрактные значения восходят исключительно к пространственным, дается в [Плунгян, Рахилина 2000].

⁸ Заметим, что метонимическое попадание не-временных и не-пространственных участников ситуации в сферу действия *прямо* в таких контекстах малоестественно, ср.: *?прямо поэтому*,

Как видим, описанный переход тоже непрозрачен, в нем важна имплицативная составляющая, которая, хотя и вполне естественна и предсказуема с семантической точки зрения, существенно перестраивает исходный смысл и сочетаемость *прямо* и делает производные контексты слишком специфическими⁹.

4.4. Дискурсивное ‘прямо’

Тем не менее ни имплицативная природа результирующего значения, ни возникающая из-за нее лингвоспецифичность не означают абсолютной уникальности мишеней соответствующих семантических переходов.

Хорошим примером тут служат дискурсивные слова: обретение словом дискурсивного значения (которое можно рассматривать как частный случай (квази)грамматикализации) всегда возникает при активном участии имплицативного компонента: именно он способствует вытеснению исходного значения, которое практически выветривается в процессе дискурсивного сдвига. В области дискурсивных слов повторяющиеся в языках имплицатуры встречаются достаточно регулярно. В частности, как свидетельствует работа [Лучина 2014], специально посвященная типологии дискурсивных значений признака ПРЯМОЙ, в языках воспроизводится такой его дискурсивный семантический дериват, который в русском языке свободно употреблялся бы в контекстах с дискурсивным *просто*, заменяя его как близкий квазисиноним (подробнее см. [Бабаева 2006] и др.), ср.

(12) *прямо* герой / *просто* герой

Непосредственного аналога (в контексте этой статьи следует, конечно, сказать «*прямого* аналога») — в значении, описанном в разделе 3.2) в китайском для такого ‘прямо’ нет: однослог *zhí* его не развивает. Однако на базе однослога *zhí* и другого однослога *jiǎn* со значением ‘просто’ в китайском функционирует двуслог *jiǎnzhí*, который имеет очень похожий круг дискурсивных употреблений, ср. (13)–(14):

(13) 我 简直 不 知道 怎么 办
 wǒ jiǎnzhí bù zhīdào zěnmē bàn
 я **просто.прямо** NEG знать как делать
Я прямо/просто не знаю, что делать.

⁹прямо для этого, ^{??}назначил прямо Петю, *прямо я и проч. В подобных случаях используется квазисиноним *как раз*.

⁹ В китайском языке у однослога 直 *zhí* (и у производных от него двуслогов) нет значения одновременности (*直现在 *zhí xiànzài* / 直接现在 *zhíjiē xiànzài* *‘прямо сейчас’), хотя он может употребляться во временном значении ‘вплоть (до)’: 直到18世纪末 *zhí dào 18 shìjì mò* ‘вплоть до конца 18 века’. Только производные от 直 *zhí* двуслоги свободно употребляются в локативных контекстах (他径直走到了那把圈椅旁 *tā jìngzhí zǒudào nà bǎ quānyǐ páng* ‘он подошел прямо (букв. ‘тропа’ + ‘прямой’) к тому креслу’, 他还派人直接到乡村了解情况 *tā hái pài rén zhíjiē dào xiāngcūn liǎojiē qíngkuàng* ‘Он также послал людей непосредственно (букв. ‘прямой’ + ‘соединять’) в деревню, чтобы разобраться в ситуации’).

- (14) 这 简直 是 活 受罪!
zhè jiǎnzhí shì huó shòuzuì
это просто.прямо быть живой страдать
Это *прямо/просто* наказание!

Ясно, что типологическая релевантность «прозрачных» переходов, построенных на основе простого отображения, выше, чем имплицативных, — но это слишком общее утверждение, нужны масштабные исследования и тех и других, причем как синхронные, так и исторические. Теперь мы рассмотрим с этой точки зрения поле ‘кривой’.

5. О семантике ‘прямого’ и ‘кривого’

5.1. Антонимы?

Мы уже говорили о близости/базовости этих значений формы — она объясняет трудности, с которыми сталкиваются лексикографы при их описании: по сути дела, ‘прямой’ — это не ‘кривой’, а ‘кривой’ — не ‘прямой’: ‘прямой’ — значит, ‘без изгибов’, а ‘кривой’ — ‘изогнутый’. Таким образом, эти антонимичные друг другу зоны кажутся совершенно тождественными по своей структуре, зеркально отображенными друг в друга. Однако в принципе антонимичные поля так же трудно сопоставимы, как и поля синонимов, и причина здесь даже более очевидна: круг объектов, к которым применим отрицательный признак, всегда другой, чем тот, для которого естественно его положительное значение.

Иллюстрацией может быть и пара ‘прямой’ — ‘кривой’, причем, как кажется, наше исследование переносных значений ПРЯМОЙ помогает это увидеть яснее. Действительно, в описанных только что семантических переходах исходное значение формы (SOURCE) выступает не как абстрактная категория, а как форма наблюдаемых конечных объектов — вытянутых и имеющих две крайние точки (или два множества крайних точек). Прямой форма будет тогда, когда для ее описания окажется достаточно этих двух точек и расстояния между ними, преодолеваемого взглядом наблюдателя, без промежуточных ориентиров. Оно минимально и практически соответствует математическим представлениям о прямой, проходящей через две точки.

‘Кривой’ описывает отклонение не от прямой, а от *исходной* формы [Рахилина 2000: 162–167] и, следовательно, строго говоря, является отрицанием ‘прямого’ не всегда, а только в тех случаях, когда исходной действительно оказывается прямая форма, ср.: *кривые колонны, столбы, гвозди* и под. Чаще всего это артефакты, тогда как природные объекты имеют свою непрямую исходную форму, ср. русск. *кривой рот* (как отклонение от исходной формы), но **прямой рот*. Природные пространственные объекты, такие как русло реки, тропинка, берег (= береговая линия) и под., как правило, вообще не имеют канонической формы, а значит, не имеют и отклонений от нее — их форма описывается иначе, причем способ лексикализации различается в зависимости от того, один у них изгиб (ср. *изогнутый*) или много (ср. *извилистый*).

5.2. О роли оценки в зоне ‘непрямого’

Здесь существенно замечание С. М. Толстой [Толстая 2008: 275] о том, что «ни один словарь не обращает внимания на очевидно присущий семантике слова *кривой* (причем уже в его первичном, “физическом” значении) оценочно-нормативный компонент». Действительно, словарь [Ожегов, Шведова 2006] в качестве толкования основного значения *кривой* дает ‘не прямой, изогнутый’. Как видим, толкование не содержит оценочного компонента, как если бы в русском *кривом* его не было. В то же время в качестве иллюстративных примеров словарь приводит явно оценочные сочетания — *Кривая линия. Кривое зеркало* (дающее искаженное изображение). Любопытно, что почти такое же семантически нейтральное толкование дает и МАС: ‘не прямолинейный, изогнутый’. Между тем нейтральное толкование с некоторыми оговорками может быть применимо разве что к первому, почти терминологическому примеру этой словарной статьи — *Кривая сабля*. Остальные же явно оценочны, ср.: *Это был человек еще не старый, росту невысокого, — с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Достоевский, Записки из мертвого дома. Он вынул из кармана огурец, маленький, кривой, как полумесяц. Чехов, Новая дача. || Покосившийся, перекошенный. Ворота все кривы, и крыльцо шатается. И. Гончаров, Обломов.*

Это не случайно: русский язык (как и многие — если не все — другие) лексически различает оценочное и безоценочное описание объекта в семантической зоне ФОРМА. Легко видеть, что прилагательное *кривой*, имеющее значение *отклонения* от нормы, маркирует первое и невозможно при втором. Тогда выбираются прилагательные *изогнутый* и *извилистый*, у которых нет ни пресуппозиций относительно канонической формы объекта, ни ярко выраженного функционального компонента значения. Поэтому в дальнейшем мы будем различать эти два типа контекстов и отдельно рассматривать типологически релевантные направления развития соответствующих значений.

6. Русская и китайская системы

6.1. Исходные значения

В китайском языке структура этого поля очень похожа на русскую: противопоставлены исходно оценочное 歪 wāi ‘кривой, перекошенный’ и безоценочные слова, характеризующие прежде всего **вытянутые природные объекты** (и некоторые артефакты) **непрямой формы**. В обоих языках для их лексической характеристики важно количество изгибов: один или больше. Объекты с одним изгибом — брови, шея, клюв, рог, руки, губы, а также стволы деревьев, палки и подобные им ножи, шпаги, башни, мебельные ножки и др. — описываются русским отпричастным (и поэтому по умолчанию имеющим значение единичного результата) прилагательным *изогнутый*. Об этом свидетельствуют частотные контексты с наречиями *слегка изогнутый, сильно изогнутый, изогнутый вниз, к земле* и под.¹⁰

¹⁰ В принципе, *изогнутый* может применяться и к поверхностям — и по умолчанию, вне специального контекста, тоже выражает идею однократного изгиба: *Робот ловко взбежал*

Сочетаемость однослогов китайского языка сильно уже, поскольку их в современном языке вытесняют двуслоги, но аналогом русского *изогнутый* можно считать однослог 弯 wān. В его сочетаемость входят слова, обозначающие артефакты продолговатой формы (*нож, трость, труба*), созданные человеком объекты, имеющие топологию линии (*дорога, канава*), и слова с более общим значением (*место, форма*):

- (15) 麻 表哥 拄着 一根 弯 树 棍子。
 Má biǎogē zhǔzhe yī gēn wān shù gùnzi
 Ма двоюродный. опираться. один.CLF **изогнутый** дерево палка
 брат PRG

Старший двоюродный брат Ма опирается на изогнутую деревянную палку. (Leeds)

- (16) 上面 有 弯形的 抽屉 和 金色的 把手。
 shàngmian yǒu wān xíng de chōuti hé jīnsè de bǎshǒu
 сверху иметь **изогнутый.** выдвижной. с золото.цвет. ручка
 форма.ATR ящик ATR

Наверху у него выдвижной ящик изогнутой формы с золотистой ручкой. (Leeds)

Дороги, тропинки, улицы и под., с одной стороны, а также реки, ручьи, русла, ущелья и под. — с другой, имеющие вытянутую форму со свойственными ей естественными множественными изгибами, характеризуются в русском прилагательным *извилистый*, которое, будучи производным от глагола *виться* со значением кругового движения, предполагает больше одного изгиба¹¹:

- (17) *Извилистый берег гавани был весь усеян парходами и парусными судами.*
 [А. И. Свирский. Рыжик (1901)]

Аналогом русского *извилистый* в древнекитайском был однослог 曲 qū, у которого в современном языке не осталось свободной сочетаемости, но это его значение сохранилось в некоторых устойчивых сочетаниях, ср.:

- (18) 曲径 通幽
 qū jìng tōng yōu
извилистый.тропа проходить.скрытое
извилистая тропа ведет в уединенное место

Двуслог 弯曲 wānqū, описывающий *вытянутые природные объекты* (и некоторые артефакты) *непрямой формы* в современном китайском языке и состоящий из однослогов 弯 wān ‘изогнутый’ и 曲 qū ‘извилистый’, не маркирован в отношении количества изгибов (но по-прежнему противопоставляется оценочному 歪 wāi):

по изогнутой стене к куполу потолка, подал руку Ирине Александровне, усадил ее в кресло. [Е. Велтистов. Миллион и один день каникул (1979)].

¹¹ Особняком стоят множественные изгибы поверхностей (ср. *ребристый, волнистый*), а также сложенные, свернутые и спиралеобразные объекты (*витой, вьющийся*) — о них мы здесь говорить не будем.

(19) 一条 弯曲的 山间 小道
 yítiáo wānqū de shānjiān xiǎodào
 один.CLF изогнутый.извилистый.ATR гора.между маленький.дорога
извилистая горная дорога

(20) 一根 弯曲的 木棍
 yīgēn wānqū de mùgùn
 один.CLF изогнутый.извилистый.ATR дерево.палка
изогнутая деревянная палка

Впрочем, часто, чтобы подчеркнуть большое количество изгибов, двуслог *弯曲* wānqū может редуплицироваться:

(21) 弯弯曲曲的 小路
 wānwānqūqū de xiǎolù
 изогнутый.изогнутый.извилистый.извилистый.ATR маленький.дорога
извилистая тропинка

6.2. Метафоры безоценочной зоны

В целом русская и китайская безоценочные зоны НЕПРЯМОГО развиваются очень похоже, производя метафорическое значение, которое можно было бы описать как ‘непрямой путь достижения цели’, ср. русск. *извилистый путь, извилистый разговор / рассуждение / ход мыслей*. При этом в обоих языках оно не образуется в функциональной оценочной зоне (т. е. не бывает производно от признака ‘кривой’). Однако есть и различия: в русском его источником становится идея *многократного* изгиба *извилистый*, тогда как прилагательное со значением однократного изгиба *изогнутый* вообще не имеет метафор:

(22) *Не буду описывать извилистых путей моих размышлений, сразу же скажу о выводе.* [А. Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009]

(23) **изогнутый* путь

В китайском, наоборот, метафоризируется лексема *弯* wān с исходным значением ‘изогнутый’, тогда как *曲* qū ‘извилистый’ в сочетании с ‘путем’ (вернее, сохранилось лишь сочетание с ‘тропинкой’ — *曲径* qūjìng ‘извилистая тропа’) имеет только прямое значение.

(24) 终于, 在 走了 不少 弯 路 之后 我们 拿到了 签证。
 zhōngyú zài zǒu le bù wān lù zhīhòu wǒmen nádao le qiānzhèng
 наконец LOC идти. NEG. изогну- до- взять.
 PERF мало тый рога после мы RES. виза
 PERF

Наконец, пройдя немало извилистых путей, мы достали визу. (corpus.leeds.ac.uk/query-zh.html)

В параллель к китайскому можно вспомнить устаревшее русское *окольный*, немаркированное по многократности изгибов и восходящее к корню *коло-* ‘круг’ (ср. *около*). В современном русском языке оно сохранило только переносные значения, в основном в контексте пути: *окольные тропы, путь, дорога* и под. Такой путь длиннее прямого, но выбран сознательно и поэтому не имеет отрицательной оценки. Он может соотноситься как с физическим перемещением (*окольные дороги короче прямых*), так и с абстрактным движением к цели (*изыскивал окольные пути добывания денег*).

7. Метафоры в зоне ‘кривого’

По сути дела, это устойчивые, застывшие метафорические формулы, фиксирующие отклонения от принятой в обществе нормы — прежде всего, нормы логики, здравого смысла и истины, а также морали, с явно выраженной отрицательной оценкой. Они реализуются и в русском, и в китайском с рус. *кривой* и кит. 歪 *wāi* ‘кривой, перекошенный’. Ср. русск.: *кривой человек/душа, кривая мысль, кривой суд* (устар.), *кривая дорожка*, ср. также *кривда*, а также кит.: 歪念头 *wāi niàntou* ‘неприличная/дурная мысль’, 歪风 *wāi fēng* ‘вредная тенденция’, 歪理 *wāi lǐ* ‘ошибочная (+ оценка дурацкая/нездоровая) логика’, 歪路 *wāi lù* ‘кривая дорожка’.

В русском языке в подобном «этическом» значении *кривой* уже не встречается, примеров в НКРЯ очень мало, по большей части до XX в., а позже — это уже скорее стилизации:

- (25) *Оно и понятно: боги обитают высоко на небесах, человек их не видит; но когда осенние дожди топят его нивы и разрушают его насаждения — он знает, что это — кара Зевса за «кривой суд», творимый на городской площади.* [Ф. Ф. Зелинский. Древнегреческая религия, 1918]
- (26) *И говоришь ты, ровно поешь, и голос у тебя, как у кенара, а никогда я тебе не верил. Чувствовал, что кривой человек. — Не знаю, что тебя так расстроило, — нервно сказал Иван Эдуардович.* [Л. Зорин. Глас народа (2007–2008) // «Знамя», 2008]

Однако в прошлом это значение, бесспорно, существовало: ср. слово *кривый* в словаре [Срезневский I] имеет значения 1) ‘кривой’, 2) ‘неверный’, 3) ‘виновный’, 4) ‘ложный, лживый’, ср. приводимую им цитату из «Поучения» Владимира Мономаха: *ни права ни крива* (= ‘ни правого, ни виноватого’) *не оубивайте*.

Между тем в современном русском на базе *кривого* быстро развивается новая метафора с семантической мишенью ‘кривой как плохо функционирующий’, ср. следующие примеры из Яндекс-блогов (27)–(29) и даже НКРЯ (30):

- (27) *У вас кривая* <= плохо работающая > RSS — *исправьте*.
- (28) *Или я так криво* <= плохо, невнимательно > *следила за этим*.
- (29) *Я его как-то криво* <= недостаточно аккуратно, не учла все ошибки > *отредактировала*.

(30) Если не хотите с самого начала делать **кривые** <= плохие> книги, а потом считать, что так и надо, — читайте только Симонова [Реставрация книг. Переплетное дело. 2010]

Сам перенос значения из визуально воспринимаемой пространственной зоны (несоответствия эталонной форме) в функциональную (несоответствие функции) содержит имплицативный компонент: если имеется несоответствие стандартной функции, то работа плохо выполнена, а полученный в результате артефакт неисправен, как в примерах (27) или (30).

Употребления с такой семантикой *кривой* фиксируются в НКРЯ с начала XXI в.

Тем не менее это не значит, что раньше метафор с таким значением у русского *кривой* никогда не было. Всем известно выражение *кривые руки* или *криворукий* в смысле ‘плохо справляющийся с ручной работой, неловкий, неумелый’; исторические словари дают и уже ушедшее из языка *кривоязычный* в смысле ‘не умеющий складно говорить’, т. е. такой, которого теперь называют *косноязычным*. Если верить в системность лексики и не допускать мысли о возможности в языке случайных и эпизодических явлений, тогда эти примеры свидетельствуют о существовании в прошлом семантического сдвига ‘нарушение формы’ → ‘несоответствие/ нарушение функции’, похожего на тот, который, судя по данным блогов и НКРЯ, становится продуктивным теперь. Тот переход реконструируется по двум оставшимся в языковой памяти сочетаниям с природными объектами, дольше всех сохраняющим предыдущее состояние системы. Новый переход в целом воспроизводит старый.

Этот семантический сдвиг можно считать особенностью русского языка по сравнению с китайским: в китайском ни 歪 wāi ‘кривой, перекошенный’, ни другие лексемы поля кривизны не развивают подобного значения.

Заключение

В статье был рассмотрен материал поля ПРЯМОЙ для двух далеких во всех отношениях языков — русского и китайского — в связи с возможностью семантических сдвигов. В целом, наши данные обнаружили бесспорное сходство и в логике этих переходов, и в мишенях метафорических значений. В зоне ‘прямого’ существует три основных направления метафоризации в обоих языках: 1) маршрут, 2) связь или отношение между людьми/явлениями и 3) отношение между мыслью и способом ее вербализации. А в зоне ‘кривого’ различаются оценочные (рус. *кривые руки/программы*, кит. 歪理 wāi lǐ ‘дурацкая (букв.: кривая) логика’) и безоценочные (рус. *извилистый путь/разговор*, кит. 弯路 wānlù ‘извилистый (букв.: изогнутый) путь’) метафоры.

Подобное сходство не может быть случайным — его обеспечивают общие когнитивные механизмы, лежащие в основе членения поля и природы семантических сдвигов в нем. Они же — причина универсальных явлений в лексике, которые мы ищем, занимаясь лексической типологией. В процессе наших исследований мы обнаруживаем, что некоторый эффект повторяется не только в не связанных друг

с другом языках, но и в истории одного и того же языка. По-видимому, таков переход ‘форма’ → ‘функция’ в истории русского языка для прилагательного *кривой*. Историческая цикличность правила дает надежду на его типологическую релевантность — это и есть пример совмещения задач историка языка и типолога, представляющий, конечно, бесспорный интерес для теоретиков.

Литература

Бабаева 2006 — Е. Э. Бабаева. Формирование семантической структуры слова простой в русском языке // Языковая картина мира и системная лексикография / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М., 2006. С. 761–845.

Бабаева 2010 — Е. Э. Бабаева. Антонимия: проблемы толкования и реконструкции становления (на примере прилагательных с сильно развитой многозначностью) // Проспект активного словаря русского языка / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М., 2010. С. 221–281.

Брицын и др. 2009 — Концепт боль в типологическом освещении / Под ред. В. М. Брицына, Е. В. Рахилиной, Т. И. Резниковой, Г. М. Яворской. К., 2009.

Вежбицкая 2001 — А. Вежбицкая. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

Зализняк 2001 — А. А. Зализняк. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект создания «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 13–25.

Зализняк 2006 — А. А. Зализняк. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.

Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005 — А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.

Кашкин 2013 — Е. В. Кашкин. Языковая категоризация фактуры поверхностей (типологическое исследование наименований качественных признаков в уральских языках). Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2013.

Круглякова 2010 — В. А. Круглякова. Семантика глаголов вращения в типологической перспективе. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2010.

Кустова 1998 — Г. И. Кустова. Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 19–40.

Кюсева, Рыжова, Холкина 2012 — М. В. Кюсева, Д. А. Рыжова, Л. С. Холкина. Прилагательные *тяжелый* и *легкий* в типологической перспективе // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая — 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18). В 2 т. Т. 1: Основная программа конференции. М., 2012. С. 247–255.

Лучина 2014 — Е. С. Лучина. Пути грамматикализации лексем со значением ‘прямой’. Дипломная работа / МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2014.

Майсак, Рахилина 2007 — Глаголы движения в воде: лексическая типология / Под ред. Т. А. Майсака, Е. В. Рахилиной. М., 2007.

МАС — Словарь русского языка. В 4-х т. 4-е изд., стер. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999.

Наний 2012 — *Л. О. Наний*. «Прямой», «кривой» и «косой» как источники признаковых метафор (на материале китайского и русского языков). Дипломная работа / РГГУ. М., 2012.

Наний 2016 — *Л. О. Наний*. Прилагательные простейших форм и размеров китайского и русского языков в типологическом аспекте. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2016.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. URL: <http://ruscorpora.ru>.

Ожегов, Шведова 2006 — *С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова*. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е, доп. М., 2006.

Ошанин 1983 — Большой китайско-русский словарь. В 4-х томах / Под ред. И. М. Ошанина. М., 1983.

Падучева 2004 — *Е. В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Плунгян, Рахилина 2000 — *В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина*. По поводу «локалистской» концепции значения: предлог под // Исследования по семантике предлогов / Под ред. Д. Пайара, О. Н. Селиверстовой. М., 2000. С. 115–133.

Рахилина 2000 — *Е. В. Рахилина*. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000. (2-е изд. — 2008, см. на сайте rakhilina.ru).

Рахилина 2010 — Лингвистика конструкций / Под ред. Е. В. Рахилиной. М., 2010.

Рахилина, Плунгян 2007 — *Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян*. О лексико-семантической типологии // Глаголы движения в воде: лексическая типология / Под ред. Т. А. Майсака, Е. В. Рахилиной. М., 2007. С. 9–26.

Рахилина, Прокофьева 2004 — *Е. В. Рахилина, И. А. Прокофьева*. Родственные языки как объект лексической типологии: русские и польские глаголы вращения // Вопросы языкознания. № 1. 2004. С. 60–78.

Рахилина, Резникова 2013 — *Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова*. Фреймовый подход к лексической типологии // Вопросы языкознания. № 2. 2013. С. 3–31.

ССКЯ — Xiandai hanyu cidian. Словарь современного китайского языка. Изд. 5. Пекин, 2005.

Срезневский — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1912.

Толстая 2008 — *С. М. Толстая*. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Толстой 1963 — *Н. И. Толстой*. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. I // Вопросы языкознания. № 1. 1963. С. 29–45.

Толстой 1966 — *Н. И. Толстой*. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. II // Вопросы языкознания. № 5. 1966. С. 16–37.

Толстой 1995 — Славянские древности: этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995.

Холкина 2014 — *Л. С. Холкина*. Качественные признаки в китайской лексике. Опыт типологического описания. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2014.

Boroditsky 2001 — *L. Boroditsky*. Does language shape thought? Mandarin and English speakers' conceptions of time // *Cognitive Psychology*. Vol. 43. № 1. 2001. P. 1–22.

Dobrovol'skij, Piirainen — *D. Dobrovol'skij, E. Piirainen*. Figurative language: cross-cultural and cross-linguistic perspectives. Amsterdam; Heidelberg, 2005.

Goddard 2006 — *Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context* / Ed. C. Goddard. Berlin, 2006.

Goddard 2008 — *Cross-Linguistic Semantics* / Ed. C. Goddard. Amsterdam, 2008.

Haspelmath 1997 — *M. Haspelmath*. From Space to Time: Temporal Adverbials in the World's Languages. München; Newcastle, 1997.

Koptjevskaja-Tamm 2008 — *M. Koptjevskaja-Tamm*. Approaching Lexical typology // From polysemy to semantic change: Towards a typology of lexical semantic associations / Ed. M. Vanhove. Amsterdam/Philadelphia, 2008. P. 3–52.

Lakoff 1993 — *G. Lakoff*. The Contemporary Theory of Metaphor // *Metaphor and Thought*. 2nd ed. / Ed. A. Ortony. Cambridge, 1993.

Lakoff, Johnson 2003 — *G. Lakoff, M. Johnson*. *Metaphors We Live By*. London, 2003. (Originally published: Chicago, 1980).

Langacker 1987 — *R. W. Langacker*. *Foundations of Cognitive Grammar*. Vol. I. Theoretical Prerequisites. Stanford, California, 1987.

Levinson 2003 — *S. C. Levinson*. *Space in language and cognition: explorations in cognitive diversity*. Cambridge, 2003.

Rakhilina, Plungian 2013 — *E. V. Rakhilina, V. A. Plungian*. Time and speed: Where do speed adjectives come from? // *Russian linguistics*. Vol. 37. № 3. 2013. P. 347–359.

Ekaterina V. Rakhilina

*National Research University Higher School of Economics /
Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

Lyudmila O. Nanij

*National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

STRAIGHT AND CURVED: SEMANTIC SHIFTS

This study is performed within the framework of lexical typology. The article discusses semantic shifts in the semantic field of basic forms 'прямой' ('straight') / 'кривой' ('crooked'). The material is Russian and Chinese attributive words: *прямой* ('straight'), *извилистый* ('sinuous'), *изогнутый* ('curved'), *кривой* ('crooked') in Russian and 直 *zhí* ('straight'), 曲 *qū* ('sinuous, tortuous'), 弯 *wān* ('curved'), 歪 *wāi* ('crooked, skew') in Chinese.

The results suggest that there are three common metaphorical shifts in STRAIGHT zone. There are also shifts more specific to Russian and Chinese, the so-called implicative shifts, which, however, are also repeated in a larger sample of languages.

In the field of NON-STRAIGHT most significant is the role of assessment. There are metaphors involving assessment (Rus. *кривые руки / программы* ‘crooked hands / software’, Ch. 歪理 wāi lǐ ‘stupid logic’) as well as non-involving assessment (Rus. *извилистый путь / разговор* ‘tortuous path / conversation’, Ch. 弯路 wānlù ‘tortuous path’) metaphors.

Some shifts are repeated not only in unrelated languages, but also in the history of the same language. Apparently, this is the case for the shift ‘form’ → ‘function’ (Rus. *кривой* ‘crooked’) in the history of Russian.

Keywords: semantic field, lexical typology, Chinese, semantic shifts, ‘straight’ and ‘crooked’.

VII

А. А. Плетнева

*Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Москва, Россия)*

ЛУБОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПУШКИНСКОЙ «СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Статья посвящена проблеме русских источников пушкинской «Сказки о царе Салтане». В качестве одного из источников текста рассматривается лубочная «Сказка о трех королевнах, родных сестрах», которая вошла в печатный сборник сказок «Старая погудка на новый лад» под названием «Сказка о Катерине-Сатериме». Известно, что Пушкин знал лубок. Лубочные картинки упоминаются в ряде его текстов. Хорошо известны и случаи прямых сюжетных заимствований из лубочных текстов (неоконченная юношеская поэма «Бова», ряд сюжетных ходов «Руслана и Людмилы» и т. д.). Но в случае со «Сказкой о царе Салтане» речь идет не столько о сюжетном сходстве, сколько об использовании Пушкиным отдельных выражений и клише, восходящих к лубочной сказке, то есть о прямых заимствованиях. Анализ этих заимствований в статье уделяется значительное место. По всей видимости, лубочные сказки привлекали Пушкина, поскольку они лежали вне литературной нормы и представляли собой тот пласт русского языка, который был практически не освоен литературной традицией. Лубочная сказка оказывалась посредником между русским литературным языком и фольклорной стихией. При этом лубочная сказка, как и вся лубочная литература, считалась современниками низким видом словесности, и обращение к этим текстам могло восприниматься как литературный эпатаж. Именно с этим, по всей видимости, связано крайне отрицательное отношение Белинского к пушкинским сказкам.

Ключевые слова: пушкинистика, народная письменность, лубок, русская литература XIX века.

I

Вопрос об источниках сказочных и фантастических сюжетов русской классической литературы всегда был одним из наиболее дискуссионных. В зависимости от общего контекста, в котором тот или иной исследователь рассматривает

историю русской классической литературы, предпочтения отдавались или западноевропейским литературным источникам, или различным видам русских фольклорных источников. И пушкинская «Сказка о царе Салтане» не исключение. О связи этой сказки с русским фольклором писали довольно много. Большинство исследователей связывало ее с русской фольклорной традицией, причем основным источником, из которого Пушкин черпал сведения об устной традиции, считаются сказки, рассказанные ему Ариной Родионовной. Связь сказки с русским фольклором казалась настолько очевидной, что рассуждения о ней, как правило, ограничивались указанием на пушкинские записи фольклорных текстов, имеющих сюжетные параллели со сказкой, и декларациями о том, что свои познания в области русского фольклора Пушкин черпал из рассказов Арины Родионовны. Поэтому в работах, посвященных русским источникам «Сказки о царе Салтане», мы часто сталкиваемся не с доказательным изложением, а с декларациями, которые в ряде случаев могут иметь идеологический характер. Другая точка зрения, связывающая происхождение пушкинской сказки с европейским фольклором, адаптированным различными литературными источниками, в силу своей неочевидности аргументирована куда лучше. Достаточно вспомнить хотя бы имена В. В. Сиповского [Сиповский 1906: 82] и М. К. Азадовского [Азадовский 1936: 150–156]¹.

В том, что «Сказка о царе Салтане» опирается на русские сказки, трудно усомниться. Существуют пушкинские записи сказок, которые относятся к 1824 г. и сделаны в Михайловском. Среди этих записей имеется текст [Пушкин 1977–1979, III: 407–408], сюжет которого очень близок к сюжету, легшему в основу «Сказки о царе Салтане». Мы говорим о близости сюжетов, но не об их тождестве, поскольку между ними наблюдается довольно много различий. К записи 1824 г. примыкает запись 1822 г. в кишиневской тетради [Азадовский 1936: 150], и еще одна запись — в тетради 1828 г. [Пушкин 1994–1997, III-2: 1076–1077]. В общих чертах записи 1822 и 1828 гг. являются вариантами одного и того же сюжета, но их отличия от «Сказки о царе Салтане» заметны куда сильнее.

В 1936 г. вышла классическая статья М. К. Азадовского «Источники сказок Пушкина», в которой он анализирует все три пушкинские записи. Азадовский полагал, что запись 1824 г. действительно восходит к фольклорным источникам. Хотя, по его мнению, у Пушкина было не так уж много возможностей услышать фольклорные тексты непосредственно от носителей народной культуры. Кроме

¹ Спор об источниках пушкинских текстов и о масштабах влияния на них европейской литературной традиции подогревался сменой идеологических установок. Идеологические клише эпохи отражались в исследованиях, посвященных сказкам Пушкина, и являются показательной характеристикой времени. Вот, например, как В. Я. Евсеев оценивает позицию сторонников европейских источников пушкинских сказок: «Следует признать справедливой критику космополитической концепции, пытающейся снизить значение Арины Родионовны для творчества А. С. Пушкина и переоценить влияние сборников братьев Гримм и произведений американского писателя Вашингтона Ирвинга. Низкопоклонство перед западом заставило литературоведа В. Сиповского утверждать, что гриммовская сказка “О рыбаке и рыбке” не только параллель, но и непосредственный источник пушкинской сказки о рыбаке и рыбке» [Евсеев 1949: 75].

Арины Родионовны он мог слышать народные сказки лишь в исполнении случайно встреченных на ярмарочных площадях певцов и сказителей [Азадовский 1936: 134]. Пушкинская «Сказка о царе Салтане», несомненно, связана с записью 1824 г. Доказательством тому служит не только сюжетная и композиционная близость, но и связь текстов на уровне слов:

[Пушкин 1977–1979, IV: 314, 315]	[Пушкин 1977–1979, III: 407]
А царица молодая, Дела вдаль не отлагая, С первой ночи понесла.	Царь женился на меньшей, и с первой ночи она понесла.
Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку.	Мачеха задержала гонца по дороге, напоила его пьяным, подменила письмо, в коем на- писала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой.

Записи 1822 и 1828 гг., по мнению Азадовского, являются пушкинской обработкой литературных переводных источников. Среди западноевропейских параллелей, которые могли быть известны Пушкину, Азадовский называет новеллу, входящую в сборник Джованни Франческо Страпаролы «Приятные ночи» (1550–1553). Пушкин мог познакомиться с этим текстом не в оригинале, а в пересказе, вошедшем в сборник волшебных сказок мадам д’Онуа (1697–1698) под названием «Принцесса-звезда» («La princesse Belle-Etoile»). Другим источником мог стать французский перевод восточных сказок «Тысяча и одна ночь», где есть сюжет, аналогичный сюжету «Сказки о царе Салтане». Этот перевод был осуществлен французским востоковедом Галланом (им же на французский был переведен и Коран). В арабской и персидской традициях интересующий нас сюжет об оклеветанной жене параллелей не имеет и, по всей видимости, является стилизацией Галлана, сделанной на основе европейского сказочного фольклора. Сборник мадам д’Онуа и перевод Галлана были известны Пушкину. Азадовский полагает, что прозаическая запись сюжета, относящаяся к 1828 г., является именно переводом Галлана. [Азадовский 1936: 152–154].

Еще менее очевидными оказываются источники сюжета о Царевне-лебеди. Если в русском сказочном фольклоре параллели к этому сюжету не обнаруживаются, то в европейских сказках (например, в сказках братьев Grimm) этот образ возникает достаточно часто. С другой стороны, девушка-лебедь появляется и в былине о Потоке/Потуке, которая зафиксирована в сборнике Кирши Данилова. Известно, что этот сборник в издании 1818 г. был в библиотеке поэта [Кирша Данилов 1977: 366].

И увидел белую лебедушку,
Она через перо была вся золотая,
А головушка у ней увита красным золотом
И скатным жемчугом усажена.
.....
А и чуть было спустить калену стрелу —

Провещится ему Лебедь белая,
Авдотьюшка Лиховидьевна:
«А и ты, Поток Михайла Иванович!
Не стреляй ты мене, лебедь белую,
Нé в кое время пригожуся тебе».
Выходила она на крутой бережок,
Обернулася душой красной девицей. [Кирша Данилов 1977: 117]

Влиянием текстов из сборника Кирши Данилова Азадовский объясняет и появление в пушкинской сказке имени Бабариха. Его источник — песня «[Про] дурня»:

Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
Мать Лукерья
Сестра Чернава! [Кирша Данилов 1977: 203]

Кроме того, Азадовский обращает внимание и на то, что многие черты западноевропейской авантюрной повести и литературной сказки были заимствованы не прямо из европейских источников, а посредством лубочной повести. При этом он не указывает на какую-либо конкретику, а лишь сравнивает полное заглавие пушкинской сказки с заглавием наиболее известной лубочной сказки о Бове, находя в такой форме заглавия стилистическое сходство [Азадовский 1936: 156]:

Сказка о царе-Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди	Сказка полная о славном, сильном, храбром и непобедимом витязе Бове-королевиче и о прекраснейшей супруге его, королевне Дружневне
--	---

II

Все вышесказанное предполагает, что в поисках источников пушкинской сказки разумным будет обратиться к лубочным текстам, которые могли адаптировать как русские фольклорные, так и западноевропейские литературные источники. Следует отметить, что сама тема «Пушкин и лубок» не является чем-то принципиально новым, многие факты, имеющие к ней отношение, достаточно известны. Пушкин был хорошо знаком с жанром лубочных картинок. В некоторых его произведениях лубочные картинки служат важной деталью, проясняющей авторский замысел. В повести «Станционный смотритель» на стенах дома Самсона Вырина висят гравюры на тему евангельской притчи о блудном сыне: «Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шляфорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека:

он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему на встречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи» [Пушкин 1977–1979, VI: 90]². В «Капитанской дочке» у капитана Миронова «в углу стоял шкаф с посудой, на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке, около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова³, также выбор невесты⁴ и погребение кота»⁵ [Пушкин 1977–1979, VI: 275].

Хорошо известны и случаи прямого использования Пушкиным лубочных текстов. Это, конечно же, неоконченная лицейская поэма «Бова» [Пушкин 1977–1979, I: 56–63], а также прозаические записи сюжета «Бовы» и наброски начала поэмы [Пушкин 1977–1979, IV: 291–293]. Лубочная сказка о Бове дала имена таким героям пушкинских сказок, как царь Салтан (в лубочной сказке он Салтан Салтанович), Гвидон, Дадон (персонаж «Сказки о золотом петушке»). Совершенно очевидно, что имя главного героя поэмы «Руслан и Людмила» восходит к имени героя лубочной сказки о Еруслане Лазаревиче. Из этой же сказки заимствован эпизод с говорящей богатырской головой: «И поехал царь во град, а Еруслан остался и подъехал к богатырской голове и говорил таково слово: “Государыня богатырская голова надеюсь на твою милость и приятельскую любовь, что можешь ты из-под себя освободить меч свой, потому что перед царем сам похвалился, а ежели не достану меча, то царь меня злой смерти предаст, когда ему меч не принесу”. И богатырская голова ничего не отвечает. И Еруслан слез со своего доброго коня, и пал на сыру землю, и говорит со слезами таково слово: “Государь Расланей богатырь, не дай напрасною смертью умереть, освободи из-под себя меч!” И потом Расланей богатырь содвинулся с меча, и Еруслан взял меч, поклонился богатырской голове и сел на своего доброго коня, поехал в Щитин-град, и подумавши несколько, говоря сам себе: “Доселева я царей утрашивал и богатырей побивал, а теперь богатырской голове кланяюсь”» [Ровинский I: 62–63]. Пример с богатырской головой является

² Очевидно, что здесь речь идет не о русском лубке, а о его предтече: стены дома Самсона Вырина были украшены гравюрами европейского происхождения, которые сопровождались стихами на немецком языке. Созданные в России народные картинки нередко воспроизводили европейскую гравюру, однако подпись под картинкой была на русском или церковнославянском языке (в ряде случаев это был некий гибридный вариант языка), причем часто это был не перевод с немецкого, французского или другого языка, а оригинальный текст [Плетнева 2013: 47–51].

³ В издании Ровинского № 355 «Взятие Очакова и солдатская песня на этот случай» [Ровинский II: 129–133].

⁴ В издании Ровинского № 138 «Разговор жениха со свахою» [Ровинский I: 361], № 139 и 140 «Рассуждение о женитьбе» [Ровинский I: 361–365].

⁵ В издании Ровинского № 166–170 с общим для всех картинок названием «Мыши кота погребают» [Ровинский I: 391–401].

самым бесспорным пушкинским заимствованием из лубочной литературы. Дело в том, что в русском фольклоре образ богатырской головы отсутствует. Некоторые исследователи полагают, что в лубочную повесть голова перекочевала из ногайского фольклора [Капица 2012: 60]. Таким образом, лубочная литература (в широком значении этот термин включает в себя как гравированные издания, так и народные книги) оказывается единственно возможным источником, откуда Пушкин мог заимствовать этот образ.

Известны и случаи обратного влияния. Еще при жизни Пушкина ряд его произведений воспроизводился лубочными издателями. В 1832 г. выходит лубочная версия раннего его стихотворения «Романс»⁶ (всего известно 29 композиций на тему «Романса», а общее число переизданий составляет 73). В 1833 г. в формате народной картинке издается «Талисман» (последующие издания 1835, 1851, 1903 гг.). Лубочный «Гусар» появился в двух связанных между собой картинках в 1849 г. (последующие издания 1890, 1896, 1900 гг.). «Черная шаль» известна в двух гравированных изданиях 1839 г. и 80–90-х гг. XIX в. «Песнь о вещем Олеге» вышла вначале в прозаическом пересказе (1861 г.), а в 1901 г. появился стихотворный текст. Первое издание «Воеводы» появилось в 1858 г. (позднейшие переиздания в 1866, 1875, 1899 гг.). Поэма «Кавказский пленник» выходила сериями по три-четыре картинки (первое издание 1837 г.). В качестве текста к лубочной картинке появлялись также отдельные строфы из «Полтавы», «Братьев-разбойников». Отрывки из «Евгения Онегина» по 2–6 строк приводились в качестве текста при женских головках [Клепиков 1949: 9]. В качестве подписи при изображении Петербурга в лубке взято несколько строк из «Медного всадника». Из сказок известны лубочные обработки «Сказки о попе и его работнике Балде» и «Сказки о золотой рыбке». Прозаические произведения Пушкина (кроме небольшого отрывка из «Барышни-крестьянки» и иллюстраций к «Дубровскому» и «Капитанской дочке») лубку не известны [Клепиков 1949: 11].

Рассматривая лубочные параллели к пушкинским текстам, мы сталкиваемся с проблемой определения объема самого понятия «лубочный текст». В работах, посвященных лубкам, сосуществуют два подхода к объему анализируемого материала. С одной стороны, у нас есть формальное определение лубка как цельногравированного текста. С другой — существует более широкий термин «лубочная литература», используемый по отношению к массовым изданиям для народа, которым противостояла «высокая» литература. В искусствоведческих работах, где внимание сосредоточено прежде всего на изобразительной стороне, материал исследования, естественно, ограничивается цельногравированными изданиями [Хромов 1998: 67–72]. Так же приходится поступать и исследователю языка лубочных текстов, ведь лубочные листы, не проходившие цензуру, отличались особой орфографией, которая обнаруживает больше сходства с рукописной традицией XVII–XVIII в., чем с орфографией печатных книг [Плетнева 2013: 18–19]. При решении

⁶ Название произведения было изменено в духе лубочной поэтики, пушкинский текст в лубочной картинке имел заголовок «Следствие порочной любви».

не лингвистических и искусствоведческих, а литературоведческих и источниковедческих задач естественным будет обращение к лубочной литературе в широком значении этого слова. Ведь здесь нас интересуют не орфографические особенности и не технические приемы гравера, а история определенного текста и круг его читателей [Гриц и др. 2001: 15–29; Корепова 2012: 12–16].

Таким образом, поставленная в нашем случае задача, а именно установление связи пушкинского текста с текстами лубочных сказок, предполагает выход за пределы собственно лубка как цельногравированного издания и обращение к народным книгам, т. е. к лубочным сказкам, опубликованным в конце XVIII — начале XIX в. Тот текст, который, на мой взгляд, был известен Пушкину и отдельные фразы которого вплелись в текст «Сказки о царе Салтане», существует и в варианте изданного типографски сборника сказок (лубочная литература в широком смысле), и в виде гравированных листов (собственно лубка). Речь идет о «Сказке о Катерине-Сатериме», которая впервые в России была опубликована в 1795 г. в сборнике «Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок» [Старая погудка 1795: 27–32]. В цельногравированном варианте она носит название «Сказка о трех королевнах, родных сестрах». Она была опубликована Д. А. Ровинским в пятитомном издании «Русских народных картинок» в первом томе под номером 46. О происхождении этого текста достоверных сведений нет, и мы не можем с уверенностью сказать, является ли он переводным, или же перед нами литературный вариант устной восточнославянской сказки. Ровинский возводил ее к французскому источнику [Ровинский IV: 164]. Однако ряд исследователей указывает на то, что этот сюжет хорошо представлен у восточнославянских народов и имеет около 100 опубликованных вариантов и, соответственно, именно устный вариант мог лечь в основу лубочной сказки [Зуева 1976: 58].

В какой именно версии — книжной или гравированной — лубочная сказка была известна Пушкину, точно установить невозможно. Известно, что вторая часть сборника «Старая погудка на новый лад» была в библиотеке Пушкина [Азадовский 1936: 149]. Однако у нас нет информации о знакомстве Пушкина с первой частью сборника, где, собственно, и была напечатана «Сказка о Катерине-Сатериме». Возможно, что он знал и первую часть этой книги. С другой стороны, исключить знакомство поэта с гравированными листами, содержащими текст сказки, нельзя.

Когда речь идет об источниках литературного текста, исследователи в первую очередь обращаются к сюжетному сходству. На уровне сюжета и запись сказки 1824 г., и лубочная сказка во многом отличаются от сюжета «Сказки о царе Салтане». Так, например, в первом случае «царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволочке месяц» (запись 1824 г.), во втором — царица родила двух сыновей «по локоть руки в золоте, по колено ноги в серебре и на всяком волосе по жемчужине» (лубочная сказка). У Пушкина, как известно, царица родила одного сына, который не был украшен от рождения золотом и жемчугами. Кроме того, лубочная сказка параллельна только начальной части «Сказки о царе Салтане»: всей

истории с корабельщиками в ней нет. Однако сюжетное отличие не означает, что лубочный текст следует вычеркнуть из списка предполагаемых источников.

Для поэтического произведения говорить о непосредственном влиянии одного текста на другой имеет смысл, когда есть сходство на словесном уровне, т. е. когда мы видим схожие метафоры и сравнения, схожую синтаксическую структуру фразы, схожую фонетическую организацию предложения. И запись 1824 г., и лубочная сказка имеют параллели с пушкинской сказкой именно на уровне слова. Параллели из записи 1824 г. были названы выше («с первой ночи понесла» и «не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку»). Теперь же рассмотрим фрагменты пушкинского текста «Сказки о царе Салтане» параллельно с близкими им фрагментами лубочной сказки. Поскольку книжный и гравированный тексты обнаруживают значительное сходство, а выбор источника затруднителен (решить, с чем был знаком Пушкин — с книгой или с гравированными листами, мы не можем), в качестве параллелей будем приводить текст гравированных листов в несколько упрощенной орфографии.

Среди ряда фрагментов «Сказки о царе Салтане», которые могут быть соотнесены со «Сказкой о трех королевнах, родных сестрах» (о Катерине-Сатериме), наиболее яркими являются следующие три. Во-первых, это эпизод заключения царицы с сыном в бочку⁷.

[Пушкин 1977–1979, IV: 315]	[Ровинский I: 181] ⁸	Запись 1824 г. [Пушкин 1977–1979, III: 407]
И царицу в тот же час В бочку с сыном посадили, Засмолили, покатали И пустили в Окиян — Так велел-де царь Салтан.	Король... послал к верховному своему министр[у] повеление, чтобы он до его приезда жену его и з двумя рожденными сынами посадил в бочку, засмолил и пустил их по морю.	Мачеха опять подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну для 33 царевичей, а другую для царицы с чудесным сыном — и бросить их в море.

Очевидно, что ряд глаголов лубочной сказки — «посадил, засмолил, пустил» и глагольный ряд у Пушкина — «посадили, засмолили, покатали и пустили» — это не случайное совпадение двух текстов, а свидетельство того, что Пушкин читал лубочную сказку и помнил ее текст. В то же время отрывок из записей 1824 г. не имеет совпадений с текстом «Сказки о царе Салтане» на уровне слов. Отмечая подобные совпадения лубочного текста и пушкинской сказки, можно допустить, что общим источником у них мог оказаться некий фольклорный текст. Поскольку исключить такую вероятность нельзя, полезной оказывается статья Р.М. Волкова, который проделал скрупулезную работу по сличению пушкинской сказки

⁷ Здесь и далее запись 1824 г. приводится для того, чтобы показать, какой из источников ближе к тексту пушкинских сказок.

⁸ Один из лубочных листов представлен на иллюстрации к настоящей статье (см. компакт-диск).

с народными версиями сказочных сюжетов и, шире, с различными выражениями, представленными в фольклорных текстах [Волков 1960: 77–132], но не обнаружил никаких фольклорных параллелей к интересующему нас фрагменту сказки.

Второй фрагмент, имеющий параллель в лубочной сказке, — это две пушкинские строки о растущем в бочке царевиче. При этом в записи 1824 г. ничего не говорится о том, как рос посаженный в бочку ребенок («Долго плавали царица с царевичем в засмоленной бочке — наконец море выкинуло их на землю» [Пушкин 1977–1979, III: 407]).

[Пушкин 1977–1979, IV: 316]	[Ровинский I: 181]
И растет ребенок там Не по дням, а по часам.	Между тем плавали они в бочке долгое время, и королевичи росли не по годам, а по часам.

Мы видим, что в пушкинском варианте выражение «расти не по годам, а по часам» заменяется на «расти не по дням, а по часам». В отличие от предыдущего случая, это совпадение не является однозначным свидетельством того, что источником этого выражения была именно «Сказка о трех королевнах» (о Катерине-Сатериме). Устойчивые словосочетания «расти не по часам, а по минутам», «расти не по дням, а по часам» встречаются и в устных версиях сюжета об оклеветанной жене [Волков 1960: 96–97]⁹.

Наконец, следует остановиться на эпизоде, когда бочка, в которой плыли царица и царевич, достигла суши и ребенок, выбив дно бочки, выбирается наружу. Этот сюжет присутствует и в лубочном тексте, и в записи 1824 г., однако для лубочной версии дело не ограничивается сюжетным сходством.

[Пушкин 1977–1979, IV: 316]	[Ровинский I: 181]	Запись 1824 г. [Пушкин 1977–1979, III: 407]
Сын на ножки поднялся, В дно головкой уперся, Понатужился немножко: «Как бы здесь на двор окошко Нам проделать?» — молвил он, Вышиб дно и вышел вон.	И королевичи, упершись в дно, вышибли оное, потом вышел все на остров, построили себе отменной терем.	«Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи и вышли бы мы на свет». — Господь благослови тебя, дитятка. — Обручи лопнули, они вышли на остров.

В примере из лубка мы видим не просто словесное сходство, но и сходство фонетическое. У Пушкина — «вышиб дно и вышел вон», в лубке — «упершись в дно, вышибли оное потом вышел...». Очевидно, что подобные совпадения текстов не могут быть случайными, и мы имеем все основания говорить о непосредственном влиянии лубочной сказки на «Сказку о царе Салтане». Примеров из фольклорных текстов, поддерживающих этот словесный ряд, по-видимому, нет.

⁹ Волков приводит варианты из следующих сказок: «А сын Марфы-царевны рос не по дням, а по часам» (Афанасьев № 159 в); «у королевы сын не по часам, а по минутам растет» (Афанасьев № 159 d); «и рос этот подкидыш не по дням, а по часам» (Афанасьев № 159 а).

Приведем еще примеры, когда пушкинский текст соотносится с лубочной сказкой и, очевидно, не связан с записью 1824 г. Так, в лубочной сказке встречается слово «сестрица», отсутствующее в записи 1824 г. Конечно же, само по себе отсутствие этого употребительного слова (ср. [Волков 1960: 89]) ни о чем не говорит. Однако в общем ряду свидетельств, подтверждающих бóльшую близость «Сказки о царе Салтане» к лубочному тексту, чем к тексту записи 1824 г., упомянуть об этом нелишне.

[Пушкин 1977–1979, IV: 313, 314]	[Ровинский I: 179, 180]
Третья молвила сестрица...	Послушайте, сестрицы...
Вы ж, голубушки-сестрицы, Выбирайтесь из светлицы...	Нет, сестрица... Вы, сестрицы, глупы...

Параллель с лубочной сказкой имеет и эпизод, когда царь плачет от радости (в записи 1824 г. о слезах не говорится).

[Пушкин 1977–1979, IV: 336]	[Ровинский I: 182]
Царь глядит — и узнает... В нем взыграло ретивое! «Что я вижу? Что такое? Как!» — и дух в нем занялся... Царь слезами залился...	Король, увидя свою супругу, прослезился.

Слезы, текущие от потрясения и радости, на мой взгляд, указывают на литературную, а не фольклорную традицию. В фольклорных текстах герои плачут от горя и потери, а не от счастья.

Отголоски рассматриваемой нами лубочной сказки обнаруживаются и в пушкинской «Сказке о мертвой царевне».

[Пушкин 1977–1979, IV: 349]	[Ровинский I: 181]
Перед утренней зарею Братья дружною толпою Выезжают погулять, Серых уток пострелять...	По прошествии некоторого времени вздумалось королю погулять по взморью, и, приехав на остров для стреляния неких птиц заморских, остановился и пришел в некоторое удивление, увидя на оном острове похаживающих двух молодцов.

Весьма вероятно, что рифма «погулять — пострелять» появилась под влиянием «Сказки о трех королевнах» (о Катерине-Сатериме). Фольклорных параллелей к этому выражению Р. М. Волкову обнаружить не удалось [Волков 1960: 173].

III

Кроме «Сказки о трех королевнах» (о Катерине-Сатериме) в «Сказке о царе Салтане» можно отметить следы влияния лубочной сказки о Бове-королевиче. Не ставя вопроса о том, какой именно текст сказки о Бове мог быть под рукой у Пушкина, мы воспользуемся публикацией Ровинского.

[Пушкин 1977–1979, IV: 324]	[Ровинский I: 90]
<p>Царь Салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости-господа, Долго ль ездили? куда? Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет...»</p>	<p>Король Занзевей Андронович сказал на то: «Господа гости корабельщики, вместо его торгуйте в моем государстве... беспош- линно».</p>

Обращение к купцам «гости-господа» и именование их «корабельщиками» соотносится с «господа гости корабельщики» из сказки о Бове.

Более сложной кажется ситуация с употреблением глагола «бежать» по отношению к плывущему по морю кораблю. Связь этого фрагмента со сказкой о Бове менее очевидна, поскольку использование глагола «бежать» по отношению к кораблю неоднократно встречается и в фольклорных текстах, в частности в сборнике Кириши Данилова.

[Пушкин 1977–1979, IV: 318]	[Ровинский I: 92]	[Кириша Данилов 1977]
<p>Он бежит себе в волнах На поднятых парусах</p>	<p>Они подняли парус и побежали по морю.</p>	<p>Прибежали карабли под славной Киев-град [10] Как по морю, морю по синему Бегут-побегут тридцать кораблей... [178] А все карабли, как соколы, летят, А един карабль по морю бежит, как бел кречет... [180] По славной матушке Волх-реке Бегут-побегут тридцать кораблей... [182]</p>

С лубочной сказкой о Бове перекликается и текст беседы князя Гвидона с купцами.

[Пушкин 1977–1979, IV: 323]	[Ровинский I: 89]
<p>Пристают к заставе гости; Князь Гвидон зовет их в гости, Их и кормит и поит И ответ держать велит: «Чем вы, гости, торг ведете И куда теперь плывете?»</p>	<p>Король Занзевей Андронович послал велмож своих и приказал спрашивать [у купцов. — А. П.], которого они государства гости и с какими товарами.</p>

Параллели со сказкой о Бове обнаруживаются и в «Сказке о мертвой царевне». Здесь есть служанка, которая относит отравленный предмет герою. Имя сенной девушки Чернавка, видимо, восходит к девке-чернавке из сказки о Бове. В обеих сказках фигурируют псы, проглатывающие отравленный предмет.

[Пушкин 1977–1979, IV: 346, 353]	[Ровинский I: 88]
<p>Черной зависти полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе Чернавку И наказывает ей, Сенной девушке своей...</p> <p>Пес на яблоко стремглав С лаем кинулся, озлился, Проглотил его, свалился И издох. Напоено Было ядом, знать, оно.</p>	<p>Прекрасная королевна Милитриса Кирбитовна, вшед в королевския палаты, начала месить два хлебца своими руками во змеином сале на пшеничном тесте и, испекши, послала их с девкою чернавкою. Оная принесла и, отдаючи, говорит: «Государь Бова-королевич, не моги от матери своей хлеба есть, отдай ты то псам». Бова принял хлебы, бросил, и как съели их псы, то разорвало псов от черного хлеба.</p>

Напомним, что в сборнике Кирши Данилова «сестра Чернава» упоминается в процитированной выше песне «[Про] дурня» рядом с «бабой-бабарихой», поэтому однозначно ответить на вопрос о происхождении имени Чернавка у Пушкина все-таки невозможно.

IV

По всей видимости, лубочные сказки привлекали Пушкина как находящийся вне литературной нормы и практически не освоенный русской литературой культурный страт. Именно с этим был связан интерес Пушкина к «Сказкам казака Луганского» Владимира Даля, который экспериментировал с тем же вариантом русского языка. В своих воспоминаниях о встрече с поэтом в Оренбурге Даль приводит его высказывание о языке сказки и вообще о русском литературном языке. «Сказка сказкой, — говорит Пушкин, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это делать. Надо бы сделать, чтобы научиться говорить по-русски и не в сказке» [Майков 1899: 418]. Т. е. лубочная сказка могла выступать посредником между русским литературным языком и фольклорной стихией. При этом лубочная сказка, как и вся лубочная литература, рассматривалась современниками как низкий вид словесности, и обращение к этим текстам могло восприниматься как признак дурного вкуса. Именно с этим, вероятно, связано крайне отрицательное отношение В. Г. Белинского к пушкинским сказкам, которые он назвал «неудачным опытом подделаться под русскую народность» [Белинский 1953: 347].

Литература

Азадовский 1936 — *М. К. Азадовский*. Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР, Институт литературы. Вып. 1. М.–Л., 1936. С. 134–163.

Белинский 1953 — *В. Г. Белинский*. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Т. II. М., 1953.

Волков 1960 — *Р. М. Волков*. Народные истоки творчества А. С. Пушкина. Баллады и сказки. Черновцы, 1960.

Гриц и др. 2001 — *Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин*. Словесность и коммерция. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 2001.

Евсеев 1949 — *В. Я. Евсеев*. Карельские варианты пушкинских сказок // Известия Карело-финского филиала Академии наук СССР. №3. Петрозаводск, 1949. С. 75–88.

Зуева 1976 — *Т. В. Зуева*. Сюжет «Чудесные дети» как типологическое фольклорное явление и самобытная сказка восточных славян // Проблемы преподавания и изучения русского устного народного творчества. Вып. 3. М., 1976. С. 45–66.

Капица 2012 — *Ф. С. Капица*. «Богатырская голова» в «Повести о Еруслане Лазаревиче»: происхождение образа // Вестник славянских культур. Вып. XXV. Т. 3. М., 2012. С. 58–63.

Кирша Данилов 1977 — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подготовка текста и комментарии А. П. Евгеньевой и Б. Н. Путилова. М., 1977.

Клепиков 1949 — *С. А. Клепиков*. А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке: 1799–1949. М., 1949.

Корепова 2012 — *К. Е. Корепова*. Русская лубочная сказка. М., 2012.

Майков 1899 — *Л. Н. Майков*. Пушкин. СПб., 1899.

Плетнева 2013 — *А. А. Плетнева*. Лубочная библия: язык и текст. М., 2013.

Пушкин 1977–1979, I–X — *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. I–X. Л., 1977–1979.

Пушкин 1994–1997, I–XVII — *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений в 17 томах. Т. I–XVII. М., 1994–1997 (репринт издания 1937–1959 гг.).

Ровинский I–V — *Д. А. Ровинский*. Русские народные картинки. Т. I–V. СПб., 1881.

Сиповский 1906 — *В. В. Сиповский*. Руслан и Людмила // Пушкин и его современники. Вып. IV. СПб., 1906. С. 59–84.

Старая погудка 1795 — Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок. Издана для любителя оных, иждивением московского купца Ивана Иванова. Часть 1. М., 1795.

Хромов 1998 — *О. Р. Хромов*. Русская лубочная книга XVII–XIX веков. М., 1998.

Alexandra A. Pletneva

*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

CHEAP POPULAR SOURCES OF PUSHKIN'S *TALE OF TSAR SALTAN*

The article deals with Russian sources of Pushkin's *Tale of Tsar Saltan*. The cheap popular *Tale of the Three King's Daughters, Full Sisters*, which was included in the printed collections of fairy tales titled *The Tale of Katerina-Saterima* is considered as one of the sources of the text. It is known that Pushkin was familiar with cheap popular print. Cheap popular prints are mentioned in some of his texts. Well known are cases of direct plot borrowings from cheap popular texts (the unfinished youth poem *Bova*, a number of plot moves in *Ruslan and Ludmila* etc.). But in the case of *The Tale of Tsar Saltan*, the question is not so much about the plot similarity, as about Pushkin's use of individual expressions and clichés, dating back to the cheap popular tale, that is, about direct borrowings. An important place is given to the analysis of these loans in the article. Apparently, Pushkin was attracted by cheap popular fairy tales, as they laid outside the literary norm and represented the formation of the layer of the Russian language, which was practically undeveloped by the literary tradition. The cheap popular tale turned out to mediate between the Russian literary language and the folk elements. At the same time, the cheap popular tale, like all cheap popular literature, was considered a low type of literature by the contemporaries, and an appeal to these texts could be perceived as a literary shocking. It is apparently with this that Belinsky's very negative attitude to fairy tales by Pushkin was connected.

Keywords: Pushkin studies, popular writing, cheap popular print, Russian literature of the 19th century.

Т. М. Николаева
Институт славяноведения РАН
(Москва, Россия)

ОБ ОДНОМ «БАЛКАНИЗМЕ» У ПУШКИНА*

В статье предпринимается попытка историко-культурного комментария к известному пассажиру из «Евгения Онегина», где говорится об обычае «гостеприимной старины» угощать гостей в обеденное время вареньем. Автор усматривает связь между этим сообщением поэта и балканским «обрядом послуженья», широко распространенным в Сербии и отмеченным исследователями местной старины и мемуаристами. В статье ставится вопрос об источнике, из которого поэт почерпнул информацию о подобном обычае. Выясняется, что в подробных исследованиях русской застольной культуры и русской повседневной жизни в целом отсутствуют упоминания о такого рода угощении. Автор выдвигает гипотезу, что балканский обычай Пушкин мог видеть в доме у Ризничей, где он бывал во время одесской ссылки. Пушкин был влюблен в Амалию Ризнич, в его творчестве есть целый ряд произведений, связанных с ее именем. Ссылаясь на балканский обычай в своем романе в стихах, делая этот обычай частью повседневной жизни провинциальных русских помещиков, Пушкин подавал этим тайный знак своей возлюбленной. Таким образом, бытовая деталь оказывается частью зашифрованного интимного послания.

Ключевые слова: Пушкин, Амалия Ризнич, культура повседневности, русское застолье, история русской кухни, Сербия.

I

Настоящая статья содержит в себе несколько разных вопросов, на которые автор по мере своих возможностей постарается дать ответы, переходя от более простых загадок к более сложным.

В 1977 г. мы с мужем, Андреем Дмитриевичем Михайловым, приехали в Белград к его родственникам в Югославии. Приезжали мы к ним и в последующие

* В сокращенном виде данная статья опубликована под названием «Обряд известный угощения...» в журнале «Известия РАН. Серия литературы и языка» в 2015 г. [Николаева 2015].

годы, и не раз. Нас звали в гости — в чисто сербские семьи, в смешанные русско-сербские семьи, наконец, в русские эмигрантские семьи. И вот мы оба обратили внимание на непривычный для нас ритуал. А именно — при появлении гостей выходила девушка (женщина), самая младшая в этой семье, все равно, дочь, невестка или внучка, с подносом, на котором стоял графин с водой, маленькие стаканчики и блюдечки с вареньем (по-моему, безразлично с каким). Подходила она к гостям по старшинству, обнося этим подносом каждого. Гость должен был налить воды в стаканчик, ложечкой зачерпнуть немножко варенья и запить водой. Вода — точно помню — была самая простая. Собственно прием гостей с богатым столом начинался много позднее. Как нам объяснили, обряд этот назывался «послуженье».

В 1984 г. мы были в Болгарии и столкнулись с похожим обрядом, только в некоторых случаях варенье заменялось конфетами.

Я спросила своего коллегу Максима Максимовича Макарцева, объездившего Албанию и Грецию, есть ли там подобный обычай. Он рассказал, что сходный обряд существует, но вода заменяется ликером (для женщин) или местным крепким напитком (для мужчин), т. е. это нечто более близкое к западноевропейскому аперитиву. Таким образом, этот обычай, показавшийся нам сугубо балканским, относился скорее к славянской части Балкан.

Но обряд «послуженья» был широко распространен и в старой Сербии. Специальная статья «Слатко и вода» [Перић 2008] описывает этот обычай как особый национальный сербский «бренд». Автор статьи ссылается и на старую специальную статью доктора Радивоя Вукадиновича об этом обычае. Автор пишет, что одним из «старейших специалитетов» сербской кухни и приема было «послуженье са слатким и чашом хладне воде»: «Слатко» [т. е. варенье] в Сербии было «тако добро, укусно и лепо по изгледу, да без претеривања може упоредити са најбољим “слаткишима” на Западу» [Перић 2008: 179; Вукадиновић 1912]. В журнале «Жена» сообщалось четыре рецепта «слатка»: из лимона, из апельсина, из сливы и из «любеницы» (по-русски: арбуз). Этим обычаем восхищался английский журналист Адольф Смит, который был в Сербии во время правления короля Александра Обреновича и королевы Драги¹.

Во время правления короля Милана и королевы Наталии известного художника Влахо Буковаца именно таким образом принимала сама королева Наталия [Буковац 1925: 114–115]. Указывается и распространенная в Сербии история — рассказ о том, как юная княгиня Любица, увидев немощную старушку, с трудом опирающуюся на палку и еле передвигающуюся, взяла «бутель и чашу» и «послужила с хладном водом и сладкишем». Иными словами, юная княгиня не просто дала какой-то еды незнакомой старушке, а оказала ей тем самым глубокое уважение.

Приложением к статье Перича являются опубликованный в альманахе «Урани(ј)а» за 1838 г. рассказ сына княгини Любицы, князя Милана Обреновича, о достоинствах его матери и портрет ее с сыном.

¹ За подбор сербских данных и соответствующей литературы я благодарю коллегу Людмилу Йоксимович (Белград).

II

Но вот читаем знакомый с раннего детства текст:

III

Поедем, —
Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вошаной
Кувшин с брусничною водой².

[Далее идут шесть строк, оставленные в виде точек А. С. Пушкиным. — Т. Н.]

Итак, судя по окончательному тексту, этот обряд свершался **до** обеда, как и на Балканах; но, судя по отброшенному тексту белового варианта, обряд свершался **после** обеда, т. е. был близок к привычному нам десерту.

Таким образом, важно: до обеда или после? Почему шесть строк белового варианта были заменены Пушкиным на ряды точек? Исследуя многие произведения великого поэта, я убедилась, что ничего случайного и, главное, ничего несуггестивного в его текстах нет.

Семь важных вопросов, решаемых в нашей работе, как кажется, могут помочь в исследовании этого маленького фрагмента «Евгения Онегина»:

— Является ли этот обряд — «послуженье» — действительно общим и устойчивым для Балкан, а не возникшим в последнее время?

— Является ли описанный ниже элемент пищевого кода общеславянским или хотя бы общесербским?

— Действительно ли подобный обряд приема гостей описан в третьей главе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?

— Отмечен ли подобный обряд в чисто русском «приеме гостей»?

— Замечен ли подобный обряд какими-либо комментаторами «Евгения Онегина»?

² Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» цитируется по изданию [Пушкин I–X]. Цитируемый текст см. [Пушкин V: 56].

Первоначально в беловом варианте эта строфа оканчивалась так (см. Примечания к тому V):

Несут на блюдечках варенье
С одною ложечкой для всех.
Иных занятий и утех
В деревне нет после обеда.
Поджавши руки, у дверей
Сбежались девушки скорей
Взглянуть на нового соседа,
И на дворе толпа людей
Критиковала их коней [Пушкин V: 584].

— Замечен ли подобный обряд какими-либо русскими писателями?

— Почему подобный обряд, если он не является русским, описывается при первом приеме у Лариных Евгения Онегина и Владимира Ленского, да еще сопровождается эпитетом «известный»?

Вопросы эти не праздные, так как пищевой код художественного текста служит целям и типологическим, и социальным, и семиотически-интерпретативным. Как пишет российский автор: «Кулинарный код выступает в качестве некоего шифра глубинного порядка, определяющего сущностное этническое начало, а его конкретное наполнение и создает основу для различения — почему любимая кухня одних этносов неприемлема для других или кажется им совершенно невозможной и даже опасной» [Загидуллина 2011: 395].

Начинаем с древних славянских обычаев, а именно — с пищевого кода святого Саввы Сербского [Гаврюшина 2011]. В просторном Житии святого Саввы Сербского много говорится об искушении его пищей, в основном вином и яствами. Святой Савва отказывается от вина или просит разбавить его льдом. Он просит плоды в сочетании с холодной водой. Один раз только он просит большую и вкусную рыбу, и она ему чудом дается.

В конце статьи Л. К. Гаврюшина сообщает, что святой Савва получает гостинцы от египетского султана: «это ксилалог (алоэ), финики, сахар и варсамоедео (бальзам)» [Гаврюшина 2011: 177], но отношение святого к этим дарам не описывается, так же как и встречавшееся или не встречавшееся в пище святого Саввы сочетание «сладко и вода», о котором будет говориться далее.

Обряд этот подтверждается для сербов и самими балканистами — уроженцами Балкан: «Мещанскими в социалистической Югославии считались традиционные на Балканах вода и варенье или мед, а иногда рахат-локум, которые подавались пришедшему в дом. Считалось, что вода со сладостями взбодрит гостя, которым случайный посетитель становился только после особого ритуала: вода и сладости подносились ему на особом подносе, он должен был взять немного на ложку и запить глотком воды, одновременно вежливо поблагодарив хозяйку. Обычай, хоть и не имел очевидных религиозных черт, был довольно древним и традиционным, и поэтому подвергался осуждению как якобы “мешающий” созданию новой югославской обрядности» [Анастасиевич 2011: 425].

Надежда найти что-либо подобное обычаю «сладко и вода» в литературе у балканских славян у автора данной статьи не оправдалась. Можно только говорить о сходном болгарском обычае по личным впечатлениям. Д. Чавдарова, автор статьи «Пища и идентичность в русской и болгарской литературах XIX в.» [Чавдарова 2011], описывает в основном заграничные впечатления героя книги Алеко Константинова «Бай Ганю» —герою хочется в первую очередь много хлеба, а во-вторых, чего-нибудь острого: «Болгария моя родная не может без остренького, — ответил бай Ганю» [Чавдарова 2011: 286].

Сходный обычай отсутствует и у поляков [Филатова 2011].

Очень важным для нашей темы является исследование И. И. Свириды о функциях еды в иностранных описаниях России XVI–XVII вв. [Свирида 2011]. Как пишет

И. И. Свирида, ссылаясь на О. М. Фрейденберг: «В ходе времени прием пищи перестал быть лишь физиологическим процессом, как таковой он заслонялся разного рода священными ритуалами и светскими церемониями, которые бывали церковные и светские, публичные и частные. <...> В России природа была сурова, что упрочивало сакрализованные представления о ее божественном происхождении и силе. Как священная воспринималась и производимая ею пища. <...> Изобилие еды в России становилось знаком ее плодородия, которое поражало иностранцев. Складывалась основывающаяся на реальности, но приобретающая мифологизированный оттенок картина российского изобилия» [Свирида 2011: 257].

Могу добавить в согласии с автором свои собственные наблюдения. Лет 15 тому назад мы с мужем одновременно были в Париже. Известный французский профессор-филолог пригласил нас «на чашку кофе», причем за несколько дней. Мы пришли, но, к нашему изумлению, он подал на стол именно две чашки кофе и немного сахара на блюдечке. Больше ничего. Ни печенья, ни конфет, ни пирожных — вообще ничего. Мы были потрясены и тут же пошли потом в кафе.

Теперь уже с другим профессором, австрийским, пригласившим меня прочесть лекцию в Клагенфурте, мы ехали вдвоем в купе из Клагенфурта в Грац. Открылась дверь купе и проводник внес поднос, уставленный тонкими бокалами с белым вином. «Не желаете ли винишка, Т. М.?» — спросил мой спутник. «Zusammen oder getrennt?» — бодро спросила я, желая блеснуть знанием фразеологизмов. «С Вас 28 шиллингов», — ответил он, к моему российскому изумлению.

Наконец, моя племянница, работающая в швейцарской фирме, говорила, что швейцарцы не бывают довольны слишком изобильным столом на приемах у русских, так как бюджет кантона Во, где она работает, не позволяет им принимать иностранных коллег с такой роскошью и они выглядят бедно.

Таким образом, обилие стола русского застолья являлось необходимым условием приглашения гостей, даже самых непрестижных и скромных. В этом отношении, на мой взгляд, русские могут соперничать только с кавказскими хозяевами.

III

«Обряд известный...» — пишет Пушкин. Значит, он должен быть известным как пушкинистам, так и знатокам русских обычаев. Сначала я обратилась к тогда еще здравствовавшему Александру Борисовичу Пеньковскому, который, на мой взгляд, был самым тонким знатоком и интерпретатором нетривиальных для обычного пушкиниста мест великого романа. Оказалось, что Александр Борисович о таком «известном обряде» не знал. Тогда я пошла по иному пути: спрашивала о существовании подобного обряда у исследователей-диалектологов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. И ими также такой обычай во время экспедиций по современной России отмечен не был.

Необходимо было также выяснить, что же ели вообще русские помещики в эпоху Лариных. Несомненно, богатый спектр помещичьих приемов, да еще при первом визите, дают гоголевские «Мертвые души». Об этом пишет А. М. Ранчин [Ранчин 2011].

В доме Манилова Чичиков не проявляет особенного интереса к обеду: «В доме Манилова еда как бы заменена словом, беседой <...> меню не детализировано, а вкушение гостем пищи не описано» [Ранчин 2011: 335]. Еда у Плюшкина отвратительная, все заплесневелое и несвежее. Коробочка угощает гостя вкусными блинами и медом. Гурманом оказывается Собакевич, чревоугодник. «Получается, что желудок словно обволакивает всего Собакевича, являясь его покровом, кожей» [Ранчин 2011: 337].

Итак, нигде не встречается «балканский» тип первого приема. Прием гостей у Лариных даже упоминается, но в довольно странном контексте:

При первом посещении Онегиным Лариных в деревне сразу видна более простая пища, но, вместе с тем, и высокий уровень гостеприимства:

Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья [Войводич 2011: 355].

Во-первых, это описание приема у Лариных сильно сокращено и «балканский» элемент таким образом исчез. Во-вторых, прием как будто бы начинается прямо с варенья, что неправдоподобно, в-третьих, «высокого уровня гостеприимства» в таком приеме усмотреть просто невозможно.

Оставался путь «классический»: посмотреть комментарии этой строфы у исследователей «Евгения Онегина».

Самым первым автором, к кому я обратилась, был Владимир Набоков, очень внимательно (и иногда критически) комментировавший текст «Онегина» [Набоков 1998].

Прежде всего, В. Набоков не пытается разгадать шесть строчек белого варианта с точками, приведенного нами выше. Он пишет, что Пушкин их вычеркнул «по каким-то ему одному ведомым причинам».

Вопрос «до или после?» и сама обрядность подобного угощенья не заинтересовали Набокова; кроме того, нужно иметь в виду, что описание структуры романа и сам Комментарий написан им не для русского читателя.

Но неожиданно кое-что интересное для разрешения нашей проблемы у Набокова все же мелькает. Так, он находит в черновиках третьей главы расшифрованные Б. Томашевским строки. «Старушка» Ларина принимает Онегина, и в ее рассказах встает:

Варенье, сальная свеча,
Помин про Саву Ильича.

«Странная фигура этот Сава (или Савва, святой-покровитель Сербии), сын Ильи», — замечает Набоков. Далее он предполагает, что именно так звали покойного дядю Евгения Онегина, владельца им наследованного имения [Набоков 1998: 284].

Что касается описания «обряда», то Набокова прежде всего интересует варенье (снова напоминаем, что его Комментарий писался для иностранного читателя). «Варенье подавалось гостям, — пишет Набоков, — в стеклянных вазочках на подносе (“с одной ложечкой для всех”...). Гости накладывали варенье себе на блюдце с помощью этой ложечки и потом ели его чайными ложечками или размешивали в чае» [Набоков 1998: 286]. Этот комментарий В. Набокова уже явно подразумевает некий десерт, **подаваемый после** обеда, к чаю. Но эта единственная ложечка

остаётся им неразгаданной. В опубликованном пушкинском тексте она отсутствует. Судя по черновому варианту Пушкина, создается впечатление, что все гости поочередно зачерпывают варенье из вазочки именно этой единственной ложечкой и едят. (Как раз так осуществлялся обряд «послуженья», который мы застали в период с 1977 по 1987 год в Югославии/Сербии.) Но тогда непонятна фраза: «Несут на блюдечках варенья». Набоков же предполагает именно на основе белого варианта, что единственной ложечкой «для всех» перекалдывают варенье из вазочки на блюдечки и потом уже каждый гость пользуется своей сепаратной чайной ложкой. Можно сказать, что вариант Набокова как раз вызывает сомнения. По блюдам и до сих пор раскладывают варенье из вазочки одной специальной ложкой (как правило, она больше чайной, и, в общем, ее легко опознать), и в этом случае ремарка Пушкина об одной ложечке «для всех» кажется странной.

«Вощаной» столик кажется Набокову не навощенным (waxed), а покрытым клеенкой [Набоков 1998: 287].

Пожалуй, интересным можно считать подробный рассказ Набокова о бруснике, которая обладает лечебным желудочно-кишечным воздействием. Поэтому Онегин боится этого воздействия, и по его реплике: «Боюсь: брусничная вода // Мне не наделала б вреда» — очевидно, что это действие ему хорошо известно. Небезынтересны примеры перевода этой «воды» в англоязычных изданиях, которые приводятся Набоковым в обратном русском переводе. Это — «сироп из голубики; голубичный сок; брусничное вино; черничный отвар; черничный ликер».

Таким образом, замечания В. Набокова вносят в текст Пушкина еще больше загадок.

Внимание Ю. М. Лотмана к «обряду угощенья» неожиданно оказывается практически мимолетным [Лотман 1980].

О вощаном столике Ю. М. Лотман пишет, что «речь идет о вощаных (т. е. натертых воском) скатертях, которыми покрывались столики», т. е. понимает этот термин иначе, чем В. Набоков. Далее Ю. М. Лотман сообщает, что в белой рукописи был вместо точек помещен другой текст (см. этот текст выше: «Несут на блюдечках варенье // С одной ложечкой для всех...»). Этим анализ данного фрагмента в «Комментарии...» Ю. М. Лотмана ограничивается.

Казалось бы, загадки «пищевых ритуалов» должны были быть разрешены или, по крайней мере, описаны в большей по объему книге Ю. М. Лотмана, целиком посвященной быту и традициям русского дворянства XVIII и начала XIX в. [Лотман 1994].

Важным положением этой книги, и как будто связанным с нашей идеей, являются слова Ю. М. Лотмана о том, что «область культуры — всегда область символизма» [Лотман 1994: 7]. Так, например, он объясняет странный парадокс «Русской правды», состоящий в том, что рана, нанесенная обнаженным мечом, штрафует меньше, чем рана, нанесенная необнаженным мечом или палкой. Оказывается, что бьются, нанося рану, только с равным (оружие обнажалось и в Европе при посвящении в рыцарство), а просто палкой или мечом в ножнах бьют холопа³.

³ Думаю, что эта идея объясняет и тот отмеченный мною ранее факт, что в одиннадцати снах героев Пушкина всегда фигурирует именно обнаженное холодное оружие, а не огнестрельное,

Итак, Ю. М. Лотман прошел мимо чуждого (или нет?) «обряда известного угощения». Почему? Быть может, ответ на это можно найти в его же словах, обращенных к теоретическому статусу быта в целом: «Быт — это обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим — мы склонны его считать “просто жизнью”, естественной нормой практического бытия» [Лотман 1994: 10]. Факт «обряда известного» естественно показался Лотману привычно своим и неинтересным. Что было бы, если бы Пушкин не употребил прилагательного «известный»? Наверное, внимания к этому маленькому фрагменту романа у пушкинистов было бы больше. Шутит ли с читателем великий поэт? И зачем он оставил шесть рядов точек в этой строфе? Об этом мы можем только гадать.

Таким образом, остается еще один путь: обратиться не к пушкинистике, а к тем сочинениям, которые рассказывают о застольях и застольных обрядах пушкинской и околопушкинской поры.

На зависть привлекательно для любителей вкусно и разнообразно поесть написана широко известная поэма В. С. Филимонова «Обед».

Владимир Сергеевич Филимонов (1787–1858) — богатый рязанский помещик, участник войны 1812 г. Писал повести, романы, стихи, стихотворные повести, драмы, создавал переделки французских водевилей. В 1824 г. написал самое известное свое произведение «Дурацкий колпак». На вечере по поводу этой поэмы А. С. Пушкин, бывший в числе приглашенных, ответил Филимонову стихотворным поздравлением. Не менее известна и поэма «Обед» (1837), где Филимонов описывает русское обеденное застолье и перечисляет блюда, подаваемые к обеду у русского помещика:

Вот, с кулебякою родной,
Кругом подернута янтарной,
Душисто-жирной пеленой,
Уха стерляжья на шампанском.
За ней ботвинья с астраханским
Свежепросольным осетром
И с свежей невской лососиной.
Вот с салом борщ, калья с вином,
С желтками красный суп с дичиной,
Морковной, раковой, грибной.
Рубцы с капустою цветной <...>

На блюдах длинных, на лотках,
Едва обхваченных рукою,

что для эпохи Пушкина было бы естественно [Николаева 2012].

С заботливою тишиною
Принесены: вот с юных лет
Вскормленный свежей муравою
Быка черкасского хребет,
Огромный, тучный, величавый;
Вот буженины круг большой
С старинной русскою приправой;
Вестфальский окорок сырой,
Окутан жиром, чуть соленый,
Другой, в малаге запеченный <...>

Говяжьи с трюфлями котлеты;
Как сбитый в снеге, майонез;
За ним пестреют винегреты;
Под хреном блюдо поросят,
Кусок румяной солонины,
Сосисок крупных длинный ряд,
Пирог холодный из дичины.

И все разобрано, едят.
Везде глубокое молчанье... [Филимонов 1988: 183–184].

Как пишет Филимонов, после трапезы все встают только тогда, когда встает наипочетнейший гость. Доктор де Флиз пишет: «Мужчины повели своих дам в гостиную, куда подали кофе и варенья на нескольких тарелочках, на каждой тарелочке было по одной ложке» (цит. по [Лаврентьева 2007: 427]).

Однако и здесь, описывая великолепный пир, Филимонов не забывает про единственную ложечку:

Однажды был такой обед.
Где с хреном кушали паштет,
Где пирамида из котлет
Была усыпана корицей,
Где поросенок с чечевицей
Стоял, обвитый в колбасах,
А гусь копченый — весь в цветах,
Где, блюд чудесных в заключенье,
В укору вкуса, как на смех,
С одною ложкою для всех
Носили в баночке варенье [Филимонов 1988: 140].

Право, эта ложечка кажется каким-то ключом к интересующей нас тайне.

Правда, Е. Лаврентьева (см. ниже) сообщает, что «в помещичьем быту серебряные ложки были большой редкостью». Она пишет:

Право пользоваться единственной «ложечкой» предоставлялось почетному гостю. Этот обычай сохранялся в провинции даже в 40-е годы. И. С. Аксаков писал родным из Калуги в 1845 г. о посещении дома Ивановой, в котором незадолго до этого «жил постояльцем»: «На подносе подали варенье и миндальных орехов. Мне как гостю подают первому. Я, видя, что блюдец нет, что ложечка одна, хотел было сказать, чтоб подали сначала дамам или барышням, как здесь говорят, но отложил это, зная, что не поняли бы этого, пожалуй, стали бы уверять, что ничего, очень приятно. И потому я, решившись, смело — ложечку в варенье и в рот. Потом все дочери [Ивановой. — Е. Л.] ту же ложечку в варенье и в рот, наконец, сама хозяйка. Через полчаса опять та же история» [Лаврентьева 2007: 428].

К сожалению, Аксаков не сообщает о том, была ли эта процедура дообеденной или послеобеденной, во-первых, запивалось ли это варенье, и если да, то чем, во-вторых, и почему через полчаса повторилась «та же история», в-третьих.

Есть некоторые данные в мемуарах той эпохи о не столь большой важности времени подачи питья:

«Вперемежку танцев питье подавали: воду брусничную, грушовку, сливянку, квас яблочный, квас малиновый, питье миндальное», — рассказывает брату о бале 1825 г. А. Я. Булгаков [Лаврентьева 2007: 429].

Все-таки варенье появляются **после** обеда — Е. Лаврентьева приводит «Мемуары о дядюшках и тетюшках» А. В. Ващенко-Захарченко: «Проходил час, нужно было обедать, перед обедом подавалась закуска, за ней следовал продолжительный и сытный обед; после обеда являлись варенья, маковники, орехи, кофе с кренделями и сухарями» [Лаврентьева 2007: 453]. См. также обед у самого Пушкина по воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет: «Хотя летом был придворный обед довольно хороший... однако я любила обедать у Пушкина, а обед составляли щи или зеленый суп с крутыми яйцами... рубленные большие котлеты со шпинатом и щавелем, а на десерт — варенье с белым крыжовником» [Лаврентьева 2007: 488]. Известно, что любимым вареньем Пушкина было именно крыжовенное.

Таким образом, загадок две: первая — одна ложечка или нет, и почему это было Пушкину важно и он хотя и вычеркнул текст про единственную ложечку, но оставил точки, не заполнив их; вторая — подавали ли варенье с водой до обеда, как на Балканах, или после?

И может быть, для некоторых дворян этого обряда вообще не существовало и застолье начиналось как-то иначе?

Тогда необходимо обратиться к специалистам по быту, застолью русских провинциальных помещиков этой эпохи.

Еще раз нужно сказать, что прекрасный материал дает в этом плане упомянутая книга Елены Лаврентьевой. Вслед за мемуарами Н. В. Сушковой в ней сообщается, что после обряда приветственных поцелуев хозяин приглашает гостей «перекусить до обеда и глотнуть для возбуждения аппетита». Гости проводят к закусочному

столу. Вот, для достоверности, представим сначала впечатления иностранцев. Мисс Вильмот сообщает о столе, уставленном «водками, икрой, хреном, сыром и маринованными сельдями» [Лаврентьева 2007: 399–400]. Знаменитый Адольф де Кюстин с удивлением сообщает:

На Севере принято перед основной трапезой подавать какое-нибудь легкое кушанье — прямо в гостиной, за четверть часа до того, как садиться за стол, это предварительное угощение — своего рода завтрак и называется по-русски, если только я не ослышался, «закуска». Слуги подают на подносах тарелочки со свежей икрой, какую едят только в этой стране, с копченою рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печением, сладким и несладким, подают также горькие настойки, французскую водку, вермут, лондонский портер, венгерское вино и данцигский бальзам; все это едят и пьют, стоя, прохаживаясь по комнате (цит. по [Лаврентьева 2007: 400]).

Иногда закуски не подавали отдельно или на специальном закусочном столе, а именно с них и начинался обед. Такой обычай считался французским. Приведем рассказ об этом английского доктора-туриста:

Я был удивлен еще больше, когда подан был обед. Он начался с холодной ветчины, нарезанной ломтиками, которую обносили вокруг стола на большом блюде. За ветчиной последовал *rôte froid*, потом салат, потом кусок пармезанского сыра. Очень любя холодные обеды, я рад был поесть по своему вкусу и делал честь подаваемым вещам. Я ел бы всего больше, если б слушался только своего аппетита, но я заметил, что соседи мои по столу едва дотрагивались до подаваемых блюд, и я не хотел отставать от них, как вдруг, к неопisanному моему удивлению, лакей принес вазу с супом. В ту же минуту вошла графиня и села на свое место. Какой же я был неуч и как я ошибся! Ветчина, пирог, салат и сыр, не говоря о шампанском и донском вине, не составляли обеда, а только как бы прелюдию к нему, предисловие и прибавление к работе более серьезной. Я был немного сконфужен своей ошибкой, тем более, что удовлетворил свой аппетит на мелочах, которые должны были его только пробудить (цит. по [Лаврентьева 2007: 401]).

За обедом (ужином) действительно «за столом у них гостям // Носили блюда по чинам», как сообщает нам «Евгений Онегин».

Как видно, все это нисколько не напоминает начальную фазу приема у Лариных, «обряд известный угощения».

Сведения о первом «серьезном» блюде — супе или, точнее, супах — берутся в нашей статье из той же книги Е. Лаврентьевой:

«Борщ-свекольник на свином сале и с ломтиками свинины и с превосходною просяною кашей, поданною в маленьких горшочках для каждого куверта, забеленный дивною сметаной, был верх украинского кулинарного искусства, объеденье».

Из холодных супов особо любимым блюдом у русского дворянства была ботвинья. В словаре Даля дается такое определение ботвиньи: «Ботвинья — холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, луку, огурцов, рыбы». Ботвинью готовили

с вареной рыбой (осетриной, севрюгой, судаком), а к столу подавали с ломтиками балыка. В роли гарнира обычно выступали раки или крабы: «...затем подавалась ботвинья со льдом, с свежей просоленной осетриной, с уральским балыком и целою горою чищенных раковых шеек на блюде» [Лаврентьева 2007: 489].

Не перечисляя всех возможных супов, которыми лакомились русские дворяне, вроде «стерляжьей ухи с шампанским», обратимся все же, следуя книге Е. Лаврентьевой, к закускам, предвещающим супы и горячие блюда. Одной из основных закусок была икра — зернистая, паюсная и кетовая⁴. Но Денис Давыдов пишет:

Другого завтрака нет, другого жаркого нет, как дупеля, облитые жиром. Потом свежие осетры и стерляди, потом ужасные величиной и жиром перепелки, которых сам травлю ястребами до двадцати в один час на каждого ястреба [Лаврентьева 2007: 496].

Иностранцев поражала расточительность, трата денег на пиры у русских бар. Жить роскошно означало иметь у себя дома изысканный стол. Имена знаменитых гастрономов той поры Е. Лаврентьевой называются. И конечно, первое место среди них занимает Иван Андреевич Крылов. Узнаем мы из книги Е. Лаврентьевой и то, что именно Франция переняла у русских обычай подавать блюда «по переменам», а ранее у французов было принято давать все сразу и котлеты стлы на столе вперемешку с овощными закусками. Узнаем мы и то, что роскошный пир вместе с балом среднебогатый дворянин мог давать только два раза в год, а отец Онегина давал «три бала ежегодно // И разорился наконец». Но нигде в огромной книге Е. Лаврентьевой не описывается обряд, подобный тому, какой мы читаем в «Евгении Онегине».

Резюмируя, скажу, что «брусничность» воды, видимо, была в романе не столь важной, она говорит лишь о некоторой «северности» имений Лариных, Онегина и Ленского. Также не столь значимо и происхождение варенья. Но ситуация с ложечкой(ками) остается загадочной, как и «известность» этого все-таки инициального «обряда».

Итак, обряд «послуженья», который мы застали в Сербии (и отчасти в Болгарии), среди русских обычаев оставался неизвестным и необычным.

IV

Особенность действительно классической, великой литературы состоит в том, что она, если можно так выразиться, «примелькивается». Наше внимание не останавливается на заученных с раннего детства привычных строках. Внимательные вопросы не получили бы ответа. Много зашифрованного и в «Евгении Онегине». Например, о Зарецком сказано: «Отец семейства холостой». Что это значит? А это ключ к тому, кто стоит за образом Зарецкого. Конечно, это легендарный граф Федор Иванович Толстой, «американец», живший долго вне брака с цыганкой Бугаевой, родившей от него двенадцать детей.

⁴ Иностранцы тогда икру практически не знали. И, судя по данным Е. Лаврентьевой, Наполеон Бонапарт, которому прислали зернистую икру в подарок, велел ее сварить.

Современная нарратологическая теория, обратившая внимание на «ключи», мелькающие в текстах, т. е. подсказки в разгадывании неких загадок, знаки, приводящие к другим текстам или раскрывающие тайну событий, развилась в самые последние годы [Ключи нарратива 2012].

Попробуем перейти к самому Пушкину и к его же тексту.

С весны 1823 г. по май 1824 г. в Одессе жила Амалия Ризнич, жена купца (негоцианта) Йована/Джованни/Ивана Ризнича.

Вторая глава «Евгения Онегина» была написана поздней осенью 1823 г. в Одессе. Третья глава «Онегина» до письма Татьяны была написана также в Одессе, но вся глава в целом была закончена уже в Михайловском в октябре 1824 г.

Итак, время написания этих глав совпадает с пребыванием госпожи Ризнич в Одессе. Известно, что Пушкин был страстно в нее влюблен, мучительно и ревниво, и поздно узнал о ее смерти в Италии уже в 1826 г. в Михайловском.

Дом Ризничей был открыт для гостей, которых принимали широко и любезно, а хозяйка дома поражала своей красотой. Специальную монографию посвятил ей знаменитый пушкинист П. Е. Щеголев (первоначальный вариант — 1904). Вот как он описывает прекрасную Амалию: «Относительно необыкновенной красоты А. Ризнич все современники согласны: высокого роста, стройная, с пламенными очами, с шеей удивительной формы, с косой до колен. Она ходила в необыкновенном костюме: в мужской шляпе; в длинном платье, скрывавшем большие ступни ног. Среди одесских женщин она была поразительным явлением» [Щеголев 1931: 258]. Поклонников у нее было много, хотя в самом высшем одесском обществе, т. е. в кругу Е. К. Воронцовой, она принята не была.

В шестой главе «Онегина» Пушкин пишет о ней, описывая Одессу его времени:

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит [Пушкин V: 207–208].

Впервые имя Амалии Ризнич как подлинной и потаенной любви великого поэта было названо в 1882 г. П. А. Ефремовым.

С тех пор и до сего дня пушкинисты спорят о количестве посвященных ей стихов. Например, поэт не мог посвятить ей стихотворение X, так как она уже уехала, а он был

в это время увлечен Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой. Напротив, именно Амалии он посвятил много позже стихотворение Y, так как только в это время он узнал о ее смерти, хотя прошли годы с тех пор, как она умерла. Наконец, поэт, конечно, думал о ней в минуту Z, так как в этом фрагменте его текста говорится о ревности вообще, а любовь его к Ризнич была связана с мучительной ревностью. (Предполагается, что мужчина среднего возраста мог в течение жизни ревновать только одну женщину.)

Но все-таки Пушкин был человеком, страдающим и любвеобильным. Об этом как-то забывают, и не мне об этом судить. Поэтому я только приведу те стихотворные тексты, которые разные исследователи связывают с именем Амалии Ризнич. В статье сознательно не рассматриваются расхождения пушкинистов, по-разному рассматривавших вопрос о связи каждого из этих текстов с именем Ризнич.

Простишь ли мне ревнивые мечты (1823)

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой?
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать, — с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною

Ты так нежна... Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю,
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжело я страдаю⁵.

Всё в жертву памяти твоей (1825)

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнания,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страдания⁶.

Под небом голубым страны своей родной (1826)

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковёрной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени⁷.

⁵ Цит. по [Пушкин II: 156]. Написано 11 ноября 1823 г.; напечатано в «Полярной звезде» в 1824 г.

⁶ Цит. по [Пушкин II: 285]. При жизни поэта стихотворение не публиковалось. Дата — 1825 г. — противоречит считающемуся общеизвестным факту, что о смерти Амалии Ризнич Пушкин узнал в Михайловском в 1826 г.

⁷ Цит. по [Пушкин II: 332]. Напечатано в «Северных цветах» за 1828 г. В рукописи — сокращенные записи о смерти Ризнич, а также о смерти декабристов.

Заклинание (1830)

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно, сюда! сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но тоскуя
Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!⁸

Для берегов отчизны дальней (1830)

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

⁸ Цит. по [Пушкин III: 194]. При жизни Пушкина стихотворение не печаталось. Написано 17 октября 1830 г.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...⁹

См. выше строфы из «Евгения Онегина» о молодой негодянке. См. также приписываемые исследователями Амалии Ризнич, не напечатанные поэтом строфы о ревности в главе шестой романа.

Но вернемся к проблемам, поставленным в начале нашей статьи. У красавицы Амалии Ризнич был муж. И этот муж был **сербом**, сыном богатого сербского купца, имевшим вначале банкирскую контору в Вене, потом занявшимся хлебными операциями в Одессе. Родился он в Дубровнике (Рагузе), где у отца была своя контора. Йован Ризнич был прекрасно образован, учился в Болонском университете. Он говорил на многих языках, был меломаном, активно поддерживал материально одесскую оперу. Человек он был светский, увлеченность Пушкина Амалией он замечал и говорил, что Пушкин увивался около Амалии «као маче» («как котенок»). Достаточно сказать о его светскости, что после смерти Амалии он женился на графине Паулине Ржевуской, сестре жены О. Бальзака Эвелины Ганской и сестре знаменитой Каролины Собаньской (которую ряд исследователей-пушкинистов, в частности А. А. Ахматова, считает, опираясь на ряд подлинных фактов, «настоящей» потаенной любовью Пушкина). Предполагается, что и прекрасная Амалия, которую принято считать итальянкой, тоже была сербкой, судя по прилагаемой ниже сербской статье.

Приводим статью о Ризнице 2011 г.

⁹ Цит. по [Пушкин III: 205]. При жизни поэта стихотворение не печаталось. Написано 27 ноября 1830 г.

Доктор Љубивоје Церовић

В САЛОНАХ ГОСПОЖИ АМАЛИИ
(отрывки)

Самым богатым одесским торговцем стал Йован Ризнич, который одно время был и директором городской оперы. Происхождением из Герцеговины, он закончил школу Доситея в родном Триесте, а юридический факультет в городах Падова и Вена. В Одессу прибыл в начале третьего десятилетия XIX в. и очень быстро разбогател, торгуя.

Во время войны России против Турции 1829 г., за услуги, которые оказал русским войскам, царь Николай Первый Романов наградил его Орденом святого Владимира и званием придворного советника. В следующем году Ризнич поступил на государственную службу. Он переехал в Киев, где стал директором Государственного банка. Вскоре он был продвинут в звание государственного советника. Со службы он ушел в 1853 г. и переехал в свое имение Гопчица вблизи Киева, где умер в 1861 г. Свою богатую библиотеку подарил Народной библиотеке в Белграде.

В доме Ризничей, в Одессе двадцатых годов XIX в. существовал знаменитый литературный салон. В нем собирались самые известные личности из политической, хозяйственной и культурной жизни города. Особое место в салоне принадлежало Александру Сергеевичу Пушкину. Душой упомянутого салона была жена Ризнича Амалия, которая принадлежала к знаменитой сербской графской семье Нако из Баната¹⁰. Амалия Ризнич была высокой, молодой и стройной красоткой с пламенными глазами, исключительно белым цветом лица и густыми, длинными черными волосами. Непрерывно окружена стайей обожателей, она любила развлечения, танцы, картежные игры, но современники свидетельствовали, что одновременно от нее веяло тоской, как будто она предчувствовала свой близкий конец. Пушкин сильно влюбился в Амалию, как только ее увидел.

Судя по стихам Пушкина, посвященным Амалии, между ними вспыхнула обольстительная страсть. Три года спустя Амалия умерла от туберкулеза в одном итальянском санатории. На весть о ее смерти Пушкин написал еще одно, теплое и грустное стихотворение. Нарисовал и ее портреты, которые находятся в рукописи «Евгения Онегина»¹¹.

Српско наслеђе
Историјске свеске
Број 5, мај 1998.

Осмелюсь предположить, что в гостеприимном и богатом доме серба Йована Ризнича обряд «послуженья» был обязательным и прекрасная Амалия разносила

¹⁰ Существенно то, что Амалия здесь именуется сербкой и, значит, выполняла обряд «послуженья», хотя графы-сербки как будто нам неизвестны.

¹¹ Перевод не мой.

гостям, дивившимся этой экзотике, блюдечки с вареньем и «хладну воду». Думаю, что Пушкин не ошибся, приписав этот необычный обряд простодушным северорусским Лариным, назвав его *известным*, т. е. «известным нам с тобой», сделав его как бы маленьким знаковым посланьем любимой женщине.

Литература

Анастасиевич 2011 — *И. Анастасиевич*. Еда в социалистической Югославии // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 422–431.

Буковац 1925 — *В. Буковац*. Мој живот. Београд, 1925.

Войводич 2011 — *Я. Войводич*. Мясо и мясные блюда (на примере русских помещиков XIX века) // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 392–404.

Вукадиновић 1912 — [*Радивој Ј. Вукадиновић.*] Белешке из здравља. Један леп српски обичај // Жена. 9. 1912. С. 572–573.

Гаврюшина 2011 — *Л. К. Гаврюшина*. Житие святого Саввы Сербского о пище духовной и телесной // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 168–180.

Загидуллина 2011 — *М. В. Загидуллина*. Пищевой код как смысловой центр национальной культуры и проблема глобализации // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 392–403.

Ключи нарратива 2012 — Ключи нарратива. М., 2012.

Лаврентьева 2007 — *Е. В. Лаврентьева*. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. М., 2007.

Лотман 1980 — *Ю. М. Лотман*. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980.

Лотман 1994 — *Ю. М. Лотман*. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX века). СПб., 1994.

Набоков 1998 — *В. Набоков*. Комментарий к роману «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Перевод с английского. СПб., 1998.

Николаева 2012 — *Т. М. Николаева*. Реконструкция единого «сна» у одиннадцати пушкинских героев // Т. М. Николаева. О чем рассказывают нам тексты? М., 2012.

Николаева 2015 — *Т. М. Николаева*. «Обряд известный угощения...» // Известия РАН. Сер. лит. и яз. Т. 74. №2. 2015. С. 28–35.

Перић 2008 — *Ђорђе Перић*. Слатко и вода // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 74 (1–4). 2008. С. 179–186.

Пушкин I–X — *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.–Л., 1950–1951.

Свирида 2011 — *И. И. Свирида*. Функции еды в иностранных описаниях России XVI–XVII вв. // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 255–269.

Ранчин 2011 — *А. М. Ранчин*. Что едят помещики в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 335–345.

Филатова 2011 — *Н. М. Филатова*. Роль пищевого кода в представлениях русских и поляков друг о друге // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 270–282.

Филимонов 1988 — *В. С. Филимонов*. Обед // В. С. Филимонов. «Я не в Аркадии — в Москве рожден...»: Поэмы, стихотворения, басни, переводы. М., 1988. С. 121–202.

Чавдарова 2011 — *Д. Чавдарова*. Пища и идентичность в русской и болгарской литературах XIX вв. // Коды повседневности в славянской культуре. Еда и одежда. СПб., 2011. С. 255–269.

Щеголев 1931 — *П. Е. Щеголев*. Из жизни и творчества А. С. Пушкина. М.–Л., 1931.

Tatiana M. Nikolaeva

*Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

ON A CERTAIN “BALKANISM” IN PUSHKIN’S WRITINGS

The author of the paper attempts to give a historical commentary to the famous passage from “Eugene Onegin”, where one can read about a custom “of hospitable ancients” — to entertain one’s visitors with jam during dinner time. The author traces a connection between the poet’s notice and the Balkan “ceremony of serving”, which was widely spread in Serbia and noticed by local antiquities scholars and memoirists. The paper raises up a question, whence the poet borrowed the information about such a custom. It is cleared out that the thorough studies of the Russian table ceremonial and the Russian everyday life keep silence on such a practice. The author puts forward a hypothesis that Pushkin could oversee the Balkan custom in the house of Jovan Riznich he visited during his Odessa exile. Pushkin was in love with Amalia Riznich and some of his poetical works were supposedly addressed to her. By referring to the Balkan custom in his verse novel, making this custom a part of the everyday life of Russian provincial landlords, Pushkin gave his beloved a secret sign. Thus the detail of everyday life turned out a part of an encoded intimate message.

Keywords: Pushkin, Amalia Riznich, everyday life, Russian feast, history of Russian cuisine, Serbia.

Ольга Матич
Калифорнийский университет в Беркли
(США)

ЗАМЕЧАНИЯ О ПАМЯТИ И ТЕМПОРАЛЬНОСТИ У ДОСТОЕВСКОГО

«Замечания о памяти и темпоральности у Достоевского», в первую очередь в «Братьях Карамазовых» и «Идиоте». Различие между обычным хронологическим временем, обусловленным репрезентацией прошлого, настоящего и будущего, -- и вневременной темпоральностью. В статье рассматривается соотношение памяти и времени с точки зрения «долгого времени спустя» и воспоминания на «всю жизнь» в романах «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание», где будущее проецируется на прошлое, а персонажи сохраняют его в памяти за временными рамками романа. В отличие от них, воспоминания в «Идиоте», имеющие столь важное значение в романе, приравниваются только к прошлому (оно нависает над настоящим), потому что у Настасьи Филипповны нет будущего, а Мышкин в конечном итоге полностью теряет память. Повествования воспоминаний в «Идиоте» относятся не только к главным, но и некоторым второстепенным персонажам, с той разницей, что воспоминания последних вымышлены — они проецируют их в историческое прошлое и тем самым пародируют лейтмотив памяти. Основываясь на том, что в романах Достоевского лишь открытые финалы дают надежду на будущее, данная работа предлагает две временные арки: первая — открытая, как в «Братьях Карамазовых» и «Преступлении и наказании», вторая закрытая, как в «Идиоте». Другие рассмотренные формы времени: темпоральность порога, пространственное, развернутое, ускоренное, замедленное, остановленное и апокалиптическое время.

Ключевые слова: Память, воспоминания, время (прошлое, настоящее, будущее; «долгое время спустя» и «задолго прежде»; темпоральность порога, незавершенность повествовательного времени, настоящець, «времени больше не будет»), открытые и закрытые финалы, пародия, эпилептическая аура, падшая женщина.

Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг... вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним... выходил на лестницу и слушал... как похаживал там внизу Федор Павлович, — слушал подолгу... со странным каким-то

любопытством... и с биением сердца, а для чего он все это проделовал, для чего слушал — конечно, и сам не знал. Этот «по поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и... считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни [Достоевский 14: 251].

Иван Карамазов ночью, перед отъездом из города, слушает на лестнице, как ходит внизу его отец. Несколько лет тому назад я указала Виктору Марковичу на этот пассаж как на интересный пример проекции будущего на прошлое у Достоевского; он согласился с тем, что в этом пассаже задействовано необычное повествовательное время, и посоветовал мне написать о нем, что я и сделала. Предмет моих заметок — память и темпоральность в романах Достоевского, в первую очередь в «Братьях Карамазовых» и более раннем «Идиоте», а также различие между обычным хронологическим временем, обусловленным репрезентацией прошлого, настоящего и будущего, — и вневременной темпоральностью.

Интересно было бы спросить о смысле этого пассажа человека, читающего роман впервые. Иван сам не понимал своих чувств в настоящем и проецировал на прошлое свои будущие воспоминания о них. Воспоминание о самом дурном из всего им совершенного таинственно не потому, что он сохраняет его в памяти, а потому, что он сохраняет его в памяти за временными рамками романа. Наложение будущей оценки самого мерзкого поступка на описание его поведения в прошлом (подслушивания на лестнице) легко упустить из виду¹. Воспоминание Ивана говорит о пробуждении его совести, которому так упорно противостояло его «все позволено»². То обстоятельство, что слова «мерзкий» и «по поступок» взяты в кавычки (предмет мыслей, приходящих Ивану в голову, — отцеубийство, которое, как мы знаем, в романе не описано), свидетельствует о моральной оценке повествователя, устами которого говорит сам автор.

Дайен Онинг Томпсон, один из двух известных мне исследователей, писавших об этом пассаже, утверждает, что «это не Иван, а повествователь “вспоминает о будущем”; [это он обладает. — О. М.] “избытком” памяти» [Thompson 1991: 150]³, но Томпсон не делает различия между повествователем-хроникером и всеведущим автором-повествователем. Этим избытком обладает последний, которому непре-

¹ Ночной эпизод коротко упоминается еще лишь однажды — после второго визита Ивана к Смердякову вскоре после убийства отца, когда он понимает значение своего воспоминания: он желал ему смерти, но во второй раз отсутствует отсылка к будущему времени («потом долго спустя» и «всю свою жизнь»).

² Иваново высказывание («Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено») обсуждается Миусовым, Ракитиным и Смердяковым, но момент, когда Иван произносит эти слова у Зосимы, в тексте не воспроизводится [Достоевский 14: 76]. Свое «все позволено» Иван повторяет в ответ на вопрос Алеши, действительно ли «все позволено». В каком-то отношении этот прием можно сравнить с тем, как Достоевский проецирует будущее на прошлое в воспоминании Ивана, только здесь прошлое проецируется на настоящее: об этом важном Ивановом высказывании читатель узнает из, так сказать, воспоминаний о нем. Этот прием может запутать читателя: поскольку знаменитая формула повторяется не однажды и приписывается Ивану, читатель зачастую полагает, что слышал ее от самого Ивана.

³ Здесь и далее перевод мой.

менно нужно обозначить происхождение Ивановой совести во времени и приятие им коллективной моральной ответственности, столь важной для Достоевского. Кажется сомнительным, что повествователь-хроникер проник в тайники души самого сложного и противоречивого из братьев, хотя Томпсон и пишет, что он в некоторых случаях «выходит за пределы своей точки зрения». Известный американский славист Гэри Сол Морсон утверждает, что Ивановы «парадоксальные слова (о гнусном поступке) становятся *смертным приговором*: в “Братьях Карамазовых” орудием убийства является речь. Или, точнее, метаречь». Парадокс, по его мнению, заключается в том, что говорится о «поступке» (убийстве), который не Иван совершает [Morson 1988: 91]. Прочтение Морсона, безусловно, проливает свет на метауровень этого пассажа, но к темпоральности отношения не имеет.

Ивановы воспоминания о будущем, конечно, можно объяснить тем, что Достоевский намеревался писать продолжение, о чем повествователь-хроникер сообщает нам в предисловии. Он говорит, что события, о которых он будет рассказывать, произошли примерно тринадцать лет назад (речь об убийстве Федора, которое он называет «катастрофой»), но главное его намерение состоит в том, чтобы написать биографию его «главного, хотя и будущего героя» — Алексея Федоровича Карамазова: эти слова хроникера можно назвать метаописанием будущего, спроецированного на прошлое. Как мы знаем, однако, биография не была написана.

В другом месте, вне связи с этим пассажем, Морсон пишет, что предвестие (как литературный прием) предполагает «перенос будущего в прошлое. Следовательно, оно фальсифицирует прошлое, которое не содержало будущего, ставшего его следствием» [Morson 1994: 182]. Первая часть этого утверждения всецело применима к нашему пассажи, но о фальсификации прошлого говорить приходится лишь в том случае, если мы сомневаемся в исходных чувствах Ивана. Память действительно зачастую фальсифицирует прошлое, но Иваново воспоминание не об этом, а о возникающем чувстве моральной ответственности. К тому же Морсон, как бахтинист, предпочитает «непредвосхищенное» (*unforshadowed*) повествование — потому что, как он пишет, «предвестие отнимает у настоящего момента его “настоящесть” (*presentness*, упор на настоящее время и его процессуальность)», к которой наш пассаж, напротив, отсылает: память по определению делает прошлое настоящим, которое в данном повествовательном случае переносится в будущее.

Если бы «потом долго спустя» и «всю жизнь» ограничивались «Братьями Карамазовыми», то следовало бы оценивать их как намерение Достоевского и его повествователя написать продолжение, но эти «потом долго спустя» и «всю жизнь» имеются и в других романах, для которых продолжения задумано не было⁴, а именно в «Преступлении и наказании» и «Подростке». Шестая часть «Преступления и наказания» начинается так:

⁴ Хотя «Преступление и наказание» заканчивается словами о том, что сибирское преобразование Раскольникова может быть предметом нового романа, продолжения Достоевский не задумывал.

Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело и что так продолжалось, с некоторыми промежутками, вплоть до окончательной катастрофы <...> что [он. — *О. М.*] во многом тогда ошибался, например в сроках и времени некоторых происшествий... припоминая впоследствии и силясь уяснить себе припоминаемое [Достоевский 6: 335].

Тут можно увидеть предвосхищение (пролеписис) эпилога, но в эпилоге об этом не говорится; в романе есть и другие отсылки к позднейшим мыслям Раскольниковва, в которых прошлое сливается с будущим⁵. Другой пример: Разумихин на «всю жизнь» запомнил момент, когда он наконец понял, что процентщицу убил Раскольников; как и в «Братьях Карамазовых», осознание этого случается на пороге (в коридоре около лестницы), в пространстве, маркирующем переход повествования в другой временной режим — через настоящее вписывающий будущее в прошлое:

В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проникал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец. — Понимаешь теперь?.. — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. <...> быстро повернувшись, пошел из дому... [Достоевский 6: 240].

Мы знаем, что у Разумихина есть будущее, но отсылка к этому моменту в романе не будет.

Возвращаясь к воспоминанию Ивана, следует добавить: когда он узнает, что убийца — Смердяков, он готов взять на себя вину за отцеубийство, но в суде его признание не принимается как сделанное в горячке. К тому же суд происходит вскоре после «катастрофы», а не долгое время спустя.

Пассаж, которому я уделила столько внимания, напоминает описание пережитого Алешей духовного экстаза, когда в его душу входит дух Зосимы и он целует землю, не понимая, отчего он это делает: «Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты» [Достоевский 14: 328]. Разница тут в том, что это — хорошее воспоминание, символизирующее коллективную ответственность. Память о ней разрешает его сомнения раз и навсегда. Хорошие воспоминания лягут в основу Алешиной речи у камня в самом конце эпилога, в которой он говорит мальчишам, что все они будут помнить Илюшу до конца жизни и что воспоминания о нем

⁵ Так, долго спустя он пытается понять, зачем, измученный дурным сном об избииении старрой клячи, все равно пошел домой длинной, непрямой дорогой и оказался на Сенной площади, где узнал о том, что Лизаветы вечером не будет дома, — и его судьба была решена.

навсегда свяжут их друг с другом⁶. Разница тут в том, что эти слова произносятся Алешей в повествовательном режиме «прямой речи», т. е. в настоящем времени, и отсылают к будущему. Это — стандартная последовательность грамматического времени, отличающаяся от сложной временной структуры в загадочном пассаже, относящемся к чувствам Ивана.

Перейдем к «Идиоту». В этом романе время в будущем фигурирует лишь иронически: прежде чем начать читать «Мое необходимое объяснение» с цитатой из Людовика XIV («Après moi le deluge!»)⁷, Ипполит говорит: «И какое нам всем до того дело, что будет *потом!*» или «Завтра “времени больше не будет”!». Последняя фраза отсылает к Книге Откровения, и все три, можно сказать, суммируют «будущее потом» «Идиота», которого в романе нет ни у Ипполита, ни у Настасьи Филипповны с Мышкиным. «Потом» возникает у Ипполита и в описании снятого с креста тела Христова у Гольбейна: тело это должно было вселить в тех, кто был рядом, ужасающую мысль о смертности Спасителя, от которой им уже никогда невозможно было бы отделаться⁸.

Вместо долгого времени спустя у Мышкина и Настасьи Филипповны имеется «задолго прежде»: в ее случае это время представлено предысторией, рассказанной словоохотливым повествователем, излагающим ее с позиции Тоцкого, а не Настасьи и на свой манер. В «Проблемах поэтики Достоевского» М. М. Бахтин пишет, что в его романах «нет причинности... нет объяснений из прошлого... Каждый поступок героя весь в настоящем и в этом отношении не предопределен...» [Бахтин 6: 37]. И Морсон пишет, что «Идиот» определяется «сильным ощущением настоящего времени», позволяющим свободнее экспериментировать с «постоянным процессом», в котором время остается открытым⁹.

Но, как мы знаем, для героя и героини «Идиота» важную роль играют как далекое, так и недавнее прошлое, которые вписываются в настоящее, но не только.

⁶ В той же речи он внушает им мысль о великой важности хорошего воспоминания — которого, что существенно, у Ивана нет.

⁷ После меня хоть потоп.

⁸ Ипполит говорит: «Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей <...> люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидеть свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взмог на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину» [Достоевский 8: 339]. Несмотря на проникновенность исповеди Ипполита, Ганя затем сравнивает его с комическими персонажами Гоголя: Пироговым и Ноздревым в трагедии.

⁹ Работая над «Идиотом», «Достоевский явно осознал, что время и процесс суть главные его темы. Морсон пишет, что повествовательная структура «Идиота» напоминает «рулетку»: она дает автору ряд возможных вариантов в настоящем времени, тогда как всей картины он не видит и, чем закончится роман, не знает [Morson 2002: 226–230]. Эти высказывания Морсона описывают процесс написания романа, а не его окончательный вариант, который обсуждается в этой статье.

При их первой встрече на карнавализованном пороге — в буквальном смысле — в квартиру Гани Настасья Филипповна принимает князя за лакея и, подобно Медузе, от чьего взгляда каменели, превращает его в истукана, затем, еще не избавившись «от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны, <он> стоял “столбом” на прежнем месте своем, в дверях гостиной» (на пороге) [Достоевский 8: 88]¹⁰.

Что не менее важно, они узнают друг друга по иной онтологической темпоральности, по альтернативному прошлому, задающему другой хронотоп¹¹. Возникает вопрос: может ли альтернативное «далекое прошлое» Настасьи Филипповны и Мышкина перейти в настоящее и «далекое будущее», где она освободилась бы от позора, которым в XIX в. покрывалась падшая женщина? Такое повествование означало бы торжество этической темпоральности хриstopодобного Мышкина, имея в виду его роль как спасителя падшей женщины. Свое восприятие Настасьи Филипповны как падшей женщины Мышкин высказывает в день ее именин, называя ее «честной» (отсылая тем самым к Марии Магдалине). И, как уже было сказано, зыбкое воспоминание об их вневременном прошлом свидетельствует об иной, внебиографической темпоральности.

С этической точки зрения прошлое Мышкина определяется идиллически-христианским рассказом о Мари — рассказом, в котором он спасает падшую женщину в Швейцарии. Предшествуя первому появлению в романе Настасьи Филипповны, этот рассказ как бы предвещает возможность ее спасения в будущем, чаемое для нее Мышкиным «долго после». Но, как читатель знает, Мышкину не удастся выполнить своей главной «нравственной» задачи: травмирующие воспоминания Настасьи Филипповны о потере невинности, ее предыстория с Тоцким определяют ее поведение в хронологическом времени романа¹². Иными словами, память в «Идиоте» не проецируется на будущее, а однозначно приравнивается к прошлому, которое нависает над ее настоящим.

Мышкин не только существует в настоящем и прошлом, но и продлевает моменты времени и размещает их в пространстве. Мысли двоих приговоренных

¹⁰ Затем Настасья Филипповна князя спрашивает: «...почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбняющего?» [Достоевский 8: 89].

¹¹ Константин Мочульский пишет, что «в метафорическом плане героиня <“Идиота”> есть “образ чистой красоты”, плененной “князем мира сего” и в темнице своей ждущем избавителя. <...> Душа мира — прекрасная Психея, пребывавшая в лоне божества, на грани времени, отпала от Бога. <...> Так происходит мистическая встреча двух изгнанников из рая. Смутно помнят они о небесной родине... как “во сне”» [Мочульский 1947: 308–309]. Отсылая к грехопадению Настасьи Филипповны, Мочульский помещает ее в иной временной режим, «мифический», в котором она надеется на приход спасителя.

¹² Стоит вспомнить, что ее прошлое рассказывается не самой Настасьей Филипповной, а повествователем, который не является всеведущим и зачастую пересказывает сплетни. В данном случае о ее прошлом повествуется с точки зрения Тоцкого, совратителя Настасьи Филипповны, в дискурсе, который отчасти пародирует сентименталистское повествование, местами напоминающее «Бедную Лизу» Карамзина (тихий деревянный домик, сельцо Отрадное, синяки фортуны, деревенька, Барашкова). О литературных прототипах Настасьи Филипповны см. [Matich 1987].

к смерти перед самой казнью, о которых он рассказывает ранее у Епанчиных, — примеры таких продленных моментов; Анри Бергсон мог бы определить их как *durée*¹³, а Бахтин — как метаописание повествовательной архитектуры Достоевского, в которой повествование ведется не во времени, а в пространстве. Один из приговоренных остается жить; Мышкин воображает мысли того, который *был* казнен, живо размещая в пространстве время, в течение которого заключенный едет к месту казни («Еще долго, еще жить три улицы остается; вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо... еще когда-то доедем до булочника!» [Достоевский 8: 55]); наконец — последний продленный момент перед самой казнью. Заключенному, чью казнь отменили в последний момент, последние пять минут казались бесконечными — его не отпускала мысль о том, что если бы ему даровали жизнь, то это была бы настоящая «вечность» и он бы жил, не упуская ни единого мгновения; этому, понятно, быть не суждено.

Самый пространственный пример продленного времени — это воспоминания Мышкина о начале эпилептического припадка¹⁴. Первый припадок в самом романе случается с ним на лестнице — «пороге», который у Достоевского обычно означает промежуточное состояние, в данном случае — между настоящим и продленным временем. (В пассажах из «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания» (о Разумихине) порог обозначает «межпространство», которое опосредует прошлое и будущее.) Вспоминая так называемую эпилептическую ауру, когда экстатический момент продлевается и сгущается, Мышкин думает о нем как о состоянии гармонии и высшем синтезе жизни: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!» <...> в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что *времени больше не будет*, — отсылая к Откровению [Достоевский 8: 188–189]¹⁵.

На пике своей напряженности повествование в «Идиоте» напоминает темпоральность эпилептического припадка, описанного в романе как высшая точка временного сосредоточения, в которой время останавливается. В большинстве случаев, однако, такое повествование изображает «вихревое» время, обуславливающее темпоральность скандальных сцен у Достоевского. В «Идиоте» главную роль в них исполняет Настасья Филипповна — это она как бы останавливает время, начиная со своего первого появления в романе на пороге, где ее взгляд превращает Мышкина в истукана, а затем в столб.

¹³ По Бергсону, «вселенная *длится*. Чем глубже мы постигаем природу времени, тем яснее понимаем, что длительность есть изобретение, создание форм, непрерывная разработка абсолютно нового. Системы, отмежеванные наукой, длятся лишь потому, что они неразрывно связаны с остальной Вселенной» [Bergson 1983: 11].

¹⁴ Сам Достоевский, как известно, знал оба этих режима продленного времени — и промедление перед казнью, и ауру перед эпилептическим припадком.

¹⁵ Отсылка к этой фразе из Откровения есть в «Братьях Карамазовых»: Зосима относит апокалиптическую темпоральность («времени более не будет») к состоянию грешников в аду, но это делается в рамках длинных экскурсов в его прошлое и поучения, которые хотя и нарушают «настоящность» романного повествования, не предлагают альтернативы биографическому времени романа.

«Братья Карамазовы» тоже изобилуют скандальными сценами, но в романе отсутствует то, что напоминало бы продленный экстагический момент Мышкина, который Бергсон мог бы назвать опытом крайней длительности (*durée*), отличной от биографического времени. Момент Алешиного озарения, когда он целует землю, — напоминающий такой продленный момент, — не описывается в категориях сгущенного времени или сдвига в иную темпоральность. «Времени больше не будет» — равно как и желание, чтобы его больше не было, — не относится к «Братьям Карамазовым». В отличие от «Идиота», в котором главные герои будущего не имеют, в этом романе господствует незавершенность и открытость повествовательно-го времени, к чему отсылает память Ивана (проекция будущего на прошлое).

В «Идиоте» есть отсылки не к будущему в хронологическом времени, но к положительно окрашенной «иномирной» темпоральности, противодействующей убийству Настасьи Филипповны, тяготеющему над ее будущим, — однако эти отсылки суть лишь летучие миги из других онтологических времени и пространства, не производящие длительного воздействия. Вместо продлевающих время воспоминаний Мышкина об экстагическом мгновении, предшествующем эпилептическому припадку, или его швейцарских воспоминаний о вечной гармонии с природой роман заканчивается торжеством всецело отрицательного апокалиптического видения, которое облекает в слова Лебедев, (лже)толкователь Откровения. Он утверждает, что третий, вороной конь и всадник уже у самого Петербурга; конец света он связывает с «модерным» ускорением хода времени, обозначенным у него, как другие уверяют, железными дорогами¹⁶. Отнеся представление Лебедева о конце света к финальной «катастрофе», мы можем истолковать ее как апокалиптическое «времени больше не будет» — темпоральность, в которой по определению нет места ни воспоминаниям, ни будущему.

«Задолго прежде» пародируется в «Идиоте» тем же Лебедевым и другим шутком, генералом Иволгиным. Любимым гротескным рассказом Виктора Марковича в «Идиоте» была история Лебедева о том, как тот похоронил на Ваганьковском кладбище свою левую ногу, отстреленную во время взятия Наполеоном Москвы в 1812 г., — рассказ, которым определяется пародийное «давно» Лебедева¹⁷. Витя любил вспоминать и пересказывать его. Мы слышим эту историю не от самого Лебедева, а от столь же увлекающегося рассказчика, Иволгина. Надпись на одной стороне памятника якобы гласит: «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева»; надпись на другой — «Покойся, милый прах, до радостного утра» [Достоевский 8: 411]¹⁸, отсылка к Откровению Иоанна Богослова; Лебедев же якобы ежегодно ездит в Москву слу-

¹⁶ В этом отношении следует отметить, что Мышкин приезжает в Петербург из Швейцарии на поезде, с чего и начинается роман.

¹⁷ Причудливое, зачастую пародийное повествование характерно для «Идиота» в большей мере, чем, пожалуй, для какого бы то ни было другого романа Достоевского.

¹⁸ Слова «Покойся, милый прах, до радостного утра» из «Эпитафий» Н. М. Карамзина были высечены на надгробном камне могилы матери братьев Достоевских, умершей в 1837 г. Комментируя пародийное использование той же эпитафии в «Идиоте», Ю. Н. Тынянов пишет, что «Достоевский переносил... трагические черты действительной жизни в произведения, иногда резко меняя их эмоциональную окраску на комическую» [Тынянов 1977: 215].

жить по ней панихиду. У Иволгина есть свой нелепый рассказ про 1812 г.: о том, как его, десятилетнего, сделал своим камер-пажом сам Наполеон и как близко он сошелся с императором. В «Идиоте» рассказы о 1812 г. пародируют не только «давным-давно», бери выше: Лебедев и Иволгин вписывают себя в саму историю¹⁹.

Так почему же я противопоставляю друг другу темпоральности «Братьев Карамазовых» и «Идиота»? В первую очередь, говоря о памяти, я вспоминаю, как Витя отозвался на воспоминание Ивана, спроецированное на будущее, и его любимый гротескный рассказ из «Идиота». Во вторую: воспоминание, спроецированное на неведомое будущее в «Братьях Карамазовых» (и в «Преступлении и наказании»), отображает возможность будущего для главных героев романа, причем такого, которое предполагает искупление и моральную ответственность, тогда как в «Идиоте» торжествует апокалиптическое разрушение.

Книга Откровения, однако, фигурирует и в конце эпилога «Преступления и наказания»: за апокалиптическим сном Раскольникова о моровой язве, пришедшей в Европу из Азии, следует образ полного умиротворения, знаменующего собой начало его искупления; оно является ему на берегу реки, с которого он наблюдает пасторальную сцену: «...там как бы самое время остановилось». Как мы знаем, роман кончается на вполне обнадеживающей ноте: «Тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека» [Достоевский 6: 421–422]²⁰.

В отличие от зрелых романов, написанных в России, заграничные «Идиот» и «Бесы» в конечном счете определяются апокалиптическим разрушением. В «Бесах» слова «времени больше не будет» произносит Кириллов, вкладывая в них утопический смысл: когда человек поймет, объясняет он Ставрогину, что счастлив в этом мире, время остановится. Но «Бесы» заканчиваются не утопией, а всеобъемлющей трагедией, обусловленной словами из Евангелия от Луки: «Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло». Степан Трофимович применяет притчу и к своему поколению, и к поколению сыновей, в которых вселились «все язвы, все миазмы, вся нечистота... накопившиеся в великом и милом нашем большом, в нашей России». При этом он верит, что, когда они все потонут, «больной исцелится» [Достоевский 10: 498–499]. Его интерпретацию притчи можно «приравнять» к апокалиптическим чуме и моровой язве, несущим всеобщее бедствие²¹.

Получается, что в романах Достоевского лишь открытые финалы дают видимость надежды — не только в «Братьях Карамазовых», но и в «Преступлении

¹⁹ История Лебедева, рассказанная Иволгиным, — и мой любимый гротескный рассказ у Достоевского.

²⁰ Знаем мы и то, что Бахтин считал Эпилог неудачей — потому, что в нем Достоевский отказывает Раскольникову в полифоничности, изображая его «извне», а не «изнутри».

²¹ В отличие от «Бесов», в «Подростке», где Версиков, стремясь отговорить Аркадия от намерения стать Ротшильдом, описывает конец света как следствие капиталистической алчности, разрушившей дорогие ему дворянские нравственные устои, роман кончается скорее на позитивной ноте: будущее Аркадия может быть светлым.

и наказании» и «Подростке» — и писал он их в России, а не на чужбине. Отсрочка будущего в «Братьях Карамазовых» является примером повествовательной незавершенности у Достоевского, которой не дано ни князю Мышкину (его ждет возвращение идиотии и потеря памяти), ни другим главным персонажам «Идиота».

Остается вопрос о настоящем времени, которое, согласно Бахтину, определяет повествование и «событийность»²² у Достоевского. Рассуждая о памяти в его романах, Бахтин пишет, что персонажи Достоевского «помнят из своего прошлого только то, что для них не перестало быть настоящим и переживается ими как настоящее: неискупленный грех, преступление, непрощенная обида» [Бахтин 6: 37]. Такими являются воспоминания Настасьи Филипповны о ее соращении Тоцким еще в подростковом возрасте, предотвращающем искупление в будущем. В воспоминании Ивана о своем самом мерзком поступке, однако, присутствует ему еще неизвестное будущее, которое сложным образом сосуществует с прошлым. Ярким примером продленного, или экстенсивного, настоящего времени является его «опространствливание» в рассказе Мышкина о приговоренных к смерти — на пороге между настоящим и их будущим, в котором «времени больше не будет». Сам Мышкин готов «отдать всю жизнь», чтобы испытать это (апокалиптическое?) состояние в биографическом времени, которое он вспоминает, а не переживает в настоящем времени.

В связи с последними двумя примерами возникает еще один экзистенциальный вопрос, имеющий отношение к «настоящести» в романах Достоевского: не испытывал ли временами сам автор желание уйти от неумолимого настоящего времени? Пространное обсуждение этой темы должно остаться за пределами этой статьи, но в связи с временем у Достоевского Бахтин пишет, что он «стремился к драматическому принципу единства времени», что его романы свидетельствуют не о торжестве времени, а о преодолении его. Как Бахтин утверждает, «быстрота — единственный способ преодолеть время во времени» [Там же]. Как я не раз указывала в этой статье, апокалиптическое «времени больше не будет», переходы в иную темпоральность, отсылки к будущему и к памяти в будущем на время перечеркивают «настоящсть» у Достоевского, но не «одновременность», которая, по утверждению Бахтина, и является характерной чертой «настоящести». Для него «настоящсть» и «одновременность» сосуществуют,

²² Бахтин противопоставляет «событийность» обычному биографическому времени, событийности лишенному. В «Братьях Карамазовых» слово «событие» обозначает три важных для романа происшествия: мальчики бросают в Илюшу камень, который попадает ему в грудь, от чего он заболевает и умирает; тело Зосимы начинает разлагаться, и Алешина вера в Бога подвергается испытанию; совершается убийство Федора Павловича, за которое ошибочно осуждают Митю. Явившись Ивану, черт сетует на то, что его функция в мире — устраивать события: «...живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот я служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу» [Достоевский 15: 77].

а не противопоставляются. Повествовательные переходы в иную темпоральность (на пороге, продленные моменты, воображаемое будущее), однако, вряд ли имеют отношение к ускорению времени и к «вихревому движению» событий, о котором пишет Бахтин²³.

Кода

Размышляя над этими вопросами, я вспоминала Витю и сокрушалась, что не могу их с ним обсудить, — ведь он был моим любимым собеседником в разговорах на самые разные темы. Коллективную же память о нем хранит наша русско-американская «задруга» в Беркли²⁴, которая всегда с нетерпением ожидала его приезда во второй половине академического года. С Витей она вела более насыщенную и оживленную жизнь — жизнь, в которой, если говорить языком «достоевсковедов», преобладала «настоящность». Когда Витя приезжал, наступала весна — календарная и метафорическая. После смерти Виктора Марковича перед его кабинетом больше месяца стояли свежие цветы, которые приносили студенты. Из дурашливых воспоминаний: я никогда не забуду, как однажды в Лос-Анджелесе, после веселого вечера у Александра Осповата, мы с Витей пытались танцевать вальс в лифте под аккомпанемент Маши²⁵, тихо напевавшей нам «На сопках Манчжурии», — но это было давно, очень давно.

Литература

Бахтин 1–7 — *М. М. Бахтин*. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1997–2016 (издание продолжается).

Достоевский 1–30 — *Ф. М. Достоевский*. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1972–1990.

Мочульский 1947 — *К. Мочульский*. Достоевский: Жизнь и творчество. Париж, 1947.

Тынянов 1977 — *Ю. Н. Тынянов*. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 198–226.

²³ Бахтин заимствовал «вихревое движение» Достоевского как характеристику повествования в его романах у Леонида Гроссмана.

²⁴ Из русских к берклийской «задруге» принадлежали Ирина Паперно, Юрий Слезкин, Григорий Фрейдин, из американцев — Виктория Боннелл, Эрик Найман и Энн Несбет, из немцев — Иохим Клейн, из американцев немецкого происхождения — Виктория Фреде, из американцев русского происхождения — Ольга Матич (впрочем, вышеупомянутые русские тоже являются американцами русского происхождения, только более позднего разлива). Также к ней принадлежали Ольга Раевская-Хьюз и Роберт Хьюз, еще один настоящий американец, и до их перехода в Колумбийский университет — Алан Тимберлейк и Лайза Кнэпп.

²⁵ Мария Константиновна Поливанова — жена Виктора Живова. В жизни нашей «задруги» она занимала центральное место.

Bergson 1983 — *H. Bergson. Creative Evolution* / Trans. A. Mitchell. New York, 1983.

Matich 1987 — *O. Matich. What's to Be Done about Poor Nastja: Nastasja Filippovna's Literary Prototypes* // Wiener Slawistischer Almanach. 19. 1987. S. 47–64.

Morson 1988 — *G.M. Morson. Verbal Pollution in The Brothers Karamazov* // Fyodor Dostoevsky's *The Brothers Karamazov* / Ed. by Harold Bloom. New York, 1988. P. 85–96.

Morson 1994 — *G.M. Morson. Narrative and Freedom: The Shadows of Time*. New Haven, 1994.

Morson 2002 — *G.M. Morson. Conclusion: Reading Dostoevskii* // Cambridge Companion to Dostoevsky / Ed. by W.J. Leatherbarrow. Cambridge, 2002. P. 212–234.

Thompson 1991 — *D.O. Thompson. The Brothers Karamazov and the Poetics of Memory*. Cambridge, 1991.

Olga Matich

University of California, Berkeley
(USA)

NOTES ON MEMORY AND TEMPORALITY IN DOSTOEVSKY'S NOVELS

“Notes on Memory and Temporality in Dostoevsky's Novels,” especially in *The Brothers Karamazov* and *The Idiot*. Differences between ordinary chronological time, defined by the past, present, and future, — and timeless temporality. The essay considers the relationship between memory and time from the perspectives of the “long time after” and the “rest of one's life” in *The Brothers Karamazov* and *Crime and Punishment*, in which the future is projected into the past to be remembered beyond the temporal bounds of the novel. By contrast, memories in *The Idiot*, which have such an important function in the novel, pertain only to the past (it defines the present) because Nastas'ia Filippovna has no future, and Myshkin loses his memory at the end. Narratives of memory in *The Idiot* pertain not only to its main, but also some of its minor characters, with the difference that the latter's falsified memories are projected into history, thereby parodying the novel's leitmotif of memory. Premised on the claim that only Dostoevsky's open endings offer hope for the future, my essay suggests two temporal arcs: the first is open, as in *The Brothers Karamazov* and *Crime and Punishment*; the second, closed, as in *The Idiot*. Other discussed forms of temporality: threshold, spatialized, expanded, accelerated, impeded, stilled, and apocalyptic time.

Keywords: memory, memories, time (past, present, future; “long time after” and “long time before;” threshold, unfinalizability, presentness, “there will be no more time”), open and closed endings, parody, epileptic aura, fallen woman.

М. И. Лекомцева
(Москва, Россия)

ПОЭМА БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»: СЕМАНТИКА ГРАММАТИКИ

В статье изучается грамматическая структура поэмы Александра Блока «Двенадцать» и подчеркивается, что амбивалентность структуры является результатом осознанного авторского выбора. Показано, что идентификация речевых масок — одна из трудных задач при восприятии текста, но именно они дают ключ к идентификации анонимных персонажей. Анализ приводит к выводу, что Блок наметил их ролевые функции, но сделал их носителей взаимозаменяемыми. На грамматическом уровне это подчеркнуто частотностью употребления неопределенных местоимений. Все действия персонажей описываются эллиптическими конструкциями с субъектами, выраженными неопределенными местоимениями. Это создает эффект неопределенной угрозы, подозрительности и безответственности.

Анализ глагольной структуры выявляет частотность использования императива и инфинитива в различных функциях. Сочетанием этих глагольных форм обозначены главные вехи развития сюжета. Показано, что частеречная семантика существительных направлена на раскрытие особенностей группового сознания революционного отряда. Грамматически оно характеризуется гипостазированием, неразличением причинно-следственных отношений, прямого и переносного значений — «реализацией» метафоры и метонимии,

Особый акцент в статье сделан на анализе финала поэмы. Блок использует в нем назывные предложения, глаголы отсутствуют, т. е. отсутствуют время и модальность. Анализ вскрывает присутствие в поэме скрытого *Ich-Erzählung*. В финале это проявляется в описании невидимого персонажам, но видимого «всезнающему» автору явления иконы Воскресения Христова.

Ключевые слова: Блок, поэма «Двенадцать», *Ich-Erzählung*, местоимения, императивы, инфинитивы и их функция, речевые маски персонажей, финал.

Известно, что поэма Блока с момента ее публикации в 1918 г. вызывала и до сих пор вызывает самые противоречивые отклики читателей, критиков и исследователей. Эта противоречивость запрограммирована автором, создавшим текст с амбивалентной структурой, по самой своей природе не предназначенной для

однолинейной интерпретации. Одним из ключей к поэме является ее грамматическая структура, анализу которой и посвящена настоящая работа.

В «Двенадцати» сталкиваются два мира — старый (погибший мир дореволюционной России) и новый революционный мир. Они явлены в персонажной структуре поэмы, а персонажи, в свою очередь, определяются через речевые характеристики. О. Мандельштам недаром назвал поэму Блока большой драматической частушкой: текст состоит из реплик с попутными комментариями по поводу ситуаций, в которых они произносятся, и действий говорящих.

В группе представителей старого мира некоторые носители речи прямо названы Блоком: «старушка» («— Ох, Матушка-Заступница! / — Ох, большевики загонят в гроб!»); «барыня в каракуле» («— Ужь мы плакали, плакали...»); «писатель» (хотя его название сопровождается сомнением — «должно быть, писатель / — Вития...»: «— Предатели! / — Погибла Россия!»)¹. В некоторых случаях авторы реплик опознаются по особенностям и содержанию их речи. Например, следующая реплика явно принадлежит проституткам:

...И у нас было собрание...
 ...Вот в этом здании...
 ...Обсудили —
 Постановили:
 На время — десять, на ночь — двадцать пять...
 ...И меньше — ни с кого не брать...
 ...Пойдем спать...

Иногда авторы реплик (например: «Хлеба!») не идентифицируются. «Буржуй», «товарищ поп» названы, но не имеют реплик, они характеризуются как бы со стороны, но не авторским голосом. Нынешнее поведение попа («...длиннополый — / Сторонкой — за сугроб...») сопоставляется с прежним: «Помнишь, как бывало / Брюхом шел вперед, / И крестом сияло / Брюхо на народ?».

В целом эти персонажи старого мира характеризуются тем, что не могут устоять на ногах: «На ногах не стоит человек», «Скользко, тяжело, / Всякий ходок / Скользит — ах, бедняжка!», «Поскользнулась / И — бац — растянулась!».

В первой главе «Двенадцати» выделяется персонаж, говорящий бродяге: «Эй, бедняга! / Подходи — / Поцелуемся...». Возвратный глагол «поцелуемся» указывает на присутствие в тексте субъекта «я». Так в поэме появляется скрытый *Ich-Erzählung*, который сообщает особую достоверность всему повествованию. Предполагаем, что к этому персонажу можно отнести реплики: «Ветер, ветер — / На всем Божьем свете!», «Злоба, грустная злоба / Кипит в груди... / Черная злоба, святая злоба...», и главное — вопрос: «Что впереди?». Однако голоса все время сменяют друг друга, и читатель не уверен, кто дает «ответ»: «Проходи!» — на только что процитированный вопрос: «Что впереди?». Возможно, «ответ» принадлежит тому начальственному голосу из «нового» мира, который произносит: «Товарищ! Гляди / В оба!», хотя

¹ Здесь и далее поэма цитируется по изданию [Блок 1999].

не ясно, это — один персонаж или несколько разных. Идентификация речевых масок — одна из трудных задач, поставленных Блоком перед читателями поэмы.

«Новый мир» представлен двенадцатью членами отряда, которые описываются как единая группа. Упоминаются всего два собственных имени — Петруха и Андрюха, но имена здесь — слабые идентификаторы и звучат почти как нарицательные (собственно, как и имена «объектов» их действий — Ваньки и Катьки). Просторечная форма подачи имен характеризует этот мир, как и усредненная уголовно-анархическая внешность их носителей: «В зубах — цыгарка, примят картуз, / На спину б надо бубновый туз!». Тем не менее речь и поведение у членов группы — разные.

Главным персонажем становится Петруха, вокруг которого разворачивается основное действие. Его окружают товарищи, которые знают его историю с Катькой. Их реплики выдают распределение ролей, характерное для солдатского мира (хотя сами двенадцать противопоставляют себя солдатам, ср. ниже реплику о Ваньке-солдате), — это заводилы, запевалы, задиры. Они поддразнивают Петруху, раздувают его ревность. Один говорит: «— Ванька с Катькой — в кабаке...», другой уточняет: «— У ей керенки есть в чулке!». Третий продолжает: «— Ванюшка сам теперь богат...», четвертый подводит «промежуточный итог»: «— Был Ванька наш, а стал солдат!», пятый примеряет ситуацию Ваньки с Катькой на себя, вводя при этом опережающие события «политические» коннотации: «— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, / Мою, попробуй, поцелуй!».

Однако пока — это озорная, веселая компания, и, когда «начальник» командует: «Товарищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-ка пулей в Святую Русь», несколько голосов с готовностью подхватывают: «В кондовую, / В избяную, / В толстозадую!». Следующая глава поэмы — это те песни, которые распевают двенадцать: «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить...», «Эх ты, горе-горькое, / Сладкое житье!», «Мы на горе всем буржуям...» (во всех мотив удали переплетается с мотивом смерти; далее в поэме цитируется еще ряд популярных песен и романсов, например тюремная «Не слышно шуму городского...» на слова Ф. Глинки) и которые только подчеркивают амбивалентность речевых характеристик персонажей.

В противоположность этой озорной компании выделяется начальствующий голос (его реплики отчасти уже цитировались выше). Он задает ритм движения: «Революционный держите шаг! / Неугомонный не дремлет враг!» Именно эти слова поддержаны песней «Вперед, вперед, рабочий народ!», представляющей собой контаминацию строк «Рабочей марсельезы» («Отречемся от старого мира...», гимна эпохи Временного правительства): «Вставай, поднимайся, рабочий народ! <...> Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!». «Революционный» шаг двенадцати вырастает затем в «мерный» и потом перерастает в «державный» (таким образом как бы задан и вектор движения, к чему мы еще вернемся ниже).

Этот же «начальник»², при деятельном участии всей команды, проводит операцию по захвату Катьки и ее убийству: «Стой, стой! Андрюха, помогай! / Петру-

² Он напоминает атамана, как весь отряд — банду разбойников (ср. «Жило двенадцать разбойников...»), что неоднократно отмечалось исследователями, как и переключка с популярной

ха, сзади забегай!.. <...> Еще разок! Взводи курок!..» и т. д. Он же ставит «диагноз»: «— Мертва, мертва! / Простреленная голова!». И опять неясно — это один начальственный голос или два, когда Петьку одергивают: «— Поддержи свою осанку! / — Над собой держи контроль!». Определенно этот же голос является носителем антирелигиозной линии. При упоминании Спаса («— Ох, пурга какая, Спасе!») он тотчас парирует: «— Петька! Эй, не завирайся! / От чего тебя упас / Золотой иконостас? / Бессознательный ты, право...».

Убийство становится одним из основных мотивов поэмы и основных действий двенадцати: они убивают офицера, Катьку, обещают убить Ваньку, потом начинают охотиться за тем, кто пробегает мимо них с красным флагом; готовы убить и пса, который увязался за отрядом, и буржуя.

Блок недаром начал писать поэму «Двенадцать» со строк:

Ужь я темячко
Почешу, почешу...
Ужь я семячки
Полущу, полущу...
Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

На блатном языке «почесать темячко» означает «убить». Синтаксический параллелизм этих трех предложений подчеркивает равную ценность этих действий в сознании членов отряда (убить и полущить семечки³). Убийство оказывается игрой и игра — убийством.

Начав с персонажной структуры и пытаясь выделить отдельных действующих лиц, мы уже отмечали неопределенность этой структуры. Намечены ролевые функции, но их носители — взаимозаменяемы. На грамматическом уровне это подчеркивается частотностью неопределенных местоимений. По сути, все действия описываются эллиптическими конструкциями с субъектами, выраженными неопределенными местоимениями. Согласно классификации неопределенных местоимений Мартина Хаспельмата, такого рода местоимения обозначают субъектов, которые известны автору высказывания, но не известны воспринимающему (читателю) [Haspelmath 1997]. Это создает в тексте эффект неопределенной угрозы, подозрительности и безответственности.

Хотя убийца Катьки назван — это Петруха: «Лишь у бедного убийцы / Не видать совсем лица... <...> — Что, Петруха, нос повесил, / Или Катьку пожалел? <...> Загубил я, бестолковый, / Загубил я сгоряча... ах!», однако так или иначе причастны к убийству все. Раскаяние отменяется: «— Ишь, стервец, завел шарманку,

«разинской» песней. Ср.: «Что, Петруха, нос повесил», «Что ты, Петька, баба что ль?» и «Сам на утро бабой стал», «— Что ж вы, братцы [вариант: черги. — М. Л.], приуныли?» в «Из-за острова, на стрежень...».

³ Здесь можно напомнить, как И. А. Бунин в «Окаянных днях» описывает толпу, повсюду лужгающую семечки.

<...> — Не такое нынче время, / Чтобы нянчиться с тобой!». От раскаяния спасает новое убийство:

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Обратим внимание также на то, что в поэме все обращения даны на «ты», местоимение «вы» как форма вежливого речевого обихода отменено вместе со старым порядком.

Переходя к глаголам, отметим, что в основном они относятся к настоящему времени и к актуальному прошедшему, например: «От здания к зданию / Протянут канат»; «Старушка, как курица, / Кой-как перемотнулась через сугроб»; «Разыгралась чтой-то вьюга». Будущее употребляется лишь в форме ближайшего будущего: «Расправлюсь завтра я с тобой!», «Нынче будут грабежи!», «Потяжеле будет время».

Особой частотностью характеризуется употребление императива. Кроме тех примеров, которые цитировались выше, приведем особенно яркие: «**Отмыкайте** погреба — / Гуляет нынче гольгьба!», «Эх, эх, **попляши!** / Больно ножки хороши!», «Эх, эх, **согреши!** / Будет легче для души!» и т. д. Кроме того, что императив подчеркивает динамизм действия, он показывает и напряжение волевого усилия (« — Все равно, тебя добуду, / Лучше **сдайся** мне живьем!»), и переход в другое состояние («**Лети**, буржуй, воробышком! Выпью кровушку...»). В целом обращение к этой модальности характеризует то состояние переходности от старого мира к новому, которому посвящена поэма.

Неоднократно используется инфинитив, причем в разных функциях, главная из которых — указание на развитие действия. Инфинитивы (часто в сочетании с императивом) обозначают главные вехи развития сюжета: «В красной гвардии служить — / Буйну голову сложить!»; «Эх, эх, освежи, / Спать с собою положи!»; «С юнкерьем гулять ходила» (скрытая угроза); «Трах-тарарах! Ты будешь знать, <...> / Как с девочкой чужой гулять!..»; «Не видать совсем лица»; «— Верно, душу наизнанку / Вздумал вывернуть?»; «Эх, Эх! / Позабавиться не грех!»; «Выходи, стрелять начнем!»; «Не видать совсем друг друга / За четыре за шага!».

Семантика существительных (мы не будем касаться их лексического значения, только частеречной семантики и ее функции в поэтике текста) в высшей степени показательна. Она направлена на раскрытие особенностей группового сознания революционного отряда. Грамматически оно характеризуется гипостазированием — заменой слов с абстрактным значением конкретными образами, неразличением прямого и переносного значений — «реализацией» метафоры и метонимии, а также неразличением причинно-следственных отношений. Так, «Святая Русь» оказывается бабой («толстозадой», по аналогии с «толстоморденькой» Катькой), «Спас» приравнен к золотому иконостасу. Выражения «мировой пожар раздуем» и «мировой пожар в крови» поданы как синонимичные, что отметил

еще В.М. Жирмунский. Реплика: «Трах-тарарах! Ты будешь знать, <...> / Как с девочкой чужой гулять!..» — построена по модели: «когда убью, тогда будешь знать» (причинно-следственные отношения игнорируются). Как хорошо известно, такой тип сознания характерен для первобытного аграрного общества⁴.

В первобытном сознании двенадцати мир распадается на две части: «наш» и «враждебный». «Чужой» мир характеризуется, с их точки зрения, словом «лютый» («вот проснется лютый враг») и представляется как некая единая гиперсемантическая категория. Прилагательное «лютый» предполагает в качестве первичного сочетания существительное «зверь». Именно поэтому старый мир представляется в поэме в виде пса:

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Мертвая Катька определяется словом «падаль» (как мертвое животное) — она оказалась во враждебном лагере, следовательно, тоже приобрела звериные черты этого мира.

Отношение к врагу выражается через убийство и уничтожение («Старый мир, как пес паршивый, / Провались — поколочу!»). Эти люди с первобытным сознанием вооружены и агрессивны, готовы к обороне-нападению («...И идут без имени святого / Все двенадцать — вдаль. / Ко всему готовы, / Ничего не жаль...»). При этом они не различают убийство «из принципа» (возмездие) и убийство-забаву («позабавиться не грех»). Их движение четко (державный шаг) и как будто целенаправленно, однако цель — не видна. Здесь неопределенность, о которой мы говорили выше, достигает кульминации. Двенадцать идут вперед, но впереди ничего не видно: «Не видать совсем друг друга / За четыре за шага!». Поэма «Двенадцать» начинается с описания ветреного зимнего вечера, в конце ветер превращается в снежную бурю: «Ох, пурга какая», «Ой, выюга, ой, выюга!». Однако это — космическая характеристика, а не просто описание конкретного январского зимнего вечера 1918 г., когда было разогнано Учредительное собрание (известно, что поэма Блока явилась реакцией на это событие⁵). Это — космическое событие, которое становится «постоянным спутником» двенадцати:

И выюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Эти строки являются своего рода сигналом к введению в повествование иного плана — «надвьюжного» мира:

⁴ Сошлемся хотя бы на «Золотую ветвь» Дж. Фрезера, на труды А. Вебера.

⁵ См. подробно об историческом контексте создания поэмы «Двенадцать» в книге Евгении Ивановой [Иванова 2012].

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Именно этот финал вызвал шквал недовольства, с одной стороны, и недоумение — с другой. С точки зрения грамматики отметим отсутствие в последних семи строках глаголов; эллиптические конструкции скрывают определенность времени и модальности — это «другой мир». Динамика («идут державным шагом») принадлежит миру двенадцати, «другой мир» обездвижен у Блока.

Отглагольное существительное «поступь»⁶ подразумевает передвижение шагом, но определение «надвьюжная» отсылает к особому типу движения — не человека, а некоего существа или объекта, который находится в «верхнем» — невидимом и недостижимом — мире. Напомним тонкое наблюдение З. Г. Минц, касающееся не только поэмы «Двенадцать», но и изображения «верхнего мира» в творчестве Блока вообще: по ее определению, он всегда «обездвижен» [Минц 1960].

Теперь мы вынуждены выйти за рамки грамматической семантики и обратиться к недостижимому для двенадцати субъекту/объекту. Давно уже исследователи обратили внимание на характер написания имени «Иисус», что отсылает к традиции народного православия. Д. Е. Максимов писал, что слово «венчик» указывает на икону; так, например, в деревнях венчиками из бумажных цветов украшали иконы — чаще всего Спасителя, Божией Матери и Николая Угодника. Добавим к сказанному, что жемчужная россыпь может указывать на иконный оклад. Следовательно, в финале поэмы Блока речь идет о явлении иконы, и можно уточнить, что это — икона Воскресения Христова, причем не древняя икона, а «новая», т. е. XIX или XX в. Как известно, в канонической православной иконной традиции Воскресение изображалось в виде Сошествия Христа во ад (одна из самых знаменитых — икона А. Рублева и Д. Черного с мастерской начала XV в., хранящаяся в Третьяковской галерее). На поздних «живописных» иконах изображается уже собственно Воскресение, и часто Христос предстоит ангелам у раскрытого гроба со знаменем в руках (белая хоругвь с красным крестом⁷).

Таким образом, как нам представляется, Блок описывает явление иконы, которое не зависит от двенадцати и не доступно им⁸.

⁶ Еще одно отглагольное существительное — «россыпь» — регистрирует ранее совершенное движение, т. е. в момент речи движение отсутствует.

⁷ Это — цвет крови. Ср. у Блока: «В очи бьется / Красный флаг» — здесь это символ революции. В финале же речь идет именно о «кровавом» флаге.

⁸ Они идут «без имени святого», хотя и не чужды религиозных переживаний. Например, «Упокой, Господи, душу рабы Твоя...» произносится в ёрническом контексте, но это не исключает

И тут мы хотели бы вернуться к гипотезе, высказанной нами в начале, о присутствии в поэме скрытого *Ich-Erzählung*, точнее — «всезнающего» автора. Именно он наблюдает все происходящее⁹, хотя повествование ведется с позиции и «голосами» персонажей (отсюда — речевые маски, многоголосье, ускользание авторской позиции). Однако автор все же присутствует, и именно ему открыто явление иконы, поэтому вопрос: «Что впереди?», заданный в первой главе поэмы, получает разрешение в финале: «Впереди — Исус Христос».

Литература

Блок 1999 — *А. А. Блок. Двенадцать* // А. А. Блок. Полное собрание сочинений и писем в 20 т. Т. 5: Стихотворения и поэмы (1917–1921). М., 1999. С. 7–20.

Иванова 2012 — *Е. В. Иванова. Александр Блок: Последние годы жизни*. М., 2012.

Минц 1960 — *З. Г. Минц. Поэма «Двенадцать» и мировоззрение А. Блока эпохи революции* // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 96. (Тр. по рус. и славян. филологии. III). Тарту, 1960. С. 247–278.

Магомедова 1995 — *Д. М. Магомедова. Две интерпретации пушкинского мифа о бесовстве (Блок и Волошин)* // Московский пушкинист: Ежегод. сб. / Рос. АН. ИМЛИ им. А. М. Горького. Пушкин. комис. Вып. I. М., 1995. С. 251–262.

Haspelmath 1997 — *M. Haspelmath. Indefinite pronouns*. Oxford, 1997.

Margarita I. Lekomceva

(Moscow, Russia)

“THE TWELVE” POEM OF ALEXANDER BLOCK

This article examines the grammatical structure of the poem by Alexander Block “The Twelve” and emphasizes that the ambivalence of its structure is the result of conscious authorial choice. It is shown that the identification of speech masks is one of the difficult problems of perception of the text, but those masks give a clue to identify anonymous characters. The analysis leads to conclusion that Block outlined their role functions, but made them interchangeable. On a grammatical level this is emphasized by the frequency of use of indefinite pronouns. All the actions of the characters are described by elliptical constructions with subjects expressed by indefinite pronouns. This creates the effect of uncertain threats, suspicion and irresponsibility.

серьезности переживаний по поводу убийства Катьки (на Петрухе нет лица, он раскаивается, хотя и недолго, в содеянном: «Загубил я сгоряча... ах!») [Магомедова 1995].

⁹ На это косвенно указал С. Шварцбанд, считавший, что все действие происходит на Невском проспекте и что автор стоит на углу Невского и Михайловской улицы. Однако, на наш взгляд, подобная детализация излишня и не основана на тексте Блока.

Analysis of verb structure reveals the frequency of use of the imperative and the infinitive in different functions. The major milestones in the development of the plot are marked by the combination of these verb forms. It is shown that the parts of speech semantics of nouns is aimed at describing the group consciousness of the revolutionary team. Grammatically it is characterized by the hypostatization, the lack of distinction between the casual relations, direct and figurative values, “realization” of metaphor and metonymy.

Special emphasis is made on the analysis of the final chapter of the poem. A. Block uses here impersonal sentences; missing verbs, i.e. missing time and modality. The analysis reveals presence of a hidden Ich-Erzählung in the poem. In the final it is manifested in the description of the vision of icon of the resurrection of Christ, invisible to the characters but visible to the “all knowing” author.

Keywords: Alexander Block, “The Twelve”, Ich-Erzählung, pronouns, imperative, infinitive and their function, final.

VIII

Ю. Л. Слёзкин

*Калифорнийский университет в Беркли
(США)*

ОСОБЫЙ ПУТЬ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Статья утверждает, что Русская революция была попыткой реформации, и объясняет, почему она оказалась неудачной.

Ключевые слова: секта, марксизм, большевизм, милленаризм, апокалипсис, идеократия, тысячелетнее царство, рутинизация, реформация.

Занимаясь историей греха, покаяния и спасения на Руси, В. М. пришел — с некоторыми оговорками — к новой версии тезиса об особом пути России. Вернее, об особом месте российского православия в рамках веберовской классификации христианских и постхристианских обществ.

Опираясь на книгу Филипа Горски, посвященную сравнительной истории дисциплинарной революции в Нидерландах и Пруссии-Бранденбурге [Gorski 2003], В. М. заключил, что в России не было и нет протестантской этики, потому что в России не было протестантизма — в том смысле, что спасение на Руси не было делом рук самих утопающих, а зависело от случая, предсмертного покаяния и в конечном счете от снисхождения коллективной благодати Бог знает когда. Отчего русские люди и их советские потомки жили не тужили и в повседневной жизни утопающими себя не считали. Вернее, считали, но поделать ничего не могли, а оттого не считали.

В. М. пишет о двух неудачных попытках дисциплинарной революции сверху: в XVII в., начиная с ревнителей благочестия, и в XVIII в., начиная с Петра и его птенцов¹. В память о наших с В. М. ночных разговорах я хотел бы добавить третью, самую радикальную.

* * *

Большевики были партией нового типа и сектой обычного типа. А именно, по стандартному определению, группой единомышленников, прошедших индивидуальную

¹ Эти темы освещались В. М. Живовым в его докладе «Особый путь и пути спасения в России» на воркшопе «Концепт “особый путь” развития России: политика, социум, культура» в Центре гуманитарных исследований при РАНХиГС (Москва) 23 декабря 2011 г.

конверсию и объединенных чувством избранности и радикальным отрицанием окружающего мира.

Главным пунктом их веры было ожидание конца света, т. е. конца существующего мироустройства при жизни нынешнего поколения.

По структуре ожидания (царство вавилонской блудницы, мученичество вселенского пролетарского искупителя, революционный апокалипсис и тысячелетнее царство как преодоление тщеты человеческой жизни) большевизм аналогичен христианству, зороастрийству, исламу, мормонизму, растафарианству, Джиму Джонсу и многим другим апокалиптическим сектам, некоторые из которых со временем сильно преуспели.

Иисус из Назарета, например, исходил из того, что Царство Божие придет на грешную землю, к живым людям, с минуты на минуту. Его первые слова (по Марку): «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и поверьте в Благую Весть!» А Благая Весть, среди прочего, состояла в том, что «не преидет род сей, как все сие будет». Но сначала «народ восстанет на народ и царство на царство» и «брат предаст брата на смерть, и отец — детей; восстанут дети на родителей и умертвят их».

Марксизм, наряду с различными формами адвентизма, вернул христианский мир из схоластической трансцендентальной эсхатологии к первоначальному историческому апокалипсису. В статье «Пророческие слова», опубликованной в «Правде» 2 июля 1918 г., Ленин описал «грядущую всемирную войну» словами Энгельса: «От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не объедали тучи саранчи» [Ленин 36: 472].

Апокалиптических милленаристов принято делить на квиетистов, которые ждут конца света в укромных местах, и активистов, которые его посылно, а иногда насильно приближают.

На самом деле, все милленаристы — в той или иной мере активисты. Перед лицом конца света никто не сидит без дела. Иисус должен был сказать некоторые слова и совершить некоторые действия, чтобы время исполнилось, а ученики его должны были покаяться и умалиться, как дети. Все милленаристы, и не только они, верят в некое сочетание предопределения и свободной воли, веры и дел, судьбы и свободы, локомотива истории и партии нового типа.

И вот, в ожидании конца некоторые молятся, некоторые постятся, некоторые трясутся и строгают мебель, некоторые ходят парами и продают памфлеты, некоторые живут в штате Юта и занимаются генеалогией, некоторые ходят в народ или организуют профсоюзы, некоторые пляшут Пляску духа, некоторые не пляшут и не пьют, некоторые отрезают половые органы, некоторые закалывают скот, некоторые кончают с собой или со своими братьями, а некоторые истребляют силы тьмы в виде попов, жидов, менял, горожан и эксплуататорских классов.

Из тех немногих милленаристских сект, которым удастся построить свое государство, обычно получают теократии (иерократии, идеократии), т. е. государства, контролируемые священнослужителями (профессионалами-идеологами). Среди них Папские государства, ранние халифаты, Тайпинское небесное царство, Флоренция при Савонароле, Мюнстер при анабаптистах, Женева при Кальвине, Массачусетс при пуританах и Исламская Республика Иран.

В СССР легитимность партии, которая контролировала все ветви власти и всю государственную деятельность, основывалась на монополии на истину и скорое коллективное спасение. Сама же партия до революции была сектой, а после революции так сектой и осталась (т. е. не превратилась ни в церковь с наследуемым членством, ни в меритократию с прозрачными правилами карьерного роста).

Идеократии живут недолго — по той же причине, по которой милленаристские секты недолго остаются милленаристскими (в смысле ожидания конца света при жизни нынешнего поколения). А именно потому, что мир еще не кончился. Пророки приходят и уходят, а Вавилон остается.

Существует три основных типа реакции на неисполнение апокалиптического пророчества.

Первый — это гибель в огне. Милленаристская секта или идеократическое государство бросают вызов Вавилону и погибают в Армагеддоне собственного производства. Среди них табориты, тайпинцы, якобинцы, нацисты, мюнстерские анабаптисты, красные кхмеры, старообрядцы-самоподжигатели, девятьсот сторонников Джима Джонса, которые отравились в Гвиане в 1978 г., и семьдесят пять сторонников Дэвида Кореша, которые сгорели в Техасе в 1993 г. Самоубийство, террор, самоубийство посредством террора и повсеместное вредительство и двурушничество — частые спутники бескомпромиссного нежелания жить в неискупленном мире.

Второй тип реакции на непоявление мессии и неисполнение пророчества — утверждение о том, что мессия на самом деле появился, а пророчество исполнилось. Таковы истоки христианства и официальная доктрина Свидетелей Иеговы (Иисус сошел на землю, но на глаза не показывается и вершит суд в тайном месте, пока свидетели ходят по квартирам, разнося Благую Весть).

Третий тип — самый распространенный. Большинство разочарованных милленаристов со временем смиряется с несовершенством человеческой жизни и привыкает к бесконечному ожиданию. Специально созданные тексты, ритуалы и учреждения предлагают новые толкования первоначального пророчества в свете того обстоятельства, что время идет, а оно не сбывается. Тысячелетнее царство откладывается на неопределенный срок, реализуется в церкви (Божьем граде на Земле), превращается в мистическое переживание или переносится в иные миры. Откровения превращаются в аллегории, события — в метафоры, запреты — в моральные

идеалы, табориты — в моравских братьев, анабаптисты — в меннонитов, а сталинисты — в социал-демократов. Богачи толпами входят в Царство Божие, верблюды проходят сквозь игольное ушко, а выражение «до второго пришествия» становится синонимом выражения «ждать у моря погоды». К числу правых оппортунистов такого рода принадлежат секты, успешно превратившиеся в церкви (бюрократизированные группы единоверцев с наследуемым членством), в том числе христианство, ислам и мормонизм.

В ожидании коммунизма большевики использовали все три стратегии: пытались претворить пророчество в жизнь в ходе последнего и решительного боя (во время военного коммунизма, первой пятилетки, Великого террора и, наконец, при Хрущеве, который официально объявил, что не пройдет род сей, как все сие будет); утверждали, следуя за Блаженным Августином, что тысячелетнее царство в каком-то смысле уже состоялось (социалистический реализм, как любая иконография, был призван изобразить новое платье короля); переосмыслили и фальсифицировали первоначальное пророчество в рамках последовательной бюрократизации и рутинизации.

Рутинизация большевизма замечательна тем, что правящая секта создала идеократию, не превратившись ни в церковь, ни в меритократию. Но в первую очередь она замечательна тем, что вера осталась достоянием одного поколения (как бывает с сектами, не перешагнувшими барьера бюрократизации). Почему большевизм, в отличие от христианства и ислама, не пережил свою идеократию? Почему коммунисты, в отличие от христиан и мусульман, не смогли сохранить веру, одновременно нарушая ее заповеди и игнорируя ее нелепости?

Вопрос этот обычно не задается, но ответы часто подразумеваются.

Самый распространенный из них заключается в том, что марксистское пророчество слишком конкретно и научнообразно и оттого легко фальсифицируемо. (Но если так, то что делать с сектами, которые предсказывают немедленный конец света, мимолетно разочаровываются, но остаются тверды в вере и живут в лоне церкви, построенной на неисполненном обещании? Поколения приходят и уходят, всего сего не происходит, и ничего — ждут.)

Другой возможный ответ — это что большевики (как большинство сект, но в отличие от рутинизированных идеократий) считали запрет на частную собственность важнейшим условием спасения. Несостоятельность экономики храма в соревновании с экономикой менял не поддавалась легкому объяснению. (Но разве нельзя изменить экономику, не отходя от храма? Так поступили Китай и Вьетнам, и ничего — живут.)

Третий ответ указывает на бескомпромиссно нетрансцендентную риторику марксизма. После неисполнения пророчества и смерти вождя спасения не было ни в мистицизме, ни на небе. За пределами рутинизированной политики не осталось сакральности. Абсурдные утверждения и ложные предсказания трудно было выдать за аллегории. (Так почему тогда от части из них не отказаться?)

В Китае правящая секта со временем забыла про устаревшие заповеди, и ничего — правит.)

Четвертый, и более основательный, ответ заключается в том, что марксизм, исходя из чрезвычайно плоской, узко классовой теории человеческой природы, не заметил самых проклятых вопросов и не знал, как быть с главным в человеческой жизни: браком, рождением и смертью. Все милленаристские секты пытаются регулировать, реформировать или табуировать институт брака (предписывая половую свободу или безбрачие). Те, которые выжили, смирились с неизбежным. Иисус сказал: «Если кто придет ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, тот не может быть Моим учеником». Первые ученики так и поступали. Но прошло время, компромисс был найден, и брак стал официальным таинством, освященным и регулируемым церковью.

Христианство прилепилось к закону Моисееву. Магомет кодифицировал обычное право. Маркс, Ленин и Сталин не оставили никакого руководства относительно повседневной человеческой морали.

Анабаптисты в Мюнстере запретили моногамию и сожгли все книги, кроме Библии. Большевики в России не понимали, что, читая своим детям Пушкина вместо Маркса, они воспитывают еретиков и отступников. Что, рожая и воспитывая детей, они становились могильщиками собственной революции. Что революции не пожирают своих детей — революции пожираются детьми революционеров. «Восстанут дети на родителей и умертвят их».

И наконец, пятый ответ — Виктора Марковича.

Русских православных (в отличие от евреев и старообрядцев) никто не научил, как ходить под Богом, которого нельзя задобрить и от которого нельзя спрятаться.

Их никто не научил, как видеть в Иисусе основоположника тоталитаризма (который объяснял, что для Бога главное — не поступки и даже не слова, а помыслы и тайные желания: нельзя не просто переспать с женой ближнего — нельзя ее возжелать; нельзя не просто убивать — нельзя ненавидеть).

Их никто не научил, как предвосхищать цензуру самоцензурой, дисциплину самодисциплиной, полицейский надзор всеобщим доношением, а государственные репрессии — добровольным послушанием.

Иначе говоря, большевизм был третьей и самой радикальной попыткой Реформации на Руси: попыткой превращения православных в советских, а советских — в следящих за собой и за соседями современных граждан западного типа. Средства были в основном те же — исповедальные чистки, нелицеприятная самокритика, конгрегации активистов и кружки по изучению священного писания, — но результаты оставляли желать много лучшего. Хватало и самонаблюдения, и доношительства, и чувства вины за греховность, но сегодня мало кто сомневается, что спустя почти сто лет после начала эксперимента большинство бывших, а также нынешних российских православных смотрят на дисциплину как на внешнюю силу,

а не внутреннюю потребность. «Донос» — по-прежнему дурное слово, Павлик Морозов — по-прежнему негодай, а важное в американском публичном пространстве слово *whistleblower* плохо переводится на русский язык.

Одно из возможных объяснений вытекает из четвертого ответа на вопрос о ранней кончине коммунизма. Большевики не знали, что делать с семьей, не превратили ее в первичную ячейку национализированного общества, не привязали переходные обряды к официальной картине мира, не разработали ничего похожего на регулярные визиты на дом и прочие протестантские (и, в меньшей степени, католические) технологии проникновения в частную жизнь. На Западе государство все реже изображается как семья с отцом во главе, а семья все чаще изображается как квазигосударство, граждане которого отвечают перед законом за растущее благосостояние своих подрастающих подопечных. «Год великого перелома» такой задачи перед собой не ставил.

Второе объяснение вытекает из логики последних работ Виктора Марковича. Небольшая миллениаристская секта захватила власть в гигантской империи и, несмотря на титанические усилия, не смогла укротить подвластное ей нечестивое большинство.

Это как если бы Гражданскую войну в Англии выиграла не меньшевики Кромвеля, а радикальные пуритане из секты пятых монархистов. Выиграли бы и потом сто лет строили общество святых в Англии и других развивающихся странах.

Вместо этого они переехали в Массачусетс, где не было других англичан и где они построили, что построили.

Из чего следует, что если бы большевики отправились строить социализм в Массачусетс, то они давно превратились бы в рутинизированное либеральное государство с новогодней индейкой и бесчисленной чередой героических Павликов Морозовых на экранах телевизоров.

Но получилось по-другому. Протестантов из нас не вышло.

Плохо ли это?

Как либерал и демократ В. М. считал, что да, плохо.

А как человек православный, — а также крикун, хулиган и грешник, — что нет, не плохо.

И дал бы окончательный ответ, сказав в заключение: «Юрка, пойдем напьемся!»

Литература

Ленин 1–55 — *В. И. Ленин*. Полное собрание сочинений. Т. 1–55. Изд. 5-е. М., 1967–1975.

Gorski 2003 — *Philip Gorski*. *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*. Chicago, 2003.

Yuri Slezkine
University of California, Berkeley
(USA)

RUSSIA'S "SPECIAL PATH" AND SOVIET POWER

The article argues that the Bolshevik Revolution was Russia's reformation and attempts to explain why that reformation failed.

Keywords: sect, Marxism, Bolshevism, millenarianism, apocalypse, ideocracy, millennium, routinization, Reformation.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

К статье:

М. С. Флайер.

Образ Крещения Христова на Руси: традиция и инновация

1. Крещение. Новгород. Кон. XV в.
2. Крещение и погребение Христова. Византия. XIV в.
3. Крещение. Православный баптистерий Неона. Равенна. Ок. 460 г.
4. Крещение. Арианский баптистерий. Равенна. Нач. VI в.
5. Крещение. Фрагмент стеной росписи. Римские катакомбы. Понциано. VI в.
6. Крещение. Кафоликон монастыря Хосиос Лукас. Ранн. XI в.
7. Крещение. Святилище Капелла Палатина. Палермо (1140–1170 гг.).
8. Крещение в диптихе с евангельскими сюжетами, вырезанном из слоновой кости в сер. X — XI в. Константинополь (?).
9. Крещение. Архитрав. 3-я четв. XIII в.
10. Крещение. Фреска из церкви Периблептос в Мистре. 3-я четв. XIV в.
11. Крещение. Псков. Сер. XIV в.
12. Крещение. Фреска из церкви Рождения Христова на Красном поле. Новгород. 1390-е гг.
13. Крещение. Софийский собор. Новгород. Кон. XI в.
14. Крещение. Кострома. XV–XVI вв.
15. Крещение. Рождественский собор. Суздаль. 2-я пол. XVI в.
16. Крещение. Кирилло-Белозерский монастырь. Ок. 1497 г.
17. Крещение. Изделие из слоновой кости. X в. (John Rylands Library, Манчестер).
18. Крещение. Фреска из церкви Протатон. Афон. Кон. XIII в.
19. Крещение. Фреска из королевской церкви. Студеница. 1313–1318 гг.
20. Крещение. Охрид. Ранн. XIV в.
21. Крещение. Рельеф на западной закомаре южного фасада Дмитриевского собора. Владимир. 1194–1197 гг.
22. Крещение. Фреска из церкви Спаса на Нередице ок. Новгорода. 1199 г.
23. Крещение. Фреска из церкви Успения на Волотовом поле. Ок. Новгорода. 1363 г.
24. Крещение. Благовещенский собор. Москва. 1-я пол. XV в.
25. Крещение. Сергиев посад. 1425–1427 гг.
26. Крещение. Тверь. Сер. XV в.
27. Крещение. Кирилло-Белозерский монастырь. Ок. 1497 г. Фрагмент.
28. Крещение. Ок. 855 г. (Schweizer Landesmuseum, Цюрих).

29. Крещение. IX–X вв. (Herzogliches Museum, Брауншвейг).
30. Крещение из евангелия-апракос. Константинополь. 1050–1100 гг.
31. Пьеро делла Франческа. Крещение. 1450-е гг.
32. Рождество св. Николая. Феррапонтов монастырь, Рождественский собор. 1502 г.
33. Аполлон Китионский. Комментарий на трактат Гиппократов по вывихам. Флоренция, Лаврентиана, MS 74.4, л. 200. X в.
34. Распятие. Синай. VI в.
35. Распятие. Синай. 1259 г.

К статье:

Т. В. Рождественская.

Граффити в церкви Спаса на Нередице в Новгороде (материалы к Своду древнерусских надписей-граффити Новгорода Великого)

1. Ил. 1 — Надпись 1 1279 г. о смерти Кирилла и жены его Оксении. Общий вид столба диаконника с надписью.
2. Ил. 1а — Фрагмент надписи 1 1279 г. о смерти Кирилла и жены его Оксении и надпись 4 высилія.
3. Ил. 1б — Фрагмент надписи 1 1279 г. о смерти Кирилла и жены его Оксении.
4. Ил. 2 — сохранившийся фрагмент надписи 2 1254 г. о смерти Кузмы Ивановича.
5. Ил. 2а — Прорись надписи 2 1254 г. о смерти Кузмы Ивановича.
6. Ил. 2б — Фотография с надписью 2 1254 г. о смерти Кузмы Ивановича из архива И. А. Шляпкина (ИИМК РАН).
7. Ил. 3 — Прорись надписи 3 1246 г. о смерти черноризца Севастьяна.
8. Ил. 3а — Фотография с надписью 3 1246 г. о смерти черноризца Севастьяна из архива И. А. Шляпкина (ИИМК РАН).
9. Ил. 3б — Фотография надписи из ц. Михаила Архангела в Переяславле Южном (Фотоархив РАН).
10. Ил. 4 — Прорись надписи 4 Василия.
11. Ил. 5 — Надпись Андроника.
12. Ил. 6 — Надпись 6 о женитьбе и надпись 7 Лазоря.
13. Ил. 6а — Прорись надписи о женитьбе.
14. Ил. 7 — Прорись надписи Лазоря.
15. Ил. 8 — Надпись 8 Лазоря.
16. Ил. 8а — Прорись надписи Лазоря.
17. Ил. 9 — Надпись об Адаме.
18. Ил. 9а — Фрагмент надписи об Адаме.
19. Ил. 9б — Прорись надписи об Адаме.
20. Ил. 10 — Фотография надписи 10 из архива И. А. Шляпкина (ИИМК РАН).
21. Ил. 10а — Прорись надписи 10, современное состояние.

К статье:

С. М. Михеев.

***Вълкоша и Николаосъ: о двух трудночитаемых надписях
из Софии Новгородской***

1. Первая надпись.
2. Первая надпись, прорись.
3. Вторая надпись.
4. Вторая надпись, прорись.

К статье:

А. А. Плетнева.

Лубочные источники пушкинской «Сказки о царе Салтане»

1. Лубочный лист из «Сказки о трех королевнах, родных сестрах».

Научное издание

**Труды Института русского языка
им. В. В. Виноградова
Выпуск 9, 2016 г.**

**История русского языка и культуры
Памяти В. М. Живова**

Оригинал-макет *Л. Е. Голод*
Дизайн обложки *И. А. Тимофеев*

Подписано в печать 00.00.2016. Формат 70×100 ¹/₁₆
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 43,2. Заказ № 674
Тираж 300 экз.

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru
www.nestorbook.ru

Отпечатано в типографии издательства «Нестор-История»
Тел. (812)622-01-23